ШАХИМАРДЕН
ПРОЗА РАЗНЫХ ЛЕТ

Сочинения в двух томах
том второй
Городская Проза

Содержание
ХРОНИКА КОММУТАТОРА (роман)
Голем
Меч деревянный
Спящая красавица
Ог
Мышиный хвост
Влюблённые
Тайна Дружка
Что сказала птица
Сделка с плазмоидами
ДУЭЛЬ И ПОЕДИНОК (роман)
СЕМЕН И СЕМЕНОВ (рассказ-эпилог к роману «Дуэль и поединок»
ЗАМЕТКИ СОВЕТСКОГО СЕКСОПАТОЛОГА
ГОД СОБАКИ. 1982. Прозаическая пьеса

УДК 821.512.122-161.1
ББК 84 (5 Каз-рус) 7-44
Ш 31

Выпущено по программе
«Издание социально важных видов литературы»
Комитета информации и архивов
Министерства культуры и информации
Республики Казахстан

Шахимарден (Кусаинов Шахимарден)
Проза разных лет: Городская проза 2-том. – Алматы: Нұрлы Press.kz, 2013. – 480 с.
ISBN 978-601-80288-2-3 (2-том)
ISBN 978-601-80288-0-9 общ.
© Ш. Кусаинов, 2013
© НұрлыPress.kz, 2013

ШАХИМАРДЕН

Хроника коммутатора

Голем
(папка первая)

Тур От-Агасы родился именно в тот миг, когда стрелки часов начали отсчитывать ход XXI века. Но важные дяди из ООН объявили главным младенцем Третьего тысячелетия от Р. Х. не его, а какого-то новорожденного из южной Европы, как пострадавшего от геноцида. Какого – никто не помнил. Да и Тур, пожалуй, не вспоминал бы этот исторический факт, но Ассоциация Рожденных в Первую Минуту неустанно дергала его, требуя подписать очередной протест, петицию, жалобу, заставляя являться на судебные разбирательства и вместе с ними доказывать, что они тоже имеют все права называться шестимиллиардными жителями Земли. Вот почему он, законопослушный мужчина в расцвете сил, с дипломами самых престижных университетов трех континентов, достаточно обеспеченный, вынужден был постоянно менять свой адрес. Но борющаяся за справедливость Ассоциация все равно выискивала его по информационным каналам, пока он не раскошелился и не купил летающий спальный блок-вагон.

Жить постоянно в воздушном пространстве было несколько неудобно, но в перманентном полете были и свои плюсы. Во-первых, не надо было платить умопомрачительный налог за местожительство на участке экологически чистой земли, во-вторых, стоило лишь с вечера ввести в компьютер нужные координаты, как утром блок-вагон Тура оказывался встроенным в дом его очередного клиента или, по крайней мере, на расстоянии вытянутой руки от него. Да, это стоило дорого, но теперь можно было забыть о неизбежных стрессах, связанных с аэропортами, вокзалами, такси ... И начинать работу с максимальным душевным равновесием, что немаловажно для коммутатора.

Коммутатор Тур От-Агасы восстанавливал прервавшиеся человеческие отношения между родственниками или соседями, не понимающими, почему они живут под одной крышей, друзьями, о дружбе которых напоминали лишь старые фотографии, коллегами, не догадывающимися, кто же целый день суетится или дремлет на стуле в офисе рядом с ними, да мало ли между кем. Планета Земля с каждым годом становилась все более и более достойной звания Космической Обители людей, не видящих и не слышащих друг друга.

В вагоне Туру было комфортно и в то же время просто, благодаря рациональной обстановке. Правда, звукоизоляция крыши вагона имела скрытый дефект, зиявший в воображении Тура От-Агасы трещиной на голом черепе. Ее

не нашли бы и микрохирурги со всей своей глазастой оптикой, но птица грач, с некоторого времени преследовавшая обиталище Тура, ухитрялась, усаживаясь в самые ранние утренние минуты над головой спящего хозяина, царапать когтем этот невидимый излом. И тонко стонущий звук неумолимо резал нежные, изощренно устроенные извилины головного мозга несчастного Тура. Можно было установить в бытовой системе вагона преобразователь звуков и трансформировать скрип когтя в пение соловья, но чтобы оплатить эту прихоть, ему пришлось бы работать чуть больше, чем обычн, чего Тур никак не желал. Тур, раздраженно посматривая на потолок, встал с полки, перевел пленку ночного комбинезона с маской в гигиенический режим. Сразу же ароматное тепло увлажнило его кожу. Набухший комбинезон выпустил его из себя, как всегда, чистеньким, выбритым и причесанным.Тур выпил густой нейтрализатор, прекрасно освежающий прокисшее за ночь нутро. Но в это утро тонизирующий напиток вызвал у него лишь слабую тошноту. Что-то крайне нездоровое слежалось за ночь в его теле. Сделав несколько глубоких вдохов, он снова улегся на полку, переведя ее в состояние массажного лежака. Несколько валиков-рукавов тут же принялись разминать его тело с тупой волей, способной превратить даже фарш в бицепс атлета. Приятно, но один из широких валиков снова вывернулся, соскользнул с поясницы вниз и принялся подбрасывать Тура так, как если бы он был седлом на скачущем мустанге. Тур выбрался из массажных рукавов болезненно помятым и таким же ослабленным, каким и попал в них. Пришлось самому делать легкие гимнастические упражнения. И еще Туру предстояло самому одеться, что он делал всегда медленно, с удовольствием. От белья из натуральных тканей он не мог отказаться, сколько бы оно ни стоило. Ощущая всей кожей прохладу шелка, он натянул на себя трусы, майку ... и вдруг заметил на ней, любимой, дыру с пулевое отверстие. Откуда она взялась, каким образом?! Как ни жаль было шелковую майку, надо было отправлять ее в утилизатор. Казалось бы, достаточно неприятностей за одно утро, но Тур почувствовал, что его ждет еще и гораздо большая гадость. Так и оказалось. Шагнув в бытовую комнату, он увидел перед собой сидящую на стуле голую фигуру с гнусной унылой физиономией. И тут нервы Тура не выдержали. Он, забыв все принципы этики и тактики коммутатора, болезненно заорал:

– Что такое?! Как вы сюда попали? Вон, вон отсюда! – и замахал руками.

Необычный визитер в ответ тоже повел в воздухе приподнявшимися белыми руками и состряпал из губ, щек, бровей над закрытыми глазами такую глубокомысленную физиономию, что Тур от охватившего его глубокого отвращения мгновенно пришел в себя. Никогда прежде Тур не позволял себе такие всплески эмоций при контакте ни со случайным встречным, ни с клиентом. А ведь клиентурой коммутатора Тура От-Агасы были именно такие типы, как этот вялый нежданный посетитель, с замкнутыми устами, с закрытыми глазами. А тут он сорвался, как школьный учитель. Не достойно

профессионала. Тур От-Агасы перевел дыхание на ритм углубляющегося покоя, при этом открыв все каналы для внешней информации, что позволило ему, не соскальзывая в медитацию, увидеть ситуацию без искажений, неизбежных при активном собственном сознании. Обычно Туру достаточно было лишь взглянуть на человека, чтобы в течение нескольких секунд идентифицировать его. Ничто не ускользало от его внимания – ни скрытые национальные признаки, ни черты характера... Но на этот раз он был в глубоком недоумении: слишком колоритная фигура просочилась под его закрытые двери. Как пыль. Особенно Тура сбивало с толку исходившее от нежданного посетителя уж очень резкое амбрэ. Самое же неприятное состояло в том, что Тур обонял запах собственного пота. Еще через какое-то мгновенье Тур уже осознал, что его гость с матово-безжизненной кожей – всего лишь его ночной комбинезон, который он буквально минут десять назад скомкал и бросил в проем утилизатора. Поняв это, он взял себя в руки и без всякого смущения подступил к комбинезону, проявившему непонятно почему невероятные функции. Понимая, что объяснить оживление данного предмета сейчас, да и, пожалуй, потом, ему не удастся, Тур решил просто избавиться от этого бытового мусора по обычной схеме. Он попытался свернуть комбинезон для того, чтобы снова впихнуть его во все тот же утилизирующий ящик. Вещь не сопротивлялась, но и не поддавалась давлению рук, и ему пришлось давить на нее и коленями. Не получилось – комбинезон, словно был наполнен плотным поролоном.

Провозившись с ним с полчаса, изрядно устав, запыхавшись, Тур отступился от непокорной куклы. Комбинезон поднялся с пола и с обиженной гримасой на маске снова уселся на стул. Следовало разрезать его на куски, но Тур не держал у себя за ненадобностью режущего инструмента. При отсутствии эффекта по всегда срабатывавшей программе следовало приступить к моделированию новой. Прежде всего, надо было произвольно изменившему свои функциональные параметры предмету дать новое обозначение. На первый взгляд, мышление Тура могло представиться каким-то роботизированным, но так думать было надежней в нынешнее компьютеризированное время. В этом коммутатор уже не раз убеждался. Мистика и все такое, что было связано с чувственностью, только мешали работе. Не вспоминать же, как пять тысяч лет назад знатоки каббалы лепили из красной глины фигуры, оживляли их, называя големами, и не проводить же с ними аналогии?!

Но Тур От-Агасы был бы посредственным специалистом в своем деле, если бы время от времени не нарушал им же самим раз и навсегда установленные для себя правила. Глиняные куклы не могли говорить. И то, что маска комбинезона не имела ротовой прорези, позволило коммутатору отнести свое активизировавшееся ночное одеяние к классу големов. Пока этого было достаточно. На окончательное решение возникшей буквально из ничего проблемы у Тура не оставалось времени. Он почти опаздывал на встречу с

клиентом, контракт с которым был имейлирован еще месяц назад. Все характеристики на клиентов Тур получал через свой безумно дорогой фотонный компьютер, позволявший проникать во все модификации интернетовских сетей, включая и автономные. Проникал он даже в виртуальные сны, не говоря уже о медицинских картах со всеми болезнями и болячками. Эта утомительная и не вполне законная работа позволяла ему выстроить всю картину динамики и статики конфликта, но ключик к нему, как правило, появлялся в его мозгах только в самый последний момент перед визитом.

Сегодняшняя возня с доморощенным големом не позволила коммутатору окончательно отшлифовать план своих действий, и он чуть не выпал в неровном состоянии духа из зависшего над фонтанами и подстриженными кустами вагона. Мог бы серьезно разбиться, все-таки до земли было метров пять. Хорошо, что успел, извернувшись, уцепиться за порог руками. Болтаясь на сильном ветру, как шелковое белье, Тур попытался подтянуться, но ветер действительно был силен и буквально раскачивал его как маятник. Тур в отчаянии крикнул в вагон:

– Эй ты там, помоги!

Что удивительно, голем появился в проеме двери, постоял и попятился назад.

– Да помоги! Дай руку!

Ответа не было, как и малейшей попытки спасти его, хозяина! Да, вещь – это только вещь. К счастью, под болтавшимися в воздухе ногами Тура появилась серая покатая платформа, и Тур, разжав пальцы, спрыгнул на нее, покатился вбок и шлепнулся на траву. «Какое счастье, – подумал Тур, – что некоторые добрые люди заводят у себя домашних слонов!» Слону же, в отличие от коммутатора, не понравилась их встреча в саду. И он, недовольно выдав хоботом: «Му-у!», пошел себе дальше прогуливаться.

Две белоснежные мраморные статуи мужчины и женщины на одном постаменте с надписью «От благодарного человечества», возвышавшиеся здесь, в саду, перед огромным домом – настоящим, с каменными стенами и дубовыми дверьми, – еще раз напомнили Туру От-Агасы, что сегодня его клиентами являлась чета Ким-Квашниных – знаменитых генетиков.

Тура От-Атасы встретила сухонькая старушка со слезящимися глазами. Она выставила вперед свои крохотные кулачки и строго спросила Тура:

– Как вы посмели прыгнуть на картотеку?

– На картотеку? А, на Картотеку ... Милая слониха...

– Какая слониха? Это уникальная картотека генов млекопитающихся, плод многолетних трудов!

– Простите, я не знал. – Теперь Туру стало ясно, почему слоноподобное существо мычало коровой. – Как- то редко приходилось сталкиваться в саду с научной картотекой.

– Вы садовник?

– Нет. Но если вам нужен совет по садоводству...

– Нам не нужны советы по садоводству! – Старушка потрясла кулачком, вытянув его вверх к подбородку Тура.

Несадовнику оставалось только смириться:

– Разрешите представиться. Тур От-Агасы, коммутатор.

– Наконец-то вы появились! Это ужасно! Теперь я должна следить за всем одна, контролировать там, присматривать здесь! И все – одна!

– Не будем говорить о неприятных занятиях, Нина Николаевна, – улыбнулся Тур. – Тем более, что я вижу в вашем доме идеальную, я бы даже сказал, стерильную чистоту. – И он дальше перешел с английского языка на русский:

– Как вам, Нина Николаевна, удается так прекрасно следить за своим домом?

– Это необходимо, – примирительно ответила старушка. – По медицинским показаниям, Мой муж болен, если вам известно. Болен уже тридцать семь лет.
– И слезы полились по ее дряблому лицу. – Я так много сделала для него. Сейчас его жизни ничто не угрожает, но он совсем потерял способность общаться.

– Слезы утешают, – заметил Тур, затем деловито спросил. – Где ваш супруг? Мы побеседуем с ним. Вместе.

– Вы думаете? Я так надеюсь... – принялась тараторить старуха, ведя его через большие комнаты, потом по лестнице вверх.

– Я не слышала его голоса уже семнадцать лет, с тех пор, как хирурги прооперировали ему горло. Да и легкие пришлось заменить, ведь они у него просто не принимали кислород. Это такая болезнь...

Она провела Тура в зал со стеклянным куполом, сквозь который вливался поток солнечного света.

– Дорогой! – воскликнула старушка. – У нас гость.

Тур огляделся по сторонам, но кроме небольшого дерева с толстым бугристым стволом, утопленным нижним концом в хромированную ванну, никого и ничего не увидел. Он обошел дерево, за ним тоже было пусто.

– И где же уважаемый профессор? – спросил он.

– Так вот же он, перед вами, – воскликнула старушка и погладила ладонью кожаный бок растения.

Тур От-Агасы пригляделся к дереву и наткнулся взглядом на глаз в красном окаймлении, печально и в упор смотревший на него с конца короткой розоватой ветки. Конечно же, Тур знал, что профессор Вонбон Ким-Квашнин полвека назад заболел электролизной лихорадкой, вызвавшей медленный распад мышечной ткани. Не помогла даже пересадка донорской массы как от людей, так и от свиней. Обычно такие больные умирают в течение года. Он готов был увидеть нечто близко к слизистому комку, но дерево с глазом...

– Растение... – озадаченно проговорил Тур.

– Я была права, ты – садовник! – разгневалась старуха и снова кинулась бить кулачками в грудь коммутатора. – Вон отсюда! Вон!!!

– Извините, – строго возразил Тур, – разве вы видите в моих руках садовые ножницы или лопату? И где вы, Нина Николаевна, видели садовников без мешка с пестицидами и лейкой?

Пожилая дама недоверчиво осмотрела Тура, заглянув ему и в рукава, видимо, опасаясь, что он в них припрятал маленькие грабли.

– Если я и произнес это слово... – Тур изобразил руками нечто схожее со словом «растение», – то исключительно из-за своего пристрастия к японской поэзии. Помните хокку: «Я как растение, растущее в тебе»?

– Не мелите чушь, молодой человек, – строго, но более миролюбиво произнесла Нина Николаевна.

Тур От-Агасы обиженно, как непонятый любитель поэзии, пожал плечами и сказал:

– Что же касается внешнего вида уважаемого профессора, то что тут особенного? Каждый из нас похож на что-то. У меня был университетский приятель по прозвищу Столб. И все прекрасно понимали, что это только намек на его высокий рост, что само по себе лишь достоинство.

– Молодой человек, если вы действительно коммутатор, то будьте любезны, приступайте к делу, – строго сказала старушка.

– Только один вопрос. Я в курсе тех изменений, которые вам пришлось пережить, но... хотелось бы лично у вас узнать, почему тело вашего супруга приняло столь необычную форму?

– Видите ли, – уже лекторским тоном начала объяснять Ким-Квашнина, – единственным биологическим трансплантатом, неподверженным электролизному вирусу, являются растения. – И гордо добавила: – Мы нашли решение в постепенной замене тканей и органов его тела генетически преобразовано массой *vegetarius kitosplasma.* После первых опытов вживления растительной материи он оставался обыкновенным человеком, правда, с зеленой кожей, которая желтела лишь осенью, но не опадала. Потом он лишился некоторых черт лица, что было не так важно, но потом и руки как-то потеряли свои анатомические формы... Но хочу подчеркнуть, что мозг сохранился и прекрасно функционирует. Еще недавно мы с ним многое обсуждали, – грустно произнесла старушка. – Он, как всегда, был невыносим в споре.

– И как же вы с ним... м-м-м... общались еще недавно, Нина Николаевна?

– Я писала, а он в ответ моргал. Моргнет один раз – значит «да», моргнет два раза – значит «нет».

Только сейчас Тур понял смысл поставленной на попа перед профессорским глазом большой черной доски с брусочком мела на полочке. Должно быть, с такими предметами старуха где-нибудь сто лет назад училась писать в школе буквы.

Между тем она, не умолкая, продолжала болтать:

– Но потом и веки стали распадаться. Пришлось заменить их клетками лепестков роз, а они не моргают. Ответьте честно, юноша, в вашей практике налаживания связей были такие случаи?

– Нечто подобное было, Нина Николаевна, – обнадежил старушку Тур. – Ничто не ново под луной. Положитесь на меня. Если люди желают общаться друг с другом, то способы всегда найдутся.

Тур решил начать налаживание контакта с самого примитивного метода – провокации. Как правило, интеллектуальные особы на нее всегда особенно хорошо реагировали. Он подошел к доске и написал на ней: «Уважаемый профессор, я вживлю в ваш мозг электроды. Посредством легких разрядов тока вы станете по коду Морзе воспринимать информацию. Удары тока выдрессируют Вас отвечать как надо, ну, скажем, тремором веток. Кстати, электричество положительно сказывается на угасающих умственных способностях».

Внезапно одна из гибких ветвей хлестанула Тура по ногам, да так, что он присел от боли, а другая ловко обмотала его горло и принялась душить. Тур, как мог, перехватил растительную петлю, рванулся в сторону, хрипя и скользя ногами по паркету. Ствол профессорского тела наклонился, вываливаясь из лохани. Веточки то ли от сласти насилия, то ли от старческого напряжения мелко задрожали, листочки посыпались на залитый питательным физраствором пол. Старушка бросилась на погибавшего Тура, но не спасать, а укусила его локоть с криком:

– Не смей, мерзавец, ты сломаешь ему конечность! Прекрати дергаться! Руки вниз! – И затем своему мужу с укором, забыв, что муж ее не слышит: – Дорогой, отпусти молодого человека, выйдет скандал. Ну, пожалей его, дорогой, я тут же прогоню его прочь... Наконец, это не гуманно, Вонбон! Тебе будет стыдно.

Тур уже терял сознание, когда трансформированный профессор ослабил хватку, сохранив, видимо, в своем еще не полностью одеревеневшем мозгу элементы интеллигентности. Тур упал на пол, хватая ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Придя окончательно в себя, коммутатор отполз в сторону и оглянулся на дерево-убийцу, угрожающе размахивавшее в его сторону ветками.

– Я так и думал, – с трудом проговорил он пихавшей его в сторону двери старухе.

– Пошел вон отсюда!

– Нина Николаевна, милая, вы меня проткнете своими кулачками...

– Убирайся отсюда, проходимец. Ты чуть не лишил моего мужа жизни! Ты самый настоящий злой садовник!

– Любезная Нина Николаевна, если ваш супруг смог так ловко своей конечностью ... э-э-э ... проманипулировать с моей шеей, то он вполне может и

писать мелом на доске. Действуем как можно быстрее, пока он в возбужденном состоянии и не способен скрывать свои чувства.

Умная старушка тут же побежала к доске и написала на ней: «Вонбон, это правда? Все это время мы могли с тобой переписываться! А ты молчал.» – и принялась тыкать мелом в конец одной из веток.

Ветка профессора Вонбона Ким-Квашнина неохотно захватила мелок и размашисто накарябала на доске: «Дура старая, ты когда-нибудь отстанешь от меня или нет?»

Старушка подскочила на месте и, вырвав из ветки мелок, написала: «Ты не смеешь со мной так разговаривать! Я отдала тебе все, что имела, мерзкий старикашка!»

Обычно Тур после хорошо выполненной работы возвращался в свой вагон с приятным чувством предвкушения покоя в идеальной тишине. Но сегодня одна лишь мысль о том, что там сидит на стуле големизировавшийся комбинезон, а на крыше – грач, сделала его настолько несчастным, что он готов был сам бежать и записываться в Ассоциацию младенцев-неудачников Третьего тысячелетия, чтобы его снова переродили. Оставалась надежда, что за день этот тип как-нибудь сам сдулся, а птица сдохла.

Но нет, голем сидел на прежнем месте и покачивал головой. К счастью, грач улетел.

Меч деревянный, холодный огонь
(папка вторая)

Вдернувшийся в свой вагон Тур застал голема в той же унылой позе присевшего на краешек стула человека, потерявшегося в незнакомом пространстве. Разве что голем стал время от времени энергичней вскидывать вверх руки, словно молящийся своему богу иудей. Тур настолько устал от общения с эмоциональными академиками, что, проходя мимо, лишь пощупал его за челюсть, проверяя, не опал ли он хотя бы чуть-чуть. Затем сразу же, раздевшись догола, натянул на себя свежий спальный комбинезон и рухнул на полку. Проснувшись через привычные четыре часа Тур, как всегда, стянул с себя заспанный им комбинезон и выбросил его в утилизатор. Накинув на себя шелковый халат, Тур снова прилег на полку и принялся читать русский роман «Бедная Лиза». Но какие-то странные звуки в вагоне не позволили Туру всей душой проникнуться сопереживанием к несчастной девушке. Тур приподнялся на локте и поглядел в сторону бытового сектора вагона. Он увидел там пыхтящего возле проема утилизатора фантома, пытающегося вытянуть за рукав своего собрата, который, в отличие от него, оставался в прежнем смятом виде. Как алкоголик на городской помойке!

Коммутатора охватило настолько сильное отвращение к этому типу, что он, не удержавшись, подскочил к фантому и пнул его в бок. Да так сильно, что тот резиновым матрасом размазался по стене. Тур скрутил его и потащил к зеву утилизатора, чтобы, наконец, отправить его вслед за его новым дружком. Но на этот раз фантом не только сопротивлялся, но и мягко отбивался конечностями. Мягко, пользуясь тавтологией, – слишком мягко сказано. Удары были чувствительны, как от футбольного мяча. А иногда – как от плотного соприкосновения с боксерской перчаткой. А тут еще раздался стук в дверь. Такого еще не было! Никто и никогда не приходил к коммутатору навестить его: ни клиенты, ни полиция. И зачем, если есть электронные контакты?!

Тур бросил фантома на пол и открыл наружную дверь. За ней стоял, если можно так выразиться, мужчина в явно сшитой одежде, что само по себе было удивительным. Точнее, он стоймя завис перед оторванным от земли метров на сорок вагоном От-Агасы. Но в глаза прежде всего бросилось то, что мужчина в тридцатиградусную жару, царившую здесь, на берегу Каспия, стоял с лыжами в руках. Лыжи были подбиты оленьим мехом, протертым местами до голой серой кожи. Ими явно пользовались.Такая никчемная этнографическая штучка, а смотри, нужда в ней была! Мужчина вежливо улыбнулся и торопливо шагнул в жилище Тура. Встав на пол, он словно сбросил с себя крайне тяжелый груз, но лыжи не отставил в сторону. Оглядываясь вокруг, незваный гость сказал:

– Хант.

– Что?

– Такая фамилия, а имя Третьяк. – И Хант, пристально вглядываясь в лицо коммутатора, добавил с лукавой усмешкой: – Они приходят, когда меч деревянный и огонь не сжигает.

– Это вы о ком? – еще более рассердился Тур От-Агасы.

– О нелюдях. Так вам с ним не справиться. Хотите, я вашего сейчас порежу на кусочки? – И вынул кинжал, висевший в ножнах на поясном узком ремешке.

Тур оглянулся на свой угрюмо сжавшийся в дутый комок строптивый комбинезон и, сам не зная почему, отказался от своевременно предложенной услуги:

– Нет-нет.

– Как хотите, – разочарованно проговорил Хант и вернул в кожаные ножны свое страшное оружие. – Я представляю Уральскую общину. Мы нуждаемся в таком специалисте, как вы.

– Я вас внесу в список. Где-то через месяца полтора, возможно, я найду для вас время. Оставьте свои координаты и изложите кратко суть проблемы. – Туру не терпелось выпроводить нового клиента из вагона, и он протянул

первую же попавшуюся ему под руку дискету. Хант принялся разглядывать дискету.

– Информацию нанесете на нее, – объяснил Тур и, видя, что клиент не понимает, как необходимо работать с дискетой, добавил на всякий случай: – Это просто. Наговариваете текст прямо на нее. На ту сторону, где полоска с точечками. А потом вставите в любой компьютер. Можно даже в замок в любом отеле или... ну, знаете, бывают такие замки на дверях, как прорезь. И я получу ваши данные.

Хант повертел дискету в руках и вернул ее Туру. Поколебавшись некоторое время, он, не обращая внимания на явное неудовольствие коммутатора, все же продолжил свою речь:

– Большинство старцев против вмешательства извне в дела общины. Не надо назначать конкретного времени. И причина, по которой мы к вам обращаемся, пусть останется в стороне от нашего сегодняшнего разговора. Мы еще встретимся с вами. Так же просто, как вы наговариваете на свою дискету. Мы просим вас держаться левой стороны луны. И если суждено будет, то этот путь приведет к нам. Я лично очень рассчитываю на вашу помощь. – И шагнул к двери, на прощанье добавив: – Если, правда, вы искренне захотите нам помочь.

После ухода странного человека с доисторическим кинжалом Тур, подчиняясь профессиональной привычке, принялся анализировать причины, по которым он не согласился на уничтожение неприятного для него голема пусть варварским, но, без сомнения, эффективным способом. То, что комбинезон впитал какие-то частички и капельки от него самого, не в счет, все они представляли отходы его организма. И жалостливый вид голема не вызывал у него никаких симпатий, даже больше, была в движениях ожившего комбинезона явная пародийность, оскорбительная для Тура. Значит, оставалось одно – любопытство, желание знать: как и каким образом пижама из изначально мертвой синтетической материи приобрела способность двигаться и стремиться выполнить свои автономные запросы. Конечно, ткань комбинезона обладала рядом функций, но все они сводились лишь к гигиеническим... Буду наблюдать, если он меня не придушит, – решил Тур, и тут заметил, что уральский гость оставил свой кинжал с ножнами и кожаным поясом. Тур с удивлением взял клинок в руки и отметил, что этот режущий предмет и при близком приближении нисколько не пугает фантома. Значит, комбинезон даже с пучеглазо-раздутыми глазницами оставался слеп.

– Вот, дружок! – воскликнул Тур. – Ты как-то должен реагировать на окружающую среду, что-то там соображать. Интересно, чем же ты, с позволения сказать, мыслишь? Не скажешь? Ах да, у тебя ведь нет языка, да и рта тоже. Ну и ладно. Видел ножичек? Я могу тебя им раскроить на носовые платки.

Возможно, подумал Тур, он не понимает человеческую речь. Надо произнести все это с как можно более угрожающей интонацией. И повторил. Но фантом снова не встревожился, хотя даже червяк от таких воплей поспешил бы уползти прочь.

– Нет, – принялся размышлять вслух Тур. – Для того чтобы понять, как этот спальный мешок стал человекоподобно функционировать, надо разобраться, что он воспринял от самого человека. Начнем с предыстории происшествия. Я в нем спал. Его ткань за ночь пропиталась моим потом. Ну конечно! Наш дружок воспринимает мир как слепоглухонемой – по запахам. Надо признаться, что знакомиться с миром ходячий памперс начал с не самых приятных впечатлений – с вони, а если приплюсовать сюда и... То-то у него такая кислая физиономия. Ну, ничего, ничего, дружок, что естественно, то не безобразно, как говорили древние римляне. Так соприкасаясь с моим телом, он также воспринял температурные колебания и вообще весь спектр тактильных ощущений. Если его дружески погладить, думаю, он успокоится.

Тур легонечко похлопал голема по шее, и Дружок с поникшими плечами, как провинившийся пес, уселся у его ног.

Решив навскидку первую задачу, Тур задумался о визите Ханта. Была когда-то такая сибирская народность – ханты. Была – не была, уже не важно, теперь даже в Европе не найдешь никого, кто называл бы себя немцем или французом. Впрочем, ведь и там сохранились национальные общины.

После ликвидации государственных границ вокруг маленьких городов иногда возникли замкнувшиесянасебе людские островки, упрямо продолжавшие считать себя православными румынамиилижеиндусами, признававшими только Будду. Эти общины прервали связь со всем остальным миром, но их демарш никак не отразился на деловом ритме глобального, сливающегося в один цвет мира с одним языком «speak-all», в котором почти половина слов не произносилась, а обозначалась интернетовскими иероглифами.

Самые крупные общины численностью до нескольких сот тысяч приверженцев закрепились в Евразии. Но за последние десять лет явление Ханта было единственным случаем обращения общинника к Туру От-Агасы как специалисту по контактам. И в силу того, что о жизни общин практически ничего не было известно, Тур не стал заносить в свой рабочий блокнот заявку от Ханта, посчитав достаточным для себя помнить о смешной просьбе держаться левой стороны луны, хотя и представить себе не мог, что бы это могло значить. Будет суждено с ними встретиться, значит, встретится, а нет – так нет. Но на Луну лететь он и не подумает. Слишком дорого для любого специалиста, не получившего даже аванса за предстоящую работу.

Коммутатор Тур От-Агасы, позавтракав витаминизированным яйцом, занялся проблемами очередного клиента. Им был мэр города Бейрут Мустафа Ли, желавший провести, наконец, многократно откладывавшиеся из-за неявки

избирателей выборы. Ближневосточный градоначальник каждый раз вынужден был оставаться мэром, и каждый год на него совершали покушения террористы, один раз оторвав ему взрывчаткой ногу, во второй раз выбив ему глаз пулей из снайперской винтовки, а в третий раз просто прожарив его микроволновыми лучами так, что ему пришлось менять сразу и печень, и почки. И вагон Тура направился в сторону Средиземноморья.

Дочитав «Бедную Лизу» и создав для забавы краткую видеоверсию романа на экране компьютера, Тур вздремнул еще часик без комбинезона. Встав, он несколько минут принимал ионо-душ, похлопал по загривку голема, что у них уже означало «За мной, Дружок!», и шагнул на мостовую городской площади перед мэрией Бейрута.

В здании мэрии из кабинета в кабинет бродили лишь туристы. Даже охраны не было. Только улыбчивый гид демонстрировал заезжим любознайкам пулевые отверстия на стенах, стрелу из арбалета, впившуюся в верхушку спинки кресла мэра, силуэты убитых охранников, нарисованные полицейскими на полу, и другие знаки покушений.

Побродив вместе с туристами по обшарпанным коридорам мэрии, Тур с Дружком отправился в ближайший бар на площади, где сразу увидел на большом экране живого Мустафу в реальном времени, мнущегося возле дверей лифта в пустом здании. Тур простодушно спросил узкоглазого бармена:

– А где это он?

– Кто? – не понял тот, протягивая ему заказанный бокал с крепким алкогольным эликсиром из светлой кувейтской нефти.

– Ваш мэр. – И добавил, уже внимательней поглядывая на не понимавшего его бармена: – Мэр Бейрута Мустафа Ли.

Бармен хмуро ответил:

– Не представляю, о ком это ты, – и с недовольной рожей отошел от любопытного посетителя.

Тур хотел было обратиться со своим вопросом к сидевшему рядом пьянице, но тот сходу перебил его:

– Твой помятый приятель, вижу, разгулялся! Как бы ему здесь не перебили окончательно все кости.

Коммутатор оглянулся и увидел, что Дружок нагло пристает к женщине за дальним столиком, пытаясь залезть башкой ей под короткую юбку. Дама решительно отпихивала его, успевая при этом и почесывать пальчиками ему за ухом. Ее приятельница хохотала и хвастливо твердила:

– Я спала с мумией. Настоящей, египетской. Ты не поверишь! Я – и с самой настоящей мумией!

– Это извращение, – нежно проворковала, отбиваясь от голема Тура, красавица.

– Это экзотично.

– Но эти мумии такие сухие!

Тур поспешил оттащить от женщин приставалу, заметив при этом, что его самого повлекло к избраннице своего дружка. Еле слышный блудливый запашок – вот что его потянуло к ней вслед за Дружком. Он присел за столик и, пытаясь завязать легкий треп с подчеркиванием своей значимости, сказал:

– Я не встречал вас на приеме у мэра? Я вижу, самых красивых женщин Бейрута Мустафа не знакомит ни с кем...

Дамы тут же встали, словно вместо банальной светской фразы услышали грязную, пошлую реплику в свой адрес. Другие тоже стали упорно сторониться Тура, который вначале решил, что бейрутовцев смущает необычный вид Дружка, но потом понял, что причина неприязни заключена в его интересе к фигуре самого мэра.

Мустафа Ли, жалуясь на тотальное равнодушие к его персоне со стороны горожан, явно ошибался. Они вовсе не были безразличны к его судьбе. Наоборот, все с пристальным вниманием следили за каждым его шагом, вдохом, словом. Весь Большой Бейрут с волнением наблюдал за охотой на него. И так давно, что этот театр приобрел свою эстетику, диктовал моду в городе, манеру поведения. Действовали негласные правила слежения. К примеру, считалось крайне дурным тоном выказывать свою заинтересованность в гибели мэра, хотя за последние три года ставки возросли настолько, что случись, наконец, убийство мэра, полгорода разорилась бы в пух и прах. Ставки на него сделали даже его жена и дети. Террористов все знали в лицо, хотя крайне неприличным было задавать им какие-то вопросы, связанные с их делом, или вообще заговаривать на эту тему. Так же недостойным считалось замечать саму жертву, говорить о ней как о человеке. Неудобно, нецивилизованно.

Тур решил проверить, насколько этот стереотип поведения стал устойчив, в течение нескольких часов расспрашивая горожан об их мэре, благо экраны всех телевизоров во всех магазинах, ресторанах, подземных переходах и просто навешенные на стены домов все время показывали мэра, то поднимающегося на лифте, та жующего быстро-быстро, как заяц, что-то зеленое, то обращающегося с призывами к своим избирателям выполнить их долг и прийти к урнам для голосования. Скоро перед Туром все стали закрывать двери, а полицейские побрезговали арестовать его, когда он демонстративно стал поколачивать Дружка по голове, выкрикивая при этом на всю улицу:

– Ты думал, если у тебя перебинтована голова, я снова не проломлю тебе череп, как Мустафе?

Тур добился только того, что за ним установили постоянную слежку сами террористы, заподозрившие, что этот чужак сам решил замочить мэра. В маниакальной версии была и прагматичная идея. Они надеялись, что чужак каким-то образом наведет их на скрывавшегося мэра. Но напрасно. В заочном контракте, заключенном между ним и Мустафой Ли, не указывалось, что он по прибытии в Бейрут обязан искать заказчика. Только дата прибытия коммутатора в город. И Тур успокоился, устроившись на морской набережной

под пальмами пить дорогой кофе по-турецки. Вокруг них с Дружком образовалась пустота. Горожане, как в цирке, наблюдали за ними, иногда споря между собой, являются ли постукивания Туром ладонью по загривку замотанного бинтами человека в маске гомосексуальными ласками или это метод лечения типа массажа. Популярность их росла день ото дня. Эта парочка стала мелькать на телеэкранах Бейрута. В одном углу – они, в другом – все тот же мечущийся в каких-то полутемных помещениях небритый мэр, обтрепанный, как Робинзон Крузо после кораблекрушения. А на основном экранном поле – обычные шоу: сериалы, музыка, спорт...

Особо не напрягая извилины, Тур скоро высчитал, что мэр Большого Бейрута скрывается в лифтах городских зданий. Это было умно. Хотя, как и в других точках, в лифтах были установлены вечные телекамеры, но благодаря тому, что невозможно было изнутри привязать конкретный лифт к той или иной местности или фасадам самих зданий, крайне затруднительно была определить, в каком именно строении Мустафа Ли мотается вверх-вниз. К тому же, видимо, он болтался между этажами тех небоскребов, которые принадлежали городским службам или крупным фирмам, сотрудники которых, как правило, работали у себя дома, общаясь между собой или с боссами виртуально. Изредка можно было увидеть человеческие фигурки в конце длинных коридоров, когда мэр перебегал из одного лифта в другой. Оставалось загадкой, как он добывал себе еду. Над этим, наверное, задумывались и террористы, так как они выслали во все кухни города письма с угрозами, что превратят в одну печку любое заведение, которое примет заказ из лифта. Как уважающий себя профессионал, Тур решил несмотря ни на что выполнить свою работу или, по крайней мере, встретиться лично с клиентом. Ему пришла мысль, что мэра можно найти по запаху, так как тот и испражнялся в лифтах. Тур зашел в туалет и там ловко и быстро влез в потащившийся, как обычно, за ним комбинезон. Дружок страшно сопротивлялся такому насилию над собой, изворачивался, скручивался, но как только Тур прилепил маску к своему лицу, затих. Пасшие коммутатора террористы не обратили внимания на потяжелевшего Дружка, одиноко отправившегося из туалета неизвестно куда. Между тем Тур повел свой комбинезон в мэрию, где снял чувствительной тканью комбинезона с кресла мэра запах отсутствовавшего хозяина, а затем принялся обходить все небоскребы Бейрута, посещая только вентиляционные помещения, гонявшие воздух по всем этажам и колодцам лифтов. В седьмом стоэтажном здании Дружок установил, что мэр мочился в одном из лифтов неделю тому назад, в двадцатом – вонь свежей мочи искомого субъекта. Дав свободу движениям своего комбинезона, Тур менее чем через час отловил в остановленном между двадцать восьмым и двадцать девятым этажами лифте мэра, зачитавшегося позавчерашней выброшенной кем-то газетой. Пойманный Мустафа даже не сопротивлялся: так, видимо, ему надоело убегать от смерти, прячась в изолированных кубатурах, схожих с гробами. Он даже проявил некоторое

неудовольствие, когда из комбинезона выбрался человек и назвался не киллером, а коммутатором, который подрядился спасти его. Особенно когда Тур предложил ему просто покинуть город, разыгрывавший его жизнь.

– Я не могу! Устав не позволяет гражданину, исполняющему обязанности мэра, покидать пределы города.

– Абсурд, – не согласился с ним Тур. – При чем здесь это?

– Как при чем? – взорвался Мустафа Ли. – Это закон. А я законопослушный гражданин. По закону мэру – можно, а исполняющему – нельзя. И что смешно, этот пункт в законы города предложил я сам. Ибо либерализм – мой флаг! Больше того, я теперь, как исполняющий обязанности мэра, не могу распоряжаться финансами, не могу вносить проекты новых законов, я ничего не могу. Я как кукла мэра! И послушайте, господин От-Агасы, мне рекомендовали вас как высококлассного профессионала по контактам, а не как советника. Советниками я сыт по горло! Не надо мне высказывать банальные истины. Мне нужно только одно: вы должны добиться понимания между мной и бейрутовцами. Чтобы они снова прониклись законом, простой гражданин со всеми правами! – и, успокоившись, добавил примирительно: – Не желаете ли перекусить? Здесь недалеко проходит лифт отличного китайскогоресторана.

– Нет, спасибо. Мы и так потеряли много времени, – отказался Тур, заметив при этом, что, несмотря на принадлежность к исламу, Ли сохранил свои национальные кулинарные пристрастия.

– А вы? – обратился мэр к недовольно пыхтевшему в углу Дружку, видимо, оскорбленному туровским пребыванием в его нутре до самой глубины души.

– И он не желает, – отказал за Дружка От-Агасы, думая о том, как же просто иногда разгадываются неразрешимые, казалось бы, тайны. – Постараемся лучше найти ход, способный откорректировать ваши взаимоотношения с избирателями.

– Найдите, найдите! Гонорар ведь немаленький!

В этот миг раздался взрыв, и шахта лифта наполнилась дымом.

– Выследили все же, негодяи! – воскликнул мэр и тут же обвинил в этом коммутатора От-Агасы.

Тур не стал оправдываться, тем более что взрывы стали громыхать один за другим. Попавшей в беду преследуемой троице с трудом удалось перебраться в лифт на другом конце коридора. Но лифты уже не скрывали их. Террористы при поддержке «New litts» принялись уничтожать все лифты во всех зданиях города. Изменилась и структура ставок на жизнь мэра. Теперь ставили на числовой порядок взрывов, хотя уничтожали его вслепую, наугад. Сразу же появились проигравшие идиоты, которые поставили на первые десять взрывов. Их было немного, но своим отчаяньем они настолько подогрели

публику, что все горожане повалили на улицы, словно во время футбольного чемпионата.

– Сколько лифтов в городе? – спросил Тур у мэра.

– Около семидесяти тысяч.

– Если они будут взрывать по тысяче лифтов в сутки ... жить нам осталось самое большое два месяца.

– Это мой срок. Вы можете уйти в любой момент.

– Уверяю вас, мой юрист не побеспокоит вас иском за неисполнение контракта.

Туру действительно стоило бежать от обреченного Мустафы, но почему-то ему стало жаль этого человека, попавшего в жернова нечеловеческого азарта. За годы травли, охоты на него он ведь так и не взял сам в руки оружия для самозащиты. Да и то, что он выжил, выстоял в этом казино смерти, уже свидетельствовало о его незаурядном мужестве и воле. Коммутатору удалось запихнуть Мустафу Ли в Дружка и провести его в здание, в котором расположился офис террористов, бегавших по всему городу по следам гонимого ими мэра. Там они, естественно, опять устроились в лифте, уверенные, что этот подъемник взорвут в последнюю очередь. Можно было перевести дыхание, подумать, как им благополучно разрешить возникший в Большом Бейруте конфликт. Но мозговать над ситуацией пришлось одному Туру, так как несчастный, загнанный всеми Мустафа только мешал ему своей пустой болтовней:

– Есть такой остров в Атлантическом океане, слева от Ирландии, – Майда. Впервые его отметили на картах в 1367 году братья Пицигано. Рядом с этим островом они нарисовали три бретонских корабля. Один из них тонет, опрокинутый восьминогим морским чудовищем, а над всеми висит дракон с человечком в пасти. Рядом надпись, которая не читается, но какие-то слова написаны на арабском. Вспоминали об этой карте картографы и XV века. Один из них поместил остров рядом с Ньюфаундлендом и сделал безграмотную надпись: «I man orbolunda». На искаженном латинском языке «orbolunda» означает «окружность луны». Но на современных картах острова Майда нет.

Тур решил, что мэр от перенапряжения нервов стал заговариваться. Но нет, следующая его фраза подтвердила, что он еще в своем уме:

– Там совсем нет лифтов. Я бы хотел умереть там. – И грустно-грустно улыбнулся, затем добавил: – Все это совершенно бессмысленно. И то, что они охотятся на меня, и то, что я от них убегаю. Выхода нет. .

– Значит... – задумчиво произнес Тур. – Значит, для того, чтобы все-таки появился какой-то выход из этой бессмысленной ситуации, ее надо сделать еще бессмысленней.

– Что вы имеете в виду?

– Я? Я думаю, вам надо поставить на самого себя. И прямо сейчас, и громогласно.

Мустафа какое-то время с ненавистью смотрел на коммутатора, но, увидев смеющиеся глаза Тура, сам хихикнул и согласился. Они тут же встали перед видеокамерой, вмонтированной в верхнюю часть стенки лифта, и Мустафа громогласно заявил:

– Ставлю на смерть Мустафы Ли в течение сегодняшнего дня все свое движимое и недвижимое имущество! – И отправил лифт на первый этаж, где спокойно направился через холл к выходу из здания навстречу террористам.

Пораженный его решением, весь Бейрут замер, не веря своим ушам, но через несколько минут взорвался:

– Негодяй!

– Он не имеет права!

– Это мошенничество!

– Он все себе загребет!

Возмущение публики было столь огромно, что толпы людей, вывалившихся на улицы, потребовали немедленного смещения Мустафы Ли с поста мэра. Ведь и последнему ближневосточному ослу было понятно, кто потеряет свои деньги, а кто их приберет себе в могилу. Коммутатор Тур От-Агасы мог быть доволен: связь мэра с его избирателями была восстановлена. На выборы нового градоначальника пришли все сто процентов избирателей, даже умалишенные и парализованные старцы, которых соседи несли к урнам на носилках. В полночь уже объявили по всем телевизионным каналам, что Мустафа Ли лишился доверия бейрутовцев. Все ставки с его головы были сняты, а террористы впервые за несколько лет напились в первом же попавшемся баре, проклиная мошенника экс-мэра. Время от времени кто-нибудь из них призывал его все же убить.

– Кого? – спрашивали другие, но все смотрели на экраны телевизоров.

Там не было Мустафы Ли. Отдыхая в своем вагоне, Тур вспомнил об исчезнувшем с карт острове Майда, на котором мечтал пожить его клиент. Что-то он там говорил об окружности луны и о том, что этот остров слева от Ирландии. Ведь так ему и было сказано: держаться левой стороны луны... Левой стороны или слева? Но усталость заставила Тура погрузиться в сон без сновидений и забыть и про луну, и про всякие там острова без лифтов.

Спящая красавица
(папка третья)

К не сдувавшемуся ночному комбинезону Тур попривык, как смиряются с ненужной мягкой мебелью: замучаешься вытаскивать ее из комнат и тащить на мусорную свалку, а так стоит себе где-то – ну и пускай стоит. Но Дружок постоянно стоял или сидел обязательно рядом с ним, совершенно неподвижно, изредка лишь разводя в стороны руки, словно удрученный бесконечными личными потерями неудачник. Коммутатору было неприятно думать, что маска комбинезона сохраняет гримасу, которая, возможно, вырисовывалась на лице Тура От-Агасы только в глубоком сне и лишь когда он лежал лицом к стене. По крайней мере, так она могла выглядеть, если бы Тур все-таки задумался наяву над своей незавидной судьбой ремонтника чужих жизней, которого люди ждут только в минуты не интересных никому, кроме них самих, несчастий. Впрочем, и они его особенно не интересовали. Обычно Тур мгновенно, как только получал заработанный гонорар, стирал из памяти всех, с кем ему приходилось общаться. Вот только от спасенного им Мустафы Ли он никак не мог отделаться.

Бывший мэр Большого Бейрута порядочно наворовал в своем городе и, имея огромную сумму на энергетических карточках, неутомимо соблазнял Тура невиданными суммами, прося найти ему остров Майда, где нет лифтов. Это было похоже на шизофреническую сверхидею, так как ни в одном океане, море или озере никакого такого острова не существовало. Чтобы хоть как-то отделаться от Мустафы, Тур назначил консультантом по переговорам Дружка, который быстро научился кивать приставучему мэру, выслушивая все возможные маршруты и даты отправления в путь, которые предлагал богатый бейрутовец. Сам же коммутатор предпочитал, полеживая, читать сентиментальные книжки и иллюстрировать их в технике компьютерной графики. Герои и героини нравившихся Туру романов, что странно, были озабочены не своими делами, а проблемами других людей и даже государств. Последнее вообще смешило Тура, особенно когда какой-нибудь революционер, националист или президент носился с некой архаичной формулой, замешанной на риторическом самообмане и тщеславии.

К поэзии он относился почти холодно, но это охлаждение к самой изящной словесности было схоже с медицинским замораживанием травмированных тканей. В данном случае – сердца. В юности он был влюблен в стихи прекрасной Софии Шмидт. Чего только он не предпринимал, чтобы она хотя бы вскользь обратила на него внимание. Надо сказать, что он почти добился своего. Дело даже шло к свадьбе. Но тут немка София увлеклась исламом, и так страстно, что и Тур в ее глазах стал видеться только в чалме имама. И хотя От-Агасы, как казах, принадлежал к нации, исповедовавшей мусульманство испокон веков, сам он был равнодушен к религии, считая

функцию Бога слишком сложной для своего понимания. Да и вообще, неохота ему было молиться пять раз в день, и все тут! Так и рухнула его любовь к поэзии, хотя поэмы Софии Шмидт, как он слышал, стали ставить в один ряд с поэмами Джалалуддина Руми.

– Наша куколка! Моя пантерочка! Моя бедная Найт! Помогите нам сейчас же! Я, мать, лишилась счастья говорить с ней, угостить свою птичку сладкой капелькой нектара!

Тур в течение часа молча выслушивал страдания несчастной матери, потерявшей возможность общаться с дочерью, что в принципе относилось к весьма и весьма банальным историям, заканчивавшимся опять же несчастьем матери, заново обретшей все прелести общения с собственной дочерью. Дождавшись, пока она угомонится, Тур стал задавать вопросы папаше. Тот отвечал конкретно и кратко, что порадовало коммутатора, но не помогло ему выстроить перспективный план действий.

Найт Окумбу за двадцать лет ее жизни похищали с целью выкупа двадцать семь раз. Видимо, банды имели в своем составе высококлассных специалистов, так как нужно было иметь высшее технико-информационное образование, чтобы вскрывать усложнявшиеся с каждым разом системы охраны. Наконец любвеобильные родители приобрели для доченьки такой щит, который оказался никому не по зубам. Тур решительно отстранил чету Окумба и занялся исследованием программ и материалов этой последней, роковой индивидуальной защиты дочери африканцев. Система эта относилась к эксклюзивным разработкам известной московской охранной фирмы «Protiv loma» и являлась самосовершенствующейся в зависимости от местных условий и психики клиента. Вначале все шло прекрасно. Родители успокоились и были счастливы, наблюдая, как их доченька гуляет без телохранителей и в шоу-зонах Парижа, и по аллеям их дворцов, даже не оглядываясь на тех злоумышленников, которые то и дело безуспешно пытались и так и сяк прорваться к ней и захватить ее.

Москвичи создали замкнутое только вокруг Найт Окумбы поле, которое, как невидимая скорлупа, не позволяло притронуться не то чтобы к ее телу, но даже и к краям ее одежды. При попытке оказать давление защитное поле мгновенно распыляло в ничто любой инструмент, оружие или человека. Девушке не страшны были ни пули, ни лазеры. При этом Найт по своему желанию могла принять к себе все, что ей хотелось. Но по прошествии какого-то времени поле-скорлупа решило, что и простое общение с другими людьми может быть для девушки опасным, и она стала словно глухонемой. Реальной угрозой скорлупа посчитала и то, что могла узреть девица. Действительно, в этом мире можно было увидеть такие жуткие вещи, что не дай Бог! Заиканьем не отделаешься. Правда, Найт стала заикаться уже со второго похищения, но биокомпьютерная система представила этот факт только дополнительным аргументом в пользу полного изолирования клиентки от окружающей среды и

людей, включая и родителей. Мысли тоже бывают опасными для человека, в отличие от животных, способного в моменты отчаянья на самоуничтожение. Система была умна, она понимала, что, сидя в абсолютно замкнутой скорлупе, не пропускающей даже свет и запахи, человек может ох как отчаяться! Поэтому в завершение всего система защиты просто усыпила Найт. До появления Тура девушка таким образом проспала беспробудно уже восемь месяцев и три дня. Надо отдать должное биокомпьютерной скорлупе – она действительно отвечала за жизнь на все сто процентов: спящую девушку и кормила, и предоставляла ей радостные и красивые сны. Целые сериалы, в которых Найт жила сама и была счастлива.

Такой, цветущей и улыбающейся, в постели, и увидел ее Тур. Она была прекрасна. Тонкое шоколадное лицо обрамляли кудрявые черные пряди, груди были высокими и на вид сочными, как африканские плоды. Тур буквально замер перед ней. Самым завораживающим чудом был ее тихий смех, раздававшийся время от времени.

Что такого забавного она видела в навязанных ей сновидениях? Тур никогда не был склонен к софистике, но тут вдруг самые противоречивые мысли стали буравить его оптимально отлаженный и выстроенный интеллектуально мозг. Он смотрел на безмятежное здоровое лицо девушки и думал о том, что стремление родителей разбудить свою дочь по жестокости близко к желаниям похитителей украсть у нее жизнь и затем продать подороже. Нет, в этой акции ему участвовать не очень хотелось. Охранная система прекрасно справлялась со своей работой: Найт Окумба была в полной безопасности, не ощущала страха и тревоги и забыла все те ужасы, которые ей пришлось пережить. Какое он имел право нарушать личную идиллию лежащего перед ним прекрасного существа? Лишь только потому, что ее родные толстяки хотят поболтать с ней, обцеловать ее щеки, покормить шоколадом? Да, его желание заработать на этом выглядело тоже насилием... Зачем ей возвращаться в этот кошмарный мир? Чтобы быть в конце концов убитой или покалеченной, как райская птичка, на которую никогда не окончится охота? Что еще интересного она могла бы узнать, верни он ее сознание в этот мир, где реальность давно уже спуталась с виртуальностью? И чем этот мир отличается от мира сновидений, где она, без сомнения, уже счастлива?

И чем дольше думал о Найт коммутатор Тур От-Агасы, тем больше понимал, что не дает ему взять и уйти от нее его собственный эгоизм. И дело даже не в гонораре. Он влюбился в эту девушку. И хотел, как любой влюбленный, чтобы она знала о его любви. Это минимум, от которого не мог отказаться даже Меджнун, кружившийся в своем безумии вокруг шатра Лейли. Правда, Тур все же сделал слабую попытку исчезнуть, с трудом признавшись супружеской чете Окумба, что он не взломщик, а специалист по коммутативным связям. На что мамаша воскликнула:

– Ах, как я рада! Вы моя надежда! До вас только и пытались тут все взломать, а я хочу только одного: чтобы моя пантерочка увидела, как любит ее мама!

Но все попытки Тура разблокировать скорлупу вокруг своей возлюбленной не увенчались успехом. День, наполненный работой, шел за днем, неделя за неделей. Все оказывалось бессильным перед этой хитроумной штукой фирмы «Protiv loma». Москвичи с их полувековым опытом общения с самыми страшными и изобретательными террористами и ворами постарались на славу. Тур позвонил в Москву и позже даже слетал в Москва-сити на встречу с противломовцами, но те лишь пожимали плечами, отвечая, что сами не в курсе. Программу системы для Окумба писал некий Серый – это то ли кличка от имени, то ли фамилия. Появлялся этот Серый лишь на мониторах и в голограмме, когда фирме нужно было что-нибудь такое сверхнеобычное. Поговаривали, что он живет на каком-то никому не известном острове.

– Ну, как там, в Африке, массы? – поинтересовались противломовцы.

– Представления не имею, – ответил он неохотно.

– А у нас тут совсем омуравились.

– Что?

– Так Серый называл поведение масс. Он считает, что массы начинают в эволюции человечества.

– Это меня не касается. – Тур постарался уклониться от ненужного ему разговора.

– Касается, касается, – ответили ему с усмешкой. – Еще неизвестно, как муравейник поведет себя по отношению к нам, элите.

– Мне-то что? Я коммутатор.

– Редкая специальность, – с уважением произнесли противломовцы. – Нам нужен специалист такого плана. Мир вышел на новый виток усложнения.

– Или упрощения.

– Вот-вот, – дружно стали поддакивать москвичи.

Серый говорил о том, что без духа ни биотехнологии, ни просто технологии – полный отстой и упорно спрашивал:

– Что вы знаете о духе, о душе? Вы работали с Богом?

О мистике коммутатору говорить не хотелось и он с трудом, но отбился от охранной фирмы, Бога ему еще не хватало! А вот от Мустафы отделаться он так и не сумел...

– Вот видишь, – шептал Туру в ухо прилипший к нему снова в Москве Мустафа. – Остров. Наверняка это остров Майда! Там нет лифтов, но есть все ответы.

– Ну и катись на этот остров, – сердито отбивался от него Тур.

Но Мустафа продолжал наседать на него:

– Пока вы там развлекались со своими африканками, я тут кое-что узнал...

Туру очень захотелось дать пинка Мустафе. Он с гигантским трудом заблокировал заклокотавшую в нем злость, так что сил хватило лишь прошептать в ответ: – Что значит – развлекались...

– Я же все вижу сверху, там... Особенно этот ваш Дружок. Совершенно развращенная обезьяна.

Пока коммутатор подбирал ключи к заботливой тюрьме Найт, ее пожилые родители худели. Лысая башка мистера Окумбы покрылась густыми кудряшками, а лицо его супруги разгладилось, впрочем, все еще оставаясь дрябловатым. В их организмы были встроены генные структуры, вызывающие омоложение тел. Штучки фантастически дорогие, но несовершенные. Да, столетний старец с такой генетической программой буквально за несколько месяцев становился семнадцатилетним юношей, но затем снова за три-четыре года возвращался в свое прежнее дряхлое состояние.

Супруги Окумба уже неоднократно проходили этот цикл, но все равно испытывали первобытный восторг перед возвращавшейся к ним молодостью. Они веселились, больше стали заниматься плаваньем и танцами, стусовались с комбинезоном Тура, который в первый же день знакомства с ними нарочно раздулся до предела, чем вызвал глубокую симпатию со стороны африканской жирной четы. Единственное, что их разочаровывало в Дружке, так это то, что он ничего не ел. Приблизившись к внешности сорокалетней дамы, миссис Окумба стала проявлять к Дружку не только приятельские чувства, чем тот сразу же и поспешил воспользоваться, пытаясь по-мужски откровенно прижать к себе еще пухлые телеса избравшей его дамы. Делал он это по-хамски, бурно и настойчиво, что особенно нравилось африканке. В молодевшем мистере Окумбе тоже проснулись чувства самца. Он начал страстно ревновать свою жену к этому гостю, прятавшему наглую рожу за маской комбинезона, видать, настолько она была гнусна и отвратительна! Окумба несколько раз пытался побеседовать на эту тему с супругой, говоря даже, что не известно, кем на самом деле является ее Дружок!

– Может быть, он преступник, убийца, маньяк, которого разыскивает Интерпол! – горячился он.

– Ах оставь, он такой милый! – И миссис Окумба клала свою руку на бедро самодовольно развалившегося рядом с ней на широком диване Дружка, ухмылявшегося при это прямо в лицо чернокожему мистеру.

Окумба в ответ лишь скрипел зубами, а когда Дружок прямо при нем полез на его жену, он, наконец, не выдержал и бросился душить ловеласа. Но того души-не души, толку-то никакого.

– Мерзавец! Мерзавец! – кричал жирный богач, худевший в состоянии агрессии еще интенсивнее.

– Не смей его трогать! Ты его порвешь! – защищала Дружка его подруга. – Он такой упругий...

– Что ты в нем нашла?! – орал мистер Окумба, таская по паркету из красного и черного дерева поверженного Дружка. – В нем же ничего нет!

– Нет, есть!

– Дура! Ничего в нем нет. Вот смотри, я его расстегиваю.

Расстегнутый комбинезон застыдился, словно насильно раздетый догола человек.

– Ну? Видишь – пусто!

– Сам ты пустой. В нем есть сила. Такая, какая тебе и не снилась. А ну, отпусти его сейчас же! – Не сдавалась миссис Окумба и отняла своего Дружка у распаленного ревностью мужа.

– Это даже на анекдот не похоже... Какая в нем сила... Мешок мешком...

– А-а, – отмахивалась рукой африканка бальзаковского возраста. – Что ты можешь понимать...

Тогда Окумба бросился к Туру, пытаясь у коммутатора вырвать объяснения. Тур сердито отчитал Дружка, понимая, впрочем, что это ничего не изменит. Ведь ночной комбинезон вместе с его потом впитал в свои поры и его, туровские, мужские гормоны. Единственное, чем он мог успокоить африканца, так это сообщить ему, что голем лишен мужского достоинства. Окумба вроде бы удовлетворился таким положением вещей, хотя не дурак ведь был, в самом деле. Сам все разглядел.

– Откуда он взялся? И зачем он вам? – продолжал приставать к Туру мистер Окумба.

– Не знаю. Не мешайте мне работать.

– Я терплю вас только из-за моей дочери! Между прочим, вы тоже мне очень не нравитесь, господин От-Агасы!

Тур не ответил ему. В это время задымилась доставленная всего лишь утром ультрасовременная аппаратура связи фирмы «Пекин-Фу», установленная вокруг лежащей в постели Найт. Она являлась последней технической надеждой коммутатора.

– Если вы сейчас же не уйдете отсюда, я сам прекращу всякие попытки достучаться до вашей драгоценной дочери, – заявил твердо Тур. – И успокойтесь. Дружок совершенно безвреден для вас.

Но черт его знает, как и чем, но охмурил все-таки Дружок хорошевшую прямо на глазах и расцветавшую вовсю миссис Окумбу. Бабенка словно с ума сошла от него. И мистер Окумба дурел с каждым днем все сильнее. Пару раз он расстреливал почти в упор Дружка, проделав в нем несколько дырок, пытался его поджечь, подкупить, однажды даже при помощи слуг закопал в землю. Но все напрасно: Дружок, как Лазарь, воскресал из всех смертей.

Любовь африканки к Дружку не меркла. Но все проходит с возрастом. В случае с супругами Окумба время текло вспять, и скоро они достигли почти тинейджеровского возраста. И, конечно же, им понадобились другие ритмы, другие забавы. Медлительный, мягкий Дружок перестал быть привлекательным для миссис Окумбы, а мистер Окумба приобрел иную страсть. Он начал гонять на скоростных машинах, а на скорости под триста километров долго не поревнуешь. Скоро они напрочь забыли не только про Дружка, впадавшего во все большую меланхолию, но и про свою дочь. И улетели тусоваться в Америку, где на дискотеках подтопленного океаном Манхеттена стали появляться призраки умерших кинозвезд. Тур же продолжал упорно атаковать охранную систему любимой девушки. Спасибо противломовцам, что ее программа не предусматривала ответной реакции на попытки ее взломать, иначе Тур с его настойчивостью, а в этот раз и с не свойственной ему безрассудностью давно был бы трупом. .

Самым непонятным элементом в программе была автономная подзарядка энергией неизвестно от какого источника. Тур выстроил вокруг спящей красавицы вакуумную оболочку и убедился, что даже атмосферное электричество здесь не играло никакой роли. Значит, энергия черпалась из волн иной физической природы. Войдя однажды в комнату Найт, Тур застал там брошенного мадам Окумбой Дружка. Комбинезон устроился у кровати спящей африканской красавицы и жестикулировал, словно пытался что-то ей рассказать.

– А ну-ка, прочь отсюда! – рассердился Тур и погнал его вон, как выгоняют собаку, пытающуюся забраться на постель.

Дружок послушно и виновато поплелся к двери, но на пороге задержался и изобразил жестами фразу, смысл которой был коммутатору ясен: голем, пустой ночной горшок, попрощался с лежавшей без чувств девушкой и обещал еще заходить. Тур расхохотался, оглядывая Дружка с макушки до пят, хотел было сказать, что тут ему уж точно не найти любви, но осекся. Он остановил Дружка и принялся снова и снова осматривать его со всех сторон, щупал, скреб ногтем его поверхность. Поначалу смутившийся Дружок подергивался от щекотки. Но Тур прикрикнул на него и задумался: надо же, эта ночная вещь, пришелец из сновиденья, торчит рядом с ним уже целую вечность, а он никогда и не задумывался над тем, какая энергия позволяет пустому комбинезону двигаться, принюхиваться и даже волочиться за чужими женами. Ведь в нем не было ни каких-либо батареек, ни хитроумных энергетических ловушек. Просто пористая ткань. Он никем не задумывался как живой субъект, и никто и предположить не мог, что с ним произойдет такая метаморфоза. Он ожил сам и развивался по скрытой от всех схеме. Нечто схожее происходило с самопрограмированием охранной скорлупы вокруг Найт. А не мог ли этот загадочный источник энергии, использованный специалистами фирмы «Protiv loma», быть аналогичным энергоподпитке Дружка? Но ведь явление голема –

сплошная мистика, над которой Тур не желал задумываться и никогда не думал ее учитывать. Теперь придется. Очевидным стало то, что разгадку живучести охранной скорлупы следует искать в области духовной энергии, формулами которой коммутатор От-Агасы всегда пренебрегал. Игнорирование им тайных знаний являлось следствием ненадобности их в практике и разросшейся за годы этой удачной практики душевной лени. Ну зачем душу напрягать-то, когда и так все ясно? А если действительно Дружок имел доступ к сознанию Найт? Положение было столь отчаянным, что отрицательный ответ Тур решил не учитывать. Он подтащил Дружка как можно ближе к спавшей девушке и велел ему сообщить все, что он видит, слышит, чувствует, наконец. Проще говоря, возможно, существовал какой-то информационный канал между спящей красавицей и комбинезоном для сна.

– Давай, давай, старайся, как можешь, – тыкал Тур големовской головой в упругую защитную сферу.

Подопытный вначале слабо отбивался, елозя ногами по полу, но затем смирился и попритих.

– Так что? – настаивал Тур.

Дружок мялся, разводил руками, морщил лоб, словно думал своими несушествующими мозгами. Потом сел на корточки и стал водить по полу пальцем, вырисовывая окружность с неровными краями. Этот объект, надо думать, Найт видела в своем сновидении.

– Он рисует контур острова Майда, – послышался за спиной Тура торжествующий голос.

Коммутатору не надо было оглядываться. Ставшие юными, а значит и беспечными, супруги Окумба, свалив из дома, забыли закрыть двери. Точнее, не включили гравитационный колпак над своим дворцом. И дали шанс Мустафе в конце концов проникнуть сюда.

– При чем здесь остров? – раздраженно спросил Тур.

– Как при чем? Это же ясно, как день. Не пирамиду же он чертил! И не лифт, будь прокляты все лифты на земле!

– У Тебя в голове один лишь этот остров.

– Это не просто остров. Я кое-что узнал, пока вы здесь... – Мустафа посмотрел в сторону Дружка, осуждающе покачал головой, как старый мулла. – Я хотел тебе все рассказать, но ты не желаешь меня слушать.

Коммутатор Тур От-Агасы действительно проигнорировал и дальнейшие сентенции мэра в отставке. Он попытался сосредоточиться на возникших у него странных ассоциациях. Но и в них, словно в тумане вырисовывался берег какого-то острова. Какие бы новые, перспективные модели и мысли ни всплывали в голове у Тура, но работать в нормальном режиме, когда за твоей спиной торчит не только двигающийся сам по себе ночной комбинезон, но и отработанный беспокойный клиент-неудачник, стало совершенно невозможно. И коммутатор покинул африканские владения четы Окумба. Он так был

расстроен тем, что не смог выполнить свою работу, что даже мысленно не пообещал спящей красавице вернуться.

Ог
(папка четвертая)

Там и сям на паутинках глобальной информационной Сети висело несколько выразительных фраз вроде «I like... суки!», иногда фаллосоподобный кривоватый иероглиф, или имя автора с зависшей над вековой пустотой строкой «глава № 1». И рядом с ними громоздились немыслимо огромные библиотеки, картинные галереи, технические архивы. Но в них обычно никто не заглядывал, даже специалисты, так как научную или изыскательскую работу по своим программам вела уже сама Сеть и сама же размещала плоды своих трудов на своей паутине. Частенько Сеть приходила к выдающимся, а иногда даже гениальным открытиям, создавала невиданные прежде художественные и архитектурные проекты. Задетые за живое ученые обозвали это явление информационной синергетикой, а сами принялись работать в замкнутых компьютерных структурах типа академий наук или ассоциаций университетов. Каждый в своей. Замкнулись, опасаясь промышленного шпионажа, в своих компьютерных каналах и корпорациях. Даже политики стали предпочитать свои изолированные информационные поля, покрывающие массу только их выборщиков. Конечно, все понимали, что тут есть какая-то сегментарность, неполноценность, но об этом как-то не принято было говорить. Такова уж природа человека. Была бы возможность, люди отделили бы каждый себе и по кусочку воздушного пространства. Были такие проекты, но, к счастью, они оказались технически неосуществимыми. Пока неосуществимыми.

В поисках данных об острове Майда коммутатору Туру От-Агасы пришлось обратиться все к той же ловкой московской фирме «Protiv loma». За все расплачивался богатый Мустафа. Противломовцы прошерстили все открытые и закрытые источники информации, но, как ни старались, не смогли обнаружить никаких следов загадочного кусочка земли под названием Майда. Еще оставались фотонные компьютерные информационные базы, такие, как у коммутатора Тура От-Агасы, но в них проникнуть не мог ни один хакер на свете. Впрочем, не было и нужды, такие компьютеры содержали в своих файлах только оперативную информацию для владельцев, так как за каждый фотон приходилось выплачивать массу энергии. Отчаявшись окончательно, коммутатор Тур От-Агасы непонятно зачем залетел к престарелой паре гениев – Ким-Квашниным. Нина Николаевна встретила его строго, даже с некоторой долей осуждения, мол, что ж вы, молодой человек, шатаетесь без дела. Ее растениевидный супруг Вонбон так же укоризненно качнул своими листьями.

Понимая, что здесь особенно не погостишь, не облегчишь душу, Тур сразу же изложил суть своей проблемы. Сухонькая Нина Николаевна с сомнением покачала головой, аккуратно поставила на антикварный столик треснувшую чашечку с чаем и произнесла в стиле представлений moralité:

– Такие тайны, молодой человек, открываются только при кораблекрушениях.

– В каком смысле? – не понял аллегории Тур. – О каких кораблях вы говорите, уважаемая Нина Николаевна? Рейсовых или... в историческом плане?

– Пиратских.

– А это что значит? – удивился коммутатор, посматривая не на старушку, а на волновавшегося всеми стеблями в своей лохани Вонбона Ким-Квашнина. – Были промышленные пираты, были, если вспомнить давние века, пираты типа террористов...

– А ну-ка пошел вон! – громко вскричала Нина Николаевна.

Тур От-Агасы непроизвольно вздрогнул, вновь обратил свои глаза на Ким-Квашнину и увидел, как Дружок пытается стащить ее чайную чашку из китайского фарфора эпохи императорской династии Мин.

– Это что за чучело вы с собой притащили в наш тихий дом?

Тур От-Агасы как бы смутился, вынужден был извиниться и кратко рассказал историю сотворения Дружка.

Рассказ не вызвал у Нины Николаевны ни научного интереса, ни человеческого понимания. Она, брезгливо морщась, настаивала на своем:

– Уберите его вон отсюда за порог. Какая гадость – таскать с собой свое использованное ночное белье!

Тур внутренне запротестовал против такого откровенно обывательского определения голема, однако не подал вида, что ему не понравилось такое отношение к Дружку.

– Конечно, конечно, уважаемая Нина Николаевна. Но уверяю вас, Нина Николаевна, он совершенно безвредный, к тому же он так одинок... в своем роде.

– Ничего не знаю! Это дурно, молодой человек, что могут подумать соседи! У нас не прачечная! Надо понимать, что наш дом – не просто жилище. Это лаборатория.

Я его время от времени стерилизую. Вот и сегодня под ионовым душем продержала час!

Надо думать, прежде чем так заявляться в институт Ким-Квашниных! Вы и в прошлый раз чуть не повредили нашу картотеку генов!

– Да, самую крупную картотеку в мире. Я сожалею, но что я? Какая-нибудь мушка-дрозофила перед слоном из генов так скользнула бы по его обширнейшей поверхности. Хотя не достоин, совершенно не достоин...

Собственно, Тур ерничал, но оказалось, что это его извинительное словоблудие было воспринято академиками более чем благосклонно. Нина Николаевна перестала тыкать заточенной палкой в Дружка, а лауреат Нобелевской премии академик Вонбон Ерович Ким-Квашнин накарябал на доске такое замечание: – «Как тебе не стыдно, Нинка! Это дискриминация. Нельзя так обращаться с живым существом».

– Какая же это дискриминация, – еще более возмутилась лауреат Нобелевской премии академик Нина Николаевна Ким-Квашнина. – Не мели чушь, Вонбон! Какое же это живое существо? У него даже рта нет.

– У меня тоже нет, – написал старик, так стуча мелком, что стало ясно, как он обижен лично.

– Да, но у тебя капилляры... И вообще, при чем здесь рот! Рот – это только полость для заглатывания пищи, и все! Главное – мозг!

Старушка попыталась загладить свою этическую промашку перед супругом:

– Он просто какой-то неопрятный, грязный...

Тур От-Агасы похлопал по обтертому затылку своего дутого приятеля, присевшего испуганно у его колен, и пояснил:

– Валяется где попало, как собака, – потом внимательно присмотрелся к древу Ким-Квашнина, и на лице его появилось выражение откровенного удивления.

Прежде лохань академика, опутанная множеством трубок и датчиков, была наполнена физиологическим раствором. Теперь же вся сложнейшая медицинская аппаратура была вырвана. Академик сидел в мутноватой жидкости, которую давно не меняли. В нее даже не шел теперь кислород!

Проницательная Нина Николаевна проследила за его взглядом и за реакцией на те изменения, которые он заметил. Нахмурившись, она сказала:

– Это кей-кей.

Ким-Квашнины получили Нобелевскую премию за создание экологических пластырей. Студнеобразное вещество этих пластырей, названное по имени ученых К-К, или кей-кей, оказалось способно восстанавливать земную поверхность, зараженную радиацией, солями тяжелых металлов и прочими ядами. Третья часть суши уже была покрыта им. Предполагалось, что пластыри К-К со временем распадутся на удобрения, что и наблюдалось во время опытов. Но со временем широко примененные и исчезавшие пленки кей-кейя стали неожиданно выпирать ростками из земли и перерождаться в некую вязкую, но, впрочем, безвредную жидкость. Так проявился единственный недостаток кей-кейя – структура К-К была вечна.

– Я возражала, – продолжила Нина Николаевна. – Но Вонбон настоял, считая эксперименты над собой естественными для ученых. Видите ли, физиологический раствор, которым мы подпитывали тело Вонбона Еровича, имел очень сложный состав. И витамины, и ферменты, и еще три десятка

дозированных компонентов. Я уже не говорю о температурном режиме. И у нас возникла идея заменить физраствор кей-кейем. И вот какой ошеломительный успех! Теперь Вонбон практически свободен. Он может без всякого ущерба для своего здоровья находиться там, где есть хоть лужица кей-кейя. А какой прорыв это открытие обещает в практической медицине!

– Я восхищен вашим подвигом, профессор, – воскликнул почти искренне Тур. Он встал и почтительно склонился перед растением, сидящим в горшке, наполненном черт знает какой дрянью.

И в этот момент в его голове прозвучала фраза: «Сядь, я же тебя вижу насквозь, умник. Кому ты голову морочишь? Чуть-чуть уважения все-таки стоит проявить к старому человеку». Коммутатор вздрогнул и подумал: «Неужто совесть заговорила?» «Какая еще совесть может быть у вашего поколения? Вы же все прожженные циники и эгоисты. И сиди ровно, не вертись. А то Нина Николаевна догадается, что я ко всему прочему приобрел и телепатические способности. Лучше предложи провести эксперименты и со своим чучелом». «А-а, это Вонбона мысли! Вот старый пердун...» «Не хами! И ко мне уже даже эпитет «старый» не подходит. Я теперь вне времени. Ну, как с этим твоим комбинезоном? Тебе-то, я знаю, он в тягость. Мы его зальем кей-кейем и посмотрим, что из этого выйдет» «А что может с ним произойти, профессор?» «Возможно все, даже твоя мечта о том, чтобы он вдруг исчез, растворился без следа». «А если не исчезнет, а наоборот, как вы, профессор, станет телепатом? Нет, этого еще мне не хватало.» «Ладно, я знал, что такие, как ты, на жертвы ради науки уже не способны». И голос исчез из черепной коробки Тура. Он стал снова слышать как нормальный человек. Оказалось, что Нина Николаевна давно уже что-то горячо говорит:

– ... вот видишь, Вонбон, – произнесла осуждающе Нина Николаевна, – ты поставил всех в неудобное положение. Разве так трудно понять, что твои пререкания со мной как всегда окажутся не к месту. Смотри, как наш молодой друг растерялся.

Вонбон Ким-Квашнин не ответил. И его интеллигентной супруге пришлось самой пояснить ситуацию:

– Молодой человек, у вашего комбинезона нет, насколько я понимаю, души. Значит, это просто неодушевленный предмет. Я понимаю, есть люди, которые ставят свои вещи выше всего на свете. Вещизм – это страшно. Постарайтесь избавиться от этой корыстной и некрасивой страсти. Без сомнения, ваш комбинезон приобрел какие-то новые не известные науке качества. Это его как-то выделяет в вещевом складе. Вот и отдайте вашего Дружка в какую-нибудь лабораторию. Пусть ученые разберутся с ним, изучат этот феномен.

Вот и вторая половина гения, известного в науке под фамилией Ким-Квашниных, начала атаку с целью захвата Дружка. Да этим научным

супругам не нужна была никакая телепатия. Они и без нее мыслили параллельно, а может быть, даже как один мозг.

Туру От-Агасы снова стало жалко своего голема. Пора было его уводить отсюда, а то вставят ему тут, как подопытной собаке, фистулу в брюхо и начнут через нее гонять свои жидкости. Он даже погладил Дружка, присевшего на пол рядом с ним, по его голой голове. Надо было сменить тему, и он спросил:

– Вы разве верите в Бога, Нина Николаевна?

– Вера – это несколько другая жизнь. Просто мы достаточно умны, чтобы не отрицать Его существования, – сухо ответила Ким-Квашиина.

– А-а, – только и вымолвил Тур, не зная, что же говорить дальше. – Нина Николаевна, а что это у вас за палка такая в руке?

– Это школьная указка. Так чем мы обязаны вашему... м-м-м... неожиданному визиту? – спросила, вставая с кресла, Нина Николаевна.

Туру тоже надоела светская беседа о том, о сем и ни о чем, и он снова кратко изложил свой вопрос, островом Майда. Хотел и еще кое-что приврать, но тут застучал мел о доску, и на ней появились слова: «Нинка, отдай ему тот фолиант».

– Какой фолиант? – удивилась Нина Николаевна, скорчив рожицу теряющей буквально на глазах память старушки. – Не ведаю я ни о каких таких фолиантах ваших.

Стебель с мелком жирно подчеркнул слово «отдай». Нина Николаевна вздохнула, разгладила седые реденькие волосы на темечке и, встав, засеменила в домашнюю библиотеку академиков. Тур с уходом старушки приятно расслабился в архаичном кресле с потертой кожаной обивкой. Неожиданно раздался хлопок и шипящий звук. Тур огляделся по сторонам. Скорее всего, это его Дружок пустил ветерок. Он умел и любил это делать. Но комбинезона нигде не было видно. Наверняка шнырял уже где-то по комнатам Ким-Квашниных. Была у него и такая дурная привычка – лазить там, где его никто не видит. Как квартирный воришка. Между тем в воздухе распространился чуть приторный, но приятный запах цветущих джунглей. Коммутатор вдохнул полной грудью, наслаждаясь ароматом девственной природы.

«Прошу прощения», – раздался в его голове смущенный голос старого Вонбона. – «Не могу иногда сдержать свои газы ...»

Какой все-таки приятный человек, этот Ким-Квашнин, подумал Тур, все бы так портили воздух. Вонбон не ответил на этот сомнительный комплимент. К тому же к этому времени вернулась и Нина Николаевна. Она вошла, как старая графиня, вся чопорная, с надменным взглядом. К своей плоской груди она прижимала книгу в атласном переплете, с уголками из серебра. Не присаживаясь, она важно, стремясь хотя бы леденцом хвастовства подсластить горечь неминуемой утраты дорогой книги, произнесла:

– Молодой человек, да будет вам известно, что основателем рода Квашниных был испанский дворянин Анварос Мореплаватель...

«Мавром он был. Анваром аль бен Хусейной каким-нибудь, – прозвучали и скрытые комментарии Вонбона. – И, судя по его записям, членом какого-то тайного суфийского братства, принявшего атрибуты христианства. Тамплиер, наверняка».

Нина Николаевна, естественно, не слышала едких реплик супруга и спокойно продолжала:

– За заслуги в деле открытия новых земель король Фердинанд Арагонский пожаловал ему графский титул.

«Ну и что из этого?» – снова влез ее муж. – «Мой пращур вообще был корейским императором. Кому это нужно, Нинка?»

– Не перебивай меня, Вонбон! Молодой человек должен проникнуться той благородной атмосферой, в которой творилась эта бесценная книга. Она открывает свои тайны только тем, кто ценит и почитает историю.

Стебли академика напряженно замерли и затем заметно свернулись. Между тем Нина Николаевна продолжила свою лекцию:

– Как известно, Колумб искал путь в Индию через западный океан, а мой предок решил дойти до Индии через северные моря. Он обогнул всю Скандинавию, и у русских поморов ему очень пришлась по вкусу квашеная капуста, да так сильно полюбился ему этот незатейливый продукт, что он решил навсегда остаться жить на русской земле. Собственно говоря, фолиант, о котором говорил Вонбон Ерович, вовсе и не книга, а тщательно переписанный капитанский журнал. В единственном экземпляре. Там упоминается какой-то остров Майда, то ли севернее британских островов, то ли северо-западнее.

Коммутатор ожидал, что вот сейчас откроется вся тайна этого дурацкого острова, но тут Нина Николаевна заявила твердым, как сухарь, тоном:

– Только Квашнины имели право держать это бесценное произведение в своих руках. Они даже Михайле Ломоносову не дали полистать нашу книгу. Так что простите, молодой человек, отдать я вам книгу не могу.

– Я бы только взглянул...

– Миклухо-Маклай просил, и тому не дали! От обиды Николай Николаевич даже, публично заявив, что свои же, русские, не ценят его и хотят съесть живьем, подался к папуасам в Океанию.

Туру От-Агасы только и оставалось сказать:

– Уважаемая Нина Николаевна, уважаемый Вонбон Ерович, разрешите раскланяться.

– Прощайте, молодой человек, – произнесла Нина Николаевна, тревожно огляделась по сторонам, словно пересчитывала посуду вслед за гостями. – И этого вашего... дружка заберите.

Книгу с картой Майды, как заметил Тур, она, не сходя с места, уже успела куда-то припрятать, да так ловко, что, кажется, стала опасаться, что и сама теперь ее никогда не найдет. Наверное, ее предок мавр-испанец был не только мореплавателем, но и факиром.

Коммутатор в свою очередь вежливо попрощался со знаменитой четой и вышел из дома, потянув за лапу и отяжелевшего вдруг Дружка. Остановившись на мраморном крыльце, Тур в задумчивости уставился на высившуюся на пьедестале скульптуру Ким-Квашниных. Впервые ученые опробовали свои пластыри на своем земельном участке. Пленки здесь уже достигли своей предельной зрелости, и дом Ким-Квашниных стоял, словно на болоте. «Вот вам и новый всемирный потоп, на этот раз вязкий», – подумал Тур.

Как бы там ни было, все-таки визит к ученым дал свой положительный результат. Остров Майда действительно существовал на карте мира. Пусть только на том рисунке средневекового капитана, который ему так и не дали увидеть, но он был. Однако, как и прежде, в его руках реально была лишь единственная ниточка, которая могла бы привести коммутатора к острову Майда, – это загадочная фраза Ханта о том, что следует держаться левой стороны луны. Пожалуй, надо найти таежного жителя, решил коммутатор. Хотя, вполне возможно тайги там, у Уральских гор, уже давно и нет, только пластыри Ким-Квашниных на голых скалах. Тур От-Агасы, как и все высококлассные профессионалы своего дела, никогда не интересовался всякими там политическими или биологическими проблемами, выходящими за рамки его собственной специальности. И посему ситуацию, царившую в тех регионах, в которых он сам не был, представлял себе очень смутно.

Итак, где же этот странник с лыжами? Тур От-Агасы подключился к компьютерной памяти и произнес:

–Хант.

Компьютерный голос воспроизвел у его уха весь разговор с тем типом в валенках, и в частности фразу: «Они приходят, когда меч деревянный и огонь не сжигает». Это он, пожалуй, о големах, о Дружке. Видимо, наступило это время. Насчет несжигающего огня ничего ему в голову не пришло, разве что мысль о том, что от такого пламени жидкость кей-кей, которая никогда не испаряется и не впитывается в землю, отличается лишь формально. А, по сути, их объединяет принципиальное состояние: элементарная потеря элементарных свойств. Вода не вода, огонь не огонь.

Затем в его собственной памяти выплыла фраза «I man orbolund». Что-то там Мустафа говорил?... Да, что-то об окружности, прочитывающейся в одном из слов. Больше информации для анализа не было, и коммутатор Тур От-Агасы направил свой спальный вагон в сторону Северного Урала. И там завис надолго, так как общинники во всех точках земного шара игнорировали информационное

глобальное поле, и хотя их территории были более-менее точно обозначены и на четырехмерных картах, конкретные коммуникационные схемы отсутствовали. Они упорно подрывали и уничтожали все транспортные пути и информационные трафики, которые по разным причинам заинтересованные структуры пытались протянуть к их резервациям.

Самые крупные территории за собой сохранили исламские государственники, составлявшие целые страны. За ними по величине стояли буддийские и православные общины, тоже не маленькие. Но если в исламские земли вход был достаточно четко обозначен и оговорен законодательно, то право славные общины вообще отказались от контактов с греховным, на их взгляд, миром. Не искушенный в геополитическом раскладе коммутатор Тур От-Агасы вынужден был обратиться за консультациями к Мустафе. Все-таки человек два десятка лет проработал мэром Большого Бейрута. Тот, как всегда, болтался в своем шикарном вагоне рядом. Выяснилось, что на североуральские общины не имели никакого влияния даже Фонды по управлению энергетическими ресурсами Земли и околоземной орбиты. Хотя пытались. Некоторые функционеры Фондов подозревали, что эти общинники обладают потенциально сильным альтернативным источником энергии. Они засылали к ним миссионеров, этнографов, да и просто шпионов, но никто из них не вернулся назад. Фонды не раз требовали от Москвы разобраться, но русские только уклончиво отвечали: «Тайга, там медведь хозяин». Организации по защите прав человека даже вынуждены были выжечь воздушными силами несколько полос шириной в пять десятков километров и длиной с юга на север пятьсот-шестьсот, надеясь, что это прояснит общую картину. Но на эти лесосеки никто из пропавших экскурсантов так и не вышел, и они скоро заросли таежным высоким кустарником. Сухопутные операции были признаны неэффективными. Можно было, конечно, все довести до логического конца, но это стало бы попахивать массовым геноцидом, и от общинников и государственников отстали. Возможно, у них в высших звеньях Фондов были свои лоббисты. По крайней мере, у таких мощных государственных образований, как Горный Иран. В общем, вопрос с этими общинами и экс-территориями был очень запутанным. Так что и от мэра, сбежавшего от своего election, было пользы, как от кондиционера молока.

– Это настоящие дикари. Что они могут знать? У них даже телевидения нет, – уверял Мустафа. – Они, видишь ли, не желают общаться с сатаной. Давай потрясем лучше как следует тех академиков. Вырвем корни Киму – его старуха быстро книгу отдаст.

Тур в принципе был согласен с ним, но и представить себе, как он будет пытать стариков, не мог. Но как ему освободить от навязанного сна красавицу Найт? Что предпринять? Чем пожертвовать? Не душой же своей.

– Даже не думай, – строго предупредил он Мустафу. – Насилие только рвет все коммутативные связи. Говорю тебе как специалист. Карту ты сможешь отобрать, но она так и останется для нас немым изрисованным куском бумаги.

Говорили они в супервагоне Мустафы Ли, в котором все было исполнено в стиле изысканного восточного колорита. Мустафа, раскуривая кальян с гашишем, в ответ хмыкнул и, возлежа на шелковых подушках, продолжал упорствовать:

– Согласен, человек с человеком может договориться только миром. Но при чем здесь карта? Это ведь, как ты говоришь, только изрисованный кусок бумаги. А если он изрисован, то на нем есть координаты нашего острова. А что нам еще нужно?

Тур долго не отвечал ему. Какие-то фантастические образы выплывали из глубины его сознания. Словно был он пьян. Видимо, так на него действовал непривычный для него гашишный дымок. Среди мерещившихся ему фигур вычерчивались знаки и буквы.

– Не знаю почему, – наконец ответил он Мустафе, – но я уверен, что нельзя поворачивать назад. Все пропадет. Никогда я еще не был в таком ненормальном состоянии. Сплошь какая-то алхимия с астрологией. Все, хватит рассуждать и философствовать. Тайга признает только первопроходцев. И я пойду вперед, что бы меня ни ждало впереди.

Его слова означали одно: спуститься на землю прямо среди деревьев и пешочком двигаться дальше, неизвестно куда, сквозь полчища мошкары и медведей. Хорошо, что им предстояло идти не на лыжах, как Хангу. Все-таки сейчас лето. Так они и поступили. Сразу же выяснилось, почему трусоватый Мустафа все же согласился на пеший вариант экспедиции по затерянной уральской земле, где кроме мрачных пейзажей было еще много чего жуткого для него. Оказалось, что он заблаговременно приобрел самоходный скафандр, вещь, по цене доступную только миллиардерам. В нем бейрутовец и выбрался наружу из своего позолоченного вагона.

Самоходный скафандр обладал колоссальной по прочности броней. Способен был переносить владельца и по воздуху, как ракета, и под водой, мог выбраться из-под пятиметрового завала из бетонных плит вместе с тепленьким и не утомленным хозяином внутри него. Скафандр кормил и поил разместившегося в нем человека месяцами, отфильтровывая нужные питательные элементы из любой окружающей его среды. Ну, о массаже и прочих прелестях внутриутробной жизни в нем и говорить не приходилось. В общем, прекрасно Мустафа устроился, если бы вдруг не вспыхнувший нестандартный интерес коммутаторского комбинезона к его самоходному скафандру. Дружок вначале как бы не поверил своим слепым глазам, но тут же всей своей тканью проникся глубокой симпатией к сходному объекту. Он буквально прилип к скафандру Мустафы, почти повис на нем. А Тур и не думал приструнить его. Он и сам бы, шагая по болотистой зелени, с

удовольствием забрался на плечи самоходного скафандра. И потом, не объяснишь же своему использованному предмету гигиены, что внешнее сходство далеко не всегда должно вызывать влечение и являться гарантией взаимопонимания. Этого даже люди не понимают, особенно когда страстно влюбляются.

Дружок никак не стеснял движений самоходного скафандра и не заслонял обзор Мустафе, так как картинки кружащегося пространства поступали внутрь скафандра не только через десяток расположенных в самых разных местах поверхности скафандра камер слежения, но и от околоземных спутников. Но Мустафе все равно было неприятно, что ктото снаружи вцепился в его скафандр и трется об него. Он находил в себе силы не протестовать, понимая, что с его стороны такая форма заботы только о себе было делом уж слишком откровенно свинским. Хотя Тур должен был его понять. Скафандр принадлежит ему, это его частная собственность.

Здесь надо правильно понять Мустафу. Он ничего не жалел для скорейшего успеха дела. Как бы ни был дорог такой скафандр, он готов был заказать экземпляр не только для Тура, но и для его комбинезона. И скафандры тут же доставили бы. Даже в тайгу. Надо только попросить, все, а не цепляться за чужие вещи. Между тем Тур От-Агасы и не думал ни о чем таком просить Мустафу Ли. И дело тут не в принципах, а в технике. При других обстоятельствах, связанных с угрозой для жизни, Тур бы сам сделал все, чтобы забраться в нечто такое, как самоходный скафандр, но не в этот раз. Профессиональные технологии коммутатора требовали от него во время работы непосредственного соприкосновения пусть с опасной, но естествен ной средой. Навыки, приобретенные им за время общения с клиентурой, давно доказали, что очень часто каналы, по которым можно выстроить связи, легче проследить не по поведению самих людей, а по среде их обитания. Продавленный диван способен больше рассказать о типе, который давил его годами лежки, чем сам тип о себе, как ни пытай его, как ни завлекай беседами. А этот лесной житель на лыжах, Хант, в какой-то степени сам был северным лесом. И в прямом, и в переносном смысле. Хороший коммутатор всегда хороший следопыт. И потом запах.

Запахам коммутатор Тур От-Агасы, как и Дружок, придавал огромное значение. Был у него в практике один случай, когда известная красавица, актриса виртуального театра, исчезла в собственном же доме. И не желала больше общаться ни с кем. Только аромат позволил Туру установить с ней неформальные отношения, побудить ее вновь к общению с продюсером, претендовавшим на роль ее отца, сына и святого духа. Тур просто стал заливать апартаменты актрисы дешевыми духами, что стало настоящей пыткой для утонченной хозяйки. Она терпела дурной для нее запах несколько минут, а потом принялась дико вопить и ругаться. Провел, в общем, как говорят, на мякине.

Скоро лес неожиданно расступился перед какими-то позеленевшими развалинами огромного гигантского завода. Помещения этих строений тоже были залиты жидкостью, оставшейся от экологических пластырей Ким-Квашниных. Всюду ржавели горы искореженного металла. Пройти сквозь эти хаотичные конструкции было можно, но никто не мог гарантировать, что эти индустриальные лабиринты в конце не приведут в тупик, из которого выхода уже не будет. Слева и справа от заводского мегаполиса плескались два озера, наполненные до краев кей-кейем. Тур вместе со спутниками не поленился обогнуть одно из них. Через пару часов выяснилось, что эти озера за заводом сливаются вместе. Тур хотел было снова углубиться в лес, но вдруг услышал за спиной трубный звук. Он оглянулся и увидел хобот, поднявшийся над кей-кейем. Хобот трубил, гладь кей-кейя расходилась от его напрягавшихся мышц кольцами, и капельки его сияли на изгибавшейся мясистой трубе под солнечными лучами настоящими бриллиантами. Тур прямо-таки загляделся на это необычное зрелище. Трубные звуки завораживали, подавляли все мысли и внушали страх. Наверное, коммутатор так бы и окаменел на этом берегу, если бы не Мустафа, сообщивший ему, что видит через системы своего скафандра обладателя хобота целиком. И не только видит, но и понимает, о чем песня этого существа. О космическом одиночестве. Надо сказать, хобот издавал настолько волшебные звуки, что коммутатор Тур От-Агасы с трудом, применяя специальные психические упражнения, смог очнуться, чтобы снова начать нормально соображать и реально оценивать все происходящее вокруг.

– Что он собой представляет? – спросил Тур экс-мэра.

– Метра три ростом. Имеет две конечности на уровне пояса, стоит на дне на одной, но очень толстой ноге. Теплокровный. И это вовсе не хобот, а музыкальный инструмент. По крайней мере, это отдельная штука. Ни глаз, ни ушей. Дышит. Есть у него что-то среднее между жабрами и легкими. Там еще толпа каких-то человекоподобных медуз помельче болтается за ним.

– Стой, стой... что-то мне это напоминает, – произнес Тур, напрягая извилины.

– Цирк? Подводный, – ответил Мустафа.

– При чем здесь цирк... А ну-ка запроси в своем скафандре информацию... как бы точнее выразиться... Эволюция, земноводные. Сравни, было ли в эволюции животного мира что-нибудь подобное?

– Ну, запросил... Я тут ничего не пойму, какие-то научные словечки. Но картинки забавные, ящер какой-то из воды лезет, потом у него ноги вырастают из плавников. Мультфильм какой-то диснеевский. Нет, не было.

Тур От-Агасы тоже напряженно вспоминал те учебные программы, которые проходил в образовательной школе по биологии и зоологии. И тоже ничего подобного вспомнить не мог. Внезапно раздался голос Ханта, выросшего рядом с ним, словно из-под земли:

– Это Ог, – в этих двух словах слышались и нотки восхищения, и страх.

– Какой-такой еще Ог? – забеспокоился Мустафа, и не просто, а с интонацией торжества в голосе – вот, мол, убедитесь еще раз, как я был прав, считая, что тайга не место для гуляний без самоходного скафандра.

Хант же перекрестился и начал свой рассказ, важно, как привычно врущий от безделья деревенский дед. При этом он основательно уселся на ствол давненько рухнувшего на берег дерева. Повествование его было обстоятельным и долгим, но по существу весьма скудным.

Перед потопом к ветхозаветному Ною прибилось некое существо, и не человек, и не зверь, а Ог.

И был Ог исполинского роста. Ной укрыл его на своем ковчеге без пары, закрыв под нижней палубой, поэтому мало кто знал, что и его спас Ной от затопления. Кормил же Ога Ной через дыру. Куда подевался этот Ог после того, как ковчег Ноя причалил к поднявшейся из океана суше, неизвестно. Да и сам прародитель нового рода человеческого о спасенном им исполине больше никогда не вспоминал. Может быть, так и оставил его на всякий случай запертым под палубой брошенного им ковчега.

– Значит, Ог, – запомнил коммутатор. – Ну, хотя бы мы знаем имя.

– Надо еще проверить, кто ты сам! – заявил Мустафа, наступая на Ханта и помахивая перед его носом миниатюрной ядерной бомбочкой, вмонтированной во внешнюю сторону левой перчатки скафандра.

Тур От-Агасы не был бы классным коммутатором, если бы не развил в себе способность следить одним глазом за собеседниками, а вторым постоянно осматривать всю остальную панораму. За эту уникальную, развитую долгими занятиями способность все считали его косым. Он не оспаривал свой кажущийся физический недостаток. Сейчас он видел вращавшимся во все стороны глазом, как хобот Ога стремительно движется к берегу, а значит, и к ним. Скорее всего, со всем своим сонмом медуз.

– Господа, – поспешил произнести он. – Нам пора отсюда уходить.

Тут послышался отдаленный колокольный перезвон, и хобот в озере замер, дернулся и исчез с поверхности кей-кейя.

– У вас что там – колокольня? – спросил Тур Ханта.

– А какая же церковь без колоколов, – ответил тот.

– А ну-ка, Мустафа, взгляни, куда сейчас двинулся приятель Ноя.

– Что за приятель? – удивился Мустафа.

– Да соображай-ка ты побыстрей! Тот, который в озере с одной ногой!

– А...

Мустафа поспешил сообщить, что сканеры скафандра отмечают удаление от берега всех без исключения озерных существ.

– Господин хороший, – обратился с мольбой Хант к Туру. – Ну, теперь ты все видел сам. Скажи нам, Христа ради, зачем они лезут-то к нам?

– А вы вкусные, – сострил Мустафа.

Хант не обратил на реплику Мустафы никакого внимания, видимо, принимая его за робота. Коммутатор От-Агасы не стал его разубеждать.

– Что же сказать вам, не знаю.

– А ты узнай. Ты же коммутатор. Созвонись с ним или как ты там связи налаживаешь.

– Ладно, разберемся. Прежде ты сам мне ответь на парочку вопросов.

– С превеликим удовольствием.

– Кто-нибудь из вас пил жидкость из озера?

– Зачем, когда есть обыкновенная вода? – удивился Хант. – И родниковая, и речная. И озер у нас полным-полно нормальных. Завтра на рыбалку вас свожу.

– Зимой озеро замерзает?

– Нет, это – нет. Но и пар от него не идет. Чертовщина какая-то, и все тут.

– Ладно, – завершил неожиданную встречу со своим клиентом на берегу заводского озера коммутатор. – Веди нас, дорогой господин Третьяк, к себе.

– Ну, пойдемте с Богом, – ответил Хант, и все двинулись за ним в глубь леса, в котором на удивление было просторно и ухоженно, как в парке.

По дороге Третьяк Хант рассказал, что в этих краях сто лет назад работали заводы по производству ядерного оружия. Радиоактивные отходы десятилетиями сливали в реку, впадавшую в таежное озеро. Радиация исчезла, зато в нем появились неизвестные существа. Местные стали называть их водяными. Само собой, местные старались обходить эту нечистую силу стороной, но в последнее время стало тревожней. Кое-кто видел, как водяные выбирались на берег и посвистывали, что особенно не нравилось.

Через полчаса быстрой ходьбы путники вышли к крепкой избушке. Как пояснил Хант, она была выстроена для охотников, и в ней всегда хранился небольшой запас съестного и спички. Единственная комната после тамбура, который Третьяком был назван сенями, была темной, но на удивление уютной. Тур, войдя в нее, почувствовал себя необычайно комфортно, словно оказался в своем вагоне. Он решил остаться в ней, а спутникам категорично велел двигаться дальше и возвращаться не раньше чем через три-четыре дня. Мотивировал он свою прихоть тем, что ему необходимо обмозговать проблему в полном одиночестве. Мустафа не возражал, предпочитая оказаться подальше от озера с чудовищными существами. А вот Третьяк уперся. Он нарочито внимательно оглядел со всех сторон скафандр, из которого вещал не известный ему голос, и совершенно по-детски произнес:

– Я с ним не пойду один. Может быть, там внутри и человека-то нет.

– Как это нет! – возмутился Мустафа.

– Может быть, и нет,– повторил утверждение лесного жителя коммутатор.

– В чем дело, Хант? Ты же не брезгуешь обществом моего комбинезона. А он, кстати, тоже пустой.

Третьяк Хант не ответил. А Мустафа нервно и опасно для стоявших рядом с ним людей задергался и обиженно произнес:

– Я человек... – А потом догадался: – Э-э-э... Да вы просто хотите выманить меня из моего хранилища. Но я все равно из него не вылезу. И разговаривать с вами больше не стану.

После небольшой перебранки Тур все же остался один. На столике у лежанки, покрытой медвежьей шкурой, он нашел несколько книг о житие каких-то старцев. С одной из них тут же завалился набок. Читал и вдыхал густой аромат дерева с горчинкой давно уже потухшей печки. Так бы и не вставал весь век. И дремал бы, листал страницы, размышлял ни о чем. А вот заснуть без привычного спального комбинезона было крайне затруднительно. Как глупо он поступил, не захватив с собой в этот пеший поход несколько комплектов. Какие-то мелкие насекомые ползали по нему, не кусая, правда, а одежда терла шею, сдавливала грудь. Пришлось некоторое время отдать психологической адаптации, зато после нее Тур почувствовал себя настоящим таежным обитателем. Провалявшись на лежанке в избе весь вечер и ночь, он изрядно проголодался и стал экспериментировать со спичками, пытаясь разжечь печку. Обжег себе все пальцы. Одна из загоревшихся спичек прожгла шкуру. Не желая дышать задымляемым воздухом, Тур выбрался наружу.

Утро в лесу было прекрасным. Солнце сквозь высокую листву предвещало жаркий день. Пели птицы, и ни одна из них не пыталась долбить клювом крышу над ним. Воздух был так свеж и чист, что сразу возникло ощущение, что он только что выбрался из спального комбинезона, как всегда стерильным и гладким. А ведь щетина уже проступила на его подбородке и под носом. Вот почему Третьяк Хант ходит бородатым, он просто-напросто не пользуется спальным комбинезоном, догадался Тур. Возможно, он еще о чем-нибудь важном додумался бы, если бы из леса до него не дошла волна чудесного аромата горячей еды. Так не бывает, усомнился Тур. Это галлюцинации. Самое большее в лесу может пахнуть только фруктами и ягодами. Но запах был настолько ясен и притягателен, что он без колебаний уселся ждать, когда тарелка с сытным блюдом выплывет из воздуха прямо к нему в руки. И чудо случилось. Появился Хант и принес ему котелок с разваренной картошкой с маслом. Картошка была необычайно вкусна, и Тур чуть не проглотил язык. Желудок отяжелел от непривычно грубой еды, и сытость наступила не как всегда мгновенно, а постепенно разливаясь по всему телу. В этом тоже был свой кайф. Оказалось, что Третьяк расположился рядом с обителью Тура, в шалашике. Там же он и готовил на костре. Доев варево Ханта, Тур заметил на краю чашки крылышко насекомого и с ужасом принялся ждать, когда его начнет тошнить. Но его желудок не желал расставаться с приятной питательной массой. Так и не дождавшись желудочных спазмов, он решил уточнить, насколько кей-кей вписался в быт обитателей леса.

– Нет, – ответил Третьяк. – Я же говорил, мы его не пьем, не готовим на нем. Даже животные не входят в него.

Прежде чем покинуть свой вагон, Тур От-Агасы уже знал, что жидкость кей-кей по своим биохимическим и физическим свойствам была близка к яичному белку. Отличия заключались в большей текучести, прозрачности и сверхустойчивости к гниению. Более точные научные параметры его не интересовали. Он даже не взглянул на них. Для него, как для коммутатора, гораздо более важным было не то, что, к примеру, цифра 20202002 составляет собой конкретную сумму, или число, или код, а то, какое пространство существует между этими двойками и нулями. В этом заключалась основная формула Высшей Связи. Эту связь люди религиозные относили исключительно к компетенции Бога, что на их языке называлось присутствием Всевышнего Бога на Земле. Тур От-Агасы считал религию одной из разновидностей образа жизни. Он читал все Святые книги, разбирался в колдовских затеях языческих ритуалов, иногда даже используя некоторые шаманские приемы в своей практике. Что же касалось лично его души, наличия которой он не только не отрицал, но и чувствовал, то Тур не понимал, зачем ему молиться Богу. Он никогда не делал ни дурных поступков, известных у верующих под термином «грехи», никогда не желал ни себе, ни другим больше, чем уже есть. Он спокойно осознавал, что человеческая цивилизация несется к своему краху, как поезд, сорвавшийся с рельсов, несется в пропасть. И то, что он – один из пассажиров в своем вагоне. Ничего здесь поделать было нельзя. Но, по его подсчетам, на его жизнь хватит времени, отведенного Богом или Кем-то там на свободный полет до дна. Так что о Страшном суде он не думал. Сердце его всегда безмятежно спало, как сейчас спит его чернокожая красавица. Работал только мозг. И очень эффективно. По крайней мере достаточно трезво, не усложняя и без того Сложный окружавший его мир. Его работа коммутатора исключала всякое философствование на абстрактные темы, так как связь он налаживал между людьми, а не с Богом. Случай с Огом был первым в его практике, когда он должен был наладить контакт с нечеловеком. Если, конечно, не считать историю с собственным комбинезоном. Но ведь с ним Тур и не пытался разбираться. Просто терпел его рядом с собой неизвестно по какой причине.

– А ну-ка, давай сварим в кей-кейе что-нибудь, – предложил коммутатор Ханту, собравшемуся мыть свои чашки – котелки.

– Что именно сварим? – с готовностью спросил тот, впрочем, догадываясь, что речь идет не о вегетарианской диете.

– А вот эту штуку. – И Тур показал ему на крылышко неведомого ему насекомого, нашедшего свою гибель в котелке лесного аборигена.

– Зачем?

– Не знаю.

Ответ Коммутатора полностью удовлетворил Третьяка Ханта и он быстро сбегал к озеру и принес в котелке кей-кей. Испытатели аккуратно

соскребли крылышко с края тарелки в жидкость и поставили на огонь. Кей-кей нагрелся, но никак не закипал. Стали ждать. Через несколько часов жидкость в котелке вздулась, округлилась пузырем, и воздушный шаром медленно после себя чугунной посуде ни капли. Тур и Третьяк так и остались неподвижно сидеть на палой прелой листве. Только задрали головы, следя за медленно взлетавшей сферой.

– Не взорвется? – спросил тихо Хант.

– Думаю, нет, – ответил От-Агасы.

– Я тоже чувствую – нет.

А тем временем пузырь кей-кейя на одном хрупком крылышке уже поднялся над самыми высокими деревьями, и стал невидим.

– Куда это он? – все любопытствовал Хант.

– Или оно.

– А ну-ка побежали. Где ты Мустафу оставил? Надо бы из скафандра посмотреть, куда это он полетел.

– Показывай, в какую сторону бежать, – заторопил Третьяка коммутатор.

– Так он или оно? – Хант уже несся впереди Тура через лес.

– Еще не знаю. – От непривычки к бегу Тур задыхался и хватался за левый бок, но не останавливался.

– А когда узнаешь? – не унимался Хант,

– Наверное, никогда.

– Почему? Ты же специалист.

– Потому что это не важно.

– А что важно?

– Не могу больше, ноги отнимаются... Ты беги, скажи Мустафе, чтобы сюда подогнал свой скафандр, – произнес с неровным горловым шумом Тур и упал на землю. – А я как смогу...

Хант, оставив свои въедливые вопросы, рванул вперед гигантскими прыжками, как лось. Тур попытался подняться и даже медленно зашагал за ним. В эти минуты его ничтожные физические усилия не играли никакой роли, но он посчитал, что именно сейчас он должен двигаться. Так хорошая гончая собака никогда не останавливается, даже если теряет след. В своей работе коммутатор особенно ценил кураж и всегда опасался сбить его. И он, задыхаясь, падая, вновь вставая, хватаясь то за грудь, то за бок, то за задыхающееся горло, брел невесть куда. Самоходный скафандр появился перед ним минут через десять. Тур непререкаемым тоном велел эксмэру освободить для него скафандр. Мустафа, на которого крайне сильно, почти до шока, повлияло полумертвое состояние измученного марш-броском коммутатора, тут же подчинился ему. Настроив системы скафандра на свой мозг, Тур увидел на экране, появившемся как зеркальное отражение зрачка его глаза, искомый объект: шар из котелка. Сгусток кей-кейя поднялся над атмосферой Земли и

стремительно двигался в глубины космоса. Во избежание ошибки, возможной при зрительном восприятии, Тур снял этот новый космический спутник на пленку через камеры околоземного спутника, мимо которого он пролетал. Затем выбрался из скафандра и произнес с азартом:

– Ладно! Пойдем дальше.

Дальше был таежный городок Ханта. Он состоял из крепких бревенчатых домов, выстроенных несколькими улицами с деревянными тротуарами. Все они, изгибаясь от разросшихся яблоневых садов за высокими заборами с резными столбами, вели к центральной площади на высоком месте с церковью и школой при ней. Там же были и торговые лавки. На окраине городка у дороги стояла кузница. Возле ее открытых широких дверей пристроилась телега без одного колеса. Сам хозяин повозки глазел на работу кузнецов. Вместе с ним в кузницу заглядывала и его малорослая лохматая лошадь. Крестьянин иногда что-то объяснял своей коняшке, животное согласно кивало большой головой. Идиллия и только. Коммутатор Тур От-Агасы прошел бы мимо этой сценки, если бы не горевший огонь в кузне. Пламя полыхало на голом камне, обтесанном в виде невысокой тумбы. Без угля, без нефти, без дровишек и трубочек с газом. В этом огне кузнец раскалял ленту из железа. Впрочем, Тур с равнодушным видом уже отворачивался от кузницы, но тут его схватил за локоть Мустафа и завопил:

– У них камень горит! Это не сланцы какие-нибудь горючие. Я проверял. У них в каждом доме есть свечи из гранита! Такие возможности открываются!

Оказалось, что Мустафе так полюбилась сказочная красота городка, что здесь он с безумством храбрых выбрался из своего скафандра и стремительно, как шуруп в дерево, вжился в наивное, приветливое сообщество терпеливых людей. Он купил за золотую монету Александра Македонского домик и решил выставить свою кандидатуру на выборах мэра. О чем громогласно заявил тут же и попытался немедленно начать избирательную кампанию с расклейки на заборах своих портретов, сразу же отпечатанных его скафандром.

Тур От-Агасы какое-то время сосредоточенно смотрел на пылавший на камне огонь, потом вдруг заявил Третьяку, что, пожалуй, его миссия закончена и в городок он не войдет. Хант должен был, конечно, запротестовать, ведь никакой ясности с Огом не наступило, но неожиданно легко согласился с коммутатором, причем с нескрываемым облегчением. Напоследок лишь попросил:

– Ты это... только там, у себя в городах-то, не болтай об Оге, а?

– А что?

– Да так. Узнают, набегут туристы всякие, ученые с телескопами. Хлопот не оберешься. Суета это.

– Ладно.

– Договорились! – влез в разговор Мустафа. – Я беру вас в компаньоны. – Энергия из ничего! Я уже зарегистрировал в Пекине фирму: «Энергетическая компания Ли».

Хант повернулся к нему и произнес с сожалением:

– Как же я тебя без присмотра здесь оставил? – и обратился к мужикам у кузницы: – А на что вы смотрели?

Те промолчали, покраснели, застыдившись, что купились за золотой. За всех ответил кузнец:

– Эта... домик твой, Мустафа, сгорел. Прости, не уследили. Молния, говорят, попала.

– Как сгорел? Ну, ничего, еще куплю.

– Прости уж великодушно. Но с утра новый закон у нас тута появился: дома не продавать.

Мустафа огорчился, но потом вспомнил об участке земли, на котором стоял его деревянный домик. Тоже недвижимость. Оказалось, что земля вообще не являлась в местной тайге предметом купли-продажи, потому как общая.

– Да это заговор! – стал возмущаться Мустафа. – Я подам на вас в суд в Страсбурге!

– Ты это... Мустафа, не убивайся так. Жизнь – она разная: где найдешь, а где потеряешь. Вот, у тебя из кармана золотая монета выпала, сам видел. Возьми обратно, Христа ради.

– Да я вас всех такими монетами обложу с ног до головы! С вашей кузницей и церковью.

Мужики не ответили, лишь укоризненно покачали бородатыми головами.

– Заткнись! – велел несостоявшемуся мэру Тур. – Полезай в свой скафандр.

– Не полезу!

– Тогда я им, пожалуй, воспользуюсь, – решил коммутатор. – Тут комары, разносчики геморрагической лихорадки.

– Врешь, коммутатор. Здесь тебе не тропики.

– Времена меняются. И экология тоже.

Мустафа не стал больше протестовать и благоразумно поспешил укрыться в своем скафандре. Хант пошел провожать гостей.

– С разговорами быстрей дойдем. Есть о чем поговорить.

– О горящих камнях? – подхватил беседу Тур.

– Камни дело Божеское, – спокойно произнес Третьяк. – Не нам о них рассуждать. Лучше все же об Оге. Что же ты о нем думаешь?

– Слушай, Хант, а как ты на меня из этого таежного угла вышел? – ответил вопросом на вопрос Тур.

– Я-то? – ответил Третьяк. – Ты ведь коммутатор в своем мире, я тоже что-то вроде коммутатора, но только здесь, среди своих. Я открываю двери, если кто-то закрыл их в своем доме перед общиной. Раньше случалось такое редко, но в последнее время все чаще и чаще. Но Бог с ними, с этими

дверьми людскими. Сегодня помимо нашей воли открылись такие двери, о которых я и в страшном сне подумать не мог. Третьяк Хант помрачнел, впал в тоскливую задумчивость и замолчал. Тур понял, о чем говорил Хант, но ре шил, усмехнувшись, уточнить свою догадку:

– Ты хочешь сказать, что эта жидкость кей-кей к нам выплыла оттуда? Из потустороннего мира? Из ада или рая?

– Вот ответь мне, – мрачно произнес Хант, – Ной впустил в свой ковчег каждую тварь с парой. Дабы они могли произвести на новой земле свое потомство. Только Ог один в самке не нуждался. Как эти... жопошники.

– Кто-кто? – не понял Тур.

– А... не знаю как их по латыни называют, – ответил Хант. – Ну, которые без баб сами с собой...

– Что ж... Если были спасены те, кто зарождает жизнь, в ковчеге мог быть и тот, кто символизирует антизарождение. Бог не брезгует логикой.

– А кто не нуждается в своем размножении волею Божьей?

– Живые мертвецы, – не раздумывая ответил коммутатор. – Так, значит, по-твоему, Ог – исчадие ада? И озеро полно ожившими трупами?

– Очень может быть. – Хант явно старался избегать более точного определения.

– Но если жидкость кей-кей накрыла какое-нибудь кладбище, то трупы из нашей вечной мерзлоты как бы поднялись...

– Какие еще трупы? – запротестовал Мустафа. – Ах, трупы! Живые мертвецы. Ну, это уж слишком! – И он создал вокруг своего бронебойного скафандра еще и волновую непроницаемую сферу. И принялся требовать от Тура От-Агасы поскорей убраться отсюда, напоминая, что они прибыли сюда лишь затем, чтобы узнать об острове Майда.

Тур тоже наконец вспомнил о главной цели своего визита к Ханту, но тот долго не мог понять, что от него хочет коммутатор. Тур терпеливо объяснил Ханту, почему он считает, что ему известен ключ к загадочному острову. Наконец лесной коммутатор понял, что коллега говорит о совете держаться левой стороны луны, высказанном им коммутатору при первой встрече. И об огне несжигающем, и о мече деревянном. Но Ханту нечего было добавить к уже сказанному, точнее высказанным тогда помимо его желания словам. Он, чуть поколебавшись, вошел в кузницу. Там он сунул руку в огонь, горевший на камне.

– Руку сожжешь! – попытался остеречь его Тур.

– Нет. Это тот огонь, который не сжигает, – ответил с улыбкой Хант, играя своими корявыми пальцами с пламенем.

Коммутатор с недоумением произнес:

– Но ведь кузнец на этом огне раскалял металл... Металл – да. А вот для людей он безопасен. Даже я сказал бы: спасителен. Без него мы здесь и не выжили бы. Он нас охранил от врагов и избавил от друзей. Этот огонь дан был

нам за наши молитвы. Я буду просить на Большом Совете разрешения дать и тебе огонь на камне. Но тогда и ты выполнишь свое обещание до конца. Если не здесь, то где угодно, найди способ заговорить Ога. Кем бы он ни был, лучше все-таки с ним покончить или... договориться, если Бог решит окончательно разместить нас на одной земле.

– Хорошо. И больше ничего не скажешь?

– Прости. Всего знать никому не дано.

Тур От-Агасы откровенно расстроился. Стоило шагать сюда через опасный лес да мимо озер с нечистью, чтобы ничего не получить в ответ на единственный интересовавший теперь его вопрос? Проявляя профессиональное упорство, он спросил с надеждой в голосе:

– Может быть, в других ваших православных общинах знают о левой стороне луны?

– Сходи узнай, – холодно ответил Хант. – От нас на восток православных земель восемь, на запад – три земли. Самая большая из них совсем недалеко от нас. На Оке-реке. С ними у тебя понимания побольше будет, чем тута. Тамошние православные, как бы это сказать, посовременней нас. И святые у них новейшие. Они приняли от Москвы мощи святого Владимира Ленина и хранят у себя. Говорят, сила от него большая.

– Это революционера Ленина? – встрял в разговор Мустафа, сталкивавшийся в своем Бейруте с левацкими организациями имени Ленина.

Третьяк Хант вынужден был опять вступить в неприятную ему перебранку с экс-мэром из Средиземноморья:

– Не революционер он, а православный старец, святой.

– Да знаю я, – кипятился в своем скафандре Мустафа Ли. – Этот Ленин коммунист, он диктатором был в Советском Союзе. Ну, какой же из него святой! А Советский Союз – империя зла!

– Сам ты!... Я не знаю, кого вы там называете диктаторами, но идеи у коммунистов истинно шли от заповедей Господа нашего Иисуса Христа, – стал горячиться и Хант, потом, сдержав свое негодование, добавил: – Мы, конечно, сами Владимира Ленина святым не признаем, но и с братьями с Оки не спорим. Потому как, что ни говори, а мощи Ленина оказались нетленными.

Мустафа, неоднократно обиженный всякими революционными группами и партиями, хотел было еще яростней кинуться в спор, но Тур жестом заставил его заткнуться и задал сугубо деловой вопрос:

– А у них, ленинцев, тоже есть горящие камни?

– Нет, у них лампочка Ильича. Электрическая.

– Нет... электричества и у нас полно, – окончательно разочаровался Тур и пошел по улице из православного городка.

За Туром поспешил и Мустафа в своем скафандре, на котором по-прежнему сидел Дружок. На прощанье Мустафа крикнул с досадой:

– Я вынужден снять свою кандидатуру на пост мэра вашего города! Вы не оправдали моих надежд, и я потребую внести вас в список недемократических обществ! А-а, съели!

Вернувшись в свой вагон, Тур даже не стал направлять его по новому маршруту, а поспешил сразу же забраться в свежий спальный комбинезон, чтобы снять всю грязь с кожи. Да и выспаться не мешало. Погружаясь в сон, он подумал о том, что слишком много стало в последнее время неудач в его работе.

На следующий день он снова работал с озером и Огом. Но и это его пребывание на берегу закончилось ничем. Ог не то чтобы не пожелал выйти на свиданье, но и не показал коммутатору свой хобот на прощанье. Отчаявшись, Тур От-Агасы хотел воспользоваться рецептом великого поэта А.С. Пушкина и, как Балда, взболтать жидкость озера веревкой, авось и вылезли бы из него все, кто нужен. Но веревки под рукой не оказалось.

Мустафа, несмотря на то, что скафандр гарантировал полную безопасность его жизни, входить в озеро категорически отказывался. Пустой комбинезон-Дружок захлебнулся бы и утонул с концами. Можно было залезть в озеро и голым, но пример взлетевшего в космос крылышка в кей-кейе удержал Тура от такого безумного шага. Так что коммутатор Тур От-Агасы и не знал, что он еще мог предпринять. Честно говоря, и не хотел. Он больше забавлялся подаренным ему Хантом камешком, на котором трепетало узкое и невысокое пламя.

Естественно, От-Агасы не принял сказочной гипотезы Ханта о дыре, ведущей сквозь озеро кей-кейя в ад. Об оживших мертвецах он также думал скептически. Хотя экспериментально была уже доказана возможность движения мертвого биологического тела. В истории с Огом Тур увидел лишь еще одно свидетельство окончательного распада земной цивилизации путем неконтролируемых мутаций. Но даже он никогда не предполагал, что противоестественные изменения могут так далеко зайти. Одно дело, когда брат с братом или вождь с племенем не могут найти общий язык. Но совсем другое, когда живой мир на планете раскалывается на две половины, не схожие ни в чем. Ог – не человек, и не животное, и не рыба. Он и его человекоподобные медузы, думал Тур, возможно, плоды зарождения новых существ из непонятной материи на Земле. Как когда-то десятки миллионов лет назад сформировавшийся белковый организм выбрался из океана на сушу, чтобы стать прародителем и животных, и птиц, и человека, так и Ог сегодня пытается выйти из кей-кейя.

Эволюция эволюцией, но чернокожая красавица в своей Африке ждала избавления из плена искусственного сна. А он тут сидит на лоне приятной природы и играется с огоньком, как с игрушкой. В знак солидарности с любимой Тур решил и себя навечно замуровать в своем летучем блоке. Он поднялся в свой вагон и, навечно закрыв за собой двери, направил его вперед без всякого конкретного курса.

Мышиный хвост
(папка пятая)

Коммутатор Тур От-Агасы намертво завис в своих невеселых мыслях о Найт, как и его вагон над европейским пляжем, сплошь покрытым нескончаемой полосой кей-кейя. Тур настолько глубоко погрузился в меланхоличные чувства, что не заметил, где и как потерял Дружка. Очнулся он от вязких размышлений, услышав настойчивый стук в дверь. Он настолько отупел, что позволил себе равнодушно подумать, что это навязчивый дятел переместился с крыши на гладкую внешнюю поверхность вагона. И, пожалуй, так и сидел бы сиднем, но в дверь стучали и стучали. Пришлось открыть. За нею стоял Хант со своими лыжами. Рядом с ним летал дятел и время от времени пытался клюнуть таежного жителя в голову, к счастью, надежно прикрытую мохнатой волчьей шапкой.

– Доброго здравия всем, – проговорил Третьяк и вошел в вагон. – Ну что, полетели?

Тур не ответил. Забыв закрыть за Хантом дверь, он вернулся к своему ложу, и тут же был наказан за свою рассеянность. К открытой двери в своем скафандре спланировал Мустафа и нагло, без спроса, влез в вагон. И тут же принялся командовать:

– Полетели, полетели!

Но Тур, расстроившийся окончательно, даже не посмотрел в его сторону. А Хант ловко смастерил из своих мохнатых широких лыж нечто вроде лежака и тоже растянулся на нем в свое удовольствие.

Началось великое коммутаторское лежание. Месяца через три Тур произнес достаточно радушно:

– Привет, Третьяк. Как долетел?

Дней через десять Хант ответил:

– Раньше, молодым, отмахивал зараз верст сто. Теперь не то. Постарел. У меня же в заднице мотора нет, не заменишь. Я ж летаю по-старинному – стоймя. Прямо по хребту проходит вертикаль эта. От полетов копчик потом болит ужас как, ломит прямо. И бессонница мучает дня три подряд.

И приятели снова бы замолчали, наверное, надолго, если бы не Мустафа Ли, который все не оставлял своих попыток поднять Тура От-Агасы. Бейрутовец не уставал напоминать, сколько он финансов вложил в общее дело. Требовал искать и искать остров Майда и снова бухтел о каких-то лифтах – мол, если нет лифта, то нечего и подниматься к людям. Последнее замечание было адресовано Ханту. Таежный коммутатор проигнорировал мелкий укус Ли, но поспешил ответить Туру. Не прошло и суток, как он сказал ему важно и бесцеремонно:

– Бабу тебе надо завести, Тура.

Он переиначил на свой лад имя коммутатора, делая ударение на последнем слоге.

– А то живешь тут с этой куклой резиновой. Нехорошо.

Мустафа захихикал. Задетый за живое, Тур От-Агасы немедля, часика через три, кисло и вяло парировал:

– Ты кого имеешь в виду, Мустафу или Дружка? Если Дружка, то не кукла он, а комбинезон. С бельем не живут, бельем пользуются. А где он, кстати? – Тур за долгое лежание впервые эмоционально оживился. Он приподнялся со своего ложа и беспокойно огляделся.

– А его забрала с собой одна чернокожая леди, – ответил Мустафа. – Представилась твоей знакомой. Где-то она оставила свою визитку.

И правда, прямо перед носом Тура светилась полоска с надписью. Коммутатор Тур От-Агасы движением пальца отправил ее в свой компьютерный файл, не читая.

– Вот хотел бы я знать, – заговорил Хант. – Вы теперь и свет останавливаете, чтоб писать на нем всякое. Свет ведь не только ваш. Его Бог всем нам дал, а вы с белым светом балуетесь. Пакостите.

– Ну что ты ворчишь, как старуха, – и сам недовольно пробурчал коммутатор От-Агасы.

– Как старуха, говоришь, – ответил более сурово Хант. – А о конце света ты слышал?

– Ну, это сказки, миф такой. Так просто говорят, – ответил вместо Тура Мустафа. – Но где-то вы, господин Хант, правы: а не перегибаем ли мы технологическую палку? А вдруг весь свет так и остановится?

– Не остановится, – не совсем уверенно ответил Тур. – А остановится, что-нибудь придумают.

– Я же не об этом, – огорченно пояснил Хант. – Бог поможет. Вернемся лучше к нашей заботе. Хотя... где дела земные, а где небесные... и не понять нынче. И все же. Прежде чем мы отправимся в путь... А мы отправимся? – И он посмотрел строго на Тура От-Агасы.

– Да, – твердо ответил тот.

– Но только не на лифте! – внес и свою долю искренности в ненормальный разговор Мустафа.

– Ага, – продолжил Третьяк. – Тогда прежде нам надо найти и вернуть твой комбинезон.

Коммутатор какое-то время осмысливал план Ханта, но, не найдя в нем ничего разумного, в ответ сам не нашел ничего более умного, чем с удивлением уточнить:

– Дружка что ли?

– Ну как ты там его называешь, твое дело... Ну пусть будет Дружок.

– Да зачем тебе он? – уже встревожился Тур, вполне удовлетворенный тем, что мадам Окумба увезла от него беспокойного сожителя. – Не нужен он нам! Будет только путаться под ногами.

Коммутатора поддержал Мустафа Ли, заявивший, что его скафандр и просторней, и надежней, и, главное, пустой внутри. Здесь Тура охватила обида, но не за Дружка, а потому, что о его предметах принялась судить такая неприятная личность, как Мустафа Ли:

– Дружок тоже внутри пустой.

– Не знаю, не знаю, я в него не заглядывал и в нем не сидел, – принялся отстаивать свой взгляд на вещи Ли. – Да что в нем может быть? – возмутился Тур. – Разве что сероводород, который я невзначай подкачал в него во сне.

– Все может быть! – с нешуточной тревогой заявил экс-мэр Бейрута.

– Вплоть до лифтов, – с усмешкой добавил Тур.

На этот раз обиделся Мустафа Ли, но всем своим видом еще раз подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах, оскорблениях и даже унижениях не отстанет от коммутатора.

– Не будем спорить, что может быть в этом комбинезоне, – выступил в качестве арбитра Хант. – Не это важно. Главное, надо восстановить ту ситуацию, которая была, когда все началось.

– Что значит началось? Этот мир давно уже сошел с ума, и нет смысла начинать с моего грязного постельного белья, – запротестовал Тур, хотя, как опытный коммутатор, понимал, что этот лыжник из глухого сибирского уголка прав.

– Я все думал... – попытался дальше размышлять вслух Хант. – Зачем я тогда, увидев впервые твоего Дружка, брякнул: иди, мол, по левой стороне луны. Если мы это поймем, то разберемся и с Дружком твоим, и с Огом.

«Врач, исцелись сам», – вот формула, с которой ему следовало обратиться сейчас к себе. Как и любой высококлассный профессионал, коммутатор Тур От-Агасы был беспомощен в вопросах, касавшихся его личной судьбы. Он легко находил и восстанавливал связи в чужих судьбах, но затруднялся делать это, когда его собственная жизнь трещала по швам. Что же до дел нынешних, то не надо быть и коммутатором, чтобы понять, почувствовать в Ханте того человека, который способен потянуть именно ту ниточку, которая помогла бы распутать весь клубок завертевшихся вокруг него неудобных событий. Главное – не мешать ему, а по возможности и помогать. Например, вспомнить, что однажды, еще в Африке, Дружок притащил журнал для мужчин, на обложке которого сиял он собственной персоной. Да и другие снимочки дурного плана были посвящены ему. Оказалось, что Дружок был выбран секс-символом Всемирной лиги сексуальных прогрессистов. Видимо, о его физиологических особенностях проболталась где-то там, в НьюЙорке, госпожа

Окумба. По крайней мере фотографии Дружка в таких позах могли быть только у нее. Теперь же она дошла до того, что выкрала у Тура его комбинезон.

– Дружок в Америке, Северной. В Нью-Йорке, – уверенно произнес Тур От-Агасы.

– Вот дрянь черная, – воскликнул неполиткорректный Мустафа.

– В Африке у озера Чад живут самые страшные колдуны на свете, – авторитетно заявил Третьяк и перекрестился.

Коммутатор направил вагон в сторону Атлантического океана. Вагон двинулся, но затем резко вернулся обратно, потом снова вперед... и назад, словно был привязан к земле мощной резинкой. Ну, конечно же, опять он задолжал Транспортной компании. Но странно, обычно за долги его вагон отправлялся на ближайшую стоянку и там просто укладывался на земле в контейнерный ряд. В этот же раз компания заблокировала вагон Тура в воздухе, что из-за энергетических затрат несло ей чистые убытки. Да такие, что и максимальный штраф за уклонение от платы, который грозил Туру, да и сам вагон этого не стоили.

– Я за все заплачу! – заявил Мустафа.

Коммутатор не возражал, но неожиданная проволочка возникла в недрах самой Транспортной компании. Сам ее президент появился на экране, что было уже само по себе немыслимо, и вкрадчиво попытался уточнить:

– Мустафа Ли?

– Да-да! – нетерпеливо закричал экс-мэр. – Сколько он вам там задолжал?

– Пустяки, – ответил владелец самой богатой транспортной фирмы. – Мы это вмиг уладим. Но прежде с Вами хотел бы поговорить мистер Швейдель.

– Плоскость экрана вместо президента транспортников занял благообразный старец в потрепанном пиджаке и недоуменно спросил:

– А где же мистер Ли?

Тур оглянулся и не нашел в своем вагоне Мустафу. Тот словно испарился.

Возникла неловкая пауза.

– Господин Швейдель, – извиняющимся тоном произнес Тур. – Мустафа Ли, я думаю, вышел на минутку.

Швейдель нахмурился, прищурился, искривил губы и недовольно, с расстановкой произнес:

– За базар ответишь, падла, век воли не видать!

– Извините? – только и смог сказать Тур.

– Это совершенно не относится к вам, мистер От-Агасы. – Морщинистое лицо Швейделя вновь приняло аристократическое выражение и исчезло.

Коммутатор был озадачен. Еще больше он удивился, когда выяснил, что старый человек по фамилии Швейдель, перед которым явно прогибался президент могучей Транспортной компании, был всего-навсего владельцем маленькой антикварной лавки в Иерусалиме. И совершенно не был похож на террористов левацких партий, от которых Мустафа имел привычку бегать.

Позорное бегство богатого Ли поставило начавшуюся экспедицию в затруднительное положение. Личных финансовых ресурсов для ее продолжения, очевидно длительного, не было и у Ханта. Он мог внести в общее дело лишь пару мешков кедровых шишек да лукошко с грибами. И хотя вероятность того, что бывший мэр Бейрута снова начнет набиваться в друзья и соратники, была велика, стоило подумать о возможности самим заработать как можно скорее сумму, выраженную в энергии не менее ста тысяч киловатт-часов. Иначе можно было и не перелететь через Атлантический океан, а плюхнуться в соленые волны и болтаться там черт знает сколько времени вместе с пластиковыми бутылками и контейнерами, пока течение Гольфстрима не прибьет вагон снова к берегу Европы. Коммутатор От-Агасы покопался в своих заказах, и на его счастье в них оказалась одна заявка из Вашингтона. А это как раз рядышком с местом, куда они намеревались лететь. Тур От-Агасы тут же послал сообщение заказчику, что он приступил к его делу, и потребовал аванс. Через несколько минут Транспортная компания сообщила Туру, что его энергетический канал вновь удлинен до устраивавшего его вектора. Теперь надо было действительно браться за вашингтонское дело.

На Американском континенте по профессиональным делам Тур От-Агасы бывал не раз, но никогда не имел дел с государственной властью. Посему у него было лишь поверхностное представление о ней, как, впрочем, и у самих американцев. Так что ему пришлось серьезно поработать с информационными сайгами.

Туру нравилось работать с американцами англоязычной цивилизации, так как они были гораздо проще, чем их сограждане с испаноязычной культурой, в которой было слишком много замешано заморочек от доколумбовских языческих богов и божков.

Соединенные Штаты Северной Америки, как единая страна, закрепили за собой репутацию плавильного котла всех наций в мире. Так оно и было, пока в конце XX века в одном из техасских городков на границе с Мексикой законодательно не было запрещено употребление английского языка. Через пару десятилетий испанский язык как государственный был принят и в столице штата Техас, затем и в штате Флорида, а потом на всем юге США. Латиносы, составлявшие к этому времени уже половину населения страны, упорно не желали учить английский. Нация распалась на испаноязычных и англоязычных американцев. К последним относились белые, азиаты и чернокожие американцы. Оказалось, что больше всего отделяет людей друг от друга не цвет кожи или разрез глаз, а язык.

– Добрые люди всегда столкуются меж собой, – заметил по этому поводу Хант.

– Наверное, если захотят. А если нет? Не желают, живут рядом и талдычат только на своем языке. Действительно, трудно ведь не почувствовать подозрение и неприязнь к людям, которые находятся рядом с тобой и о чем-то

между собой говорят на непонятном тебе языке. А может, в этот самый момент они оскорбительно обсуждают твою персону или даже хуже – прикидывают, как напасть на тебя, ограбить, убить? К тому же оказалось, что латиносы – это католики с индейским акцентом. В американских костелах к тому же родилась идея, что Христос воскреснет в образе латиноамериканца, и как потом с ним поговоришь на английском? Как ему расскажешь, что Педро грешник, потому как пьет виски, а не текилу, а Санчо, его троюродный брат, наоборот, святой, потому как мать свою не забывал и на свадьбе у Хосе пел как бог?

– Костелы – это церкви ихние?

– Да, церкви.

– Это верно, вера крепость дает. А война-то была у них, как у нас?

– А как же без войны? Только без авиации и танков.

Решением Верховного суда армии США было запрещено участвовать во Второй Гражданской войне между Югом и Севером. На основании того, что она была оснащена и содержалась на деньги налогоплательщиков как одной, так и другой воевавших сторон. Это была не просто Вторая Гражданская война, а Тотальная война гражданскими исками. И конца и края ей не было. Штаты, компании, граждане проигрывали и выигрывали судебные процессы, немыслимо гигантские суммы присуждали то одним, то другим, но никто не платил, потому что в этих бесконечных и бесчисленных судах все окончательно запуталось. Ни Президент, ни Конгресс, ни Верховный суд с Генеральным прокурором ничего не могли поделать, так как сами выступали в роли ответчиков. И перед простыми американцами, и перед полицией, и перед животными, адвокаты которых действовали особенно зверски, так как четвероногиеипернатыеклиентыпоприродесвоей давали им полную свободу действия. А когда они сами пытались вчинить иск своему народу, их тут же переизбирали, объявив там импичмент какойнибудь.

– А президент, к которому мы летим, чей?

– Общий. Конституция у них как священная корова, которую трогать нельзя, но можно доить и доить. Все держатся за нее в том виде, в котором она есть. Главное, что она позволяет всем судиться.

Вот в таких геополитических беседах прошел весь путь до Америки. А так как таможне и другим пограничным службам, вовлеченным в судебные процессы, было некогда заниматься своей работой, вагон коммутатора Тура От-Агасы спокойно приземлился перед Белым домом в Вашингтоне.

Пройдя с трудом через комнаты Белого дома со сдвинутой с мест тяжелой мебелью, Тур нашел Президента Соединенных Штатов Северной Америки в Овальном кабинете сидящим на полу у стены и выковыривавшим паркетные планки бронзовым ножом для резки бумаги. По крайней мере, именно на него указали Туру сонливые сотрудники Белого дома. Они подвели коммутатора к своему Президенту и тут же ретировались, видимо, досыпать в

своих глубоких мягких креслах с подогревом и ароматизаторами с запахами преимущественно материнского молока.

Говорящие на разных языках американцы нашли компромисс в выборе Президента, избрав на этот пост глухонемого кандидата. Туру пришлось прикоснуться к плечу Президента, иначе пришлось бы ждать, пока тот не прорoет свой лаз, видимо, к мемориалу Линкольна. Президент вздрогнул и ловко вскочил на ноги с угрожающе вскинутой вверх рукой с ножом. Это был мужчина средних лет с серой кожей, невысокого роста, с непропорционально длинными ногами. Как и положено хорошему коммутатору, Тур От-Агасы владел коммутативной жестикуляцией глухонемых и смог успокоить разрушителя паркетного пола. А затем поинтересовался, действительно ли он имеет честь видеть Президента США. Тот кивнул в ответ и сам требовательно вопросил вторгшегося в его кабинет человека, кто он и зачем пожаловал. Наконец, объяснились. Выяснилась и причина, по которой Президент искал помощи у коммутаторов. Оказалось, он хотел установить личностный контакт с поселившейся с некоторого времени в Белом доме мышью, а мышь этого никак не желала. Если бы Тур способен был вернуть полученный за работу аванс, то он, конечно же, вежливо попрощавшись, тут же покинул бы дом странного Президента. Его не остановила бы даже угроза снижения его рейтинга как специалиста, способного разрешать все без исключения проблемы человеческой связи с окружающим миром. С мышами он еще только не общался! Но ничего не поделаешь, вагон намертво сел на газон перед Белым домом, и можно было только ждать, пока и его стены не прогрызут мыши. Единственное, что Тур От-Агасы достоверно знал о мышах, так это то, что эти маленькие млекопитающие принадлежат к классу грызунов. А также то, что, согласно эзотерическим знаниям, они символизируют собой «слабый рассудок – короткий ум» и, конечно же, представляют Подземный мир. Американцы всегда обожали мышек. Еще Тур помнил, что у мышки есть хвостик.

В практике коммутатора Тура От-Агасы редко, но все же встречались случаи, когда решение проблемы могло быть только в раскручивании первой же пришедшей на ум идеи. Как правило, по-детски наивной, лишенной всякой мало-мальски объяснимой логики. Но так как других вариантов больше не возникало, сколько бы он ни напрягался, то приходилось, скрепя сердце, играть в детские игры. И вот после тридцати с хвостиком часов мозговой атаки по схеме «O-myself», скрупулезного анализа психофизиологической карты клиента, активизации аналогов и компьютерного моделирования Возможных и невозможных ситуаций все равно перед его глазами всплыл Мышиный хвостик. «Это глупо!» – злился на самого себя Тур, но его угнетало уже само осознание того факта, что он безрезультатно бьется над этим делом уже тридцать часов... с хвостиком. Надо бы что-то сделать с этим отростком. Он решил отоспаться: и с надеждой, что утро вечера мудренее, отравился в вагон. Там он застал Ханта,

пившего темную жидкость из медного теплового устройства. Откуда он вытащил этот аппарат, было непонятно.

– Что это?

– Самовар, – ответил он, отдуваясь и прихлебывая из блюдечка. – Хочешь чайку?

– Нет, – ответил Тур, ушел в спальный отсек и рухнул там, как подкошенный, едва успев влезть в спальный комбинезон.

Но сон не принес коммутатору отдыха. Ему приснился серый хвост проклятого грызуна. Штука эта крутилась сама по себе и так и сяк, поманивала его тонким кончиком к себе, наконец, заколосилась мерзкими тоненькими шнурками. Проснувшись, коммутатор Тур От-Агасы увидел, что Хант, весь вспотев, все продолжал пить чаи, доставая какие-то куски из своей котомки и покусывая их сладко, а затем ситцевым платочком вытирая кативший с лица пот: «Ух! Ох!»

«Действительно, тяжко, – говорил весь вид Третьяка, – посиди-ка попробуй за кипящим самоваром в меховой шапке! Это тебе, брат, не мышам хвосты крутить».

Тур остро позавидовал любителю наркотической китайской травки, вспомнив и замечательное варево, которым его угощал в Сибири Третьяк. «Вот так жить надо, по-таежному», – подумал Тур и отправился к клиенту с рекомендацией прицепить к себе мышиный хвост. Объяснил он Президенту этот ход тем, что мыши общаются между собой в основном шевелением хвостиков. Задерут вверх – внимание, поведут в сторону – пошли, мол, а если подкрутить, то явно заигрывают. Глухонемому Президенту такой подход пришелся по душе, и он немедленно заказал себе серый полутораметровый хвост и принялся разгуливать с ним перед мышиной норкой.

Но домашний Микки Маус продолжал игнорировать своего Президента. Хвост усовершенствовали, сделали механическим, со специально разработанной информационно-кодовой программой шевеления, но это вызвало только некоторое любопытство у мышки. Она стала выглядывать из дырки в углу Овального кабинета, но и только. Как ни старались конструкторы, в движениях хвоста оставалась какая-то неестественность, не было в хвостике легкости, беспечности и той безрассудной увлеченности, какая выказывает искренние чувства живого существа. Особенно не давался незавершающийся взмах на грани положительных и отрицательных эмоций, возбуждающихся одновременно. Ничего не оставалось делать, как грубо зафиксировать внимание Президента на уже достигнутых успехах и предложить ему и дальше развивать эту линию связи с мышкой. Под этим же соусом коммутатор Тур От-Агасы добился дальнейшего финансирования своей работы и убедил клиента, что теперь ему следует отправиться в Нью-Йорк, поскольку якобы там просматриваются кое-какие новые ходы для налаживания коммуникации с грызунами. Вроде там какой-то тип каким-то образом сошелся с одной крысой и

даже был обвенчан с ней в протестанско-зоологической церкви Осла Иисуса Христа.

Хант предложил поставить на грызуна мышеловку, ужаснув даже повидавшего виды коммутатора своим варварским подходом к столь деликатным вещам. Тур От-Агасы не стал читать отповедь лесному жителю, а только удрученно покачал головой. Правда, при этом думая о том, что самые простые решения бывают самыми верными. А что? Взять и отловить эту мышку, а затем, привязав к ее ножке веревочку, выдрессировать так, как вам угодно. А еще лучше вырвать мышке хвост и наклеить его на лоб клиенту, пусть помахивает! Но лучшей версией была такая: взять мышь и медленно-медленно раздавить ее каблуком на паркетном полу Овального кабинета на глазах падающего от ужаса в обморок глухонемого Президента.

«Так надо решать проблемы», – мысленно воскликнул Тур и понял, что живущий в нем, как и в любом *homo sapiens,* зверь стал поднимать голову и скалить зубы. Рецепт избавления от его агрессии был единственным: перестать фантазировать. Фантазии человека порождают в его сознании чудовищ. Словно угадав зарождающийся в Туре сатанизм, Третьяк Хант снова завел свои проповеди. На этот раз он заговорил о том, что грех прежде проклевывается в мыслях, и если его подкармливать, воображая, как ты гребешь золото лопатой, блудишь или со сластью рвешь на кровавые кусочки лицо врага, то завтра действительно пойдешь и отнимешь последний кусок хлеба у голодающей семьи, изнасилуешь ребенка, убьешь отца своего...

К счастью, дорога до Нью-Йорка оказалась короткой, и как только вагон опустился на крышу одного из небоскребов Манхеттена, Тур пулей тут же вылетел из него. Но на этот раз Третьяк решительно направился за ним, не прекращая вещать насчет ада и рая. Не забыл он прихватить с собой, естественно, и лыжи.

Супруги Окумба снимали сто тридцать седьмой этаж.

– От моего вагона не скроешься, – самодовольно проговорил, обращаясь к таежнику, Тур. – Он, как хорошая ищейка, кого угодно везде выследит и догонит. Не то что ваши охотничьи собаки.

В ответ Хант лишь пожал плечами, бормоча себе под нос что-то вроде: как, мол, можно сравнивать собаку с домом? Дом должен стоять на земле, а собака дом сторожить. Потому что это правильно. А когда из домов улей лепят, наподобие этого американского дома, то это не дом вовсе, а колода.

Первые этажи небоскреба были затоплены приливной водой океана, а крыша оказалась покрыта полупрозрачной пленкой, как колпаком, спаянной со стенами по всему периметру, так что и не подлезешь под нее. Но жизнь в нем кипела, как и в прежние времена, когда президентом страны был актер, а будущее – сплошное кино.

Тур и Хант, сколько ни бились, сколько ни рвали и ни резали защитную пленку, только вязли в проемах косяков. Двери, ведущие вниз, были совсем

рядом, а не шагнешь в них. Помучавшись так с полчаса, вновь забрались в вагон и опустились на нем, как на лифте, до уровня этажа № 137. Сквозь огромные окна было отчетливо видно, как по апартаментам четы Окумба расхаживали обнаженные люди. Голые светились. Нагота толпы вызвала у Ханта неадекватную реакцию. Он чуть не рухнул вниз с воплем: «Черти».

Соски дам мигали, как светофоры, красным и зеленым светом, по коже одного лысого мужика бежали сиреневые и голубые стрелки к штуке, свисавшей в низу его живота и полосато флуоресцировавшей, так что его вполне можно было принять за дорожного полицейского. Впрочем, большинство публики предпочитало все же светиться в диапазоне консервативных оттенков.

Оставался один выход, самый неудобный, – войти в здание так, как входят в него нормальные люди. Коммутатору От-Агасы достаточно было напомнить супругам Окумба о себе, как перед ним открылись бы все двери, расступилась бы самая непробиваемая охрана. Но Тур посчитал, что ему нужно появиться инкогнито, чтобы застигнуть Дружка врасплох. Что-то подсказывало ему, что тот попытается снова бежать от него, с помощью хотя бы той же мадам Окумба. Подождали океанского отлива и, хлюпая обувью по лужам, вошли в гигантский холл здания. К персональному семейному лифту семьи Окумба здоровые вооруженные ребята допускали только приглашенных гостей, прямо на входе сравнивая подходивших визитеров с их голограммами, причем самой навороченной модификации, способной самостоятельно указывать на тех самозванцев, которые пытались выдать себя за оригинал. Не обращая никакого внимания на секьюрити, коммутатор зашагал прямо к нужному ему лифту. А когда охранники встали у него на дороге, он развязано заявил:

– Мы клоуны по вызову.

И, видя, что охрана по-прежнему насторожена и вот-вот даст ему по голове, коммутатор воспользовался примитивным приемом психолингвистического воздействия. Он стал прохаживаться перед охранниками, похохатывая и подпрыгивая с ужимками:

– А ну-ка, детишки, все встали в круг. Веселее, веселее, все получите конфетки, ха-ха-ха! А ты, мальчуган, иди сюда, встань в круг! – И потащил одного из парней в центр воображаемой арены. – Все похлопаем ему. Он нам песенку споет, да, малыш?

– Не пою, – запротестовал угрюмый детина.

Внимание остальных агентов переключилось уже на их коллегу, попавшего в дурацкую ситуацию, они расслабились, стали похохатывать. Восстановить порядок и работоспособность агентов стало для начальника охраны теперь самым главным. Он решительно прекратил весь этот балаган:

– Клоуны, проходите! Вам здесь не цирк! А вы все по местам! Прекратить лыбиться!

Перекладывая свои самодельные лыжи с плеча на плечо, Хант спешил за коммутатором, шарахался от встречавшихся голых светящихся людей и спрашивал:

– Тура, а кто такие клоуны?

– Клоуны – это ты и я. Это такие люди, которые выглядят как смешные дураки.

– Я не выгляжу смешным дураком.

– Тогда сними штаны и ходи с голым задом. Или хотя бы треух свой сними с головы...

Вся окумбовская публика с удивлением смотрела на Тура и Третьяка. Хант в своей меховой шапке, потертых валенках и с лыжами на плече, конечно же, среди них смотрелся дико.

Гости супругов Окумба, лишь глянув на Ханта, буквально валились от смеха с ног.

– Вот так и ходи в нем с чувством собственного достоинства, – рассмеялся сам Тур.

Официанты разносили напитки, на столах громоздились блюда с головокружительно аппетитными конструкциями. Среди них Хант разглядел русские пирожки, потянул было к ним руку, но его остановил Тур со словами:

– Я бы не советовал.

–Это почему же? Я есть хочу.

– Возможно, это вообще не еда...

– А что это?

– Ты лучше поглядывай по сторонам... Как бы нам Дружка не упустить снова...

Хант внимательней всмотрелся в череду гостей супругов Окумба, но отчетливо видел только, как они поглощали угощения. Они их словно слизывали, даже крупные жареные куски мяса не прожевывали, а сглатывали, как крем.

– Черт с ними, с этими пирожками. Все равно с капустой у них нет, а без нее я не закусываю, – согласился он с коммутатором. – Хочешь хлебца? У меня в котомке есть, вот, в тряпочке чистой завернуто.

– Погоди ты со своей котомкой... Видишь Дружка или нет? Ты же охотник, глаз у тебя должен быть зоркий. – А вон он, – указал куда-то далеко Хант. – Смотри туда, где голяки светятся голубыми и розовыми пятнами.

– Какие еще голяки?

– Ну, голые, значит.

– Ты, Третьяк, мне тут новый вид животных не придумывай. Тоже мне Дарвин нашелся.

– Кто?

– Никто. Пойдем к твоим голякам, – они двинулись к подиуму, на котором ньюйоркские модельеры демонстрировали свои последние работы.

Дружок за короткое время своего пребывания в Нью-Йорке прочно утвердил за собой звание идеального секс-символа. Все, кто встречался с ним, мгновенно приходили в восторг от бой-фреяда – так его здесь стали называть. Гендерную лигу давно уже раздражало присутствие на теле человека различных по анатомическому строению половых органов, а тут ничего! Голое место! Бой-френд совершенно был лишен гениталий. Разве не прелесть? Особенно млели перед ним гомосексуалисты. Активные геи возвели его в свой идеальный объект вожделения, пассивные страстно желали походить на него. Но на этом взлет популярности Дружка не закончился. Он стал законодателем моды. Это он начал первым светиться, и свечение голого тела стало писком сезона. И в этом, естественно, никто не мог превзойти Дружка. То, что его комбинезон намастрячился светиться пятнами и узорами, нисколько не удивило коммутатора От-Агасы. Все-таки он был сделан из синтетической ткани, вполне способной накапливать энергию и возбуждать ее в нужных лучевых спектрах. А вот как живые люди сияли задницами, ему было непонятно. Такого эффекта нельзя было добиться и косметикой, содержащей килограммы фосфора. Некоторые модники испускали лучи прямо как фонари! Да, ради сережек иногда прокалывают кожу в разных местах, но вживляют в кожный покров мощные электрические батарейки и провода... и всего лишь ради внешней оригинальности? Этого Тур понять не мог, не говоря уже о Ханте, который только крестился да отплевывался. И потом, одних батареек здесь недостаточно, нужно было изменять физическую структуру человеческой кожи или заменить всю ее на экранный материал. А это совсем глупо и крайне опасно для жизни. В этом явно была загадка. Тур подумал и на всякий случай запросил информацию об энергосистеме Нью-Йорка. И она поразила его. Оказалось, что без устали потреблявший электричество мегаполис черпал ее как бы из ниоткуда!

– Хорошо устроились! – воскликнул он, пихнув локтем в бок Ханта. – А я горбачусь, тружусь, как раб какой-то, за один жалкий киловатт, а тут разве что в ней не моются!

Таежный житель, не вполне понявший, на что именно так бурно отреагировал Тур, только и сказал в ответ:

– Пакостники! – что, впрочем, вполне соответствовало контексту разговора.

– Вот именно, – согласился Тур. – Но ничего, разберемся. Дружка теперь непременно надо выловить, вывернуть и посмотреть, чего это он так сиять стал.

Тур подошел поближе к подиуму, на котором, покачивая бедрами, появился Дружок, и свистнул ему, как собаке. Тот, увидев хозяина, испустил от радости целый пучок света, но не рванул к нему навстречу. Коммутатор

строго поманил к себе свой комбинезон. Многим гостям Окумбы это пришлось не по вкусу. Они стали оттеснять Тура в сторону и шипеть ему в лицо. В это время рядом с Дружком вырисовался сам помолодевший мистер Окумба и потащил его в глубь своих апартаментов. Дружок слепо оглядывался в сторону Тура От-Агасы, но быстро уходил от него, полностью покорившись африканцу. Тур, а за ним и Хант решительно бросились догонять его. «Каков Окумба! Да он украл у меня комбинезон. Ворюга!» – подумал Тур и получил удары сразу нескольких кулаков в спину. Он не смог даже обернуться, только полетел вперед головой. Наверное, его затоптала бы толпа голых модников, если бы не Третьяк со своими лыжами, которыми он, как лопастями винта, раскидал всех нападающих и от упавшего лицом вниз коммутатора, и от себя, так как и сам подвергся безжалостному нападению. Тур От-Агасы в молодости занимался восточной боевой борьбой и хорошо знал приемы защиты и нападения с нунчаками – двумя палками, скрепленными между собой цепью, которыми в средневековье мололи рисовые колосья. Приемы борьбы при помощи лыж нисколько не уступали этим самым китайским молотилкам. Даже превосходили, так как удар от них был смачнее, так сказать, от души! Но отбиться от сотен цепких рук было трудновато. Так что ни о какой погоне за Дружком думать теперь не приходилось, самим надо было спасаться бегством.

Избитые, исцарапанные шуты поневоле с большим трудом прорвались в лабиринты окумбовского гардероба, сопровождаемые нестерпимо противным воплем, который издавали преследовавшие их голяки. Лишь среди сотен висевших на манекенах костюмов, пальто и меховых шуб беглецы смогли затеряться. А возможно, голым американцам просто надоело гоняться за ними. В любом случае, они отстали от них и вернулись к своим развлечениям. Однако долго оставаться на этаже супругов Окумба было нельзя, так как наверняка охрана здания была уже оповещена о ненормальных типах как об опасных террористах, и вот-вот профессионалы сыска и захвата должны были появиться тут. Все двери на этаже, конечно, уже были заблокированы, и приятелям пришлось лезть по узким вентиляционным туннелям и колодцам неизвестно куда. Этажом ниже они попали в огромную мастерскую знаменитого ньюйоркского скульптора, по крайней мере, так о нем сообщали огромные рекламные щиты, установленные тут же. Сам бородатый ваятель, сидя в кабине экскаватора, лепил ковшом машины новое произведение. Видимо, он обладал действительно могучим изобразительным талантом, так как Хант, лишь мельком глянув на его незавершенную скульптуру, сразу же воскликнул:

– Ог!

– Тише ты, – прошипел Тур и не дал пришедшему в полное изумление Третьяку высунуться из-за бюстов, за которыми они затаились. – Какой еще Ог? Они ни о каком Оге знать не знают.

– А что, разве в Америке нет озер из этого самого кей-кейя? – тоже перешел на шепот Хант.

– Полно.

– Ну вот.

– Что «ну вот»? Впрочем, возможно, ты и прав. У них могут быть и свои...

В это время в мастерскую вбежали супруги Окумба с Дружком. Вбежали и тут же упали на колени перед статуей Ога, подняли вверх руки и давай возносить ему хвалу, как богу, называя его по-своему: «Огоу мобуто мосеко!» Бородач в это время вылез из кабины экскаватора с золотой чашей, до краев наполненной жидкостью. Затем он приставил к груди своей скульптуры лестницу, взобрался на нее и принялся этой тягучей субстанцией смазывать ему губы. Через минуту морда идола засияла, как лампа, и, что странно, принялась трясти щеками. Больше ждать было нельзя: вдруг страшный колосс начнет двигаться, да к тому же по команде Окумбы? Тур поднялся во весь рост и выкрикнул громко, как командир, нисколько не сомневающийся в отваге своих бойцов:

– Вперед, гвардия!

Выскочив из своего укрытия, они вместе с Третьяком схватили Дружка. Тот стал упруго сопротивляться, но они сели на него в самом прямом смысле этого слова. Да так, что из комбинезона, как из тюбика с зубной пастой, поперла какая-то слизь. Супруги Окумба попытались отбить у них своего бой-френда, но Хант так замахнулся на них лыжей, что они, сверкая желтовато-оранжевыми пятками, бежали прочь сломя голову. А бородатый скульптор, неловко сползавший с лестницы, такой прытью не обладал и тоже попал в плен. Бородач сразу же, захныкав, принялся уверять, что он никак не годится на роль заложника, во-первых, по причине своей бедности, во-вторых, потому что у него хронический понос:

– Сами со мной намучаетесь.

Тур От-Агасы не стал его разуверять, что они не террористы, больше того, спеша использовать животный испуг творца идолов, принялся его строго допрашивать:

– Ты чем, засранец, мазал идола своего?

– Кей-кейем...

– Ага! Я так и знал! Мажешь натуральным или специально приготовленным?

– Приготовленным. Специально, – лопотал чистосердечно бородач. – Его ученые как-то научились обрабатывать, чтобы он силу давал.

– В смысле энергию?

– Да, и энергию. Но это государственный секрет.

– Давай, выдавай секрет.

– Я не знаю... Они кей-кей заливают в вакуумные трубки или эти трубки с вакуумом вокруг емкостей с кей-кейем протягивают, чтобы какой-то

векторный потенциал вышел, не знаю... что-то там с вакуумом. У меня, поверьте, еще... я, извините, пукаю часто. Со мной нельзя долго находиться в одном помещении. Зачем я вам такой? Отпустите меня, пожалуйста.

– Пукай, пукай на здоровье, – благосклонно разрешил Тур От-Агасы. – Попукай последний раз в жизни.

Но от ужаса, сковавшего его до самого нутра, скульптор с трудом дышал, а о способности произвольно испускать иной дух и говорить не приходилось. Так, что этот номер у него не прошел.

– Поверьте, – бормотал скульптор. – Я здесь ни при чем. Я не идолопоклонник, я – еврей. Я в синагогу хожу... с папой. И с дядей. Он тоже еврей. Потому что у папы и у моего дяди папа был тоже еврей ...

– И дети Моисея тоже были евреями, а отвернулся Моисей на секунду, а они уже Золотому тельцу молятся... Ты тут мне псалмы не пой! Я такие небоскребы одной бомбой взрываю! Заживо тут все сгорите! Если ты не язычник, то зачем ему губы смазывал кей-кейем? Ты пойман на совершении натурального колдовского африканского обряда! Отпираться нет смысла!

– Мне Окумба заказал образ по своему описанию. Я и создал, поверьте, это моя профессия ... Не люблю я этих идолов. Ой, как я их ненавижу!

– Значит, они разработали технологию утилизации кей-кейя в энергию... и, видимо, колоссальную, – сказал коммутатор Тур От-Агасы Ханту. – Судя по тому, что от ее воздействия пришла в движение мимика идола, она способна вызывать колебания даже твердого материала. А ну, взгляни, корчит он рожи еще или нет?

Хант оглянулся на произведение искусства и ответил с облегчением:

– Нет. А кто они-то, кто?

– И надо же – никому ни слова! Купаются в дармовой энергии, как в океане, а рядом Африка вымирает от голода и вирусов.

– Что ты говоришь! – поразился такому цинизму окумбоподобных деляг сибиряк. – Надо же, какие паразиты бессовестные!

Тур хотел было высказать еще парочку мнений типа имей они совесть, могли бы с такими энергетическими ресурсами снова превратить Африку в свою колонию для блага самих африканцев, но поймал себя на мысли, что на этот раз он не в меру политизировался, и застыдился. Хорошо, что Хант был абсолютно девственен в политике и принял его концентрированное выражение экономики за сочувствие бедным жителям Черного континента. «Пора смываться отсюда... – подумал Тур. – Окумба наверняка уже к небоскребу всю полицию Нью-Йорка с ФБР подогнал... Устроят тут нам политические преследования по полной программе вместе с Комиссией по правам человека». Но как они выберутся из здания, коммутатор и представить себе не мог. Он еще раз оглядел мастерскую скульптора, позавидовал никому не нужным изваяниям и весело сказал:

– Вывезешь нас в качестве скульптур, – приказал Тур бородатому творцу.

– Немедленно. Иначе он... – и показал на мрачного Ханта. – Он самый страшный полярный террорист. Это он взорвал ледник Бен Ладена. Прежде ледник обозначался именем полярного исследователя Амундсена, но после того, как в его толще был замечен труп в белом саване, наименование изменилось на нынешнее, хотя по геоклиматическим параметрам тело никак не могло принадлежать террористу № 1 Усаме бен Ладену. Эта ономастическая версия тотально восторжествовала после того, как американцы выбросили его труп в океан. Причем настолько неоспоримо, что норвежский террорист Брейвик, расстрелявший 68 детей, завещал вморозить себя после смерти в этой гигантской глыбе льда. На эти цели – аренда корабля с морозильной камерой, самого мощного бура с десятком тягочей, метеорологического спутника и т.д., норвежское правительство выделило 2 миллиона евро. Замечательно, что при исполнении этой миссии никто из норвежцев не украл ни одного цента. После этого факта так и хочется стать норвежцем.

– Такой большой ледник! – испугался бородач. – Пришлось, наверное, потрудиться. Но я вижу, и вы настоящие мастера.

– Не перебивай. Это ему раз плюнуть. Видишь у него мешок за спиной, котомка называется, там такая бомба! Мгновенно разрушает и уничтожает все кругом в радиусе десяти километров. Так что и не надейся как-то нас бросить и сбежать...

– Что вы, что вы! Я сам рад помочь. Я сейчас вас смажу гипсом, и отличные выйдут скульптуры, хотя я по большей части леплю бюсты... Нет, не подумайте, я так сказал, потому что по половинке легче вывозить. Клянусь, я вывезу вас отсюда целыми-целехонькими... Только куда мне вас везти? Мне и везти-то вас некуда, я здесь работаю, здесь и живу...

– К дяде своему вези, – пошутил Тур, который хотел лишь выбраться из небоскреба наружу.

Бородач оказался превосходным мастером своего дела. За минуты, обмазав белой смесью Тура, Третьяка и Дружка, он сотворил из них скульптурную композицию «Президент Линкольн и вождь эскимосов зарывают топор войны в сугроб», где роль сугроба пришлось исполнять сникшему комбинезону. А затем вывез скульптурную композицию на платформе через подземную автостоянку. Всем могло показаться, что опасности остались позади, но в доме у дяди скульптора путешественников ожидала новая угроза. Дядя оказался старым раввином и принялся колотить своей палкой и племянника, и скульптуры, гневно восклицая:

– Прочь отсюда, поганец! Как посмел ты втащить ко мне своих идолов! Продай их своему Асмодею, негодяй, как продал свою душу!

Скульптор чисто инстинктивно бросился защищать от разрушения свои произведения, готовый даже подставить под удары и свою голову. Правда, предварительно натянув на нее немецкую каску. Опомнившись от увесистого

удара, бородач отступил, наконец, нашелся и произнес нужную именно в этот страшный момент фразу:

– Не идолы они, а эскимосы. За ними самими Асмодей гоняется. А я им помог бежать.

Старик сам уже притомился, к тому же объяснения племянника показались ему интересными. Он перестал колотить палкой. Как всегда, Дружок остался в стороне – кто же станет бить сугроб?

– Это другое дело, – согласился раби. – А почему они от него скрываются? Может быть, и они не держали твердо в душах своих, что не видели никакого образа в тот день, когда говорил Яхве на Хориве из среды огня, дабы не развратились и не сделали себе изваяний?

Оживший Тур немедленно, косясь на палку старца, подтвердил, что бежали они от Асмодея потому как эскимосы оказались потерянным коленом Израилевым. А Асмодей имеет фигуру черную, представляется Окумбой, но, как и положено сатане, врет. Также он заверил старца, что изваяний они никаких не делали, а сами как бы пострадали, будучи изваяниями для наглядности всем, кто не верует в Бога единого. Его ответ понравился священнослужителю, особенно в тот момент, когда Тур преподнес себя и Ханта именно как идолоборцев. Правда, Дружок продолжал вызывать у старика подозрения своим не совсем человеческим видом. Туру пришлось даже плюнуть прямо на маску комбинезона, дабы окончательно доказать, что среди них нет никаких идолов, а имеет он при себе, как и любой нормальный путешественник, вещи кое-какие.

Поговорили еще о том о сем и окончательно запутались. Не желая больше смущать и свою душу, и души явившихся к нему странников, дядя раби заговорил о еде, предложив перекуситъ:

– Надеюсь, вы пищу из этого богопротивного кей-кейя не едите. Мой племянник скоро и до этого докатится, уже некошерное мясо ест. Какой позор!

– Не ел я некошерное! – запротестовал бородач. – И от свинины меня ужасно пучит.

А для Тура стала ясной еще одна загадка ньюйоркцев:

– Так они пищу тут тоже из кей-кейя готовят?

– Добавляют, – потише произнес раввин. – Тот-то они стали светиться!

– Голяки? – уточнил Хант.

– Они самые.

– Рассказывали, в древности раби Иосе нанял работников на свое поле, – с неподражаемой иудейской печалью начал старый раввин. – Случилось так, что он не смог доставить им обед вовремя. «Мы голодны», – заявили они сыну раби Иосе и, бросив работу, уселись под фиговым деревом. Видя это, подходит сын раби Иосе к дереву и говорит: «Фиговое дерево, дай плоды свои». Тотчас появились плоды, и все поели и насытились. В это время подошел раби Иосе с

обедом. «Простите меня, – сказал он, обращаясь к работникам, – меня задержало одно дело, и я опоздал». Ему работники отвечают: «Пусть Бог насытит тебя так же, как нас насытил сын твой», – и рассказали ему историю с фиговым деревом. Услышав это, сказал раби Иосе сыну: «Сын мой, ты позволил себе утруждать Творца и совершить насилие над природой, заставил дерево безвременно давать плоды свои. Увы, и тебе будет безвременно из мира этого уйти». А вам скажу: станет перед вами в вашем... нет, в нашем общем деле стена, пусть Всевышний Бог даст вам червя Шамира.

Решение проблемы с президентским мышиным хвостом, когда вагон только подлетал к Вашингтону, пришло к Туру как бы само собой. Он снял с Президента так и не ставший ему родным механический отросток, выпотрошил из него все механизмы и чипы и наполнил его кей-кейем. И хвостик ожил, завертелся, заиграл на заднем месте клиента, как настоящий. Вот было радости! Теперь глухонемой Президент Америки мог обращаться к своим избранникам, жестикулируя мышиным хвостом. И не только с ними. Его первое же телеобращение к нации с помахиванием *mouse tail* вызвало у американцев настоящий восторг и гарантировало ему переизбрание на второй срок. В прежние времена коммутатор Тур От-Агасы почувствовал бы гордость за успешное изобретательное завершение этой работы, но после встречи со спящей красавицей Найт оно ему представилась мышиной возней за гонорар. «Это унижает твою любовь!» – твердил его внутренний голос. И Тур решил впредь зарабатывать на жизнь только благородными делами. Помогая, скажем, влюбленным. И случай подвернулся скоро.

Влюбленные
(папка шестая)

Отлетая от сияющих берегов восточного побережья Северной Америки, коммутатор Тур От-Агасы связался с Ниной Николаевной Ким-Квашниной, безнадежно пытаясь узнать хотя бы что-нибудь новое об острове Майда. Поздоровавшись и не дождавшись ответного приветствия, коммутатор бодро поинтересовался состоянием здоровья ее супруга – деревоподобного академика. Пожилая ученая женщина была не в духе. Прозвучал такой ответ:

– Не хочу даже говорить о нем! Представьте себе, он вздумал цвести! Такими нелепыми красно-желтыми цветами с невероятно пошлым запахом! Кого это он надеется подманить к себе этим гнусным ароматом, старый развратник!

И здесь Тур остался верен своему высокому долгу коммутатора и, нисколько не смутившись, предположил:

– Возможно, Нина Николаевна, цветение Вонбона Еровича связано с научной деятельностью в области ботаники. Знаете ведь, селекционирование... скрещивание... разных растительных видов...

– Вот именно, скрещивание! Мне хорошо известны его штучки насчет скрещивания! Вот пойду сейчас повыдираю с него все цветочки!

Вид Нины Николаевны на экране был самым решительным. Коммутатор поспешил выразить сочувствие:

– Ах, Нина Николаевна, сколько жертв вы принесли ради многоуважаемого Вонбона Еровича! Вы святая! Терпеливица! Когда над ним встала смерть, вы дали ему возможность жить, пусть в теле деревца, но жить. Это подвиг, Нина Николаевна! Я вами восхищен, да что я! Вся мировая научная общественность! Сопереживание клиенту, помноженное на откровенную лесть, всегда было одним из самых действенных приемов коммутатора, но здесь он явно переборщил. Ким-Квашнина отрезала:

– Не мелите чепухи, молодой человек.

И отключила связь. И на его видеозвук больше не отвечала. Пришлось в дело вмешаться Ханту. Тур соединил его с домом Ким-Квашниных, и Третьяк без всяких церемоний прямо спросил о том, не нашла ли хозяйка книгу своего предка Анвароса Мореплавателя? Ту, в которой упоминается остров Майда. Нина Николаевна сухо ответила, что нет.

– Жаль, – произнес Хант и с ударением добавил: – Это очень важно. Для всех.

Видимо, все-таки что-то значительное было в голосе таежного отшельника. Нина Николаевна подумала и ответила:

– Мне известно по семейным легендам, что Анварос Мореплаватель какое-то время после своего путешествия на западные моря писал письма своей возлюбленной... ирландке, что-то там было с неудачным сватовством... Дай Бог памяти... дочери ирландского графа... графа Екстрийского. Быть может, там, в Ирландии, вы что-то еще обнаружите о вашем острове.

Хант обстоятельно поблагодарил старуху, заметив, что на все воля Божья, и она смягчилась совсем:

– Вы представить себе не можете, какие прекрасные духи были в наше время... «Шанель № 5» или «Красная Москва»... Я так обожала эти райские запах... Такая была дура, все мечтала купить себе духи, но так и не купила ни одного флакона.

Третьяк Хант испугался, что старуха пустится в сентиментальные воспоминания о своей юности и встревоженно оглянулся на коммутатора, но Нина Николаевна сама прервала свой монолог почти на полуслове:

– Пойду кормить своего распутника... – улыбнулась она на прощанье. – Пускай цветет, это даже забавно.

– Ты понравился старухе, – ревниво сказал Ханту коммутатор От-Агасы. Смотри, она тебе еще и букет с Вонбона пришлет.

– Мы больше к полевым цветочкам привыкли, васильком там, ромашкам.

– А зря. С глазом цветок смотрится куда забавней. Можно с ним перемигиваться.

– Ты лучше это... двигай вагон к этой Ирландии. Там будем перемигиваться.

Тур подчинился, но был совершенно уверен, что им не только не удастся найти там писем Мореплавателя, но и потомков той девицы из графского рода. Поисковая геральдическая программа показала, что мужская линия графов Екстрийских оборвалась в семнадцатом веке. Были указаны еще несколько семей, в которых женщины имели ту же голубую кровь, и все.

– Глупо искать иголку в ирландском стоге сена покоса шестивековой давности, – с глубоким скепсисом произнес Тур.

– Но ведь другого ничего не остается. Пороемся в сене, а надо будет, скосим еще, – упорствовал Хант.

– Это в каком смысле? – удивился такой агрессивной решительности приятеля Тур.

– Это насчет того, что ты называешь информацией.

– Ну, успокоил. Насчет сенокоса ты, конечно же, мастер. Это аксиома. Вот ты, Третьяк, и будешь главным по поиску графских отпрысков.

– Я-то в них что понимаю? Если бы след какой в тайге или в горах, то тогда я бы смог.

– А понимать ничего не надо. Это как в картах – новичкам везет. Абсурдно, согласен, но, как ты уже сказал, нет у нас другого выхода.

Хант не нашел что ответить. Разве что с укором глянул на разлегшегося с книгой коммутатора и, когда вагон приземлился в местности, где когда-то графы Екстрийские имели свой замок, он, сунув лыжи под мышку, честно отправился искать кого-нибудь с такой фамилией.

Святой Павел и эмиграционные законы берегли народ Ирландии. Ирландцы остались ирландцами, жили сами по себе. В мире и согласии. Лишь в Ольстере они, как католики, продолжали противостоять британским индусам. Но уже без взрывов и перестрелок. Все больше на уровне нежелания отказываться от говядины.

Меховая одежда легко убеждала ирландцев, что Третьяк Хант не из Индии, хотя, как иностранец, он был неприятен и подозрителен. Тем более что он не знал английского языка, а пользовался транслейтером. Поверить в то, что трубочка, которую прикрепил ему от уха к углу рта коммутатор, способна грамотно и полно переводить языки всех народов, Хант не захотел и отключил ее. Он предпочел говорить с местными жителями отдельными русскими словами. Без правил спряжения, считая, что так доходчивее получается.

– Я – Хант. Искать. Екстрийский, – так он обращался к каждому, кого встречал на дороге.

Жители маленького городка испуганно переспрашивали его:

– Аге уои Hunt or you hanting anybody?

В ответ он энергично отвечал:

– Хант. Екстрийский, – решив, что сокращение количества слов поможет им быстрее понять друг друга.

– Hunt?

– Хант Третьяк.

Ирландцы подумали-подумали и догадались, что поляк по фамилии Екстриски желает поохотиться на мистера Гарольда Третияка, владельца антикварного магазина, старого холостяка и исключительно приятного человека, хотя и имевшего французские корни. Эти иностранцы такие странные. Чтобы понять наконец, что же затеял этот навязчивый поляк, горожане отвели его к Гарольду Третияку, у которого по неизвестным причинам пришелец вызвал симпатию.

Пытаясь объясниться уже с Гарольдом Третияком, Третьяк Хант окончательно запутался и предпочел доверить дальнейшие переговоры Туру От-Агасы. Сразу выяснилось, что м-р Третиях никакой не граф, но его прапрапрадедушка был сыном Ги Третияка, который был женат на прапрапраправнучке родной сестры последнего графа Екстрийского.

Тур ничем не выдал своего чрезвычайного удивления успеху Ханта и приступил к делу, словно он заскочил на полминутки в магазин взять пакетик бумажных салфеток или пакетик арахиса.

– А каких-либо бумаг Анвароса Мореплавателя в вашей семье не сохранилось, сэр Гарольд?

– Да, его письма. Они составляют особую гордость моей средневековой эпистолярной коллекции, – спокойно ответил Гарольд.

Надо же! Среди хлама и старья в лавке антикварщика хранилось и то, что представлялось Туру ценностью, не поддающейся никаким сравнениям. На высоких дубовых полках лежали газеты и журналы полувековой давности и букинистические книги. В шкафах – монеты, амфоры, швейная машинка «Зингер» и нечто похожее на опытную установку алхимиков, о предназначении которой сам хозяин древностей ничего не знал, на стенах – холодное оружие и африканские маски с присохшей на ротовых отверстиях кровью. Реплика Ханта о том, что алхимический прибор является самогонным аппаратом, еще больше расположила Гарольда именно к Третьяку. А на Тура он почти не обращал внимания. Лишь заметил, что письма не продаются. И взглянуть на них нельзя. Он предпочел слушать разъяснения Ханта о том, из чего и как надо изготовлять особо крепкий спиртной напиток – первач.

– Разговорами сыт не будешь, – авторитетно заключил свою лекцию Хант и велел антиквару: – Закваску нет времени творить. Тащи сюда прокисшее вино.

Тур с трудом нашел в английском адекватные слова, способные передать рецепты самогоноварения.

– У меня нет прокисшего вина, – удивился напору визитера Гарольд. – В подвале есть бочки с вином урожая 1934 года ...

– Давай!

– Столетней выдержки... может быть, не надо?

– Давай, давай. Первач – это сказка!

И они все четверо, считая и Дружка, переместились в винный подвал. А затем и на кухню, наполненную благородным отсветом медной посуды.

Самогон действительно вышел у Ханта отменный. Гарольд захмелел настолько, что стал совершенно легкой добычей в руках трезвенника коммутатора. Тур От-Агасы наконец выяснил причину, по которой ему отказывали в возможности видеть письма Анвароса Мореплавателя.

– Пойми... это чужие письма, – пьяно твердил Гарольд. – Давай я тебе подарю египетскую мумию.

– При чем, здесь чужие или нет? Это давно уже не важно. Этим письмам тысяча лет! – не понимал Тур. – И писавший, и та, которой писали, превратились в прах столетия назад!

Но тот упорствовал:

– Любовь не подвержена праху.

Под утро коммутатор, несмотря на то, что Хант все время пытался научить заунывным песням родного уральского края ирландского джентльмена, догадался о причинах столь нелепого отношения антиквара к этим хранимым под восковой печатью страничкам.

– Гарольд, да ты сам влюблен! А ну, признавайся!

– Признавайся, брат, – поддержал дружеский совет Хант,

И Дружок с таким обреченным видом развел в стороны свои мягкие руки, что антиквар понял всю безвыходность своего положения. И он признался. Оказалось, что Гарольд Третияк с ранней юности влюблен в мисс Анну. Соседку. И поэтому глубоко несчастен.

– Так в чем же дело, брат? – влез в разговор Хант. – Пойди к ней и скажи: так, мол, и так, давай вместе жить.

– Ты не понимаешь, – зарыдал Гарольд.

– Она что, замужем?

Нет. Она... она – богиня! Как я могу подойти к ней и сказать нечто подобное? Я скорее умру!

– Так ты что, не хочешь с ней?

– Я мечтаю об этом все дни и ночи! Только об этом. Но небеса, видимо, против того, чтобы мы соединили свои сердца... в одно пылающее любовью сердце...

– Так чего ты? – Хант был почти возмущен такой историей. – А она что тебе говорит?

– Ничего.

– Как ничего! Женщины, брат, все чувствуют, когда там насчет любви к ним и всякой симпатии.

– Но... я с ней никогда не разговаривал.

– Она что, глухонемая?

– Нет. Гарольд бросил гневный взгляд на Ханта. – Мы просто не знакомы с ней.

– Да, – огорчился с мужским сочувствием Хант. – Но ничего, брат, считай, что тебе повезло. Вот видишь этого господина? – И, заваливаясь на бок, почти падая на каменный пол, ткнул пальцем в Тура: – Он – специалист. Кого хочешь соединит, так как он есть коммутатор.

Гарольд Третияк, протирая от слез глаза, недоверчиво уставился на Тура и произнес твердо:

– Я бы все на свете отдал, если бы нашлась сила, которая смогла бы мне помочь объясниться с милой Анной...

– Письма Анвароса отдашь? – сразу поставил условия контракта коммутатор.

– Отдам!

– О-о, за это надо выпить! – воскликнул Хант. – Огурчиков соленых у тебя, брат, нет наверняка. Что у вас за жизнь бедная! Ладно, запивать теперь будем твоим столетним вином. Я уже так пробовал. Хорошо идет, мягчит.

И застолье мягко продолжилось за полночь. Время от времени Гарольд спрашивал:

– А что значит «коммутатор»?

И ему объяснили.

– Твоя проблема для меня – раз плюнуть, – уверял его Тур. – Берем незаметно ее волосок или клеточку с ее кожи. Не бойся, мы не нанесем ей никакого вреда. Лишь кто-нибудь случайно к ней прикоснется... Хорошо, хорошо, ткань любого человека можно снять с обуви, перчаток... с постельного белья, с комбинезона... определяем структуру ее хромосомы, а затем синтезируем соответствующий аромат, приятный именно для нее. Брызнем на тебя – и готово. Твоя дама сама упадет тебе на грудь, сгорая страстью.

– Нет, – отвечал упрямый ирландец с французской фамилией. – Это омерзительно. И унизительно. Прежде всего, для нее.

– Что здесь унизительного для нее? – удивился Тур От-Агасы. – Ты мужик хоть куда, всего под пятьдесят, я так думаю. Ноги-руки на месте, лицо волевое, нет ни одной отталкивающей черты. И состоятелен ты, по крайней мере чтобы содержать семью.

– Ты не понимаешь.

Коммутатор Тур От-Агасы на самом деле все прекрасно понимал, так как использование эротических биостимуляторов без согласия обоих партнеров было запрещено International bioethics agency. Но практика коммутатора

иногда требовала рискованных нестандартных решений. Тур попытался настаивать, то снижая, то усиливая разные акценты звеньев предложенной технологии, но безрезультатно.

– Мне не нужны связи, – упорствовал Гарольд. – И коммутатор мне не нужен.

Но ему явно нужны были люди, способные наконец-то выслушать его исповедь. А Тур и Третьяк, как иностранцы, которые уже завтра исчезнут из его городка, как нельзя лучше подходили для этой роли.

– Я точно ничего не понимаю, – киснул от столетнего вина Хант, но, отпив порядочно из фаянсовой кружки первача, снова начинал логично воспринимать окружающий мир. – Давай я пойду к ней и тебя сосватаю. Обычное дело, мужик. У нас в деревне так все и делают. Эх и погуляем на сватовстве!

– А если она откажет? – пугался Гарольд.

– Да ну... тебе? Не откажет. Дура она что ли! Даже если и откажет, так и... по крайней мере все станет ясно. Да таких баб полным-полно... лишь свистни – прибегут!

Мужикам не надо, даже в очень пьяном виде, а скорее именно в состоянии алкогольного опьянения, говорить такие вещи. Естественно, Гарольд Третияк встал и сухо произнес:

– Господа, прошу вас покинуть мой дом.

А мог запросто и по физиономии врезать. Хорошо, если только кулаком.

– Извини, брат! – вскочил со своего места Хант, ударил кулаком себе в грудь и произнес: – Я же от чистого сердца! Я помочь хотел! Я о твоей женщине, знаешь, самого высокого мнения...

Но никакие его забулдыжные тирады, ни попытки по-братски расцеловаться не помогали. Гарольд лишь отстранялся и молчал. Надо было уходить. Ни с чем. Уже на пороге дома Хант предпринял последнюю попытку примириться с хозяином:

– Гриша, Гриша... Если бы ты знал, почему мы здесь, то... Ведь его... – Он ткнул пальцем в Тура. – Его, умного мужика, коммутатора, тоже гонит по всему свету безнадежная любовь... Там, в Африке, лежит без сознания его любимая, и он не может даже с ней словом перекинуться...

По изящности и точности попадания этот вербальный кульбит превосходил наверняка все коммутаторские приемы От-Агасы. К тому же сам Тур вовремя подыграл ему и к месту вполне искренне возмутился и даже полез драться с Хантом:

– Не лезь не в свои дела! Что ты можешь в этом понимать, таежная душа?!

Крепкий антиквар с трудом разнял гостей. Разняв, он уже с действительно братским интересом смотрел на Тура, никак не откликаясь на призывы Ханта

выпить мировую. Но у того уже был шанс переупрямить его, и скоро компания дружно села опять выпивать. Вновь завязался разговор.

– Вот ты меня прости, Гриша, брат, – говорил Третьяк. – Любить женщину для меня значит жить с ней.

– Любить женщину, – отвечал за Гарольда Тур, – это значит жить ради нее.

– Верно, как точно сказано, – соглашался местный Третияк.

– Да, пусть будет так. Но объясни.

Гарольд подумал и ответил:

– Любовь – это не только чувство. Это еще и свет. Как мы не можем жить без солнечного света, так и женщина не может жить без любви. И она должна видеть этот свет. И я очень надеюсь, что свет моей любви дойдет, как от далекой звезды, до Анны... я верю...

– Красиво говорит, – прослезился Тур.

– Конечно, дойдет, уже доходит, – уверил его Хант. – Но не думал ли ты, что ей этого мало?

– Если вы снова станете говорить пошлости ...

– Никаких пошлостей. Я имею в виду свет. В смысле, что света мало?

– Что же еще?

– Как что? Любая женщина хочет иметь семью, детей.

– Я тоже хотел бы...

– Так в чем же дело?

– Не знаю.

– А я знаю! Нельзя так самозабвенно любить часть себя. – И добавил еще более укоризненно Хант: – Грех это.

– Я люблю Анну, а не себя!

– Анна – женщина?

– Естественно! Что за глупый вопрос! – Уподобил бы ты ее Еве?

– Какой еще Еве?

– Еве, жене Адама, прематери рода человеческого.

– Да! Она... райское создание.

– Да, райское. Только создана Ева была из ребра Адамова. А значит, она лишь часть его.

И, не позволяя опомниться изумленному таким поворотом мысли Гарольду, Хант придавил его еще одним вопросом:

– Чувствуешь ли, что Анна твоя женщина, как воспринимал Еву Адам?

Закоренелый холостяк покряхтел, повертел головой, с надеждой на помощь уставился на Тура, но коммутатор в ответ лишь пожал плечами. Ответить «нет» влюбленный антиквар не мог, оставалось промолчать, понимая, что молчание – знак согласия. Между тем таежный охотник продолжал неумолимо дожимать клиента:

– Любовь Адама и Евы была идеальна, так как к ней невозможно ничего ни прибавить, ни убавить. Ни ревность – не к кому ревновать, ни корысть – голышом, без единой вещички изгнаны были они из рая.

– Но и выбора не было! – вновь обрел дар речи Гарольд. – Говорить об идеальном варианте можно только в случае сравнения с другими вариантами!

– Отсутствие выбора и есть главное доказательство идеальности пары Адама и Евы, – весомо, почти по слогам произнес Хант. – Так как изначально они были идеально созданы друг для друга, то и сама возможность вариантов по всем мыслимым и немыслимым причинам и критериям была невозможна.

– Как Инь и Янь, – вставил в диалог умное замечание от себя и Тур.

Хант и Гарольд, дружно развернувшись в его сторону, с таким глубоким недоумением уставились на него, что Тур поспешил сойти с очевидно марафонской дистанции разговоров о любви:

– Это я так, на ум пришло... Вы говорите, говорите, не обращайте на меня внимания. – Но, видя, что те слишком уж прочно впились в него глазами, добавил:

– Кстати, Гарольд, где тут у тебя туалетная комната? Надо отлить, – пояснил он.

К недоумению в глазах Гарольда и Ханта прибавилось и презрение. Тур с сожалением пожал плечами и ушел по коридору, указанному хозяином дома.

Склонившись над унитазом, коммутатор как мог очистил свой желудок от смеси алкоголя, умылся, причесался и не спеша вернулся на кухню. Диспут продолжался. Хант вещал уже как пророк:

– Есть любовь, и есть другая любовь.

– Любовь одна, ее нельзя делить, как товар, на первый и второй сорт!

– Вот тут ты ошибаешься, брат. Это в тебе гордыня говорит. Грех это. Есть высшая любовь, и называется она любовью к Господу Богу. Она жертвенная, когда ты всего себя самого отдаешь этой любви, без остатка, даже не помышляя, что можешь что-то получить в ответ.

– Я так и люблю Анну.

– Значит, ты пытаешься женщиной заменить Бога ...

– Да, она богиня.

– Я не договорил. Это только кажется на первый взгляд, что ты ее возвеличиваешь до богини, но на самом деле – себя.

– Нет, это неправда.

– Правда, правда. Потому что твоя женщина – лишь твое ребро. Почитая свое ребро за богиню, кем себя ты воображаешь?!

Некоторое время Гарольд, пытаясь что-то произнести, глотал воздух, потом закрыл рот, даже сжал губы. Затем произнес только одну фразу:

– Давай выпьем твоего первача.

– Это дело, – заговорил повеселевшим голосом нормального человека Хант. – Эй, Тура, ты где ходишь, давай к нам, выпьем. Наливай, Гриша! Люби, брат, земную женщину земной любовью. Давай за нее и выпьем! Разливай!

Гарольд заметно повеселел и охотно потянулся за медным мавританским кувшином работы мастера X века, на дне которого плескался еще литр самогона. Но в это торжественное мгновенье Хант неожиданно и категорично заявил:

– Хватит пить! Тебе завтра жениться...

Все безоговорочно согласились. И отправились спать.

Поднявшись в полдень, Тур и Хант нашли Гарольда в его антикварной лавке мрачным и не выбритым.

– Ты что? Тебе же жениться!

Тот отмолчался и даже попытался сделать вид, что не понимает, о чем идет речь. Ему настойчиво напомнили.

– Господа, – кисло произнес мистер Третияк. – При всем моем уважении... иностранцам трудно понять... Это за пределами...

– Да говори ты яснее!

– Прошу мою личную жизнь оставить в покое!

– Вот тебе на! – возмутился Хант. – Не выйдет, брат! Да я тебя просто поволоку к ней насильно!

Гарольд, опасаясь скандала, замахал руками и покорился:

– Хорошо, хорошо, только без рук. Дайте мне время. Через полчаса он вышел к ним с гладким подбородком и в отутюженном дорогом костюме.

– Я готов! – смело заявил он. – Я ей все скажу!

Приятели вышли из лавки и перешли улицу. Возлюбленная мистера Третияка Анна Р. содержала напротив его дома салон по обучению искусству составления икебаны. Несмотря на то, что японские экзотические букеты не пользовались особой популярностью в этом ирландском городке, Анна Р. ненавязчиво упорствовала в своих художествах. Однако с каждым годом в руках все увядающей и увядающей девицы цветы начинали больше складываться в формы траурных венков. Подойдя к салону, Гарольд остановился у витрины, и дальше – ни шагу. За широким стеклом сидела моложавая особа, время от времени она поднимала лицо от вороха черных роз и бросала на Гарольда полный недоумения взгляд. Постояв так с минуту, Гарольд позорно ретировался в свою холостяцкую конуру. Там его с возмущением встретил Хант.

–Честное слово, – оправдывался Гарольд. – Я готов! Но, знаешь, я думаю, у меня кислый вид, я просто чувствую, как от меня скверно пахнет... Мы слишком много выпили... Честное слово, завтра!

На следующий день повторилась та же история. После четвертой или пятой неудавшейся экспедиции Гарольда Третияка к салону икебаны Хант пригрозил ему, что сам пойдет к Анне Р. и все ей растолкует. Услышав подобное, Гарольд

перепугался и пригрозил в этом случае покончить жизнь самоубийством. А вечером напился первача.

– Да он еще так в запой впадет! – встревожился Хант и разломал самогонный аппарат.

– Это антикварная вещь! – вскричал Гарольд, увидев содеянный акт вандализма. – Это вещь середины XX века! Ручная работа известного мастера. Таких технических аппаратов остались единицы!

– Какие там единицы! У нас в деревне в каждом доме пылятся... и все известных мастеров. Вон у Степана Листопада аппарат поющий – музыку тебе исполняет, когда на пару. Танцуй – не хочу. Штук десять сходу могу тебе забросить. Ты дурака не валяй, говори, чего ты тянешь? Взрослый человек, а ведешь себя...

Гарольд, как все описываемые в книжках скромные влюбленные, вначале побледнел, затем покраснел, пошел пятнами, начал беззвучно возмущаться и в результате лишь промямлил:

– Я хочу... только сердце замирает и все немеет. Рука не поднимается даже прикоснуться к ее двери...

Коммутатор решил задействовать технику переписки. Но оказалось, что сэр Гарольд Третияк давно пишет любовные письма своей избраннице, но не отправляет их, и отправлять категорически отказался. Пришлось Туру тайно сделать копии с десятка его посланий и направить их Анне. Ответа не последовало.

Оставалось активизировать противоположную сторону. Как ни хотелось Туру говорить с женщиной, складывающей букеты, которые невесть как выплетались в кладбищенские украшения, но он пошел к ней. Главное было войти к ней и начать говорить, остальное дело умения уговаривать, а этим искусством коммутатор владел в совершенстве. Но вот как раз-таки войти к ней и не удалось. Оказалось, что Анна принимает клиентов только женского пола, а перед мужчинами, даже юношами, двери ее салона были намертво закрыты. Но Тур не отступал и все пытался проникнуть к ней, пока не приехала полиция и не потребовала от подозрительного типа предъявления хромосомограммы. Несмотря на то, что информация о нем не содержала даже намеков на проявленные и латентные правонарушения, местный полицейский угрожающе посоветовал иностранцу держаться подальше от салона икебаны и ее хозяйки. Пришлось коммутатору отступить, уйти в засаду. Но на улицу Анна не выходила. Она вообще никогда не покидала свое цветочное гнездышко с бронированными стеклами и металлическими дверями.

Тем временем сэр Гарольд Третияк начал совершать активные попытки прорваться к остаткам самогонного аппарата и починить его.

– Ну что с ним делать? – недоумевал Третьяк Хант.

– Да, тянуть и нам больше нельзя, произнес коммутатор Тур От-Агасы. – Пора принимать открытые, лобовые действия.

– Давай! А то я скоро его не под венец, а на кладбище оправлю. Будет туда его Аня венки свои таскать.

Когда в очередной раз Гарольд подошел к дверям японского салона, он с ужасом увидел, что его любимая сидит на стуле с завязанными назад руками и стянутым скотчем ртом. Позади стояли двое бандитов в масках и длинных плащах. Нисколько не раздумывая, он рванул дверь, ворвался внутрь салона и отчаянно бросился спасать свою избранницу с криком:

– Негодяи! Уберите руки от нее!

Но безумный подвиг антиквара завершился его падением на пол от ловких ударов какими-то плоскими палками, обшитыми мехом. Сознания он не потерял, но был схвачен и тут же крепко связан. А затем с помощью паров эфира усыплен. Очнулся Гарольд Третияк в глубоком каменном подвале без окон, на деревянной койке. Рядом с ним лежала Анна с развязанными руками и ногами. Его глаза сразу привыкли к полумраку, и он увидел, что кроме них двоих больше там никого нет. Жидкий свет, лившийся из дыры в люке над его головой, освещал еще стол с бутылем белого вина и хлеб с сыром.

– Анна! – воскликнул Гарольд. – Вы! Вы... как вы себя чувствуете? Эти негодяи не сделали вам больно?

Женщина в испуге, как птица в клетке, заметалась по замкнутому пространству подвала и успокоилась, дрожа, только забившись в самый темный угол.

– Что с вами, Анна?

– Не смейте ко мне приближаться! Я закричу!

И так заорала, что сидевшие за чаркой вина над подвалом Тур и Хант покачнулись от звуковой волны, и чуть было не рухнули на пол.

– Он что – режет ее? – прерывающимся шепотом спросил Хант у коммутатора. – Не садист ли он случаем?

– Не думаю. Но надо было установить там камеру слежения. Теперь поздно об этом думать. – Нужно влезть туда ...

– Нет, подождем, на извращенца он не похож.

Но на всякий случай они подобрались поближе к люку и напряженно прислушались к тому, что там происходит. И услышали плач. Плакал сэр Третияк. Плакал и бормотал:

– Анна, лучше бы мне умереть, чем видеть, как вы меня боитесь... Даже в мыслях я не смел...

– Отойдите от меня! Стойте там!

– Стою.

– Не приближайтесь! Я все про вас знаю! Я знаю, что вы задумали! – Женский голос был наполнен негодованием, перемешанным со страхом.

– Я? Я ничего...

– Молчите! И ни шага ко мне! Немедленно оставьте меня одну! Уходите же прочь от меня!

– Но как? Здесь кругом каменные стены! – раздался сдавленный голос сэра Гарольда. – А если бы я мог стать муравьем, стать бактерией, я бы исчез в этой щели.

В подвале наступила тишина. А потом послышался грохот упавшего тяжелого тела. Тур тронул за плечо Ханта и жестом пригласил его вернуться к застолью. Перепуганные мужчины, выпив и закусив, принялись обсуждать услышанное.

– Как ты думаешь, что это там упало?

– Судя по тяжелому звуку – Гарольд. Тяжелее там больше ничего нет.

– А чего это он? Хитрит?

– Хитрить он не умеет. Или банально получил по башке чем-то тяжелым от легкой дамы сердца, или банальный инфаркт сердца схватил.

– А эта чего так орала?

– У нее как раз-таки все в порядке. Обычная реакция старой девы. Все старые девы подозревают в любом мужчине насильника, который только и думает, как бы на нее напасть.

– Но он же упал, как же она думает...

– Думает, что он упал, чтобы тут же коварно подползти к ней снизу.

– Какой ужас! – поразился Хант. – Нет, я этого на одном вине не перенесу, придется снова гнать самогон. – Там на полке есть виски. Американский настоящий самогон.

– Сам пей это виски, от него у меня понос. А от ее воплей еще щека дергается... А каково ему, а?

– Ну... мы, коммутаторы, иногда вынуждены быть безжалостней хирургов. Теперь видно, как далеко зашел процесс отчуждения, насколько он был запущен. Она с таким комплексом ни за что бы не позволила Гарольду даже заговорить с ней, не то чтобы объясниться.

– Верно. Зря мы во всем его винили. Слушай, Тура, давай отпустим мужика на все четыре стороны, жалко ведь. Вдруг у него действительно с сердцем не в порядке, вдруг умрет?

– Не должен. А если и умрет, кому такая жизнь нужна? Я шучу. Судя по термодинамике его тела, все у него в порядке. Вот взгляни. – И показал Ханту данные экрана.

– Не понимаю я ничего в ваших экранах. Тем более в таких, которых и нет, только воздух цветной. Все равно его жалко, особенно если все получится и он на ней женится. – Его мы освободим, а с ней что теперь прикажешь делать?

– Закопаем.

– Тоже идея.

– Шучу.

– Хант, сэр Третияк никогда нам не простит не то что трупа своей девы, но и оскорбления ее действием – с нашей, заметь, стороны.

Хант помрачнел и озабоченно произнес:

– Совсем забыл... Мне в деревню надо, корова вот-вот должна была отелиться. – И попытался ретироваться.

– Ты не беспокойся, меня Мустафа подбросит...

– Сиди теперь, – остановил его Тур От-Агасы. – Без тебя отелится, нам бы тут не отелиться самим. Что ни говори, а мы совершили уголовное преступление: захват заложников.

– Но ведь хотели только... чтобы они в безвыходной обстановке поняли друг друга, объяснились... Это не важно, что мы там хотели. Наше спасение только в одном.

– В чем? – с надеждой спросил Хант.

– В ожидании, – веско произнес Тур От-Агасы. – Пока он ее не затащит в постель. И чтобы это ей понравилось.

– Не знаю, во-первых, наблюдать за такими сценами я не намерен, а во-вторых... очень я теперь сомневаюсь...

– Иди, чини самогонный аппарат. А надежду мы терять не станем. Насколько мне известно, заложники при всех обстоятельствах сближаются друг с другом. Или забыл, что именно на этом построен наш план?

Хант пожал плечами и ушел. А коммутатор, просидев час, наконец снова услышал голоса из подвала.

– Анна ...

– Вы знаете мое имя? – отозвалась уже более-менее адекватно женщина на голос своего сокамерника.

– Конечно! Как я могу не знать ваше имя?

– Вы такой странный, Гарольд...

– Я спасу вас, Анна! – воскликнул Гарольд и бросился на каменные стены,

– Не приближайтесь ко мне!

«Опять двадцать пять, – разозлился подслушивавший коммутатор. – Сейчас начнет: не бойтесь, я стою…»

– Я не стану стоять, лучше мне упасть и окончательно умереть, Анна!

– Но почему же?

– Я люблю вас...

– Вы все так говорите, а потом...

На следующий день Анна, перебравшись на койку и там забаррикадировавшись, уже не мешала своему невольному сожителю обследовать подвал.

Побившись об камни, Гарольд несколько успокоился и заявил твердым, внушающим крепкую надежду тоном:

– Я сделаю подкоп.

– Но кто они? – все еще испуганно держась подальше от соседа, говорила Анна. – Они нас не убьют? Что им от нас надо? Я так испугана. Иисус спаситель, неужели они нас убьют или... замучают?

– Никогда! Я не позволю им и пальцем прикоснуться к вам! И потом... мы живем в цивилизованной стране.

– Но ведь никто не знает, где мы и что с нами случилось! – в отчаянии воскликнула женщина.

– У меня есть друзья, – таинственно отвечал ей Гарольд, надеясь в основном на то, что Тур и Хант еще не покинули его дом. – Уверен, они уже обеспокоены нашим... отсутствием.

– Нашим? Разве они знают обо мне?

– Я хотел сказать «моим»... И вашим тоже. Это очень внимательные джентльмены. Они замечают все.

– Будем надеяться, Гарольд... – слегка успокоилась Анна. – Можно, я буду вас так называть... по имени, Гарольд?

– Да. Да, конечно... я так рад...

Некоторое время в подвале царила тишина, затем снова зазвучал дрожащий женский голос:

– Гарольд, вы можете сесть ближе ко мне? Мне так страшно ...

– Я? Да смею ли я...

– Не смейте приближаться ко мне, мерзавец!

– Да, да, конечно. Я и не вставал со своего места...

– Вот видите, вам все равно, что со мной...

– Анна! – воскликнул сэр и поспешил устроиться на нарах у самых ее ног .

– Только не трогайте меня и пальцем...

Третияк благоразумно не ответил.

После долгого молчания женщина снова заговорила первой:

– Вы здесь, Гарольд?

– Да.

– Сядьте ближе. Мне все равно очень страшно. Они не станут меня насиловать?!

– Анна... я должен искать выход, проверить стены, я должен вас вывести отсюда, сделать подкоп...

– Нет, нет, не надо, никуда не отходите от меня, Гарольд, вы верите в чистую любовь между мужчиной и женщиной?

– Да, верю! Я готов...

– Нет, в такую, которая не знает этих грязных и болезненных манипуляций с некоторыми частями тела? Я слышала, что мужчины и женщины ими соприкасаются... Простите, я вынуждена так грубо говорить, но мне нужна предельно точная правда. Я так много думала об этом ...

– Если вы желаете таких отношений, то я клянусь всеми святыми, что никогда не прикоснусь к вам!

– О, Гарольд! Дайте мне свою руку, дайте же немедленно!

– Но Анна... Вот вам моя рука!

– Она такая сильная... Мне так спокойней. Я думаю, нас захватили террористы с целью выкупа. С ними шутки плохи. Поэтому нам нужно сидеть очень тихо. Если они поймут, что мы хотим бежать, они убьют нас, Гарольд, они могут нас убить!

– Анна, пока я с вами, ничего страшного не произойдет. Я смогу с ними найти общий язык. Я богат, Анна, я отдам все свое состояние ради вашей жизни, Анна.

– Вы такой добрый, Гарольд. У вас такой прекрасный голос. Почему я никогда не слышала вашего голоса? Ведь мы живем рядом много лет...

– Тридца...

– Нет-нет, не говорите, зачем нам цифры.

– Да, конечно.

– Какой вы странный, Гарольд. Зачем вы пугали меня своими письмами? Я дрожала от страха всю последнюю неделю. Это так ужасно... знать, что ты стала предметом мужского вожделения.

– Но я...

– И потом, Гарольд, вы не обязаны за меня выплачивать выкуп. Я никогда не соглашусь на это...

– Они ответят за все!

– Вы такой мужественный.

Вершившие с ними свои темные дела коммутатор Тур От-Агасы и таежный староста Третьяк Хант начали потирать руки, как вдруг раздался ужасный женский вопль.

– Нет, он точно садист! – заявил Тур. – Хватит, надо вызвать полицию.

Вопль неожиданно перешел в сладострастные стоны под отвратительный скрип рассохшейся кровати. Компаньонам по коммутаторскому делу за последние недели больше всего хотелось услышать признание Анны в любви к Гарольду, но когда раздались ее долгожданные вскрики: «Любимый! Любимый!» и так далее, Ханта всего передернуло от неприязни к подпольным голубкам:

– А вот этого я слышать не могу. Это самое ужасное из всего, что я оттуда слышал. Давай выпускай их к чертовой бабушке.

– Мне тоже нелегко все это слышать. Но что делать, клиент еще не удовлетворен. Дай ему хотя бы кончить.

– Пошли, тебе говорят! И как можно дальше, на чердак. И бутылку поганого виски с собой захвати. Не человек я теперь.

Удовлетворяться сэр Гарольд Третияк начал на третий день. И так продолжалось еще неделю. Любовь так прорвалась в пленниках, что они

перестали даже есть. И подвал стал их прекрасно устраивать. По крайней мере никаких попыток выбраться наружу теперь парочка не предпринимала. Противней всего было то, что женщина так и не избавилась от своей привычки вопить, правда, с другой интонацией, но все равно невыносимо. Нервы не выдержали даже у закаленного чужими заботами коммутатора:

– Все! Сворачиваемся! И Гарольда могут начать искать, фигура он в этом городке видная, а тут еще два иностранца... Доведем игру до логического конца. Стали захватчиками, станем и вымогателями. Нужно быть последовательными.

И злодеи опустили вниз записку с требованием отдать им письма Анвароса Мореплавателя взамен на свободу. Ответ пришел дня через три: письма лежат в таком-то ящичке такого-то секретера.

Открыв дверь подвала, Тур и Хант с искомым письмом отлетели от Ирландии.

– Как-то нехорошо, – произнес Хант уже в полете. – Ничего подобного. Заказ клиента мы выполнили, он явно доволен, так что же еще? – ответил Тур, читая письмо. – Жалоб от него нет, человек он все-таки умный, несмотря на...

– Ну что там? Где этот остров?

– Это не письмо. Скорее записка. «Любимая, нас ждет с тобой остров Майда на левой стороне луны. Там мы обретем счастье», – процитировал Анвароса Мореплавателя коммутатор.

– И все? Ну, про луну и я тебе говорил. – Говорить-то говорил, а что это значит?

– Не знаю. Знаю только одно: нельзя любить взахлеб, потому как не любовь это вовсе.

Огорчению Тура лаконичностью попавшего им в руки письменного трофея не было предела, но афоризм Ханта вызвал все же в нем улыбку.

– И как же надо любить?

– Так же, как ненавидишь.

Тайна Дружка
(папка седьмая)

Нельзя сказать, что коммутатор Тур От-Агасы был завален новыми клиентами, но очередь к нему никогда не кончалась. А тут вдруг как отрубило. Словно кто-то очень влиятельный распорядился вычеркнуть его из списка практикующих специалистов по связям. Ладно, отдохну, согласился с вынужденным отпуском Тур и в образовавшееся свободное время решил дать взбучку своему комбинезону за самовольную отлучку в Америку и... вообще, чтоб больше не светился. Не лампочка ведь. Он велел Дружку вылезти из гардеробного шкафа и подойти к нему. Тот так и сделал, наклонив голову для

подзатыльника. Вид у него был обиженный, но покорный. Тур слегка размахнулся и уже занес было ладонь над шеей комбинезона, как вдруг заметил, приглядевшись, на вые Дружка еще прилично сохранившийся штрих-код изделия. «Вот черт! – подумал он. – Я ломаю себе голову, пытаясь понять, почему эта вещь, это спальное белье вдруг начало само по себе двигаться, а между тем даже не глянул, где и кем этот треклятый комбинезон был изготовлен». Конечно же, в Нью-Йорке!

Информация о нью-йоркской фабрике спальных комбинезонов оказалась крайне скудной. Только налоговый адрес и само название фирмы: «Fuse corporation». «Fuse» можно было перевести с английского и как глагол «соединять», и как «линия, точка», и как «предохранитель в электросети». Выбирай на вкус. Тур решил не гадать, а строго спросить с производителей за брак, а может быть, и за преднамеренное нанесение ему физического и морального ущерба. Если это единичный случай порчи, то все становилось более-менее понятным и приемлемым, а если это целая стратегия? Если Хант прав, указав на оживший комбинезон как на предтечу каких-то колоссальных изменений в человеческой цивилизации? Одно дело использовать кей-кей как источник энергии и совсем другое как средство динамизации неживых предметов без предупреждения потребителей. Американских любителей адвокатов и судов можно будет засудить до икоты.

«Словечко-то какое гадкое – динамизация», – думал Тур, разворачивая вагон снова на город Нью-Йорк. – Впрочем, что в нем гадкого? Обыкновенное производное от существительного «динамика». Нет, есть что-то в нем страшное... Динамизация... динамизация... демонизация! Вот в чем загвоздка! Но это у меня нервы расшалились, обыкновенное совпадение в звучании. Никакой не демон, которого нет, никакие другие мистические силы здесь ни при чем. Но с мистикой все-таки надо быть корректней, хотя многого одной логикой и разумом не объяснишь. Но все равно «динамизация» и «демонизация» лишь хорошая рифма для поэтов, и больше ничего. Мне дела нет ни до каких там демонов, как, надеюсь, нет им и до меня никакого дела».

Наказание Дружка на этом раздумье и окончилось. Коммутатор двинул стоявший на контейнерном складе вагон в сторону Пиренейского полуострова.

– Ты чего вагон дергаешь? – проснулся Третьяк Хант. – Дай поспать спокойно. И куда это мы теперь?

– Так... Давно уже мой университетский приятель просит помочь ему с сыном. Совсем мальчик от рук отбился, ни на какие контакты с родителями не идет. Надо бы заглянуть к ним, а я все откладывал, нехорошо.

– А это... как же с островом?

– Нет никакого острова.

– То, что острова нет, я допускаю. Но с Огом как быть? Так и будем бегать от него?

– Слушай, Хант, – рассердился Тур. – Ни о каком Оге или там демоне я больше знать не хочу. Я вообще не понимаю, что ты прицепился ко мне? Сидел бы на своем болоте, орешки грыз.

Хант не обиделся, а только сказал тоскливо:

– Надо так... Эх, а хорошо сейчас у нас, баньку натопишь и парься себе.

Друг коммутатора Тура От-Агасы жил в католическом предместье у подножия Пиренейского хребта, почти на границе с Арабской Францией. К югу от горной гряды на полосе шириной не более ста километров до страны басков еще говорили на испанском языке, но дальше, уже до самой Африки, жили берберы. Звали приятеля Тура Карлос Приего, и он называл себя последним идальго. Так звали его и в Европейском университете, где он с профессорской кафедры бился с историками, утверждавшими, что Сервантес был правоверным шейхом, и считавшими его литературного героя Дон Кихота странствующим дервишем в костюме рыцаря.

Приего не верил в мистику. Вот почему он принял Дружка, появившегося на пороге его дома вместе с коммутатором, за санитара. Семья Приего имела одного ребенка – сына семнадцати лет. Рос он отзывчивым, добродушным мальчиком. Семья Приего была дружна и счастлива до той злополучной ночи...

Тур дружески похлопал Карлоса по плечу, но тот скривился, словно его огрели молотком.

– Да что с тобой? – неприятно поразился Тур, ожидавший гораздо более теплого приема.

– А-а... неопределенно забормотал тот. – Такое здесь... кажется, и не жизнь... только дышу разве что...

Между тем Дружок повел себя в большом трехэтажном доме Приего как собака. Начал принюхиваться, тереться об углы и мебель. Затем помчался, словно по следу, наверх по широкой лестнице.

– И где же твой сын? – спросил коммутатор.

– Там, – махнул рукой Карлос туда, куда умчался Дружок.

– Ну так проведи меня к нему. Посмотрим, что с твоим ребенком.

И они, поднявшись на второй этаж, вошли в комнату сына. В центре комнаты на стуле, устроив руки на коленях и низко опустив голову, сидел молодой пухлый человек. Напротив него устроился в своей обычной позе Дружок. Оба они молчали, и Дружка со стороны можно было принять за мутное зеркальное отражение молодого Приеги.

Карлос подошел к сыну, обнял его за плечи и сказал тепло:

– Сынок, у нас гость. Мой старый университетский приятель ...

Но тот никак не отреагировал на ласку и голос отца.

Ученый идальго огорченно произнес, отходя от сына:

– Вот так и сидит сутками. Ничто его не интересует! Книг не читает, живопись ему безразлична... Развемы были такими? Такая теперь современная молодежь! Я не в силах его ничем увлечь – ни спортом, ни путешествиями.

Одно время я надеялся, что он хотя бы займется виртуальным пространством, но ему безразличны даже компьютерные игры.

Действительно, все компьютерные системы в комнате были отключены. Следовательно, серфить интернеты не представлялось возможным, хотя коммутатор всегда воспринимал информационные потоки скептически. Тур От-Агасы походил вокруг Приеги-младшего, потрогал его пальцем, произнес ряд установочных фраз из арсенала психолингвистического программирования. Не последовало никакой реакции. Коммутатор установил на толстеньком неподвижном юноше контактную аппаратуру и вместе с обеспокоенным отцом вернулся в холл.

– Что еще скажешь? – обратился к отцу коммутатор. – Только все подробно, откровенно и без предрассудков. Иначе все мои усилия будут напрасны.

– А провода, те, которые ты прикрепил к нему, не опасны?

– Нет, они его не убьют.

– А он меня... он нас постоянно пытается укусить, вот беда, – с трудом произнес Приега, отводя в сторону глаза. – Кровь у матери пытался высосать, руку в запястье прокусил, теперь она в больнице. Назад возвращаться не желает.

– Что же он, кидается без причины?

– Хуже – подкрадывается.

– Лечили? – спросил еще участливее отца Тур, с особой интонацией.

Умный Карлос Приего понял приятеля:

– Психиатры бессильны. Для них он нормальный. Сидит себе тихо, бреда нет. А то, что мать укусил, так не пытался же убить.

– Если он нормальный...

– Не продолжай! Мальчик не преступник. И какие там увечья! – разгорячился Альварос. – Нет никаких увечий!

– Ну, как же... руку, говорил, матери прокусил...

– Видимость одна, и все!

– Как это?

– Не знаю. Раны от укуса не было никакой.

– Но...

– Не надо, зря я тебе все это рассказываю. – Карлос встал. – Мне пора ехать за женой. Надеюсь, сегодня привезу ее.

Тур От-Агасы, как ни противился этому Карлос, поехал вместе с ним. Врачи, оказавшиеся психиатрами, не возражали против возвращения больной домой. В машине жена Карлоса Приего Луиза, запинаясь, спросила мужа:

– А с кем мальчик?

– С санитаром.

– Ты нанял санитара? А рекомендации у него хорошие? Из какой он клиники?

– Это санитар нашего друга, – ответил Карлос. – Без санитаров теперь к нам никто ездить в гости не будет.

– Не шути так! – воскликнула Луиза и заплакала.

Коммутатор не стал вместе с Карлосом ее успокаивать, сосредоточившись на состоявшемся в доме между ним и Карлосом разговоре. Была в нем какая-то неправильность. Постепенно он понял, что исходила она из искаженных упоминаний об укусах. Коммутатор решил не спешить и стал задавать свои неприятные вопросы, когда они добрались до одинокого дома Приего и синьора Приего приготовила кофе. Тур хотел уточнить все, что касалось укусов. Мать юноши ответила охотно:

– Да, он укусил.

– Но, как заметили врачи, следов от зубов не было, не говоря уже о ране, не так ли?

– Но у меня была полная уверенность, что так оно и было. Он укусил. Я и боль чувствовала, и как кровь текла... и слабость, словно на самом деле потеряла много крови. Наверное, я действительно сошла с ума.

– Дорогая, нам надо держаться, – скорбно произнес Карлос и обнял супругу за хрупкие вздрагивающие плечи.

В дом, стуча лыжами, ввалился Хант и вежливо поинтересовался, не желает ли кто чаю, хочу, мол, самовар поставить, да дрова нужны, а кругом ни корявого полена... Испанская супружеская чета приняла Третьяка Ханта с изысканным гостеприимством. Понятно было, что этот спутник Тура От-Агасы в меховых сапогах точно не санитар. Скорее даже антисанитар, что, в общем-то, несмотря на всю нелепость такого предположения, было ближе к истине. Ханту предложили чашечку кофе, и ему была продемонстрирована портретная галерея предков Приего, один из которых ходил с Колумбом по океану открывать Вест-Индию. Тур От-Агасы вспомнил об острове Майда, о своей чернокожей спящей красавице и откровенно затосковал. Не надо было ему влюбляться, жил прекрасно без всякой любви.

Приеги посчитали не совсем удобным при русском лыжнике продолжать обсуждение с коммутатором своих семейных несчастий. Они пригласили гостей за обеденный стол. Но Тур, как гончая собака, уже взял след и был не в состоянии сидеть смирно в воспитанной, но унылой компании. Он настоял на продолжении обсуждения проблемы их сына. А они начались три года назад, когда тот после спокойной, обычной ночи не проснулся утром, проспал целый день, как его ни будили. Не очнулся и на следующее утро. Родители забеспокоились, принялись от отчаянья стягивать с него спальный комбинезон. Не получилось. Ткань прилипла к коже юноши. Пришлось вызывать врачей, но и они не смогли ни разбудить его, ни раздеть. Госпитализировали прямо в комбинезоне, что было жутко негигиенично. Бедный Приего-младший продолжал находиться во сне. Его принялись кормить через зонд, и комбинезон

стал сам по себе сползать с него. Через месяц юноша проснулся и на своих ногах в полном сознании вернулся домой. Как радовались родители, словно мальчик заново родился! Напрасно они так бурно радовались.

– А что за комбинезон был на нем в ту ночь? – спросил коммутатор Тур От-Агасы.

Несчастная мать удивилась вопросу:

– Обычный комбинезон.

– С каким штрих-кодом?

– Я не знаю... Никогда не обращала внимания... Обычные, американские. Хотя нет, я купила комплект новых спальных комбинезонов, произведенных в Нью-Йорке. Фирма «Fuse corporation» предложила более низкие цены, гораздо более низкие, чем наша прежняя филиппинская фирма. Они по качеству ничем не уступают, уверяю вас.

– Его уверять не надо, – авторитетно заявил Хант. – Он у нас по комбинезонам дока.

– Что значит дока? – спросил Карлос.

– А значит, что он тут собаку съел.

Вид у несчастной матери стал еще трагичней, она замахала, как тонущая, руками над головой:

– Но мы не кормили вас собакой! На обед подавали из мясного только желе из лягушачьих лапок!

– Это он в переносном смысле, попытался успокоить хозяйку коммутатор.

– А она тоже, надеюсь, насчет лягушек в переносном смысле? – забеспокоился и Хант.

– Нет, в прямом, – с удовольствием констатировал Тур. – Ничего, переваришь. Я у тебя с кашей в тайге насекомых ел и жив, как видишь.

– О-о, так вы из тайги? – восхитился Карлос. – Я знаю, эти палки у вас – лыжи для ходьбы по глубокому снегу.

– Разве по снегу не плавают? – спросила его супруга.

– Плавают, – ответил Хант. – Но только выпив много водки на морозе.

Поговорили о Сибири, об испанской культуре, вспомнили университет и веселые студенческие годы, съездили в горы на пикник, заглянули к соседям и родственникам Приего на бал в честь венчания какой-то племянницы Карлоса, стараясь больше не вспоминать о Приего-младшем. Родителей успокаивало, что с сыном остался санитар коммутатора, а Тур любил французские вина, обладавшие тонким ароматом и сладким вкусом. Хант вино не пил, его и так мутило от мысли, что он съел лягушатину .

Вернувшись в усадьбу, загулявшая компания хозяев и гостей увидела страшную сцену: в гостиной Дружок впихивал в себя человека. Втянул уже до верхней части туловища. Оказалось, он захватил невесть опять откуда заявившегося Мустафу Ли. Отставной мэр Бейрута отчаянно сопротивлялся,

цепляясь руками за тяжелую мебель, но сантиметр за сантиметром все глубже и глубже уходил под мягкими руками комбинезона в его темное нутро.

– Помогите! – орал Мустафа.

– Ты что, спать собрался? – спросил бейрутовца Тур От-Агасы.

– Помогите! Спасите! Он меня сожрет!

– Что значит сожрет? Это спальный мешок, а не крокодил. Послушай, Дружок, как тебе не противно! Он же грязный! Сейчас получишь по затылку!

Трудно сказать, что больше подействовало на Дружка: чувство брезгливости или угроза быть наказанным, но в любом случае тандем Дружок – Мустафа мгновенно распался. Выпавший из комбинезона экс-мэр оказался без брюк, и в свою очередь заорал на Дружка:

– А ну отдай! – И принялся в нем шарить рукой. – Да он вор, грабитель!

На этот раз отбивался Дружок. Однако Мустафа его крепко прижал и принялся вытягивать из полости Дружка самые разные предметы: статуэтку Будды, женские трусики, книгу в старинном переплете... Все это вновь забрасывалось обратно, пока он не вытащил свои брюки и туфли. Носки нащупать и вынуть ему не удалось.

– А-а, подавись!

Освободившийся Дружок обиженно отошел в сторону и принялся застегивать себя. В другом углу комнаты натягивал спасенные брюки экс-мэр.

– Что ты здесь делаешь, Мустафа? – строго спросил незваного визитера Тур, пытаясь хотя бы суровостью своего тона оправдаться перед Карлосом и его женой за вторжение в их дом еще одного своего странного, если не сказать больше, знакомого.

– Ничего не делаю! – продолжал орать не успокоившийся Мустафа. – Просто зашел за вами, а тут твой схватил меня своей пастью!

– Ну, не стоит так уж преувеличивать, – попытался заступиться за свой комбинезон Тур.

– Не стоит? Ты посмотри сюда, он мои брюки изжевал, как банан!

– Не мог он ничего изжевать, нечем ему жевать...

– И обслюнявил!

Но это уж совершенно абсурдное обвинение коммутатор Тур От-Агасы не счел нужным отреагировать, только махнул рукой и с досадой заметил:

– Пожалуй, надо купить Дружку вставные челюсти из нержавеющей стали... с клыками.

Мустафа Ли предпочел не услышать скрытую угрозу в свой адрес, а продолжал, кипя гневом, орать:

– Он опасен! Это же какой-то людоед! Давай его порежем на шнурки! Хант, дай свой кинжал.

Редко когда Третьяк Хант соглашался с Мустафой, но на этот раз охотно выступил в роли его союзника:

– Я давно предлагал так сделать. Как будем резать: вдоль или поперек?

– Никто никого резать не будет, – заявил Тур, смущенно оглядываясь на супругов Приего, так и не оправившихся от пережитого ими ужаса. – Разрешите представить: Мустафа Ли, мэр Большого Бейрута. Бывший, правда, но очень и очень богатый человек.

Такая рекомендация произвела на хозяев усадьбы явно благоприятное впечатление и усилила их негативное отношение к Дружку.

– Так это не санитар, а комбинезон! Эти комбинезоны... невыносимы! – заявила сеньора Приего.

– Мягко сказано, госпожа, – галантно произнес Мустафа, вертя в руках туфли. – А не найдутся ли у вас лишние носки? Я заплачу.

Деликатная Луиза Приего не нашла что ответить. Вроде пострадавшему надо помочь, но хамский тон Мустафы не позволил ей поспешить откликнуться на высказанную просьбу.

– Да, пора с ними разобраться, – согласился Тур. – Кстати, а где тот комбинезон, в котором так надолго уснул ваш сын?

Луиза Приего снова замахала над своей головой руками:

– Никаких комбинезонов в нашем доме! Мы теперь не пользуемся ими.

– Ну а тот... последний, могу я на него взглянуть?

– Наверное, в больнице его выбросили вместе с мусором, – ответил Карлос. – Мы не знаем.

«А знать надо, тоже мне папочка...» – подумал коммутатор. И отправился в госпиталь, где лечили сына Приего. Коммутатор Тур От-Агасы, время от времени работавший и с теми, кто имеет отношение к медицине, знал, что в последнее время положение врачей стало крайне незавидным. Говорили, что они вообще не лечат больных. Такая ситуация возникла после того, как были успешно завершены работы по созданию диагностических систем U66 и U76, способных не только поставить любому больному точный диагноз, но и назначить нужный курс лечения. Врачи стали не нужны, более того, присутствие их в больнице создавало помехи в отлаженной программе. Оспаривать диагнозы они не осмеливались, но зато продолжали попытки самостоятельноназначать курс лечения тому или иному больному. Они не оставили своей привычки рассуждать о болезнях, патологиях и о каких-то отдаленных последствиях, как будто кого-то еще волновало их мнение в таком простом деле. И даже о вреде некоторых лекарств, особенно из ряда генетических. Тогда фармакологические компании разом выкупили все больницы и выставили большинство врачей за двери. Хирургов тоже, так как операционные манипуляторы стали точнее и быстрее резать и зашивать человеческое тело, удаляя из него все, ставшее негодным.

В какой-то степени отсутствие врачей в больнице было на руку коммутатору Туру От-Агасы. Сотрудники фармакологических корпораций, теперь полностью отвечавшие за работу больниц, к пациентам не подходили, а значит,

не стоило с ними и встречаться. Тур вскрыл файл той клиники, где лечили Приего-младшего. До нужной медицинской карточки он добрался легко, но ничего нового не узнал, хотя база данных включала все мельчайшие подробности о его патологическом состоянии, вплоть до генетической структуры организма. Разве только то, что в inpatient-сайте больного Приего особенно подчеркивалось, что положительный лечебный эффект был достигнут благодаря применению новейшего фармакологического препарата фирмы «Ghgteak». Разговаривать с медицинскими операторами тоже было бесполезно. Они если и приближались к больным, то лишь затем, чтобы подключить или отключить аппаратуру. Впрочем, и это они делали в экстренных случаях, когда, к примеру, больной вел себя неадекватно: требовал выслушать его жалобы или пытался бежать. А так аппаратура сама в нужную секунду и включалась, и выключалась.

Иногда состоятельные клиенты, дав приличную взятку главному фармакологу больницы, если у них достаточно было мозгов, добивались, чтобы все-таки пальпировали их органы руками, влезали в рот пальцами, слушали биение сердца и взглядом определяли степень отечности кожи. Для таких случаев в клиниках держали одного дежурного врача, рядом с вахтером.

И все-таки надо было найти врача, наблюдавшего за состоянием Приего-младшего, если такой был. Но прежде Туру нужно было найти легитимный свободный доступ в клинику. Недолго думая, он нанялся туда в качестве младшего оператора по sewerage-системе. Эта должность, на которую мало кто желал устроиться, позволяла максимально свободно перемещаться по клинике, так как трубки тянулись по всем корпусам, палатам и операционным от больных к дезинфицирующим емкостям в подвалах и дальше к обычным канализационным трубам.

Настоящий врач появился на третий день работы коммутатора в новом качестве. Тур вычислил его сразу, и как ни отнекивался доктор медицины, он был разоблачен и прижат Туром к стене. В переносном и прямом смысле этого слова, так как врач все время пытался бежать от коммутатора, и допрашивать его приходилось больше на бегу. Врач опасался навязчивого младшего оператора, принимая его за инспектора фармакологической корпорации. Туру стоило больших трудов добиться от него немного доверия.

– Вы не понимаете, – шептал, оглядываясь по сторонам, врач. – Если они узнают, что я лечу больных, они выкинут меня вон! Навсегда.

– Никто ничего не узнает, – гарантировал Тур.

Он продемонстрировал врачу свой перстень, выдав его за совершенное устройство, способное создать против подсматривающих «глаз» и прослушивающей «ушей» недоступную емкость как раз для двух встретившихся людей.

– Молодой человек, они все равно все узнают, – воскликнул посмелее врач.

– Да что вы так их боитесь? – удивился Тур От-Агасы. – В конце концов, вы же делаете с фармакологами одно благородное дело.

– Возможно, но... Посмотрите, что они творят! Вот сейчас они лечат отравления препаратом Kfatem-473, стоимость которого превышает все мыслимые и немыслимые суммы, когда стоит пациенту дать обычный дешевый натрий тиосульфат – и он здоров! Но мало того, этот Kfatem-473 скверно действует на головной мозг! Да ради своей прибыли они готовы не только... были случаи, – врач снова перешел на шепот, – когда некоторые мои коллеги умерли насильственной смертью... Надо протестовать! Они не смогут заменить нас какими-то тупыми машинами. Нас нельзя заменить! И так нас осталось всего ничего, а тут еще и... Вы знаете, что они добились принятия закона, по которому лечение людей людьми будет объявлено мошенничеством? Теперь они хотят добиться, чтобы такое занятие было приравнено к умышленному убийству... Они же купили всех политиков, все парламенты, все суды! Конечно, у них столько денег... Мы вернулись в темное средневековье, в царство мракобесия, когда всей медициной у Ивана Грозного заправляли аптекари из Аптекарского приказа...

Медицинские страдания Тур воспринял равнодушно. Врач же все сильнее и сильнее возбуждался, жалуясь на фармакологов. Вывести его снова на рациональное мышление и уровень нормальных эмоций представлялось уже сложным. Следовало как можно более тактичней сменить тему разговора. И он грубовато перебил страдавшего от несправедливостей врача:

– Вы русский?

– Нет, я литовец. Почему вы решили, что я русский?

– Наверное, потому, что Иван Грозный из истории России.

– Мой предок литовец служил у русского царя... в том самом Аптекарском приказе...

– Надо же... как сложно все переплетается, мог ли ваш прадед-аптекарь подумать, что его потомок пострадает от аптекарей?

Врач задумался над этой несложной философской сентенцией и задышал ровно. Теперь он наверняка и соображать мог точнее. И, чуть выждав, Тур спросил его:

– Кстати, об отравлениях и головном мозге, коли мы уже затронули эту тему. Скажите, ваш пациент Приего... помните юношу? Его привезли в спальном комбинезоне и никак не могли от него отодрать.

– Конечно, помню.

– Так вот, скажите, пожалуйста, что стало с тем комбинезоном?

Врач помрачнел, опустил голову и, явно стыдясь, произнес:

– Мы, врачи, не все знаем. И нам отказываются говорить... Как бы вам сказать... такой клинический случай был у меня впервые...

– Ну, так где он? Порезали на кусочки и выбросили, повесили в медицинском музее, отдали на съедение лабораторным крысам? Что стало с ним? – все

настойчивее требовал ответа коммутатор, чувствуя, что тут кроется нечто необычное.

– Не говорите глупостей! При чем здесь лабораторные крысы? Это они, фармакологи, имеют дело с крысами, а мы врачи!

– Так что?

– Что... что... этот комбинезон как бы въелся в кожный покров больного.

– У него нормальная кожа естественного цвета. По крайней мере на лице, не согласился Тур.

– Вот именно, въелся без всяких последствий, словно растворился в толще кожи.

– Но почему это не отражено в inpatient-сайте больного?

– Потому что такое случилось впервые... Знаете, надо было осмыслить, трудно сразу поверить в такое. Потом... там же программы... машины не воспринимают нестандартные случаи, особенно такие абсурдные, как абсорбция кожными покровами больного одежды. Скажи это даже умному, с развитым воображением человеку с медицинским высшим образованием, и он не поверит.

– Но вы-то это наблюдали сами.

– Я уже знаю, что я наблюдал...

– После этого вы еще возмущаетесь, что вас заменили несомневающимися системами. Эх вы, человеки!

Коммутатор Тур От-Агасы задумался, покивал головой и, не придя ни к какой версии, спросил наугад:

– А на работе мозга это могло сказаться? Знаете, этот юноша Приего-младший стал каким-то... Словно вынули из него все кости.

– При шизофрении мы наблюдаем каталепсию, застывание всего тела или конечностей в каком-либо положении.

– Я еще заметил: жара, от всех мужчин несет потом, а от него нет, хотя, как говорила мамаша, он уже целый век не принимал душа.

– Очень может быть, очень может быть... Но это уже не медицинский вопрос. Это уже мистика. Мы тоже не всесильны, но мы знаем, что мы не всесильны, и в этом наша сила! Они еще пожалеют. У нас уже есть организация... о ней еще никто не знает, но мы уже... Нельзя без врачей! Мы отстоим свои права!

Туру От-Агасы оставалось только сочувствующе покивать дерзким выпадам угнетенного доктора. Он попрощался с переволновавшимся эскулапом и направился к выходу из больничного городка. Подходя к своему вагону, Тур издали увидел Ханта, левитирующего над крышей. Прижившийся на ней грач возмущенно летал неподалеку. Время от времени Третьяк ловко нырял под дно вагона. Птица возвращалась на крышу, но не успевала она и разочек корябнуть ее, как тут же снизу выныривал мужик в меховой куртке, страшный, как барсук.

Грач пугался, орал и отскакивал в воздушную пустоту и там отчаянно махал крыльями.

– Ты что делаешь? – возмущенно спросил его Тур.

– Так, кости разминаю. Засиделся я в твоей берлоге. Эх, на охоту бы сходить!

– Не надо тут кости разминать! Мой дом не цирк. Видишь, птицу напугал. И люди смотрят. Что хорошего, когда кто-то сам по себе у всех на глазах летает? Да на птицу бросается! Ты что, коршун что ли? Еще полицию вызовут.

– Уже вызвали, – произнес Хант, указывая, как на скорости к вагону подъезжает полицейская машина. – Давай в вагон скорее. Еще успеем оторваться.

– Ну конечно. Чтобы потом за нами полиция на всех континентах гонялась? Я не нарушаю закон, – твердо ответил коммутатор. – Только прошу тебя, на ноги не вставай, а опустись на живот.

– Не хочу я опускаться на живот. Запачкаюсь.

– Слушай, ты, таежный пень, здесь Европа, здесь тротуары и дороги не только вымыты шампунем, но и продезинфицированы. Ни одной пылинки, ни одной бактерии. Да ложись же скорее! У нас будут крупные неприятности, и наше дело надолго встанет... Неужели ты не хочешь все закончить и домой вернуться побыстрее?

– Ладно. Я на спину лягу, – неохотно согласился Хант и медленно опустился на землю.

Грачу очень понравился вид изгнанного с его владений человека. Птица по-хозяйски уселась на самый краешек крыши вагона и одним глазом весело посматривала на Ханта.

– А ну, кыш! – прикрикнул на нее обиженно Третьяк. Подъехавшие двое чернокожих полицейских сразу же взяли быка за рога:

– Запрещается! Вы арестованы за полет в запрещенной зоне.

– А кто летал? – удивился Тур.

– Как кто? Он! – и указали на Третьяка.

– Он не летал, а упал с крыши. Турист... – ответил Тур таким тоном, словно падения с крыш входят в обязательную программу турне. – И вообще, разве люди умеют летать?

Полицейские были озадачены. Один из них пробормотал о том, что где-то слышал, что кто-то летал.

– Если вы говорите о прецеденте, то, пожалуйста, будьте точны: назовите дату и точную формулировку судебного обвинения, фамилию подсудимого, кто вынес обвинение и приговор. И потом, это в Америке прецедентное право, а здесь действуют писаные законы. Назовите статью, по которой вы пытаетесь обвинить человека за падение с крыши.

– Грязные юристы! – прошипел один из полицейских.

Коммутатор Тур От-Агасы не стал его разубеждать ни в том, что он не юрист, ни в том, что юристы не грязные. Лишь сказал:

– Дайте мне минуту, и я вынесу вам обвинение в оскорблении чести и достоинства...

Полицейские ему минуты не дали, а вскочили в свою машину и исчезли.

– Вставай, – сказал Тур сибирскому туристу.

– А чего вставать? – ответил Хант с закрытыми глазами. – Приятно тут в теньке полежать. Только вот шелеста листьев не слышно и пения птиц...

– Птица есть. Вставай, есть новости, точнее, догадки.

Так говори. На свежем воздухе в тенечке разговоры разговаривать приятней, чем в вагоне.

– В вагоне воздух чище, свежее и прохладней, чем тут, на улице, дикий ты человек. Ну ладно, если тебе так психологически приятней, Бог с тобой.

Сев по-турецки, Тур расположился рядом с Хантом.

– В степи лучше, чем в твоей тайге, – проговорил он. – Лежишь в юрте, войлок откинешь, и ветерок продувает. От трав такой запах... Пророк Мухаммед говорил: «Аллах сделал для меня дорогими ароматы и женщин». И был прав.

Хант приподнялся на локте и с оживленным интересом посмотрел на коммутатора.

– Интересно ты сидишь... Удобно?

– Удобно. Так сидят степные казахи.

– Так ты казах?

– Отец был казахом, – неохотно ответил Тур. – Он и имя дал мне – Турар, что значит «Способный выстоять».

Хант оживился, попробовал сесть, скрестив ноги, как Тур, но помешали валенки.

– А давай, Тура, слетаем в степь к твоему отцу! Подышим запахом трав!

– Он погиб вместе с моей матерью. Самолет рухнул в океан. Какой – не помню. Мне было... лет... годика два, наверное. И он не был степным казахом, а жил в Нью-Дели. Тела погибших в 13-й авиакатастрофе нашли, и пока адвокаты отсуживали у страховой компании двойную страховку... Нет желания все это снова вспоминать. В двух словах, из какого-то жуткого приюта меня вытащили родственники отца – степные казахи, и до десяти лет я жил с ними. Потом учился на страховку... как сам понимаешь, далеко не в степи. Я уже и не помню по именам тех степных родственников, больше не был у них.

Хант внимательно выслушал Тура и произнес:

– А какие они, степные казахи? Как и чем живут?

– Такие же дикие, как и твои таежные русские. Живут просто, скот пасут, электричества не знают и знать не хотят. Представь, на чем они меня увозили из Атырау. На верблюде! Только представь, мимо роуд-мобилей на воздушной подушке шагает караван из трех верблюдов! Это я помню.

– Это такое животное, больше коня и с горбом?

– Да, вы со степными казахами друг друга достойны по уровню кругозора. О свинье они сказали бы примерно как ты: это такое животное пониже барана, но без шерсти и с пятачком вместо носа.

– А что твое образование тебе дало? Ну, знаешь ты десять языков, а дома родного нет, только пустой вагон в пустом воздухе.

Тур помрачнел и встал.

– Ладно. Поднимайся, пока фармакологи из больницы нас, травмированных, не уволокли к себе, благо рядом. И там бы не залечили насмерть.

Но Ханг, не сдвинувшись с места, запротестовал:

– Не поеду я к твоему приятелю... как там его... Карлосу этому. Нечисто у него там. И потом... Мне показалось, что его вполне устраивает, что сын стал таким замороженным недоумком. Я его понимаю, хлопот нынче с молодежью много, а этот сидит себе сиднем дома...

– Не станет он так долго сидеть. Я подозреваю, что мой комбинезон и комбинезон Приего-младшего изготовлены одной фирмой. И при синтезировании ткани американцы использовали кей-кей.

– Думаешь, специально? Да это же заговор против всего человечества!

– И где это ты, Третьяк, начитался этой конспиратологической чуши? Вроде в тайге таких книжек не предполагается.

– А Ог?

– Ог, насколько я помню, не американец. Где Америка, а где тайга?

А вдруг Ог – шпион американский?

Высказав столь неординарное предположение, Хант испытывающе взглянул на Тура.

Коммутатор несколько опешил после такого заявления и отвел глаза. В конце улицы он увидел стоявшую полицейскую машину. Явно за ними продолжали наблюдать. И наверняка готовы были снова подъехать к ним. Времени для дискуссий не оставалось.

– Нет никаких заговоров против человечества, – категорично заявил он. – Давай, залезай в вагон. Там договорим.

Хант неохотно поднялся, и вагон Тура двинулся в сторону гор, к поместью Приего. Явно неудовлетворенный аргументами коммутатора, Хант продолжал искоса поглядывать на Тура, что окончательно того разозлило:

– Да ты и меня в шпионы готов записать! Американцы использовали кейкей в производстве комбинезонов потому, что кей-кейя этого кругом море разливанное. Доступное, дешевое сырье. И весь заговор против человечества заключается в простой формуле: взять подешевле – продать подороже. А там хоть трава не расти! Только в Дружке концентрация кей-кейя оказалась мизерной – видимо, в первую партию они поменьше кей-кейя замешивали, и я смог выбраться из него утром нормальным. А может быть, потому, что пролежал в нем всего ночь. А вот сыну Карлоса не повезло совсем, и он оказался насквозь пропитан кей-кейем. И как бы стал не совсем человеком. Ты

был прав, когда еще при первой нашей встрече сказал о том, что весь ужас начнется, когда явятся в мир големы.

– Про ужас я не говорил. Я про меч деревянный сказал и про огонь несжигающий.

– Неважно. Важно то, что они явились. Я не знаю, сколько теперь этих големов по всему свету, но думаю, что скоро они должны в каком-то месте все собраться и что-то предпринять. Если, конечно, эти комбинезоны не промышленный брак или не чья-то дурная шутка. Ладно, на месте разберемся.

На лужайке перед домом хозяева с Мустафой Ли устроились за небольшим столиком пить кофе по-мавритански. Увидев Тура, Карлос Приего вскочил со своего места и поспешил к нему навстречу. Тур От-Агасы кратко разъяснил университетскому приятелю, что скорее всего его сын был отравлен неизвестным ядом. И что он попытается найти противоядие.

Родители были обрадованы. Тур не стал омрачать их радость гипотезой о штамповке из людей големов, в реальность которых он и сам-то еще не совсем верил. Он поднялся наверх на второй этаж посмотреть на состояние клиента. Приего-младший по-прежнему находился в своей комнате вместе с Дружком, который словно прилип к нему. Не оторвешь. Так они и сидели рядышком друг против друга, время от времени синхронно разводя, как бы в глубоком недоумении, руками в стороны.

Тур вернулся к отцу юноши и по-приятельски решил дожать его, зная на практике, что люди всегда не договаривают часть информации.

– Знаешь, Карлос, что по-настоящему меня огорчает? Это то, что ты, мой старый друг, все-таки утаиваешь от меня кое-что. Боюсь, этот секрет самым неблагоприятным образом скажется на результате моей работы. Так что заранее прошу прощения, если состояние вашего сына останется прежним.

– Я? Кое-что? – изумился бедный папа. – Нет, нет... я все тебе рассказал... Говорил я тебе, что мальчик страдал недержанием мочи...

– Это не новость.

– Тогда не знаю... А говорил я тебе, что мальчик, с тех пор как заболел, ходит по ночам?

Это уже было нечто новое для коммутатора и могло пригодиться, но Тур на всякий случай решил еще посильнее нажать:

– Вспоминай, вспоминай...

– Не знаю... я постараюсь вспомнить...

– Что это у тебя делает Мустафа? – уже по-настоящему недовольно спросил Тур, показывая на бейрутовца.

Карлос удивился вопросу и развел руками, прямо как его зомбированный сын:

– Но это же твой друг...

– Никакой он мне не друг. Это один из моих клиентов, пострадавший от лифтов.

– Да? Признаться, при первой встрече он произвел на меня отвратительное впечатление, и я совершенно не ожидал, что такой человек способен тонко и глубоко мыслить. Приятно видеть араба, признающего полную абсурдность теории о суфийском мировоззрении идальго Сервантеса.

– Он не араб, а этнический китаец, – поправил Тур испанского профессора филологии.

– Но ведь мусульманин...

– Не знаю. Зато знаю точно, что ему здесь делать нечего.

– Мне хотелось бы еще обсудить с ним некоторые работы Аверроэса... да и всей плеяды мавританских мыслителей начала второго тысячелетия...

Коммутатор слушал уже в пол-уха, соображая, как ему избавиться от приставучего бейрутского экс-мэра. Решение задачи не приходило, пока он не услышал нужную фразу:

– ...нестандартное мышление. Представь, ему у нас так нравится, особенно то, что усадьба старинная, без всяких лифтов.

– Вот именно! – обрадовался Тур. – Скажи ему, что собираешься перестраивать дом и устанавливать в нем лифты. Даже так: скажи, что завтра уже привезут два лифта.

– Зачем два? И вообще, нам совершенно не нужны никакие лифты.

– Ладно, хватит одного, – согласился коммутатор Тур От-Агасы. – Ты хочешь, чтобы я помог твоему сыну?

– Да.

– Так и делай, что тебе говорят.

Несмотря на то, что вечер только начинался, коммутатор отправился спать, так как решил проследить ночью, почему и зачем Приего-младший бродит по дому.

В полночь он проснулся и сел в дальнем углу холла, ожидая ночного шатуна. Оказалось, что отпрыск испанских дворян шатается по ночам не в доме, а компанию ему стал составлять Дружок. Эта вялая парочка как сомнамбулы, мерно вышагивает с полуночи до рассвета по мандариновому саду и близлежащим холмам целые километры. Причем по какому-то замысловатому одному и тому же маршруту. На всякий случай коммутатор зарисовал на бумаге весь этот путь. Увидев этот рисунок, Хант заволновался и сам заходил из стороны в сторону.

– Ты чего это, Третьяк? Съел что-нибудь несвежее?

– Знаешь, что это мне напоминает? – спросил почти шепотом таежник.

– Что?

– Ога. Он точно так же углами бродит по дну озера. Я еще думал, чего это он так ходит под водой, словно по коридорам с прямыми углами?

Высказав столь важную догадку, Хант исчез. Причем вместе с Мустафой, потерявшим привязанность к дому Приего из-за скорого появления в нем лифта. Вернулся он через неделю, когда коммутатор пришел к окончательному выводу, что Приего-младший и Дружок свои ночные вылазки проводят как бы в воображаемом лабиринте.

– Ты где был? – спросил его Тур, собравшийся уже отлетать от поместья Приего.

– Домой летал, – сразу признался Хант. – Сам знаешь, хозяйство, то да се, у меня же лошадь, две коровы. Бабе надо было наказ дать... – и смутился.

– Мог бы и местным бабам наказ давать.

– Не могу я с ними. Грех это.

– А обманывать не грех?

– Кого я обманывал? – возмутился Хант.

– Мы же с тобой договорились не иметь с Мустафой дел.

– Да он сам предложил, давай, мол, свожу тебя. Бесплатно. У него вагон все равно простаивает.

– Не по силам мне летать самому на такое расстояние. Говорил же тебе, после весь хребет ломит.

– Вот и летай на его вагоне, – ответил Тур и полез в свой.

Хант последовал за ним, сославшись на то, что там у него лыжи. Вошел и уселся, всем своим видом показывая, что и не собирается перебираться к Мустафе Ли. Даже начал разговор так, словно это он задумал всю операцию с големами:

– Я так думаю, что мальчишка этот испанский тренируется. Нам бы надо только проследить, куда он задумал отправиться.

– А ты думаешь, куда?

– В ад.

– Шутишь.

– Нет.

– Значит, пойдем за ним в ад, как Вергилий.

– Кто?

– Так, один тип из латинской поэмы, сказки. А я в сказки не верю. Так что пока с адом отложим до лучших времен.

– И куда мы теперь? – согласно спросил Хант, устраиваясь на своих лыжах поудобней.

– Здесь нам делать больше нечего.

Часом раньше коммутатор От-Агасы забросил в нутро своего комбинезона радиомаяк – координатор местонахождения объекта, затем заверил Карлоса в том, что продолжает работать над проблемой его сына. Теперь он мог со спокойной совестью отлететь в Африку, глянуть, как там поживает его чернокожая красавица.

Во дворце Окумба все выглядело по-прежнему. Было тихо, прохладно и траурно. Никто не только не пытался помешать коммутатору войти, но даже и не поинтересовался, зачем он снова здесь, словно все были уверены в том, что до тех пор, пока он не выполнит свою миссию, никуда не исчезнет. А этого Тур От-Агасы не обещал ни одной душе, разве что самому себе. Откровенно говоря, все, по его мнению, выглядело абсолютно безнадежно. Спящую чернокожую красавицу уже никому не разбудить. В этом Тур убедился еще раз, пробыв возле нее все время. Благо в этом ему никто не мешал, так как Хант окончательно сдружился с Мустафой Ли на почве полетов на халяву в Сибирь и исчезал на целые недели. Тур уже приходил к мысли, что смысл его жизни, быть может, и заключен в благоверном его пребывании у неувядающего тела Найт Окумбы, как неожиданно засигналил радиомаяк, закинутый им в Дружка. И сигнал этот обозначал, что Приего-младший, сопровождаемый Дружком, бежал из дома и двинулся, используя все возможные виды транспорта, на северо-восток по просторам Евразийского континента.

Коммутатор Тур От-Агасы не стал дожидаться очередного возвращения Ханта и направил свой вагон на перехват беглецов. Первоначально он предполагал взять их и допросить, но, вспомнив, с кем имеет дело, ограничил свои действия только слежкой. Каково же было его удивление, когда он окончательно убедился, что преследование выводит его к уральскому озеру кей-кейя возле общины Ханта!

Коммутатор Тур От-Агасы влетел из жаркой Африки в сибирскую осень. Реки приобрели густой синий цвет, а леса пожелтели. Это было естественно, а вот почему уральские скалы покрылись сплошь сине-зелеными пятнами и потеками – было непонятно. Конечно, надо было бить тревогу, призывать экологов и дать пресс-конференцию, обличающую кого-нибудь зловредного или что-нибудь просто вредное, но бросить преследовать Приего-младшего и Дружка коммутатор не мог себе позволить. Да и, как не раз говорил Хант, конец света, считай, фактически уже наступил, так что какая разница, какой сейчас цвет у камней! Да что там эти уральские самоцветы! Вон в Африке все население исчезло, сокрушался Тур. И увидел сверху, что и озера, где плескался Ог, нет на месте. Зато там был Третьяк Хант.

– Утекло, – объяснил коммутатору таежник. – Наверное, в дыру, вон там.

– А давно?

– Да нет, месяца не будет. А дыра глубокая, боюсь, и без дна, ровная, как колодец. И все в глубину земли.

– Значит, не утекло, а протекло, – уточнил Тур.

– Что в лоб, что по лбу. Так что ты, Тура, теперь свободен. Нет Ога, нет и проблемы, как говорил Сталин.

– Что-то у вас здесь в тайге сплошные ленинцы-сталинцы, – поразился Тур. – Ты, Хант, случайно не коммунист?

– При чем здесь коммунист какой-то? – удивился Хант. – Не коммунист наш Сталин. Сталин – это наш кузнец. Да видел ты его. Фамилия у него такая. Егор Сталин. Для меня что коммунисты, что капиталисты – один черт, – помянув нечистого, Хант перекрестился.

Нельзя было сказать, что Тур разбирался в политике, но, в принципе, он был согласен с Хантом. И капиталисты, и коммунисты, несмотря на то, что одни молились Золотому тельцу, а другие пытались распилить его и каждому раздать по кусочку, преследовали одну цель: господство над всем миром. Для этого надо было, чтобы мир этот стал одинаковым – ел одну и ту же еду, одевался по одним и тем же лекалам, говорил на одном языке и верил, что человек сам по себе бог.

– А дыра? С дырой, народ спрашивает, как быть?

– Какая дыра? – переспросил Тур, не понимая, при чем здесь дыра, когда буквально на глазах у них исчезают последние народы с неповторимой культурой, меняя безвольно или бездумно Единого Бога на Единый мир.

– Дыра, которая там, в котловине, – терпеливо пояснил Хант. – Нежелательно нам при дыре жить. Зверь может туда упасть, да и неумный кто или ребенок.

Они подошли по высохшему дну озера к подземному зеву, способному поглотить не только зазевавшегося человека, но и стадо слонов разом.

– Поставьте решетку, чтобы местный неумный слон туда не сиганул.

– У нас слонов не водится, климат не подходящий для их хоботов, – и Третьяк с уже досадой произнес. – Ничего хорошего в этой дыре нет.

– Зато и Ога нет. Ведь вы от него хотели избавиться? А дыр всяких в земле полно и без вашей. Живут же люди рядом с разными пещерами и скважинами, и ничего, никто не жалуется, – вяло отмахивался от Третьяка Тур, высматривая по сторонам Приего-младшего и Дружка.

Хант понял, что больше ничего не добьется от коммутатора и выживать им при дыре придется самим. Он вздохнул огорченно, но и уходить к себе в деревню, именуемую им городом, не собирался. Наоборот, подошел к самому краю дыры и сказал:

– Прыгнули они прямо туда.

– Кто прыгнул?

– Кто-кто... этот, сынок твоего приятеля профессора. И Дружок твой. Не успел, значит, ты за ними.

Коммутатор Тур От-Агасы заглянул в черный провал и сказал:

– Ну и черт с ними! И чего это я за ними погнался? Какое мне дело до всего этого? Да гори они все синим пламенем, големы всякие...

– Ты, Тура, сам знаешь – коли дыра есть, значит, и беды жди. Стыдно, брат, вот так на все плевать.

– Может быть, так и надо, планета – она умная, потому как живая. Сама себя чистит, а дыра эта – утилизатор. Пойду-ка я лучше лягу, книжку почитаю, – ответил ему Тур и направился к своему вагону.

Тут, словно леший, из-за деревьев выскочил Мустафа. Запрыгал вокруг коммутатора и напыщенно запротестовал:

– Вы не имеете права! Вы не до конца выполнили свои обязательства. В том числе и моральные!

Тур возмутился:

– А ты-то что? С тобой у меня полный расчет.

– А остров, где нет лифтов, на который вы обещали меня доставить? – уже потише произнес Мустафа с долей просительности в голосе.

Тур От-Агасы, не останавливаясь, ответил ему сурово и категорично:

– Никакого острова я тебе не обещал. Этот ты сам придумал.

– Я за все платил!

– Платить тебя никто не вынуждал. И больше ни слова! С тобой спорить я не собираюсь. В суд на меня подай.

Мустафа, прекрасно зная, что действительно коммутатор выполнил все свои обязательства перед ним полностью, сдаваться все равно не собирался. Не случайно же он слыл одним из самых ловких и настырных средиземноморских политиков.

– Я говорил о моральной стороне дела! Человечество связывало с вами большие надежды, а вы предаете... кого? Нет, не меня, не отдельного человека, что мы могли бы еще понять. Вы предаете Человечество!

Коммутатор Тур От-Агасы был шокирован таким изменением темы. Он оглядел кипятившегося Мустафу и подтянувшегося к нему Ханта и сказал:

– Да я вижу, братцы, вы тут спелись вдвоем! – И обратился к Ханту: – Это ты ему наплел чушь о том, что мы должны спасти мир от дьявола? Так вот, нет никакого дьявола на свете, ни на этом, ни на том. И отстаньте от меня!

–Ничего он мне не говорил! – воскликнул Мустафа и вдруг сел на корточки и тихо заплакал. – Не знаю я ничего ни о каком дьяволе, но жить стало невозможно никак. Кругом одни лифты и дыры. А мы прячемся от них, как крысы. А мы ведь люди...

Плачущий экс-мэр Бейрута был жалок и в то же время смешон. Лицо его исказилось, рельефно проступили морщины, и стало видно, что он совсем пожилой человек. Даже старый. Переступить через старичка Тур уже не смог бы. Он остановился и сел на таежную хвою. Рядом устроился и погрустневший Хант. Некоторое время все они втроем молчали.

– Ладно, – сказал Тур. – Сына отцу все равно надо возвращать, даже из дыры. Неудобно, сам ведь напросился помочь. Но так просто я в нее не полезу. Вряд ли можно оттуда живым выбраться. Закажешь нам скафандры, как у тебя, – велел он Мустафе.

– Конечно, конечно. Возьми мой.

– Твой скафандр тебе самому понадобится. Так что заказывай нам с Хантом еще.

Трусоватый Мустафа принялся увиливать от предстоящей экспедиции к центру Земли. Он начал уверять, что не в состоянии купить еще один скафандр:

– Порастратился я в последнее время на полеты туда-сюда по всяким там хозяйственным делам, то корова приболела, то сенокос... – и с укором посмотрел на Ханта.

У Ханта тоже на лице было написано огромное нежелание влезать внутрь какого-то механизма. Объяснения Тура, что скафандр вовсе не какой-то тупой механизм, а нечто вроде второй кожи, но бронебойной, огнестойкой, освежающей, особого впечатления на Ханта не произвели.

– В скафандр ваш лыжи никак не поместятся. Как же я полезу в эту штуку без лыж!

– Да не нужны тебе будут лыжи ни в скафандре, ни на нем. Скафандр сам суперлыжа.

И Мустафа принялся рекламировать свою вещь, надеясь, что Тур довольствуется все-таки одним спутником. – И летать в скафандре сможешь, и плавать под водой ...

– Я и на лыжах могу.

– Да, но без кислорода-то никак! А скафандр сам тебе кислород схимичит из чего угодно. А вдруг под землей вас завалит породой? Никакие лыжи тебя не спасут, а скафандр вытащит тебя наверх! Да я бы сам! На второй скафандр я, конечно, могу набрать нужную сумму в банке под гарантию страховой компании, но страховики потребуют от меня избегать экстремальных, опасных для моей жизни ситуаций... Даже сено покосить запретят... А я насчет покоса всегда другу помогал...

Наконец Хант не выдержал и угрюмо произнес:

– Ладно. – И обратился к коммутатору: – Я полезу с тобой. Вдвоем, небось, справимся.

– Втроем.

– Да ну его, Тура. Сами справимся. А ты, Мустафа, чтоб к корове моей больше не подходил. Как начнет вокруг нее крутиться, так у нее, бедной, молоко напрочь пропадает.

– Говорил я тебе, не связывайся с ним. Ладно, справимся, – сказал таежнику Тур. – Вот только с кем или с чем мы там столкнемся?

– Там и увидим. Не случайно все сошлось в одной точке.

Торговая компания доставила второй скафандр в тот же день. Хант едва успел сбегать помолиться в церковь, а Тур просмотреть всю более-менее важную информацию о состоянии твердой коры Земли, надеясь, что до магмы они не провалятся. Так оно и случилось. Скафандры опустили Тура и Ханта в скважину на глубину не более километра. У самого дна на стенах появился, как плесень, кей-кей, а глубже жидкость Ким-Квашниных уже растекалась по двум широким туннелям.

– Пойдем по левому, – предложил коммутатор.

– Почему?

– Ты же сам советовал мне держаться левой стороны луны, – таким нелепым образом аргументировал свое предложение Тур.

Отвечать, что тут не луна, было бы еще глупее, и Хант согласился, двинув свой скафандр вслед за коммутатором. Передвигались они рывками, так как местами туннель оказывался забитым паутинообразными пробками. Зато каждый рывок покрывал за какие-то секунды несколько сотен метров. Время от времени они оказывались в купольных пещерах, на дне которых озерцами скапливался кей-кей. Некоторые пещеры имели лишь вход, и приходилось нырять в озера, казавшиеся бездонными. Там на глубине навигаторы скафандров сами находили новое боковое отверстие, и подземные путники вновь оказывались в длинном туннеле, а потом снова в очередной пещере. Бывало, что кто-то трогал их в толще кей-кейя и цепко хватал за ноги. Не будь на них скафандров, Хант и От-Агасы давно были бы раздавлены этими объятьями. Через пару часиков все это основательно надоело Туру От-Агасы и он, настроив свой скафандр на режим торпеды, неспокойно заснул. Близость кей-кейя, видимо, все же сказывалась: сны его больше напоминали своей яркостью и реалистичностью галлюцинации шизофреника. Собственно, он продолжал видеть себя движущимся в темном подземном лабиринте, но не в натуральном, а искусственном, созданном чьим-то изощренным разумом. Забавно было то, что стены этого лабиринта были украшены портретами самого Тура в самых различных одеяниях, начиная с рыцарских доспехов и заканчивая фраком. Больше того, по подписям на холстах можно было подумать, что коммутатора изобразили в своих произведениях все великие художники мира. Правда, Тур не заметил Ван Гога и подумал еще с досадой: что ж ты, Винсент, зазевался, мог бы изобразить меня на фоне пейзажа в Овере после кей-кейя. А теперь, брат, поздно. В одной нише он увидел скульптурную композицию, изображавшую Зевса, беседующего с гениальным поэтом-киносценаристом Хакимом, который был высечен из мрамора по отношению к нему в пропорции 1,5 к 1. Причем олимпийский бог прятал за голой спиной косячок с чуйской анашой – запашистый дымок выдавал.

Постепенно лабиринт стал принимать строгие классические формы, появились греческие барельефы и колонны. Не хватало оказаться в лабиринте с Минотавром. Это было бы совсем неприятно: слишком суетно бегать с клыкастым полубыком наперегонки. Но когда появились явно римские арки и фрагменты водопровода, Тур успокоился. Ему стало весело, словно он принял наркотик. А может быть, и нанюхался, рассматривая Зевса. Он представил себя влетающим в зал Сената, где стоит в центре арены закутанный в тогу Ог и, подняв руку вверх, вещает что-то умное. Все это чрезвычайно забавляло Тура, и он впервые проникся к Огу большой симпатией – если бы не возникшее неприятное ощущение, что кто-то, пользуясь его благодушием, потихоньку высасывает из него кровь. В принципе, нападение на него вампиров тоже было

иллюзией, но слишком уж реальной. Симптомы быстрой потери крови были очевидны: тело слабело, руки и ноги холодели, голова кружилась, сердце учащенно забилось, гоняя кровь лишь от легких к мозгу.

«Умру скоро», – подумал Тур и захохотал. Краешком сознания, несмотря на заливавший весь мозг кайф, он начал тревожно понимать, что его наркотическое состояние навязано ему и что из него надо как-то выбираться. С гигантским усилием, напрягая всю свою волю, он прошептал: «Лечить... меня». Этой устной команды для уникального оборудования скафандра оказалось, на счастье, достаточно. Медицинские датчики, давно фиксировавшие наркотическое опьянение пассажира, дали команду, и аппаратура скафандра принялась выводить Тура из плена сладостно-губительного забвения. Почувствовав способность кое-как здраво мыслить, коммутатор вспомнил о напарнике и по жестко фиксированной связи передал команду скафандру Ханта провести профилактический осмотр состояния здоровья пассажира и при необходимости начать соответствующее лечение.

Оказалось, что Третьяк Хант тоже был почти на грани наркотического умопомешательства и все пытался выбраться из скафандра «погулять на травке», как он позже старался как можно достовернее описать свалившийся на него кайф Туру.

– Гадость все это, – добавил он в конце. – Только как они дурь эту в нас влили? Мы же ее не пили, не ели, не нюхали! Может, скафандры протекают?

– Если б протекали, то мы сами вместе с этой дурью растеклись бы, – ответил Тур. – Давай внимательней следи за своим состоянием, а то еще... мало ли еще что будет!

– Думаю, пора нам наверх, – начал колебаться Хант. – Что мы тут плаваем без толку, как...

– Надо плыть ногами вперед, – не согласился с ним Тур, ощущая, как невыявленные галлюциногены вновь впиваются в его мозг.

– Почему? – спросил Хант, но последовал примеру коммутатора и развернул свой скафандр на 180 градусов.

Напасть с наркотическим опьянением сразу отступила. А почему – над этим уже ни Тур, ни Хант не стали задумываться. Что тут думать, когда навалилась другая напасть, возникли другие помехи. Жидкий кей-кей стал вдруг густеть, и скорость движения замедлилась, по краям реки он даже успел затвердеть. Коммутатор и Хант вынуждены были вынырнуть на поверхность и сесть на эту воскообразную массу. При попытке идти по ней ноги проваливались по колено, словно в болото.

– Эх, лыжи бы сюда! – размечтался Хант. – Теперь сам видишь, какая эта незаменимая вещь в походе. Без лыж, Тура, скажу тебе, у нас никуда!

Хотя лыжи были частью материальной культуры достаточно большого круга северных народов, они, к сожалению, не были включены в сервисный набор скафандров, претендовавших на то, чтобы считаться самым последним

техническим достижением земной цивилизации. Но о лыжах путешественникам пришлось сожалеть недолго, потолок туннеля стал опускаться и в конце концов повис над ними так низко, что нечего было и думать о лыжном пробеге. Но это согласно мнению Тура От-Агасы.

– Ползти придется, – огорчался он.

Хант считал по-другому:

– Эх, были бы лыжи, могли бы лечь на них и как на саночках...

– Да куда же они провалились? – воскликнул Тур, имея в виду профессорского сыночка и Дружка. – Мы проболтаемся здесь до конца света!

– Так это уже скоро! Вот-вот.

Коммутатор неожиданно вздохнул с облегчением.

– Что ж, – произнес он. – Мы сделали все, что смогли. Мы старались.

– Видит Бог, старались, – согласился с ним Хант.

– А поэтому совесть наша чиста. Даже перед всем человечеством. Поэтому будем пробиваться наверх.

Коммутатор настроил скафандр на вращательные движения и, выставив над головой руки острой аркой с короткими лезвиями на поверхности перчаток скафандра, принялся пробуриваться к поверхности земли. Двигались они, конечно, медленно, со скрипом, зато предвкушая неизбежную встречу с солнечным светом и голубым небом. Головы их кружились и от вращения, и от радости избавления от погребения, в которое они сами себя ввергли.

Поднявшись метров на сто, они вдруг попали в пустое замкнутое пространство. Осветив его прожекторами, Тур и Хант увидели себя в компании бредущих куда-то зомбированных наподобие Приего-младшего людей. То, что на некоторых, как лохмотья одежды, висели рукава или капюшоны спальных комбинезонов, свидетельствовало, что без них дело не обошлось. Правда, пустых комбинезонов нигде не было видно.

– Вот тебе раз! – воскликнул с досадой Хант. – Где это мы? Эй, народ!

Ему никто не ответил, даже Тур, который осознал всю роковую обреченность пройти до конца своего пути в компании комбинезонов и комбинзонированных типов.

Сопротивляться, пытаться найти иной выход, выискивать аргументы, способные оправдать его отказ брести с ними дальше, – во всем этом уже не было никакого смысла. И он понуро встал в редкую цепочку этих фигур и зашагал с ними вместе к неизвестной цели. Хант попытался было вразумить его, вырвать из этой движущейся, возможно и на убой, очереди, но безуспешно. Тур даже не отвечал ему, только время от времени вместе со всеми разводил в стороны руками. Эти жесты в подземном коридоре при тусклом свете невидимого источника оказывали особое магическое действие, и скоро Хант пристроился за Туром и пошел следом.

Коммутатор и не подумал обернуться или иначе как-то поприветствовать примкнувшего к нему Ханта. Просто шагал и шагал дальше. На душе было

спокойно и сердце не билось. Идешь себе – и все, ни о чем не беспокоясь, ничего не вспоминая. В своих скафандрах и Тур, и Хант вполне вписались в ряд големов, по крайней мере, человеческим духом от них не несло. Всего через несколько часов движения в колонне выяснилось, что верхний туннель сходится с нижним, и теперь они шли вдоль канала все с той же жидкостью.

Усилия, потраченные Туром От-Агасы и Хантом на рывок сквозь земную толщу от потока кей-кейя, оказались напрасными. Время от времени кто-то из бредущих опускал голову в кей-кей, а потом удовлетворенно отходил в сторону и садился с блаженной рожей у стены. Садился и замирал, разве что иногда разводя в стороны руками. Таких становилось все больше и больше.

Когда же эту процедуру проделал Приего-младший, коммутатор От-Агасы вдруг сказал отчасти раздраженным, отчасти удовлетворенным тоном:

– Все, хватит здесь шататься. – И, установив управление скафандра на режим «вверх», врезался головой в земляной свод, только подошвы мелькнули.

На этот раз скафандр Тура самостоятельно выбрал курс, мгновенно пробив магнитной волновой пружиной ход на поверхность земли. Озадаченный неожиданным воскрешением Тура, Хант толкнул в плечо стоявшего рядом с ним голема, мол, смотри, чего это, куда это он? Тот не удержался и упал в кей-кей, Хант собрался уже было нырять за ним, но тот вылез из кей-кейя на берег сам, да не один, а со своим невесть откуда взявшимся дубликатом.

– Видал? – спросил Тура пораженный Хант.

– Ну вот, и ты теперь, Третьяк, виноват в размножении нечисти на земле, – ответил ему издалека Тур. – Ты что там, ночевать собрался? Вылазь.

– Да не могу я так быстро, как ты, – отозвался Хант. – Я как приловчился бурением попробую.

Вот почему, уже оказавшись в лесу на траве, он долго не мог прийти в себя от головокружения. Пришлось его даже вытягивать из скафандра. Наблюдавший за их путешествием под землей Мустафа Ли был задумчив как никогда и даже не произнес ни слова осуждения, когда Третьяк пнул с досады покинутую им сверхдорогую оболочку. Теперь он не суетился и не задавал ненужных вопросов. Только слушал. А поговорить Туру и Ханту было о чем.

– Ты чего это парня там бросил? – спросил Хант Тура. – Надо было с собой вытаскивать.

– А зачем? – лишь ответил вопросом на вопрос коммутатор.

– Как зачем? Ты же отцу обещал вернуть блудного сына.

Тур От-Агасы босиком с удовольствием прохаживался по муравчатой земле, поеживался от уколов хвои. Потом сам сел рядом с Хантом и заговорил, напомнив, прежде всего себе, что он является, между прочим, и магистром философских наук:

– Давай попробуем взглянуть на этот сложный диалектический вопрос с позиций отношения мышления к бытию. Все не так просто. Кто спрашивал самого этого блудного сына, захочет ли он вернуться в отчий дом, хочет ли

вернуться в свое прежнее состояние? Разве ты не видел, что он находится в состоянии полного кайфа? Ничего не надо – ни наркотиков, ни любви. И тем более нашего вмешательства в его личные дела.

– Почему ты так решил? Сын должен следовать отцу, отцовская воля – главное слово. Сказано вернуться – пусть возвращается, – не согласился с философом-коммутатором Хант.

– Ты, Хант, мужик замшелый, как пень. Сидишь в тексте своей Библии, а ей две тысячи лет. Стародавняя книга. А мыслить надо по-современному. Поменялось бытие, надо менять и мышление. Разве ты сам не почувствовал, как хорошо, как бесконечно приятно плыть по кей-кейю? Я думаю, человек, наконец, добился своего в поисках рая на Земле. Да, человек и раньше создавал вещи и продукты, приносившие ему только наслаждение, но оно было кратким, и за эти минуты надо было расплачиваться депрессией, имуществом, уголовным наказанием. А сейчас – чудо. Натянул на себя комбинезон, замешанный на кей-кейе, – и через неделю ты уже без всяких мыслей, терзаний, страхов и трудов плывешь себе в море наслаждения. Рай спустился к нам на землю, вернее, под землю.

Вкусивший кей-кейевского кайфа мозг Третьяка Ханта был согласен с коммутатором, только сердце противилось. С трудом выуживая слова из предавшей его головы, Хант произнес:

– Ты, Тура, все умно рассуждаешь. Бога, значит, не надо, без надобности, мол, нам Небесный рай теперь... вот он рай, тута... О том, что нет и быть на Земле рая не может, мы спорить не станем. Как бы рай есть, пусть так. Но и заслуг наших нет в этом, даже не трудами нашими. Ясно же, что этот чертов кей-кей никто не задумывал таким. Просто придумали порошок для очищения земли от всяких там ядовитых отходов. А получилось черт-те знает что.

– Будешь черта поминать так часто – и действительно дождешься. – Здесь не желавший спорить дальше Тур применил запрещенный против православного оппонента прием.

Третьяк Хант поспешил перекреститься и покаяться:

– И это верно. И меня, видишь, хвостатый держит.

– Но это дело не меняет. Ведь, согласись, никто и не предполагал, что такая жидкость получится. И что она и энергией полна, и что есть ее можно, и что утонуть в ней со всей своей живой памятью можно, оставаясь при этом на берегу. Вот и думай, а не вмешался ли тут кто-то еще, более изворотливый, чем сам человек?

Тур задумался и почти согласился:

– Да, все странно... Есть такая наука – синергетика.

– Это что за штука?

– Простая наука. Она свидетельствует, что природа, если нарушить ее сложившуюся структуру, постепенно сама приводит себя в новое состояние устойчивого равновесия, правда, с новыми закономерностями.

– Где может и не оказаться места человеку?

– Может и не оказаться. По крайней мере, не в том виде, в котором человек пребывал.

– По мне, это все сатана задумал. Здесь он, час настал Антихриста. Все о том свидетельствует. И Ог – вождь мертвых, и големы эти. Тоже как бы не живые.

Тур От-Агасы пожал плечами:

– Не все так плохо. Мы-то живы.

– Как сказать. Все мы гости в этом мире, но не нравится все равно мне такая жизнь. Надо что-то делать с этими, под землей.

– Что значит надо? Не уничтожать же их, как тараканов.

– Не знаю, – с горечью произнес Хант. – Пока они там, мне покоя не будет. Всем нам не будет. Что-то они там задумывают. Иначе зачем им собираться в одном месте.

Коммутатора, несмотря на то, что он действительно когда-то заканчивал философский факультет, такое усложненное развитие темы никак не устраивало. Да, с Приегой-младшим случилось непоправимое, когда его организм не смог оказать сопротивления инородному веществу. И Тур оказался бессильным в коррекции его поведения, но не всегда работа должна заканчиваться успехом. У каждого специалиста есть неудачи в практике. И это совсем не значит, что проблем устоит углублять и доводить до вселенского масштаба.

– Вовсе они не собираются в одном месте, – попытался схитрить Тур, опасаясь, что его опять начнут принуждать спуститься, но уже для дезинфекции тех липко-сладких тоннелей. – Ты сам видел, что они там сидят порознь, каждый по себе.

– Сидят-то в одном месте. Станет их больше – слипаться начнут. – Хант и не думал сдаваться.

– Только не надо обобщать... – с явным неудовольствием произнес Тур, представив себе уж совершенно жуткую, фантасмагорическую картину слипания големов в один тысячерукий, тысяченогий комок. – Не в этом самая страшная опасность для рода человеческого. Существовал мир, в котором инструменты, от каменного топора до колеса, в достаточной мере уравнивали всех в возможностях работать конкурентно и получать за эту работу продукт. Я понятно говорю? Но сегодня появились принципиально новые вещи, новый транспорт. Прогресс, но только... Колесо было доступно для всех. А знаешь, сколько стоит мой вагон, двигающийся без колес? Нет, не считай в деньгах. Здесь считать надо в количестве колес, ставших из-за моего вагона недоступными для тысяч других людей. Когда кто-то один в закрытом помещении оттягивает на себя и глотает чистый кислород, десятки других будут задыхаться. Наши друзья Окумба каждые десять лет омолаживаются. Они считают, что делают это за свои деньги. Нет, по большому счету

возвращающаяся к ним молодость лишает возможности дорасти до этой самой молодости тысячам детей, которых они и в глаза не видели. Я, конечно, могу отказаться от своего вагона и сесть в автобус, но тогда... все это очень затруднит мою жизнь... и мир не спасет. Потому что завтра придумают машину времени, и она одна, чтобы позабавить сотню человечиков, съест столько энергии, сколько уходит на тысячу таких вагонов, как мой. И я стану на прикол без всякого нравственного подвига с моей стороны и не смогу больше никому помочь в беде. Или придумают средство для бессмертия, и кто-то очень и очень богатый купит и перекупит и пустит на его синтез все лекарственные средства этого мира, включая и таблетки омоложения четы Окумба. Пока у людей в свою пользу можно отнять еду и вещи, но бедные все равно позволяли себе роскошь быть молодыми и счастливыми. Скоро, когда найдут соответствующее техническое решение и придумают нужные аппараты, начнут отнимать у них и молодость, и счастье. Сдирать, как кожу, вырезать, как органы для пересадки. Так что если кто-то там, под землей, нашел или найдет свое забвение и энергию в кей-кейевских комбинезонах и тихо сидит в своей дыре – это не самый худший случай в истории человечества. Я доходчиво все пояснил? Боюсь, ты ничего не понял. Ладно, разве ты со своими общинниками тоже не сидишь в своей таежной дыре, не желая двигаться ни вперед, ни назад, не слыша и не видя, что происходит вокруг вас, как Приего-младший со своими комбинезированными приятелями?

– Да, сидим. Только мы сидим с Богом, а они с сатаной, – твердо отбился Хант.

– Ой, не надо. Все это спорно...

Хант поднялся, отряхнул одежду от желтой хвои и сухих травинок, взял в руки свои лыжи и на прощанье сказал:

– У нас чудо-камень горит, как свеча. А у них – тьма. Мы чистые, а они замешаны на грязи человеческого тела и техники всякой. Сам ведь говорил, откуда взялась эта жидкость, кей-кей ваш. Если не врал.

– Да нет, не врал, к сожалению. Уходишь, что ли?

– Да, ухожу. Теперь совсем. И спасибо тебе.

– За что это?

– Как за что? За то, что честно пытался избавить нас от Ога. Вот и избавились. И еще спасибо этому юноше. Ведь по-твоему выходит, что он, сидя там, под землей, со своими собратьями и хлебая свой кей-кей, очищает Землю от грязи, как ты говоришь, человеческого бытия и край наш от всего, что осталось от ядерного завода. Так что и им надо бы спасибо сказать. Высказавшись, Хант уложил свои широкие ладони на выставленные перед собой лыжи и задумался, глядя на дно котлована, оставшегося от озера с кей-кейем, покрывшееся уже молодой веселой травкой. Через несколько минут он сказал грустно:

– Гордыня это во мне говорит. А они-то тоже люди. Жалко их, братьев наших.

Пока Тур и Хант увлеченно рассуждали на высокие темы, Мустафа Ли влез рукой в зазевавшегося Дружка. Не помещаясь в нем целиком, он начал выбрасывать из него скопившиеся там предметы. Тот стал биться, как рыба на крючке. Поднялся шум.

– Эй, ты чего это делаешь с Дружком? – увидев это безобразие, вскричал От-Агасы. А ну вытащи руку обратно! Что за манера лазить в чужом спальном белье!

Бывший мэр Большого Бейрута, освободив комбинезон от скопившихся в нем вещей, ловко подпрыгнув, влез в Дружка. В тот же миг тот перестал протестовать против насилия над собой. В завершение Мустафа, прикрыв свое лицо маской комбинезона, глухо проворчал оттуда:

– Я тебе в обмен оставляю свой вагон. Это целое состояние. И два скафандра. Надоело мне все время бояться. Кругом лифты. Нет от них спасения.

– А остров Майда? – попытался успокоить Тур Мустафу.

– Нет никакого острова Майда, – отвечал все менее охотно экс-мэр. – А если и есть, то и там, наверное, лифты кругом,

Коммутатору Туру От-Агасы стал жалко терять Дружка. Как-никак привык к нему. Да и Мустафа, кажется, был готов совершить непоправимый поступок.

– Послушай, Мустафа, ты же видел, что происходит с теми, кто остается в таких комбинезонах…

– Видел, мне в нем хорошо. Отстань. –И он развел руками.

– Совсем пропал человек, – высказался и Хант. – Пока не поздно, может, вытряхнем его наружу?

– Можно, – согласился Тур.

Но тут его внимание привлекла книга, которая появилась благодаря стараниям Мустафы из нутра Дружка. Это был морской журнал Анвареса Мореплавателя, доставшийся по наследству академикам Ким-Квашниным и, видимо, украденный Дружком при последнем посещении их дома.

– Фолиант! – обрадовался Тур и принялся листать капитанский журнал в переплете из телячьей кожи, сразу же забыв и о Дружке, и о Мустафе.

Средневековый фолиант пах морским йодистым бризом и хранил на своих страницах следы от солонины. Коммутатор Тур От-Агасы тщательно просмотрел все страницы и обнаружил остров Майда под южной оконечностью Гренландии на 46º 23' северной широты и 37º 20' западной долготы. Он торжественно ткнул пальцем в нарисованный кусочек суши и спросил Ханта:

– Полетели?

– Нет, – ответил Хант. – Теперь сам справишься, а у меня делов много. Уж извини. Прощай. – И он утопал в свою деревню.

Коммутатор Тур От-Агасы не обнаружил рядом с собой и куда-то скрывшегося Мустафу в комбинезоне. Он остался один.

Что сказала птица
(папка восьмая)

Сравнивать возможности своего вагона и supercarrage Мустафы Тур даже не стал. Без всякого сомнения, супервагон экс-мэра был оснащен мощнее. Хотя таким доступом к информации, каким обладал Тур, владели далеко не все, ну, тысяч триста специалистов высшей квалификации, ну, пятьсот от силы, выход же на информационные потоки у Мустафы был абсолютно неограничен, включая личную переписку всех людей на свете. И коммутатор было совсем уже перебрался в ультрасовременный транспортный салон, но в последний момент передумал. В своем вагоне жить все-таки уютней. Потом книги перетаскивать – это же целая проблема. А что касается информации, то Тур, возлежа на своем родном ложе, подумал, что слишком много знать – вредно. Особенно если читаешь чужие письма. В последнее время он пришел к твердому убеждению, что чем больше узнаешь, тем все становится запутанней. И маразматичней. Неожиданно ему пришла в голову мысль, характерная для всех влюбленных: надо сердцем знать. Как надо знать обыкновенным органом кровоснабжения, он понятия не имел. Но эта несерьезная, однако навязчивая идея о знании сердцем никак не отступала от коммутатора. И он принялся душить ее логикой. Сердце есть только мышца, гоняющая по всему телу кровь. И этому куску мяса никак не сравниться с мозгом, с его миллионами нейронов. Нельзя же, действительно, сравнивать компьютер с примитивным насосом. Да, все это так, рассуждал Тур, но если взять сердце не как отдельный орган, а как часть сердечно-сосудистой системы, то возникает иная картина.

Перед его глазами всплыл рисунок из анатомического атласа, на котором был изображен красный силуэт человека, состоящего только из сердца и кровеносных сосудов. От сердца тянулись аорта, крупные артерии, они переплетались с венами. Артерии переходили в более тонкие трубочки, а потом вообще сливались в сеть паутинообразных артериол, добирающихся до каждой клетки. И эти мельчайшие красные ниточки исчислялись, видимо, тоже астрономическими цифрами. Вместе они напоминали своей структурой необыкновенно сложную и чрезвычайно разветвленную антенну. Общеизвестно, что сердечно-сосудистая система реагирует на колебания электромагнитных и гравитационных полей. Гипертоники могли бы рассказать об этом подробнее. А вдруг, догадался Тур, этот живой локатор способен принимать еще какие-нибудь волны, о которых мозг с его интеллектом и не догадывается и которые сами по себе – суть информации? Да, все не так просто.

Размышления о сердце настолько увлекли Тура, что он не заметил, как вагон доставил его на южную оконечность Гренландии – 46º 23' северной широты и 37º 20′ западной долготы. И завис над серым морем. Никакого острова Майда там не было. Тур От-Агасы сканером пробил всю толщу воды в районе диаметром сто километров и морское дно, но даже следов суши, когдалибо бывшей островом, не обнаружил. Все свидетельствовало о том, что за последние десять тысяч лет тут земля никогда не возвышалась над поверхностью моря. Следовательно, ни один мореплаватель средневековья и даже времен египетских фараонов не мог с натуры зарисовать остров Майда. По крайней мере, тут, у берегов Гренландии. Вруном оказался этот Анварес Мореплаватель, хотя и был маркизом или графом. Но почему-то северная морская гладь, уходящая за кольцо горизонта и возвращающаяся неярким ровным, но плотным светом с неба, не разочаровала Тура своей гудящей пустотой. Коммутатор смотрел на плоские, длинные волны и впервые в жизни почувствовал себя свободным. От всех и от всего.

Но продолжалось это счастье недолго. Кто-то постучал в дверь. Точнее, бился как бы с лета. Тук, секунд двадцать тишины и снова: тук! Тур открыл дверь, и в вагон влетел его грач. Первый раз с того момента, как птица обжила крышу его вагона, коммутатор обрадовался этому надоедливому и беспокойному пернатому существу. Грач подлетел и сел на плечо, посматривая в лицо круглым, требовательным глазом.

– Ну, что тебе? – вежливо спросил Тур птицу.

И грач ответил:

– Красный.

– Что? – произнес ошарашенно Тур.

Глаза его от удивления округлились, как у птицы, и он плюхнулся, попятившись, пятой точкой на лежак. Со стороны могло показаться, что сидят два грача. Сходство усиливало и то, что темноволосый коммутатор в одежде предпочитал черный цвет и нос имел длинный.

– Красный, – повторил пернатый гость.

– В каком смысле? – решился после долгой паузы поддержать этот совершенно дикий диалог хозяин.

Но птица не ответила и неадекватно и возмущенно заорала:

– Красный! Красный!

Тур терпеть не мог, когда на него кричат. Он скинул со своего плеча наглую птицу:

– Вон!

Грач отлетел в сторону и уселся на любимый стул Дружка. Минуты три мужчина и птица изучающе смотрели друг на друга. Грачу первому надоело таращить глаза на человека и он, склонив набок головку, стал бешено рыться клювом в своих перьях. Потом с напряжением вытянул назад и чуть в сторону

одно крыло и одну лапку. Совершив свое гимнастическое упражнение, грач повторил вопрос человека:

– В каком смысле?

– Ты что, тоже кей-кейя объелся? – уже гораздо дружелюбней спросил Тур, подсознательно сопрягая грача с Дружком, что, скорее всего, шло от выбора птицей места для приземления, точнее – пристуления.

Грач не ответил, и Тур отстал от него. Не предпринял даже попытки выгнать его из вагона. В последнее время он, совершенно не желая того, привык к постоянному присутствию какой-нибудь персоны возле себя. И теперь грач мог скрасить его внезапное одиночество. С неделю они прожили вместе молча, но наступил день, когда коммутатор счел полезным все-таки продолжить диалог с грачом. Он мог, обращаясь к птице, обдумывать свои планы на будущее, которое лично для него самого стало совершенно неинтересным. Конечно, и птице было все равно, но это, как ни парадоксально, и сближало, и создавало атмосферу для доверительной беседы. Не философской, надо сказать, а просто:

– Красный!

– Отвали! Вали, говорю!

Вопрос с птичьим кормом решился сам собой. Унаследованный от Мустафы супервагон как привязанный следовал за Туром От-Агасы и теперь висел рядом над океаном. Коммутатор в нем принялся разводить червей в парной телятине, оплачиваемой банковским счетом Мустафы, исчезнувшего в объеме ночного комбинезона под кодовым названием Дружок и теперь наверняка отправившегося под землю медитировать в кайфе с другими кей-кейевскими потребителями. Черви получались отменные. Грач потолстел и со временем все неохотней соглашался послушать рассуждения коммутатора о его жизненной катастрофе и всяких иных проблемах. Вместо приятного для рассказчика вопроса: «В каком смысле?» он стал выкрикивать исповедовавшемуся ему человеку краткое: «Вали, говорю!»

– Что значит вали? В смысле отвали или повали что-нибудь или кого-нибудь? – пытался уточнить замечание в свой адрес Тур, но грач не уточнял.

Коммутатор принялся неохотно напрягать извилины своего впавшего в прострацию мозга, но не находил никакого логического объяснения выкрикам птицы. Однажды ему приснился сон, в котором он видел огромную луну. И слева от луны плыл в открытом космосе остров Гренландия, контурами напоминая сердце, двигаясь по ходу часовой стрелки. Проснувшись, Тур поделился сновидением с грачом и опять услышал надоевшее «Вали!»

– А может быть, птица имеет в виду «вали» как арабское «святой»? Святой путник? – выискал для себя нелепейшее объяснение коммутатор.

Никаких аргументов в пользу такой гипотезы у него в голове не нашлось. Зато внезапно сердце подсказало участившимся сердцебиением: «Ты прав».

А грач произнес новое для его словаря слово: «Путник».

– Почему путник? – принялся вслух рассуждать Тур. – А, впрочем, чем я не путник? Шатаюсь в земном пространстве без руля и ветрил. Без семьи, без цели. Так, занимаюсь иногда делом ради куска хлеба... При чем здесь кусок хлеба? И откуда взялись в моей башке эти архаические представления? А, приятель?

Грач не ответил, а вытянул крыло и конечность. Тур, наклонившись, встал на одну ногу, вторую вытянул назад и· параллельно ей выставил руку. И так приятно потянулся всем телом.

– Нет, надо именно делом заняться, а то скоро совсем одичаю. Так что скажешь, грач?

Птица снова промолчала, посматривая на коммутатора одним глазом, словно высказала уже все, что думает о нем и о его проблемах и сказать, мол, ей больше нечего. Тур От-Агасы направился было сбривать отросшую бороду, но, взглянув в зеркало, передумал. Борода с сединой изменила его лицо до неузнаваемости. Он стал похож на дервиша. С такой физиономией только и оставалось выбраться из вагона и пойти пешком куда глаза глядят.

Коммутатор Тур От-Агасы решил так и поступить. Все равно ему уже нечем было платить Транспортной компании за энергию. Оставалось только подумать, что ему взять с собой из старой жизни. Без сомнения, не мог он отказаться от своей любви к чернокожей красавице, с бородой он теперь или без бороды, все одно. А из вещей оставался лишь один предмет, который он никак не мог оставить, – это был камень с негасимым пламенем. С этим горящим булыжником каким-то образом был связан деревянный меч. Вот это детское оружие и следовало бы найти в пути. И Тур От-Агасы направил свой вагон туда, где должны водиться дервиши, ориентируясь на самую святую гору мусульман, предполагая сходу совершить восхождение на гору Арафат.

Конечно, Тур знал, что королевство Саудовская Аравия, на земле которой и высилась эта гора, являлось хранителем главной мусульманской святыни – мечети Каабы в Мекке. Знал, что прежде чем направиться к горе Арафат с пением молитв, надо совершить хадж к самой мечети. Но его вели чувства не паломника, а толкал вперед нюх исследователя чувств. А согласно наработанному опыту коммутаторской работы, следовало начинать с самого начала. С Адама и Евы, или Хаввы, как ее называют арабы и евреи. А на земле их история началась с горы, а не со здания.

История об Адаме и Еве известна всем. Началась она в раю у яблони, в ветвях которой затаился коварный змий-искуситель. Змий уговорил невинную Хавву вкусить плод с древа познания, что она и сделала. А затем, подпоив вином стерильного Адама, заставила и его откусить от яблока. В Библии Бог изгнал их вместе. По мусульманской версии – порознь. Так Адам оказался на большом острове в южном океане.

На одной из скал Цейлона остался гигантский след от стопы Адама. Судя по нему, его рост был не менее сорока метров. Сброшенный на Землю, он лишился

памяти и обречен был вести жизнь, как животное. На Цейлоне прекрасный климат. Горячие пляжи, свежий океанский бриз, вечнозеленые растения в любой миг готовы угостить любого своими чудесными плодами. И все принадлежало одному Адаму. Он играл со слонами, как дети играют с забавными щенками, он наслаждался фантастическим пением тропических птиц. Но что-то тревожило его сердце. Наверное, это было то, чем отметил его особо, выделив из всех живых существ, Всевышний – это душа. И он отправился в путь через горы и пустыни, сам не понимая – зачем и куда. Адам был первым путешественником на Земле. Он искал свое счастье. Блуждая по планете сто лет, Адам несколько раз встречал на своем пути Хавву и не узнавал ее. Проходил мимо нее, как проходил мимо всех чудес природы этого света.

Однажды перед ним выросла гора. Подъем на нее был труден, но он взошел под палящим солнцем на самую вершину. Там он горевал, раскаивался и молил Всевышнего Аллаха не оставлять его без покровительства. И Аллах внял его мольбам. На Арафате Адам вновь встретил несчастную одинокую Хавву и вдруг словно прозрел. Он узнал ее, узнал женщину, сотворенную Самим Всевышним для него. К нему вернулась память, он вновь осознал себя человеком – созданием Бога, к которому были обращены слова Его: «И Я избрал тебя, прислушайся же к тому, что тебе возвещается». Хэппи-энд этой истории в том, чтоАдам поселяется вместе с Хаввой рядом с горой Арафат и строит вместе с ней, со своей, естественно, единственной женщиной, первую мечеть, название которой аль-Кааба.

– Вот так надо завершать свою жизнь! – патетически воскликнул Тур От-Агасы, обращаясь к замолчавшему грачу.

Каждый паломник, побывавший на горе Арафат, признает ее божественную мощь. Есть люди, которые, побывав на ней, начинают видеть мир внутренним зрением. Видеть не только глазами, но и сердцем.

Стояние на горе Арафат начинается с полудня, когда Свет самого Всевышнего Аллаха напрямую достигает молящихся. Пребывание на Арафате – не только главный обряд хаджа, но и светлый праздник души.

Ровно в 12.00 Тур От-Агасы стоял на горной вершине. Солнце испепеляло его, хотелось пить. Никакой душевной радости он не испытывал. К вечеру Тур вместе с другими паломниками спустился, как и положено, к местности Муздалифа. Там собирали камни, чтобы в долине Мина закидать ими каменные колонны, символизирующие собой языческих идолов, со словами: «Нет Бога кроме Аллаха». Тур, повидавший и ага, и големов, не мог представить, что эти столбы ужасны и непременно должны быть изничтожены.

Разочарованный своим стоянием на горе Арафат, Тур понял, что здесь он поспешил. Следовало все же побродить по земле, подобно Адаму, в полном беспамятстве. И он направился к другой горе. Для пущей мистичности он припарковал свой вагон на стоянке у горы Арарат. Но прежде чем выбраться из

вагона, он основательно просмотрел всю доступную информацию о суфизме – сокровенном исламе. Он опасался, что какие-то правила будут неприемлемы для него, но все, что он узнал, нисколько не противоречило ни его натуре, ни цели. Особенно приятно было прочитать поэтическую легенду о Меджнуне – средневековом арабском юноше, потерявшем рассудок от любви к прекрасной и недосягаемой для него Лейли. Его приятно поразил тот факт, что Лейли, имя которой переводилась как Ночь, была чернокожей. Правда, несколько смутила его суфийская трактовка этой истории, где любовь Меджнуна была вовсе не страстью к женщине, а скрытой любовью человека к Всевышнему Богу, отчего Меджнун так никогда и не соединился со своей земной любимой девушкой. Но ведь он всего лишь решил исполнить роль суфия, а значит, сладкий миг, когда он обнимет свою чернокожую возлюбленную Найт, не исчезнет перед ним в будущем.

Араратовская площадка оказалась крупным рынком сбыта подержанных летающих вагонов-салонов. И Тур От-Агасы, рассчитывавший, подобно Адаму и другим древним пророкам, посидеть на пустынном склоне горы в глубоком раздумье о тщете жизни, суете сует и всяческой суете, был раздражен, когда сразу очутился в многотысячной толпе покупателей и торговцев со всего Кавказа, с Ближнего и Среднего Востока. Тур не испытывал симпатий к этой публике, точно так же, как и к латиноамериканцам, за их шумливость и напускной гонор. Пришлось снова ненадолго скрыться в своем вагоне. Дождавшись, когда ему доставят заказанное дервишевское одеяние, он предложил за него торговцу свой вагон. Ошарашенный столь фантастическим обменом, мелкий продавец попытался сунуть в довесок к своему товару ишака, но Тур твердо отказался от вьючного животного. Он лишь попросил нового владельца вагона выйти на минуту, переоделся и скоро легко растворился в яркой толпе людей, пришедших купить-продать.

Вначале все шло удачно, но как он ни старался быть как можно менее заметным, многие завсегдатаи этой толкучки не сводили с него глаз и шли за ним. Так что уйти ему с этого базара, не привлекая к себе внимания, явно не удалось бы. Виной всему был прицепившийся к нему supercarrage Мустафы. Экс-мэр Бейрута, зная несерьезное отношение коммутатора к дорогому имуществу, предусмотрительно ввел в программу своего вагона приказ до скончания веков, как на цепи, двигаться только за Туром От-Агасы. Любая попытка перепрограммировать эту машину воспринималась ею как угон. Теперь позолоченный, с хрустальными побрякушками на внешних стенах салон таскался по воздуху за ним, как собака, летающая, естественно.

Слух о том, что какой-то ненормальный поменял свой вагон на кучу тряпья, распространился по всему рынку мгновенно, и все надеялись, что и со вторым своим салоном Тур поступит так же. Среди них были и реалисты, которые принялись уговаривать Тура продать им сияющий вагон за любую .цену. От-Агасы пытался объяснить торговому люду, что это не его

собственность, точнее, что он не имеет морального права считать ее таковой, хотя юридически мог бы, но, учитывая обстоятельства... не может. Такой уход от торга вызвал подозрения: а не угонщик ли он на самом деле?

– Ладно, – согласился коммутатор за секунды до вызова полиции. – Продаю. Кто желает первым осмотреть вагон?

После продолжительной толкотни вперед вырвался индус с тюрбаном на голове. За ним плотно выстроились и другие покупатели. Тур гостеприимно раскрыл перед ними двери салона Мустафы, и оттуда вырвался такой плотный запах гнилого мяса, кишащего червями, что народ, как взрывной волной, был отброшен назад метров на пятьдесят. Проведя с таким успехом презентацию своего товара, Тур зашагал мимо очумевшей от вони толпы, в сторону от автострады, взлетных площадок, да и вообще всяческих технологических строений.

Через день-два он уже шел по пустынному скалистому нагорью, сопровождаемый лишь одним живым существом – грачом, если можно так выразиться, так как его пернатый спутник предпочел в пути сидеть не на его плече, а на крыше супервагона Мустафы, летевшего на небольшой высоте за новоявленным факиром. Дверь салона Тур оставил открытой просто так, на всякий случай, чтобы никто больше не приставал к нему по дороге. Птицу запах не смущал.

По большому счету то, что он, как Ной, припарковался именно на горе Арарат, можно было считать закономерным системным фактом. Ведь именно на ноевом ковчеге спасся непарный Ог, путавший земляков Третьяка Ханта в уральской тайге. Будь Тур Шерлоком Холмсом, или комиссаром Мегрэ, или по крайней мере полицейской собакой, то должен он был брать след именно на этой горе. И сразу же вывел бы это библейское существо на чистую воду без лишних установок на никчемный контакт. О чем можно вообще говорить с таким типом, как Ог? Такого надо разоблачать, клеймить и выдворять куда-нибудь подальше.

На луну, например. Конечно, Тур имел теперь шанс, воспользовавшись своим пребыванием у места швартовки ноевого ковчега, начать снова дело Ога, но на этот раз коммутатор пренебрег своими прямыми служебными обязанностями. Он посчитал, что с этого дня его основными занятиями должны стать аскетизм и печаль. Он надеялся, что душевные страдания позволят ему иначе взглянуть на свою жизнь, сытую и слишком удачливую.

И мучения не заставили себя ждать, раз он так опрометчиво впервые перешагнул границы своего социального пространства. Вот взял и лишил себя вагона, зашагал без информационной поддержки, без визы, страховки, а главное – без мощного доступа к энергии, готовой по его желанию преобразоваться и в оружие, и в еду, и в лекарства. Больше того, он лишил себя одежды, напичканной разнообразными датчиками здоровья и защиты. И теперь даже не знал уровень витаминов и микроэлементов в своей крови!

Вот, пожалуйста, последствия не заставили себя ждать: потрескались пятки. Скоро так и морщины на лице появятся. Да, где-то над ним болтался в воздухе суперсалон Мустафы, но одна только мысль о том, что, прежде чем воспользоваться им, надо очищать его от гниющего мяса, приводила Тура в ужас больший, чем трещины на ступнях.

– Птица, мы с тобой знаем, что жизнь над землей и жизнь на земле различаются, – обратил очередной свой монолог к грачу Тур. – Когда ты висишь в воздухе, то сверху бугры, кратеры, обрывы, капканы и шлагбаумы сливаются в плоскую карту. И они не опасны для тебя, не так ли? Но так же безопасно, не двигаясь, торчать всю жизнь на склоне горы или жить на дне пропасти. Различия начинаются при движении. В воздухе поднялся выше, спустился ниже – все одно. Но на земле, как только ты начинаешь спускаться с горы или подниматьяс на нее, твоя жизнь сразу же подвергается риску. Банальные размышления, не спорю. Зато осознанные, и, заметь, не пугающие меня на моем, героическом пути. Могу ведь забрести ненароком и в выемку.

Коммутатор уже как следует передвигался по земле на длительное расстояние. Приняв заказ, пролетал над ней и опускался в нужную ему точку, а выполнив работу, тут же поднимался в свой постоянно висевший над землей салон. Теперь же ему предстояло шагать из одной зоны проживания массы населения в другую зону с иной культурой и иной технологией производства. И с ними он был совершено не знаком. В студенческие годы что-то о них читал, когда готовил курсовые тексты, но последние два-три десятка лет у него не было ни времени, ни причин интересоваться, что там на земле происходит. Только догадывался, что разные зоны на всех материках и островах стали различаться между собой еще более существенным образом. Слышал, что на материках появились какие-то территории с диаметрами, измеряемыми и одним километром, и сотнями. Что собой представляют эти белые пятна и кто там живет, и живет ли вообще – никто толком не знал. Называть их стали «выемками». Это в старину путешественники бегом мчались открывать неизведанные края, а теперь никого не интересовала тепа incognita. Можно было догадаться, что выемка – это такой кусок земли, из которого вынули все, что можно было вытянуть, начиная от минералов и заканчивая насекомыми. Поговаривали даже, что все, что попадало в выемки, мгновенно поглощалось предельно обедненным шлаком. Даже летать на низкой высоте над выемками было опасно. Всасывало в них, как в выжатую губку. Какой-то сумасшедший ученый утверждал, что в выемках исчезает и время.

С такими невеселыми мыслями Тур шагал по земле, которая по мере удаления от горы Арарат на юг становилась все более скучной и пыльной. К вечеру третьего дня у Тура от непривычной ходьбы так заболели ноги, что он буквально рухнул под какой-то скалой и провалился в мучительный от боли в мышцах сон.

Коммутатору Туру От-Агасы никогда не снились цветные сны. Изредка в черно-белых сновидениях мелькал синий оттенок и все. В этот раз Тур, заснув, погрузился буквально в море ярких расцветок. Доминировали среди них багровый и красный, особенно когда он видел свои измочаленные ноги. А они снились ему как отделившиеся от него конечности, вышагивавшие перед ним, как ботфорты. Время от времени они приплясывали. Противный, надо сказать, сон. Правая нога вела себя достаточно прилично, а левая пыталась разогнаться и в прыжке пнуть своего прежнего владельца. Тур отбивался от нее руками. В какой-то момент появился призрак крестоносца в новеньких стальных сияющих доспехах. Рыцарь замахивался на него своим огромным мечом и кричал:

– У меня меч есть, а у тебя нет. – И рожи издевательские корчил.

Дразнясь таким образом, крестоносец, однако, не мог достать своим острым клинком коммутатора. Какая-то невидимая траншея мешала ему приблизиться к своей жертве. Тур ему посоветовал:

– Ты на коня сядь. Ты, же рыцарь. Может быть, и перескочишь. – И сам принялся задираться: – А-а, вояка, где же твоя лошадка?

В ответ крестоносец оседлал левую ногу Тура От-Агасы и с гиканьем вновь понесся на него. Но тут, к счастью, правая нога подставила подножку левой, и рыцарь рухнул на землю, поцарапав себе длинный нос. По этому лицевому выступу Тур узнал в рыцаре самого себя.

– Ага, так я сам себе снюсь. – И перестал думать о левой ноге как о предателе.

Но зря Тур так поспешно реабилитировал во сне свою ногу. Проснувшись, он обнаружил, что хромает именно на левую ногу. Идти в таком состоянии дальше было совершенно невозможно. И куда? Впереди, как он стал догадываться, перед ним расстилалась на сотни километров одна из безжизненных выемок.

Тур не стал искушать судьбу и надолго пристроился в тени невысокой скалы. Сел поудобней и, как умный человек, не стал отчаиваться, а принялся философствовать, что, впрочем, одно и то же. Его собеседником, естественно, выступал грач.

– Жизнь заключена в движении, сказал какой-то болван. В каком движении? Если в движении тела, то не надо забывать, что мертвое тело способно передвигаться. Я сам видел мертвеца, которого оживили в какой-то лаборатории... уже и не помню, какой... И все пытались установить с ним контакт. И я, как последний идиот, влез в этот эксперимент. Но этот труп оказался настолько закрытым, что до него не смог бы достучаться и Иисус Христос. Встал, постоял и упал на меня, вот и весь контакт. Отчего мертвые такие тяжелые? Но это другой сакральный вопрос. Я отвлекся. Вернемся к движению. Движение может быть не только в пространстве, но и во времени. И здесь никакого различия, даже разлагающееся тело, совершенно неподвижное,

вместе со всеми нами продолжает двигаться во времени. На уровне биохимических реакций, ведь они также по сути движение. Значит, жизнь больше, чем движение... – проговаривал свои соображения Тур От-Агасы. – Грач, а ты что думаешь обо всем этом?

Пернатый собеседник не ответил. Тур попытался встать, чтобы посмотреть, куда же делась птица, но резкая боль в левой ноге не позволила ему это сделать.

– Да, – пробормотал Тур. – Пора укротить свою гордыню. И залезть в вагон Мустафы. А то точно сдохну здесь, как ненормальный. Нормальный человек давно бы уже вызвал службу спасения.

Тур поднял голову, оглядел весь синий купол небосвода до самого горизонта, но небо было пустым. Видимо, грач угнал вагон со своей жратвой. Больше некому. Угонщик был установлен точно, а вот задача налаживания связи с цивилизованным миром так и не разрешилась. А надо было ее наладить, иначе каменистая пустыня грозила его убить в течение нескольких суток. Известно, что спасшиеся на лодках после кораблекрушения люди гибнут среди океана не от голода и жажды, а от страха и отчаянья. Сильные духом обходились глотком морской воды, ухитрялись вылавливать медуз – и выживали. Впрочем, заблудившиеся в пустыне всегда завидуют тем, кого несут на себе волны в море. И наоборот. Но стоит ли размышлять об этом, если следует принять план? Итак, двигаться он не мог, позвонить знакомым тоже. Тур сосредоточился, и, несмотря на тупость, возникшую в его мозгах от жажды и голода, вспомнил примеры, когда люди выживали и в таких нечеловеческих условиях. Способ, которым они пользовались, был достаточно прост. Надо было стать пророком. Известно, что одни лишь пророки не только выживали без глотка воды в пустынях, но и с пользой проводили там время.

Ничтоже сумняшеся, коммутатор Тур приступил к преображению своего духовного начала. Надо было только перевести свое внимание с внешнего мира на внутренний. Тур, используя приемы медитации, с трудом, но смог оторвать глаза от раскаленного песка и камней, но вот так, сходу, сосредоточиться на внутреннем мире у него не получилось. Он блуждал своим мысленным взором внутри своего тела от селезенки до трахеи и обратно, спускаясь и до прямой кишки, но не находил там ничего, что хотя бы было похоже на то, что он читал о сокрытой сфере человека – о душе. Он попробовал потренироваться на чем-нибудь менее замысловатом. Хотя бы на сердце, зная, что мистики любили упоминать Сияющее сердце. Хорошо, пусть у него сердце не источает свет, но, в конце концов, должны же быть обычные лузы на уровне позвоночника, в области третьего глаза, в темечке.

Никаких луз он тоже не обнаружил. Тогда Тур сосредоточил все свое внимание на мозге. Но и тут его ждал полный провал. Из обоих полушарий лишь посыпались обрывки мыслей, вычитанных аксиом и никчемных воспоминаний о том, о сем и ни о чем. Это был настоящий камнепад,

сопровождавшийся грохотом, особенно оглушительным в абсолютной тишине пустыни. Следовало, конечно, бросить это дурацкое занятие, но у Тура не было другого выхода. И он решил начать с самого элементарного.

Он буквально впился глазами в свой пупок, пытаясь продраться через кожу и кишки до солнечного сплетения нервов в глубине своего брюха. Быстро утончившийся от голода живот облегчал задачу. Так он и сидел неподвижно в течение многих суток. Двигался он лишь ранним утром, раскладывая кусочки ткани от чалмы на камнях. Когда они пропитывались росой, он выжимал капельки влаги на свой распухший язык. Счета времени он не вел, так как любое иное желание, кроме созерцания своего пупка, любая мысль не о inner power резко снижали его волю и веру в успех этого по сути безуспешного дела. Свою голову он расплющил до состояния крутившейся безостановочно граммофонной пластинки с единственной бороздой, выдававшей одну и ту же фразу: «Ла Иллах илла Аллах». Этим словам научила его в детстве бабушка, когда укладывала спать.

Когда же на его скелете остались лишь сухожилия и сухая истончившаяся кожа, он вдруг увидел между солнечным сплетением и третьим поясничным позвонком мерцание светящегося пятнышка. Выждав, когда свечение стало более-менее постоянным, Тур позволил себе вспомнить, кто он, где он и почему. Пора отлетать, подумал он, не уточняя, кто должен был взлететь на небеса: он сам целиком или только его душа. Навсякий случай он подтянул под себя левую ногу, сел на нее и тут же поднялся над землей метра на полтора. Затем переместился по воздуху на расстояние вытянутой руки. Раз провалившись почти до земли и неловко покружив над одной точкой, он все же справился со своим вестибулярным аппаратом и полетел ровнее, сам не зная куда.

Ничего удивительного в своем новом умении Тур От-Агасы не видел. Его смущало только усиливавшееся головокружение. И все же лететь было приятно и не страшно, скорость была небольшой. Через некоторое время Тур попытался, размахивая руками и подгоняя свою левую ногу, прибавить скорость, но все равно быстрее не получалось. К его досаде направление также было выбрано неудачно: пейзаж внизу был по-прежнему пустынен. В общем, было скучновато. «Хорошо было бы с кем-нибудь перебросится парой слов, – подумал Тур. – Вдруг во мне и телепатия проклюнется. Кого бы вызвать? Ханта, конечно».

Коммутатор сосредоточился на имени «Третьяк Хант и услышал еле слышный ответ: «Тура ... Тура ... Тура ... !»

Тур От-Агасы перебил его:

– Ты что там, Хант, туркаешь да туркаешь? Лучше скажи: как живешь-поживаешь?

В ответ все то же: «Тура» да «Тура». Видимо, догадался коммутатор, телепатическая связь у него с Хантом позволяла на таком расстоянии слышать

лишь имена собственные, как более акцентированные на личностях, а значит, более звучные для психики. Пришлось переговоры прервать и лететь дальше без всяких развлечений.

Головокружение приобрело скверный оттенок, словно он летел не на ноге, а сидя на лопастях вертолета. Очевидно, это было осложнение после нескольких недель голодания. К тому же стали сыпаться волосы с головы и ногти стали ломкими, как картон. И коммутатор Тур От-Агасы вынужден был направиться в сторону Средиземноморья, в ближайший город, чтобы там пройти лечение от элементарной дистрофии.

В Багдад он влетел ночью и буквально рухнул у порога госпиталя Ветеранов Тридцатилетней войны. На больничной койке он провалялся с диагнозом «крайняя степень истощения» целых два месяца. Поправлялся, спал и читал Коран, легко заучивая все суры подряд. Это свидетельствовало, что его развитый мозговой аппарат от вынужденного тотального поста не пострадал. Как и аппетит.

– В Бога можно верить без ущерба для умственной деятельности! – громко воскликнул на арабском языке Тур От-Агасы, отправляясь в очередной раз за порцией плова.

На него оглянулись все, кто находился рядом, и взгляды эти красноречиво говорили о том, что зря он умничает по поводу Всевышнего Аллаха. Аллаху афоризмы человека без надобности. По крайней мере, от него, чужака, свалившегося сюда словно с неба и так и не объяснившего никому, отчего он так истощал. Попытка объяснить свой неожиданный возглас только усугубила бы положение. Спасение было только в твердой последовательности, и он закричал:

– Ибо Всевышний Аллах думает за нас, Милостливый, Милосердный! А нам думать не надо.

Постаревшие, покалеченные солдаты сразу как-то потеряли к нему интерес и вяло ответили ему, что да, Аллах велик и они сами не любители думать самостоятельно, и вновь занялись пловом.

Пора было убираться из госпиталя Ветеранов, что Тур и сделал. Выбравшись пешком на окраину города, он уверенно уселся на свою левую ногу и попытался взлететь. Удалось ему оторваться от земли не сразу, а только после того, как он снова пробился взглядом, обращенным на себя, к мерцавшему пятнышку в глубине живота. Взлетев, он тут же рухнул вниз, сильно разбив колено. Постонал, постонал и снова принялся пытаться удержаться в воздухе. Ничего не получалось, пришлось ждать трое суток, пока из него не выйдет вся тяжесть жирного риса. Только после жесткой диеты он снова вернул себе способность левитировать. Как прежде взмывать под небеса он уже не мог, но на высоте человеческого роста вполне сносно летал. Он сходу обогатил арабскую устную литературу новой пословицей: «Или иди сытый по земле, или летай голодным». Позже сотрудники Житомирского педагогического института

им. Валерия Уйгуровича Махпирова стали утверждать, что это изречение принадлежит к сокровищницам уйгурской культуры, но арабы не уступили, заявляя, что и так все руководящие должности в Исламском банке захватили тюрки, пора хоть что-то отстоять.

Велика все же сила привычки. Как ни желал в душе коммутатор стать бродячим дервишем, все равно даже без летающего вагона у него больше получалось летать, чем передвигаться пешком. Впрочем, какая разница, когда двигаешься бесцельно, все равно – летишь ты или ползешь по земле. На берегу Евфрата он совершил, как и положено богобоязненному мусульманину, омовение и полуденную молитву. Он это сделал на тот случай, если вдруг какой-нибудь ветеран багдадской контрразведки тайно увяжется за ним и попытается с пристрастием разоблачить его как еврейского агента. За рекой простиралась та выемка, вдоль границы которой на автопилоте пролетал недавно Тур. Она давала о себе знать рядом примет. Известно было, что у внешних границ выемок, скапливались дикие животные. Причем там лежали, бродили, охотились такие звери, о которых Тур давно уже и не слышал, вернее, считал, что они давно уже вымерли. Не понятно было, чем их притягивали к себе эти жуткие территории. Год назад Тур, пролетая рядом с огромной выемкой в центре Азии, видел стадо динозавров. Желания приблизиться вплотную и дальше к выемке за рекой не возникало. Полюбовавшись спокойным течением воды, Тур направился к стоявшему невдалеке небольшому строению. Это ветхое здание оказалось суфийским монастырем – ханакой. В небольшой мечети при ханаке пожилой шейх наставлял нескольких верующих. Тур От-Агасы пристроился было послушать проповедь вместе с остальными, но вскоре это ему порядком надоело, и, перед тем как уйти, он бестактно заметил суфийскому наставнику, что тот неверно произнес Хвалу Господу – Ал-Хамд. Ему не ответили, и он не стал дальше демонстрировать свое книжное знание Ислама.

Рядом с ханакой росла апельсиновая роща. К ней и направился Тур. Но там его подкараулили два огромных льва. Эти страшные звери ни с того, ни с сего кинулись на него. Тур запаниковал, замахал руками, пытался придать ускорение своему телу и взлететь выше, но только закружился на месте и в конце концов плюхнулся задом в придорожную пыль. Наверное, в панике он убрал из-под себя левую подъемную ногу. Еще секунда – и львы разорвали бы его на мелкие кусочки. От страха Тур заорал, что несколько обескуражило царей звериного мира. На крик бодро выскочил из мечети старый шейх, ловко схватил каждого льва за ухо и принялся трепать их, при этом выговаривая: «О Божьи псы, не мешайте идти своим путем путникам!» Львы, поджав хвосты, побежали прочь, как только шейх отпустил их. Тур вскочил на ноги и недовольно произнес вместо благодарности за спасение:

– Разве можно таких зверей отпускать без намордников?!

– Я не хозяин им, – ответил шейх.

– Старик, ты хочешь сказать, что можешь себе позволить вот так спокойно драть диким хищникам уши?

Шейх спокойно ответил ему:

– Путник, ты хочешь исправить внешнее, и потому внутри себя испытываешь страх. Я же хочу, ради Господа, исправить то, что внутри меня, вот почему Его создания боятся меня.

– Они меня не напугали... – произнес Тур. – Я просто поскользнулся левой ногой.

Шейх в длиннополой потертой одежде из верблюжьей шерсти покачал головой и сказал:

– У блуждающего дорога скользкая. Иди осторожней. Тебе есть чем осветить свой путь?

Тур От-Агасы вспомнил о горящем камне и охотно показал подарок Ханта мусульманскому старику. Тот какое-то время молча смотрел на прыгающий на камне лепесток огня, затем развернулся и ушел к себе.

Парочка львов и шейх – приятная компания, решил Тур От-Агасы и остался в ханаке старца. В этой суфийской штудии шейха Магби было все, что теперь требовалось ему: вода и фрукты в саду. Прежде Тур и не догадывался, как приятно ухаживать за фруктовыми деревьями, как замечательно чувствуешь себя, прогуливаясь босиком по суховатой земле между ними. А главное, никто не спрашивал его: откуда он пришел, что ему надо и когда уйдет. Для того, чтобы ощущать себя своим, достаточно было являться на заре к утренней молитве и совершать намаз вечером перед заходом солнца и молчать. Последнее оказалось не так уж трудновыполнимо для Тура. До тех пор, пока снова не появился вагон Мустафы с грачом на крыше. Он не мог отказать себе в удовольствии поговорить с птицей. Грач явно пытался снова навязаться в друзья, летал вокруг Тура и садился на ветку прямо перед носом.

– Ну что тебе от меня надо? – с укором сказал ему Тур. – Угнал сундук с червями и живи себе, наслаждайся. Чего снова явился, что пристал?

Грач пытался сесть ему на плечо, а когда Тур гнал его, обиженно взмахивал крыльями и кричал:

– Вали!

– Сам вали! – сердился Тур. – Что тебе надо, птица? Дай отдохнуть душе...

Шейх Магби не мог не видеть зависшую над его обителью позолоченную машину. Тем более что в полдень она на минуту закрывала от него солнце, когда он присаживался у бассейна из дикого камня для омовения. Во время одной из бесед с коммутатором шейх произнес:

– Птица – символ души. А о воздушном ящике я ничего не слышал. Хотелось бы узнать имя мастера, владеющего им, и спросить его о сути этого большого предмета. Настоящее чудо.

Туру От-Агасы не хотелось противоречить старцу, но и промолчать он не мог:

– Воздушный ящик – всего лишь технический аппарат. А настоящее чудо то, что над вашей обителью этот аппарат лишился вони, – и рассказал всю историю этого вагона.

Красноречивое молчание шейха побудило Тура предпринять активные попытки удалить вагон как можно дальше от этого славного местечка, что было очень непросто. Помогли практически неограниченные энергетические ресурсы вагона экс-мэра. Коммутатор Тур От-Агасы отправил его в далекий космос. Грачу пришлось снова перейти на естественный корм, что сразу отняло у него большую часть его птичьей жизни, и символ души почти перестал беспокоить Тура, к его большому удовольствию. Зато вопрос о настоящей душе встал перед ним во весь рост.

Теоретически коммутатор был уже подкован в суфийских теориях и знал, что в исламе душа человека – нафс – считается низшим проявлением Божественного Духа. «Не она ли наполнена страстями и ведет себя частенько похлеще иного шайтана хвостатого?» – соглашался Тур, но что делать? Полностью погрузиться в аскетизм ему не удавалось. Да и, признаться, не хотелось. Поступи он так, то мог бы настолько сильно отрешиться от земного мира, что выполнение им контракта с четой Окумба оказалось бы под большим вопросом. Плевать на молодящихся Окумба. Жалко было бедную, скованную сном Найт. В конце концов это было делом его профессиональной чести.

Но об этом он не сказал шейху ни словечка, старательно усваивая его уроки. В его стратегии вовсе не было обмана... или он так считал? Все в последние месяцы в его жизни запуталось, осложнилось и в то же время упростилось до нуля. Хотя если посмотреть философски на цифру «ноль», то не все в ней однозначно. За ней зияла Великая Пустота. В любом случае в коммутаторе Туре От-Агасы крепла уверенность, что он интуитивно выбрал единственно верный путь к достижению своей цели. Теперь следовало терпеливо пройти хотя бы первые стоянки на суфийском пути. Первую стоянку – стоянку тауба-раскаяния он прошел достаточно тяжело, хотя формула ее была проста: «Отвращение от всего, что порицает религиозная наука ал-илм, и обращение ко всему, что она поощряет». Ничего сложного для него, он ведь не развратничал, не был любителем спиртного, не крал, не страдал алчностью... Жил, никого не обижал, трудился в меру своих сил. Правда, во всем его правильном образе жизни была большая доля лицемерия, так как его достойное поведение не сопрягалось с именем Всевышнего, а поступал он так согласно прагматичному желанию быть физически здоровым. Воровать тоже вредно для психики. Пришлось поделиться своими сомнениями с шейхом Магби, рассказав ему, что его жажда духовной энергии во многом определена надеждами с ее помощью разрушить охранную систему, которую наворотила московская фирма «Protiv loma» вокруг одной африканской девушки. Старец выслушал его и мудро заметил, что стремление честно выполнить свою работу нисколько не противоречит стремлению приблизиться к Богу, при этом добавив:

– Лицемерие познавших – искренность ищущих.

Легкость, с которой шейх позволил коммутатору считать, что им взята первая суфийская стоянка, подтвердила догадку Тура о том, что она почти ничто по сравнению с теми стоянками, которые еще предстоят ему. Если он, конечно, пойдет до конца, которого нет. На всякий случай Тур От-Агасы старательно вспомнил все свои прегрешения, особенно по части выпивки, и долго раскаивался. Причем искренне, что его самого удивило.

Вторая стоянка называлась вара – стоянка осмотрительности. Суть ее заключалась в избегании сомнительных вещей и поступков, которые являются ни явно дозволенными, ни явно запретными. Здесь уже наставников не было. Следовало самому знать. Коммутатор Тур От-Агасы стал присматриваться ко всем, кто прошел эту стоянку. У одних, когда перед ним ставили сомнительную пищу, рука не слушалась, у других на кончике среднего пальца начинала тревожно биться жилка. Но основной механизм осмотрительности был заключен в сердце. Надо было научиться знать сердцем.

Коммутатор Тур От-Агасы был специалистом в области психосенсорики и психоориентации, но представшая теперь перед ним наука показалась ему неподъемной. Прежде всего потому, что он всегда старался не замечать своего сердца. Даже не засыпал на левом боку, так как в таком положении отчетливо чувствовал биение своего сердца, что тревожило его. С юности Тур опасался того, что оно вдруг возьмет и остановится. Ему казалось, что лучше о сердце не вспоминать и не давать ему напоминать о себе. Посему он эту стоянку обошел и сразу приступил к следующей. К стоянке зухд, ибо сказано: воздержание – достойная стоянка.

На первый взгляд она показалась ему легкодостижимой, так как следовало очистить руки от собственности, а сердце – от жадности. Избавившись от своего вагона, он, казалось, не только освоил стоянку зухд, но и последующую– стоянку бедности. Без вагона он действительно стал гол как сокол. И нисколько не жалел об утерянном. Но оказалось, что стоянка воздержания имеет и вторую, высшую ступень. Требовалось отказаться от всего, что было приятно душе. Отказаться от мечты о спящей девушке Тур От-Агасы был не в силах. Даже непытался.Адальше шли такие жесткие стоянки, что коммутатор и пробовать не стал. Он вернулся к проблеме своего сердца.

В размышлениях о сердце прошло еще несколько месяцев. Какие-то знания он получал от шейха, но суфийская ханака не университет с расписанными лекциями. Иногда шейх Магби мог произнести сразу несколько фраз, а чаще всего несколько слов в течение всей недели, несмотря на все вопросы, задаваемые ему Туром. Постепенно коммутатор проникся идеей, что самый главный орган в разумном человеке не мозг, а именно сердце – кабл. Если сжать пунктирный монолог старца, то выходил рассказ, повествующий о том, что Бог создал сердце за семь тысяч лет до того, как занялся самим телом человека. Держал он сердце при себе в саду душевного общения с Собой. Про

себя Тур отметил, что, пожалуй, только космический холод и стерильность могли царить в том саду, иначе сердце наверняка протухло бы. Подумал и воздержался от желания шутить в подобном роде. Все-таки пребывание в стоянке осмотрительности прошло для него с пользой.

Сердце имело сокровенную часть, средоточение – лубб. И этот лубб хранит в себе дух Божий. Вот это откровение шейха Тур принял без всякой критики, но все равно не мог себе представить кусок мышцы, этот слепленный примитивный мотор для перегонки жидкости по сосудам, как наиглавнейшее начало в себе. Перелом в сознании у него наступил после того, как он перенес принцип существования Бога на сердце. Случилось это после очередной неторопливой беседы с шейхом.

– Известно, – сказал учитель Магби, – что мы, человеки, не можем видеть Всевышнего Бога и в то же время не можем не видеть Его.

Тур От-Агасы стал представлять свое сердце не как анатомический красно-багровый, глянцевитый орган с аортой, а как... и не мог придумать иной вид. Изобразительная фантазия всегда была его слабым местом. Помучавшись несколько суток, он от отчаянья взял и вставил в свою грудь вместо сердца предмет простой – телефон.

Он решил проверить на своем опыте, не правы ли суфии, уверяя, что важен не внешний вид объекта или субъекта, важна его суть. Посредством сердца человек общается с Богом. Это ведь как телефонная связь. Если можно дозвониться до Господа Бога, то до Ханта и делать нечего. «Хант, Хант», – заговорил он в своем сердце как в телефонную трубку. И отчетливо услышал не только обращение к нему по имени, но и всю фразу, произнесенную за десятки тысяч километров от него в тайге Третьяком Хантом:

– Тура, ты, что ли, говорил? Каждый день спрашиваю, а ты, вроде как деревенский дурачок, все твердишь одно лишь мое имя.

Тур От-Агасы спокойно, направляя голос к сердечному телефону, ответил:

– Я, конечно. Что, теперь хорошо слышишь-то?

– Слышу. Ты как это со мной говоришь так ловко?

– По телефону.

– Нет у меня никакого телефона.

– Но сердце есть ведь.

– Так у тебя там телефон, что ли, в сердце? Слышишь, ты где?

– Я теперь, Хант, умею на ноге летать. Левой.

– И надо тебе это? У тебя же вагон есть.

– Был. Но теперь я неимущий путник, вот и приходится на ноге-то летать.

– Так залетай к нам.

– Далеко. Я медленно летаю. Может, ты ко мне? Бери прямо на юго-запад.

– И я не мастак быстроты.

– Жаль.

– Нашел деревянный меч?

– Нет здесь никакого деревянного меча.

Тур и не ожидал, что Хант будет настаивать на том, чтобы он продолжил поиск детского оружия , на сибиряк толька попрощался:

– Ну, будь здоров.

Попрощавшись со своим таежным приятелем, коммутатор Тур От-Агасы, отключился от дальней связи и вернулся к суфийской науке. Со студенческой скамьи он не был склонен к доскональному изучению теорий, предпочитая практические занятия во всех дисциплинах. А тут он выбрал вместо уяснения тысячелетнего откровения Ибн-Араби «Единство бытия» освоение техники тасарруф. Она заключалась в простой способности суфия вызывать к жизни некоторые события.

По странному стечению обстоятельств ему всегда удавалось в любом эксперименте с первого же раза получать, хоть и совершенно дилетантский, но эффектный результат. Он планировал вызвать локальный вихрь в ближайшей пальмовой роще, но колыхнулись листья только нескольких пальм. И то потому, что их потеснило невесть откуда взявшееся диковинное растение в сложном сосуде, больше напоминающем аппарат искусственного дыхания, чем кадку. С изумлением Тур узнал в этом кусте Вонбона Ким-Квашнина, стараясь вежливостью предвосхитить обвинения в этом насильственном моделировании или перемещении в пространстве всемирно известного ученого. Он приблизился к заявившемуся на восточную природу домашнему полурастению-получеловеку и произнес радостно:

– Здравствуйте, Вонбон Ерович! Как поживаете?

Туру показалось, что Вонбон Ким-Квашнин приветливо качнулся в его сторону и что-то тихо прошелестел. Тур подошел совсем близко, и тут куст цепко схватил его своими тонкими гибкими веточками и принялся натуральным образом душить. А внезапно выскочившая из-за медицинского сосуда, в котором сидел коварный академик, маленькая Нина Николаевна Ким-Квашнина, сама похожая на сморщенный гриб, принялась ловко цеплять на конечности коммутатора проволоки и трубочки с иглами, самовпивающимися в вены.

– Нина Николаевна! – воскликнул Тур От-Агасы. – Да что же такое с Вонбонам Еровичем? Это ему вредно. Велите ему отпустить меня!

– Потерпите, молодой человек, – холодно ответила Ким-Квашнина. – Сейчас мы только возьмем материал для лабораторных опытов и сразу же отпустим.

– Какой материал, Нина Николаевна? – уже орал благим матом Тур. – Это же моя кровь! Как вам не стыдно! От кого-кого, а от вас я такого не ожидал. А еще лауреаты Нобелевской премии! Вы же врачи!

– Мы, молодой человек, генетики.

– Все равно! Так интеллигентные люди не поступают... Нина Николаевна, мне уже плохо, голова кружится...

– Что ж, наука требует жертв, молодой человек.

– Но я здесь при чем!

– Как вам не стыдно, молодой человек? – укоризненно покачала головой ученая старушка. – Мы спасли мир от экологического загрязнения, но, к сожалению, наше вещество кей-кей приобрело побочные свойства, в какой-то степени негативные. Теперь нам следует исправить положение и создать генетическое противоядие. А вы самый подходящий экземпляр, так как сами провели ночь в комбинезоне с пропиткой из кей-кейя...

Академические нравоучения Ким-Квашниной почти уже не доходили до Тура, он слабел с каждой минутой все сильнее и сильнее. Еще чуть-чуть, и он умер бы. Но в этот момент возле него появился шейх Магби и протянул ему свой посох. Тур автоматически схватился за него, как за соломинку. Сразу же раздался в голове голос Ханта: «Бей, Тура, под корень!»

И коммутатор Тур От-Агасы размахнулся и врезал посохом по стволу академика Вонбона Ким-Квашнина. Сучковатая палка легко перерубила душившее его растение, ветки надломились, и Тур рухнул на песок. Пока он приходил в себя, и растение в сосуде, и ученая старушка исчезли.

С трудом восстановив дыхание, Тур попытался объясниться с шейхом. Шейх Магби выслушал и произнес:

– Оставь себе посох, – и не взял обратно протянутую беспокойным послушником эту достаточно корявую, но отлакированную до темноты руками ветвь железного дерева.

Туру пришлась по руке эта палка, и он был рад оставить ее себе, но старый шейх был настолько нищ, что лишать его еще и посоха было бы абсолютно нечестно. Тур, боясь, что шейх опомнится и, прислушавшись к нему, поступит благоразумней, все же пробормотал:

– Не совсем мне удобно... Может быть, эта вещь для вас дорога и... потом, ваш возраст... может вам послужить... Пойти куда-нибудь там с ним... Все-таки посох. Вещь явно антикварная.

Шейх теперь лишь мельком взглянул на него и произнес:

– Тому, кто не собирается пройти один и тот же путь два раза, посох не нужен, захид. – И ушел.

Захидами суфии называли аскетов, которые все еще были склонны продолжать поклоняться мирским страстям. И если его так назвали, то ему следовало покинуть ханаку. Коммутатор Тур От-Агасы с искренним сожалением зашагал прочь от мечети, у которой он, может быть, впервые в жизни понял, что значит наслаждение душевным покоем. Именно уходил, так как ему захотелось пройтись, опираясь на суфийский посох. Уходя, он продолжал оправдываться:

– Я для науки... пожалуйста! Хоть всю кровь выкачайте на анализы, если для пользы человечеству. Но вдруг вы снова там нахимичите с генами такое, что ваш кей-кей повидлом покажется по сравнению... И потом, вся эта встреча прошла только в моем воображении. Ну, какой из меня убийца?

Коммутатор Тур-Агасы не верил, что навредил здоровью Вонбона Еровича, но на всякий случай принялся сердцем названивать Ким-Квашниным, чтобы убедиться в здравии стариков. Никто ему не ответил. Попытался он проникнуть и в радиоэфир, чтобы послушать новости. Дикторы радио обязательно должны были сообщить о смерти такой личности мирового масштаба, как Ким-Квашнин, если она в действительности случилась. Тоже тишина. Видимо, сердце человека слышит только близких ему людей.

Тур старался не думать о деревоподобном старике, но угрызения совести продолжали его мучить. И он понесся на левой ноге в ближайший город. Нашел там духан, где стоял старенький телевизор. На экране лауреат Нобелевской премии Нина Николаевна Ким-Квашнина спокойно рассказывала о своем гениальном муже. «Он умер внезапно, – говорила стойкая вдова. – Рухнул, как дуб, словно невидимый острый меч срубил его».

Тур слышал в ханаке рассказы суфиев, что низшая душа человека способна превращаться в змею, отравляющую владельца ядом земных страстей. Змея преображается в посох, как это сделал когда-то Пророк Моисей. Почему же посоху не быть мечом? Тем самым деревянным мечом, о котором говорил Хант?

Конечно, идти с крепкой палкой в руке, становящейся в нужное время мечом, было удобно и спокойно, но куда? Ответа еще не было. Тур остановился и спросил единственного своего спутника, кто еще не оставил его, – грача:

– Куда идем?

Птица не заставила себя ждать с ответом и безапелляционно потребовала:

– Вали.

Отваливать никуда Тур не стал, а выбрал укромное местечко среди развалин крепости, разрушенной еще солдатами Александра Македонского. Среди камней бегали скорпионы. Тур, опасаясь быть ужаленным ими, подвернул под себя левую ногу и завис неподвижно в воздухе. Так он просидел, прислушиваясь только к своему сердцу, несколько суток, пока не услышал громкий голос Третьяка Ханта:

– Тура, как ты там?

– Орать-то не надо, – ответил Тур. – И что хорошего в этой телепатии? Невозможно спокойно вздремнуть, пораскинуть в тиши мозгами.

– Что делать-то намерен?

– Не знаю, – несколько раздраженно ответил Тур.

Всю жизнь я занимался тем, что налаживал связи между людьми, любые: эмоциональные, гендерные, профессиональные... и это мне нравилось. Но вот появились какие-то нелюди. Раньше они находились как бы в стороне от людей.

Теперь же не поймешь, где они, а где человеки. И нелюдей в обличии людей становится все больше и больше. Я не понимаю их, хотя вряд ли есть кто-то среди нас, кто понимает их сущность. Но одно я знаю уже точно: я не хочу с ними работать. Да и люди сами... все дальше и дальше друг от друга, словно стены между собой возводят. Бульдозером не проломишь.

– А не надо было строить Вавилонскую башню, – наставительно произнес Хант.

– Какую еще башню? Это что еще за анахронизм? Таких идиотов на земле уже не осталось. Одного раза было достаточно.

– Я говорю о башне не как о строении до небес, а о попытках ваших уравнять себя с Господом Богом, стать на один уровень с ним. Нельзя делать то, что человеку не положено.

– А кто определил этот уровень? Ты? А сам ты, праведник, не дерзко ведешь себя? Не положено человеку летать. Зачем же ты летаешь, как какой-то бог?

Я летаю не как бог, а с Богом. Разница большая. А вот вы придумали творить не рожденного, как Адам или Христос, человека. А потом жалуетесь: нелюди замучили. И машины ваши питаются мертвой энергией.

– Ну, ты совсем не туда заехал. Это бред какой-то. Что значит «мертвая энергия»?

– Очень просто. Энергия, которая тащила телегу или плуг, – живая, так как ее вырабатывала лошадь... или бык там, рабы какие-нибудь. А автомобиль двигается энергией бензина. Мертвей бензина или нефти ничего не бывает. Электроэнергия тоже, заметь, не живое существо. А обидней всего, что Ог и мертвяки всякие к нам тянутся. Тут у нас снова непорядок. Мужики говорят, видели господина с крысиным хвостом. Не американский ли президент, а? Это же оккупация настоящая.

Коммутатор ответил ему твердо:

– Ну что американскому президенту в вашей тайге делать? Белок ловить? Так у него мышка с хвостиком есть. Что у него, своих американских забот не хватает?

– А шут его знает... У тебя-то теперь меч, к нам бы подался. Дал бы ему по башке посохом своим, а? Детей пугает...

– Это хорошая идея, Третьяк, – согласился Тур. – Только уговор, возьмете меня ночным сторожем при вашей деревушке. Чем-то теперь мне надо заниматься. Мне много не надо, кормить будете – и ладно.

– Возьмем. Будешь младшим сторожем. Но прежде найди стихи поэта такого Валерия Федоровича Михайлова. Жил когда-то такой поэт.

– Это еще зачем?

– Да старший сторож у нас любитель его стихов. Ни за что не соглашается доверить сторожить общину нашу тем, кто стихов его не знает.

– Да где же я стихи его найду? Может быть, Пушкин подойдет?

– Нет, – с сожалением сказал Третьяк. – Сторож у нас дядька строгий. Пушкина, говорит, любой знает. А Михайлов – свой человек. Такому, твердит, довериться можно.

– Логично, – согласился Тур. – Буду развалины Александра Македонского сторожить. Надеюсь, здесь меня никто не заставит декламировать стихи Гомера.

Но поработать сторожем и при древней крепости Туру От-Агасы не удалось. С четырех сторон на него вдруг налетели четыре боевых вагона. Из одного появился Мустафа, из других выскочили полицейские в роботизированных доспехах и бесцеремонно схватили коммутатора. Экс-мэр Большого Бейрута выглядел совершенно по-иному. Все жалкое и смешное от перепуганного лифтами человечка исчезло в нем, а появилась суровость и жесткость диктатора, словно он сменил свою дряблую кожу на акулью. Он даже не поздоровался со своим спасителем, а только тихо спросил его тоном, не предусматривающим отказа в ответе:

– Где мой вагон?

– Привет, Мустафа. Я-то думал, ты все еще в моем комбинезоне... – принялся тянуть время Тур, пытаясь осмыслить сложившуюся опасную для него ситуацию. – Где вагон?

– Вагон? А-а, вагон... извини, пришлось его отправить в космос.

– В нем кто-то есть?

– Нет там никого, разве что черви...

– Куда именно ты его направил? В сторону какой планеты или звезды?

– Не знаю. Просто направил в глубь космоса. А где это самая глубь, так и астрофизики тебе не ответят.

Мустафа скривился как, от боли. Полицейские обрызгали Тура мгновенно застывающим аэрозолем, и он превратился в стеклянную куклу, не способную не то что бежать, но и шевельнуть мизинцем. Только голова крутилась в разные стороны, и грудь имела возможность чуточку дышать. В таком виде Тур был заброшен в броневагон вслед за скрывшимся в нем Мустафой. Оказавшись один на один со старым знакомым, Мустафа принял прежний вид средиземноморского деляги. Он, горько запричитав по-арабски, стал бить себя ладошками по темечку и бокам. При этом он приговаривал.

– Ай-ай-ай! Я пропал! Я пропал! Мне конец! Мне ни за что не оправдаться, ничем я не откуплюсь! Я пропал!

– Хватит причитать, Мустафа, – сказал ему Тур. – Мы же не в лифте. .

– При чем здесь лифт, ты, ничтожная тварь?

– Обзываться не надо, – обиделся Тур. – Я ведь тебя не оскорблял.

– Ты хоть понимаешь, что ты наделал?

– Не понимаю, – искренне ответил Тур.

– Ты запустил в космос Главную печать Правителей чисел!

– Что за дурацкая печать?

– Дурацкая? – взвизгнул Мустафа. – Главной печати четырнадцать тысяч лет! Она бесценна, потому что только она в этом мире устанавливает цены! Цену всему, что есть и что будет! Только перед ней склоняли головы все сильные мира сего!

– И Наполеон?

– Твой Наполеон и Сталин были мелкими чинами при нас, Правителях чисел! Мальчики на побегушках.

– Мустафа, если вы меня запеленали, как младенца, то уж уложите в кроватку. Противно на полу валяться.

– Фараоны Египта и императоры Поднебесной падали на колени, когда видели даже не ее, а отпечаток! – не услышал его просьбы притворный мэр Большого Бейрута. – Кланяясь этой Печати, совершались все революции и начинались все войны!

– Извини, я же не знал, что ты там хранил в своем вагоне. И потом, сам же отдал мне вагон. Я в него и не заглядывал, между прочим. Так, может быть, раз или два, когда птице червей разводил. И никакой печати не видел...

– Естественно, не видел! Таким ничтожествам она не доступна. Что вы можете понимать в наших вещах?! Единственный, кто что-то понял, был Моисей. И сразу утащил ее у нас. Хорошо, что он не стал хранить ее при себе, а доверил другим. Сколько золота пришлось нам потратить потом, чтобы всунуть ее обратно. Самородок величиной с тельца!

– Сам виноват, – выбрал атаку как самую лучшую защиту Тур. – Не надо было бросать печать где попало! Носил бы ее с собой, ничего бы и не случилось .

– Так ее хотели у меня отнять! – горестно признался Мустафа. – Вот я ее и спрятал там, где никто не стал бы искать.

Тур рассмеялся и назидательно произнес:

– Обыск личного жилья первое в таком деле.

– Так поэтому я тебе загон и подарил, чтобы никто и подумать не мог, что в нем припрятана печать!

– А кто эти «никто»?

Мустафа открыл было рот, чтобы назвать имена алчущих заполучить Главную печать счета, но вовремя одумался и произнес уклончиво:

– Есть такие... Везде есть свои завистники. – И заткнулся окончательно.

Впрочем, для продолжения беседы у двух приятелей не осталось времени. Вагон завис над горной местностью и стал медленно опускаться к земле. Последнее, о чем спросил Тур у Мустафы до того, как тот снова исчез, был вопрос о том, где он оставил Дружка.

– Какого Дружка? – удивился Мустафа.

– Как какого? Про мой комбинезон забыл, что ли?

– Выбросил, наверное. Что мне с ним было делать? Не в музей же сдавать. Это же мусор.

Коммутатора Тура От-Агасы переместили в скромное по архитектуре, но внушительное по размерам здание посреди гористой местности, поросшей стройным лесом. На ровной поляне паслись несколько ухоженных настоящих коров, изредка позвякивавших навешанными на них колокольчиками. Наверняка обитатели этого дома могли предложить гостю парное, натуральное молоко, такое, какое мог себе позволить разве что Хант в своей тайге.

Дом был выстроен из настоящего дерева, и на темных балках потолка янтарно светились капельки сосновой смолы. Слуги приняли коммутатора от полицейских как обыкновенное бревно и бросили его рядом с большим малахитовым камином. Двуглавый орел на кованой решетке свидетельствовал о том, что камин прежде украшал покои московского Кремля. Остальные вмонтированные в стены этого же обширного зала штук двадцать каминов некогда украшали дворцы английских, французских и прочих королей. Наверное, тут жил коллекционер каминов. «Как бы невзначай не стали мной растапливать какой-нибудь из них», – подумал Тур. За этой мыслью в его голове зазвучал голос Ханта: «Тура, Тура! Ты где там? С тобой все в порядке? Да ответь же! Мне твой Дружок приснился, весь помятый. И так стал дырочкой какой-то в своей башке посвистывать жалобно. Ну, думаю, с тобой что-то случилось скверное. Тура, Тура, да откликнись ты, если жив».

Отзываться не было никакого смысла. Чем он, Третьяк Хант, мог помочь ему? Прибежать сюда в Европу со своими таежными мужиками выручать его с дрекольем в руках? Да их всех здесь тут же перестреляют, как балканских террористов. И чтобы Третьяк не добрался до его пессимистических размышлений и действительно не наделал глупостей сгоряча, коммутатор усилием воли заставил свой мозг заснуть.

Сделка с плазмоидами
(папка девятая)

Брошенный Мустафой Тур От-Агасы провалялся на полу в каминном зале альпийского дома неподвижно трое суток. Временами ему казалось, что он превратился в личинку насекомого. Одеревеневший до селезенки коммутатор будет славно пылать в одном из каминов. Основное время Тур посвятил грустным размышлениям о своем духовном несовершенстве. Великий мученик шейх Мансур Аль Холладж мечтал превратиться в бабочку и сгореть в огне во имя любви к Богу, а он страшится этой прекрасной участи.

На четвертый день пленения к нему подошел вежливый, вальяжный дворецкий в расшитом золотом камзоле и освободил его обыкновенными ножницами от сковывавшей пленки. Жуткое предположение Тура, что его

сожгут, не сбылось. Более того, ловкие слуги и массажисты стремились сделать все, чтобы все соки жизни в нем снова заструились по жилам. После массажа они бережно отнесли его в ванную комнату, погрузили в ароматизированную теплую воду и, кланяясь, скрылись. Тур блаженствовал в огромной купальне из чистого серебра как младенец, мгновенно забывший, что его свобода уложилась во времени от одних пеленок до следующих. Но, к счастью, на этот раз никто не пытался его пеленать. Его одели в одежду взрослого дяди: шелковую белую рубашку с черной бабочкой, смокинг. От туфель из крокодиловой кожи он категорически отказался, потребовав для своих распухших ног вязаные тапочки. Такие нашлись не сразу. В них и прошел Тур за мажордомом в гостиную, где был накрыт на две персоны огромный стол из красного дерева.

Из всех предложенных блюд и напитков Тур выбрал минеральную воду и овсяную кашу. Когда он допивал пятый бокал воды, появился мрачный Мустафа Ли и, усевшись напротив, молча принялся за утку по-пекински. Затем ему принесли молочного поросенка с сотней соусов в миниатюрных чашечках. Все это Мустафа запивал французским вином урожая 1800 года. Основательно насытившись, экс-мэр Большого Бейрута, беглец от лифтов, как пассажирских, так и грузовых, жрец Чисел, чуть повеселел и произнес, обращаясь к Туру:

– В космосе бывал?

– Нет, – сухо ответил коммутатор, не испытывавший ни малейшего желания вести беседу со своим похитителем, типом по меньшей мере неблагодарным.

– Сегодня ночью отправимся туда.

– На лифте?

Мустафа дернулся, на лице его появилась гримаса озлобленного неудачливого тюремного беглеца. Он скривил рот и ядовито произнес:

– Ты – на моих пинках.

Тур От-Агасы откинулся на высокую резную спинку стула и забросил свои ноги в теплых стоптанных тапочках жены дворецкого на столешницу.

С удовольствием шевеля пальцами обеих стоп, произнес твердо и с расстановкой:

– Никуда я не полечу. Особенно при твоем дружеском содействии.

– Да?! истерично завизжал Мустафа. – А кто Главную печать отправил в космос?!

Коммутатор хотел было напомнить экс-мэру, что ни о какой печати не знал, не ведал, а то, что она оказалась в вагоне, отправленном в другую галактику, так это не его вина, нечего бросать печати где попало... Но не стал. Следовало еще сказать, что он, по большому счету, имел полное право делать с золоченым вагоном все, что ему вздумается, так как Мустафа сам выменял его на ночной комбинезон. Пусть сначала вернет ему Дружка. Такую уникальную вещь отправить на мусорную свалку! Да Дружок секс-символом всей Америки

был! И еще можно было кое-что добавить, но Тур предпочел скандалу за столом краткое, но эффективное разрешение спора:

– Тебе надо, ты и лети.

Такая незатейливая форма диалога всегда ставит оппонента на свое место, но коммутатор, признаться, не ожидал от Мустафы столь быстрой смены агрессивного тона на жалкий настрой просителя. Человек, в руках которого, без сомнения, находилась его жизнь, стал ныть и упрашивать его согласиться принять участие в полете. Он вновь предстал перед Туром в образе привычного экс-мэра Большого Бейрута. Конечно же, начал жаловаться на катастрофические обстоятельства в личной жизни, на каких-то могущественных и беспощадных врагов, на то, что если он не вернет вовремя Главную печать, то наступит конец не только ему, но рухнет весь деловой мир всех бирж, банков и аукционов, похоронив под собой всю промышленность, всю торговлю на Земле, а там – голод и войны, гражданские и завоевательные, выживать-то надо...

– Тебе что, детишек не жаль? Они же будут хлебушек просить под дулами автоматов и огнеметов мародеров, а хлебушка не будет. А еще за Африку радел, винил плохих капиталистов, а сам...

При этом, взывая к совести и человеческому долгу коммутатора, он рыдал и льстил одновременно. Прохиндей был еще тот. Через пару часов Тур От-Агасы до того устал от какофонии звуков, издаваемых навязчивым Мустафой, что готов был отправиться куда угодно, даже в ад, не говоря уже о космосе, где всегда тихо и просторно. Но он не был бы коммутатором, если бы, прежде чем дать согласие, не заставил бы клиента выложить всю информацию, которой он владел. И Мустафа выложил перед ним все свои и чужие тайны. Суть их уходила в мифическую древность, и невероятность ее, балансирующая на грани сказочности, могла быть объяснена лишь детским возрастом человечества.

В древнейших государствах власть принадлежала брахманам, или иначе – жрецам. Во II тысячелетии до н. э. каста жрецов разделилась на две группы: жрецов слова и жрецов чисел. Из числа первой формации позже вышли Будда, Лао-Цзы, Пророки Святых книг. Главным инструментом постижения Истины для них были слова: «Да будет слово». Из них составлялись нужные формулы: молитвы, заклятья, благословения и другая подобная литература. Первые жрецы чисел появились в Египте. Сведенья о них зафиксированы древнеегипетскими иероглифами в тексте о богине Сешат, дочери Тога, бога мудрости, счета и письма. Древние римляне называли его Меркурием. Как бог торговли, прибыли и обогащения, он у них изображался с кошелем, имел свой храм у Великого цирка в Риме и своих жрецов, вербовавших из жителей Римской империи коллегию почитателей, впоследствии усилившей свое влияние настолько, что она получила статус императорской религии. Но прежде была все же египтянка Сеташ. Жрецы ее храма ведали искусством цифр, занимаясь в основном подсчетом военных трофеев, пленных, даров и дани. В

течение тысячелетий эта каста постигла, возможно, полный смысл цифр и счета.

Пророческая сила Моисея зиждилась не только на его уникальной способности слышать слово Божье. Во время своего пребывания в среде духовной элиты Древнего Египта он узнал и тайны цифр. По крайней мере, ему принадлежит идея каббалистики. Одни создатели каббалы утверждали, что наука о цифрах досталась им именно от Моисея, другие заверяли, что каббала пришла к ним от халдеев через пророков Даниила и Ездру. Особенность Даниилова книги заключена в том, что в ней он одним из первых пророков стал оперировать цифрами, в частности в предсказаниях о будущем он называет конкретные даты. Смысл каббалы раскрыл ее крупнейший адепт Элифас Леви: «Каббала, или наука еврейского предания, могла бы называться математикой человеческой мысли. Это алгебра веры, она решает задачи, как уравнения, определяя неизвестное. Она дает идеям отчетливость и точность чисел».

Канонические священнослужители иудаизма изначально негативно относились к приверженцам каббалы, считая, что каббалисты посягают на основополагающий принцип иудаизма – непостижимость понимания Бога и Его замыслов. Но даже не в их власти было остановить развитие каббалистического учения. Каббала стала всемирным магическим ремеслом. Крупный авторитет каббалистики Англии Диан Форчун отмечал: «Интерпретаторов каббалы следует искать не среди раввинов страны Израиль, иудеев по крови, а среди тех, кто является Избранными Людьми по духу, – другими словами, посвященными».

В конце XIV века из среды шиитских священнослужителей выделяется группа хуруфи, «те, кто оперирует числами». Основателем ее был Астрабади, впоследствии казненный за еретические идеи. В исламе, как и в иудаизме, также не приветствовались посягательства на трансцендентность Единого Бога способом толкования Его проявлений. Гениальный суфийский мыслитель Ибн Араби полагал иначе, считая, что элементные формы и энергия в мире световых духов интеллигибельны, то есть постижимы. Сразу же за этим отрывком в его классическом труде «Гемма мудрости» следует совершенно загадочная фраза: «Все это – совокупление первого нечетного числа в каждом из этих отношений». С развитием цивилизации роль экономической стороны человеческого сообщества возрастала над духовной. Следовательно, неизбежно усиливалось и влияние жрецов цифр. Для построения цифровых формул и методов воздействия закономерно требуется прежде всего точка отсчета. Она определялась посредством календаря. Для максимального соответствия потенции бога Тота жрецы чисел прибавляли к 12-месячному годовому календарю пять добавочных дней. Этот факт показывает, как каждая цифра была крайне важна для их ритуалов и операций. Вот почему, пытаясь восстановить свои утерянные доминирующие позиции, лидеры жрецов слова через каждые полтора-два тысячелетия меняли начало счисления лет. И каждая

вера держалась за свою дату, и никогда ни иудеи, ни мусульмане, ни православные не отступят от своего летосчисления. Уступка с их стороны будет означать подчинение актуальным на сегодня цифровым задачам, а не молитвам.

Первые жрецы цифр, без сомнения, воспринимали цифровые символы как проявления сущности богов. Но всегда за эпохами пророков приходит время церковных функционеров. Коды и ключи к цифровым системам и закономерностям от жрецов счета наследовали манипуляторы счета.

– Стоп! – потребовал, выслушав все эти истории Мустафы, Тур От-Агасы. – Это все интересно, но давай-ка конкретней. Имена?

– Какие еще тебе имена? – возмутился недоверием к нему Мустафа. – Если были какие-то манипуляторы счета, то они должны иметь имена.

– Пожалуйста, но только тебе! Ты ужаснешься. Вот тебе имена: Апщарнес Фивский, Великий Нечтох, Маленький египтянин Нутстафалоип, Златорукий Фефляций, Мркгендор, Арст, Яо Навь, Хвалатель Ро.

– Погоди, погоди! Что ты тут мне впариваешь? Мне эти имена ничего не говорят, – запротестовал Тур. – Хочешь, чтобы я тебе поверил, назови хотя бы одного, которого бы знал я сам.

– Как, ничего не говорят?! –возмутился Мустафа. – Я же тебе назвал самые знаменитые фигуры! Это пророки счета, гении! Цари магических цифр! При Златоруком Фефляции римский император Цезарь боялся присесть. И не португальский король или там испанский, а Арст лично финансировал экспедицию Колумба. Между прочим, оплачивал корабли, уже имея у себя на руках карту двух будущих Америк. Ты, конечно, уверен, что лютеранство придумал Мартин Лютер? Ха-ха! Он лишь подставная фигура, не случайно он прожил остаток своей жизни в полной безызвестности, на какомто чердаке. Никому не нужен был после того, как им попользовались. Идеи протестантизма ввел в европейскую цивилизацию жрец цифр Пах! Какой удивительно проницательный был человек, как видел будущее! Любовь к Богу в католичестве мешала развитию бизнеса, и тогда он взял и изящно заменил пару понятий, заявив, что трудолюбие во имя Бога имеет свою меру: деньги. Ну, я вижу, что и это имя тебе не знакомо. Ладно, вот тебе имя: Карл Маркс. Он был не из когорты самых-самых, а, как говорится, из второй обоймы. Из тех, кому позволено было подписываться своим именем.

– Так и он, что ли, был жрецом цифр? – удивился Тур. – А я всегда принимал его за порядочного человека. Заботился о пролетариате, и вот тебе...

– Да, был. Ему было поручено раскрыть закон о прибавочной стоимости, чтобы вызывать социальные революции.

– Что, и революция – прибыльный бизнес?

– Еще какой прибыльный! При революциях в государствах наступает настоящий хаос учета. И тут только успевай грести лопатой. Гигантские состояния можно вычислить в свою пользу.

– Что-то тут не склеивается. Врешь, небось, насчет Карла Маркса. Если бы он был манипулятором счета, то должен был быть сказочно богат, а между тем сидел без денег. Это точно, читал о нем.

– Не надо жрецов счета так примитивно воспринимать! Деньги – это производное. Главное ведь – власть.

Коммутатор Тур От-Агасы вытянул оборванную ярко-красную нить из вязаного тапочка и задумчиво накрутил ее на свой палец. Указывая этим же пальцем, он остановил говорившего и говорившего в запальчивости Мустафу и сказал:

– Не спеши. Мы перескочили через целую эпоху.

Давай последовательно все разберем, я пока никуда не тороплюсь.

– Хорошо, хорошо, – согласился Мустафа. – Но время поджимает. Если позволишь, я кратко. Где мы там остановились?

– На Моисее.

– Ага, на Иосифе, который Прекрасный. Так вот... – вернулся к еще одному ветхозаветному пророку ближневосточный политик. – Пророк Иосиф был тем и велик, что, в частности, растолковал сон фараона о семи тощих и семи упитанных коровах во благо своего народа. На его месте манипулятор чисел использовал бы такое знание для колоссальной спекулятивной операции. Впрочем, история может рассказать о множестве подобных случаев. Наиболее рельефно проявляются корыстные акции выродившихся жрецов цифр уже в средние века. Экономическая жизнь государств держалась на применении монет из драгоценных металлов. В Западной Европе гарантом этой модели являлся орден Розенкрейцеров. Манипуляторы счета, воздействуя на короля Франции, добиваются разгрома этого влиятельного ордена, вышедшего из Иерусалима. Вводятся в обращение монеты со сниженным содержанием драгоценных металлов и монеты из рядовых металлических сплавов, а затем и вообще деньги начинают печатать на бумаге. Это открыло самое широкое поле для финансовых махинаций. Введение в оборот векселей и других так называемых ценных бумаг еще более расширило возможности для скрытых операций по перераспределению и имущества, и средств производства. С появлением компьютеров деньги приобрели вообще виртуальный характер. Выражение «деньги из воздуха» приобрело конкретное значение. Биржи превратились в мощнейшие цеха деятельности манипуляторов счета, так как инструментами труда там являются цифры. Банальным, но к месту является утверждение, что регулярно происходившие крахи бирж одновременно с разорением сотен тысяч людей приносят колоссальную прибыль десятку человек, хотя составить полный список никогда никому не удавалось.

Даже если рационально отказаться от идеи присутствия за кулисами финансовых рынков мира каких-то мифических манипуляторов, то и тогда любой более-менее грамотный политолог или историк уверенно выскажется, что за многими войнами, революциями и иными кровавыми мистериями и

последовавшими за ними биржевыми катастрофами стояли финансовые интересы отдельных людей или групп. Каждый специалист в области политэкономии способен указать на документальные свидетельства, подтверждающие это мнение. Явные примеры: Опиумная война в Китае или Гражданская война между Североамериканскими штатами.

– Манипуляторы чисел были и есть везде! – восклицал Мустафа. – Вот ты по национальности кто?

– Казах.

– Вот тебе о твоей истории, – продолжил он свою лекцию. – Можно взглянуть и на Шелковый путь, веками связывавший Китай, Средиземноморье и Европу. Упадок этого торгового трафика связывают с нашествием войск Чингиз-хана. В истории Туркестана особо подчеркивается, что разрушенный им Отрар так и не поднялся из руин. Но это не совсем так. Город Отрар всего через два-три десятка лет после захвата его монголами уже снова чеканил свои золотые монеты. Арабский историк ал-Омари писал, что монгольские завоеватели, смешавшись и породнившись с кипчаками, сами стали как тюрки, и «земля кипчаков одержала верх над природными и расовыми качествами их». Наиболее достоверно о значении в это время Отрара говорит нумизматика из кладов XIII – XIV веков. Правителем этого города стал Масуд-бек, который первым делом провел денежную реформу. Он начал выпуск высокопробных серебряных дирхремов, которые до него чеканились только в Алмалы. Реформе Масудбека последовали и правители других городов. Вес монет всюду был одинаков – 2,1 грамма. Стандартной для всех монетных дворов была и проба – 800. И оформление монет было упорядочено. Оно включало тюркскую тамгу и картуш. Крупные надписи также обладали признаками единства. В течение целого столетия отрарские монеты были эталоном для всей Центральной Азии. Но, начиная с XVI века, наполнение монет драгоценными металлами вдруг стало резко снижаться, в ход пошли больше медные фельсы. И монеты Отрара стали терять свою цену. Торговые караваны стороной обходили Отрар.

Таким образом, наступил действительный крах городов уже Казахстана. К этому прибавляется вспышка в Центральной Азии и на Ближнем Востоке терроризма, исходившего от ассасинов, что ускорило окончательное разрушение Великого Шелкового пути. Если смотреть фрагментарно на эту широкую историческую панораму в ее развитии, то каждое событие воспринимается отдельно, не связанно с другими. Если оценивать все по конечному результату, то возникает подозрение, что была произведена некая крупномасштабная акция, заказанная и оплаченная теми, кому это было выгодно.

На первый взгляд от крушения жизненно важного торгового пути проиграли все и в Азии, и в Европе. За исключением зарождавшихся в те времена торговых компаний Голландии и Англии, прокладывавших в Китай уже свои морские маршруты. Затем подверглись ревизии догмы традиционной

веры в лице католичества в северо-западных странах Европы. Именно там стала доминировать псевдорелигиозная теория особой угодности Богу, выражающаяся в форме накопительства, культа денег. Высокопарно можно сказать так: жрецы счета оттеснили жрецов слова в пределы кварталов Ватикана. Выражаясь проще, следует отметить, что в регионе Северной Атлантики государства стали контролироваться манипуляторами счета – капитала. Поклонение капиталу позволило им сделать мощнейший прорыв в экономике и технике.

Казалось бы, дом человечества окончательно разделился на Запад и остальной, сырьевой, купленный Западом мир. Но уже во второй половине XX века усиливается конфликт между манипуляторами счета Нового и Старого света. Правительство США под давлением известных кругов превысило лимит тиражирования своей валюты. И в 60-е годы французы привезли на кораблях в Нью-Йорк тонны долларов, а в обмен на них вывезли гигантскую часть золотого запаса США. С этого времени США отказываются от обеспечения золотом доллара, однако темпы впрыскивания долларов по мировым каналам не снижаются. До какого минимального золотого эквивалента сегодня упал доллар, знает только очень узкий круг людей. Европейские финансовые магнаты, стремясь обезопасить свои состояния, создают противовес доллару – евро. Судьба новой валюты полна темных мест. Аналитики не раз уже отмечали в мировой прессе, что каждый этап становления евро странным образом совпадал с обострением военной ситуации на Балканах, где первую скрипку играл генералитет США, и каждый раз при этом курс евро стремительно снижался. Все это приобрело уже характер закономерности, и в дни введения в оборот уже наличных евро в конце 2001 года можно было ожидать еще одной крупной военной вспышки в зоне, непосредственно граничащей с ЕЭС. Подготавливалась для такого заклания и конкретная страна – Македония. Но вдруг случилось крушение торговых центров в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. И volens-nolens внимание правительства США было полностью переведено на исламскую Азию, что позволило окончательно подняться новой общемировой валюте в благоприятной, мирной колыбели.

– Да, тогда европейские жрецы цифр сыграли ловко, – восхищенно заключил Мустафа. – Хотя и грубовато. Они даже не стали скрывать, что основные базы подготовки террористов, несмотря на их арабское происхождение, находились в Европе. Но я их понимаю. Это была демонстративная акция. Американские жрецы к тому времени совсем обнаглели, стали вести себя так, словно кроме них никто на свете не имеет власти. Это они виноваты в нашем расколе.

«Ага, – подумал Тур. – Так ты тоже манипулятор счета. Не такие вы уж и страшные. Мустафа, конечно, не Санта-Клаус, но и не вурдалак, взахлеб пьющий человеческую кровь. Хотя, черт его знает... Он нормальный. И как нормальный пройдоха, которому попала в руки печать, начал

приворовывать у своих подельщиков, обманывать контору. Теперь бегает от них».

Коммутатор От-Агасы по определению был из тех, кто знал многое даже из того, что было отнесено к закрытой информации. Относилось это и к конспиративным организациям, являвшимся с первобытных времен неотъемлемой частью человеческой цивилизации. Сформированные под покровом тайны в отдаленные века, большинство из них со временем стали открытым достоянием культуры и религии различных народов и стран. Влиятельные и закрытые когда-то масонские ложи к XX веку превратились в забавные игры нескольких тысяч персон из скучающей мировой элиты. Тщательно оберегаемые от непосвященных людей ритуалы и татуировки стали частью прикладного искусства. Подпольные политические партии или террористические группы с годами или сами легализуются, или их раскрывают соответствующие государственные органы, которые имеют свой вектор к конспирации. Причины, приводящие к процессам рассекречивания, были общеизвестны, и связаны они были с динамикой развития человечества, в данном случае не важно с каким знаком: минус или плюс. Это и изменения вероучений, политического строя, культуры и.т.д. Единственный общечеловеческий проект, который кардинальноне изменился, – это товарно-денежные отношения. Всегда все покупалось и продавалось. Поэтому о структуре, членстве, атрибутах и методах работы с адептами и клиентурой закрытых корпораций, культомкоторыхявляются деньги, не существовало открытой информации.

Деньги любят тишину. Деньгами можно оплатить и любую дезавуирующую акцию, например перманентное высмеивание интеллектуалами и деятелями культуры самой мысли, что существуют какие-то всемогущие, таинственные силы Золотого тельца, правящие всем миром. Все знают о заговоре банкиров. Тайны этой достаточно прозрачной профессии никогда особенно не привлекали внимания коммутатора. Он и так знал порядочно о них. А вот о тех, кто стоит вышебанков, они понятия не имел. Впрочем, если бы он поставил перед собой такую цель, то кое-что выяснил бы. Любая деятельная организация, как бы тщательно она ни скрывала свою деятельность, рано или поздно проявляется прежде всего последствиями именно своего функционирования. Чаще всего это фрагменты документов, актов, сделок или слухи о них, или новые термины, появляющиеся в открытом обороте.

Значимость денег определяется прежде всего цифровым рядом. Цифрам, как символам, всегда приписывались магические свойства. Можно оставить цифру 13 суеверным людям, но трудно пройти мимо факта, когда цифра 666 стала когда-то причиной конфликта таких влиятельных и не склонных к шуткам институтов, как налоговые службы и Православная церковь, категорически настаивавшая на неприменении ее в личных налоговых кодах своей паствы. Только в арифметике цифры подчиняются твердым правилам сложения или

умножения. В более сложных системах они способны, по меньшей мере, озадачивать, подобно 15 цифрам Магического квадрата, даже самый рациональный ум. Операторы Проекта глобального сознания – GCP, начиная с августа 1998 года, соединили с Интернетом 36 компьютеров, разбросанных по всем континентам. В них была заложена лишь одна программа, которая постоянногенерироваласлучайные натуральные цифры в интервале от нуля до единицы. Они постоянно колебались в определенном объяснимом диапазоне. Аномальные отклонения возникали в этой компьютерной игре в «орла и решку» только в первые часы значительных катастроф с многочисленными людскими жертвами, таких, как теракт в Нью-Йорке 11сентября 2001года, о котором упоминал Мустафа Ли. И, что особенно интересно, в канун каждого Нового года. И это связывалось с россказнями экс-мэра.

«А вдруг все, что он говорил, правда? – огорченно думал коммутатор. – Если так, то они, манипуляторы чисел, и есть настоящие хозяева нашей судьбы. Ведь знание тайн природы цифровых масс и лабиринтов равно владению топографической картой. Тот, кто читает ее, никогда не блуждает и приходит к желаемой точке первым и навязывает свои правила, кажущиеся затем нам единственно возможными».

– Если они такие всесильные, – произнес Тур, строго глядя прямо в глаза Мустафе, – зачем ты у них печать-то украл?

– Да не воровал я ее... – ответил уныло экс-мэр. – Умер Главный хранитель печати, а я как... ну, в общем, мне поручили на время ею распоряжаться. Я имел полноеправо! Да, я провел некоторые акты с ее оттиском, но ведь за это нельзя устраивать форменную охоту на мэра Большого Бейрута. Ты сам видел, они же чуть меня не убили!

– Так вот почему за тобой гонялись террористы! И я так понимаю, что печать ты так и не вернул?

– Я должен был стать Главным хранителем печати! Они еще пожалеют! – запальчиво проорал куда-то в сторону Мустафа, потом пришел в себя и спокойно обратился к Туру:

– Не будем вспоминать эти неприятные дни. Нас ждет корабль на китайском космодроме. У них сейчас самые мощные корабли.

– Мустафа, печати твоей тебе никогда больше не увидеть, – заговорил Тур, и в последней попытке отбиться от прогулки в космическом пространстве произносил каждое слово отчетливо для пущей доходчивости. – Нам твой супервагон не догнать ни на каком космическом корабле, пусть он будет трижды китайским. Или ты забыл, какая колоссальная энергия заложена в его двигатели? Я краем глаза глянул на данные, аналогов им просто нет. Пустая трата времени гоняться за таким судном, тем более, если оно давно уже стартовало. Не меньше месяца уже.

Мустафа снова преобразился в жесткого, не терпящего возражений и знающего, как добиваться своих целей, типа. Он так же, как и Тур, отчетливо произнес:

– А это не имеет никакого значения. Мы вылетим в космос сегодня ночью.

Тур пожал плечами и промолчал. Мустафа встал из-за стола, прошелся по огромному ковру и добавил:

– Все равно мне на Земле уже не жить. Да они, если хочешь знать, Робеспьера зарезали, как барана, и Кеннеди расстреляли, как последнее чучело. Они еще осторожничают по отношению ко мне, думают, что Главная печать у меня. Но думаю, кое-кто из них стал догадываться, что это не совсем так. Ждать больше нельзя.

«Видимо, и по отношению ко мне приговор подписан и обжалованию не подлежит», – подумал Тур и увидел, как Мустафа кивнул ему в знак согласия, словно прочитал эту его грустную мысль. Вслух Тур произнес:

– Ладно, взлетим, погонимся за твоим вагоном. Но ведь ты понимаешь, что мы будем мчаться в космосе до скончания веков?

Мустафа подошел к Туру, наклонился к его уху и тихо произнес, словно говорил нечто совершенно секретное:

– Там посмотрим. И оглянулся посторонам, явно опасаясь, что их подслушивают.

«Про улетевшую в никуда Главную печать говорил не таясь, а здесь принялся секретничать. С таким воротилой надо быть поосторожней. Не только оберет до последней нитки, но и... », – невесело думал Тур.

И вновь Мустафа отреагировал адекватно на размышления Тура:

– Все твои вещи на месте. Уж не принимаешь ли ты меня за вора дешевенького?

И тут же кто-то из обслуги внес и положил на стол перед Туром все, что он имел: рваную хирку, прикрывавшую в пустыне его тело, посох и камень с огоньком.

В Китае праздновали очередной юбилей Коммунистической партии. Он совпал с успешным завершением кампании по снижению рождаемости, что прибавляло радости партийцам и ставило перед ними новую, еще более радостную задачу. Разрешение рожать только одного ребенка привело к тому, что в стране, в которой предпочтение отдавали мальчикам, на пятерых мужчин оказалась всего одна женщина. Радость радостью, но народные шествия решено было не проводить. В стране регулярно возникали массовые демонстрации с требованием ввести закон о многомужии. Полицейские и агенты в штатском близ космодрома встречались на каждом шагу. возможно, они были заняты тем, что подозревали друг друга в желании начать стихийные митинги на ту же тему, Возможно, по другой причине, но никто из них не обратил внимания на неизвестных людей, направившихся прямо к

космическому кораблю. Не увидели и огромный глобус Гитлера, который они втащили с собой. Тур надеялся, что бережливые китайцы обязательно конфискуют этот раритет в народную собственность – и тем самым остановят и их. Но они остались слепы и равнодушны. Даже командир космодрома товарищ Чен не увидел, как вверенный ему космический корабль взлетел и исчез в звездном небе. Что тут говорить о глобусе.

Когда пролетали мимо Луны, Мустафа заявил Туру, что теперь он может открыть настоящий смысл данного безумного путешествия.

– Ты был свершено прав, дорогой Тур. Супервагон нам не догнать. Но нам будет чем заняться в космосе. Я должен посвятить тебя в детали операции, которая, поверь, самому мне не очень приятна. Но что делать! Она выгодна настолько, что я не в силах устоять. А главное, решит все мои проблемы. Я решил продать Землю.

– Нет, – отказался Тур. – Мне земля не нужна. Ни пахать, ни строить на ней я ничего не собираюсь.

– А тебе никто и не предлагает купить Землю. Кишка у тебя гонка, купить целую планету.

– Как планету? Всю целиком? изумился Тур.

– Целиком, но без упаковки.

– Да кому продать?! – не мог прийти в себя повидавший виды коммутатор. – Ты в своем уме? Кому ты ее хочешь продать? Инопланетянам?

– Продал бы и инопланетянам. Какая мне разница. Но где они, покажи мне их. Истории с инопланетянами выдумали мы, жрецы чисел, и подкинули атеистам, чтобы у них был еще один аргумент в их борьбе с жрецами слова, ну, со священнослужителями всякими, раввинами, попами, муллами. Чтобы они нас меньше беспокоили, а то как начнут приставать: как вам не стыдно, как вам не стыдно... Бог все видит... побойтесь Бога ...

Наконец Тур От-Агасы привел себя в душевное равновесие и уже с иронией повторил свой вопрос:

– Так кому ты решил продать нашу старую потрепанную планету?

– Плазмоидам, – ответил серьезно Мустафа.

– Кому-кому? Каким таким плазмоидам? О таких старьевщиках мне не приходилось слышать.

– Обыкновенным. Кроме людей, живущих на земле, под земной корой в плазме живут огненные существа – плазмоиды. Надеюсь, они достаточно разумные, чтобы понять суть сделки, которую я намерен им предложить.

– Ты это о джиннах, что ли, говоришь? – рассмеялся Тур. – Так ты, как праведный мусульманин, веришь во все, что сказано в Коране? Быть того не может. Ты, может быть, еще и в Бога веришь?

– Конечно, верю. Мусульманином я являюсь как бы условно. Но я же потомственный жрец. Хотя и не Божьего слова, а Божьих чисел, но все равно – храмовый жрец. Мне положено по должности в Бога верить.

Тур От-Агасы перестал смеяться. Проект Мустафы Ли его озадачил всерьез. Иначе и быть не могло, ведь с этой торгашеской операцией, независимо от степени ее абсурдности, теперь связана его жизнь.

– Они, насколько я помню, созданы из огня. И как ты собираешься встретиться с ними, да притом поторговаться, не обжарившись слегка?

Мустафа Ли прошел к глобусу Гитлера, постучал по нему скрюченным указательным пальцем, словно вызывал из его глубин своих торговых партнеров на деловую встречу. А коммутатору ответил небрежно через плечо:

– Я с ними встречаться не собираюсь. Это ты наладишь с ними связь. Даю тебе как посреднику два процента со сделки.

– Да как я налажу с ними связь?

– Не знаю. Ты же у нас коммутатор, – отрезал манипулятор чисел.

Он развернулся лицом к Туру, уставился на него страшными глазами и добавил:

– Не установишь с ними контакт, я сам тебя без всяких джиннов поджарю. Медленно-медленно, пока не покроешься весь золотой корочкой. Даю тебе ровно сутки на обдумывание своих действий, и ни минуты больше. Прости, иначе не могу. Я нутром чувствую, что они там, на Земле, вот-вот готовы предпринять против меня акцию. Сам понимаешь какую. Секир башка – и все. Жрецов чисел невозможно долго водить за нос. И помни: в тот миг, когда меня схватят, погибнешь и ты. Корабль – бах! И полетят твои кишки в одну сторону, к Юпитеру, а конечности к Венере долбаной.

Мустафа исчез в другом отсеке, а Тур вместо того, чтобы искать выход из угрожающей ему гибелью ситуации, лег вздремнуть. Прямо на антигравитационном полу, благо теплом, гадая, было бы ему приятней спать в невесомости или нет.

Лет десять назад коммутатору Туру От-Агасы приходилось заниматься одним космическим делом. Тогда группа астронавтов из экспедиции на Марс отказалась возвращаться на Землю. Они официально заявили, что отказываются признавать себя больше землянами и потребовали именовать себя марсианами. Подобно колонистам Северной Америки, объявившими себя когда-то нацией американцев. Новых вашингтонов и джефферсонов никто силой оружия не пытался вернуть в лоно Британской Империи, то бишь на Землю, и в то же время признавать за ними право быть независимым штатом никто не собирался. Не вскрывать же взбунтовавшийся космический корабль, болтающийся на околоземной орбите, как консервную банку! Международная фирма, которой принадлежал этот корабль, предпочла просто забыть о нем, понимая, какие могут возникнуть у нее неприятности, если история получит продолжение.

Страховые компании тоже сделали вид, что ничего не произошло. Не успокоились лишь родственники астронавтов, от которых доморощенные инопланетяне тоже отказались. Они и наняли коммутатора Тура От-Агасы, прося его наладить с ними контакт, образумить и упросить их вернуться домой. Туру удалось с ними связаться, но невозвращенцы готовы были говорить только о разделе космоса между ними, марсианами и землянами. Чтобы не прерывать начавшийся диалог, Туру От-Агасы пришлось по ходу общения изучить метаправо – космическое законодательство. В дискуссиях с клиентами он сделал основной упор на шестой аспект метаправа – субъективный, сформулированный еще в конце XX века одним из первых теоретиков космической юриспруденции С. Ф. Ударцевым. Он заключался в своеобразном внутреннем открытии субъектом права своей сопричастности метаправу. При этом он учел и вывод другого теоретика метаправа Пермякова, гласящий, что свобода личности в поле метаправа приводит к тому, что само право оказывается в высшей степени иррациональным и мистическим явлением. И настолько тотально заболтал «марсиан», что они буквально сошли с ума и после успешного курса лечения в знаменитой швейцарской клинике для душевнобольных оказались, наконец, в родных домах в кругу любящих жен, детей и родственников.

Так что космические проблемы были знакомы Туру От-Агасы и апробированы им на практике. Но теперь возникла совершенно иная ситуация. И дело было не в трудности общения с такими неожиданными клиентами, как джинны, в конце концов, это всего лишь дело психотехники. Но они представить себе не мог, что какие-то плазмоиды, если сделка состоится, начнут, выбравшись из земного брюха, обустраивать под себя континенты и острова, на которых, между прочим, живут люди. Плазменные существа способны жить только в атмосфере плотного огня, значит, выбравшись на поверхность Земли из раскаленных вулканов, они на правах хозяев так все кругом раскочегарят! И Тур, уставившись на глобус фюрера, увидел, как вся Земля пылает в огне, от промерзших скал Гренландии до и без того раскаленной солнцем Австралии, быстро становясь огнедышащим шаром. Этого допустить было никак нельзя. Он принялся стучать в дверь до тех пор, пока не явился Мустафа. Тур втащил его в отсек и начал уговаривать отказаться от варварской, бесчеловечной операции:

– Мустафа, ты, конечно, жрец великий и был мэром Большого Бейрута, но нет на свете такого человека, кто имел бы право продать планету. Как сказано в Ветхом Завете, Бог дал людям Землю в пользование, а не в собственность. Ты же капиталист, уважай принципы собственности! Сделка явно будет незаконной, и никакие джинны на нее не пойдут. Да никто не согласится! Это же чистая афера, мошенничество.

Тур предполагал, что когда он начнет описывать в страшных, апокалипсических картинках ту участь, которая постигнет ни в чем не повинных землян при господстве плазмоидов, бейрутовец ужаснется и сам откажется от своей авантюры. Но увидев, как Мустафа сам пытается золотой зажигалкой короля рока Элвиса Пресли поджечь земной глобус, заткнул свой фонтан красноречия. Хорошо склеенный немецкий картон дымил и покрывался копотью. Зажигалка в руках поджигателя раскалилась настолько, что он вынужден был с досадой на лице отбросить ее в сторону. Потряхивая обожженными пальцами, он зло заявил:

– Насчет законности не беспокойся. Я сам юрист. Я и не думал толкнуть плазмоидам всю планету целиком. Я продам им ту территорию ее поверхности, которая принадлежит лично мне. Но в стоимость, даже если они купят всего лишь квадратный сантиметр пустыни, я вложу цену всей Земли.

Тур От-Агасы сразу понял расчет Мустафы. Только полные идиоты и плазмоиды способны были совершить такую покупку. Стать собственниками даже небольшого участка земли для огненных существ было равноценно приобретению всей Земли. Во-первых, создан был бы прецедент человеко-джинновской торговой операции. А во-вторых, кто же выживет рядом с ними? Пожар забирает все.

В таком ракурсе план манипулятора чисел выглядел действительно реально. Главное в таких сомнительных сделках – это натиск и полная уверенность в своей правоте. Тур почувствовал, что не в силах уже сопротивляться этому фашистскому бреду. Добил его Мустафа идеей, что Земля давно уже нуждается в очищении:

– Да ты посмотри, кто ее сейчас населяет! Сам же видел, сам говорил: сплошные нелюди! Людей-то и не осталось на ней! Какая разница, кто ею после нас будет владеть: Ог, царь мертвых, или плазмоиды.

«Действительно, – подумал Тур. – Какая разница! Что я так заволновался?»

– И правильно, – одобрил его мысли Мустафа. – Не надо волноваться по пустякам. Это только вредит торговле. Главное, все законно. Есть мононормы Вселенной, и они распространяются на все живые существа. А джинны, созданные из огня, без сомнения, живые субъекты права.

Коммутатор понял, что Мустафа Ли тоже основательно проштудировал двухтомный труд СФ. Ударцева по метаправу. Спорить с ним дальше и по юридическим аспектам не было никакого смысла.

– А джинны, я уверен, заплатят нам за нашу поверхность такой массой энергии, что даже на свои два процента ты сможешь на планете отстроить целый мегаполис – Новый Большой Бейрут с теплым морем и прохладным ветерком с гор. И без лифтов, – перешел на уговоры Мустафа. – И не надо так легкомысленно к ним относиться. Лифты опасная вещь. Они могут оборваться, в них можно застрять.

Видимо, заговорив о лифтах, Мустафа вспомнил и о своих коллегах, которых он собирался окончательно надуть – манипуляторах чисел. Его морщинистая физиономия мелко задрожала от страха. Трясущимися руками он пытался ее разгладить.

Тур От-Агасы слушал испуганного манипулятора и понимал, что его испуг и не страх вовсе, а крайняя форма агрессии. Он отвернулся от жреца и посмотрел через иллюминатор на Землю. Когда-то называвшаяся Голубой, планета была покрыта разноцветными пятнами, словно обрызганная масляными красками. Красные пятнышки были особенно яркими и припухлыми, как у больного оспой.

– Да, основательно мы загадили нашу матушку-планету... – произнес Тур.

– Мустафа проявил свой эстетический вкус:

– Но из космоса смотрится красиво. Я такую картину купил у одного художника. Не поверишь, художник этот – орангутанг!

– Наверное, так окрасились свалки... В них же черт знает что скопилось. Красный цвет, должно быть, от гниения... или радиации.

– Наоборот. Там уже никаких свалок нет. Они же залиты кей-кейем как раз для очистки.

– Скажи, Мустафа, – спросил Тур. – Ты какое-то отношение имеешь к промышленному использованию кей-кейя?

– Нет, – ответил экс-мэр. – Лично я этим проектом не занимался. Это американцы-жрецы в основном финансировали. Но если хочешь, я могу пристроить тебя к этому бизнесу. Ее, жидкости кей-кей, так много, что всем хватит. Она же пухнет сама по себе, а главное – годится для всего.

– Пухнет, скапливается и скоро потопит в себе все и всех, – произнес Тур От-Агасы. – Ведь эти пятна увеличиваются в диаметре! Посмотри! Это видно даже невооруженным глазом!

Коммутатору показалось, что он вот-вот додумается до очень важного вывода, но Мустафа не позволил ему заниматься пустой софистикой у него на службе:

– Да брось ты паниковать. Нам лично земли хватит. Если успеем кое-что провернуть... Все, вставай, пора на ботик.

– Какой еще ботик? – недовольно проворчал Тур.

– Обыкновенный. Двухместный. На нем мы с корабля перелетим на лунную станцию. Ли купил ее как-то по случаю. Теперь пригодится. Дело требует конспирации, сам понимаешь.

– Здесь все есть, чтобы вести переговоры с джиннами, – запротестовал Тур, чувствуя для себя опасность в перемещении на Луну.

– Давай, давай, поехали. – Мустафа был неумолим. – Корабль летит за супервагоном с печатью. Они же следят. Пусть себе и летит подальше. А твоя миссия требует близкого нахождения у Земли.

– Не полезу я в твой ботик, – заартачился Тур, но со стен спрыгнули висевшие там два осьминогоподобных робота и ловко переместили коммутатора из корабля в тесный ботик.

Лунная станция Мустафы оказалась темной, узкой, больше похожей на нору, чем на плод технического достижения человечества. Тур был рад побыстрее спрятаться в такой дыре. Космос не понравился коммутатору своей холодной бездонностью, ничего романтического в нем он не увидел. Однако Мустафа не выпустил его из неудобного ботика, заявив:

– Незачем туда-сюда шататься. Ты на нем и опустишься.

– Куда это я опущусь? – встревожился окончательно Тур.

– В жерло вулкана. Ли уже присмотрел один широко открытый прямо до плазмы. На Яве.

– Да я же сгорю там вместе с твоим проклятым ботиком!

– А ты не сгорай, – посоветовал Мустафа и, оставив удерживаемого механическими осьминогами в ботике коммутатора, исчез на своей станции.

Через несколько минут этот подлец появился на экране и заявил:

– Тур, времени у тебя не осталось. Думай живее, как ты с плазмоидами договариваться будешь. Шевелитесь, господин От-Агасы.

На такую встречу не пойдешь даже в костюме пожарного. Во-первых, никакая огнеупорная материя не выдержит накала плазмы; во-вторых, предполагаемые партнеры могут обидеться, подумают, что он им не доверяет. Это все равно, что прийти в банк или на дипломатический прием в бронежилете поверх фрака. А взаимное доверие – самое главное на любых переговорах.

Но основная трудность заключалась в том, что коммутатор и представить себе не мог, на каком языке он будет с ними общаться, если плазмоиды понимают только язык пламени. Но и это лишь аллегория. Если у них и имелась речевая функция, то совершенно иная. Не глухонемые же они, чтобы жестикулировать огненными язычками. Даже если так, то он долго не проговорит, высказываясь таким образом. В общем, было над чем поломать голову. В итоге осталось только два решения: или заставить плазмоидов уподобиться человеку, или самому стать подобным им. А так как джиннов вряд ли можно было так, с наскоку, заставить перемениться, придется ему гореть синим пламенем. Они не напрашивались на встречу, так что придется сделать первый шаг самому. Проще говоря, самовозгореться, при этом стараясь не обуглить хотя бы мозги. Без них какие могут быть переговоры? Но такого чуда не бывает. Кстати, о чуде... и Тур вспомнил о чудесном камне, подаренном ему Хантом, о его несжигающем огне. Чудо это было у него под рукой. И Тур поспешил начать эксперименты с горящим камнем. Что только он с ним ни делал: и совал пальцы в пламя, и глотал огонек, пытался расколоть булыжник... Примитивное физическое воздействие не принесло никаких успехов. Тогда Тур От-Агасы, поднаторевший в суфийской ханаке и умении работать с духовной энергией, сел напротив горящего камня и принялся усилием всей своей

энергетики раздувать его крохотное пламя. Не получилось, огонек оставался прежним. Через час Тур настолько обессилел, что не мог и сидеть прямо, все заваливался набок. И больше не от ума, а от отчаянья, он своим воображением разместил огонек с камня на свое сердце. И сердце вспыхнуло. Разросся огонь и на камне. Скоро воодушевленный Тур смог увеличить его до размеров пылающего куста. Оставалось только свести оба пламени в одно, и Тур спокойно шагнул в пылавший перед ним почти стеной огонь. В его объеме, как ни странно, оказалось очень холодно, к тому же одежда коммутатора буквально испарилась без следа прямо на нем. Тур мгновенно промерз до костей. Стуча зубами, он выскочил из горящего куста совершенно голый.

– Что, так жарко там? – прозвучал вопрос Мустафы с экрана.

– Холодно дьявольски! Я там чуть не околел!

– Вот и хорошо. Лучше померзнуть чуть-чуть, чем сгореть. Успеешь переговорить с кем надо.

Тур, подпрыгивая на месте и похлопывая себя по плечам, заорал:

– Чего хорошего! Дай что-нибудь одеть! Потеплее! Я так воспаление легких схвачу!

Мустафа не заставил себя долго ждать, явившись с толстым одеялом из верблюжьей шерсти и бутылкой водки в руке.

– Не схватишь. – Мустафа накинул одеяло на Тура. – Мы тебя перед самым отправлением туда потрем собачьим жиром и вольем внутрь настоящую русскую водку фирмы «Кристалл». Сколько влезет. Ну что, согрелся? Пора отправляться.

– Дай согреться!

– Ну ладно, ладно.

Мустафа вроде бы не отдавал никаких приказов своим роботам, но те подскочили к Туру и принялись своими щупальцами массажировать его тело, да так ловко и дельно, что Тур не успел и глотнуть из бутылки, как уже согрелся до жара.

– А теперь контракт, – не унимался довольный Мустафа. – Пусть подпишут здесь и здесь. Моя подпись уже стоит. Там все по пунктам, кто покупает, кто продает, какая оплата и в какой форме.

Коммутатор плотно завернулся в одеяло. К нему вернулась способность спокойно мыслить. Не спеша взяв документ, он заявил:

– Сгорят твои бумаги прежде, чем я смогу их кому-то показать. Как все на мне.

– Да? – озадачился Мустафа. – А что же делать? Без контракта нельзя. Я на слово никому не верил, не верю и верить не собираюсь.

Он нервно заходил по ботику, натыкаясь после нескольких шагов на стены, соображая, что бы ему предпринять в такой форс-мажорной ситуации. И придумал:

– А мы... мы контракт на твоей коже вытатуируем, а? Она же у тебя даже не закоптилась. Хорошая шкура, качественная.

– Ну, уж нет, – категорично не согласился с таким диким предложением Тур. – Мало того, что, расписываясь, плазмоиды оставят на мне ожоги, ты ее потом с меня живого сдерешь.

– Я? Да никогда! Что я – живодер, что ли, – принялся уверять в своей порядочности коммутатора манипулятор чисел. – Честное слово! Ну, может быть кусочек... заменим тут же, сейчас есть прекрасные кожзаменители, захочешь, и натуральную человеческую кожу достанем. Нет проблем! Честное слово! Хирурги гарантируют стопроцентное приживание. А?

– Нет!

Мустафа пристально взглянул на коммутатора и, видимо, все-таки ухитрился прочитать мысли Тура От-Агасы. По крайней мере, он осознал, что Тур ни за что не уступит ему и крохотного кусочка своей кожи. Отстав от Тура, он принялся совать в разросшееся пламя камня все, что попадало ему под руку. Но все моментально исчезало, не оставляя даже пепла. Кроме посоха шейха Магби.

– На этой деревяшке и напишем контракт, – обрадовался Мустафа.

Но все пункты торгового договора невозможно было разместить на палке.

– Накарябаем сокращенный вариант, – предложил Тур. – Давай, диктуй основное.

Мустафа читал текст, а Тур записывал его на посохе. Недоверчивый манипулятор внимательно просмотрел написанное, в принципе остался им доволен, хотя какая-то тень сомнения осталась на его лице.

– Смотри, не подведи меня. Здесь, конечно, только главное отмечено, остальное изложишь им устно.

Тур Ог-Агасы не стал подтверждать свою лояльность, а с удовольствием произнес:

– Как ты мне опротивел, Мустафа Ли. Видит Бог, от таких, как ты, нырнуть в вулкан – одно удовольствие.

– Давай, ныряй, – не обиделся деляга.

И космический ботик с Туром понесся к Земле. Погибать в плазме земного ядра коммутатор Тур От-Агасы не собирался. У него был план побега, но только в полете он позволил себе его детально обдумать. Прежде всего следовало изменить курс ботика, затем выбраться из него и на левой ноге скрыться в какой-нибудь выемке. Небось там не опасней, чем в жерле вулкана. Но оказалось, подлый Мустафа и это предусмотрел, заблокировав все ручные рычаги управления ботиком. И люк запаял снаружи. Перед нырком ботика в клокотавшую лаву вулкана Тур едва успел с посохом в руке заскочить в пылавший куст над камнем общины Ханта. Стальной корпус космической лодки растаял, как льдинка в крутом кипятке, а сам Тур, окруженный несжигающим огнем, был тут же выброшен пыхтящей лавой наружу. И завис

прямонадней, болтыхаясь в выгоревшем воздухе синхронно вместе с бурлящим дном вулкана, похожим на ярко-красное блюдце.

Предельно краткое время оставалось для того, чтобы сообразить, что же теперь ему предпринять, так как холод и в несжигающем кусте огня был адский. Не помог и почти сантиметровый слой качественного животного жира, которым он измазал себя от пяток до макушки. Водку он не стал пить, опасаясь, что спирт загорится у него в кишках. Возможно, зря. Оставалось, как это делают йоги, дать телу заледенеть, спасая мозговые извилины. И Тур От-Агасы занялся медитацией. Слава Всевышнему Аллаху, он все-таки пропитался суфийским духом и не испытывал страха смерти, что позволило ему провести в себе этот сложный физиологический процесс быстро и полно. Кровь теперь струилась у него только от сердца в черепную коробку. Была опасность, что в таком состоянии он станет совершенно беспомощной слепоглухонемой куклой, но вдруг над его переносицей открылся третий глаз. И он увидел, что его дела идут не так уж катастрофично, как показалось вначале. Возникло хотя и хрупкое, но продолжавшееся ощущение стабильности. И третьим глазом он видел под собой свечение плазмы не как процесс интенсивнейшего горения, а как эмоциональное переживание живого существа. Больше того, как зримый звук языка, на котором к нему обращались. Точнее, возмущаясь его наглым вторжением, угрожали ему расправой. В теле человека Тура От-Агасы дееспособными оставались только два органа: мозг и сердце. Мозг встроенным в него третьим глазом видел и понимал, но оставался безучастным к волнению вулканического монстра. А сердце забилось, заволновалось. И вокруг него возникло свое свечение. Невзрачное, но свое, как свой ответ.

Это свечение было оценено мозгом коммутатора как совсем незначительное, но для плазменного существа оно могло быть кричащим. На всякий случай Тур От-Агасы вложил в этот шепот сердца или в его вопль смысл слова «Да!» Имел на это полное право, как единоличный автор нового языка. Но не настолько этот язык был, видимо, и нов, так как плазмоид, кажется, понял что-то.

«Да!» – одно из ключевых слов в практике тех, кто занимается психолингвистическим программированием. Оно не отторгается, даже если ты не согласен, важно сказать так: «Да, вы не правы». Свечение плазмы стало несколько одномерным, словно плазменный организм задумался над тем, зачем и почему прозвучало «Да!»

Сколько времени плазмоид или плазмоиды, сбитые в кучу, соображали, коммутатор Тур От-Агасы не мог и предположить. Он словно провалился не в жерло вулкана, а в пустую трубу безвременья. Возможно, секунды, может быть, год. Постепенно вокруг него все засветилось в таком смысле:

– Что – да?

Коммутатор поспешил ответить светом своего сердца:

– Да, я чужой. Да, я не виноват.

– Убирайся.

– Да, я уже убрался.

Так незамысловато начался и продолжился его разговор с плазмоидами, в мифах известных как джинны и которые были сотворены Аллахом вместе с Адамом и Евой, но, в отличие от людей, не из глины, а из огня. Информация, которую он извлек из беседы, оказалась крайне скудна. Пытаясь понять мир плазмоидов, образ их жизни, он, кроме выуженных у них фактов, кое-что невольно додумал сам – нафантазировал, надо ведь было сложить более или менее органичную картину.

Плазмоиды изначально предпочли, в отличие от людей, существовать одной слитной массой, так сказать, в вечном соитии. Были ли они разнополыми, осталось неясно, но в любом случае их было больше, чем один. Такие огненные Адам и Ева.

Туру со своей колокольни показалось, что знаний они никаких не приобрели ни в добиблейские тысячелетия, ни в век научно-технической революции. Но, скорее всего, они обладали другими знаниями. Без биологии и кибернетики. Просматривалась у них и своеобразная культура. Тур почти наловчился вычленять в движении плазмы какие-то элементы танца. Но не это главное. Важно то, что плазмоиды были, без всякого сомнения, умны. Хотя они никогда ничего не покупали у людей и ничего им не продавали, суть предложенной сделки они поняли однозначно. Что их, любителей сидеть в подземной печке, привлекло в предложении Мустафы Ли, осталось для Тура непонятным. Но они выжгли на посохе свой знак согласия. Из-за ограниченности поверхности посоха на нем не было указано местонахождение проданного участка земли. Владения Мустафы были обширны, и предполагалось, что плазмоиды выберут себе любой из них. Какая разница, все равно вся земля сгорит. И коммутатор взял на себя инициативу определить координаты интервенции для плазмоидов. Очень приличный кусочек суши, но не земной, а на Луне, как раз тот, где стояла станция манипулятора чисел и где он еще пребывал в ожидании завершения своей сделки.

Чуть позже того мига, когда Тур От-Агасы благополучно выбрался из жерла вулкана, из него вылетел столб огня прямо в космос. И астрономы сразу же зафиксировали на поверхности Луны в районе моря Ясности в кратере Автолик аномальное явление. Там стояла частная космическая станция, и прямо в нее врезался неизвестно откуда взявшийся гигантский пучок плазмы. И на ее месте стало светиться необычайно устойчивое для холодного спутника Земли красное раскаленное пятно.

Придя в себя после невероятного путешествия в космосе и огне, Тур От-Агасы отчетливо осознал, что не в силах больше бродяжничать по всему свету. Следовало бросить беспокойную профессию коммутатора, жениться. Завести дом и детей. И он направился к ближайшему аэропорту, где подстригся, побрился, оделся в обычный костюм и отправился как обыкновенный пассажир на рейсовом транспорте в Западную Африку. Сердце подсказывало ему, что теперь он сможет разблокировать охранную систему противломовцев и разбудить свою чернокожую избранницу Найт Окумбу. Ведь сердце, как остров Майда, слева. А в любви оно самый верный ключ.

Как в той сказке о спящей красавице. Там принц, молодец, не стал умничать, а подошел к спящей принцессе, поцеловал ее в губы – и вся наука.

В пути он связался с Третьяком Хантом, рассказал ему все, что с ним приключилось, и поболтал с ним на отвлеченные темы от нечего делать.

– Говоришь, из космоса видно, что кей-кей этот все заливает собой? Так, Тура?

– Да. И я так думаю, что это начало Второго Всемирного потопа. И он утопит в себе все. Правда, не совсем так, как сказано в Библии. По большому счету, какая разница между утопленником в водоеме и бедным сыном Приего, лишившимся настоящей жизни в комбинезоне из кей-кейя?

– Похоже, – согласился Хант. – Все приметы налицо. И нелюди появились, и Ог снова шляться начал, где ему не положено. И человечество окончательно развратилось и предалось злу. Тура, пока не поздно, давай этих всяких жрецов изловим. Всех не поймать, ясно. Но тех, кто кей-кейем балуется, выведем напрочь.

– Если бы дело было только в них ...

– Думаешь, поздно? Тура, давай к нам. Где, как не в тайге, строить ковчег.

Предложение было весьма и весьма заманчивым, но Тур отказался:

– Возможно, на этот раз и ковчег должен быть другим? Не из бревен, это точно. Одно остается прежним. Надо, как Ной, попытаться спасти всех, кого еще можно спасти. Ведь это наш смертный грех. И виноваты мы все. И я, полжизни проспавший в комфортабельном вагоне, и ты, спрятавшийся в глухом таежном углу. Не получается с людьми, надо хотя бы тварь какую-нибудь пригреть.

– Обязательно корову надо. Молоко ведь, и лошадь.

– Эх, Хант, Хант, я тебе о чем толкую? О высокой материи, Божьей каре, а ты с лошадью лезешь ...

– Тура, ты как хочешь, а нам без лошади в хозяйстве никак...

ШАХИМАРДЕН

ДУЭЛЬ И ПОЕДИНОК

роман

Алгебраическая аксиома требует,
чтобы из известного выводили неизвестное,
а не из неизвестного известное.
А. Д ю м а. «Граф МонтеКристо»

Кажется, ясно.
И. С т а л и н. «Вопросы ленинизма»

Пролог

Молодой доктор физико-математических наук Арон Гаипов именовал своего ученого приятеля Пир-Рустема Ұ. кратко: «Пи», совершенно игнорируя бурные протесты имярека, время от времени начинавшего пьяным вопить: «Не смей меня так называть!» и угрожавшего: «Еще раз так назовешь, пристрелю, как собаку». Что оскорбительного слышалось ему в этом обращении – шут его знает, ведь известно, что «π» означает лишь трансцендентное число и не более того. Хотя на кафедре при этих сценах похихикивали.

Но что действительно потешно, протестовавший раздраженными воплями кандидат физико-математических наук Пир-Рустем Ұ., и правда стрелял в профессора А. С. Гаипова. А случился этот убийственный казус в 1986 году, если автору не изменяет память, днем 1 декабря в г. Караганде.

Пролог (продолжение)

В 1856 года на Иоанна Лествиничка[1] купец Ушаков с промышленником Рязановым да Зотовым, хозяином толковым, знающим свою выгоду тожь, за 250 рублей приобрели у бая Игилика Утепова родовую землицу Караганда-басы в десять верст в длину и десять верст в ширину. На ней, заросшей кустарниками карагана, значились копи каменного угля, каковые через полвека компания «Ушаков» продала французам за 60 тысяч рублей. Генерал-губернатор

[1] 14 марта по Православному календарю. Игумен Синайской горы преподобный отец Иоанн известен духовными подвигами и словами: «Как олово отличается от серебра, хотя и подобно ему по виду, так и различие между естественным и противоестественным страхом смерти для рассудительных ясно и очевидно».

Степного края Сухотин, истеричный подагрик, и министр земледелия г-н Ермолов протестовали, указывая на несоответствие сделки существующим законам. В Санкт-Петербург поспешил сын президента Франции акционер Клод Карно с русской парижанкой Зинаидой Арон, известной сторонницей теософии. Император Николай II иностранца не принял, но на поданной ему просьбе француза начертал: «NN». Поговаривали, что за делом стояли масоны, однако запомнилось другое – слова теософки Зинаиды Арон: «Быть нашему человечищу в Караганде».

Прошел век и у речки Букпа, ныне втянутой в канализационные сети г. Караганды, на некоего степного паучка сошел дух кобызиста[2] из рода Каракесек, затравленного до смерти знатью пару столетий назад за свою волчью неуживчивость, но любимого казахами за непревзойденно исполняемые им эпические мелодии. И паучок приобрел страсть к музыке. Особенно полюбились звучавшая частенько на всю безлюдную ковыльную степь из репродуктора угольной шахты оратория Иоганна Себастьяна Баха «Страсти по Матвею», а Стравинский ему не пришелся по вкусу. И он приковылял на своих тоненьких ножках из пространства трав в город Караганду, некоторые информаторы утверждают – в мае 1949 года, по другим документам – в августе 1952 года. Тогдашний культработник, вылезший из штрека на пенсию бригадир горнопроходчиков товарищ Арыстанбеков, принял его на должность «здания областной филармонии». Паучка установили в начале предполагаемой бульварной аллеи Нового города и, оббив дранкой, заштукатурив и побелив известкой с синькой, разместили в его брюшке двадцать шесть рядов фанерных кресел и сцену с крашенным под дуб стулом для баяниста. Ножки паучку бригадир филармонистов, склонный к классицизму, вытянув по вертикали, подтянул к фасаду здания. Получились шесть внушительных колонн. На рот жертвенного паучка навесили двухстворчатые двери, почему-то с маленьким, как в монастыре, зарешеченным окошком.

И зацементированный паучок больше не пытался исполнять симфонии, фуги и прелюдии. Только безлюдными ночами, если забраться под свод зала, можно было услышать мелодии древнего кобыза. Впрочем, Арон Гаипов, в юности иногда заглядывавший после концертов к билетерше Светочке в ее тесную зарешеченную каморку, никаких потусторонних звуков там не слышал, разве что ветер иногда гудел над люстрами густо так…

Поздней осенью профессор Арон Сулейменович Гаипов вышел по тополиной аллее бульвара Мира к центральной улице, носившей скромное название – Советская. Перейдя ее, он двинулся к деревянному зданию филармонии и наткнулся на бетонный бортик бассейна. В предновогодние дни

[2] Испольнитель традиционной казахской и шаманской музыки на инструменте кобыз — прадедушке виолончели.

прямоугольный неглубокий провал накрывали деревянным щитом, причем, одно длинное бревно ставили торчком, и приколачивали к нему в конусовидном порядке сосновые ветки, и получалась почти кремлевская елка.

В мальчишестве Арон прятался от праздничной толпы под платформой, удерживавшей на себе, кроме самой елки с бумажными гирляндами и электрическими лампами, еще всякие сказочные избушки и фигурки зверушек. Там он сидел на корточках и фантазировал, часто так долго, что возникало ощущение провала в исторические времена фараонов и скифских царей. Фантастические картины мелькали перед его глазами и исчезали. В конце концов, становилось обидно, жутковато, хотелось плакать. И почему-то страшно стыдно. А когда он, наконец, выбирался наружу, то его охватывало такое бешеное желание скатываться с ледяной горки, зарываться в сугробы, бегать вслед за пьяненькой Бабой-ягой, похожей больше на цыганку и вмазать в нее снежком: я там сидел один, забытый, потерянный, а вы тут!.. Но проклюнувшийся в сердечке там под настилом стыд за невесть какие совершенные им вчера и, наверное, предстоящие в будущем неверные, грязноватые делишки, в кружении падающих снежных хлопьев отступал, и его наполняла тихая радость.

Арон постоял солдатиком на потрескавшемся бортике бассейна, глазея на примерзший на дне мусор, и не мог поверить, что можно было, сидя там, представлять себя скифским царем, похороненным в кургане с боевыми конями и прекрасными рабынями или фараоном в пирамиде. Вдруг он услышал протяжный вздох. Арон поднял голову и узнал в силуэте филармонии степного паучка.

– И тебе тяжело? Ах ты... маленький, – произнес Арон.

Арон вошел в пространство под колоннами и услышал звуки кобыза – подрагивающие с глубоким дыханием. И ему в голову пришла нелепая для математика мысль, что это дышит его душа. Если, конечно, человеческая душа обладает дыханием.

Во врачебном кабинете А-баева Арон нежданно-негаданно для психиатра появился несколько дней спустя после прогулки у филармонии, сел на медицинскую кушетку и, не снимая с себя мокрого белого плаща, без всяких предисловий заговорил:

– ...шел сегодня по скверу бульвара и не по асфальтированной середочке, а как в лесу – от дерева к дереву. Пока не уткнулся в гипсового чувака. Сидит, стихи сочиняет в шахтерской столице. Замечательно так сидеть без всяких мыслей в башке, идей там, чувств каких-то.

Умному А-баеву не составило труда сообразить, что речь идет о мелковатом памятнике А. С. Пушкину на бульваре Мира у школы № 1, но вот

явление прежнего приятеля по студенческим годам, прежде никогда не заходившего к нему, понять не мог. А Арон продолжил свой пустой монолог:

– Вышел на тротуар, туда, где диетстоловая. Там, в букинистическом, «Человек и закон» за семидесятый год – уже есть смысл жить... Лег на диван полистать... очнулся от жажды. Словно все кости, мышцы, мозг, кишки – все переплавилось в сургуч в телесной форме... Как-то смог выдрать себя из этой вязкой массы и тут же к противоположной от дивана стене. Страшно... я даже дышал страхом... Включаю выключатель, вспыхнул желтый свет и я увидел себя – все еще неподвижно лежащего на диване и ощущающего, что стал как будто легче. Лампочка под потолком вспыхнула, и я вижу себя с дивана стоящим у двери в комнату с вытянутой рукой к выключателю... Без сомнения им был я, почесывающийся и чувствующий почесывание… Иду к дивану к себе – лежащему, сажусь на свою грудь, как в седло, лицом к своей роже, которое вижу как в близко наклоненном зеркале. Придавливаю всей тяжестью своего зада свои ребра и мне тяжело дышать, я пытаюсь скинуть себя с себя, напрягаюсь, обливаюсь холодным потом и затравленно думаю: «Надо проснуться, встать, включить свет». Но самое жуткое было в том, что все это происходило в глубокой тишине, ни звука, ни даже неизбежного в борении пыха, словно между мной лежащим, придавленным и мной – сургучным наездником, тяжким, существовал какой-то клятвенный сговор молчания.

Диагноз был налицо: «Депрессивный синдром», возможно, переходящий в депрессивный ступор. Любой уважающий себя психиатр, склонный к милосердию, приписал бы к этому еще и подозрения на шизофрению. А-баев начал жалостливо утешать Арона: ты, мол, старик, в голову не бери, видать, переутомился, невроз, неврастения, у всех нервишки сейчас не в порядке, ты тут посиди, а мне срочно выйти надо на секундочку.

Когда А-баев вернулся в свой кабинет в сопровождении двух санитаров с цепями, Арона на покрытой жуткой фиолетовой клеенкой кушетке не оказалось. Конечно, надо было в тот же день заскочить к Арону домой, по крайней мере, звякнуть по телефончику, но А-баев так и не зашел, не позвонил, занятый мыслями о золотых цепях на шеях санитаров при их шестидесятирублевой зарплате. «И откуда в нас берется душевная черствость? Ну, купили парни цепочки, радоваться надо за них, а мы?» – размышлял и винил себя А-баев. Но справедливости ради надо сказать, что месяц спустя, столкнувшись на автобусной остановке с близким другом и коллегой профессора А. С. Гаипова доцентом Пир-Рустемом Ұ., поболтал с ним о том, о сем, и в завершение разговора высказал озабоченность состоянием небезразличного им обоим человека. Но его собеседник, уходя за газетный киоск, неохотно проговорил:

– А-а.., ты об этом… Ну, он же у нас гений. Топологии ему, видите ли, мало, пространственные вложения симулякров решил вычислять. Обхохочешься.

– Что-что решил вычислить? – не понял А-баев.

Пир-Рустем, похохатывая, пояснил:

– Копии, – и, видя, что приятель с медицинским мозгами ничего не понимает, стал терпеливо объяснять. – Наша плановая – вложения в пространство множества пространств. Ну, в смысле, работа. В смысле, на кафедре. А Арон вдруг надумал заниматься вложениями и вычислениями копий. Чушь какая-то.

– Скорее – симптом, – не согласился психиатр А-баев. – Пьет?

– Нет вроде, но... что-то там у него с женой, – и Пир-Рустем, изобразив пальцами над своим высоким и белым лбом рога, исчез.

«Вот черт!» – невольно воскликнул А-баев и поспешил за киоск. Но там никого не оказалось. «Действительно, чертовщина какая-та!», – подумал он.

Врач А-баев поначалу не поверил, но встревожился. «Но это же глупо! Курам на смех!» – заорал он на жену, погружая в очередной раз ложку в вермишелевый суп. – Стреляться сегодня? Да какая в наше время может быть дуэль?!»

– Время спать ложиться, – произнесла его супруга Софья.

«Да, время... сейчас оно такое, что не дай Бог. Что будет? Зачем? И сколько надо? Да хватит ли?» – от таких внезапно пришедших в голову вопросов врача А-баева бросило в холодный пот. Тяжелое предчувствие страшных перемен овладело им. И он окончательно расстроился.

Так и не доев свой жидкий ужин, А-баев созвонился со знакомыми. Все утверждали, что от Пир-Рустема можно было ожидать нечто подобное, за ним признавали романтическое начало: как-то на годовщину смерти фрондировавшего при жизни московского актера и барда он прошелся по улице с зажженным факелом в поднятой руке, за что был задержан патрульными милиционерами. Но вот как сухой и циничный Арон мог проявить себя безумным ревнивцем, никто понять был не состоянии. Правда, если взглянуть на ситуацию сквозь машинописные строки докторской диссертации самого Гаипова по математической теории пространственно-временных вложений... чего-то там, то… Бог его знает!

Первопричину столь странной кончины профессора математики в какой-то степени знал лишь врач А-баев. Кому, как не ему, психиатру, не знать, что Арон Гаипов страдал депрессией и в последнее время испытывал к смерти симпатию. Но делать какие-то логические выводы, исходя из своей осведомленности, А-баеву было недосуг. Следовало бежать в милицию, все достоверно разузнать, и, если стрельба подтвердится, войти в камеру убийцы и плюнуть ему в лицо.

В районном отделении милиции врача А-баева не поняли сразу:

– По школьным делам – с торца здания.

– При чем здесь торец?! У вас в школе стрелялись, в подвале школы. Из ружей! Возможно, человек уже погиб. Доктор математических наук! Имейте хотя бы уважение! Рана прямо в переносице! – возмущался психиатр.

Лейтенант милиции продолжал недоумевать:

– И что?

– Как что?!

– Что вы хотите? И, извините, сами кто будете?

– Я врач. Психиатр. Друг ученого!

Офицер покопался в бумажках, раскрыл какой-то гроссбух, изобразил физиономию вчитывающегося в записи следователя и затем заявил:

– Есть такое. Была перестрелка между вроде учеными…

– Не мог ученый стрелять в ученого, зная, что целился в гения! – запротестовал А-баев. – А то, что профессор Арон Сулейменович Гаипов гений, известно всем математикам мира. Вы хотя бы знаете индекс цитирования его научных работ? Найдите, немедленно найдите убийцу. И ни какого-нибудь там кандидатишку наук, а настоящего душегуба!

Нет, не нашли и не пытались найти. Только долго соображали, что предпринять с этим разоравшимся типом. Не закроешь, в розыске он не значился. В сумасшедший дом тоже вести его было как-то неудобно, все-таки истеричный орун сам психиатр. Следователь терпеливо указала врачу А-баеву, что убийцы как такового нет, пострадавший еще жив, хотя, конечно, преступление совершено, и уголовное дело заведено. Проводится допрос задержанного.

Вдруг в глубине темного коридора высветилась голова Пир-Рустема Ұ., и раздался душераздирающий выкрик:

– Это не я!

За сим последовал плач навзрыд, башка исчезла, видимо, подследственного скрутили и поволокли в неволю.

Стало совершенно очевидно, что не стрелял Пи.

А-баев ушел из милиции ночью с головной болью, еще раз напомнившей ему, как сейчас плохо Арону с пулей в черепе.

Год был ужасным. Говорили о бандитах, убивавших таксистов и сбрасывавших трупы в городских скверах, о сыночке-молокососе директрисы кинотеатра, перестрелявшем маму, папу и свою забеременевшую непринятую предками подругу. Спешившим по зимним темным улицам редким прохожим чудились в свеженаметенных вдоль тротуаров сугробах мертвецы, потому что были случаи... Прежде и врач А-баев шарахался от белых насыпей, но теперь принялся внимательнейшим образом осматривать снежные холмики, и это старание тупо проросло в нем совершенно чуждым и никчемным решением. Подойдя в полночь к чугунным воротам сада городской больницы, он уже знал:

необходимо частное расследование дела Арона Гаипова. И только он, врач А-баев, сможет пролить свет на это жуткое таинственное событие, которое, быть может, только начало еще более жутких и таинственных рецидивов. Назревало нечто. «Адская история, совершенно неописуемая. Хотя как сказать...», – подумал он и, конечно, зря. Еще можно было вернуться домой вполне нормальным человеком.

Врач А-баев еще долго бродил по больничному саду, притопывая оледеневшими ногами, маялся, все не решаясь подойти поближе к самой больнице. «Не надо! – шептала ему с угольного неба карагандинская луна. – Пропадешь, пропадешь, пропадешь...».

– Стой, паскуда! Стоять, говорю! – заорал к тому же невидимый пьяный мужик, вывалившийся из модного заведения с авангардистским названием «Кухня-ресторан», расположенного на противоположной от больничных строений уличной стороне.

Вдруг дубовая дверь больницы отрылась и на ступеньки широкой лестницы выскользнула тонкая фигура, прятавшая лицо под черным меховым капюшоном, и слепо пошла прямо на застывшего психиатра. Тот тут же безотчетно бросился в глубь сада и там испуганно замер. Умом он понимал, что это всего лишь Рабия – жена Арона, и что ее нисколько не может серьезно занять его персона, просто двинулась к больничным воротам напрямик, минуя аллею. Женщина исчезла в темноте, но врачу А-баеву казалось, что она вернулась и, скрываясь за стволами старых деревьев, постепенно подбирается к нему. Он бросился к монументальному крыльцу клиники, ворвался в вестибюль, зацепился за телефон и принялся возмущаться тем, что его вызвали ночью на консультацию. Сторож пытался его вытолкнуть обратно, на мороз, но А-баеву удалось дозвониться дежурившему в реанимации институтскому другу Иосифу Н-элю. Вынужденный спуститься вниз с третьего этажа на сквозняк вестибюля, Иосиф не возразил против его явления, но негостеприимно заставил его надеть, кроме халата, еще и бахилы.

Арон лежал на хромированном ложе, которое затруднительно назвать больничной койкой. Это сооружение, заставленное со всех сторон мигающей и мерно гудящей аппаратурой, больше напоминало опрокинутое сиденье космического корабля. И само голое восковое тело профессора, опутанное множеством трубочек и разноцветных проволочек, казалось отправленным в многовековой рейд в другую галактику или к черту на рога.

– ...пульс нитевидный, дыхание нарушено, была угроза остановки сердца. Пришлось подключить искусственное дыхание. Ну что тебе говорить, сам видишь, – неохотно комментировал состояние больного хирург Н-эль. – Жаль парня. Ты помнишь его? Хохмачом вроде был. Хотя, хохмил все время, кажется, другой…

Хохмили, впрочем, все, кто представлял первые в прошедшем веке провинциальные команды Клуба веселых и находчивых: и А-баев с Иосифом Н-элем из медицинского института, и Арон Гаипов с Пир-Рустемом Ұ. из Карагандинского университета.

– При чем здесь хохмы? Еще не известно, кто действительно, – прервал Иосифа врач А-баев, потоптался на месте и потребовал. – Ну, вы что-то должны сделать! Надо же его как-то выводить.

– Как ты его выведешь, – позевывая, удивился Н-эль. – Пуля застряла в костях дна черепа, где-то под турецким седлом. Попробуй тронь ее – мгновенная смерть. Непонятно, как все каким-то чудом стабилизировалось. И вообще, как ты представляешь себе эту операцию? Вскроешь череп, приподнимешь мозг с гипофизом? Или перережешь шею и вытянешь ее снизу? Иди отсюда.

– Он нас слышит? – тревожно продолжил свое А-баев.

– А кто ж его знает... Одно ясно – он в коматозном состоянии. Ни живой, ни мертвый. – Иосиф совсем уж раззевался. – Пойдем молоко пить, нам за вредность полагается.

– Сколько он вытянет? – не успокаивался посетитель.

– Ну... месяц, может и год, и два... Кора головного мозга, конечно, со временем распадется, но, сколько людей живет, которым она вовсе никогда не нужна была, – Иосиф уже стал подталкивать посетителя полутрупа к двери. – А все остальное мы можем, как в мавзолее, поддерживать в хорошем ритме: вдох-выдох, кап-кап…

– Убийцы ответят за все! – воскликнул А-баев и невольно сам зевнул.

Стоявший у белой стены Иосиф вдруг развернулся и, прикоснувшись к крашеной белой эмалью трубе, вдруг проговорил утробным голосом:

– И сказал Каин Господу своему: «Да, я убил брата моего, но не Тобой ли внушено мне это злое дело? Ведь Ты – страж всего сущего на земле. Кроме того, если бы Ты не отверг моей жертвы, я не стал бы завидовать и мстить ему».

– Это где ты вычитал? – поразился смыслом библейской цитаты А-баев.

– Иди сюда, вот, прижмись лбом к этой трубе, – пригласил Н-эль.

– Зачем? Это что за труба? – насторожился А-баев.

– Откуда я знаю, просто труба из подвала. Может – паровое отопление, возможно – кабель какой-нибудь в ней, – стал настаивать заведующий реанимацией. – Ну, давай, прижмись башкой.

А-баев неохотно подчинился другу.

– Ну? – спросил торжественно Иосиф.

– Тепло, – удивился А-баев.

– Тепло-то тепло, ты читай то, что за трубой написано…

Иосиф весело покривил губы, готовый уже расхохотаться, но здесь, услышав имена, произносимые А-баевым: «Элиэзер Бен Гиркан, Иошуа Бен

Ханания, Иосеф-Коген, Симеон Бен Натаниэль, Элазар Бен Арах…», – и насторожился.

Между тем А-баев продолжил, сам не понимая смысла произносимого, монотонно взывать к иудейским раввинам:

– Раби Иегошуа Бен Леви Гиллель Шаммай раби Ханина Бен Хахинай раби Иешевав Га-Софер раби Миера раби Иаков бен Карши раби Пихнас…

Иосиф осторожно тронул плечо психиатра и сочувственно спросил:

– Надеюсь, ты не своих поминаешь?

– Так выцарапано здесь – мелким шрифтом. Скорее всего, медицинской иглой, – ответил А-баев и далее понес какую-то явную отсебятину. – Ты же сам сказал: читай. Я и читаю: «Я ходил к маггиду из Межерича рабби Дов Беру не Тору изучать, а смотреть, как он зашнуровывает свои башмаки».

Лысоватый внук венгерского раби, нашедшего вечный покой под карагандинской желтой с камешками землей, чесанул, не забираясь рукой в исподнее, свои яйца – что делал в состоянии крайнего раздражения, и невольно, сдвинув А-баева, снова заглянул за трубу. Может быть, что-то проглядел, но не увидел, не говоря уже о буквах, ни единой подозрительной царапины на подотчетной ему стене. Облегченно вздохнув, он произнес:

– Все! Будка закрыта: «Обед»! Ушел сапожник фиш фаршированный кушать. И ты, врач по мозгам, мозги свои иди лечить.

А-баев произнес вслух зародившуюся в его лобных долях протомысль, которая будет тревожить еще три десятка лет:

– Это знак!

– Ну, конечно! Ты ведь у нас известный мистик, – произнес Иосиф, пытаясь сообразить: продолжил ли психиатр вслед за ним методику практиковавшейся ими когда-то в студенческие времена старинной забавы как бы интеллектуального «дуракаваляния», или у него самого крыша поехала в его же дурдоме.

Ни первый вариант, ни второй реаниматолога не устроил: его сокурсник не мог по определению ни в качестве умника, ни в силу скрытых способностей, присущих идиотам, знать наизусть хасидский список каких-то местечковых польских или литовских цаддиков века девятнадцатого, а то и восемнадцатого. И по безумной физиономии друга было видно, что и с ума он тоже не сошел. Можно было плюнуть с высокой горы на этот прикол – попался, что ж, значит, попался. Но генетическая привычка рассматривать буквально все варианты развития неясных ситуаций заставила Иосифа подумать и о том, что визит к нему психиатра не случаен. Комитет госбезопасности не дремлет. Хотя лучше думать, что у его друга зрительные галлюцинации. Он и стал так думать.

Знакомый А-баеву список странных фамилий был написан на идиш вполне читаемыми немецкими буквами на одном из пожелтевших листков, использованных для оклеивания дощатой стены ординаторской Тихоновского дома для инвалидов психохроников г. Караганды, в котором психиатр

подрабатывал ночными дежурствами. И обнаружен он был А-баевым лет пять назад ровно в полночь, когда он в полном одиночестве, сидя за письменным столом, кидал отточенными карандашами, как дротиками *darts,* в висевший на стене портрет генерального секретаря КПСС, не из-за политической неприязни, а так – от скуки. Написанная маслом картина нисколечко пострадать не могла, но все равно врач на всякий случай особенно не прицеливался. Попадал мимо и вдруг бац – отвалился кусок штукатурки, обнаживший какую-то исписанную бумагу. Заняться в таком учреждении врачу ночью было абсолютно нечем, вот он и прочитал эти имена в образовавшейся штукатурной прорехе раз сто, наверное. Сумасшествие, конечно, но надо учитывать и атмосферу заведения, в котором содержались душевнобольные люди, некоторые чуть ли не с довоенных лет. В таких зданиях медперсонал выкидывал и гораздо более причудливые коленца. А-баев не знал, что тогда он частично ознакомился с наследием пациента Бера Рикмана, арестованного майором НКВД товарищем Шульцем в 1941 году в освобожденном от поляков городе Львове. Бер оказался человеком вредным и упрямым. Весь январь, затем и февраль жаловался военному прокурору, то ему не нравился промерзший бетонный подвал с выбитыми стеклами в зарешеченном окошке, то естественное желание дознавателя добиться признаний вреда от таких, как он, религиозников. И слова-то какие находил в своих кляузах: «...самооклеветания путем систематического и жестокого избиения»! К тому же он так достал майора Шульца своими молитвами вместо раскаяний, что тот стал чаще впадать в эпилептические припадки, и слабовольно не доведя рабби до расстрельной статьи, просто избавился от него, сослав в Караганду.

А-баев почувствовал, как тягостные мысли, связанные с Ароном, перетекли вроде как в загадочную трубу, и уже заявил свободней:

– Эти имена… не просто имена, а послание.

– Ага, – устало отбился Иосиф. – Хорэ[3]. Пошли молоко пить. Я сутки уже пашу, – и двинулся в ординаторскую.

Пить молоко А-баев отказался, как, впрочем, и армянский коньяк, а одним обжигающим глотком принял мензурку медицинского спирта. И сразу тяжело опьянел. Развалившись, как римский патриций, на медицинской кушетке, А-баев заговорил о том, что разрушение мозга – неприятнейшая штука, от пули там, или от дури – не важно. Перешел на слабоумие, затем принялся, как частенько они делали это с Иосифом Н-элем, иронизировать над наступающим старческим маразмом партийной власти. Похохотали. Однако на этот раз, возникшая от девяностоградусного спиритуса разорванность мышления понесла его. И как любого диссидентствующего советского интеллигента вынесла к пламенному призыву протестовать, как ленинцы. Иосиф, страдавший

[3] Карагандинский жаргон. В смысле ─ хорошо. А еще говорили: «Хлюзда на правду выйдет». Что за хлюзда» и почему она непременно должна быть изобличена, совершенно непонятно.

наивностью легкой степени, не успел насторожиться, как А-баев призвал его вместе с ним организовать антикоммунистическую тайную организацию. Чем совершенно неожиданно для себя вызвал в друге вспышку ярости. Зная из ветхозаветных историй как страшны и безжалостны евреи в гневе, А-баев не столько протрезвел, а скорее впал в хмельное уныние, и заткнулся. Да и доктору Н-эль хватило разума вновь увидеть, что перед ним не ГБ-шный[4] провокатор, а болтливый краснобайствующий дружок.

Сокурсники перекинулись еще несколькими незначительными фразами и Иосиф проводил удрученного А-баева до вестибюля больницы. За ними последовала и медсестра реанимации со скальпелем в кармане халата и с надеждой, что все же решится и воткнет холодный медицинский инструмент в спину доктора Н-эля так глубоко, что острие пронзит его сердце… А он, истекая кровью, воскликнет: «Верочка! Прости меня… Я любил только тебя! А то, что я вчера с Ниной кувыркался, то было ошибкой». Не воткнула.

Домой врач А-баев вернулся в пятом часу утра. На двери подъезда, под обманчивым светом спички, он прочитал написанное на листе картона от руки объявление: «Ступени кровью не закапывать!» И вновь его охватил смертельный ужас. Кровавая смерть стояла уже на его пороге. И только в квартире он вспомнил, что это жуткое требование к соседям накарябала его жена, возмущенная тем, что даже городские казахи так и не бросили свою феодальную, циклично-кочевую традицию заготовки мяса на зиму. И каждый год заносили привезенные из родственных аулов оковалки, огузки, кострецы, голяшки на свои промерзшие балконы. Буквально третьего дня он сам, проклиная свою генетическую отсталость от цивилизованности, затащил на свой пятый этаж разделанную тушу мясной лошади, а его чистюля-супруга удовлетворенно затирала за ним половой тряпкой пятна крови на лестничных пролетах. Заглянув на балкон и убедившись, что мясо промерзло, А-баев твердо решил все заново переосмыслить. Прежде потребовалось восстановить хотя бы хронологию последних событий, набросать ее на бумаге. О том, что он нежданно-негаданно начал читать на идише, точнее – на клал шпрахе, он не думал. Не до этого было.

Врач А-баев, разложив на кухонном столике школьную тетрадь с чистыми листами, шариковую ручку, сигареты, затосковал. Сухое перечисление дат и фактов применимо разве что к перекидному календарю, но здесь, по отношению к человеку, зависшему между жизнью и смертью, не годилось, даже являлось просто аморальным. Да и сама по себе фигура Арона была для полноценного осмысления слишком парадоксальна и весьма заметна, не говоря уже о том, что он, пожалуй, был единственным ученым в Караганде, к кому

[4] Одно из уничижительных определений сексотов спецслужб, которые со временем теряют пугающее значение и звучат все комичней. См. М. Бахтина «Рабле и Гоголь» (Искусство слова и смеховая культура).

пробивались элегантные конверты из капиталистического зарубежья. С приглашением поработать в тамошних университетах, а, быть может, и шпионские. В общем, правду писать никак было нельзя. Оставалось одно: написать биографически-расследовательский роман о профессоре Ароне Гаипове. Долго капая в рюмку сорок капель карвалола, А-баев вдруг заметил, что капля истекает не из фармакологического пузырька, а рождается в следующей за ней капле. Вот как! Оказалось, что вовсе не обязательно наливать целую ванну фраз и междометий с местоимениями; достаточно создать капельку, и она разрешится своей капелькой и так накапается слов на целый роман.

Поразмышляв минут так пять, начинающий автор вывел заглавие: «Поединок...». Через пять дней на бумаге появилось полное название произведения: «Поединок человека против смерти во имя жизни». Весьма довольный звучным титулом, он, откинувшись на спинку стула, точнее, уложив свое тело на диван, на месяц успокоился.

Писать роман трудно. Еще более неподъемно читать чей-то текст, весом килограмма два-три в твердом переплете. А следовало, дабы подновить в голове мастерство романописания. Иногда А-баев прохаживался вдоль книжной полки с рассказами Горького, трехтомником Достоевского, книжками писателей Сабита Муканова и Анатолия Иванова. Особенно много внимания у него отняли последние двое советских классиков, которых он, введенный в заблуждение их фотопортретным сходством, вначале принял за одного автора, издававшего свои произведения под псевдонимами.

«Да, тут без псевдонима не обойтись. Иначе меня могут не так понять, да и совесть не позволит от своего имени разглашать некоторые сведения о герое, ставшие мне известными как врачу, – размышлял автор, радуясь, что эта идея ему пришла в голову прежде, чем его примут в Союз писателей СССР. И как-то само собой написалось: «Роман написал медицинский писатель А-баев».

«Литература это тебе не фунт изюма, а целый виноградник. А что есть виноград? Вино, – размышлял далее А-баев. – Вино – это квинтэссенция соков земли. Надо найти соответствующий эквивалент, и тогда писаться будет, и читаться, и питься».

А-баев извлек из портфеля бутылку коньяка, принесенного на алтарь здравоохранения мамашей одного из эпилептиков, вернулся к рюмке, и выпил. И окончательно осознал, что сегодня никому не нужны ни фабула романа, ни сам текст. Все возможные сюжеты давно расписаны, а бесконечная вереница слов только путает мысль, но не пьянит. И вообще, самым идеальным произведением является голая фраза из дневника Федора Михайловича Достоевского: «*То-то пожил*...». Любой рассказ, повесть, роман любого автора можно продлить, развить, усложнить, по крайне мере вставить в него хотя бы одно словечко или запятую, но не в сочинение: «То-то пожил...». Здесь предельно ясно, как жил герой и чем закончил, и какие люди вертелись вокруг

него… все сказано! После таких раздумий новый автор решил писать роман цитатами и афоризмами.

Но все равно с текстом как-то не заладилось. Не то чтобы язык автора не был афористичен, но нужно было первое высказывание повесомей. Но оно, как ни странно, все не рождалось. Хотелось сразу поднять целый пласт этических и эстетических дум. А в голове вертелись только записи из индивидуальной амбулаторной карты больного Арона Гаипова: паспортные сведения, 32 года, жалобы, анамнез… И как ни бился А-баев над строкой (и затылком об дверной косяк, и лбом об столешницу), он был вынужден отказаться от диогеновского стиля и начать писать роман в виде истории болезни. Тем более, что заполненный им единственный медицинский документ, видимо, в природе уже не существовал. Свою амбулаторную карту Арон в конце своего первого и последнего визита в психиатрический диспансер ухитрился стащить со стола дружеского еще ему врача и унести с собой, так что ее все равно надо было восстанавливать, не дожидаясь комиссии из горздрава.

Два значительных события для истории Караганды (да и не только для нее, если мылить глобально) произошли в ночь на знаменитое дуэлью число декабря известного уже года. Первое: ночное землетрясение, колыхнувшееся где-то на юге республики, слегка подвинуло твердь и под промышленной столицей Казахстана, обрушило в забое пласт угля, и позволило надеяться на рапорт о перевыполнении годового плана по добыче. Второе: А-баев, сидя в полном одиночестве на кухне, написал первую строку своего романа: «*А и Б*».

Интересно, что буквы, в отличие от угля, упавшего прямо на ленту конвейера, были выведены с каллиграфической нечеткостью.

Как начинающему писателю А-баеву очень захотелось прочитать начало своего произведения ну хотя бы кому-нибудь. Будь он графоманом, он тут же загрузил бы собственноручно написанными строками своих знакомых писателей и пишущих незнакомцев, но он таковым не был. Поэтому взял и накрутил на телефонном диске длиннющий, бессмысленный номер и, надо же, ему ответили:

– У аппарата доцент Горюйко.

А-баев растерялся и промычал нечто невразумительное, не поняв и сам смысла своего словоизлияния. Но его поняли и переспросили:

– Вы говорите А и Б? Не может быть! Вы откуда говорите?

А-баев вынужден был ответить:

– Из Караганды, – и бросить трубку.

Телу Арона Гаипова с такой дырой в голове да еще при тех лекарствах, которые были введены в него, следовало испытывать приятное состояние пустоты, доходящей до релаксации. А тут мышцы спины, рук и ног до жуткой боли окаменели. Тело попыталось встать с реанимационной койки. И встало с

белой больничной простыни, вдруг оказавшейся топкой, как некая емкость, наполненная остывающим гипсом. Оно с трудом, с острой болью в затылке приподнялось, словно ему пришлось выдирать темечко из застывшей лужицы клея. Поднялось, оставив в ней впавшую в его постельном оттиске эфирную массу самого же себя. Чувствуя, что ему грозит неотвратимое гниение, оно подошло к трубе, за которую заглядывали доктора, словно надеялось вычитать там спасительный рецепт от разложения. Не обнаружив на стене ничего любопытного для себя, оно огляделось.

Тело с раздражением, но весьма изящно выматерилось – как-никак Гаипов заканчивал Московский государственный университет на Ленинских горах. Наконец, с минуту попрыгав на месте, осознало, какое оно сильное, ловкое, здоровое и совершенно свободное от тех душевных мук, которые терзали его последний год. Не задумываясь ни о чем и не оглядываясь на свою страдающую до беспамятства душу, оно зашагало из палаты в укромный безлюдный уголок больничного коридорчика, приспособленного для отдыха медперсонала, хлебнуло там молока из кастрюли с выведенной на ней красной краской надписью «57-обл.кл.», открыло фанерный шифоньер, извлекло из него шубу медсестры Веры, влезло в нее, снова вышло в коридор, распахнуло там окно, и лихо сигануло вниз, в снег, в сад.

Метель кротко взвыла. Ну, совсем как Зинаида Арон в минуты, когда ее французский любовник не понимал ее очередное эзотерическое откровение.

Доцент Горюйко, встревоженный неожиданным телефонным звонком, сел и написал статью об индустриальном шахтерском городе Караганде, в которой была давно вынашиваемая им фраза: «Советская власть сделала украинцев и казахов поистине братскими народами, особенно западных украинцев, для которых Караганда стала вторым домом». И с трепетом отнес ее в газету «Львовский коммунист». И все, кто был знаком с освободительной армией Степана Бендеры и с историей депортации в Казахстан украинских семей, связанных с бендеровцами, стали, встречая автора на улице, благодарить его за то, что он вспомнил всех, кто пострадал за Свободную Украину. Появился в те же дни во Львове в качестве туриста из Европы господин Блюмберг, который тайно, через знакомых, передал от правозащитной организации «Fund Zinaidy of Aron» грант – $ 100 и свои устные комплементы, заключавшиеся в мысли, что за А должно последовать Б.

Душа Арона, спокойно пребывавшая на реанимационной койке в обнаженном теле с перевозбужденным до отечной синевы фаллосом,[5] вдруг

[5] Долгое возбуждение Мужского полового органа молодых людей в предсмертный час случается, как последняя, отчаянная физиологическая попытка особи оставить свое потомство. Когда-то в эпичесике времена на умирающих от ран бездетных героев насаживали девиц, в надежде, что они получат сильное семя. Женщины Рима пытались провести такую операцию со смертельно раненным Юлием Цезарем прямо в здании Сената, но

ощутила жгучее чувство стыда за свое уподобление сатиру. С трудом чуток притупив в себе охватившие его неприятнейшие эмоции, душа Арона наконец сообразила, что находится в больнице, причем в бестелесном состоянии. И что стыдиться ему в этой ситуации просто глупо. Она продолжала тоскливо оглядываться, и увидела, как его тело двинулось из палаты и затем, нелепо одетое, исчезло в открывшемся окне. «Это неправильно! – возмущенно воскликнула душа Арона. – Душа должна отлетать от тела, а не тело бежать от меня! И почему мой труп выбросился из окна? Мог на каталке прокатиться до морга. И почему в шубе?» – принялась далее размышлять душа Арон.

Следует заметить, что Арон Гаипов, несмотря на свои выдающиеся математические мозги, был тугодумом. Но предчувствие тяжелой беды уже охватило душу Арона.

Медсестра Вера, увидев распахнутое окно, встала у подоконника, выкинула так и неокровившийся скальпель, и глубоко и радостно вдохнула морозный воздух. Качнувшись вперед и разглядев в темноте кого-то скрывавшегося в темноте, она с ужасом вскричала:

– Шуба!

В этот же вечер на территории Советского Союза считалка «А и Б сидели на трубе» пришла в голову еще тремстам двадцати семи тысячам семи сотым двадцати пяти гражданам, из которых триста двадцать семь тысяч семьсот двадцать четыре человека были детишками, а один – инвалидом по зрению города Тамбова. Во Львове доцент Горюйко Осип Леонович крепко задумался за ужином над феноменом неизвестного исчезающего остатка «Что осталось в трубе?» Его думы прервал телефонный звонок. Выслушав сказанное кем-то что-то в трубке, львовский ученый встал, направился к книжной полке и раскрыл географический атлас прямо на странице с картой Казахской ССР. Взгляд его нашел Караганду.

– Ну, конечно же! – воскликнул Осип Леонович. – Карлаг! И эта трагедия неизвестного исчезающего на совести Сталина!

Уже на следующее утро доцент Горюйко за фикусом в диетической столовой встретился с двумя близкими инакомыслящими коллегами и сделал заявление о том, что есть новые факты преступлений кровавого режима московских большевиков. Правда, уточнять, какие именно факты, он не стал, сказав только что речь идет об А и Б. За него додумал местный стукач и двойной агент КГБ СССР и ЦРУ США преподаватель английского языка Ковальчук. Допер и сообщил, что в скором времени в Караганде тайно встретятся некто А и некто Б. И секретные службы двух мощнейших ядерных

не нашли у великого полководца фаллос. Еще за год до этого на диком севере империи широкий с зазубринами медвежий наконечник стрелы германца случайно отсек ему сей предмет.

стран опять пошли по ложному следу, прозевав появления Арона-тала. Об Ароне-душе можно было и не думать – нелепо же верить в какое-то автономное существование на земле души. Допустимо представить людские души как мрачные тени в аду или светлые – в раю. Или как приведения в каких-нибудь замках. Но душа, как субъект! Нелепо.

Медсестра Вера без шубы вошла со шприцом в руке в реанимационную палату. «Без шубы» вовсе не означало, что она имела привычку расхаживать время от времени по больнице в верхней одежде, а сию минуту вздумала пройтись без шубы. Просто куда бы она теперь ни шла, она двигалась с неотвязчивой мыслью, что теперь она без шубы. Вошла и второй раз за эту ночь тяжко охнула. Ни на, ни под кроватью, ни за аппаратом искусственного дыхания не было больного Арона Гаипова. Сомнений не оставалось: он и спер шубу! Вот кого надо было скальпелем в живот и вспороть до кадыка, чтобы больше не смел воровать!

И медсестра Вера, полная холодного и обидного понимания, что ей придется не только эту и последующую зиму проходить в осеннем пальто, но и всю жизнь ненавидеть сбежавшего с ее цигейковой новой шубой больного, села и написала письмо родному брату Осипу Горюйко в город Львов. Но только и смогла из-за обильно хлынувших из ее голубых глаз слез накарябать: «А неня нас отогревала в шубе дядьки Данилы. Она еще козлом смердела, и я и грелась и плакала…».

Боль вороньим яйцом угнездилась в груди, и теперь все время тянуло держать левую руку приподнятой, словно подмышкой нарыв. Страха нет, но ты все равно замираешь и стараешься ни о чем не думать. Надо ждать, когда из яйца проскребется черный птенец и пребольно, цепко клюнет в сердце.

Вот тогда и приходит ужас смерти.

А птица в черном оперении уже летит впереди, указывая человеку его последний путь. Некоторые несутся, сломя голову, от нее в сторону в захламленные парки и падают там на беговых дорожках в не стоптанных кроссовках, другие застывают на своих квартирных диванах в долгом изумлении и жалобах, пока их тоже не перекладывают в гроб.

Черная птица всего лишь черная птица.

Надо просто рвануть за птицей и, догнав, вырвать из нее перо побольше, воткнуть в подходящую картофелину и запулить получившуюся штуку в небо. Падая от облаков, картошка с пером совершает потрясающие пируэты. Летом не бывает лучше забавы, если, правда, рядом в каком-нибудь доме не расхаживает незнакомая тетка в розовом бюстгальтере, за которой можно подглядывать. Но даже если это грозовое с забахромившимися кружевами

наконец стибрено с бельевой веревки и торжественно вывешено на верхушке дерева за забором, все равно не хочется отказываться и от пернатой картофельной игрушки. Потому что стоишь босиком и лицо запрокинуто вверх.

«Безмятежность...» – вот какое нечаянное слово пришло на ум А-баеву. Он попытался и так и сяк приложить, привязать, присобачить его к своему роману, но не сошлось, не соединилось, не приклеилось. За буквами А и Б вписывалась только В и далее по алфавиту. Но такой расклад был уже кем-то определен, а А-баев не желал повторяться.

На диване приятно отдыхать, лишь свободно вытянув ноги. Упирающиеся в валик пятки, к огорчению, сводят на нет всю прелесть возлежания. Упор ног в диванный боковой ограничитель вызывает, пусть незначительное, но мышечное напряжение, что беспокоит. Вызывает смутные воспоминания о построении на гарнизонном плацу. Утешением может служить лишь мысль, что ты просто выстаиваешь очередь в сон.

После скандальной перестрелки в подвале школы, миллионный город как-то подозрительно быстро забыл о диком для советской действительности случае. Буквально через пару дней ни об Ароне, ни о Пир-Рустеме, ни о какой-то там дуэли никто больше не говорил. Это еще более встревожило А-баева, и он решил активизировать свое расследование до максимума, и решился посетить безутешную почти вдову профессора, дабы поискать, разнюхать что-нибудь важное в самом гнезде конфликта.

– Смешное слово – дуэль, – сказала Рабия, услышав от А-баева это самое словечко.

– Реанимация – еще смешнее, – тут же нахамил ей незваный визитер, оправдывая себя тем, что был другом Арону, а не этой даме.

Рабия промолчала. Заткнулся и А-баев. Так они играли в молчанку достаточно долго, чтобы окончательно возненавидеть друг друга. До такой степени оголенности чувств, когда стали возможны самые открытые вопросы.

– Зачем ему это понадобилось?

Прозвучавший вопрос для А-баева, как впрочем и для всех посвященных в эту глупую историю карагандинцев, являлся явно риторическим. Но Рабия действительно не понимала. Ведь она не изменяла мужу. Да, так случилось, что она раз случайно оказалась в постели с Пир-Рустемем, но измена здесь абсолютно ни при чем, была только злость на Арона, которого она всегда любила и любит.

– Я не знаю.., – ответила сама себе Рабия, и после долгой нервной паузы произнесла. – Он в тот день, перед уходом в... в школу, я ведь не знала, что туда.., в тот день он сказал мне, что вы возьмете себе его финский плащ. Если хочешь, возьми квитанцию. Да вот она, – и протянула А-баеву смятую бумажку.

– Это еще зачем!., – оскорбился А-баев. – Какая еще квитанция? Я способен сам купить себе плащ!

– Нет, подожди, – заволновалась красивая Рабия. – Он еще добавил: хорошо бы, если бы ты взял плащ сам и именно из химчистки. Не понимаю, почему он отнес его туда. Плащ совершенно новый. Он и одевал-то его один раз. Ты же знаешь, он иногда говорил совершенно непонятные, даже странные вещи.

«Вот он след!» – мысленно воскликнул тогда А-баев.

В карманах ароновского плаща ничего не оказалось, и под подкладкой не было вшито никакого послания. А-баев чуть ли ни под микроскопом разглядывал одеяние приятеля в поисках пятен крови, на худой конец хотя бы слюны, но все тщетно. Почему, почему Арон именно ему оставил свой плащ?! Должна была быть какая-то разгадка. А может быть, это просто дружеское пожелание: не мокни, мол, дружок, не чихай и не помри не ко времени? А возможно, полувдова таким образом остроумно решила неприятную для нее проблему похода за теперь ненужной вещью.

«Нет, нет. Эта вещь хранила в себе тело потерпевшего, – размышлял А-баев. – И как плащаница Христа она должна хранить хоть какую-нибудь да информацию».

А-баев решил проанализировать всю ситуацию с самого начала. Вырвал из рук приемщицы химчистки отданную ей квитанцию, внимательнейшим образом изучил и ее. И снова произвел ее обмен на плащ. И хотя к нему больше никогда не прикоснется его хозяин, хоть затаскай эту непромокаемую вещь до лохмотьев, все равно она остается плащом Арона. Рукава были чуть растянуты в местах, приходившихся на локти человека, Арон был обладателем округлого брюха, и нитки на пуговице, приходившейся на пояс, были вытянуты. Между тем говорить о телесном следе на плаще не приходилось.

Имя – вот что впечаталось в ткань дождевика.

История жизни Рабии разительно отличалась от городской биографии Арона, сына рано почившего в бозе профессора Гаипова и его супруги – крупного партийного работника, родившей единственного сыночка и следом сделавшей восемь абортов, в конечном итоге, доведших ее до рака матки с неоперабельными метастазами в легких.

Рабия родилась в засыпаемом песками мангышлакском ауле с единственным колодцем с солоноватой водой. У нее было семь старших сестер и трое младших братишек. Ее ожидал брак в семнадцать лет и артрит к сорока годам. Во времена Советского Союза существовала практика поиска одаренных природой детей. Специалисты из республиканских столиц буквально просеивали злаки детской нивы от высокогорных памирских кишлаков до подтонувших в болотах литовских хуторов. И невероятно гибкая семилетняя

Рабия оказалась в Московском хореографическом училище и больше не возвращалась в родной аул. Непременно о ней помнили, но отец после того как замужние дочери родили еще с пяток девочек, стал путаться в девичьих именах, а мать, малограмотная правнучка последнего хивинского эмира, страдала сильной близорукостью глаз. Вначале прервалась переписка – Рабия скоро забыла родной язык, а ей писали на казахском. Да и совершенно не оставалось времени не только на письма, но и на попытки вспомнить лицо матери. С утра до позднего вечера уроки, репетиции, уроки, репетиции, уроки, репетиции... Хореографическое училище для девочек – лишь фигура речи, а по сути – казарма с самой жесткой, с щипками до синяков под ребрами, муштрой. Для детских воспоминаний, слез и фантазий оставалась только ночь. Но уставали так, что засыпали, еще не коснувшись бледной щекой подушки. Если, конечно, кто-то не станет рассказывать кошмарные истории о Черном-черном лесе и... черный гроб! Или о пирожке с человеческим ногтем в мясной начинке. Однажды девчонки стали шептаться о Самой Страшной Тайне мастерства. Тайна раскрывалась столь медленно, что более-менее связанная картина прорисовалась в стриженой головке Рабии лишь в тринадцать лет. Старшие девчонки, взяв с нее ужасные клятвы и почти полный флакончик французских духов, неожиданно подаренный ей самой Галиной Улановой,[6] наконец, под пыльным лестничным пролетом подтвердили: да, Тайна высшего мастерства по правде есть.

Кратко эта балетная фольклорная история состоит из следующих разрозненных фрагментов. Когда-то, чуть ли не двести лет назад, судьбу балетных примадонн стала определять Дамская коллегия.[7] Причем, среди членов этой тайной коллегии никогда не было и нет самих балерин и танцующих, и ушедших со сцены. Но безымянные представительницы коллегии всегда присутствуют в училище и выбирают будущих белых лебедей балетного искусства. Перед таинственным посвящением юные создания должны добровольно отказаться от некоторых вещей, одна из которых –

[6] Единственная в мире балерина, которой при жизни были установлены сразу два памятника: в Ленинграде и Стокгольме, что ей не понравилось: «Это мне наказание за мое любимое одиночество».

[7] Дамская коллегия, тайно созданная императрицей Екатериной Второй, состояла из представительниц аристократических родов Российской Империи. Коллегия занималась не только благотворительностью, но и политической деятельностью, в частности благодаря ее усилиям Россия первая в Европе предоставила женщинам избирательное право. В начале двадцатого века левое крыло Коллегии составили дочери местечковых евреев, получивших прописку в столицах благодаря желтым билетам проституток. Одна из них, засранка такая, стреляла во Владимира Ильича Ленина. Они же были на корню уничтожены комиссаром НКВД т. Ежовым, между прочим, евреем. Дам он особенно ненавидел уже в силу того, что был еще и педарастом. Добрался он и до дам консервативного центра Коллегии, несмотря на то, что в советские годы они ушли в глубокую конспирацию и, скрывая знание европейских языков и геометрии, стали работать уборщицами, кастеляншами и вахтерами в театрах и музеях. Начал чистку товарищ Ежов с технического персонала Большого театра, но тут потерпел непоправимую неудачу. И сам пошел под расстрел. Уж очень Иосиф Виссарионович Сталин любил балет. Дамской коллегии удалось сохранить свое влияние, правда, особенно заметное в области искусства, исключая живопись. Слишком уж художники, особенно скульптуры, много пили водку. В журнале чертами лица в рабочих мешковатых халатах с многозначительным комментарием: «Товарищ И. В. Сталин на встрече с коллективом гардеробщиц Большого театра указал, что начинается с вешалки».

беременность. Посему и выбор падает на день первых менструаций – старшие говорили об этом, не смущаясь, Рабия же густо покраснела и затрепетала. Засим вообще впала в ужас, когда услышала, что кандидатку ведут в самые-самые глубокие подвалы училища, где из каменной кладки торчат кости то ли монахинь, то ли куртизанок; и там укладывают на малахитовую плиту и ее собственной менструальной кровью мажут живот и тринадцать раз проводят по нему веником. По другой версии – прямо на лобок кладут метлу. И если избранница проходит все ритуалами, то путь ей на вершину славы открыт. Рабия испуганно и восторженно спрашивала:

– И Майя Пли...

Старшие ее тут же, ущипнув, оборвали:

– Никаких фамилий, дура!

– И она? – не успокоилась тогда Рабия.

– Да, – подтвердили ей.

– И Екатерина? – продолжала расспрашивать Рабия, законно считая, что за духи «Шанель № 3» она могла узнать и больше.

Оказалось, что все ее любимые танцовщицы – жрицы ее поклонения, прошли обряд посвящения в Дамской коллегии.

На последний вопрос Рабии: «А как мне найти этих дам?», она услышала последний ответ: «Если выберут, сами тебя найдут, дура. Они говорят секретные слова: подмести перед тобой?».

Через год Рабию зазвала к себе в подсобку кладовщица интерната баба Птаха и, угощая еще не распробованной всласть Москвой американской кока-колой, принялась расспрашивать о ее девичьих тайнах. Рабия сразу поддалась властной нотке сухой старухи. Никаких паролей баба Птаха не произносила, ее предложение было деловым и таким же сухим, как и она сама. Сердце девушки сильно-сильно забилось, и она тут же согласилась.

Не было никаких кошмарных ритуалов, и вся встреча с дамами прошла не в каком-то подземелье с костями, а в бухгалтерии, где Рабия поставила свою незрелую подпись на непонятных ей бумагах. Единственное, что оказалось правдой, так истребованное у нее согласие на бездетность. Через день она была принята в труппу Большого театра и из нее аккуратно, но жестко стали кроить Жизель. И танцевать бы ей скоро партию Белого лебедя, если бы она семнадцатилетней – перст судьбы! – не выскочила замуж за учившегося в аспирантуре МГУ Арона Гаипова. И так втрескалась в него, что очнулась от любовного дурмана только на третий год супружеской жизни в Караганде. Как в кругу музыкантов год без репетиций равен трем годам непрерывного падения в яму, пусть даже и оркестровую, так и в балетном мире гений музы Терпсихоры дохнет в кордебалете. Вылетевшая из балетной пачки Рабия стала учить танцам детей во Дворце горняков с высокими колоннами перед фасадом, отличающимся от колонн Большого театра, над которыми взлетела квадрига,

всего лишь тем, что на них стоят статуи шахтера, инженера со свернутым листом чертежей, чабана с ягненком, певца с домброй, колхозницы со снопом и Ночного Семенова.

Ничего, конечно же, сверхъестественного в именах нет. Это просто гениальная игра, которую когда-то в ветхозаветные времена придумали умные люди. И, судя по таким именам, как Добрыня или Сидящий Бизон, можно предположить, что это была веселая затея. Да и имя самого Арона Сулейменовича Гаипова требовало, между прочим, свои перманентные объяснения, что, оно, де, кораническое, а значит и вполне казахское и тому подобное. Застреливший его приятель, дувшийся на то, что этот ученый муж кликал его кратко «Пи», даже пытался острить в ответ, называя профессора Арон Соломонович, но выходило как-то не очень... Как, впрочем и склонность Арона величать людей несколько экономней в звуках, чем того желалось бы. Некого аспиранта Геннадия, человека в годах, он, к примеру, звал просто «Дорогой Г.», что, видимо, на подсознательном уровне отрицательно проецировалось на сознании его коллеги по кафедре Пир-Рустема Ұ., вызывая в нем злобу. Конечно же, к человеку взрослому, особенно подчиненному, надо бы обращаться уважительно, без похабненького приуменьшения на нижнем уровне.

Получи за это пулю в лоб!

Игра в имена явно мистическая. Иные прозвания, написанные арабскими буквами или на иврите, читаются как многозначные числа. Другие – как заклинания, отговоры, предостережения, догадки, ощущения... А имена-иероглифы иногда равнозначны судьбе. Клички и псевдонимы тоже идут в ход, без них не обходятся ни актеры, ни революционеры, затевающие иногда самые-самые увлекательные игрища.

Если бы нам удалось сохранить правила имен, мы жили бы, как дети. И если обижали друг друга, то только каким-нибудь прозвищем: Жиртрест или Психичка. Но в каждой компании есть такие типы, которым ума, что ли, не хватает играть, как все. Эти особи рода людского придумали регистрацию имен, а потом додумались заменять имена порядковыми номерами. И разрушили уже только этим бесконечный сладкий Именинный век.

Сегодня уже никто не помнит правил этой великой забавы. Правда, дети еще иногда играют в именование, но разве можно сравнить песочные часы с механическим хроно, показывавшим на циферблате не только земное время, но движение планет и звезд.

Древо всечеловеческого именословия несет код земной цивилизации. И возможно, не одной.

Тела живых и мертвых разнятся настолько, что мы их различаем даже на расстоянии, с закрытыми глазами.

С именами не все так просто.

С трупами еще шевелящиеся люди поступают так, как им заблагорассудится. Одно весьма и весьма известное тело закопали в землю и прогнали по свежей могиле в знак особой тайны десять тысяч лошадей, другое сожгли, и пепел развеяли над целым материком-полуостровом, третье забальзамировали и выставили напоказ.

Имя человека в одном случае, сколько его не затаптывай в грязь, все равно засияет, как бриллиант в навозе, или в другом – сколько не отмывай, все останется ржавой жестянкой.

Как-то А-баев, повышая квалификацию в институте усовершенствования врачей в Москве, забрел на Выставку достижений народного хозяйства – ВДНХ, и его взгляд привлек к себе манекен пожарника в новой форме. Пытливый посетитель экспозиции тут же отметил бравый и сытый вид борца с огнем, с таким не страшен был и не выключенный дома утюг. Но тут подошли два типа в синих ситцевых халатах и, не обращая внимания, что молодой любознательный человек продолжает осматривать экспонат, раздели демонстрационный предмет, утащив с собой даже каску. Но не на того напоролись! А-баев как изучал пристально пожарного, так и продолжал глядеть на него. Тут подошел еще один тип и спрашивает:

– Что вы тут рассматриваете, товарищ?

А-баев, чуть помедлив, ответил не улыбкой на ехидную улыбку, но веским словом:

– Пожарника, – ответил вежливо А-баев.

– Здесь нет пожарника, – заверил посетителя подошедший умник.

– А это кто? – и указал на человекоподобный чурбан.

– Это манекен, – уже занервничал приставший к нему зануда.

– Естественно, это манекен, но манекен пожарника, – не согласился с ним А-баев.

– При чем здесь пожарник? Он же голый, на нем даже таблички нет! – усмехнулся москвич.

Здесь А-баев оглядел вопросившего и строго спросил:

– А вы кто?

– Я – дизайнер. Я здесь работаю как художник-оформитель. И мне лучше знать, кто здесь кто!

– А тебя как звать самого? – пристально вглядываясь в московское лицо дизайнера, ехидно поинтересовался А-баев, и услышал в ответ лишь явную грубость:

– Не твое дело!

– Вы в бане тоже дизайнер? – теперь пришла очередь А-баева усмехаться.

– При чем здесь баня? Ах, вот вы о чем! Философ тоже, студент небось.., – как бы догадался оформитель выставки пожарных.

– Я – врач, – культурно отвечал А-баев.

Пришлось и безымянному художнику-оформителю вернуться в культурные рамки дискуссии:

– Да, действительно, этот манекен был одет в форму пожарника, но сейчас это снова просто манекен.

– Чей манекен?

– Как чей? Ничей!

– Общий?

– Да, общий!

– Если общий, то значит и пожарника.

– Нет, это не пожарник! Пожарника унесли! И хватит мне голову морочить, чукча!

– Во-первых, я – казах из Казахской Советской Социалистической Республики, – твердо и с достоинством ответил будущий автор романа. – Во-вторых, сняли и унесли форму пожарника, а его манекен вот он – стоит перед нами.

– Я тебе покажу.., – не то с угрозой, не то приглашающе произнес дизайнер, и потащил А-баева в сторону, где насадил блестящую каску на другой оголенный манекен. – Вот он пожарник, а там не пожарник.

– У вас что: два пожарника? – убил его окончательно очередным вопросом А-баев.

К этому драматическому моменту вокруг его пожарника собралась внушительная толпа, и все как один уставились на розоватый манекен. Одна женщина принялась рассматривать таинственный образ в театральный бинокль. И все, главное, спрашивают почему-то не у сотрудника выставки, а у А-баева: «Вы совершенно уверены, что это пожарник?»

И тут А-баева как осенило, и он воскликнул:

– Это Семенов.

– Какой Семенов? – охнула одна миловидная женщина.

– Ночной Семенов.

Все замерли в изумлении, лишь та, с оптикой, стеснительно подтвердила:

– Да, это он.., – и робко шагнула к неоформленному демонстрационному туловищу человека. – Ночной...

– Он же голый! – возмутилась уборщица со шваброй. – Как вам не стыдно!

– Все они голые на одно лицо, – знающе заявила третья женщина.

Возникла неловкая пауза. Но затем взвыл дизайнер:

– Прекратите!

А А-баев решительно отмел всякие фривольные поползновения лучшей половины человеческой толпы:

– Голых Семеновых пруд пруди. А это Ночной Семенов.

Конечно же, снова влез в эту сложную ситуацию художник-оформитель, назвавшийся иностранным словом «дизайнер», неожиданно с тревогой вопрошая:

– Надеюсь, этот ваш Семенов не?

– Ночной Семенов, – поправил его А-баев.

– Да, Ночной Семенов, он не работает пожарником?

– Не знаю, не знаю. О нем никто ничего не знает, – ответил А-баев и быстро скрылся из выставочного зала.

Мокнущий А-баев несгибаемо шел сквозь дождь с плащом в руках, и продолжал распутывать детективную нить: «Ссылки на завещания почивших и этнические традиции несостоятельны, из каких бы побуждений это не делалось, все равно все это делалось потому, что покойники так безответны и так зависимы, что грех не потревожить свою фантазию! – двигал свою мысль дальше криминалист-романист. – А вот имена никому не подвластны. Они недоступны, как воздушные шары, из которых повыпадали вслед за мешками с балластом и сами пассажиры. Плывут себе в синем небе и хоть бы хны!»

Вернувшись домой, А-баев бросил ароновский плащ на спинку стула и стал названивать жене, скрывшейся, как только он основательно засел за свой роман, вместе с доченькой, во второй комнате. Обычно, жены боятся сжатых кулаков мужей, сдвинутых бровей, зло-пьяного шатанья, а вот Софью ужасно пугал пишущий супруг. Быть может, она опасалась, что он возьмет ее медицинскую карту, да и поменяет ей диагноз? Или пописав, пописав, уйдет как, Лев Толстой, из дома?

А-баев решил пожелать дочери спокойной ночи, но игрушечный телефон, соединенный проводом лишь с другой такой же игрушкой в детской комнате, связал его с какими-то непонятными номерами, хотя быть такого не могло! Странным случаем подключилась междугородняя линия, и неприятный голос произнес:

– Слушаю.

– Я куда попал?

– Квартира доцента Горюйко. С кем имею честь говорить?

А-баев машинально назвал свое имя.

– Вы мусульманин? – был вопрос.

– Какая разница! – рассердился романист-медик. – Я – атеист.

– Атеист мусульманский?

– Советский атеист!

Из этого бестолкового и ненужного никому разговора ничего не выяснилось, разве что нервозность абонентов. А тревога возникла, когда украинский собеседник спросил:

– А как там у вас насчет А и Б?

А-баев тут же бросил трубку. Встал и беспокойно начал прохаживаться по квартире, громко проговаривая: «Да что же это такое... Почему?! Да лучше бы!... аферисты!»

Просидев в полном одиночестве с шариковой ручкой всю ночь, и сосредоточенно куря сигарету за сигаретой, А-баев размышлял над описанием внешности своего героя: роста он был высокого... рост его был высокий... высок он был ростом... В этих фразах была правда, но все они не удовлетворили эстетический вкус романиста и, во-вторых, почему «был»? Звучало, конечно, возвышенно, но слишком прямолинейно.

«Роста он есть высокого», – вдруг в приступе озарения написал А-баев и широко улыбнулся, чувствуя прямо-таки носом всю свежесть и глубокую значимость такой характеристики облика персонажа.

А-баев откинулся на спинку стула, хотел было с наслаждением раздвинуть руки в стороны на высоте плеч, но внезапно почувствовал, что кто-то стоит за его спиной. «Быть того не может! – попытался вскричать он застывшим льдинкой языком. – Пятый этаж... жена спит, небось, подперла дверь стулом... ребенок... нет, не пролезет под дверью, уже большая... Тогда кто?!»

Медленно преодолевая страх, взорвавшийся адреналином в пояснице, А-баев оглянулся и увидел висевший в воздухе ароновский плащ. И в нем явно кто-то стоял. Гость, и как следовало предположить, погруженный в свои мысли.

Минут через десять гость заметил мерцавший ужасом взгляд досель так никем не пуганного домоседа, и сказал глуховато голосом Арона:

– Не помешал? Работай, работай, я просто постою.

– Ты откуда? Из больницы? – с трудом выдул из гортани вибрировавшие звуки А-баев, словно был не романистом, а каким-то кларнетистом.

Арон отрицательно повертел головой и ответил:

– Нет, из Англии, – и обстоятельно, по-лекторски монотонно принялся рассказывать о каких-то королевских садах.

Основатель Королевского сада Кью сэр Уильям Тернер был необыкновенно плаксив, но в отличие от английского дождя, протянул не долго, и сад перешел во владения лорда Капеля, по прозвищу Француз из-за пристрастия к фруктовым деревьям.

Сад Кью объединял два королевских именья. Западную часть сада отделяла от собственно Кью Хауса миленькая извилистая дорожка, непритязательно именуемая Тропой любви. Планировал сад гений ландшафтной архитектуры Бриджемен, сохранивший дубовые рощи, но допускавший и посадку живых изгородей. После смерти короля Георга III сад увял и зацвел лишь стараниями сэра Уильяма Хукера. Вообще саду Кью на Уильямов везло. Последний Уильям произвел на свет и сыночка Хукера, много

путешествовавшего и тащившего в сад все, что ему ни попадалось в разных Индиях. К примеру, рододендроны. Странные настолько, что гувернантки строго требовали от своих воспитанниц обходить их далеко стороной. На то были причины. Как-то этим самым Хукером-вторым была построена оранжерея для показа диковинной водяной лилии. И что же? Вначале у оранжереи проявились чувственные колебания воздуха, затем оттуда стали слышны сладострастные звуки. Спохватились только тогда, когда со всей очевидностью выяснилось, что лилипут принцессы Элизабет вступил с этой самой лилией-иностранкой в противоестественную связь. Неприятная история.

Пробираясь меж кустов азалии, Арон выбрался к домику над крошечным прудом. У самой воды в тени сплетенного из ветвей зеленого свода был накрыт чайный стол на две персоны. За ним прямо, как угол, устроился человек в смокинге и цилиндре. Лицо его, без сомнения, было знакомо Арону, но развернутое к нему профилем, с расширенным моноклем глазом оно могло ввести в заблуждение кого угодно. И Арон, не решившись окликнуть англичанина, остановился. Британец забеспокоился, что проявилось в заходившей выпятившейся вперед челюсти. Арон сдвинулся в сторону, дабы встретиться глаза в глаза с восседавшим перед ним типом, а тот поспешил снять головной убор джентльмена и устроить на бедрах. При этом какой-то предмет тюкнулся изнутри в плоский верх цилиндра. На что последовал и английский комментарий:

– Фак!

Профессор, сын интеллигентных родителей, между прочим, педагогов, и внук профессора Гаипа К. Арон Гаипов, личность, без сомнения, высокой культуры, представлялся всем, с кем ему ни приходилось сталкиваться, человеком исключительно терпимым. Сделав вид, что он не заметил этой нелепой попытки что-то скрыть от него, он лишь кротко спросил:

– Мы с вами встречались?

– Ноу андестенд ю.

Арон, повинуясь неясному чувству родства к этой недружелюбной фигуре, усиленного знакомым акцентом в его якобы английском, приблизился к краю столика. Плотно установил свои ладони на столешнице, еще более внимательно изучил англичанина. Подданный британской короны наоборот принялся от узнавания уклоняться, вертя жилистой шеей, отворачивал от него лицо.

– Воротничок жмет? Какой у вас размер? Не сорок ли шестой? – вкрадчиво спросил Арон.

Британец дернулся всем телом, сдвинув локтем фарфоровую чашку с блюдцем. Она опрокинулась, и разлившийся чай закапал на брюки человека с моноклем.

– Дие! Увот ю ниид?! Ай ин май хоум! Гет ап! – проявил тут внезапную горячность британский сквайр, вскочил и попытался, прижимая одной рукой цилиндр к низу живота, уйти.

Однако Арон оказался быстрее и схватил его за плечо. Сквайр попытался вырваться, отбиться, но от упорного нежелания полностью развернуться лицом к напавшему на него иностранцу, получилось у него все неловко. Он лягался левой ногой и вопил на ломанном английском уж совсем что-то несуразное:

– Систер, бравер, хелп ми, плиз! Корперейшн! Финанси!Мани ю гайв! Марде, килл!!!

– Ах, хелп, говоришь? Марде, говоришь?! – рассердился и Арон, схватив любителя чаепития за челюсть, с силой повернул к себе. – А ну, покажи свою марде!

И тут на него нагло глянул и второй, правый глаз этого, с позволения сказать, англосакса с выраженной монголоидной складкой, а из пулевого отверстия на переносице вытекала желтая сукровица.

Арон схватил собственно себя. Как нелепо это звучит – свое тело, сбежавшее из реанимационного отделения Карагандинской областной больницы в украденной у медсестры шубе и теперь посиживающее во фраке за чашкой чая в Королевском саду Соединенного королевства. Скандал.

Поняв, что оно разоблачено и схвачено окончательно, тело, со слов Арона, обмякло, обреченно и вяло уселось на ближайший стул. Арон, придерживая его одной рукой за шею, другой налил себе в чистую фарфоровую чашку чаю и пригубил индийский напиток.

Пролетела черная птица.

– Вот что, дорогое мое тулово, – не ощутив вкуса чая, произнес Арон. – Ты немедленно вернешься на место.

– Это куда же? На кладбище?

Арон рассвирепел и процедил сквозь зубы:

– На место, значит, на место!

– Я не собака!

– Ах так! – Арон вскочил со сжатым кулаком.

– Ты что, мазохист?

– В смысле?.. – Арон опустил занесенную над собственной башкой руку. – Сам ты!..

Арон любил себя и весьма нежно оберегал свое лицо, руки, пятки от всяческих посягательств на них, проявленных даже в простецком желании соседа воспользоваться его мускулатурой для перемещения вместе с ним пустого шкафа. Подумав и несколько успокоившись, профессор сказал себе:

– Надо вернуться. Еще есть шанс. А так вне клиники... ты просто без меня скоро начнешь разлагаться и что мне тогда делать?

– Извини, чувак, с какой стати я должен разлагаться? Я не пью, не курю, прогуливаюсь по Тропе любви. И, представь себе, прекрасно себя чувствую без всяких там твоих вечных, душевных катастроф и сомнений. Надоело!

– При чем здесь душевные катастрофы? В реанимации...

– Перестань! Ты прекрасно сам знаешь, что нет никакого шанса в твоей засратой реанимации . Слышал, что Еська говорил? Так-то, брателло. И давай закончим на этом. И вообще, я решил выбрать себе душу посвежее, чем ты. Я, может, теперь почти лорд.

И как рассказал далее Арон, его тело, сунув руку под стол, вытащило из-под него какого-то парализованного старикашку и уложило его на стол. Немощное существо шмякнулось на стол желтой вяленой рыбиной, и единственным открытым глазом косилось на Арона, пуская кривым ртом пузыри.

– Вот, рекомендую блюдо. Сыроватое, чуть с душком, но готовое к употреблению. Богат, чрезвычайно богат. Аристократ. Предлагает мне свою душу, – пританцовывало и похохатывало ароновское тело вокруг лорда . – Представь, какой чудесный тандем мы с ним составим. Там ему девочку одну лет семи доставили... ну, не важно откуда, дурочку, как раз по его изысканному вкусу. Бедняга, весь слюнями изошел, глядючи на нее, ну а теперь, когда я разрешу его душе влезть в меня, мы повеселимся! И ему кайф, и мне, естественно. А его пустой трупик можешь забрать с собой в реанимацию! На положенные, не спорю, похороны. Надо же что-то вынести с венками из Университета.

Аристократ на столе от этих слов пришел в неописуемое возбуждение, от которого слюна с мокрых его губ потекла ещё обильнее, и даже зашевелился один палец на руке, да так, что привязанный к нему серебряный колокольчик звонко тренькнул.

Арон непроизвольно потянулся к колокольчику, чтобы прервать сей явно нежелательный звон, но тут, поняв, что через минуту его отношения с собственным телом превратятся в публичную сцену, поспешил уговорить:

– Уйдем скорее иначе... изувечу, скотина!

– Да ты что?! Ты чего это надумал драться? Эта девчонка никому не нужна, никто и не хватится. Сирота, дебилка, подумай! Да я тебе тоже приятных эмоций подкину, буду двоедушничать. Клянусь, все будет шито-крыто. Ну?

– Заткнись!

– Тоже мне нашелся праведник! Что я тебе такого гадкого предложил? Не говном же обмазаться. Секс на грани фола! Прелесть, как возбуждает! – и,

вернув цилиндр на положенное ему костюмным этикетом место, похвастался, указывая пальцем вниз. – Можешь взглянуть. Как кол.

Арон весь перекосился от накатившей брезгливости к своему телу и проговорил с отвращением:

– Значит, не вернешься? – уточнил Арон. – Ты – предатель!

– Это я-то предатель? А кто меня под пулю подставил? Сам-то ходишь без дыры в голове!

– Я, наверное, был болен..,– непонятно зачем стал оправдываться Арон.

– Болен он был… Да врешь ты все. Когда Бог, вдумайся, ты, потусторонняя тень, Сам Господь Бог, велел душе Моисея выйти из старческого тела в смертный час, то душа его упиралась до последнего! Потому, как считала, что нет во всем мире тела чище, чем тело Моисея. Я, говорила, люблю его, и выйти не желаю. А ты же просто брезговал мной, презирал. Вот она правда-то.

– Это смешно. Никто не брезгует своим собственным телом, – стал оправдываться Арон, а когда все же сообразил, что здесь и сейчас, а главное – самым наглым образом вся вина за всю эту немыслимую коллизию перекладывается на него, снова рассердился. – Хватит трепаться! Пошли в больницу.

– Не могу, – неожиданно потерянно прозвучало в ответ.

Арона удивила вдруг появившаяся нотка огорчения в голосе своего телесного собеседника, и он спросил мягче:

– Это почему же?

– Я... я шубу потерял. Не могу же я в больницу без шубы вернуться. Да меня там за вора примут!

Арон купился и на этот откровенный треп и озадачился.

– А где ты ее оставил?

Его собственная рожа изобразила гримасу беспомощного раздумья:

– А может быть, ей деньгами вернуть? Но у меня нет денег... У меня ничего нет теперь, даже совести. Совсем бессовестный стал. А совесть делает из двуного животного истинного человека. Да лишенный совести человек уже никто, он отца родного, родину продать может! – уже кипятилось ароновское тело, пятясь задом к густым кустам.

– Ты мне мозги не пудри, – опомнился Арон.

– Какие мозги? Какие у тебя мозги-то могут быть? Ну ты комик! Ну кто ты такой? Никто. Так: фу-у, воздух, тень потусторонняя, привидение унылое. А я вот он! Стою весь такой тяжелый, с мозгами и печенью и очень голодным пузом. Я даже следы на земле оставляю. Вот видишь, меня могут даже схватить, потому что я есть. Эй, вы чего лезете, вы чего хватаете! Отпусти руку, сволочь! Да, я не лорд! Я – профессор из СССР Арон Гаипов! Позовите посла! Англичане вонючие, что ж, казаху по вашей Англии и пройти нельзя? Чуть что, сразу казахов хватают! Я не позволю!

Видимо, хорошо вышколенная охрана парка была вызвана звоном колокольчика на скрюченном пальчике настоящего лорда. Арон, естественно, последовал за своим преступным телом за решетку местной тюрьмы.

Как-то, еще в студенческие годы, А-баев шел к своему другу Исе по кличке Кавказ по улице пригорода, где проживали сосланные чеченцы, и увидел старика в папахе, в галифе и невероятно вычищенных сапогах с высокими голенищами, собиравшемуся переходить ее. Тут из-за угла выскочила машина и, обрызгав старца водой из лужи, умчалась дальше. Горец с холодной ненавистью проводил взглядом промчавшуюся мимо него легковушку, медленно стряхнул капли грязной воды с колен и, выпрямившись донельзя, сказал порусски: «Чечено-ингушская нация самая многострадальная!»

Тюрьма стояла века, и Арон в поисках профессора А. Гаипова чуть промахнулся во времени и оказался во времена сэра Роберта Пила, когда bobbys еще щеголяли в Скотланд-Ярде в полицейских фраках. Его появление на ночной, чуть освещенной газовыми горелками, вечерней улице викторианского Лондона мгновенно вызвало ужас и отвращение. Шесть дам в длинных до каблуков платьях с криком: «Призрак Белого рыцаря!» завизжали. Мужчины стали открещиваться. А бакалейщик Стивен Маленький заорал во все горло: «Да что за чушь вы мелете! Никакой это не белый рыцарь! Это мой кузен Стивен Кривой. Да вы знаете – он утонул на день Святого Свитуна. Только почему-то без бороды. Эй, Стив, ты зачем себе обкромсал?» «Да, – подумал Арон. – Видимо, я действительно похож лишь на блеклую тень, а эта сволочь остался человеком. Я же лишен даже лица... хотя, слава Богу, и срама тоже не проглядывается». Обрадовался последней догадке, и ретировался от приставучего Стивена Маленького в свое время, в котором в потусторонние силы никто уже не верил и призраков не замечал.

Нескоро, но заключенное в камеру с душем тело было им обнаружено. Оно заглядывало в «Playboy» и блудило, онанировало.

– Прекрати! – закричал Арон.

Тело, не припираясь, прервало свое постыдное занятие и впало в состояние, схожее со ступором.

– Знай, я во всем сознаюсь! – заявил Арон.

На что впавшее в сонливость тело вяло проговорило:

– Я знал, что ты в душе просто мелкий стукачок... погоди, на сходняке толковище устроим.., – окончательно перейдя на не свойственный прежде профессору Арону Сулейменовичу Гаипову воровской жаргон.

Угрозы, высказанные ненормированной речью его собственным языком, только подвигли Арона на скорейшее объяснение с полицейскими чинами, но никто из них не обратил на него никакого внимания, словно они его не слышали. Пожалуй, и не видели. Он пытался достучаться до них даже через

экраны компьютерных мониторов, густо наставленных на столах местных пинкертонов, найти с ними контакт, но все бесполезно. И виртуальная реальность оказалась слишком реальной, чтобы вместить в себя всю достоверность мироздания.

Вдруг Арон почувствовал, что смертельно устал. «Пусть отвечает за свои проступки носильщик разума, – бормотал он себе под нос. – Мозги, как анатомический орган, остались в черепной коробке тела, а значит, тело мое дееспособно и должно быть судимо по всем земным законам. А ты – лишь тень потусторонняя... Впрочем, если разум рассматривать не банально, как способность какого-то органа рассуждать, а как логос, то и я есть носитель мирового разума, как часть деятельности абсолюта в его сверхсовременном движении в области чистых мыслей... Но кто он такой!? Он – это я, а я – субъект, а он только инструмент моего познания, лежит там на нарах вне моего самого познавательного акта, значит и он реальное бытие? Как и я – субъект. Нет, такое имманентно-трансцедентальное отношение мне не по душе. Так можно и до интенциональности докатиться».

Арону пришлось по душе, что последние его мысли были озвучены в любимой им изысканно-шутливой манере, которую его жена называла просто ерничаньем. Быть может, она характеризовала его обыкновение высказывать свои мысли вернее. Какая-то неправда в них присутствовала.

Арон еще со школьной парты не верил во всякое гегельянство и ницшеанство тоже. А вот надо же, допустил с тех пор в свою башку неимоверное количество философских цитат. Так уж получилось, слишком много без разбора книг прочитал. И, ценивший любую оригинальную мысль, даже кулинарную, он презирал любое пустозвонство. А самому-то... нравилось словоблудить. Да похохатывать.

Пока Арон вязал чужие мысли со своими, действительно, вывернутыми комментариями, его тело прикинулось окончательно безжизненным. И как тело неизвестного захоронено на тюремном кладбище. Из могилы оно прорыло подземный ход под проливом Ла-Манш и бежало прямехонько в Европу.

– Помоги мне, пожалуйста, – попросил Арон.

– Как? – удивился А-баев.

– Надо тело вернуть в больницу, ты же все-таки врач, есть же у вас бригады по принудительному лечению. Он ведь черт знает, что может натворить.

А-баев окончательно пришел в себя от пережитого испуга и со значительностью в голосе заявил:

– Ты что веришь, что ты отлетевшая от тела душа? Может быть, ты еще в бога стал верить? – и хохотнул. – Ты же ученый! Высшей математики теоремы всякие решаешь!

Арон помрачнел и ответил:

– …есть такие решения, о которых в компании умных ученых принято не говорить. Иначе, если начнем учитывать... хотя бы последние открытия квантовой физики.., то с материалистической наукой будет покончено. А это нам надо? Так что давай для ясности вопрос о существовании души оставим в покое.

– Покоя захотел? – съехидничал А-баев.

Арон представил себя в тупой студенческой аудитории и с привычным лекторским терпением продолжил:

– Что касается моей оболочки, то она просто физическое тело и подчиняется всем физическим законам, характерным для биологических образований. В нем нет ничего из ряда вон выходящего. Правда, оно очень быстро бегает. Со скоростью поезда, не останавливаясь, может километров пятьсот… Возможно, больше.

– Что ты от меня-то хочешь? – спросил А-баев и иронично добавил. – Чтобы я забор поставил?

Арон не ответил. Тягостная пауза затянулась, и А-баев хотел было сострить насчет шлагбаума и Шлагбаума, но потом подумал: а при чем здесь Семен Семенович Шлагбаум? Как милый престарелый психиатр остановит мчащийся, как паровоз, тело? И запутался.

– Изолировать его надо. Вы же, психиатры, я слышал, практикуете такое. И потом, ты знаешь, в каком он виде бегает-то? Совершенно омерзительном... всегда торчащим.., – Арон запнулся на элементарном матерном слове, хотя прежде даже любил в мужской компании выбраниться погрязнее. –... этим. Стыдно.

– Ну, не знаю… – замялся дурдомовский врач. – Для этого нужны особые показания: алкоголизм, наркомания, ну… буйное помешательство, на худой конец. Здесь же мы ничего не наблюдаем. Приапизм[8], к сожалению, тоже не требует принудительной госпитализации. К тому же, если твое тело так быстро и неутомимо бегает... Как я его поймаю? У меня астма. Потом, я роман сел писать...

А-баев все говорил, отнекивался, Арон же молча заглянул в исписанный двумя буквами листок перед писателем и заметил:

– Такое сочетание возникает, когда предикативное высказывание выступает в качестве меньшей посылки и является утвердительным, а его предикат служит субъектом всего разделительного высказывания, и условное высказывание является общим. Например, первый модус: Всякое А есть Б. Всегда всякое Б есть или В, или Г. Следовательно, всякое А есть или В, или Г.

[8] *Приапизм* ─ патологическое состояние, характеризующееся возникновением длительной эрекции не связанной с половым возбуждением. Сам термин возник по имени греческого бога Приапа – бога садов и плодородия

Второй модус: Всякое А есть Б. Никогда Б не есть или В, или Г. Следовательно, всякое А никогда не есть или В, или Г.

А-баев, хотя ничего и не понял, восхитился сложностью математического заключения. И воскликнул:

– Сам придумал?

Арон ответил:

– Нет, дурик. Аль Азербайжани. Этой теореме тысячу лет. Замечательные были времена для математиков. Все ясно, просто, логично. И никаких там… Впрочем, если взять лосевскую формулу выведения сознания, в которой А диалектически получается путем ограничения от всего иного и противопоставления ему. Допуская, что мы перебрали все, что было, есть и будет, мы имеем не одно А, но все А и не-А, какие только могут быть. И чтобы диалектически вывести это все, надо ему что-то противопоставить и чем-то ограничить, надо его чем-то отрицать. Стало быть, все может быть противопоставлено только самому же себе, ограничено только самим же собой… Ладно, уже поздно. Дверь за мной можешь не закрывать.

– Нет, нет, постой! – воскликнул с отчаяньем А-баев. – Я никак не могу. И потом, почему я? В конце концов, у тебя есть... жена! Поручи ей. Пусть заявление в милицию подаст. Сейчас женщины, знаешь, любого мужика за пояс заткнут.

Арон неохотно произнес:

– Не хотел говорить, но, понимаешь, впрочем, это вполне естественно. Прежде чем зайти к тебе, я заскочил домой. Я чувствовал, что никакого разговора снова не получится, но что меня окончательно убило... она, понимаешь, стирала... Стирала и выжимала, стирала и выжимала.

– Это ничего не доказывает! Она тоже страдает, уверен, стирая, думала о тебе.

Но Арон холодно перебил его:

– Ну, я на тебя надеюсь. Пока.

– Да не переживай ты так! – воскликнул А-баев и пошутил. – Попадешь прямо в рай, а тело твое – в ад.

– Никто не может сказать, что А будет осужден, а Б – спасен[9].

Паривший стоймя плащ упал на пол и застыл, если так можно выразиться о свалившемся на пол обыкновенном, хотя и дорогом, импортном дождевике. Застыл там плащ или не застыл, но своим естественным видом опять укрепил материалистические убеждения врача и романиста А-баева. Он решительно пихнув носком тапочка пустой плащ:

– Да кто тебя видит!

– Видят, – был ответ.

[9] А. Гаипов повторил мысль Х. Борхеса, заметившего, что на протяжении всей «Божественной комедии» Данте мы видим осужденных на вечные муки, кающихся и достигших благодати людей.

На следующее утро А-баев вновь поспешил в райотдел милиции выяснять, как продвинулось дело об убийстве Арона Гаипова.

– Дело о покушении на жизнь профессора, трупа-то нет, – поправил его следователь, который, впрочем, им уже не был, а просто зашел в здание отделения за своей трудовой книжкой.

– Что вы говорите.., – огорчился А-баев.

Бывший милиционер доброжелательно пихнул кулаком в бок любознательного гражданина и заманчиво хмыкнул:

– А пивка?

– Пожалуй.., – как бы безвольно согласился А-баев, сам же, внутренне, предельно сосредоточившись, можно сказать, встал в стойку: соглашусь, мол, а там за кружкой хмельного все и выведаю.

И действительно, в пивной он узнал о многом странном. Самым загадочным фактом явилось то, что почему-то сапоги третий год не выдают.

В городском морге работал институтский знакомый А-баева – высоченный, худой казах Жаксыбаев, с оригинальным прозвищем Длинный, покуривавший коноплю еще со времен студенческих строительных отрядов и в стройотряде же женившийся на русской студентке лечебного факультета Баевой. Невеста ростом пришлась своему жениху ровно по пояс, что послужило поводом для А-баевской остроты о том, что она уже с рождения была наполовину Жаксыбаева. О понравившемся тогда всем гостям на свадьбе каламбуре даже сам остряк забыл, но какой-то след в памяти молодоженов остался. И теперь они воспринимали А-баева, не помня почему, как соединяющего человека. А от такого разумные пары не отворачиваются.

Приятеля-патологоанатома судмедэкспертизы А-баев нашел за моргом, сидящим на штабеле досок-горбылей и покуривавшим частыми глубокими затяжками заново набитую папиросу.

– Приятно видеть друга на своих двоих, – пошутил Жаксыбаев.

– Привезут еще, Длинный, – так же незамысловато, но юмористически ответил А-баев.

Библейская метафора, представляющая женщину как сосуд греховности, способна ввести человека с воображением в посудную лавку, где женщины неровными рядами расставлены на полках, прилавке и под ним. Такие фантазии позволяют прослыть личностью с оригинальным взглядом на жизнь, если он чуть поднапряжется и увидит в форме горшка знакомую простачку, а заварной чайничек сравнит с образом... не важно чьим. Если же продолжить в этом же духе, то можно добраться до сентенции, утверждающей, что греховность перетекает из человека в человека, подчиняясь закону сообщающихся сосудов.

«Из человеческого сосуда в сосуд человеческий положено перетекать только семени. И разве не на семени и замешана глина наших телес?» –

размышлял А-баев, входя в след за Жаксыбаевым в двери мрачного хранилища, у порога которого валялись окровавленные скатерти вперемешку с битой ресторанной посудой.

А-баев и судмедэксперт прошли к каменной столешнице с желобками, на которой лежал очередной человеческий организм.

– Где он? – взволновался А-баев.

– Вот он. Лежит, как миленький, – продемонстрировал хозяин печального учреждения труп стриженного налысо подростка.

– Ты кого мне показываешь? – раздраженно вопросил А-баев. – Где Гаипов?

Жаксыбаев цаплей завис над юным покойником, затем над приступившим к криминальному расследованию визитером. Задумался и, недоумевая, сдвинул мертвеца к краю операционного стола и улегся рядом с ним, заметив:

– Признаю, это не он. Но допускаю, что он все же здесь. Еще есть свободное место.

А-баев с трудом устроился рядышком не с хладным, а с обкуренным резидентом морга, да и то лишь боком.[10]

Можно было вздремнуть, но сомнения с новой силой обрушились на А-баевский череп, грозя выдавить из него мозг до состояния действительно пустого горшка. «Есть, есть все же какая-та прелесть в смерти. Да вот только больно холодно. Так и радикулит запросто схватишь», – раздумывал А-баев. Полежав так с минутку, он встал с нар смерти – каменным холодом все-таки пробило поясницу.

А-баев решил до самой смерти в морге больше не появляться.

Из пяти студенческих лет Арон месяц отдал отчаянному пьянству. Краткость этого забвения не позволила ему пропить прекрасный свитер с двумя стилизованными фигурками оленей на груди. Как-то, сумрачно перемещаясь в компании тундровых животных поздней осенью, он поскользнулся на голом льду перекрестка и был сбит тормозившей машиной. Упал студент затылком прямо на дорожный бордюр, и сознание вернулось к нему только в каком-то чрезвычайно холодном помещении. С низкого потолка свисала еле мерцающая лампочка. Арон оказался лежащим совершенно голым на жестком ложе. Голова раскалывалась строго по законам глубокого похмелья и, естественно, первая мысль была о медвытрезвителе. Он толкнул лежащего рядом с ним мужика и спросил полусвистом-полустоном:

– Эй.., чувак?..

Сосед ему не ответил, храня молчание даже после того, как вопрошавший стянул с него простыню.

[10] Таким образом, экспериментально было доказано, что труп А. С. Гаипова в морге отсутствует.

– Ладно.., не важно, – пошевелил губами Арон, сполз с ледяного лежака на пол и, пошатываясь, двинулся к окованной железом двери, собираясь грохнуть кулаком о ее жесть и тем самым выразить свой протест против его задержания. Но дверь на удивление оказалась открытой и вывела его в длинный, тускло освещенный коридор, в конце которого у больничной тумбочки на стуле сидел санитар в белом халате и очках, дужки которых были замотаны изолентой.

Санитар встретил спокойным взглядом нарисовавшуюся перед ним фигуру, укутанную в серое полотно, и так же равнодушно проследил, как это приведение подобное существо усаживается на корточки у стены прямо напротив него. Через строгую минуту взаимного созерцания очкастый дежурный открыл свою тумбочку и достал из нее стакан и початую бутылку вина. Аккуратно налил себе сто пятьдесят грамм и ровными глотками выпил, затем отправил и стакан, и бутылку снова в свой крашеный белилами фанерный сейф.

С титаническим усилием преодолевая свою природную стеснительность, юный Арон попросил налить и ему. Санитар молча выполнил его душевную просьбу. Так же молча они распили еще одну бутылку плодово-ягодного крепленого напитка.

Наконец, когда мозги окончательно прояснились, промерзший насквозь Арон спросил санитара:

– Слушай, ты не видел тут мой свитер, с оленями вот тут и тут?

– Видел, – ответил тот чуть с обидой. – А на что бы я кир купил?

Арону стало стыдно, чувак пустил свитер не на жлобское что-то, а на портвейн, и он решил ретироваться.

– Ну... тогда я пойду.

– Куда?

– Домой.

– Нет, только на свое место.

– Слушай...пока ментов нет.., а?

– Не могу. У тебя какой номер? – уже строгим голосом спросил санитар. – А ну, подними лапу.

И тут только Арон заметил привязанную к большому пальцу правой ноги бумажную бирку.

– Так я что?... В морге, что ли? – решил пошутить Арон и хихикнул.

– Номер восемнадцатый. Вот иди, Восемнадцатый, ложись на свое место.

Если бы в этот коридор проникал хотя бы тонюсенький солнечный лучик или бы доносился какой-то звук живого мира, то, пожалуй, Арон вмазал бы по очкам этому санитару и отправился бы в первую же пивную. Но загробная атмосфера этого замкнутого низкого пространства сковало всю его разбавленную суррогатным портвейном волю и вбила в его позвоночник лом тяжелой неуверенности.

– Но ведь я живой.., – промямлил Арон. – Я вот шевелюсь...

– Еще ничего конкретно не известно, – ответил хранитель тел районного морга и вытянул из тумбочки аккумулятор и моток электропроводов. – Я ведь сейчас только на стадии эксперимента. Вот когда выйду на теорию, тогда все и прояснится с вашим шевелением.

В трупохранилище санитар присоединил провода к первому же мертвецу и пустил по ним ток. Покойник вздрогнул.

Арон внимательно проследил все конвульсии подопытного и саркастически заметил:

– Вам надо трупы не в морг сносить, а на электростанцию. И там перезаряжать, как батарейки.

Санитар оглядел его с недоумением и недоусопший Арон решил схитрить:

– Это гениально. Если хочешь, можешь и меня чуток перезарядить, чтобы я пошел отсюда, – одобрил он экспериментатора и бодро добавил глупое словечко. – Небось...

Санитар снова обиделся и проговорил с горькой ноткой в голосе:

– Ты меня за чокнутого принял, что ли? Перезаряженный покойник еще не значит живой. А ну, ложись на свое место!

Что тут оставалось делать Арону, как действительно не дать этому электрику мертвой материи в ухо и бежать из покойницкой в его медицинском халате.

Вот живет какой-нибудь человечек. Нормальный во всех отношениях. И главное: ничем не болеет. И вдруг амплитуда его жизни ни с того, ни с сего вскинется к нестерпимому жару и сразу же обрушивается в темный хлад. При этом сам-то он не слабеет и не потеет, и щеки его по-прежнему белы, и посему никто и не подозревает о роковых температурных колебаниях, раскачивающих его бытие. Есть соблазн такое состояние списать на полосу неудач. Но на ней невезения ясны, как швы на одежде: если разошлась нитяная строчка по промежности брюк прямо в автобусе, и тут же контролер, а бедолага занят тем, чтобы никто не заметил прорехи на его заднице, а не оплатой проезда, то это только штраф.

В сумеречные, хлябкие дни гриппа люди мокнут и хворают: ноют мышцы и молоточками стучит боль в висках. Самоуверенные горожане переносят болезнь на ногах, и если не таскаются на службу, то что-то обязательно деятельное предпринимают дома. «Почему?» – как-то лет десять назад задумался А-баев, когда сам основательно загрипповал. Впрочем, он тогда еще не был автором, а просто врачом, поэтому сел и написал научную статью в журнал «Здравоохранение Казахстана».

Статью из журнала вернули со стандартным замечанием: «Нет ни одной мысли». «Это не аргумент!» – не на шутку рассердился А-баев и написал в редакцию гневное письмо с протестом против вынесенного редколлегией резюме.

В журнале привлекли к экспертизе его статьи другого рецензента, и скоро к карагандинскому врачу из столицы пришел новый отказ: «В связи с неправильным оформлением сопроводительных документов, а именно: присутствием на первом экземпляре текста треугольной печати больницы вместо круглой, редакция вынуждена отказаться от публикации вашей статьи». Но А-баев не успокоился и принялся недоумевать еще сильнее. Хотя ситуация была абсолютно прозрачная. Ну не мог медицинский журнал, известный на весь Советский Союз тем, что с 1934 году имел в составе своей редколлегии т. К. А. Маркса и т. Ф. Р. Энгельса, разместить на своих страницах писанину под названием «Инфекционное поражение құта человека».

Египетские жрецы времен фараонов считали, что человек состоит не только из тела и души, но и из имени и собственной тени – *ба* и *ка*. Древнейшие сакральные тюркские предки казахов не отрицали значения в жизни человека и его имени, и его тени, но выделяли еще и пятый элемент: *құт*. Они понимали и понимают это слово и как свою жизненную силу, дух, и состояние истинного бытия. Но наиболее архаичным и мистическим толкованием *құта* является перевод этого термина как «эмбрион, зародыш».

Бог знает почему, дипломированный врач, успешно сдававший в институте экзамены по нормальной и патологической физиологии организма человека, по анатомии: и такой, и другой, и третьей, и по царице всех анатомий – топографической, решил, что в родившемся человеке присутствует еще один – его же зародыш. Эмбриональное начало его жизненной силы, духа, счастья, благополучия, достоинства, величия, блаженства, наконец. И если құт, как говорят казахи, улетучится из индивидума, то он становится не более чем тряпичная кукла, охраняющая суррогаты достоинства, заменители счастья и протезы духа.

Понятно, что врач А-баев не мог согласиться с простонародным представлением об испарении құта, не спирт же! Для него очевидным было, что патологические изменения в құте, как и в любом другом органе, возникают как следствие неблагопритяных внешних и внутренних факторов при реактивной мобилизации его компенсаторно-приспособительных механизмов. И в этом случае он усмотрел явный инфекционный фактор. Причем вирусы инфекции, разрушающей құт, ни в какой микроскоп не углядишь. И симптомы не усмотришь. Разве что видишь, что человек лишился куража... И слава Богу, больше не дурит!

А-баев, алкая хоть какого-то признания своего открытия, занес отвергнутую светочами республиканской медицины статью своему приятелю, в те годы еще только кандидату физико-математических наук Арону Гаипову, но

уже считавшемуся гениальным ученым. Тот статью прочитал и, что обидно, повторил дословно первый отзыв из научного журнала. «Это не аргумент!» – снова вскричал А-баев, – Когда-нибудь вы все поймете, как я прав, но будет поздно! Прибежите ко мне, а я знать вас не захочу!»

Лучше бы он перестал знаться с Ароном сразу после той ссоры, потому что сидя над своим романом, он вдруг понял, что открытая им хворь способна передаваться и самым простым воздушно-капельным путем. Но самое главное: не надо было вообще браться за перо. Достаточно просто выписывать рецепты. Ведь всем известно, что краткость находится в кровосмесительной связи с талантом. Однако и трансплантация цитат в плоть романа не удалась. Швы расходились, наружу перла вата.

Важно было выбрать верный тон, жанр романа. Писать так, как писали великие реалисты Золя и Горький. Но здесь все карты путал сам герой романа со своим раздвоением: душа туда, тело сюда, имя переменил, а тень вообще сбежала от героя. Литературный прием с таким вывертом далеко уже был не нов, истоптан, изнасилован сотнями писак, и от него несло старческой мочой импотентного постмодернизма. Нет, думал, А-баев, лучше буду я творить, как творили классики. Но опять же, классики литературы тоже бывали разные...

И А-баев, не мудрствуя лукаво, благоразумно продолжил написание своего романа уже не как биографическо-расследовательско-медицинский том с цитатами, а в виде отдельных букв. Из отдельных букв не сложится картинка летающего по всему свету души и бегающего по долинам и горам бездушного тела. А главное, текст из разрозненных букв есть алфавит, а что может быть более всего образцом классики, чем не букварь?! Литерами вкупе со знаками препинания можно было охватить все события и географию в придачу, если рассылать послания в виде букв и многоточий в разные стороны.

К удивлению А-баева, один адресат ему ответил. Доцент из Украины О. Л. Горюйко. Осип Леонович в своем письме предположил, что на трубе осталась «И...». Казалось бы, версия была предельно ясна, но почему не просто «И», а «И» с многоточием? Явно ученый-литературовед на что-то намекал, мол, эта история имеет скрытое продолжение, которое еще не время озвучивать.

А-баев тут же поделился в ответном письме со своим новым другом сногсшибательной идеей писания романа не словами, а просто произвольно выбранными буквами, ведь если герой, скажем, А или Б, то почему действие, которое он совершает, не может быть И...? А затем и Х, Л, Д и даже Ь. Доцент Горюйко в быстро завязавшейся переписке, намекая на какую-то свою заинтересованность, горячо одобрил его новацию, но настаивал, что в основе такого творческого эксперимента должны лежать не казахские ғ и і, а украинские буквы: ґ и і. Присовокупив к ним убедительные примеры из сочинений Шевченко и Сковороды. В конце он просил занять его сестре Вере двести рублей на шубу. Последняя фраза своей меркантильностью глубоко оскорбила возвышенные чувства романиста, и сказав: «С какой стати?», А-

баев прервал общение с доцентом. Он решил биться с тайной один на один, пусть даже на то уйдет вечность. Но и это не открыло свет в конце тоннеля, хотя А-баев врубался киркою мысли в скалу загадочных событий не слабее, чем все горняки Караганды в угольные пласты. Все равно оставалось непонятным, кто же теперь его герой: душа Арона Гаипова или его тело: «Всякое А есть А. Всякое Б есть Б. Следовательно, всякое А иногда не есть Б, а есть Г», и решил задачу простенько. Душу Арона Гаипова он будет называть А-Ароном, а тело – Г, т.е. Гаиповым.

Перебирая томики обязательных для дома интеллигента писателей, А-баев, в конце концов осознал всю бесперспективность и алфавитного стиля. Всюду герой жил, мучился, умер. Все время выходило одно и то же: Ж-М-У. Что жму, зачем жму? Как бы туго ни сжимали горло автора сомнения в необходимости задуманного сочинения, он не оставлял новаторских поисков. Презрев и топтаную-перетоптанную телеграфную азбуку Морзе, отлежавшись с недельку на диване, заваленном пожелтевшей поосеннему листвой смятых бумаг[11] и газет, он перешел к творению романа просто точками. Хотя с точками в голову так и ничего не явилось нового, кроме опять же анекдота о том, как один мужик в баню ходил, разделся, а там то ли горячей воды не оказалось, то ли шаек, затем выяснилось, что вообще не туда попал.

«Первый густой целительно-целинный снег лег на тополиную аллею бульвара». Именно так описал А-баев карагандинскую ночь перед дуэлью. Чуточку вычурно, что простительно для крупного романиста. Но как прошелся по снегу еще целый Арон Гаипов – ну никак не выписывалось под его пером! Кругами ходил ли, шел подпрыгивая или семенил? И тут и выручили постмодернистский стиль написания романов. Медписатель этот эпизод целиком написал точками и многоточиями. Оказалось, ими можно точнее отметить на карте путь Арона Гаипова до средней школы № 3.

Следует вспомнить, что о той примечательной дуэли в подвале школы писал роман еще один карагандинец – настоящий писатель Ш. Кусаинов.[12]

К счастью, он пренебрежительно относился к своему писательскому архиву, и от его романа остались несколько разрозненных машинописных листов с не менее вычурным и претенциозным текстом. Надо, конечно, выбросить и их, потребность полнее осветить то темное утро на бульваре Мира перед дуэлью, не смотря на точечное творчество А-баева, осталась по-прежнему актуальной. Что ж, взглянем на один из сохранившихся отрывков. Беды не будет, всего пять-шесть строк.

[11] Отчего-то домашнему коту нравилось мочиться именно на творчество А-баева.
[12] Членский билет Союза писателей СССР за № 14213.

ять. Среди деревьев прошел, волоча ноги, потрепанный человек. Держался он поближе к парковым скамейкам, заглядывая и вороша под ними неимоверно длинной, как просящая длань, красной рукой. А затем шагал дальше, оставляя на белой, рвущейся плоскости следы. Двуногого искателя пустых бутылок Арон не увидел, точнее осознанно не заметил, зато принялся вглядываться в его следы. В них, замирая, колыхалась палая листва, словно жабры промерзающей рыбины. Арон попытался расширить след, как спасительную прорубь. «Нет, – рас

Оно, конечно, цитирование Ш. Кусаинова, как мы надеялись, особо-то и не осветило, зато явная вымученность фраз проиллюстрировала, как тяжело и долго писался этот роман.

Арон совершенно неожиданно для себя стал необычайно чувствителен к чужой душевной боли. Жгла, как соль. Еще бы, походи без кожи, слинявшей, естественно, вместе с его телом.

Боль имела свои чувственные и чувствительные формы знакомых людей. И чем четче они проявлялись в этом формате, тем более размытыми становились их лица и имена. Казус, да и только.

На одиннадцатый год супружеской жизни бездетная чета Гаиповых решила усыновить ребеночка. Собственно, на этом настаивала Рабия, сам же Арон банально не возражал, выдвинув лишь одно условие: приемный мальчик должен быть уже не в пеленках. Утром заехали к давнему приятелю в психиатрическую клинику проконсультироваться на всякий случай. Врач А-баев одобрил это благороднейшее желание, но не преминул заметить, что в детдомах содержатся не просто дети, а брошенные своими матерями несчастные существа, что свидетельствовало о скрытых дефектах, унаследованном гене ненормальности. Ведь очевидно, что полноценный человек своего ребенка никогда не бросит – немыслимо перешагнуть через фундаментальный инстинкт материнства. Хотел было заговорить и о пагубности покушения на высокие критерии библейско-кораничесих установок, но вдруг встретился взглядом с Рабией и ужаснулся тому, с какой ненавистью иногда может смотреть на тебя женщина. У него аж язык присох к небу, и спина похолодела.

В праве Гаиповых усыновить приютское дитя никто не сомневался. Семья обеспеченная, морально устойчивая, одних положительных справок Рабия насобирала целую папку, но вдруг по дороге к детдому Арон остановил машину и заявил:

– Мы не можем.

– Я знала.., – сказала Рабия и беззвучно заплакала.

– Пойми, – терпеливо продолжил Арон. – Я пытался принять, но... все это укладывается в довольно-таки двусмысленную схему христианского Олимпа. Давай рассмотрим еще раз исходные данные. Начнем с самого начала, с Бога-Отца и Бога-Сына. Если бы на них оканчивался счет, то это еще было бы терпимо. Но ведь есть еще третий персонаж – Святой дух. Отец – как безначальное Первоначало, Сын – как Абсолютный смысл, и Дух – как Святое движение жизни. Посуди сама, ну что ты все время плачешь? Вдумайся. Если Сын-Смысл рожден, то лишь динамикой Первоначала, то есть Святым духом. Но что такое животворящий толчок, как не следствие прежде появившегося Сына-Смысла. Возможно, христиане интерпретировали идею Отца-Бога-Сына таким образом, чтобы запутать евреев в их изначальных попытках предать обструкции саму идею христианства, но, в конце концов, сами запутались. Католики считают, что Третья ипостась происходит от Первой и Второй, а Православные – только от Первой. Все, правда, сходятся в том, что Три лица равночестны и проницаемы друг для друга и при полной взаимной прозрачности обладают самостоянием. Меня не пугает, что и сам ребенок, да и все остальные неребенки будут естественно знать, что кроме меня-отца в наших взаимоотношениях есть еще и какой-то дух. Это даже хорошо, когда над семьей парит святое движение. Я готов служить отцом-первоначалом, но признать, что просто третий человек в моем доме, сын он мне или нет, и есть абсолютный смысл моей жизни? Нет, не могу. Не могу врать ни тебе, не смогу и ему.

– Не надо, Гаипов, – ответила Рабия Арону и перестала плакать. Стоило Рабие настойчивей повести себя в те минуты, они бы не вернулись домой одни. Но Рабия определенно поняла, что речь идет уже не о ребенке! Она ведь не идиотка, как хотел бы ее видеть Арон. Он намеренно рвет самую болезненную нить ее души, чтобы она опять закричала ему в лицо: «Ах, ты сволочь!». «Это я сволочь? И почему это?». И снова все заговорили о нем самом ранимом, сверхчувствительном и уникальном.

А между тем Арон всего лишь забавлялся подвернувшейся под ход его мыслей игральной костью. Подбрасывал, катал, накрывал. Замечательная мыслительная азартная игра. Выкинуть три раза пятерку не всегда удается. Рабие следовало с небольшим скандальчиком сдернуть его на землю, но ей стало горько-горько и обидно. А она всего-то произнесла: «Не надо, идиот».

Что «не надо» – не понятно. Эта неопределенность в ее желаниях ужасно бесила Арона. Ею Рабия иногда доводила своего супруга до действительно идиотского состояния. К примеру, она могла с искренним, как ему казалось, жаром убеждать его, что никакого подарка ей на десятилетие их свадьбы не надо. На день рождения надо: тут Арон был уже начеку и всегда что-нибудь дарил ей. А вот по поводу этого весьма сомнительного юбилея… И поступил

так, как говорила ему жена, чем ее, оказалось, насмерть обидел. По крайней мере, так она ему потом заявила. Ну, не идиотизм ли?!

И Гаиповы вернулись с полпути домой. Там Рабия прошла в гостиную комнату, легла на край большого ковра и, перекатываясь, завернулась в него и затихла. А Арона ожидала в кабинете уже не первый день, тяжелая и округлая, как гиря, тоска.

Есть такой стальной шар, которым рушат стены старых домов. Бывает этот снаряд, раскаченный стрелой подъемного крана, так врезается в кирпичную кладку, что намертво застревает в ней. Тогда машина натужно отъезжает и вырывает этот нехитрый инструмент разрушения из стены. В кабинете у Арона по причине весьма ограниченного книгами пространства никак не отъехать назад и не вырвать из его груди гнетущий снаряд.

Арон, убедившись, что его тело, следуя традициям английской аристократии, бежало в Париж, рванул за ним, да так резко, что, промахнувшись, оказался в Риме. Наткнувшись под сводом из подстриженной митры и кипариса на статую Аполлона Бельведерского, Арон, грешным делом, решил, что провалился и по времени до цезаревских дней. Несколько озадаченный этим кульбитом, он прошелся по аллее и стал по мраморной лестнице подниматься от лимонной террасы к апельсиновой вверх по склону одного из холмов Вечного города и наткнулся на обелиск с какими-то явно фараоновскими кошками. Или он продолжил и далее падать в глубь веков, или мир еще пару тысяч лет назад трансформировался в настоящий дурдом. Высившееся прямо перед ним здание, окруженное еще строительными лесами, все же подсказывало ему, что он не в Древнем Египте. Здесь Арон и решил устроить засаду на свое бегающее по европам туловище с его мозгами, вдруг забыв, что оно, как биоматерия, не в состоянии перемещаться по шкале времени, а ведь раньше его великолепная память никогда не подводила.

Душа Арона требовала отдохновения среди этих райских кущ, но прямо из кустов на него вывалился старец с округлой седой бородой в громыхающих доспехах и рубанул его покореженным мечом, довершая коварнейшее свое нападение воплем: «Во славу гроба Господа нашего Иисуса!» То, что клинок без кровавых следов проскочил сквозь врага, уйдя острием своим метра на полтора в землю, нисколько не смутило рыцаря. Оставив оружие, он ловко из-под своей брони вытянул явно антикварный крест и принялся тыкать в Арона распятьем.

– Изыди, сатана!

– Да не сатана я, – ответил Арон, удивляясь, что его, приличного человека, представили в образе нечистой силы. – Я математик, если хотите.

Воинственный старик с трудом перевел дыхание с той, выражаясь высокопарно, медлительностью, которая отдает дряхлостью, но знается с вечностью. Встав ровно, он воскликнул:

– Правом Romanus Summus Pontifex, я, наследник апостола Петра, велю тебе, нечистая сила: изыди! – и снова принялся совать Арону прямо в лицо распятого маленького золотого Христа.

– Эй, поосторожней.., – отклонился Арон.

–Изыди! Изыди!! Изыди!!!

Арон мысленно согласился с придурковатым дон-кихотом и хотел было мирно удалиться из этого сада, но так славно было в нем, что хотелось признаться во всех прегрешениях сразу и бесповоротно, лишь бы не гнали:

– Хорошо... признаюсь, я – сатана, – а затем, действительно черт его дернул, он с угрозой добавил: – Я пришел смутить твою праведную душу, старче, – и граблями вздернул над жертвой свои руки.

Поживший немало, да, знать, и повидавший всякого на свете верховный жрец христиан в ответ азартнейшим образом воскликнул:

– Ты? Меня?! – и расхохотался.

Смехоподобные кривляния и маленькие злые глазки пожилого человека неприятно расстроили душу Арона. Зря он поспешил дразниться. Теперь глупо было расспрашивать этого бойца о его Здоровье. И Арон решил ретироваться и издали проследить за рыцарем-монахом.

Римкий Папа пришел в великолепное состояние духа после столь успешного изгнания беса от ватиканской обители Святого Петра, он бодро крякнул и тут же, вытащив из штанов здоровенную мясистую штуку, помочился прямо на дорожку. И по нервно подпрыгнувшей при этом его фигуре было видно, что секундами ранее все-таки чуть было не описался от страха. А возможно, и накапал в кожаные штаны.

Арон принялся терпеливо следовать за Папой, наблюдал, как к нему относятся другие люди, кардиналы, женщины и дети, рылся в его бумагах, рассыпанных в его обители. Нашел все поминальные листочки, письма и даже завещание. Все подтверждало, что этот старик в последние десять лет без особой хвори работал римским Папой и даже не раз ходил в крестовые походы. И никогда и не думал, несмотря на уже составленное завещание, умирать.

Арон как-то вечерком снова явился перед ним, помолившимся страстно со слезою перед сном. На этот раз наследник апостола Петра как-то сразу сник, не стал драться, хотя по притухшим его глазам было видно, что ему очень не нравится ночной пришелец из преисподней.

– Изыди… – простонал он и сделал слабую попытку отмахнуться как всегда оказавшимся под рукой крестом. На этот раз крест, стоявший у изголовья патриаршей постели, был каменный, с Христом в натуральную величину. Так что это был больше просто жест.

Арон попросил дедушку не волноваться.

– Я не буду с тобой знаться, сатана, – взял, наконец, себя в руки Папа и, не поднимаясь с кровати, презрительно сплюнул в сторону нечистой силы.

– Ну и Бог с тобой, – ответил ему Арон и отлетел от него, пристроившись за пределами Рима у дорожного трактира, чуть ближе к Парижу, где принялся терпеливо караулить свое беспутное туловище. Почему здесь, он уже и не помнил. И спросить не у кого, не у одноногой же попрошайки, прижившейся у дверей трактира, как и он, девочке лет пятнадцати, принимавшей все россказни на веру. При этом она была весьма-весьма сообразительной: ночами часто не спала, уставившись на небо, а днем точечками в мелкой пыли перед собой отмечала движение звезд, видя в них и игру, и смысл. Но, понятно, с ней на интеллектуальные темы не представлялось возможным поговорить, и от того, время от времени Арон посещал римского знакомого и вел с ним пространные теологические беседы. Его Первосвященство попривык к нежеланному визитеру и даже отвечал ему иногда, правда, отборной руганью. Бывало, стоит на коленях Ватиканский властелин в базилике Санта Мария Маджоре и со слезами молится Богоматери, а тут Арон ему с небес говорит вежливо:

– Здравствуй, Папа. Хорошо, хорошо, не будем оскорблять твои религиозные чувства в храме, выйдем на свежий воздух. Сад у тебя просто замечательный, – и, обняв Папу за плечи, выводит его из явно не располагавшего к отвлеченным беседам мрачноватого собора. – У моего приятеля Пир-Рустема на даче тоже между грядками с салатом и петрушкой росли розы и гладиолусы. Правда, чеснок он сажал исключительно вдоль забора, подальше. Ну-с, святой отец, на чем мы остановились? Ветхий завет мы прошли критическим оком. Примемся за Новый. Скажи мне, старче, отчего благовестие Матфея достоверно, а вот два Евангелия апостола Фомы никуда не годятся, что одно послание Павла достойно уважения, другое – нет. Да и сами апостолы друг друга, признайся, старче, опровергали. Разве не писал Петр во втором послании, что в писаниях Павла есть нечто неудобовразумительное? Но, в конце концов, и из разрозненных сочинений можно составить целостную концепцию, если, правда, не скрывать ни один апостольский текст, стремясь к максимальной корректности. Не в состоянии сами, обратитесь к нам, к математикам. Хочешь, я сам просчитаю достаточно достоверную религиозную формулу? Времени у меня сейчас уйма. Да не дергайся ты так, дядя, ты что – эпилептик? Самыми достоверными выводами являются самые упрощенные. Те, которые лежат в фундаменте всех теорий, иначе – фундаментальные. Скажем, единица. Итак, есть Некто. И более никого и ничего. Что собой представлял Некто, не дано знать никому, но можно допустить, что частью Некто было то, что можно условно назвать «пустота пространства-времени». По крайней мере, нельзя ошибиться. Пустоту ведь не прибавишь ни к чему и не отнимешь ни от чего. Наступает день творения, и Некто создает из пустоты пространства-времени нечто, то, что мы называем материей. И этот плод несет в себе все признаки и пространства, и времени, как

кусок глины в себе частички пыли и воды, из которых и состоит. Пыль придает глине форму, вода – текучесть. Если посмотреть на то, из чего состоит любая материя – на атом, то несложно заметить, что атом подчинен только одной силе – силе самораспада. Значит, и вся материя исключительно прямолинейно движется только к саморазрушению. Процесс этот так растянут во времени и пространстве, что человеческий ум не в состоянии осознать всю его цельность и однозначность, поэтому различные этапы распада материи люди воспринимают как возникновение новых ее форм. Взрыв какого-то большого куска материи в космосе наши астрономы именуют образованием сверхновых звезд. Дом разлетается в воздухе, а говорят о появлении сверхновых летящих кирпичей. Так возникли осколки Солнце и Земля, а на ней биологическая материя в виде бактерий, динозавров, обезьян. До этой точки все ясно. Но вот когда астрофизики убедились с ужасом, что скорость разлетающейся материи, согласно законам физики, не замедляется, а ускоряется, то появление иной силы, непонятной нашему рассудку, становится неизбежным. Volens-nolens, а приходится вводить понятие Некто. Хотя здесь можно допустить, что жизнь на Земле появилась случайно, где любое живое существо уже движется к смерти, успевая разве что оставить свое семя, и то только потому, что само появилось из семени. Эта схема так же ровненько ложится в теорию Большого Взрыва: появление-исчезновение, центробежность-центростремительность. Но Некто награждает одну из разновидностей разумных человекоподобных обезьян частичкой своей субстанции – душой. Как сказано в Библии, если помнишь: «...и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живой...», а в Коране: «...Я его выровняю и вдуну от Моего духа». И в человеке начинают действовать сила ускорения в единожды уже заданном движении, прорыв из равномерного, проторявшегося цикла к следующему, – привычно словоблудствовал Арон, солидно устроившись за папским кабинетным столом прекрасной работы, украшенным слоновой костью и литой бронзой.

– Изыди, служитель зла! – вопил Папа.

– Ты не прав, дед. Я, как уже говорил, математик, то есть человек, работающий математиком. Вернее... или наверное.., был им, – промолчал с часик и продолжил. – Что-то я совсем запутался. Я его душа. Человека, по имени Арон Гаипов, математика. Святой дух, так сказать.

– Не смей кощунствовать! – вскричал в изнеможении защитник папского престола.

– Я? – удивился Арон. – Я-то здесь при чем? Не вы ли сами, достопочтенные католики твердите, что Святой дух исходит не только от Бога-отца, но и от сына его Иисуса? Если дух сей исходит от двоих, то почему бы и не от троих, четверых, от всех сынов божьих? Сам Иисус называл себя только сыном божьим. Что очень верно, все мы, начиная от Адама и Евы, дети Бога. Ну а мама Мария уж никак не может быть богиней, а вы земной женщине, назвав ее богоматерью, принялись молитвы возносить. Отчего такая почесть только

троим из святого семейства? Там где семья, должен быть бес сомнения и дедушка-бог, и прадедушка-бог, возможен и дядя-бог. Я уж не говорю о дальних родственниках типа Зевса или Будды. Конечно, ты сейчас начнешь нести что-нибудь о триединстве, единосущности и так далее и тому подобное, я сам этим триединством так заморочил однажды голову своей жене, что она взяла и... не важно. Важно, что все это очень несерьезно.

За долгое время Арон впервые подумал о жене с теплотой: «Она ведь добрая и только хотела иметь ребенка. Если нет родного, то надо было уступить тогда и усыновить чужого. Я ведь даже знал, что меня, в моем кабинете, это никак не побеспокоит, жил бы он возле нее и все».

Сквозь сладковатый хлад избавления от тоски к Рабие, лежащей у газовой плиты с открытыми не горящими комфорками, пробилась невесть откуда взявшаяся волна давно забытого любимого тепла. Такое ощущение возникало у нее только тогда, когда Арон с редкой для него нежностью прижимал ее к себе. Пусть нежные ласки в его объятиях были чудовищно непродолжительны, но каждый раз она ухитрялась сердцем переполниться ими и чувствовала их даже тогда, когда муж уже шлепал босиком от нее в ванную.

А сейчас Рабия действительно, следуя забившемуся волнительно сердцу, приподнялась на локтях и с неимоверным усилием, словно тащила на спине бетонную плиту, поползла в коридорчик своей квартиры, как если бы там ждал ее любящий Арон. Там она еще раз на секунды потеряла сознание, но снова согрелась родным теплом и, приподнявшись на одно колено, открыла входную дверь и выпала на лестничную площадку. Здесь появилась соседка и громко сказала:

– Почему так воняет? – и сообразила, что вместе с аварийной Горгаза надо вызывать машину скорой помощи.

– Вот если бы ты встретился с моей второй земной половинкой, с телом, то тогда с большей вероятностью мог бы вопить свое «Изыди!»

Возможно, с этой последней фразы Арон стал смутно догадываться о логической связи человеческого тела и всего того, что еще до ветхозаветных проповедей люди относили к миру зла. Додумывать эту мысль Арон предпочел подальше от нервного старикашки, которого звали, как он все-таки выяснил, Иннокентием III. Не знал, не знал Арон, что эта дергающаяся развалина был автором трактата «О ничтожности человеческой судьбы».

Питейное придорожное заведение, у которого пристроился Арон, выглядело обычно, но внутри все было устроено весьма престранным образом для пристанища истомленных дорогой путников. Нет, гостей принимали и на столы выставлялись перед ними миски и кувшины. Но что было в них! Если мясо, то только лягушатина, если питье, то только вода. Да и та не всегда

сменялась по утрам, хотя колодец вырыт был рядышком с этим двухэтажным деревянным домом.

Хозяин трактира был всегда рад переступавшим порог его дома людям, но мог дворянину с шелковыми кружевами отказать в ночлеге, а перед каким-то истасканным каменщиком распинаться, как перед сиятельным графом или кардиналом. Все его семейство, состоявшее из трех взрослых сынков, двух невесток и старухи, голодало почище, чем постояльцы, но лица их сияли умилением, словно замасленные. И они сами, и их постояльцы усердно молились и перешептывались с именем Христа на устах. Сам трактирщик и его сыновья шатались иногда невесть где.

В аспирантской юности в Москве у Арона была подружка – ткачиха Ласточкина, так она ему представилась в парке на танцах, так он ее и стал всегда называть. У нее были широкие ладони и сильные, ловкие пальцы пианистки. Она накручивала на них длинные, как у битлов, ароновские волосы и пребольно дергала их, вырывая иногда целую прядь, когда он на час-два застывал голый с пустыми глазами, сидя в постели подле ее жаркого бедра.

– Ты чего, дура! – вскрикивал он от боли.

– А ты чего? Чего сидишь?

Десятки раз Арон безуспешно пытался объяснить ей, что он не просто сидит, а сидит и думает, в смысле, работает, и не в состоянии прервать это занятие никогда, пока не нашел, как ему казалось, достаточно удачное сравнение. «Вот представь себе свою фабрику, – втолковывал он ей, пытаясь расчесать сплетенные на его голове косички. – Сотни станков. Нити тянутся, рвутся, ты их связываешь в узелки, ткется ткань... и так далее. День и ночь. У вас ведь тоже ночная смена есть? Вот и моя голова, как ваша ткацкая фабрика, только станочки маленькие-маленькие, а вместо нитей – мысли. А вместо ткани у меня получаются разные решения всяких задачек. Остановить свои мозговые станочки я не могу... нет на то моей воли. А то все спутается, скособочится, а там провода, короткое замыкание, все к черту сгорит... Пожарники набегут, все зальют, перетопчут. Поняла?» «Поняла, – ответила ему тогда Ласточкина. – Только лучше бы ты не ткацкой фабрикой был, а конезаводом».

И надо же, впервые в жизни нити ароновских размышлений стали безнадежно рваться, словно напарывались на какую-то зазубрину пробившей его череп пули, и порой их невозможно было даже связать. Теперь профессор математики мог сидеть и ни о чем не думать, иногда даже несколько минут. Вначале это непривычное состояние угнетало его, словно кто-то неумолимый время от времени пережимал горло, вынуждая задыхаться, но потом он как-то притерпелся к покою в мозгах. Невольно стал чаще и четче видеть окружавших его людей, слышать их голоса. К тому же, в дни его пребывания у трактира размеренная и притушенная жизнь в нем явно была сбита с выверенной колеи каким-то непредвиденным или нежелательным событием. А впрочем, ничего

особенного не происходило. Разве что самый младший отпрыск трактирщика, детина лет двадцати стал присаживаться рядом с одноногой попрошайкой и говорить с ней, улыбаясь. Она ему отвечала и тоже улыбалась. Его родным это не нравилось, что, впрочем, вполне естественно. Каким родителям понравится такая связь. Трактирщик-патер должен был говорить сыну: «Посматривай-ка лучше на девок с толстыми ляжками», но он осуждал привязанность своего отпрыска к этой одноножке с пастырских высот, намекая на нравственную ее ущербность:

– Она под властью дьявола и тешит его своим телом, – твердил он, выбрав самого возможного ее любовника, так как, кроме черта, вряд ли еще кто-то соблазнился бы прелестями ее костлявого зада. – Тело есть зло. Разве не тело человечье есть врата в храм души нашей? Он хитер, дьявол, через бабьи телеса вползает в тебя.

Столь незаурядные для бармена средневековой забегаловки сентенции удивили Арона, да и сама тема «тела» в таком ракурсе не могла его не заинтересовать. Так как с теорией малых чисел пространства-времени, над которой он в последнее время работал, можно было в его нынешнем состоянии не спешить, он принялся за математическое решение значения тела, как теологической модели.

Арон не желал признаваться, что мозг остался у его сбежавшего туловища, ведь он продолжал мыслить! Хотя содержимое его черепа оскудело, как библиотека, из которой выносят книги, вот-вот за стеллажи примутся, оставив только в воздухе бумажный дух. Пусть чужие труды, выученные, прочитанные, услышанные когда-то и пропадают, но ведь созданные им самим формулы, теории и комментарии – частички лично его сознания, но обнаружилось, что и здесь за эти дни, полные суетливой тревоги, не все в порядке... И Арон принял соломоново решение: к проблемам средневековья подойти с высоты средневекового же ученого. Не усердствуя в выборе, он остановился на логике Аль-Азербайджани, из простенькой монографии «Познание» из которого он что-то недавно начитал на память кому-то... Кому же? Неважно...

– Итак, – начал математик, – примем тело за А. Тело человека за В. Следовательно:

Всякое человеческое тело есть А.

Но не всякое А есть В.

Следовательно, В есть А плюс еще одна величина. Назовем ее С. Не будем бояться архаичной терминологии и условимся, что С есть душа. Следовательно:

Всякое В есть А.

Всегда всякое В есть С..,

нет, здесь что-то не то... мое тело есть В, а я сам есть С, значит, допустимо, что я не есть я.

Здесь Арон окончательно запутался и решил совсем отказаться от математических приемчиков, пусть даже самых примитивных, и начал рассуждать, как нормальный человек:

– Начнем с самого начала. С классической библейской теории. Итак... Бог создает множество тел. Данное множество состоит из плазменных, газообразных, волновых, жидких и биологических масс. В общем, создал материю. Биотела он располагает на планетарной массе под названием Земля. В одну категорию биотел Бог вдувает частичку своей сущности – души, и выделяет ее как человеков. Так.., я пропустил еще одно условие. До Земли индивидуумы Адам и Ева были расположены на поверхности райской тверди, состав которой нам неизвестен, впрочем, в решении этой задачи ее значение близко к нулю. В Раю обитают и другие созданные Богом тела – ангелы, структура которых так же не ясна. Возможно, газообразная. Ну не будем отвлекаться. Важно только то, что значение ангелов несравненно выше значения людей. Один из ангелов – сатана, под видом змея-искусителя склоняет Еву и Адама вкусить запретный плод. И они устыдились, вдруг осознав себя голой женщиной и голым мужчиной. Следовательно, сатана просто-напросто пробудил в них половой инстинкт. Инстинкт размножения. Перед ними открылась перспектива путем зачатия создавать новые, себе подобные тела, чем они посягнули на эксклюзивное право самого Создателя. За что и были лишены вечной жизни и сброшены на Землю нести муки искупления. Сатану же Бог отправил в преисподнюю, как показала современная история Земли, расположенную не так далеко от человеков. Так... расширим поле данных... Возьмем еретическую теорию христианства нашего трактирщика, что он там говорил насчет «Тело есть Зло»?

Арон посетил парочку лекций придорожного проповедника, к которым с восхищением прислушивались все его постояльцы, за исключением одноногой девушки у дверей, интересовавшейся только звездами.

Еретики более приемлемо для Арона толковали все библейские истории. Ему пришлось по душе, что они во главу угла ставили основополагающий вопрос: если Бог такой всемогущий и всезнающий, то почему он не предвидел и не предотвратил подленькую интрижку сатаны, падения человека и воцарения зла на Земле? Следовательно, зло являлось изначальным признаком одного из творений Бога – материи. И, прежде всего, зло есть само тело человека, в котором пленена и страдает сама душа. Она стремится к освобождению и возвращению в лоно Бога, но сатана всячески потакает желаниям тела и, утоляя свои телесные сладенькие желания, человек все больше закабаляет, развращая, и свою душу и вот-вот она погибнет! Спасайте свои души! Спасти можно только изнурением своего тела. Устроить такую тягостную жизнь себе, чтобы не только само тело готово было с радостью окончить свои мучения, но и чтобы душа возжелала поскорее взлететь на небеса.

Горький опыт самого Арона подтверждал, что люди темных веков были далеко не так невежественны, как их представляли. Дураком был он. Ведь он поступал с точностью до наоборот. Тело он свое весьма ублажал, можно сказать – любил. И ведь было за что. Рост сто восемьдесят три. Нос – орлиный. Голова идеальной формы, лысина даже не предвиделась. Станешь у зеркала – любо-дорого смотреть. Правда, пузо чуть отвисло, откормленное сосисками, красной рыбой, шашлыками, жирной золотистой кониной... К тому же Арон всегда давал своему телу отлежаться вволю на диване, от грязи держал в стороне, клизму обязательно раз в неделю, лучшие лосьоны, французский одеколон... и вот тебе, сбежало. А надо было понимать, что чрезмерная угодливость и готовность выполнить всякое желание желудка, подкожного жирка, похоти ведет к крупным неприятностям. Тело его продолжало где-то кайфовать без зазрения совести, а он тут застрял между небом и землей.

Следовательно, если человек оградит свое тело от пьянящих, усыпляющих, вкусненьких и эротических вещичек, то только тогда можно условно сказать, что:

Всякое С есть В.

– Всякое.., – бормотал Арон, – а что такое А и Б? При чем здесь алфавит? Вывод ведь очень прост. Угождая телу, я свел значение своей души до такой низкой величины, что теперь Я-душа совершенно бессилен перед моим же туловищем.

Арон принялся воображать, как он вкопал бы себя ради спасения души своей у этого покрытого еще цезаревскими каменными плитами highway Париж – Рим. Картина сложилась малопривлекательная, и больше всего душе была отвратна мысль, что у тех, кто будет проходить мимо, он будет предметом обсуждения, неважно: со знаком плюс или минус. Но так надо... хотя, если вдуматься, то он и так был телом своим вмонтирован по самую переносицу в реанимационную койку без права на желания и отказ. Конечно, стерильность той и этой обстановки не сравнишь, да и глюкоза – не дождевая жижа вперемешку с конской мочой, но по степени телесного дискомфорта – один к одному. И тут Арон впервые подумал о том, что не душа ли его каким-то скрытым неудовольствием, волнением, паникой сама поспособствовала телу бежать от смерти?

Между тем семейный скандал у трактира и в нем продолжал медленно разгораться. Младший сынок трактирщика все больше стал задерживаться возле одноногой девушки. Ночами они теперь вместе считали звезды. Юношеская жалость и любопытство сменились в молодом еретике восхищением. Он мог только считать звезды, а она видела движение звезд, за что Арон называл ее Звездовидецей, а его простенько – Звездочетом.

Отец Звездочета пытался всячески убедить сына, что он связался с нечистой, но у местечкового оратора не хватало аргументов. Сам-то он жрал хлеб, политый, хоть скромно, но оливковым маслом, а она вообще питалась

только цветочной пыльцой, которую оставляли на ее губах бабочки. Трактирщик хоть и спал на досках, но в доме, а она, кроме земли, не знала иной постели.

– Но она не страдает, как страдаем мы! – заорал, наконец, папаша семейства, выскочившего всей капеллой на улицу и с ненавистью уставившегося на одноножку.

И читалась в движениях их рук и блеске глаз, с каким удовольствием они бы прирезали ее. Но запрет пролития теплой крови делал недосягаемыми для них эти мечтания.

– Уставилась на небеса и ей хорошо! – визжали невестки. – А мы в муках только и знаем, как души туда возносить!

– Она Бога там видит, – пытался защитить ее Звездочет.

– Дьявол ей оттуда подмигивает, а не Бог! – плевалась мать-старушка.

– Если дьявол на небе, то уже не в ней.., – терялся юноша, но твердо прикрывал собой свою избранницу.

Тогда проповедник возвестил:

– А мы сейчас узнаем, каково ее презрение к земному! Пойдет ли она с нами всеми к плотскому разврату!

Идея хотя и была не нова, но среди его домочадцев она вызвала некоторую оторопь. Хотя старшие сыновья имели жен, они к ним относились исключительно платонически, а старуха-мать уже заставила себя забыть парное с ее мужем действо, зародившее ее детей. Одна мысль о том, что ты, рожая детей, затаскиваешь новые души в новые капканы, ужасала. Но настал день, когда семейный пастырь повел своих овечек на всенощную свальную случку. Женщины нехотя подчинились. Отказалась войти в дом только Звездовидица.

– Вот! – орал трактирщик. – Она бережется от нас, значит, клятву дала принадлежать лишь одному и имя его – дьявол! – и в полной темноте все норовил выловить голый зад своего непослушного младшего сына, хотя под него самого все время подлезали его невестки.

Арону стало невероятно мерзопакостно даже близко присутствовать при таком акте, и он вернулся в Ватикан. Римский папа снова встретил его крайне недружественно:

– Уйди...

– Куда? – искренне удивился Арон.

– В ад! – завопил святейший сиделец трона. – Гореть тебе в аду!

– А если я не хочу в ад? – возмутился теперь сам Арон, но затем согласился. – В ад так в ад. Отправляй. По твоим представлениям ад наисквернейшее место во вселенной. Возможно, оно и так. Но уверен ли ты, что там есть огонь, котел с кипящей смолой и всякое такое? Все ваши картинки ада – всего лишь фантазийные вложения в предполагаемое пространство. Между тем, ад всего лишь могила или топка крематория. Не спорю, может быть, подальше, ну ближе туда куда-то... к какому-то явлению, присутствию

какому-то и начинается то, что называется рай... не знаю. Не станем множить симулякры.

– Ты – сатана! – завопил Иннокентий.

– Да не сатана я вовсе, – устало отвечал Арон и, помня об открывшихся пред ним вратах вечности, неторопливо принялся рассказывать Папе, кто он все-таки на этом свете и отчего так получилось.

Со всеми подробностями. Но, в конце концов, снова перешел к проблемам себя любимого:

– Почему именно я? Никогда никому я не желал зла... впрочем, бывало, посмотришь на дурака и хочется, чтобы тупость поскорее стала очевидна всем, да и то ради дела, а не злорадства. Это считается желанием зла ближнему своему? Не воровал, к сексуальным извращениям не тянуло... Чужого не желал, осла ни у кого не отнимал и к родителям своим был всегда почтителен, – спрашивал он. – За что?

– Гордыня! – орал Папа и пытался бить Арона, но к помощи колющих и режущих предметов уже не прибегал.

– Да, был такой грех, – согласился Арон.

И это его признание прозвучало настолько искренне, что на этот раз наипервейший в мире страж христианства, кажется, поверил ему, что он не черт, а обыкновенный умерший математик. Или, если не мытьем, то катаньем решил избавиться от непрошенного визитера:

– Не хочешь в ад, отлетай в рай, я тебе индульгенцию выпишу. С ней тебя без слов пропустят. Вот, пишу... – и схватился за перо.

Арон встал перед ним, скрестив руки на груди, и уставился на чернильницу, как Черная обезьяна, иногда в сумерках появляющаяся перед писцами и молча ждущая, когда они прервут бумагомарание, чтобы взять и выпить оставшиеся чернила.

– А если я ломал церкви и мочился под алтарем? – принялся сушить писучее папское перо Арон, вспомнив, как в студенческие годы, подрабатывая в стройотрядах, он разбирал стену католического монастыря под Брестом, выбирая годный кирпич на строительство коровника.

–Да простится тебе словом моим и сей грех, – ответил Папа и выудил из чернильницы пером еще одну черную каплю.

– А если я детоубийца? – совсем разоткровенничался профессор, вспомнив, как уговорил двух своих любовниц пойти на аборт. – Если я...

Но Папа не дал ему исповедаться вдосталь:

– Писаная моей личной рукой индульгенция снимет с тебя все грехи, – заверил патриарх храмов Христовых и готов был уже расписаться.

– А я ведь мусульманин. По крайней мере, мулла сделал мне обрезание.

Рука наместника римского апостола замерла. Он задумался, затем предложил:

– А мы тебя крестим.

– Новокрещеным я грехов иметь и так, без твоей бумажки, не буду. И потом… слишком радикально для моего консервативного ума. В смысле – прогресса. Потому как христианство, по моему разумению, оказалось слишком либеральным для неумного человечества с его животными инстинктами. В этом плане бог поспешил, ниспослав с Иисусом идеи тотального равенства и всепрощения. Пришлось с пророком Мухаммедом отправить человечество на шаг назад к иудаизму. Не в смысле – идеи избранности одного народа, а в смысле – ритуалов. Сам подумай, к чему привело разрешение мужчинам и женщинам молиться в храме вместе? К феминизму и разрушению семьи. А всепрощение? К атеизму.

Арон болтал, болтал свои софистические откровения и вдруг осознал, что его речь по степени циничности ничем не отличается от монологов его же бездушного бежавшего тела. И смутился, как-то даже застыдился, что с ним не происходило последние лет пятнадцать.

Перо в руке Папы высохло и посерело. Старец отбросил его в сторону и раздраженно произнес:

– Ты со своими смыслами... шел бы куда подальше. Иди хоть к иудеям, куда хочешь, только уйди. Не уйдешь?

– Non possumus, – отказался Арон. – А вообще, скажи мне, есть ли Бог?

– В этом можешь не сомневаться, – оживился Папа. – Есть прямые доказательства Его существования. Возьмем хотя бы этот плод, – Иннокентий III указал на яблоко. – Взгляни, какое совершенство. Все в нем продумано до самых мелочей, ничего случайного. Семена, мякоть, которая и хранит семена от холода и станет им питанием… Совершенную вещь может создать только тот, кто умышленно создает – Создатель. А бабочка? А муравей? Как все продумано! Как логично!

– Как раз твой тезис о совершенстве плодов и насекомых не исключает, что причиной его является эволюция с ее механизмом естественного отбора. Если и существует доказательство, то оно не в возникновении и устойчивости законченных, совершенных структур, а в тех, которые по своей природе лишены внутренней сбалансированности. Единственной такой многовекторной, многополюсной структурой с перетекающим центром тяжести является человечество. Человечество функционально стремится к саморазрушению, и если оно выживает, значит, есть какая-то мощная сила со стороны. Но очень мало шансов, что оно выживет. Я вижу, тебе это не интересно… ладно, помолчим.

Посидели молча. Недельку так. Папа стал относиться к Арону как к тривиальному привидению, и совсем перестал замечать его, занявшись своими делами. Много писал, читал, молился, считал деньги, судился с королями и, что интересно, ватиканский старичок за все эти дни выпил разве что кувшинчик застоявшейся воды да рассосал в беззубом рту корочку черного хлебушка.

– У тебя что, Maestro, пост? – полюбопытствовал, наконец, Арон и от скуки принялся рассказывать Папе о превратностях говений и иных нравах в трактире на дороге в Тулузу.

Римский владыка, писавший свою 4778-ю буллу, не откладывая перо, приказал явиться к нему главе инквизиторского совета, которому кратко велел готовиться выжечь ставшее ему известным еще одно гнездо мерзких еретиков.

– Да ты из меня сделал стукача! – крикнул в лицо Папе Арон, но никто не услышал.

Или сделали вид, что не слышали, к тому же слово «стукач» в латинском языке отсутствовало. Арон кинулся к трактиру, но и там его никто не услышал. Что только не предпринимал загнанный муками совести профессор, все бесполезно. Даже Зведовидица не почувствовала его криков прямо ей в лицо. Правда, трактирщика-проповедника успели предупредить его люди из Ватикана о предстоящем захвате его гнезда. Однако бежать было поздно, шли уже солдаты и хватали любого, кто находился поблизости трактира, и волокли с собой. Пока семья еретиков заколачивала окна и двери своей обители, Звездочет успел перенести Звездовидицу к колодцу, перевязал ее подмышками веревкой, чтобы, не дай Бог, она не утонула, и опустил ее в прохладное земное нутро, уговаривая:

– Молчи... молчи... молчи...

Солдаты уже кольцом окружали дом, когда он вернулся к своим. Вел христианское войско сам Папа в знакомых Арону доспехах. Им же велено было не врываться в трактир, а обложить соломой с полей и поджечь.

Арон был среди семьи страдальцев, когда дым заполнил все комнаты. Стали задыхаться, но всем им хватало духа трясти Звездочета, выворачивать ему руки и кричать в лицо:

– Где твоя одноногая?! Он спрятал ее! Он... полюбил ее! Это грех! Ты дьявола в ней полюбил. Не тебе спасти душу! Любить грешно, страшно! Крикни им в окно, что ты спрятал ее в колодце, мы все видели! Крикни! Ты продал свою душу сатане, и снова он будет терзать ее здесь! Спасись! Спаси и нас своим спасением! Спаси нас! Вот он сатана, вот он! Ты уже в аду, ну же, крикни! Спаси свою душу! Ты горишь, а она там с дьяволом совокупляется!

Звездочет затравленно озирался, видя змеившиеся вокруг него клубы дыма. Его подняли на самый верх и толкнули к чердачному окну. Юноша, торчащий по пояс в раме, закричал:

– Та-а-а-м!

Папа-Рыцарь проследил за его мертвым взглядом, и по его еле заметному жесту солдаты кинулись к колодцу и мгновенно вытащили девушку, поволокли ее к пылавшему трактиру. Они бросили ее под стеной и отбежали, ожидая, что вот-вот готовый рухнуть пылающий большой дом накроет огнем и эту бесовку. Звездовидица безмятежно улыбалась и сказала упавшему к ее ноге Звездочету, гася ладонью его пылавшие на шишковатой голове волосы:

– Я из колодца видела звезды. Ах, если б я знала, что среди них можно видеть... Если бы я знала.., – и заплакала.

– Та-а-а-а-м-м-м.., – тихонько выл Звездочет.

– Там, – ответила ему Звездовидица, уставившись на край небосвода.

Арон бросился, заступаясь за нее, ругаться с Иннокентием. А между тем Папа Римский так и водил зрачками от глаз одноножки до той высокой точки, в которую она уставилась. Прошло некоторое время и наследник апостола Петра спросил у Арона:

– Что она там увидела?

– Не смей трогать бедняжку! Она здесь ни при чем! – не унимался Арон, и если бы не был бестелесным, обрызгал слюнями бы все лицо святому старцу.

– Да посмотри ты, Богом прошу! – снова обратился к нему Папа. –Я-то не вижу…

Арон оглянулся и увидел, как в глубине лазоревого пространства кто-то или что-то исчезло. И он так и ответил ватиканскому правителю:

– Что-то исчезло.

– Что? – заволновался Папа.

– Не разглядел… не успел.., – ответил с досадой Арон.

– Болтун, – обругал его Иннокентий III и, шагнув к девушке, встал на колени и подставил к ее тонкому лицу ухо, сказав при этом:

– Что там было?

Звездовидица нашептала старцу несколько фраз. Папа Иннокентий встал и прошел мимо Арона, мимо своего войска с низко опущенной головой. Тут рухнуло на мгновенье приподнявшееся над землей огромное здание и накрыло собой и Звездочета, и Звездовидицу.

Расстроенному Арону стало препротивно находиться рядом с палачом-святошей. Он перебрался подальше от Рима, уселся на скале, нависшей над все той же дорогой на восток.

На память приходит всякая гадость. Хорошее приходится вспоминать.

Хорошее – торт.

Скверное – мелкие ржавые гвозди, гнутые шурупы, использованные медицинские иглы. И вся эта металлическая острая дрянь так и сыплется из того временного мешка, называемого прожитыми годами, калечит мозг, колет сердце.

Торт вносят. Один вполне интеллигентный мужчина в полночь выключил верхний свет и в честь дня рождения своей супруги торжественно внес к значительно объеденному праздничному столу торт с зажженными двадцатью пятью свечами. Получилось очень эффектно, особенно на последнем шаге, когда он все же споткнулся на ровном месте и въехал благодарно качнувшейся ему навстречу жене кремовым сюрпризом прямо в личико.

Некоторые гости засмеялись. Но большинство просто рыдало со слезами на глазах от разобравшего их хохота. Не смогли себя никак сдержать, такая напасть. Милые родственники и друзья в предчувствии неизбежного семейного скандала поспешили включить люстру, чтобы без лишних травм разнять невезучих супругов, неделю как лишившихся автомобиля.

А между тем, муженек именинницы втиснул остатки торта между тарелками на столе, обнял свою неопалимую, обомлевшую и замызганную, правда, сладким, подругу жизни и принялся медленно слизывать с ее побледневшего лица крем. Его неожиданное усилие стереть кремовый конфуз языком и губами вызвало еще большее веселье и даже аплодисменты. Конечно, это было очень забавно, но как он это делал, скотина! И постепенно женщины притихли, а мужчины принялись хамить, за что один из них получил от своей милой звонкую пощечину. Но ничто не могло отвлечь супругов от их странного гигиенического занятия. Надо заметить также, что хозяйка застолья была очень разгорячена, и поэтому крем быстро растекся по ее длинной шее, и даже проник в ложбинку меж ее высоких грудей. Но, к счастью, платье ее было глубоко декольтированно, так что позволило этому типу...

Все ушли с того дня рождения в препротивном настроении.

Хорошие воспоминания хороши и тем, что даже если они размазались, их можно слизать. Если позволят.

Собственно говоря, А-баев, как грамотный советский врач, был совершенно уверен, что после смерти, с момента разрушения мозговой ткани, рушится и память. Ведь мозг не более чем компьютерный hard drive. Ткни в его кремневые пленочки отверткой – и конец всей информации. И в то же время А-баев подозревал, что, кроме информационной памяти, человек является носителем эмоциональной памяти. Мы ведь помним свои чувства. И вот эта эмоциональная память не разрушается после клинической смерти гомо сапиенса. Она где-то там витает. Более того, мы и не умеем и не знаем, как полноценно пользоваться эмоциональной памятью. А ресурсы у нее, видимо, огромны. Для нас эмоции как резина, которую можно растягивать, сжимать. А в то же время, возможно, эмоции имеют считываемый код, аналогичный буквенному или цифровому информационной памяти.

Возможно, А-баева и тронуло бы состояние попавшей в клинику жены Арона, но не время было сейчас ему заниматься всякими мелодраматическими сюжетами. Конечно, он назначил ей лечение, каждый день, с улыбкой проходя мимо ее кровати, проговаривал: «Ну, как вы? Вот и отлично». Ах, если бы он знал, что здесь и скрыт финал романа, сквозь который он мучительно продирался под стрессом грядущей славы творца абсолютно новаторского произведения о профессоре-дуэлянте и о похищении его тела прямо из больницы, то... Не почувствовал, прозевал. Впрочем, здесь есть доля и вины

Амины, не изменившей своей непохвальной склонности молчать, когда надо бить в колокола. Ведь она узнала и то тепло, выманившее ее из газовой камеры кухни, которое сохраняется меж двумя людьми даже тогда, когда один из них уже и не человек с температурой 36,6 по Цельсию. Могла, могла поделиться впечатлениями с автором о своей встрече со смертью, и многое тут же разрешилось бы само собой. Но промолчала.

Говорить со смертью не так уж сложно. Гораздо труднее понять, о чем ты с ней беседовал, и совершенно невозможно ответить на ее вопросы. По банальнейшей причине – она не задает их.

Студентом А-баев, томимый чахлой летней скукой, пристроился фельдшером в пионерском лагере на берегу Карагандинского озера. Ночами он варил раков на пирсе, там же тискал грудастых пионервожатых Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи, и раз тонул, упав в воду с наброшенным на голову одеялом с рыбьим душком, а утром засыпал до полудня уже в одиночестве на втором этаже корпуса отряда дошколят. Из спальни с десятком железных кроватей со свернутыми матрасами одна дверь вела в общий коридор, другая – на площадку пожарной лестницы. Над этим же металлическим балкончиком сияло большое окно. И смотрело оно на крутой склон высокой голой сопки, за которым, возможно, и жизни не было никакой.

Просыпался А-баев от стука швабры и шмяканья огромной мокрой тряпки об пол. И что удивительно, уборщица, естественно передвигавшаяся по всему большому параллелепипеду комнаты произвольно, каждый раз, когда он открывал глаза, упиралась, говоря языком аллегорий, жопой прямо в его физиономию. Так себе задница... обтянутая в серую юбку. В полусне А-баев беззвучно гнал ее прочь, но в ее энергичных, ловких и ритмичных движениях проступала вся агрессивная несокрушимость распорядка пионерского дня. Оставалось только возмутиться громогласно, что, конечно же, повлекло бы за собой окончательное пробуждение. А просыпаться не хотелось никак и А-баев ухитрялся углядеть в двигавшихся перед ним ягодицах убаюкивающий ритм и снова засыпать. И видеть во сне все тот же гладкий объем под серой потертой тканью. Воленс-ноленс, а студент вынужден был заговорить с ней и, следовательно, увидеть ее лицо, чрезвычайно банальное. Если бы не та очередность, по которой А-баев ознакомился взглядом с ее уровнями и сторонами, то вряд ли у него возникло бы желание поиметь ее, хотя бы из-за принципа. Однако оказалось, что эта молодая женщина имела крепкие нравственные принципы, близкие к идиотизму легкой формы. Ни на какие любовные игры она не шла, что огорчило и даже обозлило медика-недоучку. Еще бы: чуть ли ни месяц перед твоим лицом двигается нечто конкретно женское и вдруг – какое это имеет отношение к вам? Спите, я вам не мешаю.

С какого-то времени студент стал во время ее вторжений на его территорию бодро просыпаться и плести свою злодейскую сеть. Будущий психиатр, прежде уяснив, что его клиентка действительно умственно неполноценна, начал рассказывать ей всякие байки о потусторонних силах, властвующих над нами, бедными и беззащитными людьми с неясной целью. Стук швабры стал тише, интимней. Хотел было он просветить ее насчет инопланетян, но зачем-то прикинулся потомком японского военнопленного, из тех, кто когда-то строил шахтерский город. И якобы от этого самурая передались ему секреты восточного колдовства. Тут задняя выпуклость окончательно сменилась лицевой с болезненно приоткрытым ротиком, который понес всякую чушь о каких-то бабках-знахарках, экстрасенсах, к которым она уже три года как ходит... Да так нудно и подробно, что студент попытался восстановить статус-кво, но не тут-то было. Она начала рассказывать о своей жизни, сплошной трагедии. Значит, она оказалась из строгой католической немецкой семьи, была она замужем, пошла под венец чуть ли не шестнадцатилетней. Родился ребеночек, шестипалый, а муж, представьте себе, начал гулять. Все бы ничего, особой радости от мужа в постели она не получала, да тут возьми он и угоди в тюрягу за хулиганку. А любовница его ни с того ни с сего решила, что это она, жена, засадила ее голубка за решетку. И навела на нее порчу. Как стало ей совершенно достоверно известно через подруг, из тряпочек, нарезанных из ее старого платья, та гадина связала куклу и воткнула в это создание иглу. С тех пор героиню стали мучить черти и, якобы, они даже подговаривают ее поедать мужчин. Тут будущий Фрейд струхнул было, но половой инстинкт, как известно, сильнее страхов за жизнь. Студент нагло заявил, что способен избавить ее от нечистой силы и криминальных позывов, но надо подождать новолуния, которое наступит через пару дней. А пока велел ей не появляться у него, а тщательно готовиться к процедуре. А он будет в свою очередь все это время запрашивать духов о разрешении вступить в битву с чертями. Причем безусловного согласия на такую миссию от самурайских духов он не обещал. Дело шло к концу сезона и так совпало, что полночь мистерии очищения от сатанинских сил пришлась на время прощального лагерного костра. Гигантское пламя было разожжено на склоне сопки, как раз напротив того здания, где еще вчера проживал студент, а теперь – колдун с дальневосточным прошлым.

Фрейлян пришла, как и велено ей было, ровно в двенадцать ночи. Поднялась она по пожарной лестнице и, войдя в комнату, моментально замерла. Надо сказать, в комнате было действительно жутковато. Во-первых, все пустые койки были сдвинуты студентом к коридорной двери, и нагроможденные друг на дружку, напоминали скелет металлического дракона, во-вторых, по стенам метались красные отблески близкого кострища. Явившаяся жертва чертей была строго опрошена: кто она? зачем явилась в чертоги? В чертоги чего и кого, шаман не додумал, но не важно. Слово показалось ему самодостаточным. Затем

перед ним были положены обговоренные подношения, как то: обглоданная кость, губная помада и всякая иная мелочь. Пациентке было велено выйти на середину комнаты, раздеться догола и встать на колени на расстеленную простыню, что она после некоторого колебания сделала. Затем приказано было вынуть из прически все железные предметы типа заколок и распустить волосы.

Черные волосы, упав, накрыли ее как плащ, что еще более возбудило молодого человека, прикидывавшегося черт знает кем. Тут бы ему и сунуть в ее семяприемник свой биологический орган, но его повело... Зачем-то он начал действительно камлать. Раздвинув волосы на ее спине, он губной помадой написал на ее бледной коже какие-то ему самому непонятные каббалистические знаки, словно из его головы вынули дольку мозга, отвечавшую за разумное поведение. Очевидно, этот потерянный им сектор серого вещества полушария отвечал и за ощущение времени.

Хронос, если имеет какое-то отношение к небесам, то разве что служит у Бога дворником: выметает за порог Его дворца налетевшие с Земли минуты и тысячелетия, как пыль.

Нет, нельзя сказать, что заигравшийся студент вдруг проникся какой-то сверхъестественной силой, ведь из его башки было только вынуто и не вложено ничего. И все же каким-то нечеловеком он стал: бездумно прыгал вокруг нее кругами, вскидывая руки и мотая головой, при этом он выкрикивал странные слова, завывая и даже трубя траурную мелодию. Разве что бубна не хватало. Но зато ему под руку попалась разлохмаченная веревка, приготовленная им для того, чтобы привязать ручку двери к кровати, но затем замененная для надежности проволокой. И принялся тут шаман-любитель хлестать ею свою жертву, попытавшуюся встать с колен, но затем севшую с вытянутыми вперед ногами и руками в позе куклы и замершую и замерзшую так. По правде говоря, не обладавшему садистическими задатками юноше быстро это надоело и он, отбросив в сторону и веревку, и магию с ее церемониалом, приступил было к тупому половому акту, но обнаружилось что никакого всегда готового биомеханизма «вверх-и-вперед» у него нет, а висит меж ног какая-то свернутая тряпочка. И никакой надежды на обратный восход, что явилось действительно реальным кошмаром той ночи...

Уже дипломированным шаманом, то есть психиатром, А-баев как-то разбирал старые истории болезни вверенного ему участка и, надо же, увидел знакомую фамилию и имя Фрейлян. И что забавно, в год, когда он в последний раз побывал в том пионерском лагере, мозги больной явно пошли на поправку. Далее ее лечащий врач писал, что при посещении больной на участке она больше ни на какие навязчивые идеи и галлюцинации не жаловалась. «А если это следствие лечебного эффекта... той моей психотерапии? – подумалось в то время А-баеву. – Может быть, имеет смысл найти где-нибудь у натурального

шамана да простажироваться...». Быть может, и в нем на уровне подсознания проявятся какие-нибудь древние гены какого-нибудь предка-баксы, и подвигнут его на так и не осознанный им самим же шаманский способ лечения. В этой идее мало было серьезного, но, как человек, имевший любознательный и во многом праздный ум, он принялся копать в этом направлении. Нашел какую-то литературу, статьи в журналах, говорил со знающими людьми и скоро вычислил, что к черту на кулички вовсе и не надо ехать, среди казахов еще остались баксы – содельники сибирских шаманов. Подсказали ему и адрес одного аспиранта, занимавшегося этой этнографической темой и побывавшего где-то между Аралом и Каспием и привезшего из экспедиции какие-то материалы, связанные с камланием баксы: фотографии, запись могильного голоса на магнитофе. Но встретиться с ним А-баев не успел по причине глухого запоя, случившегося с ученым, и суицида. Аспирант повесился на магнитофонной ленте.

«Что ж от того, что ребенок не родной, – размышлял Арон, пролетая Средиземноморье. – В конце концов, все люди листики одного генетического древа. А потом, когда мы с Рабией вырастим его, воспитаем, он женится и родится внук, без сомнения, родной. Мы, конечно же, оставим его себе, – и умилялся, ощутив пробуждающиеся в себе рефлексы казахских аксакалов.

Паря над Босфором подобно олимпийскому богу средней руки, он вдруг возжелал явить силу и власть небожителя. Ничтоже сумняшися, он решил обратиться с пламенной речью о пользе вселенской любви ко всему человечеству, но оказалось, что его язык нем и лишь чувствами он способен еще протянуться к тем нескольким живым людям, которых он знал и испытывал к ним какие-то эмоции. Конечно же, он впал в отчаянье, но все же попытался обратиться хотя бы к жене. Ведь и чувства говорят! И пульсировавшая жалость к ней протянулась через пространство и время, как по телефонному проводу. Он не услышал ни голоса Рабии, ни дыхания, только боль ее души.

Рабия сидела поздним зимним вечером за кухонным столом в своей большой квартире и пыталась отпить из горлышка бутылки водку. Скверно пахнущая жидкость выливалась обратно. « Я оплевала весь пол, – думала она. – А-а.., плевать, все равно никто сюда не зайдет. Я могла тогда взять ребенка. Я это могла сделать сама. Он, его хочу – не хочу, все, что он там ни плел, не имело никакого значения. Я могла это сделать. Мне никто и ничто не могли помешать. Но я не взяла. Значит, что-то, не позволившее мне сделать это, всегда было во мне самой. И остается, и растет, как язва. Что-то сырое, вот здесь», – и она с силой ударила бутылочным дном себе в живот.

Рабия оргазмировала во время интимной близости со своим единственным в жизни мужчиной – Ароном, только в дни менструаций. А ведь кровь менструальная, дошло вдруг до нее – мертвая кровь. Конечно, не это

являлось, видимо, основной причиной бесплодности их брака. Вполне возможно, что виновен был Арон, но он категорически отказывался обследоваться, и все осталось до конца не выясненным.

После бесплодной поездки в сторону детского дома за возможным сыном, она решилась родить без мужа. Для этого сгодился бы любой самец с нормальными генами. Подвернулся давний приятель Арона, часто и запросто бывавший у них дома – Пир-Рустем Пи, как называл его Арон. *Единственное совокупление с этим донором она не считала изменой мужу*. Но все прошло так противно, что она закрыла двери перед нежеланным полуоднократным партнером. Или даже, четверть-однократным. А так как Арон относился к Пи с нескрываемым равнодушием, все обошлось без не нужных объяснений. Если бы… Кто же мог подумать, что этот тип еще со студенческих времен был влюблен в нее и способен был вообразить, что теперь-то уж она принадлежит ему и начнет топтаться вокруг нее и трепаться… И вот выстрел в подвале… Даже в самом страшном сне она не могла представить себе такие последствия.

Водка выплеснулась ей на платье – и ее снова вырвало. И так стало гадко на душе, нутро ее раздулось и уже готово было пить, пить, пить... Она встала, поднесла бутылку ко рту, но снова, как в тот миг, когда она травилась газом, ее коснулся лучик тепла, пронзивший и сердце и матку. И чувство было таким же легким, настороженным и возвышенным, как ощущение брызнувшего в нее семени любимого человека. Который, как ей показалось в душе в этот миг, тогда на самом деле хотел завести вместе с ней ребенка.

Первым желанием Рабии было бросить бутылку на пол, но затем она подумала, что водка пригодится для компрессов: ведь дети часто болеют ангиной. Она включила свет, прошлась по квартире и принялась за мытье пола. Уже близко к полуночи она принимала ванну и знала, что завтра с утра будет в том самом детдоме и теперь непременно возьмет того самого мальчика, которого они хотели.

Погружение в раздумья опять привело Арона в иную ситуацию. Он снова оказался невесть где и непонятно в каком времени. А проявился он на голой скале, под которой с одной стороны било волнами теплое море, с другой желтела апельсиновая роща у запущенного храма.

В последнее время Арон стал вспоминать и даже думать какими-то не связанными друг с другом фрагментами. И вот сейчас, ни с того ни с сего, он продекламировал, не помня чьи это стихи да и вообще – поэзия ли это, нечто странное и пустое:

– Скульптура нам дает богатство, тонкость чувств.
Язычество, друзья, ведь это – культ искусств!
Но – только подлинных! Подделки мы отринем!
Богам без мужества, без грации богиням
Закроем путь в сады.

Задумавшись, Арон завис над скалистым берегом Малой Азии, что, впрочем, не мешало ему с интересом наблюдать, как перед ним, словно в документальном кино, то поднимались, то горели или рушились здания и крепостные стены города. Времена года так быстро проносилось мимо, что сами горожане были смазаны в мелькающие тени. Чуть четче проступали деревья вокруг храма с колоннами. «Там сад», – сообразил наконец Арон, и время сразу уплотнилось.

Бабочка-траурница пропорхнула перед его лицом и опустилась на мраморный лоб Дафны, дочери бога рек Пелея.

«Так вот где до нее добрался похотливый Аполлон, – бормотал себе под нос Арон, разглядывая статую прекрасной нимфы. – Как же так? Ведь она не окаменела, а превратилась в дерево. Или все же окаменела? Насильника точно звали Аполлоном, а ее... ведь это очень важно?» Казалось бы, что тут такого, ну, вылетело из памяти какое-то имя, с кем не бывает... Нет, в этом Арон почувствовал явную ущербность, почти инвалидность. Он даже всплакнул от обиды, чего с ним вообще никогда не случалось.

Кто бы признал в этом существе с все расширяющимися провалами в памяти полиглота, человека, помнившего тысячи цитат из сотен книг, профессора Арона Гаипова. Даже сам Арон начал приходить к убеждению, что к нему он имеет косвенное отношение. «И зачем я за ним гоняюсь? – подумал Арон. – Зачем он мне?» И забытая самими греками история, случившаяся в Бог знает каком веке не нашей эры, обеспокоившая его, вяло заволновалась, как дымок, и потянулась, не проясненная, в небеса.

Арон чуть погоревал, а затем сразу, как и ветреный Аполлон, забыл причину своего душевного расстройства и принялся любоваться совершенными формами божественной Дафны. Нимфа, как и всякая старая дева, видимо, уж сожалела о своей упертости. Обидно навсегда остаться просто изваянием, пусть совершенным, но все равно камнем – не дышать, не видеть, не осязать.

Между тем, сад был наполнен густым запахом лавровых деревьев, в одно из которых предпочла, в действительности, преобразиться глупая девственница. Арон скорее чувствовал, чем слышал этот пряный дух, царящий вокруг.

Там между колонн бродил пьяненький полноватый, лысый человек и время от времени начинал размахивать короткими руками перед лицами стоявших перед ним юношей.

Зрение Арона, как и его слух, стали терять для него свою информационную полноту, и он сразу и не заметил, что в самом храме божественного сада шла репетиция новейшей пьесы модного поэта.

Актеры нервничали. Тема была явно скандальной, публика могла закидать камнями и лошадиными яблоками. Всем уже давно надоели небожители Олимпа. Интересен был лишь новый бог Демиург. Но особенно нравился герой

змей Офис. Всем хотелось воплотить именно эту роль на сцене, однако автор драмы Римлянин-Лысый тянул с выбором, заливая лучшим вином свое пресыщенное нежнейшим мясом брюхо в домах претендентов, пока владелец портовых складов не сунул ему взятку золотом за своего юного избранника. Актеры воодушевленно произносили текст новоявленной поэмы, а исполнитель образа Офиса был прекрасен, передвигаясь по сцене быстрыми змеиными движениями и обвивая пылко своим гибким телом, ногами, руками, даже шеей Адама в миг соблазна. Однако подобная литургия приводила драматурга только в бешенство. Он орал, что все они бездари и никто не в состоянии понять философию его стиха. Актеры недоуменно молчали, а портовый монополист, не пропускавший ни одной репетиции, обижался. Но Римлянин-Лысый неистовствовал в издевательствах над служителями муз и даже дошел до того, что, встав задом, выпустил в сторону лицедеев презрительный звук, завопив при этом: «Feci quod potui faciant meliora pudentes!»[13] – и гордо зашагал в глубь храмового сада. Там он долго не мог еще успокоиться, все что-то бормотал, похрипывал, вскрикивал, наконец, звучно раздавив попавшуюся ему на беду гусеницу ладонью на стволе кедра, сел в траву, вынул из-за пазухи свирель и заиграл, прямо нужно сказать, божественную мелодию. Но не сама музыка привлекла внимание Арона, а тоска, которая булькала, хлюпала почти со слезой в такт нотам в груди свирелиста.

Поэт был местным, и даже земляки помнили его лишь лысым. Но после своей поездки в Рим стал именоваться мудренее: Римлянин-Лысый. И, естественно, мыслить мудрее. Находясь в Вечном городе, греческий гуманитарий как-то накарябал стилом следующую сентенцию: «Бабочки – это оторвавшиеся от стеблей цветы». По этому случаю он набросил на себя тогу с менее ясными пятнами от жирной пищи и отправился пить вино с двумя не менее измусоленными, чем его платье, гетерами. Одну из них он любил, другую колотил согнутым пальцем по макушке с криками:

– Дура! Что ты можешь понимать в поэзии!

Побитая проститутка пожаловалась смотрителю квартала, и Римлянина-Лысого задержали за мелкое злодеяние. Он объяснил свое поведение квартальному центуриону тем, что виноторговец подливал в кувшины уксус. Несмотря на то, что его показания не подтвердили известные эксперты вина с кислыми лицами, Римлянин-Лысый упорно держался своей версии. Дело осложнилось и заявлением гетеры, с которой он прелюбодействовал, утверждавшей, что она пострадала гораздо тяжелее, чем ее товарка. Поэт же в ответ несколько скорректировал мотив своего поведения и громогласно изрек, что страдания и есть любовь, чем вверг всех гетер Рима в полное недоумение и брань. Прежде благосклонно взиравший на него судья из сословия

[13] На самом деле, Римлянин-Лысый хотел роизнести: «Feci quod potui faciant meliora potentes (Я сделал, что мог, кто может, пусть сделает лучше!)». Но скверное знание латыни привело к тому, что он, спутав слово «potenter» со словом «pudenter», произнес: « Я сделал, что мог, кто может, пусть сделает скромнее».

потомственных граждан впал в раздражение и подверг греческого стихоплета кнутосечению.

Столь упорное противостояние грека стражам правопорядка вызывало возмущение у одних граждан и восхищение у других. Два десятка горожан – выходцев из Афин, вышли на улицы и открыли дискуссии со взаимным рукоприкладством перед ступенями Сената до самых празднеств двуликого Януса по дебатам: право fas[14] и право ius.[15] Наступивший день жертвоприношений богу входа и выхода обнажил бессмысленность пылавших споров и все забыли и о поэте, и о побитой им женщине, как выяснилось в ходе слушаний по имени Ксения. Жрица же любви исправно посещала своего истязателя, совмещавшего в тюрьме роль заключенного с работой помощника надзирателя без права иметь плеть. И когда она рассказала ему о последних городских новостях, лысый поэт проворчал:

– Из этой страны надо уезжать. Давай, подставь под меня свой лобок на прощанье.

Блудница, не отводя от него восхищенных глаз, отказалась недвусмысленным жестом и проговорила:

– Когда тебя снимут с креста, я сама обмою твое тело. Я знаю настой трав, снимающий синеву, содранную же кожу можно покрыть кожицей от фруктов...

– Какой настой трав, подстилка ты этакая? Какой еще крест?! А-а... так ты клиентка Христа. Изуверка! Как я страдаю...

– Христос любит страдающих, – жалостливо проговорила Ксения, поглаживая волосатую ногу своего мученика.

– Да, какое мучение пить эту бурду! – вопил поэт и, плюнув в винную чашу, хотел было вылить опротивевшую ему жидкость на склоненную головку гетеры, но, передумав, с ужасно расстроенной физиономией выцедил ее сквозь сжатые зубы.

Ксения протянула ему египетский хлебец и произнесла с восторгом:

– Хлеб – тело его, а вино его кровь. Так Христос приносит себя в жертву ради нас.

Обжимая вздувшийся от газов живот, Римлянин-Лысый неподдельно заинтересовался новым для него персонажем:

– А ну-ка, расскажи мне поподробней о твоем новом боге.

И Ксения несколько свиданий подряд доносила ему о том, что говорили публике братьев и сестер диаконы из kyriake, сидящие с крестом в руке в катакомбах под Римом.

– Что за церкиа? – никак не мог сообразить поэт.

– Это слово означает Божий дом.

---

[14] Естественное право рожденных римлянами.

[15] Право и не римских народов, за исключением всех поэтов, не взирая на национальность.

– Дура! Kyrikake произносится как оикиа! Оставьте в покое язык Гомера! Он создан богами не для вас. Болтайте на своей хамской латыни, – возмущался Лысый.

И все же он внимательнейшим образом выслушал подругу, а затем, когда она начала читать молитвы, сосредоточенно размышлял. История искупления греха людей страданиями самого бога потрясала.

– Да, – воскликнул он. – Это герой! Наконец-то в наш мир явился сострадающий бог! Может быть, он чуть улучшит скверно скроенное мироздание. Хотя бы вкус римского вина.

Ксения, было, перешла к палестинской главе о Вифлеемской звезде, с изгнанием из храмов торгашей и, наконец, распятьем и воскресением Христа, но Лысый уже не слышал проповедницу.

– Я вижу! – время от времени восклицал поэт. – Хор... Выше хора мы поднимем механизмами небесный свод... На самой арене расположим рай...

– Крест очистит твою душу, – твердила свое баба.

Римлянину-Лысому оставалось только орать:

– Дура!. М-м-м... Это должно быть необычайно торжественно... он спускается с Олимпа с лавровым венцом на голове... Нет – это старо, пошло, истаскано... Нет! Он спускается с Олимпа с терновым венцом! И декларирует: «Да будет слово!» – поэт приложил палец к своей залитой вином башке, и задумался, потом проговорил. – Нет, «Да будет Слово!» – скажу я сам. Только высокий гомеровский стиль способен соответствовать этой картине. Значит, выходит, Бог и создает все. С ангелами он смотрит на Землю и поет: «Пой, Гея, про гнев Ахиллеса... нет, причем здесь Ахиллес? Надо так... Пой, Гея, про гнев Создателя, сына... чей он сын? И откуда он сам вышел? Он выйдет из всеобъемлющей духовной плоти... Пой, Гея, про гнев Создателя, сына Полноты... Боги, как мерзок ваш кислый язык... Плоть... ужас! Плерома... Заметь, одно слово, греческое слово несет в себе смысл целого предложения и как звучит! Плерома! А героя мы назовем просто Демиургом, мир был слеплен им так себе... далеко до совершенства, богом он был так себе, средненьким... Лепит он все из материи, которая сама по себе ничто, пустота... Итак, начнем:

Пой, Гея, про гнев Демиурга, Плеромы сына,
Гнев проклятый, страданий без счета принесший землянам,
Много сильных душ героев пославший в Ад мрачнейший,
Их же самих на съеденье отдавший добычею жадным
Птицам окрестным и псам...

Кто же из богов бессмертных возбудил эту ссору меж ними... Кто? Нужен еще один герой. Эй, шлюха, дай вина! Нет драмы, столкновения, интриги. Итак... Демиург вылепил Адама и Еву. И что же? Ужасно, он запретил людям вкушать плоды от древа познания! Он лишил их высшего смысла бытия. Тут и виден весь коварный замысел этого ремесленника Демиурга. Человека отдаляет от скотины и приближает к богам только ум. И

тут... и тут... появляется спаситель, дарующий свободу разуму. Это змей, лишь он позволил Адаму вкусить яблоко. Вот настоящий покровитель человека, прекрасный бог. Змей... змей... Звучит мерзопакостно... Боги, от вашей кислой бурды я – грек, стал забывать язык эллинов! Змей... змея... опус, нет... офф.., офис! Да, это слово достойно стать именем великодушного героя. Идет борьба между тьмой незнания и светом знания, между тираном Демиургом и либералом Офисом! Dixi et alvus levavi![16]

– Ты спасешь свою душу только страданием, как господь наш Иисус Христос, – твердо не согласилась с мужчиной его женщина.

– Дура! Будь последовательна. В первом акте мы видим только Демиурга и Офиса. Христос подождет. И без него замысел моей поэмы невероятно сложен, но, как и все гениальное, в то же время очень прост. Да, мы, земляне, сотворены Демиургом из глины, из материи, в которую он заключил наши души. Они не могут вырваться из тел человеческих и вернуться обратно в Плерому, из которой так неосторожно, словно бабочки, выпорхнули на мгновенье, потеряв рай вечного блаженства. Отсюда и наши страдания и муки. Каково душе быть привязанной к такому гнилому бурдюку, – и поэт похлопал себя по пузу. – Дай вина. Ну, почему мне всегда попадается такое вино? А может быть, оно несовместимо с моими желудочными газами? – и громко отрыгнул невероятно вонючим духом, таким, что у самого перекосилась вся физиономия. – Вот я поймаю того винодела, который кислит сей божественный напиток! Неужели я один должен страдать за всех?

– Я всегда в это верила! – воскликнула женщина, тут же прослезившись.– Ты, как Христос, искупишь наши грехи! – и не отвела от его рыжего кулака свой довольно изящный нос. – В страданиях – спасение.

– Спасение моей души в творчестве. Запомни это и молчи, как тварь. Когда я пою мои стихи, я становлюсь полубогом, атлантом! Я пью вино с самим Зевсом! Поэзия – это Олимп жизни, драма – Олимп на Олимпе. Я вижу, как трепещут и восхищаются тысячи зрителей, поклонников, завистников моих, слыша мою бессмертную эпическую поэму «Олимп познания»!

Но когда он огляделся по сторонам, выплывая из поэтического эфира, то увидел, что подруга вовсе не внимает ему с восхищением, не стремится к нему с кувшином, а придерживает распахнутые ворота в тюремный двор, в который несколько рабов втаскивали большой деревянный крест.

Лысый неимоверно удивился:

– Это еще зачем? Эй...

Но ему ответил его надсмотрщик:

– Брат, и высоко будешь распят ты на кресте.

– За что!?

[16] Я сказал и этим облегчил себе кишечник (*лат*.)

– За глумление над законами Рима. Ты находился под стражей за избиение согнутым пальцем женщины Ксении, но пренебрег снисходительностью к тебе народа Рима и вновь ударил тем же пальцем ту же свободную особу.

– Я не бил ее второй раз пальцем! – захрипел поэт, схваченный за руки и шею тремя рабами.

Все присутствовавшие в тюремном дворе, как в амфитеатре, уставились на героиню Ксению, и она с выражением проговорила свой монолог:

– Он не бил меня второй раз пальцем, он будет казнен безвинно.

Публика ловко поволокла его к кресту, у которого уже встал надсмотрщик с клепалом и рванокованными гвоздями.

– Дьякон! – воскликнула здесь Ксения. – Прежде его надо крестить.

– Ксения, любимая, опомнись, он не дьякон! – заорал приговоренный поэт. – Я узнаю его, он сенатор Клоант Головастый из Крита. Он все врет, не было суда! Ты не могла, любовь моя, предать меня... скажи им, что я даже не притронулся к тебе... Я посвящу тебе поэму! Свирель вам в задницу, одно лишь мое брюхо весит не менее трех талантов и даже больше, если измерять аттическими весами, не то, что ваш крест – каменная перекладина переломится!

Но крик его, вырываясь из пленившей его душу материи, тонул и глох в плероме, окружавшей его плоть.

– Совершенно верно, сестра Ксения, – отвечал ей дьякон, он же сенатор Рима. – Несите воду.

Раб, прежде перехвативший шею Римлянина-Лысого, отстал от него и вместе с Ксенией двинулся за водой. Двое других принялись креститься.

– Нет, нет, нет! – с ужасом заорал поэт во все свое освобожденное горло. – Мы все участники грандиозного события, которое должно потрясти все церкия и этносы! А что же мы видим?! Какая-то жалкая сцена. Ксения, ты была великолепна, публика готова была одарить овациями, как богиню, но...

Раскаявшаяся гетера замерла и недоверчиво уставилась на Римлянина-Лысого, продолжавшего пылко режиссировать:

– Пройди еще раз от ворот ко мне, но неси кувшин, прижав к бедру, а не на плече. Пусть публика и слева, и справа видит всю скорбь на твоем лице. Ведь ты скорбишь, Ксения?

– Скорблю..., – уверено ответила женщина.

– Так покажи все величие твоей скорби! Глаза прикрой, и пусть твои груди затрепещут, как зайчики.

Несомненно, гетера Ксения обладала великим даром перевоплощения. Ее *tamma взволновались, a ubera tammarum*[17] *. Да что говорить, это видеть*

[17] Показатель калорийности женских достоинств.

надо! Все присутствовавшие в тюремном дворе надсмотрщики, заключенные и даже дьякон – он же сенатор, зааплодировали. Ксения смутилась и покраснела.

Между тем, Римлянин-Лысый орал уже на рабов:

– Эй, ты и ты! Крест надо установить перед просцениумом выше! Я не потерплю ложь на сцене. И если я протагонист,[18] то на таком низко установленном кресте я себя распять не позволю! Я не допущу профанации. И где хор? Где хореограф? Мы решительно восстанем против Витрувия и выведем актеров прямо в орхестр! Нам нужен поиск, модерн и даже где-то постмодерн.

Театральное действо три месяца пользовалось огромным успехом в христианских катакомбах, но когда прославленная Ксения потребовала показать трагедию городской публике под статуями богини Венеры и бога Орка, Римлянин-Лысый исчез. [19]

Пролетевшая черная птица больше на страницах романа не появится. Ну ее.

Появление перед ним Арона Римлянин-Лысый встретил весьма благосклонно, так как обиженно ощущал, что еще не высказался до конца. Он тут же отвел от подрагивавших губ кувшин и принялся изрекать:

– Ты видел, гражданин? Эти ничтожества не достойны произносить не только ни одной моей строки, но и!.. актеришки, которых даже нельзя назвать любителями..! В моей поэме тема богов неоднозначна, смысл их жестов и песен должен освободить нас от догматических оболочек.., – Римлянин-Лысый с тревогой оглядел вокруг себя траву и камни, затем успокоился и продолжил более уныло на что-то жаловаться.

Арон ничего не понимал и не желал вдумываться в то, что говорил малоазийский грек, лишь сожалел, что прекрасная музыка оборвалась:

– Извини, – остановил он его треп и неожиданно даже для себя вопросил: – Где я, что за море там?

Римлянин-Лысый, не задумываясь, ответил:

– Там Эгейское, а севернее Мраморное море.

Вопрос вдруг появившегося матового странника без волос и ресниц прозвучал не вовремя и не к месту. Ведь должен был видеть, что под портиком храма в муках рождался драматургический акт! Так что при чем здесь география? Он оглядел млечного типа и угрюмо произнес:

– Явление Аида. Акт второй.

Римлянин-Лысый ожидал, что его остроумная реплика вызовет смех у его юных актеров, но они явно желали не смеяться, словно действительно перед ними явился бог Царства мертвых.

---

[18] Как раз это утверждение ложное ─ Римлянин-Лысый никогда не играл главные роли в трагедиях.

[19] Указанное действие является самым весомым вкладом Римлянина-Лысого в мировое искусство. Главный герой, исчезающий в начале фильма, во второй половине XX в. Был определен кинокритиками как «ложный протагонист».

–Да, – ответил Арон. – Пожалуй, с некоторого времени меня можно назвать и Аидом. Такие дела.

Римлянин-Лысый не стал выслушивать объяснения чужестранца и приказал своим юношам, указывая на Арона:

– Бейте его, гоните прочь и бейте!

Актеры переглянулись, огляделись и, убедившись, что их главный дионисовский мастер тычет пальцем в пустоту, разбежались в разные стороны, помня, как мерзок и опасен Римлянин-Лысый, впавший в винный бред. Сам же лысый поэт, понимая, что происходит все же нечто мистическое, насторожился, и, прикинувшись слабоумным, продолжил разговор с чужестранцем:

– По торговым делам или беженец? У тебя есть друзья, покровители? Вижу, ты способен к кульбитам. Стану звать тебя Гимнастом. Мы, поэты, любознательны, черпаем сюжеты прямо из жизни... С кем ты ждешь беседы, Гимнаст?

– Вряд ли с кем-то здесь я смогу побеседовать, – признался Арон с грустью. – Я удивлен, что ты меня и слышишь, и видишь. Ну, Папа Римский… понятно, лицо духовное, но ты-то вроде как… поэт?

– Всякое бывает.., – уклончиво ответил Римлянин-Лысый и, вдруг возмутился. – А что, поэт – не духовное лицо? Моя поэма – сплошная раненая душа!

Арон, помнивший из художественной литературы только лишь теорию Данте,[20] легко согласился с ним:

– Да я не возражаю. Бывают поэмы… Божественная комедия, например.

Поэт же уже вовсю разливался словотечением, как Геллеспонтский пролив:

– Чепуха. Все эти комедии, трагедии... Все притворно. Платоном учил понимать симулякрум, как копию копии, след следа. Бардак не в том, что театр – храм симулякрумов,[21] а в том, что копия претендует на сущность оригинала, подлинника. Новый бог христиан и его люди много говорят о гордыни, но заметь, сами-то! Человека сделали сыном божьим! Чепуха! Человеки лишь копии богов Олимпа – симулякрумы и ничего более! Кузнецы – копии Гефеста, торговцы – копии Меркурия, даже проститутки всего лишь копии шумерской богини Иштар. Читал ли ты труд Платона «Софист»? Вижу по твоему унылому лицу, что – нет. Напомню. Даже все предметы, якобы созданные человеком, всего лишь творчество, считает сей мудрый муж, отображения сотворенного богами, всего лишь симуляция.

---

[20] Конечно, не теория, а поэма Данте Алигьери, в которой математика А. С. Гаипова, занимавшегося пространственными вложениями, заинтересовало допущение перехода ада на самом низком круге в высший круг рая.

[21] Сократ, приглашенный на VI съезд понтийских лесбиянок, даже утверждал, что сама богиня Афина является симулякром, т. к рождена головой Зевса.

Человеческое подражание также имеет два вида: творящее образы, соответствующие предметам, и творящее призраки, им не соответствующие. И творчество, заметь, туда же. И не только мы, драматурги и актеры, творим призраки, все люди! Соседи, враги, школяры, ораторы, воины и шлюхи. Актеры честнее, они прибегают к видимым маскам, а люди своим лицом, голосом, телом. Но все мы – симулякры, обретшие телесность, и человечеству на самом деле не нужны знания, даже знания о Боге, а всего лишь мнения. Так выскажи и ты, Гимнаст, свое мнение.

В ответ Арон только невразумительно пожал плечами. А Римлянин-Лысый с удовольствием продолжил разглагольствовать:

– Возьми женщин. Представь, какой афоризм я сам недавно сочинил: что желает женщина, то желает Бог.

– Ты бы сей афоризм высек на камне, а то обязательно присвоят неблагодарные потомки, – искренне предупредил Арон древнегреческого пиита.

– Плевать! – не вздрогнул Римлянин-Лысый. – Это очередная глупость. К черту умников! В тартар мою драму! В ней нет ни одного атома правды, зато целый талантон симуляций! Театр! Превратить литургию богам в пляски на сцене… Ах, если бы я твердо знал, что мне нужно… Может, славы или бессмертия, или покоя? Гимнаст, признайся, ты из когорты полубогов?

– Я – математик, – отказался от олимпийской миссии Арон. – Правда, в последнее время я как-то проваливаюсь и проваливаюсь во времени… Сейчас какой год?

Поэт озадаченно почесал лысину и произнес:

– Сказать сразу трудно… нововведения всякие. Евреи стали отчислять время по метонову циклу, я в их пасхах не очень… Вот по юлианскому или восьмидесятый, нет, восемьдесят первый. Но любой грек тебе точно скажет: шестой год октаэтерида.

– Да, точность поразительная, – согласился Арон и сам изумился тому, что его математический мозг нисколько не возмутился таким обращением с числовым временным рядом.

Римлянин-Лысый, заметив, как скука остуживает до смертельной белизны лицо его респондента, поспешил задать, видимо, мучавший его вопрос:

– Скажи все же, полубог Математик, что мне нужно? Можно все сразу? – стал азартно жадничать лысый поэт.

Арона снова потянуло в глубь веков, и он сухо ответил:

– Можно. Стань христианским отшельником, – и кратко рассказал просителю историю церкви. – Залезь в какую-нибудь пещеру и напиши все, что видел. И будет тебе слава пророка, бессмертие святого и покой сразу.

Выслушав Арона самым внимательнейшим образом, Римлянин-Лысый воскликнул:

– И через тысячу лет будут помнить?

– Само собой, – заверил его Арон. – Если, конечно, найдут твои рукописи. Так что пещеру выбирай тайную, сухую.

– Здесь недалеко есть одна пещера с узким входом, сухая вроде.., – мечтательно произнес лысый поэт.

И по блеску его глаз Арон понял, что этот тип превратит и отшельническую пещеру в театр. Понял и канул, не прощаясь, в века.

А-баев потерянно бродил по своей квартире и ссорился с отсутствующей женой, обвиняя ее в неспособности понять его смутное душевное состояние, пока не наткнулся на сидящего в своем влажном плаще Арона. На этот раз А-баевым не овладел испуг, а только легкое раздражение. Что тут приятного, когда в твоем доме тип, теперь уже странный во всех отношениях, сидит на стуле и слышит то, что кроме соседей никто и не вправе подслушивать.

– Представь себе, рост Адама был не меньше, чем наша телевышка. Великан, легко перешагнул бы девятиэтажный дом, – произнес Арон задумчиво.

– Какого еще такого Адама?

– Первого человека. Я видел его, – ответил Арон, и монотонно принялся рассказывать о своем пребывании в Палестине древнейших времен.

А-баев рассмеялся, и, плюхнувшись в мягкое кресло, подмял свое горе задом. Похихикивая, он спросил Арона:

– Говоришь, ростом с телевышку?

– Да, примерно, – ответил Арон, задумался и через минутку продолжил. – Я ведь увидел его уже лежащим на земле. Думаю, он ростом – метров тридцать. Он умирал. Лицо серое, мятое... губы и веки словно присыпаны пеплом... Собственно, я хотел взглянуть на самое начало жизни человеческой на нашей планете, но случился недолет... Я так думаю, с того дня, когда Бог выгнал его с Евой из Рая, прошло меньше тысячи лет...

–Ты что-нибудь позабавнее расскажи, а то ко сну тянет, время позднее, – намекнул на нежелательность присутствия гостя деликатный хозяин квартиры.

– Забавнее? – переспросил Арон и снова впал в тягостную думу.

«Э-э, зря я ему вопросики подбрасываю. Так он до скончания века не уберется отсюда», – перестал веселиться А-баев.

Наконец Арон произнес:

– Самым забавным было то, что он пытался посадить сад у своего лица. У него за щекой были деревья, Бог знает, где он их насобирал, кругом были только камни. Кончиком языка он вытягивал по одному стволу с корнями изо рта, ногтем мизинца единственно двигавшейся руки дырявил окаменевшую землю и втыкал туда эти саженцы. Иногда корнями вверх. Бедолага мучился, ведь для него они были как для нас самая крохотная иголка. Конечно, ни одно дерево не приживалось – жара, Палестина все-таки... Только одно растение не сбросило свои листья, и они остались упругими и зелеными...

– Естественно, это была смоковница, – сыронизировал А-баев.

Арон ответил ему все так же серьезно:

– Не знаю. Я ботанику терпеть не мог. Но думаю, что это была пальма. И здесь он заметил меня. И заговорил. Иногда лишь можно было расслышать отдельные слова. А так больше лишь движение губ, ведь он почти уже не дышал.

– Если учесть, с кем он со своей подругой первый и последний раз в раю разговаривал, то твой Адам непременно должен был заговорить на змеином языке, – сострил брошенный женой писака психитрическо-детективного жанра.

– Я думаю, что это был какой-то семитский диалект. Сначала я скорее догадывался, о чем он говорит. Он просил меня сесть в тени пальмы. И смотрел, как я там располагаюсь, глазами ребеночка, впервые очутившегося в кукольном театре. А потом, я думаю, он начал молиться: «Эллоах, силхи ли… ани... Эллоах, ани унизил шем…»

– Ани-мани, ресторани. Ты еще про пророка Мухаммеда расскажи. Тоже, небось, с ним встречался запросто так?

– Нет, – ответил Арон, помолчал, словно пытался вспомнить ускользающее событие. – Замечательный народ арабы. Пока перестраивали свою молельню, несколько раз успели перессориться. Пыль стояла столбом. Там, надо сказать, вообще пыльно.

– Где это там? – нетерпеливо попытался А-баев уточнить, в каком все же мире живет профессор.

– В Мекке. Стены чуть выше меня, из неотесанных валунов. И я сижу там, как торговец пылью, а они все препираются между собой. Разобрали, наконец, все стены. Затеяли снова укладывать. Каждый род тащил свои камни, но каждый руки тянул и к Черному камню. И давай тянуть его каждый на себя. Забавно, что там же рядом с ними в основании стен лежали камни зеленого цвета, не менее космические. Впрочем, человеку всегда было присуще игнорировать фундамент.

– Только давай, пожалуйста, без философствования, – перебил опять его не обедавший еще А-баев.

Можно было, конечно, начать закусывать и при призраке, которого к столу и пригласить как-то неловко. Все-таки нехорошо так открыто демонстрировать умершему, что вот мой организм нормально физиологически функционирует, а твой в таком разобранном виде. Можно было, но культурный врач сдержался, только проворчал:

– Ну и о чем ты? Договорились между собой твои арабы, хотя бы насчет перерыва на обед?

– Нет. Но пришел некто, которого они называли Надежным, расстелил на земле плащ и предложил на нем, взявшись всем за края плаща, перенести Камень на нужное место. Это, наверное, и был Мухаммед. Но они как-то разом снова все смешались, все в желтых плащах, в кафтанах, бороды у всех до глазниц. Не различишь.

– Ну, крикнул бы, эй, пророк! Я тута! Давай и я, мол, потаскаю с вами ваш метеорит, – с вызовом в голосе намекнул А-баев, что он, как человек образованный, в курсе о происхождении Черного камня, вмонтированного в стену Каабы.

– Черные, громовые камни – бетели, лапис нигер или аэролиты, камни Дома Божьего, далеко не все имели небесный источник но во всех случаях бетиль являлся пророческим камнем, камнем, который говорит. Ты человек, без сомнения, недалекий, но... нельзя уж совсем так.

– Знаешь что! – возмутился А-баев и вскочил с кресла, чтобы указать этому умнику на дверь. – Я тут ради тебя целый роман-расследование веду! Я уже сам пострадал, а ты тут... Вот вам человеческая благодарность. Вон отсюда!

Но гнал он Арона напрасно. В пустом объеме не опавшего плаща никого уже не было. А-баев осторожно заглянул в темный ворот, как в нору. Мистическая мгла наполняла материю, сохранившую форму человеческого тела, и в глубине этого объема А-баев, предельно напрягая глаза, увидел белую полоску и надпись на ней.

– Не может быть! – удивился А-баев и, глядя на плащ, шмякнувшийся на пол половой тряпкой, и имея в виду и жену Арона, воскликнул: – Ну и семейка! Хороши оба.

А-баев с брезгливой гримасой поднял импортный ароновский плащ, расстегнул его и совершил окончательную криминалистическую экспертизу, прочитав криво отпечатанные слова на опять же криво вшитой в боковой шов тряпочке: «Подольская швейная фабрика «Большевичка».

– Врут, все врут! – все никак не мог он успокоиться.

Но он не был бы настоящим исследователем человеческих душ и преступлений, если бы тут же не задал себе вопрос, а затем и другой:

– Но с какой целью она уверяла меня, что этот плащ из Финляндии? И почему он сидел в плаще? Впрочем, чем плащ отличается от сбежавшего от него футляра в виде тела? В принципе – ничем! Разве что у биологической ароновской формы есть башка, желудок и ноги.

О таких мелочах, как пальцы Арона, А-баев даже и не подумал, но скоро он испытает на своем горле их мертвую хватку.

«Хотя, возможно, он и не врал, ошибался. Даже с такими учеными, как Арон, такое бывает. Ясное дело, что на доисторической Палестине он не был. Бога нет потому что.., – осмысливал произошедшее А-баев. – Наверное, его астральное тело летало в иной галактике, видело там какой-то сад на какой-то планете, сущность которой – ее вечная трансформация. Черт ее знает, какие еще формы жизни и нежизни есть во Вселенной. Рай с космосом спутать, надо же! Но если отбросить земной шовинизм и с позиции вселенского космополитизма определить космос как бесконечное пространство, включая Землю с ее атмосферой… Ну все, все! Тогда.., – А-баев ужаснулся. – Если все-все – космос, то что тогда такое некосмос?!»

Да, кстати о голубях. Была одна история в биографии А-баева с выемкой с голубиное яйцо в левом полушарии мозга. Случилась она на заре его профессиональной деятельности. Тогда, спросонок, все еще продолжая прилаживаться к плоской подушке, он наталкивался скошенным глазом на четырехугольную печать «Гореславский районный психдиспансер» на наволочке. И так вздрагивал всем телом от испуга, что сразу отпадала всякая нужда в утренней гимнастике. Как бы с вечера он не перекладывал ватный подголовник к мерзкому звонку будильника, эта черная расплывшаяся метка обязательно оказывалась у кончика его носа. Так с мыслью о психической метке он вставал и грустно тащился, сунув босые ступни в туфли, в совмещенный сортир, крашеный в нечто декадентское, серо-буро-малиновое. Спроси его о чувствах в те минуты, он, пожалуй, так декадентски-поэтически и сказал бы: дистиллированная грусть.

Уверяют, что если человека поместить вне времени, он станет совершенно счастлив, ссылаясь при этом на Библию. А-баев уверен был в ложности сего постулата, предполагая, что Адам в раю был личностью совершенно меланхолической, любой мало-мальски грамотный психиатр выявил бы в нем склонность к депрессии. Не случайно змий-искуситель был гораздо интересней Еве, чем бродивший где-то рядом ее законный приятель. А все от того, что был скучен.

В кухоньку А-баев не заходил, в ней не только не гудел сытый холодильник, но даже тараканы не шуршали. Кипятильник с пачкой чая он держал на подоконнике своей опочивальни. Во вторую комнату, куда после его заселения в эту ведомственную квартиру с больничной койкой и казенным бельем не ступала нога человека, он тоже не заглядывал. Через семь-восемь минут он уже переступал порог своего холостяцкого жилища и, хотя больница находилась сразу же за бетонным забором, все равно опаздывал на работу. Потому как зачитывался по утрам, сидя на унитазе, купленной три года назад толстущей монографией академика Снежневского «Шизофрения» и перелистывая «Лекарственные средства» Машковского. Правда, но ничего в его башку не лезло. Зато в его живом воображении неожиданно возникла картинка, изобразившая сидящих во времена динозавров в каком-то ущелье Танзании австралопитеков. Сидят они там и умнеют до кондиции Гомо сапиенс. И А-баев, недолго думая, приволок из больницы фанерный шкаф и плотно отгородил свою койку от пространства даже той комнаты, в которой обитал. И только забравшись в это свое искусственное танзанийское ущелье между стеной и задником шкафа, он понял, как отвратна была ему вся его дурдомовская квартира. И, наконец, обрел покой и способность гармонично воспринимать шизофрению.

Ежевечерний ужин в ресторане, иногда и с женщиной, отвлекал А-баева от мрачных мыслей, связанных с клиникой, но в то же время еще больше

приковывал к ней, вынуждая из-за денег соглашаться на внеочередные ночные дежурства. Хотя в принципе, какая ему была разница, где спать? Везде его ждала серая подушка с печатью. Конечно, в ущелье уютней, но и в опустевшей приемной случались время от времени теплые, занимательные беседы с доставленными милицией алкашами:

– Ты куда это посматриваешь? – спрашивал он участливо у пьяницы.

– На чертей.

– И какие они?

– Маленькие, с собаку, – жалобно стонет здоровенный мужик. – Вон они, доктор, оба в кепках…

А-баев для поддержания репутации строгого врача всегда непреклонно требовал:

– Скажи им, кепки снять. В больнице все-таки находятся.

– Как же! Так они меня и послушаются. А хвосты они, я знаю, в карманы прячут…

После десяти часов он быстренько пробегал по отделениям и, пожалуй, все. В женских палатах все больше лежали неброские особы, потихонечку рыдающие по неведомым покойникам, или сексуально озабоченные хохочущие тетки с жутко накрашенными губами. А вот среди больных мужчин встречались весьма интересные личности. Особенно забавен был Шольц. Товарищи из областного комитета коммунистической партии считали его сумасшедшим, а он утверждал, что престарелые секретари Политбюро КПСС выжили из ума. Тема была весьма спорной, поэтому А-баев не углублялся в нее. Рядом с койкой Шольца лежал некто Федя, парень лет тридцати. Вот ему-то, как не заглянешь к ним в палату, горячо растолковывал свои идеи Шольц. И Федя был для таких занятий идеальным собеседником.

– Режим говорит о лагерях, фигушки, мы говорим – скрытый ГУЛАГ! По меньшей мере, сто пятьдесят тысяч политических заключенных подвергаются в наше время пыткам и заканчивают свою святую жизнь в ужасе и мраке сам знаешь где! Понавесили себе ордена! Брежнева крокодил съел и целую неделю какал орденами. Сосед мой – инструктор обкома партии: «Ты снова, товарищ Шольц, про сто тысяч?!» А я ему: «А ты ведро мусорное свое не выставляй на лестничную площадку. Здесь люди живут». А он, хам: «А ты покопайся, может, найдешь себе обгрызок колбасы пожрать». Я говорю: «Покопаюсь! Там много всякого мусора и грязи найдется! И выйду с плакатом перед вашим обкомом!»

Федя никогда не перебивал оратора, а просто молча взирал на потолок и улыбался. Совершенно было непонятно, почему на его лице всегда посверкивали очки с перемотанными синей изолентой поломанными дужками, ведь он не то что бы не заглядывал в книги, а вообще не смотрел по сторонам. Только прямо перед собой, как не разверни его. Федя страдал кататонической формой шизофрении с выраженным синдромом негативизма. Его кормили через зонт, и никто никогда не слышал от него ни единого звука, хотя обычно сама

процедура проталкивания через нос резинового шланга всегда вызывает у людей и до, и после какие-то комментарии. А этот вытянулся бревном и помалкивает.

Своих девок, теток и старушенций, бродивших по коридору с распущенными волосами и не придерживавших распахивающиеся отвороты байковых халатов, А-баев откровенно побаивался. Так что на таком фоне тихий Федя не мог не вызывать симпатии, внося хотя и недостаточную, но все же гармоничную дозу покоя в души психиатров. И не было ничего странного в том, что и А-баев во время своих частых ночных дежурств любил постоять у койки Феди, молча общаясь с этой удивительной фигурой – живым идолом немого блаженства. Такое случается разве что среди девственной природы…

Есть вероучения, в основном тотемические, когда речь идет о «внешней душе», покидающей на время человека. Впрочем, это не чуждо и авраамическим религиям. Федя всегда был тепленьким, ровно 36, 6 градуса. Кровь в нем исправно циркулировала, а значит, и душа наличествовала, как бы он ни прикидывался бревном, «ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа; поэтому я сказал сынам Израилевым: не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела – есть кровь его».

Душа всякому человеку при рождении дается в одинаковом объеме. Но затем каждый из человеков, впадая то в грех, то в святость, теряет или приобретает часть материи, обозначаемой как «душа». Вот как умно философствовал А-баев, при этом честно признавая, что сам успел настолько растранжирить свою душу, что уже не ощущал ее в себе, только знал, что еще чуточка от нее где-то в нем припряталась. А так как душа не исчезающая в никуда субстанция, то ее большая часть, видимо, витала невесть где. А вот кто-то праведный мог наращивать ее в себе. Наверное, были такие личности, в которых душа настолько выросла, уплотнилась, что они уже при жизни начинали светиться нимбом. Таким образом, по теории А-баева, человеческие души никуда не отлетали, а как вторая атмосфера циркулировали в людях и вокруг них, постепенно год за годом, век за веком все прибавляясь на Земле. Что ни говори, а люди все-таки за последние пару веков стали гуманней, на кол уже воров не сажают и ведьм перестали сжигать. Да и к животным стали добрее, к тем, кто еще выжил, конечно.

Конечная цель же Того, кто привил к организму животного под названием хомо сапиенс душу, такая же, как и у терпеливого огородника. И когда человечество духовно созреет настолько, что будет святостью своей сиять, как красный помидор, Он сорвет с планеты-огорода сей плод и откушает. Обидно, но логично. Земля есть грядка для живых существ, человек – грядка для души. Собственно, что тут обижаться, радоваться надо. Как белки прожаренного бифштекса становятся частичками человеческого тела, так ведь души людские встраиваются в объем Того Субъекта, для которого вся Вселенная лишь агрополе. Для кого-то это не совсем приятно, зато какая честь!

Продолжительные пребывания в квартирном «ущелье» стали давать свои первые плоды. А-баев стал не только ориентироваться в клинических формах шизофрении, но и возобновил свои размышления о природе психических болезней. Ему со студенческой скамьи не нравилось, что с подачи древних греков психических больных начали называть душевнобольными. Еще тогда он начал подозревать, что в сумасшедших больным органом является прежде всего мозг, ненормальное состояние которого делает пребывание душ в их телах просто некомфортным. Душа не может заразиться ни бактериями, ни вирусами, ей не страшен инсульт и склероз. Да, люди привыкли бросаться словами: «Ох, как болит душа!» Но боли в душе столько же, сколько ее в крови, текущей из раны или язвы.

Видимо, человек подсознательно еще с пещерных времен пытался уровнять душу с другими органами. Все хочется, чтобы и состояние души зависело от гигиенических, гимнастических потуг, от диеты. Милое дело, заболела душа, начал бегать трусцой и все прошло! А вот так не выходит. Душу не вылечишь, как туберкулезные легкие.

Еще некоторое время А-баев продолжал ходить на работу, читать газеты, сидя на унитазе, учить жену, как надо учить их дочку-первоклашку, но что-то сдвинулось в его мозгах. Психиатра стали преследовать видения.

А-баев был хорошим врачом, медсестры его уважали, шизофреники охотно рассказывали ему о своих галлюцинациях, как посвященному. Больше того, в последнее время они, лишь взглянув на него, одиноко сидящего с пустыми глазами в своем кабинете, молча закрывали дверь и уходили, с пониманием говоря друг другу: «Занят. У него прием». А заведующая отделением наоборот стала ворчать: «Вечно вы чем-то заняты! Почему вы не ведете прием? Там эпилептика об чайник колотит, а он сидит тут, как будто кино смотрит!».

А-баев закрывал глаза, тер их пальцами, открывал, мигал, плакал, но все равно видел. Видел сидящего на бордюре мраморного хамана под тюрбаном персидского солнца необычайно большого голубя.

Жирная птица, явно страдая от жажды, иногда заглядывала в бассейн, где близко видела свое мерцающее отражение, но ленилась наклонить клюв и на воду посматривала с грустью разлученного с любовью откормленного ребенка. Возможно, то было свойство белого декоративного подводного камня, возможно, в бассейне плескала живая вода, но свет в ней оставался всегда ровным и голубым, днем и ночью.

«Скорее всего, – соображал Арон, – если судить по цветущим цитрусовым, я проскочил через.., что несколько успокаивает: все-таки в моем движении еще присутствует какая-то доля логики».

Время растворялось в бассейне сада Чехель-Сотун так медленно, как произносится девяноста девять Его имен, каждое из которых несет смысл и остальных девяносто восьми прекраснейших наречений, одно из которых – Вечность. Скажешь: «Призывайте Аллаха» или «Призывайте Милосердного» все одно – у него самые лучшие имена.

Голубь так намозолил глаза А-баеву, что он радостно вскрикнул, когда увидел появившегося в саду Арона. Да так дико, что стоявшие рядом с ним в морге коллеги завопили тоже и даже у покойника, смерть которого и собрался обсуждать консилиум, на лице обозначилась гримаса недовольства, словно он хотел сделать резкое, но справедливое замечание врачам: здесь вам не стадион – орать!

А-баев же забормотал о каком-то оставленном дома включенном утюге. Все сочувственно проводили его глазами до двери, кроме, разумеется, вскрытого от кадыка до лобка усопшего. К своему дому А-баев, конечно, не побежал. Психиатр-романист спрятался в больничном саду, где наконец-то в спокойной обстановке продолжил обозревать свои глюки.

И все же сюжет, легший в основу литературного произведения, продолжал вызывать в А-баеве обеспокоенность. Как-никак он как медик был воспитан дарвинистом. Приятно потрепаться об инопланетянах, призраках, Бермудском треугольнике, но в жизни все-таки разумней функционировать без этих фигур. Пальба из ружей и затем исчезновение тела из больницы – еще терпимо, но вот наличие души, как действующего героя… Слишком уж! Мистика не мистика, треп – не треп, ерунда, в общем. Дабы обезопасить себя и будущих читателей от сомнительных представлений о живом и мертвом мирах, А-баев решил писать свой роман строго в рамках советской литературы, в жанре социалистического реализма. Для этого следовало стать членом Союза писателей СССР. И он отправился в Алма-Ату, прямо в писательское учреждение. К скорому отъезду подталкивала[22] и супруга А-баева, всем своим перманентно дрожащим нутром человека, излеченного в психиатрическом стационаре, почувствовавшая в нем угрозу душевному здоровью дочери.

В здании писателей с монументальными колоннами перед фасадом, А-баев научился заказывать у стойки бара рюмку коньяка и чашечку кофе и зависать над ними утомленным лбом в течение часа. Этот творческий процесс вскоре разрушился знакомством с писателем, входившим в секцию сулейменовых, зарегистрированных в отделе кадров Союза писателей согласно алфавиту, а именно: ә-Сулейменовым. Старший литтоварищ, можно сказать, ввел его своей мягкой поэтической речью, в основном сводившейся к злословию, в быт

[22]В прямом смысле этого слова.

писателей. Но когда новоявленный автор попытался проехаться по личности, как они, пописывавшего актера, акцентируя внимание на его неумеренном пристрастии к алкоголю, ә-Сулейменов тут же холодно пресек глумление над страдающей фигурой сцены:

– Пьяница о пьянице не должен говорить плохо.

Поглядывая на него, А-баев думал о той несправедливости, которую чинят по отношению к животному миру стихоплеты-басенники. Отчего они приписывают пристрастие к горячительным напиткам медведям и бобрам, а вот записать в когорту спившихся субъектов арабского скакуна не желают никоим образом? Так нельзя, даже конкретный лебедь может быть подлым существом, а дождевой червь имеет полное право претендовать на роль героического персонажа. Говорят же: пьет, как лошадь. Почему это животное не может быть благородных арабских кровей?

В один из декабрьских дней повалил тяжелый серый мокрый снег. Освоившийся в кабинетах литконсультантов А-баев, воочию убедился в теплой атмосфере, царившей в Союзе писателей. Не надо только с маниакальным постоянством, уподобившись ә-Сулейменову, обзывать всех бездарностями.

А-баев стоял у окна и пытался понять, почему, когда бездарь громит бездаря или даровитого творца, сие занятие ни на кого не производит особого впечатления. Однако, ежели к таким откровениям приступал человек, явно отмеченный чертами гения, то его любые замечания оскорбляли не только субъекта критики, но и всех, кто присутствовал при этом, и даже тех, кто не являлся очевидцем, а только позже был уведомлен об этом инциденте. Он заметил, что к каждой реплике ә-Сулейменова относились, как к противопехотной мине, а то и как к противотанковой, предпочитая вежливо, но стремительно уклониться от его нетвердого пути. Самыми безопасными местами являлись высокие приемные литературных генералов. Потому что ә-Сулейменов туда не забредал. Из чувства брезгливости, как он заявлял. С этой грубой формулой А-баев никак не мог согласиться. Даже в приемной секретаря Союза писателей – ө-Бисбаева, входившего в интернациональную секцию өбіс.[23]

В году так 58-59-м один из классиков советской литературы – уроженцы Северного Казахста на утверждают, что им был их земляк Сабит Муканов, уроженцы Восточного Казахстана, – что им был их земляк Анатолий Иванов, почти неотличимый лицом от первого, да и писавший такие же душевные романы – посетил южную область КазССР. Первый секретарь обкома Компартии за достарханом с армянским коньяком, барашком и узбекским

[23] Секция поцелуевых (*өбіс.* – каз.) в свою очередь делилась на подсекции ручкупоцелуевых и себяцулуевых. Является до сих пор до такой степени демократической, что позволяла и позволяет и некоторым членам других секций участвовать в своих симпозиумах и заседаниях. И это притом, что секция стремилась избежать всякой публичности своих пристрастий настолько, что писатель Поцелуев взял себе литературный псевдоним ө-Снежин, а ведь обладал замечательной русской фамилией, ничем не хуже таких фамилий, как писатель Любимцев (он же артист-чтец Либерман) или поэт Киссин (он же художник Петров-Водкин).

пловом уговорил классика посодействовать вступлению в эту Всесоюзную творческую организацию одному уроженцу того края для повышения уровня культурной среды области:

– Герой Социалистического Труда у нас есть, заслуженный учитель есть, даже заслуженная артистка есть, а члена Союза писателей нет.

Классик беспечно, но твердо обещал. А зря, так как к нему в его алма-атинскую квартиру через неделю притащился тип с кипой исписанной бумаги и вырезками из областной газеты с рассказами о трудовом подвиге рисоводов. Гость представился и напомнил об обещании. Надо сказать, что литклассик, как сирота детства, ценил раз данное слово. С уговорами, с угрозами рассориться, он провел кандидатуру провинциала через секретариат Союза писателей КазССР, но вот его московские литературные генералы встали кремлевской стеной, искренне не понимая, почему:

– Совесть-то имей! Не знаем, может быть, он и написал что-нибудь талантливое на своем казахском, но ведь ни одной книги нет!

И все же, без преувеличения, титаническим давлением Классику удалось пробить путь автору областной газетной печати путь к шестнадцати Домам творчества самых замечательных курортов Кавказа, Крыма, Прибалтики и Подмосковья, к другим сказочным благам, но даже М. Шолохов, скрепя сердце, промолчал, когда включали этого типа в ряды советских писателей, являвшимися, как бы, внештатными сотрудниками идеологического отдела ЦК КПСС.

Настал день, и в кабинет Классика с шикарным радио «Мир», солидным письменным столом со стульями, оббитыми коленкором еще раз вошел представитель гостеприимной области Казахстана. То ли С. Муканов, то ли А. Иванов, с веселой и в то же время брезгливой улыбкой протянул начинающему писателю в хромовых сапогах с галошами красную книжечку с гербом Советского Союза со словами:

– Поздравляю. Как и обещал.

Новый член Союза писателей СССР смутился, но членский билет двумя пальцами, но цепко, как клещами, взял, раскрыл с волнением, пожевал губами и, вдруг запротестовал, расстроившись:

– Но я не Катай Матаев, а Матай Катаев.

Вручавший ему краснокожий писательский билет Классик с недоумением рассмотрел вернувшееся ему в руку краснокожее удостоверение. Действительно, что-то там нарочно или непреднамеренно напутали московские функционеры писательского аппарата. Возникла патовая ситуация.[24] В наступившей тяжелой паузе лицо Классика стало наливаться сиреневым гневом. Наконец, в кабинете гневно прозвучало:

[24] В СССР возможным было восстановление даже удостоверения члена Коммунистической партии, но получить членский билет писателя взамен утерянного или испорченного было невозможно ─ следовало вступать снова.

– И таких о… невежд принимают в писатели! Катай-матай, какая разница! Не в этом задача писателя. Хочешь им быть? Значит, должен знать, что каждому писателю выдается вместе с удостоверением и псевдоним. Иди, пиши, Катай Матаев!

Когда-то за широким проспектом поэта и мыслителя Абая Кунанбаева виднелись выстроившиеся вдоль близкого юга треугольники гор, сияя примитивной белизной, как на рисунке старательного карапуза: свободно и на всю ширину листа неба. Летом даже воздух подножий прохладен и леденист, всю свежесть только поглощает густой ароматный воздух дачных садов, лежавших почти рядом, ну в трех, в пяти километрах от Головного арыка. А декабре алма-атинские горы обычно скрыты промозглым туманом. Но в приемной второго секретаря Союза писателей и маститого прозаика ө-Бисбаева было так уютно, тепло и так славно, как бывает только у дверей богатого и доброго дядюшки, что А-баеву очень полюбилось присаживаться в нем на стульчик у широкого подоконника и думать, думать. О многом. О таком огромном количестве вещей и проблем, что в один из декабрьских дней 1986 года он сразу и не заметил в пелене нездорового влажного снегопада легионы студентов, двигавшихся по всей ширине улицы к вавилонским правительственным зданиям.

– Кто это? – с удивлением воскликнул почти прописавшийся в литературной теплице психиатр, хотя поставь перед окном дебила, и тот бы понял, что он лицезрит первую массовую демонстрацию в последние десятилетия XX века в Союзе Советских Социалистических якобы Республик, демонстрацию студентов против еще опасного пока ЦК Коммунистической партии. – Что это?

– Кровь, – услышал он в ответ. – Наша кровь. Иногда из пустякового пореза кровь как хлынет и хлещет, и хлещет, что плохо. Но что хорошо – здоровая кровь.

Все оглянулись и увидели вошедшего в приемную ә-Сулейменова.

–А-а-а, дряхлое сердце, пьяный мозг.., – тут оратор врезал себе в лоб кулаком. – Они как бы ни при чем, подгнивают дальше.

– Ай, ты так не говори! – прерывал ә-Сулейменова явившийся из своего кабинета ө-Бисбаев. – Пей меньше и сердце здоровое будет, и в башке гнили меньше станет.

Во рту ө-Бисбаева таял отсутствующий и в то же время вечный леденец, отчего лицо его имело сладкое выражение и, произнося слова, он вынужденно слегка сюсюкал.

– Гниль на бутылке, а не в бутылке! – со свойственной ему афористичностью заявил ә-Сулейменов.

Сие нелепейшее утверждение в эти минуты прозвучало, как ни странно, достаточно убедительно. У всех присутствовавших кадыки дернулись, как при

хорошем глотке. В эту минуту остановившиеся у здания Союза писателей студенты совершили, если не второе преступное деяние, но тоже некрасивый поступок: они стали требовать, чтобы к ним вышли скопившиеся там за полвека записные отцы нации. Приди они к ним с нижайшей просьбой рассудить и наставить на путь истинный, то, пожалуй, отчего не спуститься к ним и, согласно национальным традициям, не высказать им ряд мудрых наставлений. А тут: кричат, лозунги сочинить требуют. Очень неприятно. Выходите, мол, и идите вместе с нами! Куда? В тюрьму? Какая-такая тюрьма, когда кое-кто еще не получил четырехкомнатную квартиру вместо ставшей тесной двухкомнатной, а у других времени просто нет расхаживать по городу: надо над рукописью поработать, корректоры не ждут, зато ждет гонорара жена и одолжившие тебе деньги неприятные друзья.

– Надо выйти к ним, – воскликнул ә-Сулейменов.

– Нет такого постановления! – только и ответил ө-Бисбаев, и бурдюк его обильного брюха бухнул о подогнувшиеся колени. – Не шевелись!

Но ә-Сулейменов арабским иноходцем уже скакал по ступенькам парадной лестницы, да такой резвой рысью, что не смог остановиться на первом этаже и проскочил еще на два пролета вниз, прямо в подвал здания.

Но вопрос выхода-входа все равно нуждался в решении. Метавшийся по гигантскому вестибюлю подающий надежды поэт деловито пугался и оглядывался на вставшего на монументальном фронтальном лестничном пролете ө-Бисбаева, распорядившегося:

– Закрывай двери, закрывай!

– Агай,[25] засов не удержит! – сомневался поэт. – Если поднажмут…

– Надо забаррикадировать, – велел агай.

– Чем? – возбужденно вопрошал подающий надежды поэт.

ө-Бисбаев, великолепный стилист казахской словесности, публично частенько предпочитал выражаться с сильным акцентом на русском языке, выискивая в нем особенно заковыристые словосочетания, чем вводил внимавших ему казахских братьев по перу в состояние девственного изумления, принимаемое им самим совершенно серьезно за восхищение:

– Закладывайте подручными средствами, – так он изрек на этот раз.

Детский дефект речи маститого прозаика ө-Бисбаева, помноженный на его искаженное звучание, не позволили А-баеву понять, чем следовало закладывать, и он только растерянно посматривал по сторонам. Видимо, недостаточно долго он поварился в писательском котле, так как остальные творческие работники, поняв все с полуслова, приялись заваливать огромные двухстворчатые дубовые двери парадного подъезда книгами. А-баев удивился, как много и к месту ими было написано. Да, большая литература была создана членами Союза писателей Казахстана.

---

[25] В данном случае ─ литературный дядя.

С севера по улице шла бронетехника.

А-баев, вспомнив о своем наставнике, сошел в подвал здания, переходивший в бомбоубежище. Проходя тамбуры, железобетонные отсеки и коридоры, он, конечно же, заблудился и в отчаянии ткнулся в самый темный угол, где наступил на заспиртованный корпус ә-Сулейменова. Писатель не стал протестовать, лишь выдохнул коньячный газ и сунул в А-баева недопитую бутылку благородного пойла. Так они с ним снова сошлись и, не выбираясь наружу, принялись целыми днями пьянствовать, таская коньяк «Самтрест» из расположенного в глубине гигантского подвала неликвидированного стратегического хранилища Министерства мясной промышленности КазССР – первого владельца облицованного гранитом здания писателей. Однажды они даже попробовали вино из спецпайка № 4 для высших партийных чинов. Это было великолепно и тоталитарно.

– Но почему « № 4»? – удивлялся А-баев.

– Потому, что спецпаек «№ 3» предназначался только для товарища Сталина. А на «№ 2» мог претендовать только товарищ Ленин, – просвещал его старший товарищ из писателей.

– А «№ 1» Карл Маркс? – заплетающимся языком вопросил А-баев.

– Не думаю. Карл Маркс, конечно, основоположник и теоретик, но он не входил в списочный состав партаппарата, – прошелестел ә-Сулейменов.

– Тогда чей это номер?

– Самого! – совсем уже страшным шепотом произнес ә-Сулейменов и А-баев не решился настаивать на более ясном ответе.

Иногда они бродили по темным коридорам, на которые не ступала нога человека со времен минмясомолпромышленности, беседуя о творчестве Франца Кафки и Сабита Муканова. Северный туннель подвала переходил во взлетную полосу подземного аэропорта с винтовым боевым самолетом, другой южный, заканчивался настоящей тюрьмой с пыточными камерами.

– Здесь, – указал пальцем на пол одной из камер ә-Сулейменов, – кости писателей, – и перечислил А-баеву семь имен почти мистических, составлявших скрываемую гордость казахской нации.

Дебютирующий медицинский писатель оглядел цементный, покрытый пылью десятилетий, пол. Черт его знает, здание построено еще в довоенные сталинские времена. Как-то вновь вернувшись на это зловещее место, они увидели одиноко сидевшего на холодном полу и тихо плакавшего маститого прозаика ө-Бисбаева.

– Чего это он тут? – спросил А-баев.

– Он же все-таки казах, если ты помнишь, – ответил ә-Сулейменов, проявлявший по отношению ко всему, что носило интимный сакральный характер, редкую деликатность, и потянул собутыльника прочь к выходу из подвала, продолжив комментировать поступок секретаря Союза писателей. –

Каяться пришел. Значит, все закончилось. Студентов посадили на нары, а он получил новую квартиру.

В отношении студентов ә-Сулейменов оказался прав, но писатели в поддержке решений ЦК Компартии СССР сплоховали, не оказались на высоте, как историки Академии наук КазССР, изучавшие революционное движение и строительство коммунизма. Что, в принципе, понятно – у последних рефлекс, а писатели – существа рефлектирующие… Так и не улучшили свои жилищные условия на крови.

Упорный труд над романом вызвал в А-баеве вполне естественную реакцию: он стал глубоко презирать не только все, что было написано до него, но и обложки книг, где кроме фамилии писателя ничего и не присутствовало. А потом и всякая бумажка стала вызывать у него буквально тошноту. И, укрепив дух, романист решил работать с более крупными и тяжелыми предметами. Он решил, что ему следует писать только на скалах, не ниже пятидесяти метров от уровня моря.

Переходя от одной одинокой горы в степи к другой, А-баев добрался до хребтов Алатау. Блуждая там в поисках подходящей для его произведения отвесной скалы, он вскоре совершенно изорвал на себе одежду и месяца через три оказался босым и голым. В яблоневых садах он набрел на мочалки, брошенные работницами, белившими стволы деревьев от гусеничной напасти, и обвешался ими, как мог. Скоро и они измочалились до такой степени, что стали выглядеть, как грязные куски шерсти. Туристы принимали широкого, высокого и сутулого А-баева за снежного человека, прикармливая остатками из консервных банок. Бригадир же совхоза «Горный садовод» Мырзакып-улы, наоборот, консервированное мясо никогда не ел, утверждая, что туда добавляют свиной жир, и презирал А-баева и как мусульманин, и как начальник. Последнее выразилось в том, что он издал приказ гнать волосатого шайтана от яблоневых садов. Отношения между ним и А-баевым особенно обострились после того, как блуждающий романист на свежеоштукатуренной стене только-только поднявшегося двухэтажного дома бригадира выцарапал ночью текст. Увидев это безобразие, Мырзакып-улы вызвал милицию. Явившийся поселковый сержант признал одну букву порнографическим рисунком. К тому же год назад был ограблен кем-то промтоварный магазинчик яблоневого совхоза, и А-баева решено было судить уже по трем уголовным статьям. Хотели пришить ему и шпионаж, но никто не мог правильно написать в заявлении название какой-нибудь вражеской страны. Суровый бригадир заявил, что все равно, поймав этого голозадого бродягу, он будет бить его, как вражеского лазутчика. И этим он не ограничился. Ссылаясь на то, что он близкий родственник казахстанскому муфтию, он объявил всем снежным людям Священную войну – газават. Садоводы его бригады тут же закидали камнями первую же попавшуюся им на глаза группу альпинистов, смутившую

их разум уже тем, что среди них шли по горам два чернокожих европейца. В газетах писали о роковом камнепаде.

А-баев, с болью осознавая нависавшую над ним смертельную угрозу и догадываясь о том, что Мырзакып-улы не только брат муфтию, но и родственник первому секретарю Союза писателей, ходко подался дальше на Памир, оставив неспокойные Алатау, которые киргизы гордо называют Алатоу.

Нынче физики сошлись во мнении, что гравитации и вообще всемирного ньютоновского тяготения нет. Может быть. Однако яблоки все равно падают на землю. И гниют на ней, если садоводов больше интересуют камни.

Даже прибегая к самой абстрактной азбуке – иероглифам, А-баев так и не смог изложить смысл своего странствования. Конечно же, изначальной отправной точкой было расследовать убийство. И в этом плане мог бы получиться сносный детективчик, но как ни писал он, все равно получалось письмо жене, с просьбой прислать хотя бы старые, брошенные в дачный сарайчик, зимние ботинки.

На самом отдаленном от цивилизации высокогорном перевале Бадахшана А-баев увидел на висящем в воздухе мече нечто, написанное-ненаписанное, нарисованное-ненарисованное, выбитое-невыбитое.

Так и стоял А-баев неподвижно в снегу перед застывшим в воздухе мечом, пока не отморозил пальцы на ногах. Он попытался утащить с собой этот необычный меч, но его попытка дернуть холодную ручку оружия привела лишь к одному результату – нескольким землетрясениям в Азии, одно из которых – Спитакское, привело к страшным посадкам разворовавших цемент строителей обрушившегося города. А-баев было изрек по этому поводу мудрую мысль, но мерзли ноги и из носа текло, и он промочал.

В тринадцатом веке нашей эры шел как-то, возвращаясь в свой гарнизон, по горной тропе монгольский воин. Шел и спотыкался. Упав в очередной раз и разбив лицо об камень в кровь, он вскричал: «Гуманьжо!», что означало на одном из ханьских диалектов неприличное слово. Пытаясь подняться, он почувствовал мучительную тошноту, но усилием воли смог сдержать в себе прекрасное согдийское вино. Неприятно было другое – кто-то, помогая ему встать, прикоснулся к нему. Естественно, что он тут же отбился от чужой руки. Как ветеран семи походов, он не верил в искренность чужеземцев, как бы она ни выражалась, и всегда оказывался прав.

Наконец монгол воздвиг себя и увидел перед собой человечка в выцветшей чалме и длинной полуистлевшей рубахе из грубой верблюжьей шерсти.

Светило полуденное солнце, с юга дул горячий афганский ветер. Надо было сразу же зарезать этого бродягу, но воина окончательно сморило, и

только волчий треух на его голове, хранивший одну и ту же температуру его затылка уже девять лет шесть лун и три дня не позволял мозгам окончательно лишиться способности соображать.

–Ты кто?! – завопил воин. – Отвечай! Гуманьжо!

Человек во власянице, стараясь уберечься от пахнувшего на него перегара, прервал дыхание и, помедлив, ответил:

– Я – любящий Аллаха.

– «Любящий» не есть чин, не есть племя. Отвечай верно!

– Я ответил достаточно ясно, почтенный воин.

– Ты, я вижу, дерзишь! – пробормотал воин, пытаясь вытянуть из-за своей спины клинок.

Но нужного обоюдоострого снаряда у монгола не оказалось. Наверное, он забыл его в доме приятеля, где просидел всю предшествующую ночь. Воин застыдился и сказал от этого гораздо дружелюбней:

– Стой здесь. Я отойду... тут недалеко, а потом убью тебя.

– Прежде вспомни.., – попытался остановить его встретившийся ему странник.

Но монгол уже бежал назад, подгоняемый жгучим стыдом и страхом действительно потерять меч, понимая, как легко он может вместе с ним лишиться и своего волчьего треуха со всем его содержимым. Через несколько часов он был в покинутом им на заре гостеприимном доме, в котором, дары святой горе Бурханхалдуном, никто со времени застолья не появился со стороны. Клинок он быстро нашел среди липких от вина опустошенных кувшинов, да вот хозяин никак не хотел его отпускать. Впрочем, старого пьяницу не трудно удержать у источника его болезни, подали чаши с вином, зелень, зажаренного барашка и он снова прокутил весь вечер и ночь, но на этот раз хозяин при расставании не дал солдату ничего забыть в его доме. И где-то в полдень хмельной воин снова столкнулся с бродяжкой во власянице.

Любящий Аллаха, правда, ожидал его не стоя на тропе, а сидя, но именно на том самом месте, где вчера ему велено было ждать смерти.

Монгол, человек поживший, не был каким-нибудь убийцей, но слово надо держать и он сходу поднял клинок над головой ожидавшего своей участи путника. Обычно и одного выкрика «гуманьжо» хватало, чтобы раскроить любой череп, но потянулись минуты, часы, годы, столетья, а клинок все беззвучно летел от низкого темного облака вниз и никак не мог коснуться темени странника в верблюжьей суфе.

Воин видел, как стремительно несется к своей цели его страшное оружие, и очень жалел, что пьяной рукой направил клинок прямо на череп, и с замиранием сердца ждал, что вот-вот раздастся цокающий удар. Он никак не мог забыть одного китайского бунтаря, лобная кость которого была настолько крепка, что оставила на его отточенной стали щербинку. Брать, конечно же, надо было косо по шее, тогда ключица и ребра очень мягко распарываются,

как шов изношенных портков на потливой гуманьжо. Монгол все это видел и уже чувствовал, но совершенно не замечал ту тягучесть, какую вдруг приняло время.

Суфий вначале, как любой смертный, с ужасом смотрел на направленное лезвие, но так как движение его очень трудно было заметить, даже прищурившись, он вскоре перестал обращать на него внимание и снова погрузился в свою любовь к Аллаху. Ему следовало бы встать и уйти, но он боялся оставить воина в смешном положении, а так его присутствие создавало все-таки какую-то осмысленность поступку его нового знакомца. Затем, он ведь и сам не знал, насколько дальше от этого злого несчастливца он прошел по пути, возможно, если измерять временем, на несколько десятков лет, возможно, на час-два. Не знал и решил ждать, чтобы объяснить этому заблудшему воину, как он не прав.

Прошло тридцать семь лет, а суфий все так же молился и размышлял под клинком на горной тропе, а потом умер. И час этот был удачным для попадания прямо в Рай – клинок монгола, как игла солнечных часов показал время намаза.

Горячий сухой афганец иссушил тело суфия до состояния мощей, но скоро то, что осталось от него, проросло кустом с узкими бледно-зелеными листьями.

У самых пальцев монгола, крепко сжимавших рукоятку клинка, прижилось не одно поколение паучков, протянувших паутину к ломким веткам хрупкого растения. Одно время тут же поселилась змейка, но, все время чувствуя над своей норой присутствие живого существа, не прижилась и уползла.

А между тем, посидеть под зависшим монгольским клинком на Памире стало считаться у разных народов и их правителей делом очень желанным, ибо сидение это стало сопрягаться с возможностью познать смысл жизни. Подогревали интерес к клинку и его отдаленность, и труднодоступность, на той тропе снег лежал уже в августе.

Появлялись целые легенды о Зависшем Клинке и о тех, на кого упала тень от той полоски стали. Считается, что к ним относятся и простудившийся в походе Тамерлан, генерал-губернатор Ташкента Романов, красный полководец Фрунзе. Все они умерли умиротворенными. Хромой Эмир примирившись с существованием Китая, Великий князь отказавшись от блуда, а Начальник штаба рабоче-крестьянской Красной Армии – блаженно улыбаясь в руках кремлевских хирургов, что особенно непонятно. Тут же было заведено дело о восточном заговоре, а так как достать непонятно кого где-то там, на Памире с неясно каким оружием сложновато, то арестовали и расстреляли бурятского врача, лечившего в Петрограде травами.

На самом деле все обстояло проще. Каждый день суфийские святые совершают обход всей земли и оглядывают, осматривают все, что доступно их

взгляду, и если они обнаруживают некое несовершенство, то сообщают об этом изъяне Исфраилу – ангелу Воскресения, чтобы он устранил его своим благословением.

«Путь к славе – всегда возвращение», – подумал А-баев и было развернул ступни, но, поняв, что возвращаются лишь только через дырку в таланте и бродят по кругу, передумал, зарыдал и поплелся дальше, вперед.

Все же не случайно А-баев назначил себя детективом и взялся за расследование убийства А. С. Гаипова, были все-таки в нем задатки матерого следователя. Ясно, что не только написание романа на скалах потянуло его в горы, тем более, что произведение с каждым днем писалось с чудовищными по времени паузами. Он вдруг догадался, что самые неопровержимые улики убийства Арона он найдет под Зависшим клинком. И он немедля погрузился в глубокие раздумья под полосой металла. Но скоро уснул. Устал.

Когда рядом с тобой в домашней постели или на нарах казенного здания по воле судьбы лежит беспокойный человек и вертится, и дрыгает конечностями, то уснуть чрезвычайно сложно, даже если он никоим образом не посягает на твое внимание. Это относится и к женам, и иным женщинам.

Однако если под твоим боком устроился, а возможно, насильно уложен родной маленький ребенок, то как бы он ни пыхтел, ни сопел, ни орал, ни пытался встать и вырваться на свободу, ты спокойно засыпаешь с его пяткой, вдавленной в твой нос. Видимо, это от того, что он воспринимается вами не как отдельное существо, а как часть вашего тела. Бывает же, беспокоит сердце, дергается щека, но вы засыпаете.

Проснулся А-баев на тропе от острой боли. Нечто весомое обрушилось на его плечо. Наступило утро. Солнце сияло, дул горячий афганский ветер. Никакого монгольского воина на дороге не было. Не видно было и его клинка. А упало на А-баева проржавевшее лезвие разбитой конной сенокосилки, кем-то нерадивым брошенной в горах.

Покореженная коса тягловой машины разворотила правую руку искателя, и сделался он с того времени и сухоруким.

Ставши инвалидом, А-баев окончательно заблудился в горах, да так, что теперь даже и представить не мог, что где-то на Земле есть степь. Кто его знает, сколько времени проблуждал романист в полном одиночестве в поднебесье, но надо заметить: нисколько не одичал. Правда, он изрядно изголодался, до той степени, когда донельзя сжавшийся желудок начинает переваривать одну лишь кислую ягодку смерти.

Вообще-то надо умирать человеком, если уж не знаменитым, то, по крайней мере, известным, имеющим заслуги перед хотя бы какой-нибудь конторой. Так и покойнику спокойней, и вдове не так хлопотно гроб выносить.

В одном индустриальном городе самоубийцы с моста над рельсами, выходившими из корпуса с плавильными домнами, прыгали прямо в котлы с жидким металлом, разрешая в дальнейшем все неудобства для других. И от их проблем не оставалось даже струйки дыма.

А-баев как-то рассказал с ужасом эту историю Арону, но тот не увидел здесь идеального акта самоуничтожения, а только заметил: «Культурные люди смывают за собой воду».

Вдоль перил того моста скоро соорудили высокие проволочные заграждения, а по краям – вышки с прожекторами. Пустили собак. Настоящий концлагерь, не сбежишь.

Гибнуть на горном снегу А-баеву не хотелось, и вовсе не от того, что его замороженный труп будет валяться там вечность, озадачивая всех в той или иной степени своим ненужным наличием, а в силу его простого устойчивого жизнелюбия. Он же не депрессивный шизик какой-нибудь, как некоторые. Потом он еще даже до пенсии не дожил.

А-баев, с криком: «Спасите!», осторожно, но стремительно принялся спускаться в первое же попавшееся ему на пути ущелье и наткнулся на шедшего по своим делам человека в штопанном-перештопанном чапане.

Человек в рваной одежонке, увидев горного романиста, вздрогнул, но с любопытством стал рассматривать существо. При этом он даже не пытался понять, о чем тот говорит, а только посмеивался. Наконец, А-баев осознал, что надо изъясняться яснее, вытянулся в струнку и принялся, согласно армейскому уставу, отдавать честь рукой и маршируя, тем самым требуя, чтобы его вывели к погранзаставе. Все напрасно, но после того, как А-баев на своем лбу пальцем провел контуры пятиконечной звездочки, горец не только перестал хохотать, но побелел и, развернувшись, бросился бежать от голого. Верно, решил, что он шпион. Тогда он тем паче должен был идти к пограничникам. Ковыляя на искалеченных ногах, А-баев не отставал от горца ни на шаг. «По крайней мере, – надеялся он вдохновенно, – куда-нибудь да выведет».

Как ни пытался памирец ускользнуть от преследователя, как ни прятался, все бесполезно. Тот буквально висел, как гончий пес, на его мелькавших пятках. Раз двадцать беглец сбрасывал на А-баева огромные камни, раз сорок заманивал к краям скрытых бездонных провалов, но ненормальные стопы романиста вышагивали столь непредсказуемо, что каждый раз он избегал неминуемой гибели. К исходу пятого дня, поняв, что отделаться от выслеживающего его чужака совершенно невозможно, обладатель старого полосатого халата с

обреченным видом сел на мелкие острые камни, спрятал лицо в подтянутые к нему колени, и было видно по его содрогавшейся спине, что он горько плачет.

И только тогда до А-баева, наконец, дошло, что этот высокогорный абориген или сумасшедший, или шпион. Но в любом случае, он, и как врач, и как следователь, должен непременно проследить за этим разведпридурком. Бдеть и лечить его вперемежку, описывая тут же все симптомы и вражеские происки своего нового персонажа.

«На вид ему где-то за сорок, – творил литературный слепок А-баев. – Светло-каштановые волосы его поредели до лунообразной лысины, а глаза таяли на грязном лице, как две голубые луны, пока не истончились совсем в острые полоски опрокинутых полумесяцев».

Созданными строками автор остался вполне доволен. Теперь оставалось лишь выбить на ближайшей скале один большой круг, под ним два маленьких кружка, и под ними две кривые линии. И целый абзац романа был бы готов. Но что-то мешало А-баеву немедленно приступить к записи своего произведения. Между тем горец явно угасал.

«Однако! – соображал А-баев. – Что его убивает? Сибирская язва? Пневмония? А может быть рак? Саркома колена! Конечно же, вот почему он не может идти дальше!»

Литераторствовавший врач бросился осматривать ноги памирца, но они были настолько жилистыми, что не то чтобы опухоль, микроб бы в них не угнездился. Даже незначительного бурситика не отмечалось, хотя бы поцарапал бы он их что ли... Единственным результатом этого осмотра была констатация факта медленного остывания тела совершенно здорового человека. Редчайший случай предстал перед А-баевым. Полулежавший на камнях перед ним нестарый человек, не болея, умирал.

И почему этот горец, сильный и ловкий, как пехотинец Александра Македонского, так перепугался его, отзывчивого, мягкого, как кресло дантиста, человека?! Перетрухал буквально до смерти. А-баеву стало невыносимо горько на душе.

«В чем его вина?» – этот вопрос рябью проносился по зыбким полушариям его мозга. Он не понимал.

Голодный А-баев еще раз пропальпировал впалый живот больного, помял машинально и мускулатуру, хотя и без жира, но свеженькую...

– Нет! До этого я не паду! – воскликнул А-баев. – Лучше сам сдохну, но спасу этого человека. Я врач, романист, и гуманизм для меня не пустой звук.

– Да не скажи! – раздался вдруг за его спиной знакомый голос.

А-баев, вздрогнув, оглянулся и увидел улыбающегося типа с лицом Гаипова.

– Привет...Ты почему в цилиндре и мешке?[26] – А-баев не решился назвать его по имени.

– Вот мудак, – усмехнулся тип. – Я же не спрашиваю почему, ты голый. Не мое дело. Совет вам да любовь.

– Да ты что! – возмутился медико-литературный гуманист. – Ты что, подумал, что мы это?.. Да я никогда!.. Да я его даже не знаю!

А-баев только пялился на знакомую улыбающуюся физиономию, пытаясь понять, какой Арон перед ним. Судя по тому, что прежде субтильный профессор приобрел груду мышц – бицепсов, трицепсов, бычьи шейные, перед ним было бездушное, пугающее до икоты тело Арона Гаипова.

Гаипов, продолжая мерзко улыбаться, содрал с горца рваные портки и похлопал по его смуглой ягодице, говоря при этом:

– Ну, если ты его не любишь и даже совсем не знаешь, давай сожрем его. Я не ел неделю.

Не зная, что ему ответить, А-баев промямлил наспех слепленную фразу, из первых пришедших на ум слов, таящих в себе возможность и уклонения, и угрозы:

– Я ждал тебя под Зависшим клинком.

– Под каким это клинком? – нахмурился Гаипов. – Мне еще рановато.

И тут А-баев решился заговорить прямо, смело и без обиняков:

– Да ты не Арон. Ты тело его!

– А ты чье тело? – стал снова ухмыляться тот, но как-то бесчувственно, словно где-то нужный для эмоций нерв оборвался, и все чувства сдулись. – Ну-ну, рожай.

А-баев, напротив, запротестовал эмоционально, в смысле, потерянно, что выражает горе и тоску:

– Я? Я... мое тело…

– Вот именно, – нахраписто давил Гаипов.

– У тебя нет души! – осмелел А-баев, снова забыв о своей наготе.

Гаипов расхохотался, как смеховой инструмент:

– А у тебя она есть? Где ? Покажи.

И А-баев с ужасом понял, что не только не может продемонстрировать свою душу кому бы то ни было, но даже давно не чувствует ее присутствие в себе. А вдруг и у него она каким-то образом незаметно отлетела в сторонку, а его тело бродит голым само по себе?!

– Но я видел твою душу.., – робко возразил А-баев, смущенно прикрыв ладошками свой срамной орган.

Гаипов, оглядев его с ног до головы, хохотнул:

[26] На самом деле, Гаипов был коппо – ферганский дождевик, представлявший собой как бы мешок с горизонтальной выемкой для шеи.

– Ну, чего застыдился, как Адам, отведавший в раю яблочка от древа Познания? Знания здесь ни при чем. Это я тебе как профессор говорю. Библейские тексты тем и хороши, что все надо понимать так, как там написано. Адам, прокусив плод, просто почувствовал вкус еды, так сказать, активизировал с нуля свой пищевой рефлекс. Хорошо бы, если бы он оставался вегетарианцем, ан, нет. Коли вкус появился, то подай ему что-нибудь еще вкуснее – бифштекс с кровью. – И Арон, пуская слюни, продолжил, показывая пальцем на кататонического горца. – Ну что, порубим это мясо на котлеты? Я же видел, как ты его пощупывал, аппетитно так. Ну что ты смущаешься? Естественная вещь. Ты ведь сам об этом подумывал. Мясо оно всегда мясо.

– Это человек, – возразил А-баев.

– А что, человек из пластилина слеплен, что ли?

– Мы людей не едим... я – врач!

– Ах, ах, он врач! А разве не вы, врачи, раскрутили в более изощренной форме обыкновенный уже забытый человечеством каннибализм?

– О чем это вы, Гаипов? – встал в позу А-баев. – Я вас не понимаю! Какой-то бред.

– Как о чем, – невозмутимо продолжил Арон. – О трансплантации органов, заметь, человека – человеку.

– Вы не понимаете, это спасение гибнущего больного... Да, проводят операции по пересадке сердца донора, но заметьте... погибшего человека, сердце или почка ему уже не нужны. Причем здесь людоедство?

– Ну, если ты такой щепетильный, подождем, все равно наш пациент сейчас сдохнет. Мы его тепленького тут же вскроем и воспользуемся его печенью, спасая нас, гибнущих от голода.

– Это возмутительно! Это невежество!

А-баев все сильнее горячился, жестикулировал, указывал куда-то вдаль рукой, а Гаипов, явно устав от мельтешившего перед его глазами собеседника, заорал:

– Да заткнись ты!.. Вроде был не глупым малым, а молотишь чушь. Ну, какая разница между пожиранием мяса человека и трансплантацией его органов? И в первом, и во втором случае счастливчик получает чужое мясо в свой организм, и тут неважно: через рот или хирургический разрез. Ведь цель одна – желание продлить свою жизнь. В конечном счете, разжеванное и проглоченное мясо все равно превращается в организме опять в мясо, в ту же печень, в часть сердца, становится кровью пожравшего. Вот заказывает себе сердце беззаботно греющегося в канализационном люке бродяги, а, возможно, и в своей постели дрыхнущего после пьянки юнца какой-нибудь богатенький инвалид-сердечник, а вот ты выбираешь себе барашка на шашлычок. И если убрать словесную шелуху, то вы просто оба потребители мяса. Я уже не говорю о том, что человеческий белок стали употреблять даже в виде вытяжек из трупиков трехмесячных младенцев. Все прикрываетесь воплями о спасении,

о долге врача бороться за жизнь человека до конца... Главное ведь для вас, как вы сами и утверждаете, спасение человеческой жизни. Да, за счет донорских органов, но, собственно, чем они отличаются принципиально от другой биомассы, скажем, диетического творога? Все дело в законах того или иного государства.

А-баев весь этот обличительный монолог пропустил мимо ушей. Врачу, а тем более писателю по медицинским наукам, не к лицу дискутировать на тему донорской хирургии с обывателем на его языке. Ведь для не посвященного во врачебные тайны человека понятие кровь вещь чуть ли не сакральная, наполненная эмоциональными представлениями типа «кровопийца», «кровопролитие», «родная кровь, она же священная» и т.п. – чувственная философия. На самом же деле, кровь только лишь жидкая ткань, осуществляющая в организме транспорт химических веществ, благодаря которому происходит интеграция биохимических процессов, протекающих в различных клетках и межклеточных пространствах, в единую систему. Как медик А-баев здесь прочно стоял на цивилизованных, гуманистических позициях и законодательно разрешенных, но вот как писатель… Ведь надо признать, романисты-то что? Они-то и питаются чистой человечиной, наполняя ею, как брюхо, свои толстущие книги. И тут случилось нечто странное для трусоватого, благовоспитанного А-баева. Он схватил камень, замахнулся им и завопил во все горло:

– Пошел вон!

Гаипов мгновенно вывернул ему руку, и хотел было вбить угрожавший ему камень в зубы литврача, но в эту секунду что-то действительно опасное для него привлекло его внимание. А испугал его святящийся шарик, всего-то величиной с теннисный мячик. Обычная шаровая молния, нередкая для горного края. И надо же, этот выродившийся в невесть кого человек по имени Арон Гаипов так скакнул от нее, что мигом очутился на склоне другой горы.

«А я еще так хорошо думал о нем, – расстраивался А-баев. – Считал другом и вот тебе, каким гадом оказался».

Но долго горевать по сему поводу не было времени. Надо было спасать больного.

Гастрономические дискуссии никак не решали проблему умирающего пациента. Но в голову А-баева кроме нереальной среди диких гор капельницы с физраствором ничего не приходило, пока ему нечаянно не вспомнилось, что он не просто доктор, а врач-психиатр, можно сказать, прямой наследник Фрейда и Сербского с его критериями вменяемости.

«Этот памирец окоченел явно с перепугу, – соображал А-баев, вспоминая гримасу ужаса на лице больного. – А если снова подвергнуть его шоку?»

А-баев оживился и стал прикидываться Снежным человеком, помня, какой страх наводил он в этой ипостаси на кое-кого там, в предгорьях. Он принялся прохаживаться в раскорячку перед больным, свесив руки почти до земли,

похрюкивал, почесывался и злобно оглядывался окрест. Так повертевшись с полчаса, он заметил, что кататоник ожил и наблюдает за ним чуть приоткрывшимся глазом. Скоро горец совсем перестал даже замирать и глазел на него с явным любопытством, словно ребенок, очнувшийся от долгого страшного сна и увидевший рядом с собой только плюшевую игрушку.

Кончилось это шаманское камлание тем, что памирец, наконец, встал, отряхнулся, плюнул с презрением в сторону А-баева и, сказав: «Аллах акбар!», спокойно и ходко продолжил свою дорогу. Лечащий врач, не выходя из роли Йетти, поплелся за ним. На этот раз горец явно шел в свой кишлак, по крайней мере, не плутал, заметая следы, лишь иногда поворачивался и, кидая в прицепившегося к нему урода мелкие камни, покрикивал на него, мол, убирайся прочь, животное!

А-баев же, никак не желавший отставать, только пригибался и по-обезьяньи охватывал голову руками. К заходу солнца ловкий сын гор забрался в какую-то расщелину в отвесной скале и исчез там. А-баев поспешил сунуться за ним и скоро сквозь узкий лаз выбрался на каменную площадку, зависшую над крохотной горной равниной, точнее – более-менее ровный горный склон с лепешками пахотной земли, окруженный со всех сторон каменной стеной.

В сгустившихся сумерках А-баев не увидел домов, но уже знал – они есть, они дышали где-то совсем близко легким дымком и чудовищно вкусным запахом какого-то шедевра восточной кухни. Ах, если бы он знал, что в этом заоблачном ауле готовится лишь одно варево из зерна и тыквы, а вкус чая не помнит никто, он, пожалуй, страдал бы чуть менее цветасто. Фантазируя на кулинарные темы, он впервые представил Арона Гаипова в таких красках, что черт был белее. И только за то, что тот, не доедая студентом в высотном общежитии Московского университета, за несколько дней до стипендии написал обширный труд о здоровой и вкусной пище. «Сочинять рецепты блюд в состоянии голода – чистейшее фарисейство! – возмущался А-баев. – Теперь я понимаю, насколько этот тип был лицемерен и… вообще, настоящий садо-мазохист!»

Рассвет под самым небом несколько развеял черные мысли А-баева и он, как творец прогрессивного произведения в жанре литературы, устыдился своего желания очернить главного героя романа. «Впрочем, – размышлял врачебный писатель, разглядывая перед собой какие-то нелепые постройки из камней и кривых веточек, слепленные под прикрытием скал. – Что-то гадкое все-таки в профессоре появилось, ишь, человечины захотел отведать!»

– Если ты был не ты, а только, как ты говоришь, твое тело, то явись! – громко вскричал растревоженный запоздалой догадкой А-баев.

Ни ароно-гаиповский презренный корпус его, ни душа не явились, ни вместе, ни раздельно. Зато появились двое щуплых пацанят из кишлака, пришедших поглядеть вместе с бараном на Снежного человека, и принялись кричать, тыча пальчиками в А-баева:

– Нас-нас! Нас-нас!

Кроме них, никто интереса к А-баеву не проявил. Дети иногда подкармливали странное существо, прижившееся у кишлака, а баран от своего тоскливого одиночества несколько раз подходил и блеял, приставив свою морду к носу А-баева, передвигавшегося, как и положено реликтовому гоминиду. А-баев, зачисленный немногочисленным народом поселеньица в животные, упорно молчал в ответ. Барана это оскорбляло, но он проявлял упорное миролюбие, пока не попытался пристроиться к А-баеву сзади. Медписатель легко доказал овну, что он и сам самец, за что тут же поплатился. Его четвероногий поклонник разогнался и въехал крутым рогом ему в ухо. А-баев покатился по земле и оглох.

С самими жителями кишлака у А-баева тоже не сложились теплые взаимоотношения. Казалось бы, несколько одичавшему, не имевшему и ниточки на теле своем, человеку самое место среди этих нищих и напрочь оторванных от цивилизованного мира людей. Но горцы отнеслись к дипломированному интеллигенту так, словно они небожители, а он дикарь. А сами воду в медных котелках кипятили! Самовар бы их явно потряс своей сложнейшей инженерной конструкцией. Впрочем, наблюдательный А-баев стал со временем догадываться, что этих горцев тоже когда-то не обошла вниманием советская власть, обильно снабжая товарами богатого потребсоюза, в лавках которого встречались даже югославские дубленки и болгарские сигареты. На всем их почти походном укладе, привычке ходить с оглядкой, разрозненных вещах лежала тень беглецов. Но кто мог бы скрываться от парового отопления, пенсий и телевидения, как не сумасшедшие... «А не коллективный ли это побег из Душанбинского психдиспансера?» – заподозрил А-баев, прижившись окончательно у этого ненормального кишлака.

А-баев как-то в своей медицинской юности удосужился сопровождать главного психиатра области в его инспекционной поездке по больницам в дальние степные районы. Заехали и в один психиатрический диспансер на двадцать коек, из которых семь были заняты самим врачом и его семейством. Приняты они были в этом Богоугодном и Богом же забытом заведении на самом высоком уровне. На рыбалке заслушали полный клинический отчет врача больнички, за ухой, к которой были отдельно поданы семь корейских соусов и отваренный рис, обсудили административно-хозяйственную часть.

Выбравшись поздним вечером из-за стола в степь по малой нужде, А-баев впервые в жизни увидел живого взрослого микроцефала. Обычно младенцы, родившиеся с черепной коробкой, способной вместить в себя лишь спичечный коробок, умирают еще в роддомах.

Микроцефал имел милое, доброе лицо, с вершины лба опрокидывавшееся к загривку окаменевшим водопадом. Он выполнял какую-то работенку при

доме хозяина и мычал что-то веселенькое себе под нос. И вид имел здоровый, опрятный.

Небо было исключительно звездным. Микроцефал поднял на плечо бревно и тут им невзначай снес от края земли гигантскую кучу звезд, ну прямо-таки сбил гроздьями! И как ни в чем не бывало, улыбаясь, прошел мимо остолбеневшего А-баева в сторону овечьего загона.

Заезжий молодой психиатр на мгновение почувствовал себя лилипутом перед этим уродом, но его подбодрила раздавшаяся из дома песня нормальных людей, и он отнес это видение к алкогольной галлюцинации. Он со спокойной душой вернулся к коллегам допивать третью склянку со спиртом. Врач-кореец и его начальствующий врачище-казах задушевно орали за столом республиканский гимн: «Казакстан – менім отаным...» При этом главный психиатр области поднимал время от времени вверх палец, дирижировал им и уточнял «Социалистік отаным!»

Между тем в кишлаке стали готовиться к свадьбе, и, как заметил А-баев, она должна была стать первой за последние несколько лет: в селении не видно было ни молодых супругов, ни грудных младенцев, к тому же в обряде сватовства гнездилась какая-то неуверенность и непоследовательность, что создавало нервозную суету.

Невестой была дочь того самого памирца, что привел за собой Нас-наса, девица явно засидевшаяся. А женихом тринадцатилетний мальчишка Рамуш. Другого, более подходящего для этой роли холостого парня, не нашлось. Впрочем, Рамуш нисколько не был занят предстоящим, бегал по скалам и слушал сказки А-баева, зато очень обеспокоился баран. И чем ближе был день назначенной свадьбы, тем упорней это животное ловило взгляды хозяев кишлака и переводило свои выпуклые влажные глаза на мелькавшего вдали А-баева, намекая, мол, что есть здесь и кроме барана скотина, годная под нож. Не найдя понимания, баран от отчаянья снова стал наскакивать на А-баева сзади, желая хотя бы унизить везунчика, но врачеписатель и здесь проявил огромную стойкость и мужество, встречая барана лбом достойно и небезуспешно. Мальчик Рамуш был единственной живой душой на Памире, признававшей А-баева человеком. Он все расспрашивал его о сути огня и есть ли такое дерево, с пылающим пламенем внутри ствола. Бедовый романист сомневался и снова пытался рассказать более знакомое – техническое описание районной котельной.

Время шло, как ни удобно было жить у незлого кишлака, пора было собираться продолжить путь, о чем он сказал своему маленькому приятелю в надежде, что тот станет его со слезами отговаривать, но Рамуш вдруг загробным голосом пропищал: «Есть только один путь, этот путь – Аша, все остальное беспутье». И на глупый вопрос дикаря: «Аша?», ответил, ткнув пальцем себе в лоб:

– Это было у меня здесь написано с рожденья, сейчас кожа стала толстой, непрозрачной, трудно уже прочитать. Больше я ничего не знаю, бараном клянусь!

Свадьба, между тем, никак не ладилась. Все из-за того, что за долгое время пребывания там, внизу, в долине были забыты все подробности свадебного ритуала. Старики к заоблачному месту нового жилья не дошли, и тон всему задавали трое сорокалетних мужчин. Один из них настаивал на обряде обручения – агд, который должен был произойти в доме невесты, когда магическая сила, дающая торжеству счастливый венец, извлекается из сладостей, монет и зеркал. Второй кричал, что все это есть персидские штучки, достойные разве что равнинных таджиков, и что он скорее умрет, но не допустит таких богопротивных игрищ здесь, на Священных камнях предков. Третий ворчал, что если молодые, судя по его опыту двадцатитрехлетней давности, пройдут очищение огнем, то никому хуже не станет.

Любопытствуя, А-баев однажды слишком близко подошел к разгоряченным спором мужикам. Один из них замахнулся на него и закричал:

– Пошел прочь, обезьяна!

Второй горько заметил:

– Пусть будет, что ему не сидеть с нами, когда мы все сами стали обезьянами.

Третий молча заплакал.

И в эту минуту над кишлаком загудел и затем завис вертолет, из которого высовывались милицейские фуражки.

Усыновленный Рабией трехлетний мальчик Серик молчал. Собственно он ей и достался потому, что никому больше не нужен был немой выродок какой-то, говорили, ненормальной. Но Рабия с ним говорила, не ожидая ответа, в стиле ее бесед с погруженным в свои заумные мысли, Ароном. Рассказала малышу, кажется, все: и о бабушке, завещавшей ей свой золотой, но так и не востребованный зуб, о соседке, бригадирше шахтеров в военные годы, курившей папиросы «Казбек», о Плисецкой и фуэте, о подруге, выпившей уксус от неразделенной любви к такому жлобу, что спаси-и-помилуй!

Все, что ей нужно было, так это говорить с человеком, когда больше нет рядом ни одной родной души. На кухне, в постели, у телевизора, даже сидя на унитазе через дверь. Она оказалась рассказчицей. Если бы Арон знал, что его жена вовсе и не ждет ответов в разговоре с ним, то, пожалуй, позволил бы ей говорить и за него, тогда, возможно, не было бы и нелепого ее любовника, видимо, они были бы чуть счастливее. Никто и не спорит, что беда, когда баба болтлива, но бывают ведь и похуже варианты, когда постоянно обрывают ее речь.

Мальчик молчал, а новая его мама говорила и говорила. Ах, если бы он хотя бы как-нибудь давал знак, что слышит, как легче ей было бы! Но мальчик

сидел и неподвижно смотрел куда-то в сторону – не радуясь и не огорчаясь ее словам, что бы она ни говорила. Без сомнения, она много бы отдала ради его язычка и делала много: водила его к бабкам-знахаркам и логопедам, сама создавала ситуации обязательного звукового общения. Однажды ей пришло в голову, что ему нужен друг, немой, как и он. Арон бы тут же остудил ее порыв фразой о недостижимости в этом мире идеала. Но его не было рядом. Присутствовало только его тепло, ставшее привычным, как температура собственного тела. Разве что, когда застынет она на часы в неловкой позе с потухшими глазами, ее начинало чуть лихорадить. Эти всплески жара вновь ее заводили, как battements или brise – «И быстрой ножкой ножку бьет». И давай она опять тарахтеть языком. Но Серик не вступал с ней в разговор.

И еще она освоила игру «холодно – горячо». Она заметила, что когда у нее на сердце было зябко, то никак не следовало совершать те или иные поступки. Обязательно они приводили к разным неприятностям. А если двигаться послушно теплой волне, то можно было даже найти потерянные кем-то деньги, приличную сумму. Но она никогда не поднимала эти кошельки и тугие портмоне. Разве что однажды, но тогда очень нуждалась, сама-то она обходилась хлебом, но мальчику нужны были витамины.

Сковывающий холод в груди она чувствовала и когда шла усыновлять ребенка. Надо было еще выждать, тогда бы, может быть, ей бы достался не такой... Усыновленный ею ребенок, так понравившийся ей своей молчаливостью и сосредоточенностью на известной только ему мысли, напоминавшими этими качествами ей Арона, оказался болен аутизмом. Муж был прав – опасно брать брошенных детей.

Выброшенный из вертолета на хлопковое поле с горцами, А-баев вместе с ними стал целинником совхоза имени «Шестидесятилетия молодежи» – проще, кишлака Сари Пул-23. Он снова попытался прикинуться снежным человеком, но на этот раз его старый трюк не сработал. Сразу же после своих первых кривляний и обезьяньих пробежек, он крепко был избит лыжной палкой бригадиром Мырзакыпом-окой, заоравшим:

– Мне тут всякие Одами-явои не надо! Это в горах ты дикий человек, а здесь – колхозник! Неблагодарные твари, – гневался далее начальник хлопкоробов. – Вам советская власть все дала: дома – дала, кровать – дала, радио – дала, орден – дала, клуб – дала. Работай честно, давай стране белое золото. Нет, все равно убегаете в горы, работать не хотите, честной жизни не хотите!

Пришлось А-баеву отмыться и вновь вспомнить об одежде. Памирцы же сбились в малую кучку и сели на корточки в знакомую А-баеву позу и с подбородков их из-под ладоней, прикрывших лица, капал на ноябрьскую пашню горький пот. С них уже успели содрать драные халаты и выдать ватные пальто, а Рамушу сунуть в руки коробку с пластмассовыми шахматами. Не

решающиеся заговорить на своем языке, одетые так же, как все, ни цветом кожи, ни разрезом глаз ни от кого из местных не отличавшиеся, они теперь стали вообще непохожими на окружавший их народ.

Пересыпая из одного мешка в другой химические удобрения, А-баев посматривал то на своих бывших горных покровителей, то на полевой стан, где клокотало в котле варево, и жалость мяла его сердце, и желудок маялся в предчувствии плова.

«А не отравить ли их сразу?» – иногда думалось ему...

Но так и не решался, потому как и эта дума, и иные мысли могли отвлечь его от самого написания романа, который, кстати, принял еще более престранную форму. То, что писалось, не просилось уже быть начертанным петроглифами на скалах, а появлялось само собой то там, то сям, в самых неожиданных географических широтах, и о новых, созданных им же строках, сценках, главах он иногда сам не догадывался. Скажем, сидит он орлом в захлорированном клозете совхозного поселка или тащится меж хлопковых рядков, собирая распухшие ватные коробочки, при сем совершенно не напрягая мозговую коробочку на своих плечах, а в это время где-то над Тихим океаном материализуются полновесные строки его шедевра, все нарастая и абзацируя буквами и знаками препинания.

Кое-кто из писателей, любящих озираться по сторонам в минуты творчества, стал поворовывать у А-баева целые куски из его, к несчастью, еще не опубликованного произведения, выдавая нагло за плоды своего таланта. Ведь никак невозможно было все опротестовать, поставить под каждым словом свою подпись с датой написания. Но стиль, оригинальнейшая образность, неповторимый дух и грамматические ошибки без сомнения свидетельствовали в пользу настоящего автора.

Как-то все в том же сортире на восемнадцать очков А-баев наткнулся на используемую не по назначению книгу болгарского автора, перелистал ее: ба! так ведь вырвано со всеми знаками препинания прямо у него! И то, как его литературный герой стоит и плюет, и то, как опять торчит где не надо, но уже не харкает куда ни попадя.

Да что там болгарин! В плагиате А-баев уличил даже своего бригадира Мырзакыпа-оку. Подозрение у него вызвало не то, что тот, уставившись в пространство, сидел часами, а то, что после таких посиделок на свежем воздухе начальник начинал что-то быстро записывать в свою конторскую книгу. Заглянув ему через плечо, А-баев с возмущением прочитал свои философские изыски: «Многие мыслители бились и бьются над разрешением застарелой теологической дилеммы, состоящей из следующего парадокса. Может ли Бог создать нечто такое, что сам поднять не в состоянии. Если «!да», то, не подняв такой груз, он не может считаться всесильным и, следовательно – Богом, если «нет», то тем паче. Все пасовали перед этим вопросом. Только один я раскусил его, категорично заявляя, что да, может, ибо желаемое нечто есть одновременно

и некто, то есть Некто-Нечто, имя которому Бог!» Правда, у Мырзакып-оки было записано не так пространно, как прочиталось А-баеву, а чуть проще: «Если взвесить как надо, то… помоги Бог».

–Ты откуда это списываешь?! – завопил А-баев.

– Сам придумал, – отпихнулся бессовестный бригадир.

– А, вот как! Тогда объясни!

– Не твое дело!

– А к твоему делу это какое имеет отношение? – обозлился А-баев. – Учет побоку и писульками всякими на работе занимаешься?!

Хлопковый босс смутился и тут же принялся оправдываться:

– Это не я, понимаешь. Груз не мой…

– Я-то понимаю, а ты хоть что-нибудь в этом понял? – сменил гнев на милость А-баев, не удержавшись от желания услышать первую рецензию на свое произведение.

– Ничего не понял, клянусь детьми! – воскликнул начальствующий хлопкороб.

– Ну, ты вдумайся, вдумайся в эти ясные, но строгие строки, что ты ощущаешь, когда читаешь их? Ну, напряги свои извилины! Вот ты весишь сто килограмм...

– Двести тридцать пять кило, – уточнил Мырзакып-ока, в прошлом работавший и весовщиком. – Если в носках, то еще плюс двести двадцать грамм.

–Ну вот, – продолжил нетерпеливо А-баев, довольный уже тем, что толстяк стал если не мыслить, то хотя бы считать. – Ты можешь поднять штангу, груз, да что угодно весом в двести тридцать пять килограмм? Нет! А ведь ты сам себя поднимаешь! Почему? Потому что ты сам и есть этот вес! Ты сам создал такую массу, вес которой ты сам поднять не можешь, но в то же время и можешь, потому что ты и есть сам эта масса. Так же и Бог может создать такое, что сам поднять не в состоянии.

– Жена вкусно готовит. Разве я виноват, – огорчился Мырзакып-ока.

– Это кто тут упоминает Всевышнего Аллаха всуе? – раздался грозный голос. – Ах, вы псы неверные, как смеете вы даже упоминать имя Всевышнего!

А-баев оглянулся и увидел грозно улыбающегося небритого Гаипова. А-баев, было, пустился в привычное свое философствование, всегда приводившее профессора математики в замешательство, а некоторыми пассажами и в минутное остолбенение, позволявшее занять более выгодную позицию, но на этот раз не гениальный ученый, а колхозный бригадир не позволил ему заняться любимым делом.

– Ты кто такой! – завопил на незванного гостя Мырзакып-ока.

– Я? – тишайшим голосом переспросил Гаипов, воевавший уже год и против гиссарцев, и против кулябцев, и против исламистов-демократов и

против Верховного Совета Таджикской ССР, и против «вовчиков»[27] и против «юрчиков».[28] – Я полевой командир Гаип-хан.

Ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон – так называлась та война.

– Это я в этом поле командир! – заорал Мырзакып-ока, грозно приподнимая свою, им же самим сотворенную массу. – Я тебя в милицию сдам! Я тебе, бродяге паршивому, хлопком пасть до задницы забью, чтобы ты… – и тут же стал мягко оседать на свой коврик под навесом.

Профессор Гаипов распорол ему тусклым тесаком самую выдающуюся его часть от пупка до грудины и произнес:

– Двести шестьдесят восьмой.

Тут же подскочивший маленький паренек с автоматом ловко отрезал сидевшему, как бронзовый Будда, Мырзакыпа-оке голову, заявив при этом радостно:

– Он меня в спорт заставлял играть, пинай мяч да пинай, зачем его пинать, спрашиваю, а он кричит: пинать надо, гол надо, на тебе гол! – и ударил ногой по человеческой голове.

Голова покатилась и стала стремительно стареть. За несколько секунд поседели виски тридцатилетнего Мырзакыпа-оки, лицо его покрылось глубокими морщинами, выпали зубы и он начал по-старушечьи причмокивать, выбалтывая никому не нужные тайны старости. Волосы сыпались, как сухая хвоя, а глаза посинели катарактой. Через минуту к ногам А-баева подкатила головка старичка и умерла удовлетворенно.

А-баев внимательней пригляделся к футболисту и с ужасом узнал в нем мальчика Рамуша. И только смог воскликнуть:

– Бедный мальчик... Рамуш, что с тобой?

Бедненький крошка тут же сунул ствол автомата под ребра А-баеву, но Гаипов успел удержать его от выстрела каким-то странным, гортанным окриком. Сквозь стиснутые зубы Рамуша пробились тоже какие-то птичьи звуки, переходящие в бульканье и, наконец, в слова:

– Пусть пинает.

Гаипов расхохотался, по-приятельски обнял А-баева за плечи:

– Пни ты эту штуку, жалко тебе, что ли. Иначе он тебе все ребра медленно вытащит из-под кожи, поджарит и заставит тебя же сгрызть с них все жилы. Поверь мне, я сам не ожидал, что этот мальчуган станет таким зверенышем. Я сам его боюсь.

---

[27] В четные месяцы Нражданской войны боевики Гаипова расстревали сторнников Народного фронта Таджикистана, нарядившись в мундиры военнослужащих внутренних войск СССР, на цветных погонах которых размещались буквы «ВВ». Особо не разбиравшиеся в родах войск Советской армии жители кишлаков стали именовать их просто «ВоВчиками».

[28] В нечетные месяцы боевики Гаипова расстреливали исламских активистов, предъявляя удостоверения Комитета государственной безопасности СССР и завляя, что действуют согласно заветам Председателя КГБ Юрия Владимировича Андропова. Выговорить «андроповцы» все-таки сложновато, и таджики стали в этом случае называть их просто «юрчики».

Врачующий романист в ответ только дернул подбородком, подтянул к груди сухую ручонку и ядовито заявил:

– Никогда, вы слышали, никогда я этого не сделаю! Можете меня пытать, обливать ледяной водой, каленым железом глаза выкалывать, но я никогда не паду так низко!

К удивлению Гаипова, Рамуш не стал настаивать. Профессор тоже не стал злодействовать более:

– Иди, Ашир, гуляй.

И Рамуш пошел прочь, пасуя азартно самому себе удачно круглой головой.

– Почему Ашир? Это наш Рамуш! – не переставал протестовать А-баев.

Гаипов, не отводя пристального взгляда от А-баева, сказал:

– Не знаю. Так мне его понравилось называть. Ашир-дебошир. Разве не звучит? А в Рамуше есть что-то от сентиментального индийского кино. Хорош, сорвиголова. Мой воспитанник, хочу сделать его после себя командующим армией Демократического Освобождения Таджикистана, – и тут же сменил тон. – Так и знал, что ты и сюда припрешься. Шпионишь за мной?

– Вот еще! Мне все с тобой стало ясно! Я домой иду, чтобы все это сразу забыть, как дурной кошмарный сон.

– Никуда ты не пойдешь, когда идет война за демократию, шпион вонючий, – резюмировал краткий разговор Гаипов, затем, впившись глазами в своего пленника, тихо спросил: – А давно я тебе являлся? В смысле, не я – тяжелый, а я – легкий? Ну, ты понимаешь, о ком я спрашиваю. Смотреть в глаза, не врать! Я тебя насквозь вижу.

А-баев изрядно струхнул и промямлил:

– Я в горах потерял счет годам. Последний раз я видел его в Караганде, в плаще появился, – несмотря на то, что он никому и не давал слова скрывать сей факт, как-то все равно было совестно выдавать ту встречу.

– Ага, – торжествующе сказал Гаипов. – Значит, он там окончательно рассосался. Теперь пора бы мне и в свет выйти, и донести знамя свободы до Варшавы! А ты теперь будешь летописцем Гаип-хана. Всякие боевые подвиги станешь описывать красиво.

И ушел. А А-баеву, действительно почувствовавшему себя наконец свободным, хотелось шутить, прыгать, выпить от души, бежать за билетом на поезд с вагонами без сквозняков, показать перед девушками, какой он ловкий. Тут под ноги попался грязный обтрепанный мяч, он взял да пнул по нему. Босой ногой по почти оголенной кости черепа Мырзакыпа-ака. Очень больно стало романотворящему врачу. А главное, выбраться из этих мест через ущелья, до краев забитыми не отомщенными свеженькими человеческими косточками, оказалось невозможным. Пришлось ждать, пока его земляк не навоюется всласть, и не подбросит его до родного города. Но что-то не складывалось с гражданской войной в горной республике, вроде и быстро разгорелась, и море

крови было пролито, а вот дальше Душанбе никак не разливалась. И Гаипов решил плюнуть на нее:

– Не тот масштаб.

Душа Арона, пригревшаяся под персидским барельефным солнцем, чувствовала, не имея понятия, почему, как страдает душа его вдовы. Ведь Арон не ощущал присутствия рядом с ней ее приемного сына, приносившего ей своим ненормальным состоянием немыслимые душевные муки. Арон силился ей помочь, и быть может, его душевные усилия и помогали ей окончательно не пасть духом. Рабия держалась.

Время от времени Рабия водила сына к районному детскому психиатру. Ему был поставлен диагноз: «Синдром раннего детского аутизма». Ребенок испытывал трудности при установлении эмоционального контакта с внешним миром и в понимании других людей, даже самых близких. В коридоре диспансера познакомилась с Софьей Гарифуллиной, о которой врач – приятная женщина с высвеченными перекисью водорода волосами, доверительно сказала ей, что «...достала уже эта ненормальная. У нее дочь совершенно здоровая девочка. Противная разве что. Нет, таскает ее сюда, таскает», и поделилась секретом: «Она у нас на диспансерном учете».

Еще на первом курсе А-баев приступил к разработке общей теории патогенеза шизофрении. Благо до него этого еще никто не установил. Выстраивая модель болезни Блейлера, он начал с осмысления названия болезни: шизо – дроблю, френ – разум. Сознание шизофреника ему напоминало патефон, игла которого начинала то скрести только по одному дефектно замкнутому кругу, то перескакивать на другую борозду заезженной пластинки. Отсюда бессвязная речь, повтор фраз, стереотипные движения и мимика. Предполагалось, что клиника шизофрении есть лишь следствие нарушения восприятия новой информации и постепенные распад и угасание старой, что, в конце концов, приводит к полному закукливанию обнищавшего ума с симптомами «капюшона» и «эмбриона», когда больной лежит неподвижно месяцами, свернувшись в позе не родившегося ребенка. И чтобы найти тот уровень, где происходил разрыв мыслительных связей, он полез в подкорку, стараясь вытянуть на свет сеть лимбической системы. По его догадке, именно там возникал шизобардак. И запутался в этой сети. В конце концов он смирил гордыню и пошел записываться в психиатрический студенческий кружок. На кафедре психиатрии его встретили тепло, терпеливо-долго выслушивали и даже интересовались здоровьем дальних и близких родственников. Так он начал посещать научные занятия. На пятом курсе он стал содокладчиком по теме: «Психические отклонения у творчески одаренных личностей», ну, там о Гоголе, Достоевском, Хлебникове, с его легендарной наволочкой, набитой

рукописями... Для более яркой иллюстрации доклада А-баев решил, игнорируя спиритизм, вызвать на заседание научного кружка души авторов романов и поэм, но в свежем виде. В клинике их хватало. Среди них был один очень интересный индивидуум, писавший стихи, с фамилией Возможный. Поэту было лет так двадцать пять, он достаточно интеллектуально сохранился, и, устроившись между студентками на диване в профессорском кабинете, вполне сошел бы за аспиранта, если бы не растянутая больничная пижама на нем.

А-баев читал свою часть доклада и с гордостью поглядывал на него, как когда-то Колумб посматривал на индейцев, доставленных королю из не той Индии. А профессор Бабушка Света зорко следила неуловимым профессиональным взглядом за юным А-баевым. Он тоже вел себя достойно. Наконец, докладчик закончил читать свой многоумный конспект и предложил послушать стихи Возможного. Тот гордо встал, хотел было начать, но вдруг горько заплакал. Все стали его утешать.

– Ну что с тобой, голубчик? Не плачь. На тебе витаминку, – вытирала шелковым дамским платочком ему мокрое лицо профессор Бабушка Света. Но Возможный ревел и мог лишь пробормотать:

– Слово… слово потерялось… со свечкою сомнения искалось…но не могу найти… я не хотел вам отказать…хотел успеть сказать…но холодно и дно…дно… дно…дно… дно…дно… дно…дно… казалось, «ять» предел… Ячейками редела сеть сознания, процеживая мозг: но нет желанного улова-слова, уплывшего от вкусовых сосочков языка и звуком обслюнявленным несплывшегося в слышали! Нет слова. Немота. Ну что сказать? Быть может, ты подскажешь мне, Герасим, давай украсим мокрой шкурою Муму башку кому-нибудь тому, кто пишет правильно…а мне же остается преступленье преступления предела ясного и сети глубже опустить, свинец грузил в себя вместить, уйти в провалы бессознательных истоков, где человека нет, есть дно четвертого желудочка прожеванного мозга, оно владеет изначально страстью, жаждой, страхом, ритмом крови, но это все общеизвестно по атласу анатомии…

В общем, успокоить его не удалось, он продолжал бормотать нечто странное, но А-баев вел его уже в палату, где он, упав на кровать, зарыдал еще горше. Начинающий ученый очень огорчился. Без Возможного остаток заседания научного кружка прошел серо, как, впрочем, и начало, когда А-баев усердствовал над своими записями. Но вот что ему было интересно. О какой сети твердил возможный поэт? Не о той ли самой? На следующее утро А-баев заскочил к Возможному.

– Ну что же ты подвел меня? – стал он его упрекать. – Ну, да ладно, бывает, – тут же простил А-баев стихоплета, видя, как тот отчаянно смутился. – Кстати, что ты там говорил о какой-то сети? Эта сеть как-нибудь ощущается в твоих мозгах?

В таком духе А-баев полдня выспрашивал больного, уже догадываясь, что люди с психическими отклонениями способны осознавать импульсы любого

этажа своего организма. Да и чужого наверняка, судя по тому, что Возможный время от времени спрашивал студента: «А не обосрешься?» Но А-баев не только мужественно пережал все еще с утра мотавшиеся по всему нутру кишечные спазмы, но и дожал психа до нужной кондиции, выразившейся в том, что тот, хотя и с хитрецой, но заговорил:

– А бес? А бес нательного креста? Бессознательного киста его исповедальня, давильня ртути бытия, где был и он, и ты, и я. Бес, он тут и темным грешным потом ртуть стекает в пуп всех дантовых кругов, прием сравнения не нов, но в жизни коли туп, так туп, живи извилинами дара, что даром букваря окостенит твой мозг, творя лицо привычного загара с предельно прочным черепом. Прочь! Черт! Потом… Потом сочтемся, и мысли в измерении другом порхают за углом сомненья. Я не нуждаюсь в леченье моих неправильных мозгов. Мне дела нет до тех извилин из обожженной глины или, возвышенней, слоновой кости…

– Ладно, ладно, – прервал декоратора фрейдовского словоблудия А-баев. – Никто твои мозги больше лечить не собирается. Тебя выписывают. Но вот что…оставим подкорку с ее сетями в покое. Как ты понимаешь само «слово»?

Вопрос этот вырвался у А-баева нечаянно. Видать, уже тогда А-баев неясно предчувствовал, что ему придется стать романистом. Что мог ему ответить сумасшедший? Конечно, ничего. Через недельку А-баева в больнице окликнул участковый психиатр Семен Семенович, любитель расшитых украинских сорочек. Он испытующе лупоглазо уставился на талантливого студента и прошелестел:

– Ты бы зашел ко мне в кабинет, если это ты и есть. Там тебе письмецо Возможный оставил, если это он оставил.

– Выписали?

– Выписал, если так можно сказать. В устойчивой ремиссии. Жениться наш Возможный собрался. Целую поэму по этому поводу мне зачитал.

– Семен Семенович, – спросил А-баев. – А вот слышал я, бывают случаи, когда больной шизофренией, совершенно не контактный, молчавший десятки лет, вдруг перед смертью приходит в ясное сознание, начинает всех узнавать… ну, в общем, ведет себя как совершенно нормальный умирающий человек.

Как ровесник XX века, Семен Семенович говорил о прошедших временах только правду, как сама история:

– Видел, если можно так сказать. В Столбах под Москвою. Но как только начали лечить нейролептиками, подобных случаев не наблюдалось. Теперь больные таких стадий не достигают. Сегодня они живут среди нас, женятся и приглашают на свадьбы. А там нас его теща принимает за ненормальных.

– А возможно, мы и есть настоящие шизофреники, а не Возможный?

– По большому счету – никто. Если мы вдвоем с тобой придем к согласию, что я не врач Семен Семенович Шлагбаум, а царь Соломон Давидович Саул, то следует ли считать нас шизофрениками?

– Пожалуй, нет – произнес, задумавшись, А-баев.

– Нам достаточно согласиться, что Возможный – поэт, и сразу возникнет возможность, простите за невольный каламбур, снять диагноз с человека. И так, ты согласен, что он – поэт?

– Нет, – честно сказал А-баев, хотя тайно завидовал писучести Возможного.

– Ну мое мнение известно, – заключил Семен Семенович и добавил. – Но ты, все-таки, зайди за письмом.

Письмо с витиеватым почерком Возможного содержало следующий литературный текст: «Сознанием-уликой осязая знак, движеньем, тельцем влажногубым принять условность как сознание-улику, как зрелый злак, принять и будет слово несуетливых уст: оно взорвет ракушку подслеповатого довольства мнений и хруст лишь страх признания иного, и мозг расплющен в слизи сожалений, однако мысль к игольчатому ушку языка скользнет и, в нем протянутая, тая, за словом прошьет чувств прожитую ветошь, отметив, как ноль законченный объем, осознанного крош, а слово вот уже кольнуло сердце острием и металлическим разрядом в зрачки – и отшатнуться рядом, не понимая, люди, то слово проще репы – душа, бракосочетание в 7. 40 в столовой фабрики-кухни. Алексей Возможный».

«Москвич» с простреляннным передним стеклом лихо покатил к Казахстану. «Впереди Родина! – думалось А-баеву. – Я нужен ей...». Ему взгрустнулось, все-таки он попривык к жизни странника... сколько пройдено тропинок, сколько встречено людей... И Рамуш, такой, в своей душе, симпатичный парень...

– А что такое Аша? – спросил он у начитанного Гаипова.

Профессор математики Гаипов, он же полевой командир Гаип-хан не повел и ухом. А А-баев все допытывался:

– С этим Ашой еще какой-то путь связан...

– Аша Вахишта – арийский бог, буквально: «Наилучший Порядок». Праведность в мире, общине, семье. Известен цитатой: «Тот, кто сеет хлеб, сеет праведность», – все же ответил Гаипов, подозрительно покосившись на А-баева. – Не надо забивать голову лишней информацией, сосредотачивайся на моей биографии.

– А я и сосредотачиваюсь, – оправдывался хроникер. – Не могу же я, описывая твоего боевого соратника Рамуша, не написать, что у него на лбу была надпись про Ашу. Литература не терпит пустот в образе героев.

Гаипов притормозил и, развернув машину, въехал в оставленный им самим хвост дорожной пыли.

– Зачем, зачем ты возвращаешься? – испугался медписатель.

– И что бы я без тебя делал? – как бы похвалил Гаипов А-баева.

Конечно, приятно слышать подобное, но писателю от таких теплых слов стало тревожно.

До оставленного ими кишлака они добрались, когда там вовсю гул-гулил праздник. Варился плов, звучал кашгарский рубаб и стучали струны чанга, сплетаясь с сурнаем в опевание нола.

Увидев машину Гаип-хана, к ней выбежал с улыбкой новый главнокомандующий армии Освобождения Рамуш-Аша-Ашир. Гаипов отказался от угощения, только велел юноше сесть в салон и увез его в пустынное хлопковое поле, и там, прямо на заднем сидении, изнасиловал. Рамуш орал так, что А-баев вбил в свои уши по целому кулаку и все равно были слышны вопли мальчика. Выкинув истерзанного Рамуша на землю, Гаипов снова покатил на север.

От отвращения А-баеву не хотелось даже дышать одним воздухом с этим боровом за рулем, но окна не откроешь, пыль страшная. А-баев решил сказать тогда какую-нибудь гадость Гаипову, оскорбить его, испугать, и он промямлил:

– Теперь он тебя возненавидит. Найдет, убьет и голову тебе отрежет.

– Нет, не меня. Тебя. Надо же, чуть не оставил за собой целью архаичную натуру.

А-баев откровенно с омерзением взглянул на Гаипов и проговорил:

– Зверь.

Гаипов сунул свою невыразительную физиономию к зеркальцу заднего обзора и согласился:

– Да, я порядочно одичал. Но ничего, сейчас заскочим во Фрунзе,[29] скинем там наркоту... Между прочим, отличный афганский героин «Три меча». Хочешь кайфануть? Ну не надо, так не надо... Возьмем денежки, оденемся как цивилизованные люди, бороду эту басмаческую к чертям собачьим... Хватит бармалейничать, пора возвращаться к нормальной жизни.

Гаипов гнал автомобиль на бешеной скорости по невозможной дороге, представлявшей собой нечто схожее с искореженным винтом мясорубки, но так сноровисто, что уверенность в своей полной безопасности осознавалась его пассажиром даже спинвным мозгом. При этом он совершенно игнорировал все дорожные знаки. И все же страх мучил А-баева, он боялся адского водителя все сильнее и сильнее. Но известная дерзость А-баева толкала его пренебречь элементарной признательностью к водителю, приближавшему его в достаточно комфортном сиденье к заветному родному дому. И он продолжил, тихо скуля, угрожать Гаипову:

– Ничего, вот явится Ночной Семенов, ты за все ответишь.

Гаипов глянул на него правым глазом и произнес:

– Друг мой, я искренне удивлен...

[29] Столица Киргизской Советской Социалистической Республики в состав СССР. Когда-то гарнизонное укрепление Кокандского ханства Пишпек, преименованное в честь командующего Туркестанским фронтом Красной Армии Михаила Фрунзе. Кыргызы хотели было протестовать против такого ономастического насилия, но самый старый исполнитель эпоса Манас-баатыр» мнасчи Коочбек Молотов, размышляя с 1926 года по 1956 год, объявил, что Фрунзе – реинкарнация самого Манаса. И все утешились. До 1991 года.

– Ты, как столб, удивляться не способен. И искренним быть не можешь, – хамил вовсю пишущий попутчик нарушителю правил дорожного движения.

– Ну... удивляться... может быть, но искренним я быть могу. Ну, так кто такой этот твой Ночной Семенов?

– Сам потом узнаешь, – еще более затемнил свою страшилку А-баев. – Да поздно будет.

В ту ночь, когда душа А. С. Гаипова посетила его первый раз, А-баев не мог никак заснуть. Ему казалось, что сама вечность, как туман, сгустилась у порога его квартиры. Не удержавшись от искушения прикоснуться к ней, он поспешил вслед за ушедшим Ароном выглянуть в подъезд, но увидел лишь обшарпанный лестничный пролет вверх и вниз да двери соседей, оббитые дерматином, впрочем, одна была железной с бумажной поверхностью под лакированное дерево. Долгое разглядывание пустых ступеней, теоретически могущих вывести и под землю, и на небеса, ни к чему не привело, но ощущение, что наконец-то настоящая тайна приоткроет перед ним занавес, не покидало его, и он вернулся на кухню, потушил свет и с все возраставшим волнением распахнул окно и крикнул в ночное пространство:

– Эй, кто там?!

– Я, – ответил ему мужской голос.

– Кто «я»?! – выдохнул всей грудью А-баев и попытался отскочить от подоконника, но какая-то чудовищная сила словно привязала его к вдруг ставшему небезопасным оконному проему.

– Я – Семенов, – прозвучал в ответ баритон.

– А кто ты, Семенов?

– Проходил я тут. Слушай, кинь спички.

– Постой, кто-то схватил меня! Держит…

А-баев смело вывернулся и увидел, что это ремень его брюк, зацепившийся за вентиль паровой батареи лишил его маневренности. Освободив ремень, он шагнул к газовой плите за спичечным коробком. Ночной Семенов терпеливо ждал его внизу, на тротуаре. Прикурив, он сказал вяловато, подняв руку с коробком, как для замаха:

– Поймаешь?

– Оставь себе.

– Ну, пока, – и исчез так же загадочно, как и появился.

А-баев же вернулся к обеденному столу с мыслью: «Как много мы рассыпаем семян и не видим в огородах наших своих же плодов», и решил на этот раз не глупить и сразу вставить эту мысль в роман. Он долго подбирал слова и, наконец, написал записку жене: «Вернусь не скоро».

После долгого пути Гаипов и А-баев с юга въехали в г. Караганда, где когда-то родились, дрались, влюблялись, стрелялись на дуэли, одним словом –

жили. Путь им на ул. Советской перегородила колонна немцев, маршировавшая на запад от микрорайона «Юго-восток» к трассе на Темиртау. Тысяч сто, не меньше. Шли они мимо памятника в скверике вождю Советской страны у двухэтажного белого здания Областного исполнительного комитета советской власти, построенного в стилистике псевдоклассицизма рухнувшей этой же власти.

– Куда их гонят? – испугался за них А-баев, узнавая среди шагавших своих одноклассников, родственников по материнской линии и седого с незапамятных времен председателя пригородного совхоза, к которому он ездил за сметаной и говядиной, и каждый раз выслушивал, как три века назад казахи угнали с Волги-Mutter в хивинское рабство его кузину-невесту и с тех пор у него в груди вместо сердца Loch. А-баевым были замечены и другие его пациенты, но с диагнозами полегче: неврозы да фобии.

– На историческую родину, – отвечал Гаипов, позевывая. – Моя работа. Здесь они мне ни к чему, а там, в Европе завтра могут пригодиться. Вдруг надо будет вывести на улицы, а колонна она везде туз.

А-баев уже знал, что гаиповский героин «Три меча» уже как год транспортными самолетами РФ через военный аэропорт Байконура доставляется в Берлин и Амстердам, но о его политических амбициях слышал впервые. Не слышал, и отмахнулся:

– Для истинного художника это не важно.

– Да, кстати, – напомнил Гаипов. – Не забывай писать обо мне, художник. Нас ждут грандиозные события. И я хочу, чтобы все обо мне было запечатлено в достойной хронике.

– Но я не совсем о тебе писал, – робко возразил А-баев, скрывая, что стал выслеживать Гаипова и по просьбе его души. – Это произведение философское...

– Нет, философию ты свою брось, пиши просто, как Ян о Чингизхане или Островский о Корчагине. Толстую такую книжку напиши. Главное, чтобы был виден я весь такой в белом и на коне.

– Может быть, тебе лучше будет к скульпторам-монументалистам обратиться? – пытался хитрить труженик медицинского пера.

– Давай, давай, работай. Наблюдай, пиши, и без всяких там расследований, фрустраций, самокопания и всяких там арт-фрейдовских штучек-дрючек. Крепко пиши. В духе соцреализма, три тома. Нет, пять томов. Мы вступили в эпоху Кали-юга, катарсиса и очистим Землю огнем и кровью. Так что материала будет и на десяток томов.

– Ага… понятно.

– Что тебе понятно? – изволил гневаться Арон. – Что ты можешь понимать? Протестанты, а за ними и коммунисты, которых мы скинули, призывали к раю на Земле, и что? Человечество стало лучше? Нет, гораздо хуже. Человечество нуждается не в райских кущах на Земле, в Чистилище.

– Видели мы уже ваше чистилище.., – скис А-баев. – Сколько убитых! С моста сбрасывали, беженцев жгли в автобусах.

– Сто пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят три, – ответил профессор, как математик, считавший, естественно, своим профессиональным долгом быть точным в числах, и внезапно поскромничал. – Не всех, конечно, я зарезал, – и тут же попытался оправдаться. – Не оттолкнешь же всех желающих. Да и смысла, как оказалось, нет. Два миллиона таджиков разбежались по всему свету, еще год-два гражданской войны и остальные испарятся. И сиди в кишлаке Душанбе, как дурак в бане. Геноцид не решает проблемы высшей власти. Сжигая евреев и цыган в крематориях, Гитлер заведомо лишил себя возможности стать царем Израильским и цыганским бароном, прозябая в рамках всего лишь фюрера арийской расы. Нет, надо смотреть шире. Красные кхмеры уничтожили три миллиона своих граждан, и что стал Пол Пот более могущественной фигурой мирового масштаба? Нет, здесь нужно рациональное математическое решение, ибо эмоции, типа ненависти по поводу цвета кожи или веры, для неудачников и дебилов. И никакой борьбы идей. От контакта разных потенциалов возникает только короткое замыкание.

«Ах, вот он к чему рвется! К власти над всем миром! – догадался сообразительный А-баев. – Прав был Арон, когда предупреждал, что его тело стало крайне опасным для всех».

– А зачем тебе власть? – задал в лоб ему вопрос психиатрический хроникер и замер, ожидая ответ.

– Это пока секрет, – не проговорился новоиспеченный властелин мира. – Но так надо. Завтра сами спасибо скажете.

А-баев попытался опытным диагностическим глазом выявить симптомы мании величия у Гаипова, но так и не смог поставить ему диагноз психического заболевания, хотя, если уж он такой сообразительный, должен был понять, что человек без души душевнобольным быть не может по определению.

Колонна мужчин, женщин и детей все тянулась шагом и тянулась.

– А что за знамя висит над облисполкомом? – спросил Гаипов и указал пальцем на крышу: бирюзовое полотнище на крыше, укрывавшей чиновников, действовавших от имени народных депутатов, а теперь – просто от потребностей своих.

А-баев с чувством наконец-то найденного превосходства над одичавшим профессором ответил ему:

– Это не облисполком, а Карагандинский областной маслихат. Как парламент в американских штатах! И это знамя с золотым солнцем – флаг независимого Казахстана!

Гаипов тут безапелляционно заявил:

– Солнце является символом нордической сферы и знаком, определяющим вектор интегрирования страны в глобальный мир северо-атлантического типа,

– и не меняя менторский тон, неожиданно спросил. – Жена моя все еще в моей квартире?

А-баеву не хотелось говорить о Рабие и он притворно заинтересовался конспиратологической версией судьбы Республики Казахстан:

– А какие еще страны? Ну, в смысле, двинулись?

– В Азии – все, где на государственных флагах стилизованное солнце: Япония, Южная Корея, Индия.

– А Киргизия? – увлеченно продолжил расспрашивать А-баев. – У них шанырак на красном знамени. Но только Киргизия сейчас не Киргизия, а Республика Кыргызстан.

Гаипов усмехнулся, закурил вонючую сигарету без фильтра «Памир» и принялся пророчествовать:

– Кыр… там или Кир.., не важно. Шанырак – это ведь такой деревянный круг от юрты, рассеченный двойной крестовиной? Развалится твоя Кыргизия.

– По той же самой причине, по которой Южная Корея, имеющая на своем знамени круг, рассеченный волнистой линией, еще долго будет лишь половинка Кореи. Да и Индии не надо было выбирать колесо, разделенное спицами. Когда-нибудь и она распадется на несколько стран. Кашмир уже созрел, – и снова спросил. – А Узбекистан?

Преданный почитатель газет А-баев легко назвал новые знаковые реалии соседних республик:

– У Узбекистана, Туркмении и Таджикистана полумесяцы.

Профессор тут же накассандрил еще порцию будущего:

– Значит, и Узбекистан, и Туркмения, и Таджикистан уйдут под полумесяц и станут частью традиционного мусульманского мира, возможно, с шариатом. Как светская пока Турция, плевать, что ее генералы привыкли считать себя частью западного мира. Турция все равно вернется в ислам или эволюционным, парламентским путем, или, что, скорее всего, по примеру иранской революции имамов, когда армия и народ окажутся по разные стороны баррикад. Впрочем, и казахстанский флаг говорит о скрытой привязанности к мусульманской доминанте. Желтый цвет, согласно суфийской цветовой символике является цветом имана – внутренней, высшей веры в Аллаха.

– Может, ты и нам предскажешь баррикады! – возмутился А-баев – патриот и атеист.

Но Гаипов не стал спорить, позевывая, он забубнил:

– Нет, не будет в Казахстане никаких баррикад. Можно и не быть профессором математики, чтобы понять, что три на два не делится.[30] Так что там моя Рабия? Надеюсь, не наставила мне снова рога?

[30] Видимо, профессор имел в виду исторически сложившуюся у казахов триединую социоэтническую структуру, состоящую из трех жузов: Старшего (юго-восточная территория), Среднего (северо-восток и центр страны) Младшего (западные регионы). Действительно, голос и сила третьего участника любого сообщества способны достаточно быстро разрешить любой конфликт. Начиная с XV в. роды Среднего жуза, не имея своих

А-баев вздрогнул. Теперь, он был уверен, этот новоявленный садист и серийный убийца Гаипов превратит смешные «рога» адюльтера в кровавое оружие. Виски пробьет бедной женщине до самого спинного мозга, так что она, прежде чем умереть, будет годы корчиться от боли.

И дабы защитить Рабию, он твердо заявил:

– Она вдова.

– Вот уж нет. Я – Арон Гаипов. Как когда-то я говорил своей душе: от меня след остается и тень падает.

Мужчины, женщины и дети все шли и шли. А-баев снова задремал, все-таки было раннее утро, шестой час. К обеду Гаипов стал терять терпение и принялся сигналить, покрикивая:

– Да что за прорва такая! Перестарались.., хотя масса не помешает. – И приказал А-баеву: – Иди, посмотри, виден там хвост.

Медицинский писатель нехотя выбрался из машины, всем видом демонстрируя, что сам по своей воле вышел размять косточки.

Немцы шли по улице, когда-то носившей имя И. В. Сталина, а сегодня названной в честь поэта Бухар-жырау.[31]

А-баев подошел к гранитному краю тротуара и тут увидел Гарика, друга детства, по прозвищу Гроб.

– Гроб! – обрадовался А-баев.

Гарик замедлил шаг, они обменялись рукопожатием и зашагали вместе.

– Это ничего, что я тебя так назвал по старой памяти? – спросил А-баев, скорее не от тактичности, а от того, что расспрашивать, в принципе, не о чем, и так все ясно.

– Это моя фамилия.

– Фамилия? – засмеялся А-баев. – Ты же немец.

– «Ggrob» переводится с немецкого как «Тара». В смысле, куда упаковывают.

– Точно! Это же твоя фамилия… А помнишь, у нас был заслуженный сталевар, на всех партийных съездах выступал – Святов. Фамилия вроде русская, а он казах. Оказалось. Святов от имени Суат.

– Вон он с сыновьями.

чингизидов, поддерживали туркестанских султанов Старшего жуза, приглашая их править на своих землях, что вынуждало астраханских султанов Младшего жуза подчиняться при избрании всеказахского хана выбору элит Старшего и Младшего жузов.

[31] Бухар-жырау Калкаман-улы – поэт, политик (1668 – 1781 гг.) С рождения Бухар был глухонемым. Когда ему исполнилось 7 лет, он попал в пасть смерча, в которой безостановочно звучала песня. Глухонемой услышал ее и сам заговорил стихами. На ул. им. И. В. Сталина в г. Караганде, естественно стоял трехметровый памятник И. С. Сталину с маленьким томиком стихов, можно сказать, карагандинца Бухар-жырау. Сегодня на той же улице уже стоит скульптура не вождя всех народов, а казахского поэта. Скульптор тов. Архимандрикос – чл. Коммунистической народной партии Казахстана, пытался вложит в гранитные руки Бухар-жырау книжку стихов Сталина, но бдительные казахские националисты не позволили, ссылаясь почему-то на трудности превода поэзии.

Шествовавший впереди них старик с палкой повернулся, звякнув боевыми орденами и медалями трех стран, и громко сказал:

– Иду второй раз брать Берлин!

И хотя в его возгласе чувствовалось ожидание вопроса: «А на какой черт тебе это надо, аксакал?», все кругом весело засмеялись. Только пожилая полная женщина сурово глянула на старого юмориста и, поймав ее материнский взгляд, восемь рыжих парней с узкими глазами еще плотней окружили отца, собравшегося повторить подвиг военной юности.

Не видевшиеся лет двадцать дворовые дружки стали вспоминать детство, штаб в подвале с фотографией Софи Лорен с декольтированным бюстом, драки до первой крови, как рассуждали, чем отличаются девчачьи трусики от мальчишеских. Кругом царило приподнятое настроение, деятельное возбуждение сулящих только хорошее чувство. Но вдруг словно кто-то властный громогласно прикрикнул сверху: «Эй, вы там, что развеселились? Это что вам, загородная прогулка?!». На это бы собравшемуся с духом народу ответить: «Да заткнись ты! Кто ты такой, указывать нам, как идти?» Но естественной отповеди невидимому конвоиру не последовало и от этого проявления слабости на многих лицах появилась растерянность, задрожали морщинки. Одни дети продолжали шалить, но взрослые уже сжали их ручонки в своих мозолистых ладонях, так что одна из крохотулек в алом платьишке вскрикнула от боли, и мама поспешила ее поднять на руки. И схожий с первомайской демонстрацией поток людей стал четче выстраиваться рядами, молчаливыми, и сосредоточенными на одной мысли: как бы не отстать.

Шагали карагандинцы по проезжей части, но постепенно провожавшие люди без видимых причин и усилий переместились на тротуары и там растягивались плотными цепочками вдоль дороги, а на последнем перекрестке слепились в неподвижную толпу. А немцы продолжали маршировать дальше, уже не откликались, лишь иногда взмахивали руками на прощанье тем, кто оставался жить здесь. Забавно, что никто не разделял их – ни милиция, ни таможня, ни даже начертанная на асфальте мелом линия. Как и все, А-баев почувствовал, что нельзя идти с Гариком Гробом дальше, никак нельзя. И остановился. Гарик, пройдя метров двадцать, хотел было вернуться, чтобы, видимо, о чем-то важном договорить с ним или что-то отдать, подарить, передать, но не смог сделать и пары шагов назад. Так и утопал в свою Германию.

А-баев вернулся в автомобиль и попытался вслух прояснить, кто же сказал слово «…обидно…»: он или так гудела немецкая колонна? Арон цинично тут же заметил:

– Ну, на нас-то им обижаться не за что, так что заткнись. Не мы же их сюда пригнали. Я сам пострадавший, тоже остро нуждаюсь в реабили...

Психороманист принялся принуждать себя выслушивать новую порцию материала для книги, но вдруг Гаипов обмяк и сонно замолчал на полуслове. Словно в его нутре кончился завод главной пружины. Так они просидели в машине еще час и только по прошествии этого времени Гаипов договорил:

– …тации, как жертва репрессий. Меня расстреливали в подвале кровавые палачи по заданию КГБ. Пора, пора восстановить справедливость. И я все себе верну, все, что они отняли: квартиру, жену, дома, эту улицу, город, страну, весь мир.

– Жена – это не вещь, – попытался хотя бы чуть образумить профессора А-баев. – Рабия, да, сложный, но тонкий человек, пойми…

Но Гаипов не слышал его, а быть может, и услышал все прекрасно, но продолжил гнуть свое:

– А будут упорствовать, то выпишу сам себе право ставить всех к стенке. Во имя свободы и демократии!

А-баев, еще раз убедившись, что с Гаиповым невозможно поговорить по душам, впал в привычную для него прострацию. Очнулся он, цепко удерживаемый за шею мускулистой клешней Гаипова, только в подъезде профессорского дома. Медицинский романист попытался вырваться, зацепиться за перила первого этажа, но профессор спокойно доволок его до своей двери и грозно произнес:

– Зайдем ко мне. Подтвердишь, что я все это время валялся без памяти в больнице, где-нибудь там… в Швейцарии. А ты меня лечил. Понял?

Дверь открыла Рабия, рядом с ней стоял, держа руки за спиной, мальчик лет трех-четырех. Гаипов, было, нагло шагнул в проем косяка, но передумал, уставившись на него. Воспользовавшись тем, что Рабия была поражена внезапным появлением сгинувшего в небытие мужа, он мог целую минуту спокойно и сосредоточенно анализировать чем-то встревожившую его неожиданную конфигурацию ситуации. Наконец, Рабия вновь обрела способность говорить и твердо сказала:

– Уходи.

– Да ты что, женушка моя дорогая, – фальшиво заурчал Гаипов. – Это же я, твой Арон. Опять же – муженек твой. А кто этот пацан? Неужели наш сынок? Какая радость! Мальчик, а что ты держишь за спиной? Покажи.

Мальчик Серик молчал недовольно сжав губы. И Рабия, не ответив, закрыла перед ним дверь. Гаипов, что удивило А-баева, даже не попытался ворваться в квартиру, а, взяв его железной рукой за горло, стал допрашивать:

– Ты проговорился ей об отсутствии моей, так называемой, души? Да не хрипи так… По глазам вижу, нет. Значит, он первый успел к ней проскользнуть, гад! Ну, ничего, мы еще посмотрим, кто кого!

– Всех не передушишь, – совершенно несвойственным ему твердым тоном, как при свидетеле, сказал А-баев.

И снова Гаипов отступил, но так при этом примерзко ухмыльнулся, что автору стало предельно понятно: еще предстоит борьба, ой, какая битва! Расстались они сразу на улице. А-баев шел домой и думал о дочери и о том, что завтра сразу же надо поспешить на встречу с душой Арона, явно проявившейся теперь у себя дома, рядом с Рабией и тем мальчиком, где-то здесь, уж точно. Шел, спешил врач к родимой двери, а оказался вдруг невесть где. Слишком глубоко задумался невзначай.

– Подошел? – остановил А-баева прямо у чужого подъезда Гаипов. – Пойдешь со мной. Увидишь, что я сам по себе человек честный, не забываю свои преступления, – и силком втащил его в общежитие Института усовершенствования врачей.

В жилой комнате медсестры Веры непрошеные гости застали, кроме самой испуганной хозяйки, и ее брата – Осипа Леоновича Горюйко, добравшегося таки до Караганды.

Праведную жизнь Гаипов решил начать с возвращения этой старой деве украденной им шубы, не той самой, потертой, цигейковой, а песцовой. Женщина была несказанно удивлена и поражена таким подарком, а вот гость с Украины надулся. И только когда А-баев намекнул ему, что они имеют дело с персонажем из неразгаданной криптограммы «А и Б сидели на трубе», украинский либерал оживился и сразу же заявил Гаипову протест:

– Вам не заткнуть нам рты, из-под глыб А и Б поднимется знамя свободы! – и начал молоть почем зря об общечеловеческих ценностях.

Гаипов, внимая пламенному монологу, со светской улыбкой попросил Веру принести топор.

– Но у меня только туристический топорик, – поспешила исполнить просьбу благородного пациента осчастливленная чудесным мехом женщина. – Вот он.

– Пойдет, – удовлетворился Арон инструментом, и взяв это оружие труда на отдыхе в руки, принялся рубить Осипа Леоновича Горюйко на мелкие куски, действуя поступательно, как мясорубка. А на вопли и протесты заляпанного брызгавшей во все стороны кровью А-баева добродушно ответил:

– Я же тебе облегчаю работу. Слишком много персонажей придется тебе описывать. Ты пиши только обо мне и все. Шаг в сторону – сам знаешь. И потом, сидел бы он в своем Львове тихо, и бился бы там с тоталитаризмом. Вот и стал сам жертвой тиранизма.

А-баев в ужасе бежал прочь. Пробежав квартала три, он заметил прилипшую к его колену ушную раковину и, отодрав ее от липкой побуревшей ткани брюк, брезгливо отбросил в сторону. Гулявшая невдалеке кошка подошла к упавшему в траву уху и промяукала в слуховую дыру свое звериное утешение.

Метаморфоза, произошедшая с явившегося из небытия супруга, поразила Рабию. И вызвала в ней необоримое чувство отчуждения к нему. Ей – изящной,

рожденной с аристократической кровью и заново рожденной из танцующей пены океана классической музыки, невозможно было принять явно душевно тупого хама. Конечно, прежний Арон не отличался тонкой сердечной структурой, представлялся циником и самовлюбленным болваном, но он был по определению высококультурным человеком. Как бы это банально, по газетному ни звучало. Не позволив войти в квартиру свалившемуся в ее жизнь мужлану – Арону и, в тоже время, не-Арону, она встала перед неразрешимой дилеммой, самой мучительной, ибо она имеет женский род: принять обратно мужа-не-мужа или нет. Женщину легко обмануть. Каждый способен прикинуться влюбленным или просто джентльменом и то, что нарисовавшийся нахал и наглец вел себя соответствующе своему пошловатому нутру, неопровержимо свидетельствовало, что он, Арон Гаипов, непоправимо не способный притворяться тем, кем он не был. А Рабия была актриса, училась в московском хореографическом училище. Понятно, что учили не только балетному, но и актерскому мастерству. И Рабие пришла в головку глупая идея: а не стать ли и ей кем-нибудь попроще? Быть может, тогда она способна будет снова сойтись с Ароном-не-Ароном. Жить соломенной вдовой – не самая привлекательная история. И материально очень трудно – такие уж настали времена, да и вообще без мужского тепла...

Рабия принялась готовить гардероб будущей второй «Я». Но в шкафах ничего подходящего не нашлось, все платья и кофточки изысканны, утонченны. Пришлось отправиться в комиссионный магазин и купить там скверно скроенное платье фабрики «Большевичка» и коричневые туфли с розовыми бантиками на низком каблуке. С отвращением она переоделась во всю эту дрянь и присела перед трюмо. С прической тоже пришлось повозиться. Прямые волосы и пробор облегчили ее знакомство с новой Рабией, которую она решила назвать Рабиевой. Еще следовало придумать чужие переживания. Самые въедающиеся чувства связаны с мужчиной. И Рабиева стала горько вспоминать.

Лет пять назад у Рабиевой должна была быть последняя интимная драма. Этот эстонец... художник. Эстонец? А почему нет? Жил у нее. Соседям Рабиева как-то бросила, что не живет он у нее, а работает. Он действительно работал. Писал ее портрет и что-то мрачно рассказывал ей на эстонском. Написал полотно и увез с собой. Рабиева прощала ему все. И пепел в кисушках, и перегар от яблочного вина, по рубль двадцать, кажется. Сама она никогда не покупала такого принципиально, так как была гордой и считала, что этим женщина унижает не только себя, но и свою любовь. В прошлом году он прислал ей письмо, на эстонском языке. Рабиева с трудом нашла эстонско-русский словарь, почти по интуиции перевела письмо, оказалось, плакался, писал, что ему очень чего-то... последнего слова в словаре не оказалось.

Рабиева, женщина даром что боевая, терялась, когда неясно было, за что и за кем ей держаться. Она уважала принцип очередности. А встав на свое

законное место, она сразу же успокаивалась, как бы далека ни была от заветной цели. Сейчас же приходила конкретная убежденность, что когда-нибудь она возьмет свое. И не надо бегать, суетиться, волноваться, с кем-то шептаться-договариваться, кого-то просить, хитрить, врать; наконец, просто стыдиться тех, кого сумела обойти. Стыдиться и того, что нежданно-негаданно с неба упал в ее уют этот... художник, оказавшийся женатым. Когда не имеешь выстраданного, последовательного в событиях брачного права, разве это твое? Значит, как-то словчила, будешь наказана. Так оно и произошло с этим прибалтом.

Замечательно. Что-то сдвинулось в сознании Рабии. Актриса. И она косолапо вышла из дома как вполне себе Рабиева.

Грузно и валко подъехавший автобус с тяжким скрипом раскрыл двери и в потугах разродился плотной толпой пассажиров. Час пик. Рабиева отчаянно бросилась к передней двери, но не рванулась в нее, а пристроилась за полной женщиной, как она заметила, подошедшей к автобусной остановке раньше ее. Этот секундный, вполне естественный благородный шажок в сторону и погубил ее. На ступеньку салона встал мужчина с бритым затылком. И пока Рабиева смело кричала Затылку, что он козел, что лезет без очереди – все видели, что она пропустила из-за таких, как он, три нужных ей рейса... сзади навалили, отжали ее в сторону, и когда она все же добралась до створок дверей, протиснуться в автобус не было никакой возможности.

Ох, как бы она вцепилась в тот Затылок, но он был не только брит, но уже и недосягаем, исчезнув среди вздернутых плеч и лиц. Вот так всегда.

Автобус отъехал. Рабиева зло плюнула вслед. Наверное, она – худая, длинная, носатая – выглядела со стороны смешно, но ей плевать. Женщина она решительная и резкая. Могла ответить, когда надо, кому угодно на любом из мыслимых стилей и жаргонов. И откровенным жестом тоже. И письмом в организацию и местком. Надо будет – и заявлением в суд. И все это из-за того, что вечный вектор к справедливости вечно обиженного человека буквально торчал из нее, как перст. В борьбе за справедливость Рабиева изнемогала, но жила. А ведь все можно устроить легко и гармонично и, главное, – честно. Надо только всем соблюдать очередность. И все. Вот сейчас, к примеру, что трудного было всем желающим ехать встать в очередь, как в фильмах о москвичах пятидесятых, и не было б давки, озлобленности, оторванных пуговиц...

Горожане вновь скопились на остановке, поглядывая друг на друга отчужденно и устало, запестрели среди них цыгане с мешками и детьми. Два цыгана, седой в хромовых сапогах и молодой в джинсах «Ранглер», молча пересчитали их взглядами, сели в такси и уехали. Напротив, через дорогу, окончился сеанс в кинотеатре, и оттуда к остановке потянулись люди, все еще чуть зачарованные иллюзиями синематографа, но и они будут биться за свои автобусные места локтями.

Рабиева решила переждать, благо у нее оставалось дельце на Главпочтамте. Не ехать же ей на такси, рядовому корректору рядового издательства. И она пошла широким шагом, на ходу успокаивая себя: «Так тебе и надо, дуре! Так тебе и надо. Умнее будешь». Шла она по тенистой улице. Вдоль тротуара стояли тополя. Росли они ровно, не давя друг на друга, свободно, уверенно, встав в свою очередь в вечность.

У нужной Рабиеве стойки в зале Главпочтамта ожидали своей очереди человек семь. Рабиева встала за последним, настойчиво уточнила, не занимал ли кто перед ней очередь заочно, огляделась и принялась бдительно следить за общим движением. Не думалось ни о чем, лишь мелькнуло: «А почему бы и мне не попробовать сунуться без очереди? Что я, хуже других? Лезут... Лезут! Ух, всех бы их!» Но пренебречь принципом очередности Рабиева не смела, и вовсе не оттого, что робела перед гражданами, а потому, что тогда терялся всякий смысл ее, рабиевской, организации мира. Нет, Рабиева не была членом тайной религиозной секты очередников, очередей не любила, а кто их любит? Но по ее убеждению, очередь была естественна, как смена дней. Сегодня очереди у касс Аэрофлота, завтра у касс космодромов... У командировочных на Марс льготы, но встретились двое перед лицом кассира – опять же очередь. Конечно, это прекрасно, иметь все, ни в чем не нуждаться, а если потребуется – нажать на кнопку пульта собственной кухни, и вот тебе вырезка, а вот двойной кокос. Хотя... не хлебом единым жив человек, нельзя всем жителям миллионного города попасть на семь концертов спешных гастролей звезды эстрады. Тут кнопка не поможет, надо отстоять свое... Нет, не нужны Рабиевой кокосы, а в гастрономе она всегда свое отстоит, по вот когда именно это «не хлебом единым»... Бог с ней, с певицей живьем, есть телеящик. Здесь другое. Скажем, подала она заявление в газету в рубрику «Знакомства», очередность времени публикации еще можно отстоять, а дальше? Ведь этих усатых в брюках не выкладывают на прилавок, они сами чего-то там хотят. Если бы и в этом порядок был... как хорошо. Подождала года два, все-таки дефицит, и звонок в дверь, приносят: «Здравствуйте, это ваш. Распишитесь». Справедливо? Да.

Понятно, Рабиева не только относилась к себе строго, встав на невидимый транспортер, она никому не позволяла проскочить мимо нее. Конечно, были исключения. Случалось, мать с грудным ребенком в булочной – пожалуйста, но она с тем же дитятей в вестибюле кинотеатра — никогда. Потом есть права на внеочередность, заслуженные кровью и трудом. И против них Рабиева никогда не возражала, не возмущалась даже в душе. И неловко ей было видеть иногда, как пихают в бок, в сторону старичка с медалью, виноватого только в том, что история так распорядилась с ним, что эта медаль стала неизбежна в его жизни. Право есть право. Но вот племя пройдох, выскочек, ловкачей было ей ненавистно, как воровская банда. Да, они воры, хотя никакой уголовной ответственности кодекс не предусматривал за пронырливость в кишке очередей.

Они воры, воры уж только оттого, что воруют у тебя веру в справедливость. За это ноги надо отрубать!

Постояв несколько минут в очереди без необходимости оголять нервы, Рабиева успокоилась окончательно. И как-то вдруг повеяло приятным запахом. Рабиева обернулась. За ее спиной стоял Интересный Мужчина. Он вежливо обратился к ней со стандартным вопросиком: «Вы будете крайней?» Именно не последней, а крайней. Неточно, зато мягко, уважительно. Все вызывало в нем доверие и симпатию: элегантная костюмная тройка строгого тона, чистые края воротника белой рубашки и аккуратный узел галстука, умное, доброжелательное лицо, слегка ироничное. А потом эта манера смотреть с ленцой в сторону и внимательно в глаза.

Запах, конечно же, струился от него, настоящий мужской дух, облагороженный дорогим одеколоном. Он словно приклеил ее к себе, хотя даже не прикасался к ней, хотя многие в очереди позволяли себе притиснуться. Такой Интересный Мужчина себе этого не позволит, нет, не от робости и не от атрофированности мужицкой наглости. Он сам притягивал к себе своим, данным лишь ему достоинством.

Рабиева отвлеклась от своего привычного дозора за очередью, и только когда она вся засмялась и загалдела, она опомнилась и принялась тут же бойко разбираться в причинах очередного житейского хаоса. А виновницей его оказалась глуховатая старушка в платье и косынке из многостираного черного сатина. Самым главным для Рабиевой было установить, действительно ли старуха добралась до обслуживающей Почтдевы законно. Выяснилось — да. Все дело было лишь в том, что Почтдева в индийской расшитой блузке никак не могла понять, что еще кроме доброго «пожалуйста» нужно этой старушке. Рабиева, разобравшись, не стала вникать в суть разговора, как-нибудь разберутся без нее. Но выяснение отношений между Почтдевой и старушкой затягивалось, время шло, и все стали проявлять нервное нетерпение. Кое-кто стал возмущаться в воздух. Интересный Мужчина явно прислушивался к разговору, но он, как и Рабиева, не лез со своими советами и догадками. Они были единственными, кто стал вести себя спокойно. Почтдева уже срывалась:

– Ах, пожалуйста, можете идти куда угодно! Я-то не виновата.

– Ты, доча, не спеши, не спеши. Ты вот послушай меня, старую. Я к прокурору-то не пойду, – старушка говорила не спеша, степенно прожевывая оголенными деснами мякиш слов.

– Ах, пожалуйста, хоть к прокурору...

– Я чужого не хочу, доча.

– Ах, пожалуйста!

– А ты выдай.

– Ах, бабушка, я же выдала вам пенсию. Вот у вас и деньги на руках.

–Так ты и дочки моей инвалидные-то выдай. Троих детишек на меня оставила, хворобушка. А как жить-то мне, как их поить-то, кормить? Пенсия не генеральши какой.

– Ах, бабушка, поймите, наконец, пожалуйста, нет у меня на вас больше перечисления. Как же я вам выдам ее деньги? Нельзя это. Пусть сама придет за своими инвалидными.

– Как жеть она придет, если померла она, страдалица?

– Застрелиться можно! Какие могут быть ей тогда деньги, если она умерла?

– А за живность? За живность-то выдай!

– За какую еще живность? За это у нас еще не платят.

Очередь подобострастно заулыбалась, предвидя скорую развязку. Однако дело осложнилось еще больше.

– Как же не платят, доча, – продолжала невозмутимо старушка, за долгий век, видимо, научившаяся ограждать свои беды от настроения чужих людей. – Она ж когда померла? Вот вчера только сороковины, царство ей небесное. А так она ишо три месяца хворала в больнице-то...

– Мне жаль, бабушка, но если человек умер, то ему и деньги как будто ни к чему, да и за что?

– А в больнице-то она жива была, не получала. За живность эту и выдай.

– Я-то здесь при чем? Объясните мне, пожалуйста.

– Так я тебе и толкую, детишки-то ее, они вроде и наследники.

– Это уж не ко мне, а в райсобес. Идите, бабушка, они вам все там решат. Следующий. Что у вас?

– Нет, ты погодь, доча. И ты погоди, не барин, не спеши, не спеши.

– В райсобес, бабушка, в райсобес.

Очередь дружно подхватила это решение, и все стали вразнохлест советовать старушке ковылять в несуществующие уже районные отделы социального обеспечения, к депутату, а Почтдеву оставить в покое. Итак столько времени потеряно.

– Так я везде уже была. Не могут они все. Инвалидные на пошту свозят, кассы-то у них нету. Ты, доча, не держи их зря, а я тебя отблагодарю.

Почтдева в отчаянии бросилась в подсобку, вернулась, ухватилась руками за край стойки, как хватаются утопающие за край шлюпки. Старушка не уходила, продолжая вхолостую пожевывать деснами. Очередь смялась окончательно. Все сгрудились вокруг старой женщины, объясняли ей что-то, выговаривали, жалели, хотя вряд ли кто-нибудь из них понимал всю ситуацию до конца. Рабиева забеспокоилась снова. Ей было жаль бабулю, но при такой толчее можно было совершенно спокойно проскользнуть без очереди. Вот уже двое студентиков пристроились возле Почтдевы и, чтобы вызвать у нее благосклонность, один из них особенно рьяно наседал на старушку, а второй

уже что-то подсовывал, видимо квитанцию, под стойку. И пресечь их было никак нельзя, все так спуталось.

И здесь раздался твердый, властный голос Интересного Мужчины:

– Разрешите мне. Пройдите, товарищ, в сторонку, дайте спокойно поговорить с гражданкой. Вот так. И вы, будьте любезны, не мешайте.

Все разом смолкли и растянулись по своим местам. Студентики было кинулись на отчаянный штурм Почтдевы, но и их Интересный Мужчина отстранил быстро и уверенно. Затем он не торопясь выслушал всю исповедь старушки, внимательно и по-доброму объяснил ей. Беседа у них сложилась настолько логично, с конкретными попятными деталями, что все буквально заслушались. Как под проявителем прояснилась вся трагедия семьи старушки, и было приятно сознавать, что ее не оставили в беде, никто из них не прошел мимо. Интересный Мужчина вынул из кармана блокнотик, ручку с золотым пером, записал несколько слов, вырвал из блокнотика исписанный листок и протянул его бабушке:

– Придете ко мне завтра, к десяти... там все написано... и кабинет и фамилия. Мы все решим в вашу пользу.

Старушка довольно сжала десны, взяла листок, аккуратно сложила его вчетверо и сунула вместе с пенсионными рублями куда-то в складку платья. И пошла. Но прежде уточнила у этого видившегося ею начальством мужчины:

– А живность временную дочки учтешь?

Интересный мужчина твердо ответил:

– Учту.

Все с благодарностью взглянули на Интересного Мужчину и вздохнули с облегчением. Рабиева уже любила его. Все в нем было прекрасно, а торчавшие теперь в хвосте очереди студентики представлялись как бы свидетелями его мужества и порядочности. В это время Почтдева с улыбкой признательности мягко обратилась к еще не успевшему отойти Интересному Мужчине:

– А что у вас? Минуточку. Вот ваша бандероль. И спасибо вам большое за эту нелепицу престарелую, а я думала – застрелюсь.

Мужчина взял бандероль и прошел мимо обомлевшей Рабиевой к дверям Главпочтамта. Рабиева уставилась в его затылок, он не был брит, но был тоже недосягаем. Вот так всегда. С окаменевшим лицом она повернулась к Почтдеве и протянула ей свой паспорт. Девица в аляповато расшитом балахоне покопалась в своих бумажках, а затем сказала:

– Нет, Гаиповой – нет.

– Я – Рабиева, – с нажимом в голосе поправила ее получательница несуществующей посылки.

– Не морочьте мне голову. У Вас паспорт на фамилию Гаипова Рабия Мусахановна.

– Вы ошибаетесь.

– Застрелиться можно! Ну что за день!

«Разоблачила!» – наконец сообразила Рабиева, стремительно превращаясь снова в Рабию. Мало этого, Почтдева коварно спросила Рабию:

– И Вам за живность?

Рабия не стала уточнять: за чью живность ей что-то полагается, и поспешила исчезнуть из отделения почты.

А-баев вернулся в клинику, но работать не врачом, а на проходной – вахтером. Интересно, что на этот должностной кульбит никто не обратил никакого внимания. Его помнили, но как бы не совсем узнавали. Правда, одна дамочка в белом халате, кокетливо улыбнувшись, однажды все же заметила его, и проворковала: «Ты где пропадал? – но внимательней оглядев его хмурую физиономию, привычно диагностировала: – Да, это без сомнения особый клинический случай». И проскользнула мимо. То, что она имела в виду, нисколько не взволновало А-баева. Он продолжал мощно мыслить над судьбами мира. И при этом ухитрялся бояться и прятаться от Гаипова, считая, что среди тружеников «входа-выхода» тот его не найдет. Дома, как ни скандалила жена, он упорно отсиживался за шкафом, там и спал. Во-первых, нет окон – снайперам не достать, во-вторых, если этот садист все-таки ввалится к нему, можно крикнуть через дверь: «Я принимаю душ! Зайди через часик» и, как только он отступит, смыться.

Но Гаипов у него не появлялся, зато давал о себе знать бурной деятельностью в масштабах вначале города, а затем и всей страны. Кругом о его коммерческих фирмах и банках кричала реклама, люди судачили о чудовищной роскоши его офисов и личных апартаментов. И в Казахстане, и в Москве, и в Англии. Говорили, что он украл не только половину учтенного добра страны, но и большую часть тех национальных сокровищ, о наличии которых ни люди, ни власть даже и не догадывались. Что ж, думал А-баев, наступило время таких бездушных и бессовестных героев. Ничего не попишешь. И бдящий писатель медицинского учреждения успокоился. Но на всякий случай решил выдвинуть линию обороны до порога гаиповского дома. Ведь совершенно ясно, что сама соломенная вдова не могла одна с дитем так жестко противостоять новоявленному садисту, да к тому же в телесном обличии мужа, что позволяло ему и юридически претендовать на свободное вхождение в ее жилплощадь. Последнее А-баев, как грамотный вахтер, мог смело утверждать.

Наступил день, когда А-баев нашел в себе силы пойти и начистоту поговорить обо всем с Рабией. Выбрав по гороскопу удачный для контактов день, А-баев, озираясь по сторонам, подошел к знакомому на бульваре Мира дому и проскользнул в нужный подъезд. На лестничных пролетах и площадке никого не было. Исследователь темы для романа прокрался к гаиповской двери и нажал беспричинно задрожавшим пальцем на звонок. Ему открыла сама Рабия и он, не приглашенный ею, втиснувшись в коридорчик квартиры, заговорил о

плаще, женщина ему не ответила, и он, извинившись, вышел вон. Какие-то секунды он стоял, довольный тем, что все так ловко исполнилось, как вдруг беззвучно распахнулась дверь соседней квартиры и Рамуш, мгновенно зажав ему рот, втащил его в незнакомый ему коридор и дальше в комнату, набитую радиоэлектронной аппаратурой. И тут же исчез.

Среди мониторов и катушечных магнитофонов сидел на высоком стуле сам Гаипов. Профессор сразу же обвинил похищенного давнего приятеля:

– Я так и знал, что ты скверно исполнишь мой приказ, саботажник.

А-баев благоразумно отмолчался. Оглядываясь, он услышал голос Рабии. Так ее подслушивали! Больше того, за ней и подглядывали. Один экран демонстрировал Рабию, сидевшую за кухонным столом, другие мониторы отражали объем остальных ее комнат. Санузел тоже не был обделен вниманием.

– Как это подло! – зашептал А-баев, опасаясь, что его возмущение будет услышано несчастной женщиной, и хотел было броситься рушить все эти шпионские устройства, но привитая ему культура советского среднего и высшего образования удержала его от акта технического вандализма.

– Оставь бедную женщину в покое, – завопил, задыхаясь, пишущий страж больничных ворот.

– Да? А ты не забыл, что она моя жена? Не надо так мучительно дергаться. Просто представь себе, что это только иная форма супружеской заботы о моей дорогой половине.

– Врешь ты все, – волновался А-баев, и вдруг догадался: – Ты не за ней следишь. Ты устроил здесь засаду на свою душу! Хочешь и ее приватизировать. Мало награбил народного достояния? Теперь потянуло на тонкие сферы с симфонической музыкой?!

Но озвученные полифонические чувства медицинского вахтописателя разбивались о мощный ледовый пирс гаиповского сознания. Он только попытался уточнить:

– В смысле второй сонатой для фортепиано сибемоль минор Шопена?

А-баеву оставалось лишь воскликнуть:

– Понял, наконец, что ты без души никто, без нее тебя даже собственная жена не признает!

– Да плевать я хотел на свою душу, – выспренно заявил Гаипов. – Даже от бездушного меня никуда она не денется. Это дело техники камасутры, нейро-лингвистического программирования. Прежде мы… Ну, чего смотришь на меня, как баран на новые ворота?

А-баеву не понравилось, что Гаипов упомянул про ворота. Он подумал, что следует соврать, что он не сторожит вход на территорию больницы, а сидит в будке, как бы изолированно от нее. От Арона можно было ожидать всего.

Возьмет и пролезет в Брахма-локу,[32] а там так уже развернется, что его земные посягательства покажутся детской забавой. И что бы Гаипов не догадался о его догадке, А-баев громко расхохотался.

Сидевший за обеденным столом рядом с мамой мальчик стал внимательно всматриваться в стену, отделявшую их кухню от соглядатаев. Рабия проследила его взгляд и потемнела лицом, застонала, встала и пошатнулась. Серик оставил ложку, встал, вышел из-за стола и принялся кружиться[33]. За ним принялась кружиться и мама. И кровь скоро отступила от ее посиневшего лица и длинной шеи, глаза заблестели. А-баев тут же заметил, что кружение женщины и мальчика явно не пришлись по вкусу Гаипову.

«Вот молодец! – подумал он. – И мне надо восстать, надо сопротивляться, упереться ногой, но какой лучше: правой вначале или левой? А может быть, локтем?»

Гаипов поежился и сказал:

– Сквозит здесь что-то, – подумал и заявил: – Теперь точно придется за ней следить.

– Меня не заставишь! – воскликнул А-баев.

– А как ты отвертишься? – изумился Гаипов. – Или и за тобой следить надо начать? Так, чтобы менты тебя закрыли надолго и с позором. Убить ты вряд ли сможешь при всем твоем желании, кишка тонка. Но вдруг ты насилуешь собственную дочь. Она у тебя ведь малолетка?

– Я могу и убить, – с прорвавшейся ненавистью произнес А-баев и принялся душить Гаипова, вспотел даже.

Жертва же его застыла под его напрягшимися пальцами резиновой куклой. Не говоря уже о том, что и не пыталась призвать кого-нибудь на помощь. Даже не дышала. «Вот тебе раз, – подумал А-баев. – Я его все-таки придушил! Но это самозащита, он сам не раз и меня душил, и других заставлял. Все поймут меня – и следователь, и судья».

Однако медицинские знания не позволили ему обмануться в этом страшном, но желанном деянии. И хотя сердце не прослушивалось, и пульс не прощупывался, литературный клиницист выяснил, что Гаипов только прикидывается мертвым, а сам сидит, словно отключенный, и дышит кожей, как жаба. А-баеву оставалось сказать только убийственную фразу:

– Знаешь, что она мне сказала насчет тебя? Не нужна ей твоя живность!

Гаипов удивленно спросил:

– Что еще за живность?

---

[32] В древнеиндийской мифологии – седьмое небо. Согласно космологическим представлениям, в *Брахма-локу* попадают те смертные, которые при жизни отличались исключительной праведностью и умиравшие чаще в обычных больницах, нежели в клиниках для начальства.

[33] Представляется, что мальчик исполнял суфийский ритуал зикр – движение к Богу. Но вскоре всего, мальчик просто баловался, стараясь привлечь внимание мамы к себе. Дети вообще часто кружатся.

– А вот эта вся твоя живность! – прокричал прямо в лицо профессору А-баев и, получив удар в лицо, потерял сознание.

Из всего этого следовало, что вернувшийся в виде Гаипова вместе с ним из Средней Азии организм был прав: прежде оставленное семейное место обитания было уже занято душой Арона.

– И мы не отступим! – прокричал в своей душе А-баев.

Грустные размышления о трансформации из свободной формы писателя в жалкую фигурку мемуариста принудили А-баева задуматься о том, что заставляет его плестись от одной строки к другой, не только потерявшими свой счет, но и смысл написания. Как психиатр, он отчетливо видел в этом умственном состоянии все признаки вялотекущей шизофрении. Все признаки были налицо: распад разума автора на сознания его книжных героев, маниакальные идеи избранности, величия, бред отношений… Ну разве можно назвать психически здоровым человека, в голове которого в течение дня и ночи разворачиваются фрагментарные монологи и диалоги, никак не связанные с реалиями его быта и бытия? И избавиться от этих голосов литератор, как и шизофреник, не в силах. Избавиться от них можно лишь переносом назойливо звучащих под черепом слов на бумагу. Переписал с мозговых извилин на лист и сжег.

9-го Мая, в день Победы, безликие боевики Гаипова вырвали А-баева из его больничной сторожки, прогретой электрической плитой, и доставили в Москву, прямо в гостиницу «Украина». Затащили на пятый этаж, сунули в апартаменты с антикварной мебелью. А там сидит сам профессор, пьет виски, ест из золотой баночки белесую икру «Алмас» белуги-альбиноса, курит, как буржуй, сигару, греет босые ноги в шерсти теплого брюха большого животного. И спрашивает он своего гостя:

– Выпить хочешь?

– Я не пью, – угрюмо соврал как бы мемуарист.

– Пьет, пьет! – завопило животное. – Он – настоящий алкоголик.

А-баев пригляделся к коту и узнал в нем Осипа Леоновича Горюйко.

– Ты же его порубил на мелкие кусочки! – ужаснулся А-баев.

– Все продолжаешь считать меня очень жестоким, – с грустинкой произнес Гаипов и продолжил с укором, – а я добрый. Вот, отдал последние деньги хирургам, лишь бы собрали бедолагу буквально из кусочков. Правда, с кожей проблема вышла, пришлось сдирать с кошек и пришивать лоскутками, ну, и заодно кошачий хвост присобачили. Правда, он стал похож на орангутанга, но главное, спасли жизнь человеку!

Тут появилась медсестра Вера. И снова без шубы. Голая, но с водочкой в графинчике на серебряном подносе, с икоркой в вазочке.

А-баева возмутило не столько то, что Гаипов стал прикидываться дьяволом, а то, с каким бесстыдством он пытается подтолкнуть его к воровству чужих литературных сюжетов. Не мытьем, так катаньем старается сделать его таким же бессовестным, как и он сам.

– Не выйдет! – заявил тут же психописатель. – Да, я вынужден писать о тебе, но я не стану опускаться до уровня плагиата. Михаил Афанасьевич Булгаков неповторим! Эту сцену я не вставлю в книгу.

– Какое я имею отношение к плагиату? – удивился профессор физико-математических наук, которому по определению претило все, что разрушает смыслы. – Причем здесь Булгаков, если тебе предстоит вписать и появление Пир-Рустема перед Мастером? Не в качестве же Маргариты?

Кто-то забегал, засуетился. И скоро втащили в гостиную героя, который уж точно не входил в свиту булгаковского Волонда – дуэлянта, убивавшего Арона Гаипова в подвале средней школы Советского района г. Караганды. На груди Пир-Рустема сияла золотая медаль Парламентской ассамблеи Совета Европы и по определению должна была вызывать в человеке чувство гордости, но на самом деле отразилась на лице кандидата физико-математических наук унынием.

– Вот, – заявил напыщенно Гаипов. – Выкупил Пи, или как его нынче называю с любовью – Пишку, из тюрьмы и медаль для него выхлопотал. За то, что он борец за свободу. Освободил меня от такой отстойной вещи, как душа. Я зла не помню.

А-баев всей своей физией изобразил восхищение благородством Гаипова, а сам подумал: «Вот сволочь, радуется, что избавился от собственного стыда и совести». Видимо его внутричерепная критика каким-то краешком мелькнула в его глазах и Гаипов, всмотревшись в него повнимательней, произнес:

– Надо было и тебя порубить и перешить, но уже точно в кота. Смотри у меня…

– Я не к тому, – испугался А-баев, представив себя меховым с грубыми швами по лбу и спине. – Просто не верится, что ты простил Пир-Рустема, да и в то, что врачи научились сшивать и оживлять таких порубленных…

И взял и дернул полукота Горюйко за хвост. И надо же, сегментированный вырост оторвался. Оказалось, что псевдохвост был на живую лишь пришит к приклеенной к заднице доцента кошачьей шкуре.

– Вот весь твой постмодерн![34] – воскликнул А-баев. – Я на такое, как писатель, не пойду!

---

[34] А-баев, конечно же, глупил. Он прекрасно знал, что для того, чтобы спутать любую дискуссию, следует смешать в одну кучу малу предмет и разные стадии развития сего предмета. В письменной культуре художественная литература, конечно же, предмет, а реализм, модернизм и постмодернизм отличаются друг от друга степенью развития текста, но не смыслов. Тех, которые позволяют понимать реальный мир человека: смысл в том.., смысл с сем.., смысл в нем, смысл в Нем, смысл в них… Но следует оговориться, что и, вполне добротная, реалистичная проза зачастую бывает вполне бессмысленной. Инъецировать, как ДНК в оплодотворенное яйцо вида-реципиента, в нее смыслы (какого качества – дело второе) возможно посредством

– А-а.., – чуть смягчился Гаипов, за спиной которого вдруг вырос Рамуш со снайперской винтовкой. – Ну, насчет запасных частей я пошутил. Никто, конечно, нашего демократа не сшивал. После меня не сошьешь. Его реконструировали из одного кусочка, причем, в разных модификациях, – и он ткнул пальцем в волосатого Горюйко. – Этот вариант мне больше всех нравится. Ну что смотришь с тупой рожей? Шучу я, но лет через десять вам физиологи, когда я разрешу, расскажут, брызгая слюной, что научились восстанавливать человека, и объяснят, как.

– Надо было тогда милицию вызвать…и следователя, – проговорился А-баев, косясь на таджикского боевика.

– Конечно, надо было, – согласился профессор. – Но кого пошлешь за врачом? Осипа все пугаются, а Рамуш постоянно в Чечне.

– Так ты и в Чечне резню затеял?! – возмутился А-баев. – Мало тебе было трупов в Таджикистане?

Гаипов возмутился:

– Нет, я здесь ни при чем. Я только порекомендовал. Только-только развернулся в Москве с капитализмом в дикой форме, а тут бодяга у Белого дома. Видел по телику? Меня видно было в третьем окне от того окна, куда первый снаряд попал. Ну, видел? Я там в генеральском мундире стоял.

По словам ставшего гостиничным москвичом профессора Гаипова, иной возможности спасти Россию от гражданской войны русских с русскими кроме как схемой создания страшного общего врага, не осталось. На внешнего врага не нашлось ни сил, ни дерзости. Решили остановиться на злом чеченце. Благо, была вековая литературная традиция и латентная привычка.

– Натурально – гражданская война, – трендел свое Гаипов. – В Москве вроде как расстреляли танками, а по всей России только начали запрягать. Через полгодика точно понеслись бы тройки с максимами[35] коммуняк, анархистов, националистов и еще черт знает кого. Пришлось срочно сводить все русские знамена: трехцветные, красные, черные, со звездой и со свастикой, в одну армию. Тут Пи и пригодился. Он же на Мелькомбинате[36] в школе с вайнахами учился. Знал, как их можно завести. Идеальные враги.

А-баев не позволил ему дальше хвастаться перед ним непонятно чем:

– Нет, не видел тебя ни в каком мундире, – категорично стал отрицать он.

аптекарских доз модерн-текста. Однако, если модерн-текст вытесняет традиционный, обедняя его до уровня неизбежной последовательности глаголов: если герой сел, то или затем встанет, или ляжет или, бывает, взлетит, то модерн переходит в следующее состояние – постмодерн. Причем, превратить реалистический текс в модерн-текст можно всего лишь исключением из него знака препинания. Роман М. Булгакова не дотягивает до постмодерна.

[35] Пулемет времен Гражданской войны между белогвардейцами и красногвардейцами 1918 -1921 гг. и символический музейный реквизит из московских сцен фильма А. Балабанова «Брат-2».

[36] Окраина г. Караганды с сосланным в Казахстан чеченским населением. Пир-Рустем утверждал, что его пионервожатым был Жора Дудаев – генерал Джахар Дудаев, первый президент Ичкерии.

Хотя видел в московской телехронике тех дней профессора. Правда, среди приближенных президента России. И никак не в мундире, а с тремя коробками от ксерокса.

– И что, заметь, замечательно: те комбаты, которые должны были повести меня, как буржуина, в трибунал и к стенке, там, в Грозном, и положили свои лихие головушки. Правда, кое-кто из них, да и из чеченцев, начинают вдруг понимать, где собака зарыта. Вот и приходится Рамуша в командировку посылать.

– Вот как! – возмутился А-баев. – Ты и Пир-Рустема вытащил из тюрьмы сюда! Всех убийц собрал! Он стрелял в Арона!

Арон Гаипов монотонно возразил:

– То есть, в меня. Но я его простил великодушно. Не вижу причин не использовать мозги Пи. Я всегда выделял его как интуитивного алгебраического аналитика. Что немаловажно в группе в работе с модулями. А вот из-за таких, между прочим, как ты и как Горюйко, в советской стране бардак начался.

А-баев бурно запротестовал:

– Причем здесь я?! Причем здесь Горюйко!

Гаипов доходчиво пояснил:

– А притом. Не надо лезть туда, куда не надо. Ты врач и занимался бы лечением больных, а не писал «А и Б» и не перезванивался с Горюйко. А ты, – профессор пнул в волосатый бок Осипа Леоновича. – Ты кем работал?

Горюйко поспешил ответить:

– Я музыковед, – и лизнул ему руку.

Гаипов строго укорил лизуна:

– У вас там «до-ре-ми-фа-соль-ля-си». Так какое твое дело до «А и Б»? Это математические величины…

А-баев смело заспорил – все-таки увлечение писательством у него было не фальшивым:

– Это буквы, а не цифры тебе! Ими пишут! И если я сказал «А», то должен был, как гражданин, сказать и «Б»!

Но Гаипов, мертво уставившись в одну точку, его уже не слышал, вроде как бы.

Оказалось, что профессор Гаипов перетащил в свой Центр, кроме Пир-Рустема из Караганды и Рамуша из Таджикистана, еще кучу всяких влиятельнейших особ и ведущих в своих науках специалистов, старавшихся выглядеть как можно неприметней. Ярко выделялся лишь бельгийский мараканец – создатель социальной сети педофилов с клиентской базой более чем на восемнадцать миллионов человек, все номера платежных карточек которых он хранил в своей памяти. И если бы не случай, то А-баев не познакомился бы и с местным китайцем Ии Кэ. Местном в том смысле, что

скрытно и безвылазно последние полвекаон жил в одном месте – в гостинице «Украина».

Ошарашенный циничными откровениями Гаипова А-баев кинулся в коридоры гостиницы, где его схватил за локоть какой-то темный человек и заговорил шепотом и путанно:

– Расы не антропологические типы, а ступени развития человечества... Через миллионы и миллионы лет наши современные расы будут выглядеть, как останки незначительных мелких обезьян – одного из выродившихся видов рода человеческого... эволюционные механизмы способствуют вымиранию низших и деградировавших рас и ведут к формированию единственной, совершенной и однородной расы без половых признаков. А то, знаете, кое у кого они выглядят не нормально... Я, конечно, уважаю, профессора Гаипова... Ну, вы понимаете, о чем я. Этот орган, торчащий у него, не совсем толерантен. Не туда смотрит. А надо видеть, что человечество делится на вдохновленных людей и на низшие существа. Разница в умственных способностях между иерусалимскими и другими цивилизованными народами и такими дикарями очевидна. Никакая заимствованная культура, никакое число поколений, воспитанных среди цивилизации, не могло поднять такие человеческие образцы, как бушмены и австралийские аборигены, на тот умственный уровень, на котором стоят арийцы, семиты и туранцы. Профессор Гаипов не только чистокровный туранец, но и... чист от всех эмоций, порождающих неадекватные, нелогичные, неразумные симпатии и антипатии. Он в теперешнем состоянии – идеальная аналоговая или цифро-аналоговая схема. Да и прежде появлялись типы, которые избавились от того мусора, который принято называть душой. Но это были обычные, с низким уровнем интеллекта или, как правило, крайне низким. Материал не годный для вселения Вселенского чистого духа! Я был потрясен... молчал, был проверен огромный массив материала... Мы на пороге зарождения высшей расы людей – расы богов! Знайте! Появление профессора Гаипова в Караганде, в центре Великой туранской степи предвидела сама Зинаида Арон! Господин А-баев, я знаю, вы близкий друг господина профессора... Уговорите его на операцию. Надо ту его не толерантную штуку ампутировать. Меня обязали! Помогите, скажите словечко. Моя фамилия Блумберг. Я и вам пригожусь. Я рисую, танцую, рою шахты, ставлю капканы, преподаю в Гарварде, могу мыть полы и расшифровывать египетские иероглифы. Все что угодно!

А-баев вырвал руку из цепкого захвата этого коридорного безумца и бросился искать Пир-Рустема. Непременно он должен был находиться где-то рядом, коли созданный злобезумным профессором Центр здесь же. Зная о неумеренном и глуповатом самолюбии Пир-Рустема, А-баев, пройдя все тридцать пять этажей, выискивал на стенах и дверях какой-нибудь знак, которым тот непременно должен был обозначить свое присутствие. По крайней мере, подпись, надпись типа: пришел, увидел, победил. Пир-Рустем. Но тщетно.

Пришлось забираться в чердачные помещения. И вот в одном из них он, наконец, увидел нечто необычное (хотя можно сказать – банальное). На дверце фанерного шкафа крашенного под дуб, красовалась иллюстрация из книги с изображением персидского, красивого-прекрасивого витязя на коне. Для человека читающего не сложно было догадаться, что лист вырван из издания Фирдоуси и что на нем был изображен удалой царь Рустем. А-баев открыл шкаф и, помня о многих приятных часах, проведенных им когда-то во врачебной юности в своей психиатрической холостяцкой квартире в закрытом пространстве за больничной мебелью и стеной, влез в него и закрылся. Его тут же охватило чувство покоя, но задняя плоскость фальшивого шкафа вдруг подло отъехала куда-то в сторону и А-баев увидел перед собой освещенную электрическими лампами большую комнату, почти холл, с густой паутиной в углах. И в ней старца с китайскими глазками и бородкой, свободно расположившегося на потертом диване, в шелковой пижаме сочинской моды хрущевских времен и в калошах на босу ногу. В руках он держал развернутую пожелтевшую газету «Saturday evening post» с кофейным пятном за 1962 год. Старый человек спокойно и доверительно обратился к нему на китайском языке, затем на английском, потом перешел на грамотный русский, правда, почему-то с кубанским акцентом с мягким, но сильным «Ғ». При этом весомую часть прилагательных и глаголов он мило произносил в матершинном варианте.

– Вот, – произнес он, указывая тонким пальчиком на статью Стюарта Олсопа и Чарльза Бартлетта о Карибском кризисе. – Нашел ғазету со своей давней <...> статьей.

– Мистер э-э-э... Стюарт, Вы случайно не видели здесь, – начал было расспрашивать полиглота А-баев, но тот перебил его вопрос.

– Стюарт Олсоп Чарльз Бартлетт – один из моих журналистских псевдонимов, бля. Мое же настоящее имя – Ии Кэ.[37] Погоняло – Юань-шэнь.[38]

---

[37] Ии Кэ прибыл в СССР в составе делегации Китайской народной республики. Товарищ Цзэдун решился на еще одну тайную, последнюю встречу в Москве с товарищем Сталиным, только найдя прямого потомка Конфуция, у которого хранилась вещь праотца установителя пяти постоянств, праведного человека богдыхана Хоанти, изобретателя цикла и компаса, царствовавшего за 2637 лет до н.э. Найти такого человека удалось лишь в городке Пиньнань. Им и оказался четырнадцатилетний подросток Ии Кэ. Переговоры состоялись в одном из цокольных этажей начавшейся строиться гостиницы «Украина». Столь странное место для дипломатического рандеву т. Сталина объяснил т. Мао Цзэдун желанием продемонстрировать масштаб строительной индустрии столицы СССР, хотя на самом деле бетонные подвалы гостиницы являлись самым ближним к Кремлю атомным бомбоубежищем. Кэ достаточно было взглянуть на архитектурные планшеты и макет здания с площадью более 88 тыс. кв.м. и высотой 206 метров, чтобы понять, что в гигантском сооружении запланирована скрытая сеть лифтов, коридоров и комнат, предназначенных далеко не для гостиничных услуг. И он тут же скрылся в уже выстроенных параллельных подвальных помещениях и по мере строительства здания постепенно перебирался на верхние этажи, пока не добрался до 94-метрового шпиля, где оканчательно и устроился. Удивительным было не то, что он смог тайно прожить полвека в добровольном заточении, а то, что подъмник из ресторана каждый день доставляя ему еду, притом что и архиктекторы, и заказчики проекта здания давным-давно были все расстреляны органами безопасности страны. Как его Арон Гаипов вычислил, выцарапал из секретных, потаенных гостиничных номеров и заставил работать на него – черт его знает!

[38] Божество круга.

А-баев заробел, но нашел в себе силы вежливо представиться, извиниться и объяснить свое вторжение. Ии Кэ усмехнулся и заметил:

– Ясно было, что ваш <...> Пир-Рустем прицепил ту картинку с умыслом, бля. Но, к сожалению, я не читал вашего Фирдоуси, бля, и не мог себе представить, что это как-то связано с его персоной. Хороший математик?

– Кто? Пир-Рустем? В Карагандинском университете считался сильным алгебраистом. Ну, так говорил вроде сам Гаипов, – отвечал А-баев.

Ии Кэ скорчил препротивнейшую гримасу, и психиатрический бытописатель Гаипова понял, что вопрос китайца касался великого перса.

– Гений, – ответил без пяти минут признанный писатель. – Шекспира следовало бы называть английским Фирдоуси.

Но оказалось, что старику неизвестен и автор, сочинивший истории о датском принце Гамлете и о короле Лире. Увидев, как на лице А-баева проявилась снисходительная улыбочка советского интеллигента, считавшего своим прямым долгом иметь дома книжные полки с полным собранием Белинского, Золя и томиком Гумилева, китайский аксакал посчитал нужным предельно короткой фразой исчерпать сомнения об уровне его IQ:

– Мне ли, бля, математику, не знать.

– Понятно! – воскликнул А-баев. – Как! Как вы могли согласиться работать на этого подонка Гаипова?! Он совершает преступление за преступлением. Преступления перед человечеством! Разве вы не понимаете, что он задумал?!

Что задумал профессор, конечно же, А-баев не знал. Но сам пафос его монолога требовал высказать этот риторический вопрос и именно в таком тоне. И надо же, китаец, как позорный фрайер, поймался на ложном посыле гаиповского библиографа и раскрыл задачу, над которой теперь работал профессор:

– Ничего, бля, преступного в математическом решении пространственных вложений симулякров нет. Ведь интересно узнать, бля, действительно ли пространственные вложения симулякров неопределеннодольного класса
$A_i b \geq \infty$,

– Это же очевидно! – прервал китайского математика А-баев. – Гамильтонова пара... не пара сапог.

– Да? – изумился Ии Кэ и затем продолжил спокойней. – Попробую высказываться попроще, бля. Если <...> симулякры не зацеплены друг с другом, то индекс зацепления обращается в ноль... Впрочем... Давайте я объясню Вам, почему я согласился участвовать в этой работе... И Вы убедитесь, что, по крайней мере, в моем присутствии, бля, ничего преступного не просматривается, бля. Понимаете, попалась мне одна статья известного Жана Бордийяра. Автор в ней задумался: почему война во Вьетнаме – самое большое военное поражение в истории США – не имело никаких внутренних последствий в <...> Америке? И почему не вызвало вмешательства Китая, как на Корейском полуострове? Если бы оно действительно означало поражение <...>

планетарной стратегии Соединенных Штатов, оно непременно нарушило бы внутреннее равновесие и перевернуло бы внешнюю американскую <...> политическую систему. Ничего подобного не произошло.

– И почему?

– Да, потому что целью <...> американцев была не бессмысленная победа над вьетнамцами, а новое моделирование стратегии разделения сфер влияния, бля.

– А причем здесь симулякры? – воскликнул, уже не прикидываясь осведомленным, А-баев.

Ии Кэ поскучнел, но счел необходимым пояснить:

– Притом, что эта война с ковровыми <...> бомбардировками происходила не на мониторе, а в реальном пространстве и риск вложения этого симулякра оказался чрезвычайно катастрофичным и неприемлемым. И необратимо не разрушит зацепления <...> додекаэдра Гамильтона, узловые вершины которого символизировали крупнейшие города Земли, ребра – соединяющие их дороги.

А-баев не понимал китайского мудреца, да, вообще и не слышал, а только твердил свое наболевшее:

– Этот якобы профессор, которого вы здесь держите черт знает за кого, возжелал – ни больше, ни меньше – опрокинуть весь мир в бездну зла! – и понес и понес на всю Тверскую, еще недавно называвшуюся улицей им. М. Горького.

А Ии Кэ в свою очередь выслушал всю пламенную, обличительную тираду психописателя, длившуюся не менее получаса, затем высокомерно-вежливо, как это умеют делать только китайцы, пригласил обличителя присоединиться к чайной церемонии. За чашечкой ароматного напитка скрытый гениальный (а он и был именно таким) математик произнес:

– Вы придаете чересчур большое значение роли личности в истории, бля. На самом деле все иначе. Гаипов всего лишь <...> винтик, несмотря на то, что, видимо, не существует на свете человека, чей долбанный мозг, как его, бля, способен оперировать с чрезвычайно огромным количеством числовых данных. Ваш Пир-Рустем утверждает, что мозг Гаипова настоящий мейнфрейм, бля, с линейкой процессоров с производительностью 200 MIPS, бля. Правда, я никогда не с этими мейнфреймами. Как ни странно, бля, сюда до сих так и не завезли эти <...> машины, хотя компьютерные зубные щетки сразу же, как только они на <...> рынке.

А-баев горько усмехнулся и ответил:

– Не о личности речь. Здесь заговор!

Ии Кэ и здесь проявил колоссальное спокойствие, хотя ни один мыслящий человек на свете при словах, намекающих на жидо-масонский заговор, заговор мондиалистов или на новейший заговор – компьютерный, не в силах был бы не встрепенуться, не ударить в барабаны или в бубен кому-нибудь, возбудившись

гневными эмоциями, чем отвергнул бы любые попытки манипулировать им. А потомок Конфуция лишь принялся разглагольствовать дальше:

– Все конспирологические заговоры, бля, не играют решающего значения в истории человечества, как бы ни хотелось бы членам тайных обществ считать свои игры за таковые, бля. История сама <...> свои страницы.

– Вы хотите сказать, что нет никаких тайных обществ и всяких планов у них насчет переустройства мира?! – возмутился неправдой А-баев и насторожился: «А-а, значит сам конспиролог!»

Как всегда А-баев оказался прозорлив. Китайский затворник «Украины» не смог не подтвердить его догадку, при этом матерясь особенно грязно:

– Они есть, есть, конечно, куча всяких тайных <...> обществ, <...> советов <...> банкиров и <...> социалистов, бля. Но роль их ординарна, как бы они ни декорировали свое <...> присутствие всякими <...> черепами или эмблемами с алхимическими колбами. Бильдербергский, скажем, <...> клуб, бля, конечно же, желал бы, чтобы события в мире по намеченному им засекреченному <...> плану. И какое-то время он как бы неуклонно. <...> Здесь в Москве говорили до девяностых годов... До сих пор не пойму, почему вы, русские, там мельчите время? Шестидесятые, семидесятые, лихие девяностые, нулевые... Для оценки исторических событий самая соответствующая временная единица – век.

А-баев не нашел, что ответить потомку Конфуция и отделался стандартным оправданием:

– Я не русский.

Но, кажется, китаец слушал только себя. Он продолжил вещать, нисколько не отреагировав на фразу якобы собеседника:

– Все дело в том, что сами люди, бля, которые в жизнь этот план, не более, чем обычные человеки, бля, со всеми, присущими человеку слабостями и недостатками, такими как личный эгоизм, глупость, необязательность, болтливость, заносчивость. Да их масса! Я уже <...> о разного рода психопатиях, бля. Все они естественным и неизбежным образом приводят к многочисленным сбоям, к хаосу, скрытому внешними ритуалами и контрактами. Причем, как правило, в самых узловых элементах рычагового механизма, бля. Католические школы для мальчиков являются системным институтом самой могущественной закрытой организации – Ватикана, бля. Они <...> для воспитания правящей всем миром элиты. <...>! И она была создана и правила этим миром, бля. Но с самого открытия в них, кроме умных и преданных церкви специалистов, затесались и педагоги с педофилическими наклонностями. И – зуб даю – среди тех, бля, кто начал протестантскую реформацию, бля, а в сущности – развал католицизма, были и те, кого в мальчишеские годы в <...>! Вот откуда подсознательное страстное желание изменить роль матери-церкви.

А-баев усмехнулся и иронично произнес:

– Да вы сами, я вижу, член тайной банды воров в законе. И вообще, могли бы вы воздержаться от мата!

Ии Кэ поджал губы, вытянул сжатыми пальцами свою седенькую, длинную бородку и смущенно спросил:

– Знаете, я к своему стыду стал учить русский язык только несколько лет назад, как только в вашей стране события стали принимать действительно интересный характер. И в тот период за стеной моего пентхауза долго жили замечательные люди с доступным и простым для понимания русским языком. Если судить по доносившимся до меня фразам, они постоянно предлагали разным людям и компаниям распилить, отрубить и расколоть. Видимо, они были лесорубами. Впоследствии я понял, бля, что их речь относилась к ненормативной лексике, но она как-то противно прочно впечаталась, бля, в мое сознание, прошу прощения. Я постараюсь не материться. Но мы отвлеклись. Так вот, по существу тектонические сдвиги в человеческом сообществе происходят по открытым причинам, известным в природе, бля. Разве не известно нам, что у подножия склонов, в долинах и других рисунках рельефа различного размера происходит аккумуляция различных элементов: от карстовых воронок до крупных прогибов и впадин, наполняемых снегом, водой или пеплом, бля. И разве мы не понимаем, что затем в какой-то момент кумуляция завершается и с гор непременно понесется сметающий все на своем пути сель, бля. Или в организме человека на протяжении ряда лет идет кумуляция и суммирование действий лекарственных веществ, до которых мы все, смертные, очень охочи, и ядов, которые бывают очень пьяняще приятны, и мы пьем их, как лекарства или для души, или для тела, бля. И опять же все до того момента, когда вдруг человек бряк с ног и в гроб, бля. Но нет, все хочется увидеть заговор, и сразу возникает подозрение, что его кто-то специально отравил. Не задумываясь даже над тем, что одна и та же доза яда не каждого отправляет на тот свет, что отраве, дабы она немедля довела до смерти, нужна и <...> печень принявшего ее, прежде порушенная алкоголем, или кровь, попорченная уже давно вирусами, бля. Во многом профессор Гаипов был прав, когда и вас он обвинил в разрушении СССР. А ведь в действительности никто не желал распада вашей страны. Ни на Западе, ни в Кремле, кто-то, конечно, мечтал об этом, но поверить в это не мог, а, следовательно, в усилиях своих был равноценен тем, кто не желал развала. Но это общеизвестные факты. Но вот все вы вместе: коммунисты, антикоммунисты, диссиденты с либеральными ценностями и диссиденты с нацистским выбором, навалились и развалили. Да, интересный вы народ – русские.

– Я не русский, – возмутился А-баев

– А кто вы? – искренне удивился китаец.

– Казах! – патетически воскликнул пишущий психиатр.

– Казах, казахи... Это народ, живущий на наших западных территориях по реке Или и на Балхаше? – поинтересовался Ии Кэ.

А-баев возмутился, но как всегда не по теме:

– Так Вы подслушивали!

Ии Кэ сдержанно возразил:

– Я проходил мимо. Там за стеной апартаментов <...> профессора немыслимо узкий проход, бля, и даже мне, тощему, приходится медленно семенить, и то бочком. Но вернемся к сути нашей беседы. Уверяю Вас, никакой Гаипов, будь он хоть председателем КГБ, никакой директор ЦРУ не способны были сами, своими лишь действиями, бля, развязать чеченскую войну. Но он совершенно прав. Эта локальная война спасла правящую верхушку России. И хотя сами они этого и не осознавали, они работали в этом направлении. Рыли туннель с одной стороны, а с другого конца рыли отставные чеченские генералы, полковники и уголовники с актерами Грозненского драматического театра, бля. И на Западе работали над кавказским сепаратизмом. И в свою очередь не понимали, что война в Чечне, бля, в корне противоречит их интересам, потому как в действительности она лишь лет на двадцать вызывала приступ разъединения, но с самого начала объединила всех русских, и татар, и якутов, а потом уже самих чеченцев в одну, уже не советскую, а российскую нацию. Таков конечный эффект деятельности якобы тайных организаций, бля, в данном случае ставивших цель развалить Россию, – и далее понес, что народы Северного Кавказа вовсе не занозы в теле России, бля, а иглы для Чжень-Цзю-терапии, способные восстановить свободную циркуляцию энергии по телу русской нации, ставшему по известным причинам недостойно рыхлым. Возмущение – вот что нужно потерянному, расслабленному русскому сознанию. А они возмущают. А значит, мобилизуют. И кулак, и ум. Даже самого пропащего селянина.

Много чего наговорил китаец, такого, что никак не касалось задуманного А-баевым романа. «Пусть новые Толстые и Достоевские пишут про себя», – думал А-баев, выбираясь из скрытых лабиринтов в открытые коридоры «Украины».

И уж совсем неожиданно Арон Гаипов заявил вернувшемуся из параллельных коридоров гостиницы «Украина» А-баеву:

– Плащ – не ее затея, ведь она дура.

Романописатель догадался, что речь зашла о Рабие и решил сказать правду:

– Не знал.

– А надо было знать, – возмутился Гаипов. – Снова общественность молчит с полной безразличностью. При вас человека убьют, а вам все равно. Сволочи. Семья, можно сказать, на гране развода, а вам наплевать. Где советские социалистические нормы общежития, я спрашиваю? Почему не бьете тревогу за порядок в рядовой семье? За законные супружеские отношения?

– Ну, знаешь ли! Это ваши дела с женой! – не согласился романист.

– Если бы были только наши, – произнес Арон холодно и вырвал у Горюйки клок шерсти.

Удивительно, но полукот-полуобезьяна-получеловек, но по-прежнему цельный западенец даже не мявкнул, не взвизгнул – жертва новейшей истории.

– Прошу прощения, но таким признать тебя она не желает, – сказал наконец правду Гаипову А-баев. – Рабия тебе не кошка.

– Эта какая-то феноменальная тупость. Все, что может хотеть женщина, я ей даю. Следовательно, она должна мне. И все вернет от первой капельки моей спермы до последней своей слезинки. Вернешься в Караганду и сразу к ней, – приказал Арон своему летописцу. – Говори, что хочешь. Что я ее там люблю, страдаю без нее… жить не могу. Может быть, размякнет как-нибудь там, баба ведь. Ну, и заодно на пацаненка посмотри: кто он, что он. Мне бы хотя бы знать, почему… ну, сам знаешь что.

А-баев еще раз попытался отбиться:

– Да что там узнавать? Ну, она там одна с ребенком этим. Все записывается твоими сотрудниками на пленку, как ты и велел. Каждый ее шаг, каждое слово! Мы там мозгуем, все анализируем. Я прямо оттуда, из той квартиры соседей Рабии. Все время там, – зачем-то добавил по-китайски. – Бля.

Надо было, конечно, изо всех сил в Караганде бдеть за доверенным ему объектом и субъектом в виде квартиры и гаиповской жены, но увы... уж очень непредсказуема человеческая натура, изначально склонная к халтуре. Да, он должен был вместе с другими агентами следить за Рабией, и вначале действительно записывалась и регистрировалась вся информация и движения единицы наблюдения, потом закончилась паста в стержнях авторучек. Деньги, предназначенные на слежку, оказались у пьяницы-тихушника и растворились в бражной пене в пивной за углом. Монотонные одни и те же бытовые реплики женщины за стеной всем так надоели, что запили все, начали прогуливать. Правда, не все, водопроводчик[39], заходивший к Рабие проверить краны, начал бомбить на стороне таксистом у карагандинского вокзала. Так годика через три шпионская соседская квартира совсем опустела, все пришло в негодность, в ней даже лампочка в туалете перегорела. Между тем из нее невесть как ежедневно высылали подробные рапорты в канцелярию московского Центра профессора Гаипова. А-баева сей факт удивлял, он, хотя и изредка, но заглядывал в стукаческое гнездо и долго вглядывался в темный, затянутый паутиной экран монитора, подключенного к камерам слежения, на котором однажды он видел душу Арона в компании персидского шаха.

Есть такой род литераторов, произведения которых никак не соединены даже канцелярской скрепкой с их безусловной славой. А-баев с болью в груди

[39] Один из членов группы «водопроводчиков» из администрации президента США Никсона, причастной к незаконному прослушиванию – так окрестили в прессе за то, что они установили прослушивающую аппаратуру в предвыбрном штабе демократов, расположенном в вашингтонском отеле «Уотергейт». 17 июня 1972 года они были арестованы сотрудниками спецслужб.

осознал, что фигура относится к ним. Наверное, мало писать книги, надо настаивать, что автором этих – допустимо, еще ненапечатанных – шедевров являешься именно ты. Или хотя бы глашатаем, на крайний случай – крикуном. Возможно, в этом и состоит монументальность колонн здания Союза писателей. Насчет криков там: помогите издаться! – это конечно, бред собачий, но спонсоров надо искать.

Черт с ним, пусть цепляется за свою бабу, решил А-баев: не стану выдавать тайну слежки Гаипову и буду говорить все, что он хочет слышать. Вдруг отвалит деньги на его роман. Не мог же себе позволить рисковать своим романом ради чужой ему женщины.

А-баева снова упаковали и отправили обратно в Казахстан. Шпионить дальше. Спасибо, не били. И еще утешало: этот прикидывающийся полноценно живым труп так и не смог переступить порог своей карагандинской квартиры.

После получения диплома Карагандинского медицинского института А-баев немедля отправился в г. Москву и, благодаря реактивной скорости доставившего его в столицу СССР лайнера Ту-154, влетел прямо в кабинет академика А. В. Снежневского с требованием принять его на работу в Академию медицинских наук и зачислить его в аспирантуру, дабы он смог успешно закончить свою теорию патогенеза шизофрении. Наиглавнейший советский психиатр сразу же предложил компромиссное решение вопроса. А-баеву было определили отправиться в Кустанайскую областную психиатрическую больницу, куда он был распределен как молодой специалист, и заочно заняться исследованиями в научном отделе Венской консерватории. На вопрос: «Почему Венской?», ему ответили, что такова традиция, связанная с Зигмундом Фрейдом. Конечно, А-баев москвичам не поверил – не дурак ведь. Но и сумасшедшим не был, и посему он не стал настаивать на своем виденье своей судьбы и будущего психиатрической науки.

Кустанай, конечно, не Вена, но дурдом обладал рядом преимуществ, ставивших это богоугодное заведение выше заграничной консерватории. В частности, рядом с бетонным забором сумасшедшего дома наличествовали четыре двухэтажных дома с центральным отоплением и канализацией. В одном из них А-баеву сразу же выделили двухкомнатную жилплощадь. Так что он, несмотря на больничную мебель, очень уютно устроился. Дискомфортней ему пришлось в самой больнице.

В женских отделениях несколько хронически больных девиц, обычно из страдающих комплексом одиночества и брошенности, обязательно страстно влюбляются во врачей. В А-баева сразу же втюрилась низкорослая олигофреничка, слабоумная Гарифуллина с размазанной на широкой физиономии улыбкой и начала буквально преследовать его. Правда, она в отличие от других не высказывала свою любовь сексуальными позами

предельной откровенности, а любила романтически – постоянно протирала чистой тряпочкой наружную сторону двери А-баевского кабинета. Однако всякий психопатологический процесс имеет тенденцию к утяжелению, что стало заметно в попытках Гарифуллиной пройтись тряпочкой и по его туфлям. Он, естественно, увертывался, как мог. Даже пританцовывал на ходу. Она не отставала, и в ее ловких движениях уже угадывалось желание и погладить врача… выше икр. Необходимо было срочно избавляться от нее, убить медикаментозно или выписать к черту. Гигиенические пристрастия больной не вызывали у него ответного чувства, но навели на спасительную идею. Он пролистал ее историю болезни, поговорил с ней о том, о сем и пришел к выводу, что Гарифуллина – просто запущенная малограмотная дура. Обидно, но все-таки не сумасшедшая. Лет десять назад ее, сироту, впервые засунули невесть отчего в детское отделение психбольницы и с тех пор забыли о ней по причине ее ненужности.

Главврач психиатрической больницы, выслушав соображения А-баева о заблудшей Гарифуллиной, сердито оглядел его, и с чрезвычайно высокой нотой ответственности в голосе заявил:

– Невозможно.

А-баев думал, что проблема была ясна, и ответ главврача его озадачил. Хотя должен был понимать, что проблема с реабилитацией Гарифуллиной состояла даже не в том, что признание ее здоровой повлекло бы за собой скандал, в конце концов, ее можно было выписать и с диагнозом «болезнь Блейлера, устойчивая ремиссия», что уже и позволило бы ей долго жить более-менее по-человечески. Но где? Бродяжничать в стране советской не полагалось, и это очень правильно. Недельку, вторую она бы пошаталась по улицам и вокзалам, а потом милиция обязательно вернула бы ее в родной дом с санитарами у дверей.

Главный врач подкрепил свое виденье предмета уже развернутым изречением:

– Мы не можем нарушить законодательство, – и встал над столом.

Но А-баев был не из тех простаков, кто разбивает лбы о пустоты. Он переменил тему и горько пожаловался, что в его отделении нет уборщицы:

– Хоть Гарифуллину бери, – как бы шутя, проговорил он. – Здоровая девка. Что там полы, она одна отдраила бы и авианосец.

Удар ниже пояса, не желал народ иметь дело с половой тряпкой, особливо в больницах. Главврач покачнулся и рухнул в кресло. Подобное не прощается, и Главврач грозно спросил:

– На каком основании вы переставили в служебной квартире шкаф, инвентарный №154884?

Психиатрам говорить правду не рекомендуется – сразу диагноз поставят, паранойю какую-нибудь вкатят. Следует врать, лишь ложь спасительна. И чем

абсурдней она, тем больше вызывает доверия. Кому как не А-баеву это знать и посему он твердо заявил:

– Это не шкаф, а южная стена ущелья.

– Хорошо, – согласился Главврач, но по выражению его лица было не ясно: носит согласие географический аспект или кадровый.

Где-то через недельку Главврач, услышав от А-баева еще раз хороший отзыв о работе новой уборщицы, произнес ожидаемую фразу:

– В таком качестве мы не можем ей позволить ночевать в отделении. Надо с ней что-то решать.

– Да, надо. Я скажу больше, – охотно согласился А-баев. – Такого работника надо повышать. А что, если мы доверим ей полы уже не в отделении, а в административном корпусе. Там же, в гардеробе, поставим койку, пусть спит за вешалками.

– Нет, мы должны по-настоящему заботиться о наших людях. А что если подселить ее к тебе? Ведь ты занимаешь одну комнату?

Такого поворота событий А-баев никак не ожидал. Он даже застонал от отчаянья. Главврач взглянул на него и задумчиво добавил:

– Конечно, я тебя понимаю, кому же приятно подобное соседство. Но надо, надо поступить по человечески. Надо ей помочь устроиться. Вот что. А если…у нас в пристройке проходной живет старенький сторож со своей старушкой. Ну, ты знаешь, милые люди, спокойные, вежливые. Давай их к тебе в большую комнату, а Гарифуллину – в их подсобку.

Так у А-баева в квартире поселились дедуля с бабулей. На вид они, действительно, были совершенно безвредны. Устроились они со своими перинами и этажерками, с кружевными салфеточками и фаянсовыми статуэтками и замерли за своей постоянно закрытой дверью, как боязливые пушистые зверюшки. Видел А-баев чаще бабушку, уютно и чисто обустроившую в первый же день его кухню. Но там ему делать было нечего, разве что он заходил набрать в кружку воды, так что это продвижение его сожителей прошло для холостого врача незаметно. Он даже не вспоминал о них, почти не замечал. Тем более, что в последнее время он зачастил проводить свободные вечера в компании молодых врачей – его сокурсников, которым теперь, как и ему, предстояло трудиться в Кустанае. В силу отсутствия свободных коек в ведомственной гостинице, их одной колонией поселили в рабочем общежитии трикотажной фабрики. Жили они по четыре человека в одной комнате с общим туалетом в конце длинного коридора, но жили весело. Выпивали, танцы-зажиманцы устраивали, альма-матер вспоминали. Почти казацкая вольница средней руки. В общем, компания как компания, слово «политика» у них ассоциировалось только с Министерством иностранных дел. А такие определения, как «диссидент», «подписант» и знать не знали. Травили, конечно, анекдоты о маршале-генсеке, произносившем на партийных съездах безобидное слово «систематически», как «сиски-масиски», но исключительно с

целью похохотать. И надо же, кто-то на них все равно настучал. Обнаружился этот печальный факт после того, как к одной из коллег стал приставать на улице, а затем и в кровати агент Комитета государственной безопасности. Окулист Клементина, обладавшая большими и глубоко запавшими глазами с темными кругами смерти, сошедшей средневековой гравюры, его не полюбила, и он начал вести со всеми профилактические беседы насчет заграничной пропаганды. И намекать, что все они под колпаком. Врачи угощали гэбэшника водкой и считали возникший казус бредом собачьим. А-баев полностью согласился с этим резюме и продолжал беспечно посещать эту треклятую трикотажно-врачебную общагу. Тем более, что его взаимоотношения с коммунальным тандемом «бабуля-дедуля» заметно ухудшились, и атмосфера дома не манила к вечерним чаепитиям. Все началось с того, что бабка – божий одуванчик принялась мягко укорять доктора за курение на унитазе. Но этот ритуал являлся важным элементом в его образе жизни! И отказываться от него А-баев даже не подумал. Тогда они стали выбрасывать из сортира удобно пристроенные там пачку сигарет и спички. Не на того нарвались! А-баев начал ходить на интимный процесс освобождения организма от плотных шлаков с зажженной сигаретой в зубах. Противник втихаря навесил на двери соединенного санузла амбарный замок и соглашался открыть его только в случае отказа от табакокурения. Теперь и умыться стало невозможно без поклона старому вахтеру. Естественно, А-баев вырвал этот замок вместе с дужками.

Если, как утверждают философы, в микромирах повторяются один к одному все перипетии, творящиеся в макромире, то в казенной больничной квартире началось одно из самых страшных сражений, какое только знала планета Земля, война тотальная и беспощадная. В ней ветераны многих локальных и, судя по годам и всемирных войн с первых же столкновений стратегически обыграли зеленого новобранца Марса, выставив именно его, коренного жителя квартиры, агрессором, ворвавшимся на чужую территорию. Они так хитро подчеркивали свою немощность перед наглой мускулатурой молодого нахала, что все соседи стали хором недружелюбно коситься на А-баева. При этом после силового инцидента с замком старец со старухой перешли на тактику партизанской войны. Стоило А-баеву оставить обувь на минуточку в коридоре, как она оказывалась на площадке подъезда. Одну импортную туфлю изгрызла соседская собака. Или мусор из того же коридорчика под покровом ночи заметался под его дверь.

А-баев же решился биться с открытым забралом. Идеология несгибаемого рыцаря требовала иных решений. Больше открытого пространства. И он решительно разрушил свой жизненный окоп: отодвинул шкаф от кровати снова к противоположной стене. Комната расширилась до размеров полупустыни Бекпак-далы. Засим он, купив кастрюльку и макароны, ворвался в один прекрасный день на кухню. Увидев А-баева в своей вотчине, бабуля обожглась

чаем, заваренным на лечебных травах, и затряслась от отвращения и ненависти не известно к кому или к чему больше: к детине, который корчит из себя врача, или к его посуде. Обычное желание сварить себе ужин было воспринято как злостное хулиганство. Общественность хотя и безмолвно, но осудила хама. Удар по А-баеву был нанесен и с фланга. На него поступила докладная от вахтера с календарным указанием его опозданий на работу. На возмущение и.о. заведующего отделением, как, мол, какой-то дед из проходной смеет подглядывать за ним, Главврач ответил выговором недисциплинированному врачу, поглядывая на донос доморощенного блюстителя порядка. А-баев заявил, что это опасный прецедент, когда над интеллигенцией встает усатый надсмотрщик с церковно-приходским образованием.

– На что вы намекаете? – явно заволновался Главврач. – Причем здесь усы?

– Ну, он же усатый.

– Кто?

– Дед.

– Да. Он имеет растительность на лице. Уважать надо старших.

И хотя выговор был всего лишь устный, он заставил А-баева призадуматься. Ему ли, психиатру, не знать, что на свете гораздо больше гибнет людей на почве этих бытовых междоусобчиков, чем на полях сражений с генералами и пушками. Сорвать амбарный замок физически легко, но сколько при этом кругом грохочет эмоциональных взрывов. Адреналин-то в крови клокочет, сердце колотится, ладони потеют… инфаркты, инсульты…а бывает, и топором по затылку! Господи, думал А-баев, ну, почему я не согласился видеть соседкой эту дуру Гарифуллину? Между прочим, за несколько месяцев своей работы она сделала головокружительную для ее мозгов карьеру, поднявшись от уборщицы до санитарки, преобразившись из безнадежно умственно ограниченного лягушонка в обычную деваху. Такая вся стала деловая, хваткая, что в больнице стали подумывать об избрание ее в профком.

Весной у коллег А-баева, устроившихся в рабочем общежитии, начались невнятные неприятности. Кто-то стал их нагибать и оттеснять. Они не носили открытый репрессивный характер, но четко укладывались с одну схему. Ни с того, ни с сего почти всем отказали в возможности остаться работать в городе и стали распихивать их по районным больничкам у черта на куличках, одному из них не выдали оплаченную туристическую путевку в джинсовую Польшу, посоветовав лучше съездить на Кавказ. Забавно, что он, пострадавший от визового произвола, имел фамилию Лермонтов. Все не на шутку встревожились, забеспокоились по-настоящему. И дружно насели на Клементину, та в свою очередь сексуально и психически села на своего приятеля из КГБ и тот, наотрез отказавшись называть фамилию доносившего на них сексота, все-таки показал ей его последнее донесение. Глуповатое, конечно. В этом доносе не указывались никакие подрывные антисоветские происки А-баевских друзей, но то, что в нем указывалось, кто и во сколько приходил-

уходил и с кем, отчего-то больше всего встревожило кандидатов и молодых врачей. А может быть, их испугала фраза: «Готовы навредить отечественной медицине»?

– Здесь что-то не то, – говорили уже врачи-вредители шепотом, оглядывая подозрительно друг друга. – Больной какой-то.

– Но не будет же комитет просто так такими вещами заниматься!

– Чокнутый!

– Комитет?

– Ну, вы, родные, так точно сядете, – нехорошо пошутил А-баев. – И меня с собой посадите.

– Да я не о комитете, а том говнюке, который стучит на нас! – стал протестовать хирург, оравший, рвя гитарные струны, по вечерам про волков матерых и щенков, затравленных красными флажками.

– Ну, если стукачок чокнутый, то с ним чокнуться надо, – снова не очень удачно сострил А-баев.

– Лечить его надо, – произнесла гуманная Клементина. – Но ведь он не согласится... есть ведь и принудительное лечение.

– Карательная психиатрия, как говорит «Голос Америки». Врут. Но подумать есть о чем.

И все задумались.

Через неделю, когда А-баев, совершенно измотанный ночными дежурствами и схватками с дедулей-бабулей, переросшими в вопрос элементарной выживаемости, снова заехал к ним, они, как, оказалось, наконец, высчитали стукача. Им оказался мужик лет сорока, живший в том же общежитии, худой, дерганный, писавший ради экономии голыми пастовыми фиолетовыми стержнями. Хотели его избить, но вовремя сообразили, что такой тут же побежит к участковому милиционеру и на них повесят и уголовщину.

– Ну что ему надо?! Что он к нам пристал?! – стонала, отчаявшись, когда-то веселая компания. – Вот же сука! Что же делать?

– Я дежурю в ночь с пятницы на субботу, – произнес А-баев и, выпив на посошок еще один стакан крепленого, дурно пахнувшего вина, укатил на такси в ставшую ненавистной ему больничную квартиру. Но не попал в нее. Дедуля взял и привинтил засов на входную дверь. С полчаса А-баев пытался зайти в отведенное ему жилье, до тех пор, пока не вышла соседка и не завизжала:

– Что вы тут над всеми нами издеваетесь?! Доктор называется! Уже первый час ночи! Садист!

Пришлось А-баеву спать во врачебной комнате женского отделения. Проснувшись в пять утра от воплей больной алкоголизмом в состоянии абстиненции, он вдруг отчетливо осознал, что поменялся местами с дурочкой Гарифуллиной. День прошел как в дурном похмелье, словно всю ночь он взасос целовался с той алкоголичкой. Вечером он сидел в приемной больницы злой, на

грани нервного срыва, хоть бери и сам ложись лечиться. Ближе к полуночи позвонили и сообщили, что в общежитии трикотажной фабрики человек сошел с ума. А-баев послал на вызов двух санитаров, сам он с ними выехать не мог, так как собрался умирать шизофреник Федя.

Отходил Федя, шумно дыша, глотал воздух, как сом, но все равно посинел, словно абиссинец. Тревогу поднял Шольц, обзывая медсестер тюремщиками, а А-баева – Менгелем[40] , почему так, тот не понял:

– Поздравляю, вы довели свой фашистский врачебный эксперимент до конца!

И вслед уходившему дежурному врачу:

– Какого человека потеряли! Он знал многое.

Неожиданно последняя реплика сильно разозлила А-баева. Он развернулся и впервые наорал на больного: тебе-то что!

Что он мог знать, кататоник?! Он двадцать лет как заткнулся, заглох, полено, кусок недочеловека! И все в таком духе. Нашумел глупо на пустом месте. Вернувшись в приемную, А-баев увидел пациента, бившегося в руках двух дюжих санитаров. Заметив врача, больной затих и смиренно присел на медицинскую кушетку. А-баев отправил санитаров в отделение, а сам откровенно задремал в кресле.

– Мне можно идти? – раздался минут через семь-восемь робкий голос.

За врача ответила дежурная медсестра Нина Федоровна:

– Сидите, больной! Вы не в скверике!

Выждав еще полчаса, тот же голос, уже более твердый, заявил:

– Доктор, это недоразумение… Я прошу вас позвонить вот по этому телефону в одно учреждение и сказать, что я у вас.

– Кто «я»? – А-баев проснулся и подозрительно оглядел больного.

– Скажите: «Вахтер», – потребовал пациент.

«Вот тебе и еще один вахтер нашелся на твою голову», – подумал А-баев. – Так не бывает. Два вахтера сразу на одного – многовато будет».

– Как вас зовут? И фамилию назовите, пожалуйста, – предельно вежливо обратился А-баев к свежепринятому гражданину. – Где вы работаете и где живете? Вы же здравомыслящий человек. Если я позвоню сейчас, как вы говорите, в учреждение, а в любом учреждении есть вахтер, и скажу: «Вахтер», то не возникнет ли путаница?

– Саперов Александр Васильевич, а живу в рабочем общежитии. Адрес указывать не стану.

---

[40] *Менгеле* – врач, проводивший опыты на узниках лагеря Освенцим во время Второй мировой войны. Тема его докторской диссертации «Расовые различия структуры нижней челюсти» свидетельствует о присущем ему паранойяльном бреде, который очень трудно обнаружить на ранних этапах, т.к бредовые идеи формируются по законам «кривой логики». Цепочка утверждений может быть очень правдоподобной и чтобы найти дефект в мышлении больного, необходим большой психиатрический опыт, которым агенты израильского «Моссада» не обладали. И лажанулись.

Очевидно, этот тип и являлся тем стукачком, беспокоившем коллег психиатра.

– Наконец-то, а то и фамилию не говорил, орать все мастера, – плачуще возликовала медсестра, страдавшая гипертонией. – Ничего, Саша, мы тебя… Все будет, как у мамы. Только я не пойму: ты вахтер или электрик?

А-баеву был мил образ вахтера и он снова участливо обратил все свое врачебное внимание на пациента:

– Так, куда прикажете позвонить, товарищ Вахтер?

– Вот номер.

– Ваш домашний, рабочий номер?

– Нет, одного товарища, не важно какого. Вы только позвоните и все сразу прояснится.

– Нет, без длительного лечения, к сожалению, не прояснится.

– Тогда разрешите, я сам позвоню, – настаивал Вахтер. – Тут особый случай… это даже не недоразумение, а провокация... политическая.

– Кем вы работаете?

– Я? Я работаю сантехником на швейной фабрике.

– Вы считаете, что у нас в стране есть люди, которые проводят политические провокации против сантехников?

– Да.

– Запишите, Нина Федоровна, пожалуйста, больной считает, что агенты империализма проводят против советских сантехников политические провокации.

– Причем здесь агенты империализма?! – вскричал пациент.

– Ну, а кто же еще может вести провокации против советских людей? Уточните, кто: американцы, китайцы, Пиночет?

Вахтер скривил губы, приблизил покосившееся лицо к А-баеву и угрожающе покачнулся:

– Доктор, – проговорил он, четко выговаривая каждое слово. – Это государственная тайна. Вы ответите!

– Запишите, Нина Федоровна, больной утверждает, что владеет важными государственными тайнами.

Медсестра хмыкнула и продолжила запись в открытой истории болезни Вахтера.

– Я тебя знаю. Ты с ними заодно! – пошел в открытую атаку Вахтер.

– Пишите, Нина Федоровна, больной считает, что врачи больницы работают на Пиночета.

– Я не говорил про Пиночета!

– Запишите, Нина Федоровна, больной не уверен, на кого работают врачи-психиатры областной психиатрической больницы.

Вахтер слегка пришел в себя и промямлил уже нечто вразумительное:

– Я не сумасшедший. Я все понял. Вы с ними заодно. Сговорились.

– С кем же мы заодно?

– С теми!

– С кем именно?

– Не могу сказать, и сами знаете почему!

– Вы с ними знакомы?

– Лично нет, но я все знаю!

– Запишите, Нина Федоровна. Больной утверждает, что стал жертвой заговора со стороны лиц, которых он лично не знает и о которых ничего не может сказать.

– Вы меня не поняли!

– Паронояльный синдром. Бред преследования. Там, в четвертом отделении в пятой палате койка освободилась. Федина.

– Причем здесь койка? Какое отделение еще? – пытался выскользнуть Вахтер из твердых рук психиатрии.

– Умер голубчик? – вздохнула с грустью медсестра Нина Федоровна.

– Почил, – ответил А-баев и встал с траурной миной. – Уважать себя заставил.

– А как же я?!– встрепенулся Вахтер.

– Мама-то у него жива? – поинтересовалась Нина Федоровна.

– Ни мамы, ни папы, – ответил ей А-баев. – Хотя я не знаю. Кто-то же такого породил.

– Послушайте, куда вы меня тащите?! Отпустите! Позвоните немедленно!

– Пойду-ка я взгляну на голубчика… все-таки восемнадцать лет, как у нас, мы к нему уже привыкли.

– Идите, идите… он там на каталке за процедурной.

– Пустите… – застонал Вахтер.

Куда пустить, зачем? Это надо сказать не простые вопросы, философские. Ором их не решишь, особенно в коридорах психоневрологического диспансера. К тому же, Вахтер крайне неудачно попал в психушку, в пятницу вечером. И хотя советские психиатры далеко не все евреи, в субботу они не работали. И в воскресенье никто из лечащих врачей не станет беспокоить вновь поступивших больных. Единственным медиком, кто обязательно обратит на него свое пристальное внимание, был студент педагогического института, подрабатывавший с кожаной перчаткой на правой руке санитаром.

В понедельник к вечеру А-баева вызвал Главврач и сказал:

– На тебя жалоба поступила от больного.

– От какого?

– А кого ты госпитализировал в пятницу, – он заглянул в журнал дежурного врача, – в…23 часа…тридцать восемь минут с диагнозом: «Паронояльный синдром. Бред преследования».

– Не помню. Как у него фамилия?

– И путаница тут у тебя с фамилиями. В истории болезни ты написал «Вахтер», а больной утверждает, что у него совсем другая фамилия, даже не на букву «В».

– Так у него же бред преследования. Скрывал, как мог.

Главврач странно оглядел А-баева, как осматривают грузчиков, и требовательно спросил:

– Как сдвинуть шкаф?

А-баев неохотно произнес:

– Какой нужно?

– Вот этот, – ответил Главврач и указал на высокий полированный шкаф. А-баев вцепился в шкаф, поднатужился и переместил казенную мебель в нужном направлении, и в углу кабинета Главврача образовался уютное ущелье на одну персону. Не забыл перенести туда и гипсовый бюст В. И. Ленина с врачебным колпаком и гипсовый макет книги «Лечебницы Таджикистана».

Главврач с естественным для него перманентным хмурым видом забрался в новое для него замкнутое пространство и через минуту оттуда раздался его заметно повеселевший голос:

– Я тебя вызвал совершенно по другому поводу. У тебя женское отделение, вот и занимайся им. Вот и санитарка Гарифуллина жалуется. Ты входишь в отделение, не вытирая ног! Что это? Что за барство? Ты хоть знаешь, как у нас трудно с санитарками? Неужели так трудно вытереть ноги на входе?

– Не любит, значит, больше, – грустно заметил А-баев.

Из глубин Главврач-окопа раздался совершенно счастливый смех. Он поразил А-баева больше, чем взрыв сталинской атомной бомбы американского президента. Не удержавшись, он спросил:

– Что там?

И в ответ услышал строгое предупреждение:

– Не смей!

А-баев понимающе согласился и вышел из кабинета Главврача.

В середине недели во время очередного ночного дежурства А-баев вновь заглянул в четвертое мужское отделение. На фединой койке в глубокой тоске кособоко сидел Вахтер, видимо, снова получивший за беспокойное поведение укол сульфазина в ягодицу. Но это не слишком больно. Вот если пару таких укольчиков под лопатку, то тогда клиент воет от души. А-баев подошел к нему поговорить начистоту. Он хотел ему сказать, что тот совершенно зря настаивал, чтобы врач позвонил по его телефону. Без звонка КГБ само бы разыскало и вытащило его, если бы он так много не болтал. А сейчас комитетчики просто-напросто от него открестились. Таких, как он, много, как песка… Хотелось нравоучительно подметить, что лучше самому узнать, как неприятно страдать ни за что. Чтобы он так больше не делал. И еще что-нибудь. Но в последний момент психиатр струсил. А вдруг кэгэбэшники не совсем отказались от Вахтера и своими нотациями А-баев мог себя выдать, как организатора и

соучастника…похищения, заточения, диверсии! Нет, лучше действительно промолчать. Зато вовсю, обращаясь к Вахтеру, разглагольствовал Шольц:

– Молодой человек! Они же, ваши хваленные чекисты, людоеды. Причем с извращенным вкусом, сгубив пару миллионов ни в чем неповинных людей, они любили закусить своими коллегами. Палач Ежов скушал палача Ягоду, Берия – Ежова, Хрущев – Берию, Брежнев высосал всю кровь у Хрущева... Иначе и не могло быть. Тоталитаризм разъедает прежде всего личности … Я сейчас вам все расскажу… такое… и вы ужаснетесь!

Психиатру там было уже делать нечего.

Пока А-баев жил уж совсем на казенном пространстве, в его, точнее, в ординаторской на стульях, в его уже коммунальную квартиру прибыла и была быстренько прописана внучка дедули с бабулей. С грудным ребеночком. Заботливые старики не только тепло приняли родную кровинушку, но и устроили ее с дитем рядышком с собой в коридорчике, как раз напротив двери А-баева. Койка матери-одиночки, пришвартованная изголовьем к двери дедушки с бабушкой, так сузила проход в коридоре, что теперь доктор пробирался и выбирался из своей комнаты только бочком. Худые бабка и дедка тоже ужимались, пропихиваясь наружу, но в отличие от А-баева не ловили на себе укоряющий взгляд кормящей младенца юной мамы с глазами беженки. Они-то уже совершили как бы доброе дело по отношению к ней, а он – сволочь. Видеть, как в метре от него крохотное ангельское создание вместе с материнским молоком впитывает и ненависть к нему, было невыносимо. Этим они окончательно загнали специалиста по разуму и душе человеческой в угол, вернее, выбили его оттуда вон. Что тут говорить, слабак.

Не дожидаясь, что вслед за внучкой появится и Жучка с вонючими кошками, А-баев выехал из дурдомовской квартиры с вещами в то самое общежитие, где кантовались его приятели. Поселился он вполне законно по направлению из облздрава, никого не затруднив переездом, не потеснив, но неожиданно его коллеги и вчерашние собутыльники встретили его с холодком. То ли по причине того, что он им напоминал, что есть врачи-вредители, то ли слишком рельефно в нем проступала заразность человека, потерявшего собственную отдельную квартиру, было неясно. Но они больше не желали с ним знаться. Стали и выпивать тайком от него, с гитарными завываниями: «…обложили волков, обложили!…», замолкали выжидательно, когда он все же иногда входил к ним в комнату. Стал он им не симпатичен, вот беда! А-баев было возмутился, но потом, вспомнив, как легко они усвоили приемчик удаления из поля зрения нелюбимого человека с помощью всего лишь одного звонка с вызовом бригады из психиатрической клиники, сам смирился. Сам виноват, сказал он себе. Больной Шольц стал бы утверждать, что виновата система. Но на то он и больной, а психически здоровые и есть сама система. Придя к такой достаточно банальной мысли, А-баев успокоился окончательно. Даже нездоровое питие алкоголя оставил. Что особенно значимо выглядело на

сцене с выписанным из больницы и спивавшемся прямо на глазах лжевахтере Саперове.

Вскрытие тела Феди показало, что весь его желудок, наполнявшийся пищей в последние два-три года исключительно зондом, буквально продырявлен, как решето. Вообще, при любом прободении желудочно-кишечного тракта сразу же возникает перитонит и человек погибает в течение нескольких часов от воспаления брюшины. А каким образом Федя не умер еще минимум полгода назад, с такими несовместимыми с жизнью повреждениями, непонятно.

У всех врачей просто глаза на лоб полезли. Больше того, у Феди выявился свищ между желудком и перикардом. Проще говоря, его сердце билось не одну неделю в своей околосердечной оболочке, можно сказать, в крошках хлеба! А он лежал себе, глядя в потолок, и тихо улыбался. А-баев подумывал написать статью о данном необычном случае в журнал «Здравоохранение СССР», а потом не решился. Все равно никто не поверит. Еще комиссию пришлют с проверкой, а у него лесбиянка [41] месяц как сбежала из отделения! Единственным объяснением столь необычной патофизиологии больного могла быть обнаруженная на коре левого полушария выемка с голубиное яйцо, которая ничего не объясняла.

К осени А-баев кое-как прижился в рабочем общежитии и даже подумывал: а не бросить ли ему к чертям собачьим медицину и пойти работать на трикотажную фабрику грузчиком. И оклад в два раза выше, и курить можно, не отрываясь от дела на свежем воздухе. И с этими мыслями отправился к Главврачу. Войдя в его обширный кабинет, А-баев никого там не застал. Между тем, секретарша уверяла, что ее шеф на должностном месте, в смысле, почти за руководящим столом.

А-баев постоял в недоумении минуту у дверей, а потом смело прошел вперед и заглянул за отодвинутый когда-то им самим от стены шкаф. За ним он увидел Главврача в одних семейных сатиновых трусах, отхлебывающим из алюминиевой кружки чефир. Увидев подчиненного, Главврач нисколько не смутился, поставил посудину на раскаленную электроплитку и принялся заканчивать выкалывать на своей ноге татуировку, гласящую: «Они устали».

– Чего тебе? – строго спросил Главврач.

– Я тут слышал, квартира освободилась…

– Освободилась, но ты опоздал. Я туда Гарифуллину вселил. Надо заботиться о кадрах.

– Я тоже кадр.

[41] На самом деле, сексопатка была выкрадена поварихой больницы с чудовищно толстыми пальцами с длиннющим ногтем на мизинце, от которых она сбежала к своему мужу, и пряталась в шкафу за его парадной формой майора ВДВ.

– Ну, если хочешь, квартира двухкомнатная, займешь одну из них. Базар закончен, канай отсюда, баклан!

Гарифуллина, конечно, была не подарок, но все же чистоплотная девица представлялась врачу-психиатру симпатичней, чем те три мужика, с которыми он делил комнату в общежитии. К тому ж, и имя у нее оказалось симпатичным – Софья. И он поселился вместе с санитаркой. Туда-сюда и через год она ему родила дочку. В три годика она, строя домик из папиных книг, неожиданно зачитала цитату из монографии Снежневского «Шизофрения», чем насмерть перепугала мамашу: «Атипичные депрессии с вялостью, апатией, без чувства тоски или гипоманиакальные состояния с психопатоподобными расстройствами». Бог ее знает почему, но ей особенно понравилось слово «атипичный» и она стала использовать его и к месту и не к месту, за что в конце концов получила второе домашнее имя Атипа – вполне древнегреческое. А-баев еще тогда подумал, что все-таки стоит монографию академика Снежневского дочитать до конца. Чета А-баевых перебралась из Кустаная в Караганду, поднакопила денег, приобрела автомобиль и пианино, и каждый вторник и пятницу папаша возил дочь в город на уроки музыки.

Прошло лет десять и А-баев на курорте Минеральные Воды столкнулся с Клементиной. Вернее, его окликнула возле источника какая-то женщина с черными кругами под глазами и принялась убеждать, что они знакомы. Разговорились. Клементина, пряча за спиной туристический рюкзак, принялась навязывать А-баеву воспоминания о их совместных кустанайских приятелях. У всех судьба сложилась просто замечательно, кое-кто даже выбился в областные медицинские начальники. Посмеялись. Клементина даже взгрустнула и произнесла:

– А Саше всего-то надо было немного внимания...

– Какому Саше? – удивился А-баев.

Клементина улыбнулась и сказала:

– Саше Саперову... Не помнишь? Жил с нами в общежитии на втором этаже в шестнадцатой комнате. Ну, он еще писал на нас в КГБ... Я его оперировала. Рак печени. Умер через год после операции. А мы тогда его... Некрасиво получилось.

– Погоди-ка, как ты могла его оперировать? Ты же окулист.

Клементина перевела взгляд с лица сокурсника на область его правого подреберья и загадочно ответила:

– Я могла бы соврать, что переквалифицировалась в полостного хирурга, но тебе не стану... У Саши рак был в форме глазного яблока.

А-баев только усмехнулся:

– Третий глаз, что ли?

Окулист Клементина с явным раздражением ответила:

– А вот посмотри, – и вынула из своего рюкзака медицинскую трехлитровую банку с жидкостью, в которой плавал человеческий глаз. Невероятных размеров, если взвесить, на килограмм потянет.

Пишущий предваряет особенно лживые излагаемые им истории фразой: так случилось... или же, по странному совпадению... Так вот, приятель А-баева писатель Ш. Кусаинов учился на заочном факультете Литературного института СП СССР им. Горького с одной безобидной сучкой – трудно поверить, но... – по имени Клементина. Перед очередным Новым годом сокурсницы ей шепнули: «Дорогая, только тебе, наступающий год – год Собаки, носи черное и серое, юбка ниже колен и все переменится к лучшему». Клементина с тех пор ходила задумчивой, клеймо парши на ее забавном лобике примялось морщинками, казалось, она совсем зазналась. На мусорке за общежитием института она была известна как странная и никчемная глупышка, а она была поэтесса из Владивостока. Несправедливо, но надо отдать все-таки признать: отчасти прав был пьющий люд. Увы, она была туповатой и все же писала стихи, не ведая покоя, скверненькие, но надо думать, душевные, в конце концов, это ее собачье дело… Так вот, наступивший год Собаки действительно стал для нее годом перемен к лучшему. Самиздатовский журнал антисоветчиков напечатал на пишущей машинке ее рассказ «Василий Якутенок».

«Нынче год Собаки, – думал Василий Якутенок». – Ставки взвинчены, год болонок и доберман-пинчеров, год дворняжек, наконец-то наступил этот год, но к чему?» Целый год, но голод не тетка, надо спешить, дела не ждут. Плевать на объедки с чужого стола, упрятанного за занавески, засаленные запасливым уютом.

Спешите, псы, в рывке сиюминутном, вперед ищейки, топайте, бульдоги – за домом Человека из пустыря ножом бульдозера ободранном, из глин мясистых без влажной кожи чернозема и плотных трав шерстинок, торчит и ожидает вас кость Окорока планетарного. Теперь она оголена и ей белеть без срока, лишь кое-где соскреблена руда надкостницы, так что ее можно грызть вечность. Вот так собаки! Теперь каждый год будет годом перемен к лучшему для вас. На многие вещи надо смотреть проще. Тем более на время. Не успеешь моргнуть, как раз и XX век тоже кончится не в тот момент, как рулон туалетной бумаги.

Ну, обдирают планету, ну исчезли вслед за лешими леса и в степях прорезаны многокилометровые обугленные раны. Что в этом?

Человечеству нужен уголь, а не горящие сердца, нужны квартиры с румынской мебелью, а не избушки на курьих ножках, и нет времени присматривать, кто там и чем живет. Темпы жизни не те.

Все идет к лучшему и нечего ныть, пускать, так сказать, слюни собачьи. Не суди, и судим не будешь. Бодрее, оптимистичнее надо смотреть на суть событий, выше голову! Снисходительней надо быть, не как тот старый пес Вася,

лежавший уныло на городской окраине за тарой ларька овощного какого-то хозтреста, дошло и до него, что на собак легла ответственность за этот год, и донельзя расстроил этот факт седого пса: как же я, все думал он, жить буду на свете, кажется, и не стоит, если все идет и так к лучшему, теперь нельзя и залаять, тем более кого-то облаять, терпеть молча, когда все кругом в дерьме. Добросовестно всю жизнь свою брехал на всех и на все, да бросался, но сдержанно, с рычащей пастью на ворюг и хамов, не сразу, выждав в стойке, предупредив, что не потерпит… И ни разу не тявкнул, не взвыл и не пустил, так сказать, петуха. Совсем не то теперь, не нужен никому, а ведь никто не запрещает – лай, но – совестно, неудобно, все идет и так к лучшему, а он тут будет… нехорошо.

Пес сох в тоске четвероногой и был так плох, что вдруг решил: умру как лучше, но вот во вторник за ларьком с приятелями пить вино надумал от человечества тишком, но, приняв пса поникшего за кучу капустных листьев (был так он прост), взял спьяну да наступил ему на хвост. Очень больно. Пес ненароком тявкнул… Но мужички его не осудили, лишь попинали в бок, допив вино. «Вот это да! – подумал пес, улыбчиво скалясь, и проялал. – Я требую свободу лаю!» Затем выглянул из-за угла ларька, облаял некого субъекта, тащившего без зла ворованные апельсины (на самом деле – помидоры с желтизной). Ворюга бросил ящик, но ночью вывез все помидоры. Но главное, пса не попрекнул: чего, мол, грызешься! Ну, в смысле этики. Такие вот билетики! Пес осмелел, в апреле и все лето как будет лаять он! А в сентябре забудет, о чем же лаял. А вообще, дело не в лае. Вся загвоздка в календаре. Можно, конечно, оставить год-два на животных, но только на тех, кто занесен в Красную книгу. Надо серьезней относиться к свободе лая. Проще, но деловитей. Нужен митинг лающих».

В московских номерах профессора Гаипова толпилось немало собак, и каждую важную для математического манипулятора персону курировал кто-нибудь из гаиповской команды. Среди них был депутат Государственной думы РФ господин Василий Якутенок. Его вопросами профессор заставил заниматься психиатра А-баева. Депутат Якутенок состоял в немногочисленной, но энергичной группе российских политиков, которые требовали выноса тела вождя Октябрьской революции В. И. Ленина из мавзолея на Красной площади и захоронения его на кладбище. А-баев как мог отбивался от этой миссии, но член похоронной компании яростно преследовал его, возил в сауну с продажными женщинами, спаивал, даже один раз подослал краснопресненских бандитов и те избили А-баева за саботаж. Наконец А-баев не выдержал и прямо так и спросил Якутенка:

– Чего ты так пристал ко мне и к Ленину?

Якутенок потребовал разговора тет-а-тет, снова попытался напоить врача, но опьянев сам, проговорил:

– В этой мумии десять килограммов необработанных алмазов спрятано. Сталин сам зашивал.

Знал собака Гаипов, кого прикрепить к тронутому Василию Якутенку.

Сейчас, на свежую голову, я осознаю всю двойственность перемен к лучшему, их относительность и условность. И тон мой менее патетичен. Как-то она, томимая печалью, меланхолически бродила по коридорам общежития Литературного института Союза писателей СССР им. М. Горького и сочиняла стихотворение: «Чаепитие в Москве на ул. Добролюбова 9/ 11» следующего содержания:

«Оскомина от длительного часа,
Остатки чая в стаканах
С кольцами дубильных ощущений.
Встать на голову легко,
Затылок размяк и прилипчив к жесткой плоскости,
Как пятка,
Пятна чая на лицах.
Слова слюнявятся
И присыхают у края рта полоскою яичного желтка –
Солнышка литературных цыплят,
Видно, что сказано,
Но никто не слышал.
Ты в гостях у гостей,
Загостившихся за своим прошедшем застолье.
Надо написать книгу «За самоваром»,
Откроешь краник –
И обжигаешь горло кипятком крутым.
То ли больно. То ли совестно…
Но это пройдет,
Сидишь же ты здесь,
Ждешь
За свой, в лучшем случае, талант,
На чай.»

Когда же она чуть отошла от душевных мук, то забывшись, съела, не обнюхав, кусочек вязкой жижи, не почувствовав снова ни вкуса слова, ни вкуса пестицидного… Теперь она не страдает, так что можно считать, что все для нее переменилось к лучшему. Я помню ее кошмарную худобу и редкие, прокуренные зубы. Клементина, зачем ты не писала о любви? Грустно. И здесь бы накарябать о смерти поподробней, о смысле жизни и так далее и тому подобное, но надо ли? На улице давно весна, а я все еще живу теми новогодними впечатлениями, словно так и не снял с лица, скомкав, ту шутовскую маску. Впрочем, о художественной литературе стоит сказать. Она

состоит из двух пакетов: прикладного (общественно-значимого) и индивидуального.

Писательство есть неклиническая (не выявленная) шизофрения. Иначе говоря, присутствие голосов в голове человека. Античные авторы считали, что это наговаривает муза. Но кто бы там ни бормотал в башке, на бумаге это бормотание записывается как произведение: диалог – пьеса, диалоги и монолог – проза. Монолог – поэзия. Психиатр, услышав, как взрослый человек утверждает, что слова «Дыр-бул-щыл» являются стихотворением, без сомнений поставит ему диагноз «Шизофрения», и тот же психиатр в интеллигентной компании, взяв в руки сборник футуристов «Помада» и прочитав, напечатанный в нем стих А. Кручёных «Дыр бул щыл», воскликнет: «Гениально! – и с умным видом повторит слова гения и теоретика поэзии В. Хлебникова: – В этом стихотворении более русского национального, чем во всей поэзии Пушкина». И милые дамы, ничего не поняв, обратят на него восхищенные взгляды.

Прикладная литература стандартно определяема и известна как детская литература или приключенческая, она может быть и идеологически определяема: утопия или социалистический реализм. Индивидуальная же художественная литература представляет собой галлюцинации, реализованные в письменном виде [42].

Так что ни боль, ни совесть отношения к подлинному писательству не имеют.

Аннулировать диагноз «Олигофрения» санитарки С. Гарифуллиной представлялось врачу А-баеву логичным шагом, но в действительности он и не попытался улучшить состояние здоровья своей бывшей пациентки, даже после того, как женился на ней. Не было смысла: все равно, как была дурой, так дурой и осталась. Софья не обижалась и не возражала, более того: ужасно боялась, как бы слабоумие не передалось ее дочери и регулярно водила Атипу к врачихе с высветленными волосами.

Первоклассница, круглая отличница и в музыкальной школе, в меру своих способностей, как и ее мать, тоже доводила детского психиатра до невроза, норовя на приеме произнести монолог Гамлета на староанглийском языке или продекламировать «Одиссею» Гомера в переводе В. А. Жуковского. Она так и объявляла звонко: «Перевод В, точка, А, точка, Жуковского!»

Люди взрослые в коридорах психиатрического диспансера, в отличие от посетителей обычных поликлиник, сторонятся друг друга, избегают общаться, а дети же начинают дружить сразу. Наверное, потому что они не делят мир на нормальный или на ненормальный. Правда, при них кто-то обязательно должен быть в своем уме.

[42] В 20012 году Нобелевскую премию по литературе получил китайский писатель Мо Янь, как отмечено в пресс-релизе: «за галлюцинацинаторный реализм».

Раз после легкого завтрака в гостиничном номере «Пекина» А-баев, предпочитавший не переедать, как в кулинарном, так и в литературном смыслах, написал еще одну фразу своего произведения: «Нужда измывалась над маленькой семьей все мучительней, как над картошечкой раскаленная сковородка». И подумал, что она отдает достоевщиной, и тут же похерил ее. А напрасно, так как она вполне отражала состояние, в котором оказалась семья профессора Рабии. Она с приемным сыном от бедности ели одну картошку, жаренную на маргарине. Конечно, можно было продать огромную профессорскую квартиру, доставшуюся от покойного деда Арона, тоже профессора. Но на то необходима была справка о кончине прописанного в ней А. С. Гаипова. Рабия готова была принять смерть мужа, но доказывать ее у нее не хватало времени. Она круглые сутки занималась лишь маленьким Сериком.

Атипа никогда не спрашивала маму: куда исчезает надолго-надолго ее папа. Она вообще перестала задавать Софие вопросы с двухлетнего возраста, когда поняла, что самый родной и близкий ей человек не способна объяснять непонятные вещи. И осознала крошка это неудобство по выражению лица мамочки, когда спросила: «Почему солнышко катится по небу?» Ответь мамаша дочурке, что Земля стоит на спинах трех слонов, хоботами подталкивающих небесное светило, то, конечно же, она осталась бы для Атипы самой всезнающей, но та только терялась и, молча, слабо улыбаясь, начинала тереть чистую стену или стол без единого пятнышка мокрой тряпкой. Атипа сама решила, что папа на подземной работе – ведь его нигде не видно, затем поняла, что он инопланетянин, а уж в лет десять пришла к правильному выводу, что он в командировке, догадываясь, что ее отец причастен к какому-то всемирному делу. И дело это приняло в ее воображении форму ленты Мебиуса – не знаешь, с чего начал папа, и финала нет.

У каждого мужчины детство связано с играми в догонялки, с войнушкой «трах-пах», с каким-нибудь озерком, пусть даже в замусоренном городском саду. В нем же жила девчонка не такая, как все, и пацан-гад, издергавший все чудесные мгновенья того, в советском детстве, особого пионерского лета. Возможные частые несовпадения, оттенки: у одного пионерский лагерь был в горах, у другого у речки, у кого-то всегда в школьном портфеле маялась сладкая булка с изюмом, другой собирал бутылки, чтобы накопить на китайские спортивные кеды «Два кольца»… Но нет ни одного человека, не вынесшего из детских лет воспоминания о каком-нибудь слабоумном дурике или дурочке, «помешанном», психе ненормальном, и чтобы они не продолжали храниться в памяти твердо и весело, как Чапаев в кино. Интересно, что эти чокнутые бедолаги живут и во взрослой жизни, только в ней их никто не замечает. А для ребенка они явление, ярче, чем клоуны, потому что непонятна их странность,

темный ход куда-то в сторону от прямой дороги. Что пугает до жути и смешно до жути.

В мальчишеском дворе А-баева был свой сумасшедший. А-баеву было двенадцать, а полоумному лет так сорок, а то и все сто. И вся забава мальчуганов состояла в том, чтобы взглядами загнать нелепого дядьку за сараи, гаражи, в подъезд дома, в угол. Под пристальными взглядами он терялся, пятился и закрывал лицо ладонями, садясь на корточки. Так травило его не одно поколение детишек, и они по преданиям знали, что при отступлении нельзя поворачиваться к нему спиной. Мог убить камнем, кулаком, чем угодно.

В первый же день встречи в психиатрическом диспансере с Сериком Атипа, нисколько не смущаясь его немотой, взяла над ним покровительство. Рабия тут же попыталась пресечь приставание странной девочки к ее малышу. Благоразумная же Атипа не стала настаивать на общении, но в следующую встречу пришла с тряпичной пухленькой сумочкой. Она раскрыла ее и, строго уставившись в опущенные глаза Серика, произнесла:

– Вот хомячок.

Хомячку было разрешено высовывать голову и оглядывать сумеречное лечебное пространство с медицинскими плакатами на стенах, среди которых почему-то был один, рассказывающий в картинках о спасении утопающих. Время от времени грызун печально вздыхал и его тихие звуки вдруг заставили Серика оторвать свой взгляд от пола. И услышав от девочки нешуточную рекомендацию: «Он хороший», мальчик шагнул к хомячку и уже не мог оторвать от животного свои глазки, в которых было и удивление, и обожание. Рабия в стремлении оградить сыночка от возможных неприятностей, собралась было произнести нечто назидательнозапретительное в адрес девчонки, но Атипа не позволила ей отбиться от нее, как от навязчивой мушки:

– Тетя, купите малышу зверюшку. Всего за двадцать долларов. Если дорого, я уступлю.

Рабия изумилась:

– Девочка, тебе сколько лет-то?

Атипа взяла за руку мальчика и ответила на вопрос вопросом:

– А как его зовут?

– Серик, – неожиданно для себя призналась озадаченная Рабия, пытаясь сообразить: что еще можно ожидать в психиатрическом диспансере от маленькой девочки, торгующей животными и выставляющей цену во все еще пугавшей ее валюте, появившейся в стране вдруг и катастрофично. – Убери этого грызуна.

– Хорошо, – согласилась Атипа и протянула хомячка Серику. – Возьми бесплатно.

Сбитая с толку мамаша не успела увести в сторону сына, и Серик с явным удовольствие взял в свои руки зверюшку.

– Он может быть грязный, – лишь успела вскрикнуть Рабия, и замахала ладонями. – Не бери, малыш!

«Грязь» являлось тревожным словом для Софии, пребывавшей, как всегда, у врачебной двери в напряженном состоянии ожидания. Она тут же вскинула, как кобыла, свою медногривастую голову.

– Она не грязная! – воскликнула условно олигофреничка. – Я ее только вчера перед сном купала! – и, обняв доченьку, продемонстрировала ее блестящую рыжую косичку.

Умная Рабия, уже привычно всеминутно опасавшаяся за хрупкую психику сына, не могла позволить себе не то чтобы громко что-то произнести, но даже резкого жеста. Посему она тихо и даже извинительно произнесла:

– Я не о вашей дочери говорю. А об этом животном, – и, видя, что женщина не понимает, о ком она, уточнила: – О хомяке.

– О каком таком хомяке? – возмутилась Софья.

Рабия посмотрела на пустые ручки сына, сложенные в чашечку, наконец осознала, что никакого животного девочка ему не передавала, и что она сама наверняка подхватила в этом сумасшедшем доме какую-то галлюцинацию. И тут ее вдруг понесло, что называется: сорвало резьбу. Мамаши заскандалили, забыв напрочь, что в психиатрическом учреждении ругаться не принято. Санитары же этого заведения сказали бы даже: «Строго запрещается».

А Атипа уже уводила Серика к большому аквариуму, стоявшему в больничном холле. Там они встали перед толстым стеклянным листом, за которым в зеленоватой воде качалась большая, важная, золотая рыбка. Серик долго смотрел на нее, прижав нос к стеклу, а потом вдруг произнес:

– А как ее зовут?

Атипа уверенно ответила:

– Қарлығаш[43].

Назвать рыбу по-птичьи было несколько странновато. Но не для Атипы, защитившей от убиения всеми своими малыми силенками и большими слезами появившуюся в феврале в квартире зимнюю муху и названную ею Снежинкой. Но все равно, здесь любой нормальный человек согласится, что у Софьи были причины таскать дочь к детскому психиатру.

– Она – девочка, – согласился Серик.

Затем Атипа обстоятельно рассказала новому своему знакомому, что Қарлығаш умеет плавать хвостом вперед, целовать пальчик, если им прикоснуться к воде, и любит пошутить: всплывает брюхом вверх и так замирает. И как по заказу рыбка перевернулась и дети испугались, подумав, что она умерла. А Қарлығаш ловко вернула себе естественное для рыб состояние и живо уплывала в глубь аквариума. В свою очередь Серик повел Атипу к дверям

[43] *Қарлығаш* (к а з.) – ласточка.

диспансера, привел ее к скверу смотреть на птиц, слетевшихся поклевать какие-то крошки на асфальте. И сказал грустно то, о чем он, верно, долго думал:

– Смешнее всех ходят те, кто имеет крылья.

Сизая птица смотрела на мальчика и девочку круглым глазом. Атипе стало чуть боязно от птичьего пристального взгляда. А мальчик взмахнул рукой, голубь отлетел в сторону и забыл о людях. В эту минуту к ним подбежали опомнившиеся матери. София больно схватила дочку, подняла и прижала к груди. А Рабия растерялась, когда услышала голос сыночка:

– Мама, можно, девочка пойдет к нам домой?

Рабия кивнула в знак согласия и, опасаясь, что чудо выздоровления ее сыночка упорхнет, как тот голубь, от ее неверного слова, обращенного к нему тона или поступка, стараясь не смотреть на него, обратилась к матери девчонки:

– Скажите... эти доллары. Двадцать долларов... это сколько будет на наши деньги? – умнее ничего не пришло в голову.

Софья ответила. Рабия изумилась и, не желая того сама, гордо заявила:

– Мы на эти деньги с сыном живем целый месяц, – и в эту же минуту поняла, что гордость тут ни при чем, скорее – глупость.

– Доллары меняют в таких окошечках – обменниках, – продолжила просвещать новую знакомую слабоумная. – Я каждый месяц выменяваю пять долларов. В прошлом месяце не получилось, один подъезд в доме, где гастроном, не заплатил мне за уборку. Выменяла всего доллар.

– А зачем? – спросила умная Рабия, хотя прекрасно понимала, что так женщина спасает свои сбережения от инфляции.

– Собираю дочери на свадьбу, – охотно ответила Софья.

– Собирать доллары не выгодно, – влезла тут в разговор Атипа. – Надо поехать в долларовую страну. Купить там товар и продать здесь. И купить еще больше долларов. Потом снова купить в Китае товар и снова продать.

Мамаши уставились на маленькую советчицу, пытаясь сообразить – как это в Китай и как это продать?

– Какой товар? – осторожненько спросила София.

– Товар продается на товарно-сырьевых биржах. Я бы сама занялась биржевой торговлей, но мне надо учиться, – уверенно ответила Атипа. – Лучшие биржи в Лондоне, Нью-Йорке и Сингапуре.

С этого дня женщины, уже осознавшие, что без всяких бирж они поедут к границе Китая на станцию «Дружба», и там купят джинсы, зимние куртки, полотенца с драконами, носки, бюстгальтеры, стали приятельницами, о чем еще долго не догадывался муж Софии – А-баев, время от времени являвшийся из затянувшейся творческой командировки. Торчал некоторое время в квартире в глубокой думе, не замечая, что дома, кроме приготовленных на воде макарон, ничего нет из съестного. Да и тех чуть-чуть – хомяку не хватило бы. И затем

снова отправлялся решать какую-то непонятную жене миссию. Впрочем, она ни о чем его не расспрашивала.

Предположение Гаипова о том, что врач А-баев может испытывать какие-то иные, извращенные чувства к своей дочери, кроме отцовских, была настолько абсурдна, что та гадкая фразочка забылась сразу. Но через несколько дней она проклюнулась в мерзком сне. А-баеву приснилось, что он как бы сидит или полулежит, и к нему подходит его дочурка. Берет нежно его левую руку, начинает явно с сексуальным наслаждением ее целовать, лизать. А папочке и как бы приятно и как бы хотелось, чтобы эти мануально-оральные штучки прекратились. И при этом он ничего не предпринимает, чтобы прервать это занятие. А малолетняя дочь уже ухитрилась слизать ему пальцы и уже шершавым языком слюнявила культяшку предплечья, из которой торчала белая кость. И так больно стало. По-настоящему, как наяву.

Без сомнения, Гаипов обладал сильным даром внушения, но чтобы править чужими сновидениями? На это способен был только черт! Для верующего человека такая напасть не беда. Помолился, покаялся, попостился и отогнал нечистого с поросячьим рыльцем и от себя, и от своей семьи прочь. А атеисту тяжко. Для медицинско-атеистического мозга А-баева этот ночной кошмар означал по Фрейду о присутствии в нем подавленных соответствующих желаний или склонностей, как угодно. И папаша-интеллигент ужаснулся. И вновь бежал из дома. Приткнуться ему было негде, и он теперь все ночи проводил на определенном ему Гаиповым месте. Высоколобые компьютерщики и психологи, изучавшие нестандартное поведение Рабии, не обращали на него никакого внимания, да и они не были интересны писателю от медицины. Часами А-баев сидел где-нибудь в углу, уставившись в одну точку, и пытался осмыслить свою искореженную жизнь. Как и за что свалилась на него эта катастрофа? Следовало, как только по городу прошел слух о дуэли, сразу на все замки закрыть дверь и поплотней задернуть шторы на окнах. А не лезь со своим расследовательским романом.

Между тем все видеокамеры и микрофоны, установленные в соседней квартире, продолжали непрерывно доносить до него частную жизнь женщины с ребенком, не желавшей ни под каким видом впустить за порог своего законного мужа. Точнее – его тело, так как присутствие при ней его души уже было установлено чувствительными датчиками. Осциллографы и другие суперсовременные приборы, подключенные к редким еще для Караганды компьютерам, ничего такого не улавливали, не замечали, как и вся наука, впрочем. Догадайся в то время А-баев, что существует Интернет, он мог бы узнать о существовании еще одной улики, позволившей бы ему поскорее прищучить Гаипова. А именно то, что в городке Остине, штат Техас, женский манекен, похищенный с крыши магазина, прислал своему хозяину открытку. В послании, адресованном Ли Лейснеру, манекен по имени Ронда сообщает, что у

нее все в порядке и она уехала, чтобы отдохнуть от жары, которая установилась в центральной части Техаса. «Дорогой Ли! – писала Ронда. – Я пишу тебе, чтобы сообщить, что со мной все в порядке, мне просто было необходимо немного охладиться. Чарльстон – красивый город. Прохладный океанский бриз помогает справляться с жарой. Береги себя, надеюсь, мы скоро увидимся. Я еще попутешествую и буду держать тебя в курсе дел. Передавай всем привет от меня. С любовью, Ронда».

Да что они могли увидеть, эти гаиповские шпионы? Да нищету матери и сына! Как преподаватель хореографического детского кружка Дворца культуры горняков Рабия Гаипова получала сущие гроши, да и то через месяц на третий. Честно говоря, у Рабии была возможность разжиться так понадобившимися сейчас долларами. К ней приходил какой-то иностранец, назвался юристом фонда Зинаиды Арон Блумбергом, и предложил продать ему рукопись профессора Гаипова с решениями множества симулякров. Но Рабия отказалась трогать чужие записи, пусть даже исчезнувшего супруга. И потом ей не понравилось название фонда, какая-то Зинаида... Были проданы все золотые кольца (3 шт.) и серьги (2 шт.), и браслет (1 шт.), ковер персидский, румынский спальный гарнитур, шуба норковая. Дело дошло и до фарфоровой посуды, которую соседка взяла очень неохотно – за десять килограммов гречки.

Оставался серебряный браслет с кольцами на тонких цепочках работы кумских мастеров X века, оказавшийся в ученическом портфеле, собранном в дальнюю московскую дорогу ее мамой. За это уникальное изделие из сокровищницы хивинских эмиров в открывшихся жуликоватых ломбардах Рабие предлагали сумму не более трехсот долларов.

Рабия и София и так и сяк складывали свою валюту, но больше девятисот тридцати четырех долларов не получалось. Обратились к одной знакомой шопнице и та заверила, что для первой поездки за товаром будет достаточно. И женщины, зашив деньги в бюстгальтеры, с ужасом в сердце отправились в Китай. Рабия продолжала тревожиться до самого возвращения домой, а вот София, увидев на китайском автовокзале красный транспарант с надписью по-русски «Добро вас пожаловать в город Кулюджу», совершенно успокоилась. Лысоватого китайца, тыкавшего пальцем себе в грудь и кричавшего им прямо в лицо: «Я помогай, я помогай», она решительно отвергла и гениально обозвала «помогайкой», заново придумав уже ходившее фольклорное прозвище китайских грузчиков. А в «Гостинице для иностранцев» потребовала дежурную этажа, и полчаса жестами объясняла, что на постельном белье уже кто-то спал, и потребовала свежее. Затем пригляделась, как крохотные китаянки прут на себе мешки в два раза больше их самих, сама решила таскать купленные тюки с кофточками. Правда, за переупаковку на складе пришлось заплатить девять долларов. София – уже с иголкой с суровой ниткой – противилась, как могла, этой затрате, но Рабия настояла – хозяин склада отвечал за сохранность товара.

София вернулась в Караганду такой же бодрой и деловой, как и в день выезда на шоп-туризм. А вот на Рабию торговое путешествие произвело неприятное впечатление. Но самые мерзкие ощущения стали ее корежить на вещевом рынке, на котором она с товаркой начала продавать привезенный ширпотреб. Ни хитроватые кульджинские помогаи – куни, фуни и корефаны, ни падкие на мелкие взятки толстопузые таможенники станции «Дружба», ни отмороженные рекитеры рынка не подвергали ее такой степени унижения, как обычные покупатели своей мелочной склонностью торговаться. Голубая кровь хивинских эмиров, текшая в ее утонченных жилах, брала свое. А София, обогатившая свой словарный запас такими сложными и так и оставшимися непонятными для нее словами как, «бренд» и «от кутюр», с удовольствием общалась с ними на одной волне. Но все это сантименты. В действительности же женщины трудились тяжело и много, так, что разваливался позвоночник, и мертво отекали ноги.

Был еще один монитор, не подключенный к шпионской системе, да и вообще к электросети. Вот на нем ночами А-баев видел даже сценки из все еще продолжавшегося пребывания на этой грешной земле ароновской души. Судя по ним, она все-таки время от времени отлучалась из своей квартиры, проявляясь в пыли персидского глинобитного города.

Вдоль высокой глинобитной стены шахского дворца шли шииты и били по своим оголенным плечам и спинам цепями в знак траура по убиенному халифу Али.

Арон весьма одобрительно смотрел на это действо, пробормотав нечто вроде: «Пока не поздно...», и прошел в сад Чехель-Сотун.

В тенистой аллее шах Аббас принимал послов. Впрочем, к Его Высочайшему Величеству пришли армяне, и обстановка была вполне домашней. Солнцеподобный монарх прохаживался по красной просеянной земле босиком, а северяне с Араратских предгорий шли за ним на расстоянии, не позволявшем запахам их дыхания и тел портить воздух вокруг падишаха.

– Вы снова не шли в день траура с моим народом, – мягко укорял их Аббас.

– О-о-о, – стонали в ответ посланцы Армянского царства. – Мы, о, Повелитель половины мира, делаем это в душе постоянно, – и слезы выступали на их погруженных в вечную грусть глазах.

– Разве вы вольны истязать души свои? – удивился шахиншах.

– О-о-о, – упрямо и мелодично продолжали дерзить жители самой печальной на свете страны.

– Душа подчинена лишь Создателю, – мягко проявил нелюбовь к хору шах, прервав его на самой высокой ноте и выдавливая пяткой в земле яму, способную вместить треть посольства. – Не разумней ли будет, уподобляясь

Пророку Исе, вами именуемому Иисусом Христом, принять боль в члены свои, как когда-то он на кресте, во имя Отца своего и в знак раскаянья в грехах своих?

Армяне не возражали, но и согласия не спешили высказать.

– Армянский Христос боли не чувствовал, – вдруг наябедничал Арон. – Не мог физически, потому как не был человеком никогда.

Шах с изумлением ребенка уставился на нарисовавшуюся перед ним в воздухе фигуру и с присущим лишь детишкам умением отводить от себя внезапно возникшую опасность вопросом, не связанным с самой угрозой, делая ее уже как бы несущественной в эти мгновения, спросил привидение:

– Ты видел моего голубя? – и с потрясающей интуицией, достойной великого правителя, добавил: – А, математик? – и видя, что явившийся кто-то не так уж и страшен, со смелостью проказника стал любопытничать:

– А что ты здесь делаешь?

– Практически ничего. Пытаюсь определить лапидарность нечетких множеств[44], – отвечал Арон.

Шах не понял, чем занимается в его саду пришелец из воздуха, но на всякий случай возмутился:

– В моей стране это запрещено делать.

– Делить ноль на ноль? Что же преступного в желании раскрыть неопределенность деления? – удивился Арон.

– Но тебе я высочайше разрешаю, – великодушно разрешил Аббас. – Только тебе. На каком языке ты говоришь? Велю говорить тебе на фарси.

Но Арон лишь понимал персидскую речь, и шах согласился выслушивать его обращения к себе на языке тюрки. Затем, окончательно придя в себя, он весьма благосклонно завершил этот короткий диалог с невозможным пришельцем:

– Повелеваю быть тебе моим придворным математиком, – и вновь вернулся к общению с армянами, заключавшемся в скором оскоплении и обрезании юного Ашота с переименованием его в Ашира.

Арон же перебрался к бассейну, покружился вокруг семидесяти колонн, окаймлявших его, а затем и их отражений в воде, при этом так ловко, что по водной глади не пошла даже легкая рябь, впрочем, не тюлень же плескался.

Арона восхитила поразительная величина голубя, но не успел он подумать: «Пожалуй, на нем можно ездить...», как жирная птица, скособочившись, умерла.

Смерть голубя огорчила Арона, но еще больше он расстроился, когда через секунды осознал, что никак не может вспомнить: кто же только что умер. «Я прекрасно помню, – бормотал пылко он себе под нос. – Его имя... его застрелили! Конечно же, в подвале школы. Его имя...»

---

[44] *Нечеткие множества* – это расширение классической теории множеств, поскольку на некотором множестве функция принадлежности может действовать так же, как индикаторная функция, отображая все элементы либо в 1, либо в 0, как в классическом варианте.

Когда важнейшая государственная задача, связанная с назначением юного Ашота-Ашира новым евнухом гарема была решена, шах снова вспомнил о своем математике и призвал его к себе.

Властелин исламской Азии проникся к Арону особой симпатией. Несмотря на то, что шаху приходилось частенько выезжать за пределы столицы, дабы его мог лицезреть в каком-нибудь крае империи какой-нибудь неспокойный народ, или посидеть в гареме, разбирая ссоры между своими женами и юным евнухом Ашотом-Аширом, на пользование которого также уходило время, он не упускал из вида своего математика и требовал его ежеминутного присутствия возле своей августейшей персоны. Вне табели о рангах двора шах усаживал его рядом с собой, но больше никогда не заговаривал со своим новоявленным невидимым фаворитом. Время от времени на него стала накатывать волна невидимого для глаз иных отчаянья. То он тайком выбирался из своей столицы в одежде странника и плелся по пыльным дорогам в сторону Мекки, но, не завершив хадж, возвращался еще более скрытно, словно беглый раб, то под звуки огромных труб и боевых барабанов принимался раздавать монеты нищим, недоумевая, почему среди них встречаются лишь знакомые ему в разной степени рожи... Затем он принялся просто ждать, а чтобы как-то оправдать это немыслимое для него занятие, персидский император решил, что евнух Ашир бежал к еретикам готовить покушение на его персону, а он сам засел в засаде на него. Подданные кинулись с подлинным охотничьим азартом гнать зверя на него. Все, кроме математика Арона, безвылазно месяц за месяцем работавшего под тишайшей высокой листвой в саду Чехель-Сотун.

«Господи, какое это счастье наконец-то присесть на часиков пять-шесть и посособрожать чуток, что к чему, твердо зная, что никто не сунется к тебе именно сейчас с нелепейшей просьбой в час ночи заменить в спальне перегоревшую лампочку, и не прозвенит подлой своей несвоевременностью телефонный звонок. Больше того, работать и знать, что тебя не отвлечет ни попавшаяся под руку заманчивая книга все об одном и том же – о человеке, или не заставит подчиниться себе какой-нибудь твой же безусловный рефлекс типа инстинкта продолжения рода», – думал он в предвкушении пиршества мысли.

В его мозгу мелькали цифры, знаки, новые определения и теории. Но самым выдающимся результатом была созданная им формула, по которой выходило, что решение всех вопросов равнялось абсолютному их нерешению.

В эту минуту с ветки росшего вблизи от него розового карагача закуковала кукушка. «Сколько же мне еще жить?» – начал считать Арон. И кукушка на краткое время замолкла, ровно настолько, чтобы человек все же огорчился. Затем опять закуковала: до семнадцати. Арону этого было вполне достаточно, но он пожадничал и решил приплюсовать и 342 ку-ку из первой серии. Так: 342 + 17 = ... но не смог приплюсовать, проблема заключалась в том, что он

напрочь забыл, как производится это простейшее арифметическое упражнение. В конце концов, его могучий интеллект принял простейшее и естественное для него гениальное решение. Он сложил в один ряд три и семнадцать камешков и пересчитал их. За этим нехитрым дельцем его застал шах.

– Посчитай и мне, – велел тут же он.

Умевший теперь вести только счет математик и тут не упал лицом в грязь, он просто принялся перемещаться во времени, перелистывая сутки туда-сюда, словно листочки перекидного календаря, пока не наткнулся на день смерти царствовавшего перса. Вернее, поздний вечер.

– Это Ашир! – воскликнул сообразительный повелитель. – Ах, неблагодарный мальчишка! Куда он денется, если Арарат – вот, а окраин моей империи не видно даже с верблюда Пророка Мухаммеда? – приказав при этом искать Ашота-Ашира не только людям, но зверям и птицам, а для додрессировки ловчих соколов срочно выписать сотню армянских подростков.

Арон хотел было сказать, что злоумышленник Ашот-Ашир спокойно стоит рядом с Его Величеством, но смог сообразить, что это забота шахской охранки, суетившейся со старанием вокруг них.

Шахиншах в волнении заходил по дорожке сада и наконец сказал:

– Хочу истинной веры.

– Тебя не устраивает ислам? Сейчас модно быть дзен-буддистом.

– Я хочу остаться мусульманином, глупый математик... или ты ангел? Хотя тоже глупый. Но хочу не родиться, как родился мусульманином, а прийти к Аллаху первым, как Мухаммед. Так оно будет надежней, – не согласился шах и хитро подмигнул Арону. – Или, если нельзя, как Пророк, то... проведи меня к трону Аллаха.

– Ничем не могу помочь. – Арону стал глубоко противен этот расчетливый венценосец. – Попроси лучше своего евнуха. У него большая практика протаскивать к твоему недоступному золотому седалищу всех, кого ему вздумается.

– Скажи мне, блуждающий нафс, – произнес еще более вкрадчиво персидский царь, впервые назвав Арона «душой», правда, страстной.

Шах оглянулся на невозмутимо стоящего рядом с ним Ашира и сказал:

– Зависть и ревность в моем дворе среди придворных приравнена к казнокрадству.

«Бог мой, я забыл самые дорогие для меня имена, а мелкие чувства придворного математика оказались все целехоньки во мне!» – охнул про себя Арон, а шахиншаху ответил совершенно искренне: – Мне дела нет до того, насколько близок к тебе твой евнух. Слишком уж я далек от тебя.

Но исламский сатрап и не думал отставать от своего придворного математика:

– Но что-то же ты можешь, – еще настойчивей твердил он и чертил в воздухе рукой какую-то закорючку и снова рыл пяткой землю.

«Как же я сам до этого не додумался? – изумился своей интеллектуальной ограниченности Арон. – Хожу, мучаюсь, болтаюсь черт его знает где. А надо было только попасть на минуту раньше того мгновения, когда мое тело задумало побег, и привязать его к койке... Постой, причем здесь тело? Ведь и эта дурацкая дуэль никому не нужна. Возьму и отправлю Пир-Рустема за день до дуэли в командировку на Дальний Восток... или проще, перестану называть его Пи, извинюсь. Да при чем здесь вообще эта дуэль? Надо вернуться еще раньше, посмотреть, где же треснуло... Откуда засквозило тоской. Можно все исправить!»

Арону особливо полюбился дворцовый айван[45] , построенный в стиле домашней мечети. Мрамор с еда заметными синими прожилками холодил мозг, словно холодильник «ЗИЛ», купленный его родителями, когда ему было лет пять, наверное. Арон упирался лбом в белую дверцу этого редкого в быту аппарата и наслаждался исходившей от него нежной прохладой.

Дед говорит: ее асбалт убил. Асбалт страшный. Он убивает и траву, и деревья все. А пусть она не умерла. Пусть деревом станет. Она никого не любила: ни меня, ни бабушку, как говорит дедушка, потом его самого, а ведь он ей отец настоящий. А про моего папу ничего не говорит... А пускай она меня любила, а деда зато два раза не любила. Потому что он потеет, особенно когда ковыряет своей мотыгой: и лоб, и спина. Он так и усохнет и тоже в дерево превратится. У него уже одна нога деревянная и кожа сморщенная, шершавая, как кора. А у меня, как у листочков кожа. Вот – два листочка с пальчиками. А бывают пальчики у деревьев? Бывают, я видел, видел!

Мальчик пяти лет просыпался от торопливой необходимости поразмыслить. Вечером так не удавалось: мысли, как сумеречные, тряпичные тени, плоско растекались по всем углам низкого со множеством пристроек дома. Мальчик мог придержать лишь наиболее важные мысли, но и они, скомканные дневной торопливостью, разбухали, превращаясь в нечто похожее на тюки с шерстью, хранимые дедом в доме. Они были большие, рыхлые, на них можно было даже лежать, но осмыслить их никак не удавалось – засыпалось само собой. Обычно мальчик перед сном распихивал эти необдуманные думки недалеко от себя под фанерный, крашеный под желтый дуб шкаф или под полированный стол, на котором ровно сиденье к сиденью в два этажа были установлены ненужные в аульном быту гарнитурные стулья. У городского дедушки все стулья на своем месте, стоят на полу, кроме одного с поломанной ножкой. Он на балконе. С балкона виден весь заасфальтированный

[45] Строение с плоским покрытием, поддерживаемым колоннами или столбами. В исламских городах айвана широко представлены в дворцовой и культовой архитектуре. Существуют слова, кажущиеся бессмысленными, но прочно застрявшие в памяти. В сознании Арона с детства болталось без всякого применения и это словечко, разве что он в благодушном настроении называл квартирную ванну айванной.

двор. Пустой. Да, наверное асфальт убивает деревья, а маму он убить не мог. Потому что у мамы были хорошие туфли. В обуви асфальт не страшен. Но она все равно умерла. Уже прошла зима и вот лето, а она все мертвая. На кладбище, где нет асфальта. А деревьев мало. Наверное, деревья живут там, где живые живут.

В предрассветный же час думалось ясно. Все как бы постепенно и отчетливо высвечивалось. Мальчик взваливал на себя припрятанные думки и начинал размышлять. Одна из них, связанная веревочкой с маленькой, часто плакавшей овечкой, жившей у деда под яблоней, плохо думалось. Тем более появлялись солнечные зайчики и спокойно думать становилось совсем невозможно. Мальчик вставал с перины, сбросив со своего животика шершавую руку бабушки. Та, чуть дремавшая, пыталась его удержать: «Поспи, жаным, айналайын, козленочек ты мой, ракетчик ты золотой...», но он уже шел через долгие комнаты в сад. Мальчик стал с некоторых пор подозревать, что бабушка оттого тискает его за животик, что хочет прожить еще дольше от его тепла. Проверил, точно, у него животик горячий, а у нее совсем холодный...

В саду на деревянном топчане, установленном над арыком, сидел в белых подштанниках и пиджаке дед. Сидел он на краю лоскутного одеяла, а костыль сунул под край настила.

Дед сосредоточенно смотрел на овечку, а она, не выдержав его пристального, прикидывающего взгляда, ушла от него подальше за деревья, насколько ей позволял волосяной аркан, и там на ее выпуклые глаза навернулись слезы.

Мальчик прилег рядом с дедом и стал еще досыпать. И только тогда, когда дед принялся шарить своей длинной сильной рукой под топчаном, доставая костыль, мальчик проснулся, как он сам говорил, теперь на весь день. Дед хотел было встать на свои деревяшки, когда мальчик спросил звенящим голоском:

– А где твоя нога, ата?

Дед снова прочно сел на одеяло и строго посмотрел на внука. Хотел без ответа подняться, но мальчик цепко схватил его за край пиджака. Дед сердито отставил костыль и попытался ударить мальчика костяшками пальцев, но тот тут же откатился по топчану, встал на колени и рассерженно переспросил:

– Где нога?!

Старик, поняв, что внук, как только он попытается опять привстать, снова повиснет на нем, сдался:

– На войне осталась.

– А что с ней на войне стало?

– Не знаю. Наверное, закопали, сгнила...

Сгнившая на войне нога мальчику не понравилась и стала неинтересна. Он лег на спину и принялся разглядывать зеленый мелкий виноград, провисший между ячейками решеток из дранки, державшихся на четырех вкопанных по углам топчана столбах.

В голове деда, вспомнившего о потерянной ноге, мелькнуло название неестественно каменного и чужого далекого города «...пурк» и сразу же исчезло, когда он еще раз осознал, что, лишившись ноги, он лишился двойного удовольствия от сладостного паренья ног. Перед сном старуха приносила к постели таз с почти кипятком и ставила перед ним, он же, опустив ногу в воду, настоянную на травах, всегда огорчался, что нет другой ноги.

Дед расстроился. Он полез в карман пиджака за флакончиком насыбая, решив заложить за губу табачной пыльцы, и, уже выудив флакончик, обнаружил, что из его кармана исчезли деньги – тридцать две копейки. Он тут же повернулся к мальчику и с интонацией тихой безнадежности спросил:

– Ты взял из моего кармана деньги?

Мальчик спокойно скосил глаза на него и ответил:

– Надо было.

– Ах ты! – дед поднял костыль, замахнулся им, но мальчик еще проворней откатился дальше. – Нет, ты почему, щенок, в мой карман лазаешь?! Все у меня норовите взять!

Мальчик встал, спрыгнул с топчана и пошел, бросив на ходу:

– У всех две ноги, а у тебя одна. Не догонишь, – а потом ловко запрыгал на одной ножке и задорно завопил: – Не догонишь! Не догонишь! Не догонишь!

Нетерпимое противостояние единило сад и дом. Противостояние это было настолько естественным и тайным, что его замечал только мальчик. Просто увидеть борьбу этих существ, конечно, невозможно. Требовался особый рассветный час, наклон головы, волшебные слова и многое другое, что далось мальчику не сразу, а явилось плодом долгого изучения и размышлений. Самое главное заключалось в том, чтобы скрыть от сада и дома свое пристальное любопытство. Для этого следовало несколько раз пробежаться по полосе, разделяющей сад и дом, желательно присвистывая и поглядывая с беззаботным видом куда-нибудь вверх, в пустоту. Они хитрые и осторожные, тут же могут надолго прикинуться неживыми, скрыть свое противоборство, словно стыдясь того, что и они подвержены слабостям, стремясь доказать, что существуют вне жизни.

Видя, что мальчик так себе бегает, сад и дом теряли свою осторожность, и вот тут надо было мгновенно замереть и точными точечными лучиками глаз прижечь все то, что неизменно происходило между ними ночью. И как только удавалось пронзить хотя бы одно колебание взаимоисключающих скрытых сил, весь маятник великого столкновения четко прояснялся. И сад, и дом уже были не в состоянии скрыть свою борьбу, но тут же старались отползти друг от друга как можно дальше. Однако это им никогда не удавалось. Фронтовые успехи, такие как цепко наброшенный росток вьюна на коленце водосточной трубы или передвижение невысокой колонки кирпичей, своим квадратным копытцем мертво прижавшей, придавившей траву, выдавали все.

Сад наступал на дом упруго и ежесекундно, пытаясь вытолкнуть его беленые стены за ворота, на пыльную улицу. Некоторые дальние пристройки дома сад, наоборот, обволакивал листвой и стеблями, втягивал в себя, обессиливая и разрушая корнями. И казалось, гибель дома была неотвратима. Даже асфальтовый ошейник огрызающегося дома вдруг то там, то здесь вздувался и в неминуемом прорыве густо зеленел, кровля айвана безнадежно проседала от сочных последовательно падающих с веток яблок.

Однако дом, долго и угрюмо обороняясь, в какой-то тяжкий день отвечал резким, сильным, уничтожающим броском: за сутки, за двое вырвавшаяся из его долготерпимой стены кирпичная пристройка отбрасывала сад далеко назад.

Сегодня мальчику не удалось легко обмануть борющихся гигантов. Он несколько раз почти беззаботно пробежал между ними и ничего не заметил. Это озадачило мальчика. Он сделал еще один круг, нет, ни сад, ни дом не выдали ни одного следа ночного столкновения. Мальчик остановился и задумался, не могло быть и речи о примирении, и не только потому, что сад и дом вечно будут взаимоисключать друг друга, но и оттого, что при этом мальчику пришлось бы многое передумать в миростроении и создавать иное, где нет столкновений и противоборства, – скучное и простоватое, как бабушка.

Мальчик решился на крайний риск. Он плотно закрыл глаза и неторопливо прошелся по дорожке-границе. Теперь-то уж наверняка они подумают, что совсем не интересны мальчику, и раскроют свои боевые планы и раны. Так оно и оказалось. Как только мальчик неожиданно для них раскрыл глаза, то тут же увидел, что ветка вишни, дерзко устремившаяся багровой стрелой в тонкое стекло окна, была жестко отброшена распахнувшейся ставней и ею мстительно поранена. Ранка ее, еще не скрытая ни быстрой листвой, ни зеленой корочкой, истекала каплями древесной сукровицы.

Увиденное огорчило мальчика. Его симпатии всегда были на стороне сада. Дом, хоть и был уютным, просторным для бега, уж слишком был связан с дедом и отцом. Дом все тащил к себе, втягивал жадно в себя ковры, сундуки, сервизы, отрезы тканей.., а сад просто рос, как он. Ну не совсем как он, сам он все же еще маленький и не может еще оторваться хотя бы от кухни. Кухня, представлявшая собой бабушку, была не совсем частью дома, в ней много было и от сада: всегда на ее столе зеленела петрушка, салат, джусай, лениво прели груши, а под столом важно толкались круглыми бочками тыквы и дыни.

Мальчик побежал на кухню за легкой скамеечкой, прихватил ее и красный помидор, присыпав его солью, и вернулся к вишне. Встал на скамеечку, приблизил жалостливое лицо к пострадавшей ветке, послюнявил рану и целительную ребячью слюну размазал по ней пальчиком. Ветка признательно качнулась.

Мальчик живо спрыгнул со скамейки и оставил ее там, у вишни, – времени было в обрез, и побежал в глубь сада к почерневшему, полуокаменевшему дереву, с пожелтевшими редкими листьями. Какие на нем росли плоды

прошлой осенью, мальчик не помнил, но этот тронутый трухлявостью, как пылью, коренастый ствол любил. Любил оттого, что жалел. Особенно тревожило мальчика то, что дерево онемело. Кругом шелестело, похрипывало и звенело, а оно молчало. Мальчик был уверен, что дерево не успело раскрыть для него какой-то важный секрет. Он называл гибнущее дерево Великим Немым.

Эти два слова давно уже болтались в его памяти, и хотя таких ни к чему не приложенных слов в нем накопилось много, а радио и телевизор все подбрасывали их и подбрасывали, словосочетание «Великий Немой» постоянно тревожило его воображение, и он успокоился только тогда, когда оно связалось с этим заглохшим деревом. А может, только из-за этих слов и обратил он внимание на него? Этого он даже сам не знал.

Великий Немой и мальчик внимательно осмотрели друг друга. К огорчению мальчика, взгляд Великого Немого стал более угрюмым, все больше направленным вниз, туда, где исчезают корни. Тяжелая кора длинных век почти сомкнулась, и через ломаные щелочки вяло капало сквозь тонкий шелк воздуха усталое отречение.

К саду мальчик всегда относился чуть свысока, даже покровительственно, но с Великим Немым дело обстояло иначе. Мальчик чувствовал, что за этим устало задыхающимся деревом таится очень сложный, непонятный и невозможный для него путь.

Легко и в то же время невозможно тягуче перенося свои осьминожьи корни, Великий Немой уплывал из сада. Он вступал в воды иного бытия, погружаясь в него с каждым часом все глубже и глубже, вот-вот он навсегда исчезнет в неведомой глубине, дно которого – погрузи пальцы и коснешься, ощутив хлад напластованных бездушных тел; дно которого – напряги глаза и проникнешь взглядом в звездный тоннель.

Мальчик, подойдя к Великому Немому вплотную, смог привстать над своей робостью и, по-дружески похлопав дерево по стволу, сказал скакнувшим голоском:

– Не бойся. Я сейчас, только гляну, где дед. Мальчик быстро помчался к дому, но, не добежав до него, замер. Он подумал, что так быстро разведку не делают. Отступил на несколько шагов назад, под кусты крыжовника, притаился, хотел было по-собачьи принюхаться, но, поймав себя па мысли, что это не по-солдатски, просто почесал носик и крадучись, почти ползком двинулся вперед. Однако вскоре снова пришлось отступить, ведь нельзя же было проводить разведку без оружия. Наконец нашлась хорошая палка-автомат, и мальчику удалось никем не замеченным проникнуть под самые окна айвана. Он притаился.

Мальчик долго вслушивался, но неприятель ничем не выдавал себя, возможно, уже понял, что на него двинулась разведка, и сам притаился в засаде. Становилось опасно. Но мальчик решился и отважно прокрался на низкое,

чисто вымытое крыльцо, лег животиком на доски и, подтянувшись, заглянул в щелку между косяком и дверью веранды.

Они завтракали. Только сели, дед еще не развязал скрученный красный платок, опоясывавший его пиджак, пил крутой чай с жирным молоком и посматривал на стоящий возле бабушки самовар так, как полчаса назад посматривал на овечку. Однако самовару дела не было до изучающего взгляда деда, и это понравилось мальчику. Самовар, медный, высокий, с медалями, стоял гордо и независимо, лишь иногда презрительно выпускал из себя струйки пара. Это тебе не овечка!

Разведчик решил было метнуть гранату во вражеский блиндаж, но сдержал себя, потому что это могло вызвать огромный шум и испортить задуманное дело. Мальчик так же тихо и ловко, как и забрался, сполз с крыльца и теперь почти открыто бросился назад, добежал и увидел, что Великий Немой не заметил его отсутствия. Мальчик вздохнул и все же сообщил:

– Все спокойно. Чай пьют.

Мальчик спасал Великого Немого. Спасал долго и упорно, уже много дней. В лечении он перепробовал все: и жир, и воду, и таблетки, и сахар. Это было самым трудным – не есть сахар, припрятывать его и, растворив в целительной арычной воде, поливать дерево. Однажды мальчик не пожалел даже бутылку лимонада, чуть-чуть только сам отпил и еще потом, что осталось. Теперь мальчик решился на последнее средство: деньги. В доме считали, что самое полезное в жизни это деньги, именно деньги, оказывается, обеспечивают хорошую жизнь. Так считал дед и отец, бабушка никак не считала, она только считала расходы по хозяйству. Дед говорил о деньгах всегда важно и открыто, отец о них не говорил, но всех и все оценивал в различных суммах. В ауле жили его друзья «Пять тысяч», «Девять тысяч», а один даже «Двадцать тысяч, к тому же – автомобиль «Москвич».

Вначале мальчик закапывал монеты под дерево, но Великий Немой совершенно безразлично относился ко всему, что над и под ним. Тогда мальчик решил вколачивать монетки прямо в деревесину, как бы делая уколы шприцом. Мальчик достал заранее припрятанный молоточек, приложил ребром к сухой, рассыпающейся коре двадцатикопеечную монету и осторожно вбил ее. За ней последовала десятикопеечная и две копеечные. Вбив монетки, мальчик встал и с чувством исполненного долга осмотрел со всех сторон Великого Немого. Затем, так и не дождавшись знаков благодарности, обнадеживающе заметил:

– Не больно было? Раз – и все. Зато будешь здоровым, не буду больше колоть. Ты поспи, поспи. Я потом приду.

Мальчик отбросил молоточек в сторону, снова не оставалось времени отнести его в сарайчик, где дед хранил инструменты, и побежал.

Побежал, но, пробегая мимо овечки и бросив на нее случайный взгляд, остановился. Еще не понимая сам, что он сейчас предпримет, он опустился на

четвереньки и так медленно двинулся дальше, низко склонив голову. Ну конечно!

Земля тоже живая. Она дышит. Вот колышутся от ее дыхания шерстинки трав. Правда, во многих местах кожа земли задубела от холода и ветра, как на пятках людей, но это неважно.

Человек не знает, что земля живая. Ведь он ходит прямо, вытянувшись шеей вверх. А животные, они знают. Они ходят на четвереньках и остро чувствуют близость тепла от земли.

Дел утром, до той минуты, когда бабушка окончательно потеряет растянутое веком свое терпение, выйдет в сад и, поймав мальчика, приведет его к круглому столику-коротышке и усадит рядом с собой, предварительно хорошенько прощупав ему животик, было еще много. Нужно еще сбегать к запруде, пожевать мяты, проверить ласточкино гнездо...

Сказать, что мальчик хоть как-то сопротивлялся бабушкиным усилиям накормить его вовремя – значит сказать не только неправду, но и до слез обидеть его: мальчик мог и любил хорошенько поесть. Как она, бабуля, могла бы с ним справиться, с вертким, как жгут, сильным, как муравей? Просто мальчику иногда надо было напоминать о том, что он и сам делал с удовольствием, с аппетитом волчонка.

Когда бабушка ввела за руку мальчика в айван, он сразу же понял, что здесь случилась огромная беда. Это было ясно уже по тому, как дед откинулся на спину от столика, придавив лопатками жесткую подушку и укрыв лицо обширным красным платком, словно устыдивши чего-то страшного, совершенного им сейчас.

Красный платок на лице деда побурел от пятен горячего пота и был прижат к глазницам двумя ладонями. Мальчику показалось, что дед даже всхлипывал.

Мальчик огляделся. Ну, конечно же: опять... Как свидетель, вернее как потерпевший жестоко и бесчеловечно, возле столика прижался к бабушкиному колену опустевший и остывший в своем несчастье самовар. Куда исчезла вся его самовлюбленная гордость, сверкавшее медное достоинство, та тщеславная прямота, позволявшая ему страстно кипеть, клокотать и петь и тенором, и басом, презирая всех и каждого? В эти минуты мальчик его побаивался, но уж если он побаивался, то кто мог противостоять раскаленному самовару?

Теперь же самовар стоял чуть тепленький, угнетенно тихий, даже какой-то побитый. Его разом и безжалостно лишили всего, что в нем было.

Мальчик быстро и серьезно взялся за сунутую ему в руки кесе со сметаной, не забыв, впрочем, при этом бросить взгляд сочувствия на самовар и полный осуждения взор на деда. Дед снял с лица потный платок, и мальчик увидел чистое от всякого выражения виновности или сожаления морщинистое лицо, впрочем, что можно было ожидать от такого человека, как дед... Становилось ясно, что удел бедного, ограбленного самовара нисколько деда не беспокоит, даже больше – завтра он повторит без всякого колебания то же самое.

Мальчик принялся думать, что горе одного – это вовсе не обязательно горе другого, пусть даже виноватого в этом первом горе... Но дальше его размышления спутал пирожок, вложенный ему в пальчики откуда-то снизу, из-под стола: интересно, он сам там сидел или его припрятала бабушка? Пирожок-самса вкусно хрустнул и, в отличие от мальчика, ни о чем не задумываясь, отправился прямо ему на язычок. Дед в это время приподнялся, прочно сел, поджав под себя уцелевшую ногу, и принялся угрюмо говорить о предстоящих в этот день делах. Мальчик не слушал деда, лишь иногда до его сознания доходили какие-то скучные обрывки: «...очередь встречать гостей... тратиться теперь на угощение... режь им теперь овечку... лучше уж сейчас, на утренней прохладе...».

Сердечко мальчика тут так сильно забилось, что бабушка испуганно взглянула на него и пощупала ему животик. Но от этого сердечко не успокоилось и, сорвавшись вниз, как звездочка, стремительно пронеслось сквозь стены в сад, к яблоням, к овечке и там болезненно ткнулось к земле. И овечка вздрогнула и жалобно заблеяла.

Мальчик обиженно и зло оттолкнулся от бабушки, от столика-коротышки, от айвана, от дома и пролетел к своему сердечку – упавшей звездочке, к овечке – заплаканной душе.

Мальчик в свои пять лет еще многое не умел, но из всего того человеческого жизненного мастерства, которое он уже постиг, больше всего ценил умение спасать. В этом умении мальчик чувствовал гораздо большее, чем какое-то простое действие, что-то в этом было таинственное, даже почти волшебное, по крайней мере, это могло очень многое за собой открыть ему. Правда, что? Мальчик не знал. Иных решений быть не могло, нужно сейчас же спасать овечку. Мальчик, сильно царапая тоненькие пленочки своих ноготочков соринками в аркане, без всяких колебаний развязал узел веревки – короткого радиуса жизни, отмеренного ей дедом, не знавшим, что такое геометрия, но хорошо знавшим, что такое крепко связанный узел.

Мальчик решился спрятать овечку. Она недоуменно, но с надеждой смотрела на него. А спрятать овечку поможет мальчику его единственный, но большой и могущественный друг – сад. Конечно же, сад. Вне сада на пыльных улицах она совсем пропадет, так мальчик думал, не зная еще, что где-то есть луга, даже степь. Мальчик быстро и уверенно повел овечку в глубь сада и укрыл ее в орешниковом кустарнике. Оставил ее там и отбежал в сторону, оглядывая со стороны свой и овечкин секрет. Кустарник был достаточно высок и густо зеленел, но принялся предательски подергиваться, словно ему было неприятно от инородного теплого тела. Может, и действительно было неприятно, ведь это тело было живое и любило пожевать листочки, сильно обдергивая веточки. И хотя овечка робко замерла, так хрупко, что стала почти фарфоровой, опустила глаза, стараясь не глядеть на окружающее и нависающее над ней сочно-

изумрудное кружево, орешник все же предпочел как бы посторониться от нее. И оголенная кустарниками овечка еще больше оробела.

Как ни пытался мальчик прикрыть беленькие кудряшки пологом листвы, веточки орешника брезгливо и испуганно дергались в его руках, не желая, возможно даже бессознательно, сближаться с природным поедателем зелени в овечьей шкуре. Мальчик перестал уговаривать кустарник и уже настойчиво и с каким-то ожесточением гнул, подтягивал, перегибал веточки, но они кололись, царапали ему ладони, а одна из них, вдруг резко вывернувшись из его пальчиков, хлестко ударила по лицу. Мальчик отскочил от кустарника, потер красную полоску на щеке и удивился:

– Ах, ты так?! – и овечке: – Пойдем отсюда.

И они пошли…хотя куда идти? Кусты малины, как только они к ним приблизились, тут же выставили вперед свои острые-преострые колючки и вовсе не желали прислушаться к уговорам мальчика. Яблоня и не думала опускать свою крону на овечку, более того, принялась посмеиваться над малышом, раскачивая его на своих ветках, а когда он разжал руки, самодовольно закинула и прямо в небо. Даже густая трава у дальнего арыка не желала им помочь – тут же стелилась на землю. Конечно, какая же трава станет сопереживать жвачному животному, не говоря уже о цветах…

В спасении самое главное, без чего и не может быть никакого спасения, – себя не жалеть! Это же так просто, как геройство. Очень просто: дрова сгорают ради тепла для дома, пчела, защищая улей, жалит и без своего жала умирает.

Мальчик растерялся. Он потерянно ходил с овечкой по саду, но сад, всегда такой чуткий к нему, мягкий, ароматный, радостный и отзывчивый, сейчас угрюмо сторонился от него своими гладкими стволами, отчужденно перешептывался листвою, усмехался блеском самодовольно-сытых плодов.

Сад высокий и широкий, как мир, не желал спасать несчастно блеющую подружку мальчика. Для этого он был слишком культурным. В открытом дверном проеме сарайчика, где хранились дедовские железяки, виднелась спина деда. Он раскручивал на деревянном станке точильный диск и правил нож. Дед через плечо оглядел часть сада, увидел мальчика с овечкой, разогнул спину и, выбравшись из сарайчика, забрал у мальчика овечку и привязал ее рядом с собой к дверной скобе. Мальчик еще постоял без цели и ясных мыслей возле сарайчика, потом вдруг бросился на сад, стал бить кулачками по коре деревьев, бросать куски чернозема в кустарники и парники и кричать:

– Злой! Злой! Злой!

Дед выглянул из сарайчика, убедился, что от криков мальчика аркан на шее овечки не развязался, и снова исчез в своем полумраке, где раскручивался точильный камень.

Мальчик побил свои руки, но сад продолжал, как и прежде, высокомерно и с нескрываемым чувством своей единоличной правоты выситься над ним и стойко противостоять его обиде. Мальчик отбежал к собачьей будке, втиснулся

в нее и заплакал. Спавшая в будке собака была явно недовольна вторжением, но промолчала, потеснилась и зевнула.

Мальчик почти никогда не выходил за ворота усадьбы, тем более днем, в пекло. А тут так отчаялся что, несмотря на изнуряющую жару, вышел и по серой пыли ушел к далекой речке, желтоватой и густой, как подсолнечное масло. А иной она и не могла быть, дальний берег ее был засажен подсолнечником. А этот берег был покрыт глинистой корочкой, которая, несмотря на близость воды, сухо растрескалась и шуршала, как картон. Здесь мальчик просидел много-много часов, а вернувшись поздно вечером, сразу же вошел в дом и заснул.

В доме пили вино и ели мясо загорелые, уверенные в себе и в своих женах счастливые мужчины. У каждого из них был дом, плодовый сад и жены с детьми. Это были хорошие люди и добрые хозяева. Для них срубить пять-десять старых деревьев и выкорчевать оставшиеся пни было делом пустячным, даже приятным. Они уважили просьбу хозяина-старика, хотя он об этом открыто не просил, но в последние недели все твердил соседям о том, что сад его постарел и уже не так плодоносит.

В предрассветный час думалось ясно, все постепенно отчетливо высвечивалось, хотя мальчик проснулся от неприятного вязкого и смазанного видения. Этой тягостной картинкой был пологий берег маслянистой реки, голый, долгий, бесцветный. Почему? Ведь берег – часть земли и над ним так же, как над садом, идут голубые дожди и светит розовое солнце? «Значит, – размышлял мальчик, – веселые краски не над землей и не на земле. Солнце их просто освещает, а дождь омывает. Краски, которыми окрашен мир, таятся под землей. Они там, в каких-нибудь кумганах. А деревья и трава своими корнями вытягивают, выманивают желтое, сиреневое, оранжевое, много-много изумрудного и зеленого, красно-наливного, ягодно-оранжевого и золотисто-виноградного. И только там, где есть сады, мир становится окрашенным в те цвета, в которых любил жить мальчик. Не спеша и обстоятельно додумав эту мысль, мальчик отбросил в сторону бабушкину руку и побежал в сад. Торопливо пописав у кусточка, мальчик забрался на лоскутное одеяльце, расстеленное на деревянном топчане, и еще чуть поспал. Проснувшись окончательно, он увидел, как светло и приветливо засияли над ним крохотными лампочками виноградные гроздья. А сам сад виновато теснился вокруг него и ждал мальчика. Мальчик, вспомнив овечку и свою обиду, огорчился. Но совсем огорчиться и расстроиться он не мог. Тем более, что рядом на топчане не оказалось деда. Непривычное отсутствие деда привело мальчика к догадке, что дед мог быть шпионом. И он направился разыскивать его.

Деда он нашел возле свежепосаженного саженца груши на том самом месте, где еще вчера болело старое дерево.

Непонятно, куда мог исчезнуть тот дряхлый, облысевший, рассохшийся великан и еще более непонятно было мальчику, зачем дед дышит ртом на маленькие листочки саженца.

– Ночь была прохладной. Хочу их чуть обогреть. Хороший сорт принес мне Хайрулла, плодоносный. Эх, если бы твой отец любил сад, как этот прохвост... И как она могла выйти замуж за этого нищеброда...

Мальчик знал, что она – это его мама. А нищий бродяга – его папа, который все время читает книги, заполнившие всю его профессорскую квартиру.

Потом дед очень медленно и долго поливал саженец из кумгана, так осторожно и любовно, как поят грудного ребенка с ложечки. А мальчик сидел рядом с ним. У него появилась важная мысль, но ставший совсем ярким мир мешал ему сосредоточиться. И все же он додумал ее, как ни мешали ему птичий звон и жужжание осы у уха.

– Дед, – уверенно сказал мальчик. – А знаешь, что с твоей ногой стало?

– С какой еще ногой?

– Ну, с той, военной, которую ты на войне оставил.

– Что с ней могло стать? Сгнила.

– Нет, – вразумляющим тоном произнес мальчик. – Из нее дерево выросло.

Дед взглянул на мальчика с таким выражением лица, после которого обязательно ругался и гнал его прочь, но на этот раз растерянно лишь произнес:

– А кто его знает... может, и выросло.

Произнося кораническую фразу: «Нет Бога кроме Бога и Мухаммед Пророк Его», ты сам свидетельствуешь о том, что принял ислам. Видя совершение всех пяти заветов Пророка Мухаммеда, народ свидетельствует в том, что ты мусульманин.

Сила веры только тогда совершенна, когда нет нужды в свидетелях.

Один из заветов – посещение Мекки. В земном мире есть непреодолимые причины, по которым мусульманин не в состоянии совершить хадж. Но и не сказано, как он должен исполнить этот путь к Каабе: пешком ли, верхом на животном или на руках у людей. Или душой.

Замечательно пребывать в айване, если вне его тени градусов сорок жары. Но вдруг охватившая Арона мысль «Надо спасти!» обеспокоила его и помешала кайфовать далее в пределах падишахского сада.

Душа Арона вернула себя в Караганду, намереваясь все исправить, и оказался в подвале школы. Опять увидел, как Пир-Рустем поднимает в его сторону ствол тульского ружья. Подвальные тени мгновенно сгустились и ворвались в его мозг кромешным мраком. Сознание вернулось вновь к Арону

только в операционном блоке буквально вслед за побегом его тела с украденной шубой медсестры, затем глупая погоня и вот он снова в саду Чехель-Сотун.

«Как же так! – расстроился Арон. – Надо сконцентрировать все свое внимание на возможности изменить событийный ряд».

Арон сделал еще одну, вторую, третью попытки вернуться в Университет за день до той роковой глупости, но результат был тот же самый: как только он появлялся в своей прошедшей жизни, то тотчас полностью подчинялся жившему себе со всеми уже совершенными поступками и сказанными словами. И так до прыжка его обнаглевшего тела в зимнее окно. Так, наверное, оторвавшееся на ходу колесо телеги катится само по себе, но вставленное снова в ось, становится только частью повозки. Грубо, слишком схематично, но Арон в шахском саду уже не мог мыслить более сложными аллегориями. С трудом он понял, что изменить хотя бы день в своей прошедшей жизни он не в состоянии, и сказал об этом голубю, заваливающемуся на бок в смертельной тоске.

У него еще хватило сообразительности попробовать повлиять на свое будущее. Но и тут он потерпел фиаско. Если он спускался в прошлое, как по ступенькам, по уже когда-то существовавшим предметам: осколок от вазы, ваза, глина на гончарном круге, превращающаяся в вазу, прах, которому предстоит стать глиной, то в будущем совершенно ничего не существовало, за что можно было хотя бы зацепиться взглядом. Обогнать время он мог, только стремительно двигаясь вдоль экватора на восток, но, пролетев от бассейна с жирным царским голубем до того же водовместилища с умирающей от сытости птицей, он выдвигался в предстоящем времени только на 23 часа 59 минут 59 секунд, а через миг оказывался в той временной точке, откуда начинал свой стремительный полет. Увеличить временной прорыв можно было, удлинив радиус полета, что он и сделал, поднявшись в космос, но оттуда ничего из происходящего на Земле не было видно, и терялся всякий смысл замысла.

Удрученный Арон чистосердечно признался в своей неудаче шаху. Тот принялся ругать невесть кого:

– Эти ослы бесхвостые, зады которых – утешенье грязным рабам из беззубого племени кафиров, рожденных жабой, с гнездом в моче псов, покрытых гнойными язвами, в которых зловонные мухи высиживают свои личинки, в вожделении слизываемые этими колченогими шакалами, имя которым только твари!

Затем уставившись ничего хорошего не предвещавшим взглядом на Ашота-Ашира, что-то вспомнил и снова повернулся к Арону, неохотно произнеся:

– Математик, мой беглый евнух Ашир ребенком увидел среди камней двухголовую змейку. Он был один и никто не мог успокоить его, внушить, что ему это только показалось. Своим глазам он не поверил и не стал никому рассказывать. Теперь жалеет и никак не может вспомнить: под плоский камень тут же заползла змея или под какой? Слетай лет так на десять назад, посмотри.

Арону не стоило труда исполнить просьбу и, радуясь нашедшемуся хоть какому-то занятию, он принялся в деталях по минутам расписывать тот давний-давний день деревенского мальчишки, заплутавшего среди камней, казавшихся ему скалами. Шах пересказал громогласно, прямо в побелевшее лицо евнуха видение Арона о том, как испуганный змеей мальчишка жиденько обкакался, и закончив забавное повествование, тихо произнес.

– Стража!

Торчавший в кустах начальник хазарейской охраны тут же выскочил к колоннам и пошел прямо на Ашота-Ашира так твердо, что тому пришлось шагнуть в сторону. За ним выпрыгнули из зарослей его воины. Царь царей ткнул пальцем в евнуха:

– Уже год ищете беглого преступника, а он вот стоит! Дармоеды. Взять его и этого, – указал он в качестве второго узника на Арона. – В яму их.

И утопал во дворец.

Главный телохранитель шаха – хазареец, не отрывая своих узких глаз от евнуха, произнес внятно и презрительно:

– Аллах услышал мою просьбу, Милостивый, Милосердный! Сначала я вырву печень кастрату, которого вижу. Потом тому, кого еще не вижу. Никому от меня не скрыться!

Ашот-Ашир же невозмутимо произнес:

– Бедняга, ему кажется, что он, наконец, разглядел меня.

В этот миг двое стражников схватили за руки своего начальника, а третий вырезал ножом ему глаза. Прижимая руки к окровавленному лицу, начальник охраны выл и корчился от боли.

– Подойди, – велел ему евнух. – Взгляни на меня.

– Не надо! – зарыдал хазареец.

– Взгляни!

И тот убрал ладони от своих пустых глазниц, из которых катились кровавые слезы.

– Ты видишь меня?

– Нет, – мотал головой дворцовый страж и шагнул к бассейну.

– Он упадет в воду! – воскликнул Арон, но его никто не услышал. Невольный самоубийца камнем ушел на дно и там колыхался с согнутыми коленями.

– Нас нельзя ни увидеть, ни услышать, не так ли, математик? – произнес Ашот-Ашир и уставился точно в то место, куда прежде, разговаривая с Ароном, смотрел его повелитель. Но Арон уже висел над утопленником и видел, как его душа поднимается в пузырьках воздуха над ним.

Пораженному увиденным Арону хотелось поделиться тягостным впечатлением хоть с кем-нибудь. Он осмотрелся по сторонам и приблизился к молодому евнуху, разговаривающему с каким-то воображаемым собеседником:

– Я был лучшим логиком среди юношей Армении и Киликии. Когда двухголовую змею видит один человек, это не значит, что ее видели другие люди, даже если они ее и видели. И для того, чтобы утверждать, что кто-то еще видел ее, он должен сам сказать, что видел двухголовую змею, а не обкакавшегося мальчика. Когда один человек заявляет, что владеет возможным, это не значит, что другие имеют то же самое, даже если они им владеют. Каждый должен сказать, что он видит и что ему подвластно. Перс с короной утверждал, что кто-то видел, что тот мальчик чуток испачкал свои штанишки...

– Он был без каких-то штанишек, бегал так, с голой попой, – произнес обиженный Арон.

Но Ашот-Ашир так и не услышал его, продолжая говорить свое:

– Мой царь готов был послать меня, как лучшего, учиться в Византию. Но, слава Аллаху, случилось иное, и теперь я знаю истину. Только твоя тень легла на мое знание, созданное и готовое покорить весь мир. Одно только слово, математик! Дай услышать от тебя одно только слово, дай увидеть хоть край твоего платья, и я снова поверю в книгу араба Мухаммеда.

– С кем ты говоришь? – спросил армянского логика Арон, но тот продолжал бубнить в сторону пустого места.

Эта сценка тянулась до вечера, пока верные Ашоту-Аширу люди – ассирийцы и курды – окончательно не совершили дворцовый переворот и не привели к бассейну человека, закутанного с головой в белую ткань. Под полотном оказался сам повелитель Иранской империи. Его принялись топить в воде под требования евнуха признаться, что невидимого математика он придумал. При этом молодой евнух, которого собравшиеся у бассейна мужчины называли не иначе как Старец гор, орал с пеной у рта:

– Его нет! Аллах оставил эту землю и с собой увел всех ангелов и все следы свои! Его нет! Ты не видишь его! Признайся, и мы снова признаем тебя своим братом, и ты спасешься вместе с нами!

Мокрый монарх с трудом выхаркивал воду из своей груди и, задыхаясь, говорил обреченно:

– Здесь он, будь он проклят...

Его снова топили.

Арону стало жаль своего августейшего приятеля, и он старался, склонившись над ним, облегчить его страдания. Тело с рыжей бородой утопили все-таки в бассейне, и, как ни странно, его душа не взлетела на небеса, а оставалась пребывать под водой. Арон нырнул в бассейн и душеобразный шах тут же узнал своего математика. Он скорбно и с обидой поплавал, посматривая на своих подданных, обсуждавших блюда, готовившиеся на дворцовой кухне. Он выкрикнул что-то гневное, но те его не слышали. И свои злые претензии монарх принялся высказывать не убийцам, а Арону:

– Из-за тебя, глупый математик! Я так жил сладко... А тут ты явился! Кто тебя звал?!

– Надо было просто не видеть меня, как советовал евнух, – произнес с сожалением Арон.

– Не видеть! – еще сильнее возмутился шах. – А если я видел и вижу? И куда теперь я?

– Думаю, будешь болтаться, как я, в атмосфере, – разъяснил ситуацию Арон, оглядел бассейн и добавил. – Иногда, в воде.

Шаха эта перспектива не устроила:

– Я же принял за веру мученическую смерть. Мне нужно в рай, поскольку... Так ты все-таки, значит, ангел?

– Нет, я душа человека, – признался Арон.

– Математика, – настоял на своем царь царей.

Арон не стал спорить:

– Возможно.

– А ну тебя, надоел. Так в какой стороне рай? – снова рассердился падишах.

Арон не имел никакого представления о загробной географии, однако понимая, что рай не имел ни верха, ни низа, ни сторон света, наугад махнул рукой:

– Там.

– Ладно, – вдруг смирился с натурой шах, – буду возлежать у ручья, – и, не откладывая задуманного, растянулся на шелковой траве.

Душе августейшего перса уже не хотелось ничего иного. Все так приятно устроилось и наполняло его истинным наслаждением. Мимо протекал ручеек с кристально чистой водой, и дабы утвердить себя здесь, шах, не испытавший ни малейшей жажды, зачерпнул ладонью воду, но ручей вдруг встал и оказался душой какого-то типа с чалмой. Она приветствовала душу шаха и вновь потекла чистой водой.

Арон вдруг с удовлетворением убедился, что был прав в своем недоверии описанию в святых книгах мест пребывания усопших: и праведников, и грешников. Он не обнаружил ни рая, ни страшного ада. А увидел, что есть иная жизнь. Только осталось найти себя в ней, как ребеночку в той, земной жизни, вывалившемуся из матки, кормившей, поившей, омывавшей его. Забытое его тело представлялось теперь ему коконом, из которого он сам выпорхнул, как бабочка. И он попытался преобразиться в прекрасного махаона, правда, желая голову оставить свою, человеческую. Но знание того, что здесь нет мира чисел и формул, сильно огорчало профессора физико-математических наук. Тщась остаться прежним ученым, он при этом имитировал полет крылатого существа и пытался собрать и вытащить в основание теории, когда-то промелькнувшие в его голове проблески, как ему казалось, особого знания о сущности света. Что есть свет? Чтобы изучить вложения пространств, мы должны иметь их хотя бы два с разными топологическими характеристиками, попросту говоря, с разной

метрикой, но элементы одного из которых имеют ту же природу, что и у второго. Далее мы должны определиться в методе исследования… Моделирование… построить модель плоскости Лобачевского с его понятиями о параллельных прямых в виде единичного круга… Клейн… Пространства Соболева… что есть свет? Или кто? Топологические пространства…. проблемы Гильберта… Гаусовы модели…. Стохастические процессы… Окончательно потеряв способность мыслить как ученый, Арон выругался, как нормальный человек: «Какие еще пространства! А ну его в задницу!»

Арон Сулейменович Гаипов не баловал своего библиографа хроникой своих успехов в глобальном мире. А между тем, пользуя свой гениальный аналитический дар, доктор физико-математических наук за неполный год, играя на биржах финансовых центров трех континентов, разорил несколько стран, сотню транснациональных компаний с миллионами акционеров, короля Бийанту V королевства Бианту и старика Соломона Штейна, умудрившегося сохранить свой чикагский магазинчик постельного белья даже в годы Великой депрессии. Попытался принудить математиков вручить ему Филдсовскую *премию за* новаторское утверждение: «Если А и Б сидели на трубе, то труба стремится к нулю», но яйцеголовые шизоидные старцы злобно уперлись и отмолчались. Можно было, конечно, всем им вылечить мозги битой, но на всякий случай не стал – знал цену своих коллег. Зато заставил Нобелевский комитет все же учредить и присудить ему премию за свой труд в области математики, которая прежде не была предусмотрена самим Нобелем, так как, говорят, когда-то швед застукал свою жену с каким-то бухгалтером. И заодно и премии по остальным номинациям, медицине там, физике... По привычке он еще занимался всеобъемлющей теорией пространственного вложения симулякров, но как-то все мимо... По ему одному известной причине профессора больше интересовала теория пространственных струн. Рассматривал он ее в единстве с концепцией суперсимметрии, в результате чего родилась теория суперструн, и на сегодняшний день это максимум того, что удалось добиться в плане объединения теории всех четырех основных взаимодействий (действующих в природе сил). Его не смущало то, что сама по себе теория суперсимметрии была уже построена на основе априорной концепции, представляющей исчерпанное пространство не четырехмерным: влево-вправо, вверх-вниз, вперед-назад, прошлое-будущее, и было доказано, что она имеет одиннадцать измерений.

Интересно, что и душа Арона синхронно задумалась над проблемой пятого измерения. Но если Арон-тело, исследуя пространственно-временные связи, стремился исключить любую дыру, через которую к нему могла проникнуть его душа, то Арон-душа наоборот искал каналы соединений. Интересно и то, что они пришли к различным выводам. Первый – Арон Сулейменович Гаипов (как его именовал А-баев), стал считать, что пятым измерением является

информация в позиции: «отрицающая информация – утверждающая информация». И в качестве наглядного примера называл Интернет, в котором и пространство и время приобрели исчезающие качества. Одна и та же информация, представленная абсолютно идентичной структурой и массой электронов или квантов, могла находиться в разных точках, следовательно, в какой-то степени исключала и пространство, и время. Второй же – Арон (как к нему обращался А-баев), считал пятым измерением чувства. Дать полное научное описание он не мог, в силу отсутствия у него мозгов, оставшихся в черепе у первого (души) Арона, просто чувствовал так.

Бог знает, кто из них был прав. Разум иногда твердит в нас свое: я знаю, а душа свое: я чувствую. И какое измерение реальное?

Время от времени А-баева вывозили в Англию и ставили перед Гаиповым. Чаще всего эта сцена происходила в старинном поместье с прекрасным садом, заложенным знаменитым садоводом лет так двести назад. Там новоявленный британец пил чай под сенью легких древес и говорил хмурому собеседнику:

– Прекрасно все устроилось. Купил по дешевке у одного парализованного баронета. Всего за сто миллионов фунтов стерлингов. Тихо, спокойно, никто не орет: в реанимацию, в реанимацию! Ну, как там моя жена? Пожалуй, я все-таки разведусь с ней. Здесь наклевывается мой брак с принцессой, – и помахал перед носом собеседника глянцевым журналам, где сияли его фотографии с британской королевой и прочими принцесами.

– Решил улучшить породу королевской династии Виндзоров? – съехидничал А-баев.

– Бери выше. Какой самый фундаментальный мотив в поведении человека? Сразу отринем прочь от нашего внимания животные инстинкты типа самосохранения, размножения и брюхонабивания пищей, неосторожно пахнувшей мясом вблизи твоей пасти? Ну, напряги мозг.

А-баев промолчал, а Гаипов продолжил разглагольствовать:

– Подражание Отцу. Богу. Бог – создатель. И тут Его подобия тщатся уподобиться Ему. Творят, мать их за ногу, кто во что горазд. Один кривобокие кувшины лепит, другой ваяет мраморных Аполлонов. Третий машины конструирует, четвертый озадачен устройством Города солнца. Копировальщики позорные. А я хочу стать настоящим создателем. На новую вселенную стройматериала не хватит, а вот новое человечество сделать можно. Из таких, как я без всяких там вдыханий свыше души. И без выдохов, что означает бессмертных. Надо подобрать генетиков, профинансировать их и озадачить этой проблемой. И будем выращивать новых людей, как на грядке. И у меня все выйдет лучше, чем у вашего Господа Бога.

– Жив Ра, мертва черепаха, – мрачно, с убийственной иронией изрек в ответ А-баев.

Арон нагнул голову придворного летописца и, используя монокль, как лупу, внимательнейшим образом оглядел его лоб, ушные раковины и затылок, а затем заметил:

– Глупость – неисчерпаемый кладезь идей. Однако, так уж ли пафосно прозвучит цитирование «Книгу Мертвых» вслед за русскими постмодернистами?

– Это не плагиат!

– Конечно – нет, снисходительно приободрил мед. писателя Гаипов. – Это – постмодерн в квадрате. Многогранная глупость вообще бриллиант. Но как бы там ни было, спасибо, что ты напомнил мне о возможности использовать вечную сакральность Египта фараонов.

А-баев не стал говорить, что услышал эту нелепую фразу из уст самого Арона, смешившего подобными нелепицами лет так двадцать назад девиц за студенческими застольями с килькой на листе бумаги и портвейном № 17. Лишь обиженно зашагал было в кусты, но Гаипов остановил его криком:

– Куда? Ты отправишься со мной. В Царство мертвых. Сейчас же.

Сердце А-баева оборвалось и в ужасе юркнуло под селезенку. Перед его глазами промелькнула вся его жизнь, почти вся... Лента прожитых лет оборвалась на кадре с суфием, сидящим на пыльной обочине горной дороге и ждущем монгольского воина...

– Ежели я – Арон Гаипов, то значит я – человек в полном смысле этого слова. Полноценный. А человек без веры только животное. Все было недосуг, бегал, устраивался, что-то у кого-то вырывал, какие-то миллиарды, заводы, пароходы... Да, пора, пора подумать о высшем. И не будем сужать поиск пределами авраамических религий. И Конфуций такой зануда. Да Будда тоже хорош, вегетарианец хренов. Мы возродим первозданную религию мира, веру в Осириса. И возродим на Земле царство Мертвых.

Романист медицинского толка с облегчением перевел дыхание. И на этот раз, видимо, его не отправят к мертвым, а только лишь на берега Нила, на которых пятьдесят веков назад жили создатели книги бессмертного текста о смерти.

Пока связанное из тростниковых матов, по чертежам мемфисовских жрецов, судно шло по Нилу вверх по течению, Гаипов продолжал с утроенной энергией вбивать в мозги А-баева свои непонятные и неприятные словечки и теории, что тот не раз погружал свою голову в воду в надежде на то, что первый же крокодил выест из нее все, что теперь мучительно отягощало череп. Лучше было бы ему оторвать крокодилью башку и присобачить ее, как делали древние египтяне, вместо своей. Точно бы полегчало. Но кровожадные рептилии тоже не дураки, с пустым черепом-то легче держать ноздри над водой, и близко к А-баеву не подплывали. Сторонились они и судна, набитого строительным

материалом и плавучими кранами. Идущие из… или вплывавшие в темь веков. Не важно, если принять во внимание зеркальный принцип Мирового древа.

А Гаипов все болтал и болтал:

– Как же я дал себя запутать? Как я мог поверить, что с потерей одной души, я стал только телом человека и не более? Как гласит твоя любимая «Книга мертвых», у человека не одна душа, а несколько: Бэ, Ка и еще какие-то более мелкие души. Все ли они присутствуют в данный момент в теле? Человек считается живым до тех пор, пока у него двигаются конечности. Лишь в движении жизнь, и где нет движения, там лишь смерть. Я, вот, шевелюсь вовсю, – хвастался Арон. – Больше того, большинство элементов сущности человека при мне. Тело – раз, имя – два, тень – три. Ка и Бэ сидели на трубе, Ка упала, Бэ пропала, что осталось на трубе?

– И, – уел лауреата Нобелевской премии А-баев.

Но Гаипова так просто загнать в логичный угол было невозможно, и он отбился такой сентенцией:

– Не суть. Главное то, что если и отлетело от меня Бэ и Ка, то в любом случае третья душа все равно при мне.

– Не знаю, – мрачно, как Анубис из некрополя первых фараонов, проговорил А-баев. – Не видел я никакое ни Бэ, ни Ка. Ко мне Арон являлся.

– А имя? Имя сейчас, в этот миг кому принадлежит? Ему или мне? – заорал Гаипов.

А-баев начал путаться:

– Ну, сейчас...

А следовало лишь напомнить профессору о том, что кроме тела, души, имени и тени человек, по тюркским убеждениям, обладает и штукой, известной казахам как Құт. Наиболее архаичным толкованием Құт и наиболее верным является перевод этого термина, как «эмбрион, зародыш, оплодотворенная яйцеклетка».

В недавние времена беременная женщина воспринималась как существо обыкновенное, как пузатый мужчина. Есть они, ну, и есть. Никто не обращал на них внимания. Сегодня же, увидев редкую на гордских улицах непорожнюю даму, невольно задумываешься: кто это? И с удивлением понимаешь, что она как бы уже нечеловек. Точнее, более, чем просто человек. Не случайно древние славяне называли своих брюхатых женщин несколько странно – самадруга. В смысле, не одна. С зародышем, связанным с ней одной кровью и нервами, она становится сама другая. А став другой, она начинает и чувствовать, и говорить, и вести себя по-другому, не как обычные женщины.

Құт дается каждому с рождения, это как бы вторая жизнь человека, прямо как в компьютерных играх. Второе «Я», невесомое, неосязаемое, и если Құт в тебе сильный, то и спасительное. Без него ты просто одна человеческая единица, не способная ничего ни выносить, ни создать, ни родить.

Арон-душа смутно догадывался, что оказался у берегов Нила в центральном зале какого-то строения, в котором высились семь рядов по девять колонн каждый, а с обеих сторон двойного ряда – шесть более высоких колонн в центре. Если бы не опасения расплескаться, он бы мог быстренько смотаться хотя бы в век восемнадцатый нашей эры и просмотреть труды Геродота, которые в эти века уже стали вполне доступны даже провинциальным доцентам. И узнал бы, что оказался он в храме Карнак – Апет-Эут. Впрочем, даже не зная, что название храма переводится как «Нумератор чисел», душа математика ощутила некую благодать и зависла между колоннами. Особенно приглянулся Арону центральный зал храма, явно отображавший числовую символику физического устройства Вселенной. Шесть колонн отражали, видимо, по представлению египтян, время и пространство, как космическое число материального мира. Все, что происходит со временем, так или иначе связано с числом шесть или числами, кратными шестерке. Достаточно вспомнить, что год состоит из 12-ти месяцев, понимая 6, умноженное на 2, а большой год Зодиака составляет 12 периодов Зодиака или знаков. Семь рядов колонн – число движения и прироста, умноженного на девять. Девятка – число, дающее полный объем – 6 направлений: зенит, надир и четыре стороны света. Хотя то, что Арону вспомнилось о девятке, вполне могло быть из древнекитайской нумерологии. «Впрочем, – подумал он и неожиданно произнес: – Что храмовые египтяне, что храмовые проститутки – все одно, жрецы чисел».

Следя за трудовыми буднями жрецов, Арон выяснил, что вся религия фараоновых египтян построена на математических символах. И неудивительно, что у него даже возникло чувство, что он вновь оказался на университетских семинарах. Правда, несколько раздражала излишняя ритуальность служений. Достаточно было определиться с оппонентами, дать слово секретарю Ученого совета, представить внешних рецензентов и начать обсуждение диссертации или доклада. А не ходить какими-то темными кругами с подвыванием. Поклоны были вполне приемлемы, но Председателю Ученого совета, а не какой-то статуе какого-то непонятного божка типа Ра. Но, в принципе, египетские жрецы заслуживали научного звания каких-нибудь наук, так как свои математические расчеты производили с помощью физических предметов – металлических слитков разной величины, формы и веса, достоверность результатов проверяли на мумиях кошек и человека. Каждый из чушек обозначал конкретную цифру от 1 до 9. Жрецы выстраивали из металлических отливков, используя намеренно ослепленного коллегу в качестве калькулятора, какие-то сооружения в определенном числовом порядке, укладывали на нее мумию и наблюдали за ее состоянием. И так делали десятилетия за десятилетиями нескончаемые поколения фараоновских исследователей. А за ними наблюдал Арон, века не знают суеты.

И хотя жрецы для своих опытов вывели специальную безволосую породу кошек, от их мумий все равно пришлось отказаться, на человеческой коже наглядней проявлялись физиологические реакции. Хотя и с мумиями людей была морока – измочаливались со временем, хотя служили для науки при африканской жаре не в пример куда дольше, чем не просто выпотрошенные трупы.

Века шли за веками, эксперименты за экспериментами. Обычно шестерки и семерки укладывали в один ряд: 6666 и 7777, пока один невообразимо престарелый Главный жрец не уронил четвертую шестерку себе на ногу. С тех пор перешли на троичную систему – А и 777. И отталкиваясь от нее, стали складывать конструкции с боковыми стенами, имевшими три грани типа пирамид. Но и тут ничего особенного не произошло, однако традиция сохранилась. Наверное, целое тысячелетие провисел Арон между колоннами, пока какой-то жрец не придумал цифру Пи, и ее использование не привело к тому, что на очередной мумии дернулся мизинец. Какая смесь восторга и ужаса охватила жрецов! Наивные создания. В ту минуту Арону подумалось: «Идиоты, видели бы вы мое тело, которое где-то само по себе носится без всякой магии и не только шевелит всеми пальцами, и хватает намертво все, что шевелится». Подумал, и потеряв интерес к ритуальным физико-математико-биологическим опытам жрецов, стал прикидывать: а в кого и во что, согласно новейшим поветриям на постсоветском пространстве, стало верить его тело? То, что оно, подобно политической и гуманитарной элитам не устремилось с трепетным выражением на лице в храм, в котором правил Единый и Вездесущий Бог, Арон не сомневался. Но мог стать язычником – уже прогресс для атеиста.

Подумал и вдруг действительно серьезно увлекся мыслями о религии, что, впрочем, не удивительно для души человека.

Арон, как остепененный ученый, прежде всего занялся вопросами классификации культов и поклонений, и его научные выкладки, что и странно, и подозрительно, были идентичны теории его знакомого карагандинца, тоже, между прочим, ученого. А теория эта выделяла два вида культов: развивавшиеся в горизонтальных векторах и в вертикальных. В горизонтальной плоскости размещаются обожествления множества единиц, расположенных на одном уровне с телом человека. Такие объекты поклонения, как предметы – фетишизм, как животные – анимизм и съестное… С первыми двумя культами все было ясно, а вот с третьим пришлось поразмыслить, так как не существовало общепринятого термина, связанного с сакральной составляющей жратвы. И пораскинув своими виртуальными мозгами, Арон остановился на фигуре японской богини пищи – Укэмоти, чье анатомированное тело явилось мифической первопищей человека. То, что японцы делили ее на «мужскую» и «женскую», а также на запретную, божественную и дьявольскую, делало

укемотизм[46] универсальным для всех языческих народов и племен. Укемотизм не касается жертвоприношений богам, а представляет только те случаи, когда сами боги выглядят как продукты питания. Как бог майя, выглядящий, как юноша с головой, переходящей в початок. К укэмотизму относится, конечно, и культ воды – в функции эквивалента жизненных жидкостей человеческого организма, прежде всего, крови. Какие-то рудименты укемотизма сохранились в христианской традиции. В церквях съедаемая прихожанином просвира и выпиваемый глоток вина сопровождаются фразой священника: «Тело Христово и кровь Христова». Хотя не следует забывать о гораздо более масштабных мифах, связанных с водой – мифе о зарождении материального мира, в котором вода имеет явный женский признак.

Горизонтально протянутое религиозное поле наиболее примитивное проявление верований, и, видимо, изначальное. Определившись в нем, человек (следует думать, 40 – 30 тысяч лет до н. э.) проследил окружавшее его пространство от глади земли к небу, с которого обрушивались молнии и шел свет от солнца, звезд и луны. Таким образом, сформировалось религиозное сознание по вертикальным структурам: от гор до солнца, луны и звезд. К верованиям этого вида следует отнести уже названный выше друидизм, в котором центральную роль играют деревья, и сабеизм – культ небесных светил.

Так же в глубине тысячелетий человеческой истории просматривается поклонение фаллосу. Первые народы цивилизации долины Инда поклонялись и священным деревьям, и столбикам фаллической формы. Символами неиссякаемого плодородия в древнегреческой мифологии являлись фаллосы сатиров, в ее же пантеоне присутствует божество плодородия Приап с фаллосоподобной головой, в протогреческой – собственно фаллос. Самодостаточное значение фаллоса просматривается в мифе об убитом и разрубленном на куски боге производительных сил природы Осирисе. Богиня Исида собрала все части тела мужа, кроме фаллоса, и захоронила их. Представляется, что именно отсутствие под землей у Осириса детородного органа превращает его в царя загробного мира, в котором ничего живого не зарождается. Жрецы майя прокалывали фаллос воина, приносимого в жертву богам, чтобы окропить землю каплей крови, совершая тем самым акт оплодотворения. В южнославянской мифологии есть дух Кукер, стоящий с деревянным фаллосом – воплощение плодородия.

Некоторые исследователи мифов рассматривали фаллос как один из вариантов Мирового древа, что, без сомнения, является ошибочным мнением. Понятно, что подобная «догадка» вызвана вертикальной направленностью обоих объектов. Однако следует обратить внимание, что у Мирового древа и

[46] Термин кандидата филологических наук Ш. К. Кусаинова. Ученый пытался внедрить в сознание думающего человечества и термин «гаипизм», но в научных кругах его заверили, что в этом плане вполне достаточно термина «эгоцентризм». Понимая, что Эго черпает импульсы и энергию из ОНО – комплекса биологических влечений и потребностей, в большинстве случаев неосознаваемых, инстинктивных, требующих удовлетворения.

фаллоса совершенно различные функции. Мировое древо соединяет три мира: верхний, средний и нижний, а фаллос действенен лишь в рамках среднего мира, в котором оплодотворяет землю. И что закономерно, с установлением более высоких этических стандартов человеческого поведения, а так же с развитием вертикальных культов, направленных к небу, религиозные убеждения, связанные с гениталиями, были сдвинуты в темный угол, где нивелировались или приобрели предельно завуалированный вид. И хотя в кельтских мифах грибы видятся как захиревшие в лесу фаллосы, это проявление выглядит не более чем поздние сатирические бабские байки.

Можно вспомнить и о священном грибе индейцев майя (1 тыс. до н. э), как фаллостическом съедобном символе. И в этом ракурсе наиболее верным будет воспринимать гриб как сакральное нечто, являющееся переходным звеном от горизонтальной плоскости укемотизма к вертикальному взгляду – друидизму.

Очевидно, что тело Гаипова, до благородного и экологически верного друизма наверняка не добралось, несмотря на схожесть с Приапом. Не нес он в себе жизнезарождавшего сока. Возможно, оно, теперь ненасытно жравшее все, что попадало ему под руку, склонился, укемотизму.

Поразмышляв еще чуточку на сакральные темы, Арон огляделся по сторонам, и увидел, что от храма «Нумератор чисел» остались лишь руины.

Надо же! Прежде для того, чтобы продумать неопределенное еще явление или ряд несвязанных между собой чисел и прийти к научным выводам, ему хватало чашечки кофе и пары сигарет. А теперь более чем скромный мыслительный акт занял, если судить по минаретам, видневшегося в недалеке от уже ободранных временем пирамид города, занял почти три тысячи лет. Видать лакуны и разрывы, образовавшиеся в его голове без натурального мозга, стали настолько глубокие, что пока вспомнишь, что за А следует Б, век промелькнет.

– Что же по этому поводу говорили эти фараоновы жрецы? – попытался восстановить в памяти ритуальные, полные сакральных, тайных смыслов сцены, виденные им в еще не разрушенном храме.

И услышал, как ему показалось – в ответ, голос, принадлежащий старому крупному человеку в парче поверх черной четырехугольной, шелковой рубахи и маленькой шапочке, прикрывавшей редкий волос на темени:

– Хотя жрецы фараонов многобожники, презренные кафиры, но сам Муса бен Амрам ибн Левий аль Исраэль учился у них.

– Надо думать, ты имеешь в виду Моисея? – решил уточнить услышанное Арон.

Старец и вслед за ним юнец лет пятнадцати, оказавшийся за его грузной фигурой, подняли головы и посмотрели в то высокое межколонное пространство, в котором он завис. Старик отвернулся от Арона и уставился на голову юноши, одетому так же, как и он, богато. Разве что шапочка на его

голове была поношенной, изрядно потертой по краям. Молодой человек хотел было что-то произнести, указав рукой на призрак, как старый раздраженно одернул его:

– Не отвлекайся по пустякам, Авраам!

Кажется, пожившего халифатского вельможу больше раздражало не любопытство юного спутника к пустой видимости, а затасканность его головного убора.

Отрок поспешил опустить взор, а старче смягчил тон и договорил:

– Мало ли неприкаянных душ на свете... – прошелся от стены к стене и продолжил:

– Сын мой, знай, что каждое число имеет свой ритм. И числа текут как волны. А значит, представляют собой течение со своей скрытой от непосвященных силой и направлением. Каждое число равно явлению, и несколько соединенных цифр скажут о развитии явления. Взаимодействие чисел есть опыт. И все люди, государства, местоположения, все, что вообще существует в мире, могут указать цифры. Где ты взял эту каппу, Авраам?

Сын тихо ответил:

– В доме матери. Она сказала, что эта шапочка твоя.

Отец вновь раздраженно огорчился и заявил:

– Каппа всего лишь предмет материальный, материя же всего лишь перегородка, отделяющая человека от чистых интеллигенций, через которую мы зрим истинное знание. Зачем же предавать ей значение имени? Корявая палка пророка Саула, подобранная им у дороги, не спасет тебя от голода, так как избавит от нужды любого трость со слоновой костью и золотыми кольцами на ней. Золото исчисляемо, к истине и оно не приведет, но имеет цену. – Вздохнул и принялся вновь поучать свое дитя дальше. – Все в подлунном мире есть числа. Египетские жрецы постигли магию чисел, а магия чисел ведет к гармонии пропорций. Взгляни на пирамиды и поразись их числовым пропорциям, и увидишь числовые знаки Вселенной! Возьми единицу! Не являясь числом как таковым, Единица представляет из себя Сущность. Единица, не являясь ни четным, ни нечетным числом, – абсолютное число. Добавь к четному числу, она делает его нечетным, добавь к нечетному, она делает его четным. Единица создает. Единица – Бог, которому нет равного числа. Бог, взглянув на Себя, как в зеркало, представил число два. Пару: свет и тьму, согласие и несогласие, вдох и выдох, день и ночь, рождение и смерть. Двойка порождает тройку. Были волей Бога Сам Он и человек из глины, Бог вдохнул в него дух и стало трое: Бог, человек и дух. Число четыре есть стихия: огонь, воздух, земля и вода. Число пять изобрази как звезду с пятью точками. Смотри, жрецы рисовали число четыре как четыре линии в одном ряду, и число пять как две линии над тремя линиями. Отделение двух линий от принятого ряда уже не только знания, но и тайна. Число семь ты можешь видеть в камне. Смотри, пирамиды, имеющие квадратную основу, символизирующую четыре элемента, и

треугольные стороны, символизирующие дух, и есть Семь. Это число развития и на нем зиждится смысл мироздания. Вся человеческая жизнь происходит в цикле 4 умноженной на 7. Семь часто составляет набор – 7 дней недели, 7 цветов спектра, 7 нот музыкального звукоряда, да мало ли примеров. О числе восемь я скажу словами из папируса жрецов: «Я – один, который становится Двумя, который становится Четырьмя, который становится Восемью, а затем я Один опять». Восемь – это число четырех пар исконных сил: Ночи, Тьмы, Тайны и Вечности. Число восемь открывает нам доступ к тайнам мироздания. Человеческое дитя в утробе матери проводит девять месяцев. Этот факт крайне важен для понимания того смысла, что Группа цифр, из которых состоит произведение девятки на любое другое число, в сумме всегда дает всю ту же девятку. Девять завершает ряд цифр, за которым мы видим число десять и в нем снова Единицу. Только глазами цифр мы зряче видим мир и то, что над миром и за миром, в астрологии нет цифр и она пустословие и мистика, цифры есть в астрономии и она – подлинная наука. Но только Единица не позволяет толковать себя как цифру, и приводит к мысли: не уверяй, что Всевышний один, но заявляй, что в Боге нет никакого различения. Иные же цифры сами подчинены ранжиру и, хвала Всевышнему, исходя от единицы, мы можем просчитать все, что есть в подлунном мире. В 7-й главе 1-й книги «Судей» разве не сказано котел царя Соломона, сделанный мастером Хирамом из Цура, как «...море литое десять локтей от края до края круглое вокруг, и пять локтей высота его и линия в тридцать локтей опоясывала его вокруг». И написано в стихе 23 «קוה» – численное значение 100+6+5=111 а слово קו— 100+6=106. Помножим и получим 3.1415926… с 5 знаками – число, известное до Моисея только жрецам фараона! Зная это число, узнаем мы все звезды и планеты, как знаем котел Соломона. Узнаем, что есть волны не только в сотворенном Господом жидком, но и в твердом и заставим твердое колебаться и течь, как жидкое. Узнаем, как число людское сливается в народы и как распадается.

Стоявший до сего момента с туповатым лицом сын старца вдруг разволновался и поспешил сам высказаться без всякого на то разрешения:

– Отец, слово.., – и, сев на корточки, написал на песке קוה. – ...женского рода, а слово קו мужского. מסורת и оно женского рода, а устное произношение называется «микра» — מקרא и оно — мужского рода. В скинии завета все предметы были прямыми. Поэтому Рамбам изобразил Менору с прямыми ветвями! На небесах нет круглых линий, посему возможно число фараоновых жрецов есть отражение некоторой духовной истины...

Старик помрачнел и, оборвав своего отпрыска на полуслове, упрямо, словно и не слышал его слов, продолжил:

– Разве, повторяя Тору, мы не видим 14 книг, каждая из которых представляет особую категорию. И каждая категория имеет в себе числа: число поклонов, число праздников, число молитв и постов. Некоторые неумные требуют, чтобы я признал мусульман язычниками, но разве Коран не написан,

как и Тора, буквами, которые сами есть цифры? Однако, напомню: просчитать, но не толковать! И отрицай каббалистические первочисла. Сфирот темны и не имеют никаких атрибутов, а значит не рациональны. Только счет позволит нашему богоизбранному народу не стать менее шестисот тысяч. Грядет век пророчеств, открываемых Богом через ищущий интернет[47] . Я не зря через пески привел тебя в это языческое капище. Оно пало, но не пал Человеческий град, построенный благодаря накоплению знаний чисел.

– А разве незнание чисел, но знание слов, ниспосланное Всевышним Богом, не укрепляло человека, отец? – спросил юноша.

Старый родитель сердито ответил отроку:

– Хавал ал ha-зман! – и, сдержав приступ раздражения, принялся далее велеречиво разъяснять сыну значения цифр на примере календаря.

– ...народ же, отказавшийся от своего летоисчисления, становится другим народом. Помни, сын мой, если какой-нибудь правитель задумал поменять летоисчисление, он, прежде всего, быть может, не понимая того сам, покушается на твою веру в твоего Бога. Да, сегодня 1001 год хиджры пророка Мухаммеда, но мы-то с тобой знаем, какой действительно сегодня год и какое число со дня сотворения мира...

Арон слушал, слушал его и заскучал песчаной скукой египетских пирамид; хотел было все-таки вступить в диалог с запальчивым старцем, но, видимо, снова проскочил по времени, теперь он видел перед собой только мужчину средних лет в простом грубом хирке из верблюжьей шерсти.

– А где старик? – спросил его Арон. – Только что стоял здесь тип со своим сыном...

Мужчина посмотрел на него и ответил:

– Дух, ты упоминаешь моего отца Абу Имрана Муса бен Маймун ибн Абд-Алла аль Куртуба – личного врача визиря султана Египта и Сирии Салах ад-дина. А я сын его – Авраам Маймонид, вслед за отцом я стал раисом египетских иудеев. А ты, дух, не отвечай, кто ты и чей ты. Ибо отец велел мне общаться только с духом, понимающим истины Талмуда, примиряющий истины откровения с истинами разума, и дух тот – закон, руководство для тех, которые, оставаясь верными, поражены противоречиями. И ты явно не тот дух.

– Это почему же, – возмутился Арон, соображая, на сколько лет он, на миг забывшись, перекочевал из прошлого. – Я тоже полон противоречиями.

Выпалив столь нелепую фразу, Арон еще некоторое время соображал какие его терзают внутренние несогласия, но ничего придумать так и не смог. Резкая смена чувств, конечно, была иногда мучительна, но даже самая глубокая тоска в нем не отрицала радости, как не отвергают друг друга краски. Черные и белые пятна и линии, как бы они не пересекались, не перечеркивали друг друга, всего лишь узор и никак не конфликт. Важны не краски, а идеи.

[47] Старик оговорился, имея, видимо, в виду интеллект.

Идеи – вот полководцы враждующих чисел.

Оказалось, что последние слова он произнес вслух. И они, вполне банальные по своей сути, произвели на главу иудеев Египта ошеломляющее впечатление. Какое-то время он молчал, затем твердо заявил:

– Все равно говорить я с тобой не намерен. Двадцать два года после смерти отца я прихожу к этим развалинам в определенный день лишь для того, чтобы сказать тебе, дух, вот что. В век Мессии мертвые воскреснут, их души и тела соединятся. Позднее они умрут снова. Олам ха-ба.

Арон попытался обдумать услышанные слова – не получилось. И он решил просто съязвить в ответ:

– Да ладно тебе, Аврамчик! Сам не знаешь, что тебе надо-то. С духом, видишь ли, не иудейским говорить ты не намерен, а сам носишь суфийскую одежку.

Авраам в ответ произнес:

– В трех из четвертых Кифайя я продолжаю путь отца в Провансе и Берлине, на одну четверть у меня свой тарикат, – и, развернувшись, стал уходить, бросив на прощанье:

– Вам ведомы пути древних святых Израиля, которые исчезли или почти утрачены. Теперь эти пути стали уделом суфиев ислама – по причине беззаконий Израиля.

Арон хотел было крикнуть удалявшемуся раису аль-Яхуд, что уже много лет над ним, суфием Авраамом Маймонидом, занесен оголенный меч, но подумал, что еще одна заумная фраза излишне перегрузит словесные формулы, да и числовые тоже, доведя алгоритм храма «Нумератор чисел» до степени, совершенно недоступной даже для писателя, который вдруг вздумает написать роман-расследование о нем, и промолчал. Но и здесь душа умного-преумного ученого ошиблась. Врач А-баев (а именно ему было суждено приступить к созданию рамана-расследования о профессоре с пулей в голове) был человеком, мягко говоря, недалеким, но обладал совершенно очевидной способностью зреть в корень, остро вникать в самую суть проблемы. Правда, когда в очередной раз Арон, очнувшись от чувства тоски, обнаружил своего карагандинского приятеля среди все тех же храмовых руин потерянным и измученным, то от скуки все же поделился с ним историей об отце Маймуне и сыне его Маймониде и разногласиях между ними. И услышал в ответ:

– Не меч, а сенокосилка.

Профессор Арон Сулейменович Гаипов подминал под себя мир с тяжестью ледников Антарктиды и со стремительностью компьютерного вируса. Он отдал приказ Рамушу, приняв террористическую тактику исмаилитских ассасинов, валить без разбора верхушку правящих элит всех стран. Но прежде, как когда-то в старину Старцы гор засылали скрытых убийц во дворцы Ближнего и Среднего Востока, он внедрил во все администрации мировых

правительств и лучшие кухни столиц своих зомбированных террористов, терпеливо ждущих с кинжалами и ядами приказа. Убийство пары-тройки премьер-министров с королями заставили монархов и президентов вздрогнуть и прислушаться к тому, что говорил профессор. Но после того, как в швейцарском отеле нашли повешенным наследника банковской империи Ротшильдов, они потребовали у профессора Гаипова в своем предварительном торге с ними вернуться к обычной практике террористов – взрывать здания с клерками или вагоны метро с уставшими тетками и подростками, уставившимися в свои контрафактные телефоны, боссы правящего класса отказались встречаться с Гаиповым. Тогда он стал взрывать всех подряд, иногда целые страны. После долгих препирательств мировое закулисье, отвергнув требование Арона Гаипова провозгласить его Бессменным лидером всей Земли, согласилось признать профессора одним из них. Профессор неохотно подписал это соглашение – перспектива быть гонимым по всей планете всеми армиями и самыми всевозможными спецслужбами никак не устраивала новоиспеченного фараона, и он приказал Рамушу отстать от сильных мира сего. На границе Египта и Судана между пустыней и берегом реки он купил землицы, величиной с Данию, и выстроил в ее центре копию дворца Хнумхотепа Второго, с понтийскими пальмовыми росписями золотом на внешних стенах и колоннами, повторяющими изгибы древесных стволов с узором вьющихся растений. И заодно объявил себя фараоном Ароном Вторым Срединного Царства мертвых. Правительства соседних африканских государств предприняли полицейские операции, но получив солидные кредиты от гаиповских агентов из Международного Валютного фонда, сделали вид, что чудачества нувориша разворачиваются вне их стран. Пока строили пирамиду Арона Второго, высотой в три хеоповских, Организация Объединенных Наций признала независимость и территориальную целостность новоявленного Срединного Царства. А что делать, если новоявленный фараон где-то раскопал подлинный папирус с династиями правителей Египта, так называемый Список царей из династии богов, в котором присутствуют имена Ра, Геба, Осириса, Сета и Гора, затем Тота, Маат. И на этом папирусе, датированном эпохой Рамсеса Второго, после божественных правителей перечисляются имена тридцати восьми правивших Египтом полубогов: «девятнадцати Владык Белой стены и девятнадцати Старейшин Севера», среди которых и какой-то Арон Первый. Взнос Арона Второго в ООН суммы в три триллиона с небольшим миллиардов $ US убедил всех, что он является прямым продолжателем династии Арона.

Во всей этой истории никем не замеченным остался один нюансик, заключавшийся в том, что гаиповский компромисс в борьбе за власть посеял в груди Рамуша первое семя презрения к командиру Арон-беку. К этому времени горный юноша уже скверно изъяснялся на нескольких европейских языках, включая и русский, и как мог, донес свое сомнение в полноценном гаиповском

вождизме до А-баева, рассчитывая в то же время, что биограф его главаря ничего не поймет:

– Стрелять, говорить, туда не туда. Понимаешь?

В действительности А-баев не понял, что Рамуш выдал тайную мотивационную струну поведения Гаипова, и в ответ произнес длиннющий и сумбурный монолог, в котором рассуждал о пространстве и времени, и с неизвестно как выпершей фразой, но удивительно полностью удовлетворившей младого террориста:

– Тело без духа стремится лишь сберечь себя, пусть и гаже, но глаже.

К формированию своего государства – Серединного Царства мертвых, профессор-фараон приступил продуманно, постоянно консультируясь у экспертов группы Ии Кэ и проанализировав все возможные варианты. Коренное население, прежде всего с его традиционным укладом и мировоззрением, никак не могло устроить новоявленного правителя, и он переселил арабизированых чернокожих туземцев в опустевшие земли Латвии и Эстонии и собрал свой народ из гомосексуалистов, поступавших со всех концов света. Это сообщество устраивало его тем, что на три четверти состояло из умственно отсталых особей и на четвертушку из личностей креативных, особенно когда дело касалось визуальных и вербальных сфер восприятия. Но и первые, и вторые всегда выглядели забавно, даже оригинально, что придавало фараонову царству праздничную атмосферу. Но главное, они более всех других страт были годны для покорения всей планеты – любое меньшинство всегда стремится стать большинством, но своей цели из них добивается только самое бессовестное. Лесбиянок, правда, Гаипов сразу же отринул, не признав их сексуально нетрадиционными. Понятно, что в его решении отразился его природный мачаизм, но действительно, о каком половом контакте у них может идти речь, если не происходит никакого переброса семени из одного индивидуума в другой индивидуум?

– Так, баловство на уровне глубокого петинга, – рассуждал Гаипов, сообщая о выборе в качестве своих подданных А-баеву, которому он своим фараонским указом пожаловал титул Писца, смотрящего на надписи писцов. – Of course, ты можешь возразить, что обмен генетическим материалом может произойти и в контакте пальца и промежности однополых существ. Но, мой преданный Писец, любой процесс, кроме механического движения имеет и символическую парадигму. И в этом плане мои пидары абсолютно идеальные граждане страны Мертвых. Ведь прямая кишка есть не что иное, как трубка для каловых масс, отходов жизнедеятельности организм. В этой массе нет места даже одноклеточной жизни. Скажу больше и откровенней, кал лишен и биоэлементов, пригодных для жизни. И в эту же мертвую зону и попадает мужское семя – концентрат биологической жизни. Это более чем символично. Это откровенно. Да, мифы утверждают, что жизнь может появиться из всех

отверстий. Из уха, ноздри. Фольклорные казахи говорили о сыне, похожем на отца: «Словно выпал из его рта». Зевс, бедняга, породил свою дочурку Афину из своей башки. Но ни в одном мифе, ни в одной сказке ты не встретишь рождение живого из прямой кишки. Из жопы прет только мертвечина. Так что гомосексуальное сношение мужчин есть совершенный ритуальный акт смерти во имя Страны мертвых. Замечательно.

– Простите, ваше величество Арон Фараонович, – прервал его Смотрящий на надписи писцов Писец. – Нельзя ли попроще, иероглифами никак не выходит записать «каловые массы».

– Пиши «говно».

– А можно «фекалии»?

– Ну, какая тебе разница? Ты все равно ни одного иероглифа правильно не рисуешь. И не надо чиркать какими-то загогулинами чистый папирус. Папирус тоже стоит денег. Нарисуй какашку и все. Хотя все эти извращенцы и какашки собачьей не стоят. В половом вопросе самая важная вещь – женская грудь. Я вот недавно перекупил телеведущую с такой выдающейся грудью, что телевизор можно смотреть сбоку.

И на этом ценные указания Гаипова закончились. А-баев стал давно замечать, что прежняя бурная деятельность профессора стала испаряться. Что и ожидал психиатр А-баев. Трудно, надо сказать, куда-то стремительно двигаться, что-то доказывать, чего-то достигать без эмоций. Они ведь для человека как горючее для машины. Разозлился и пошел крушить налево и направо. Влюбился и тут же бросается на стихи. Живем ведь чувствами, не важно какими – сострадательными, злыми, стыдливыми... Да мало ли чувств! А у Гаипова, как у тела без души, остались лишь мысли, связанные с врожденным рефлексом самосохранения. Это незыблемый физиологический закон проявился и в поведении профессора Гаипова, принявшегося большую часть времени проводить в атомном бомбоубежище под своим царством. А мог бы добро творить, если уж так зло надоело.

А-баев, выросший в атмосфере советской романтики, пытался, поглядывая на несметные богатства, побудить фараона к созданию новых университетов и галерей, или хотя бы к открытию клуба самодеятельной песни «Бригантина», но все напрасно. Гаипова уже ничего не волновало, не говоря о каких-то эфемерных эстетических чувствах. А нравственные тем паче. Что, впрочем, не избавляло его, как правителя, от проблем.

Но как не нахваливал гомосексуалистов Гаипов, но от полного заселения ими Срединного царства пришлось отказаться. К сожалению, не вытанцовывалось у них тотальное поклонение только фараону, даже у самых тупых из тупых. И бил он их, и травил, и казнил, но все норовили вместо государственного флага вывесить какую-то тряпку с семью цветами радуги.

Иногда фараон Арон Второй шел в молельню из красного дерева, в которой А-баев не творил заказанное ему биографическое произведение. Стены храма

были покрыты изображениями погребального шествия и обряда отверзания уст мумии. Как правило, спавший, сидя в позе Смотрящего на Надписи писцов Писца, А-баев приобрел способность при появлении босса мгновенно изображать из себя писателя, задумавшегося над очередной главой романа, но фараон его не изобличал, а лишь снисходительно кивал ему:

– Думай, думай... Хотя нет, послушай. Я решил совершенно изменить событийный ряд моей биографии да и трактовку.

А-баев обрадовался. Он уже давно мучительно искал возможность переиначить всю фабулу, представив, что как будто бы все происходит в мире муравьев и переименовать главного героя. Дабы никто не догадался, что он имел к этой истории хоть какое-то отношение. Однако намеревавшийся призвать к созданию новой версии тиран замер с полуоткрытым ртом, что стало случаться с ним все чаще и чаще. А его биографу оставалось лишь ждать.

Можно было сжечь роман. Но писательский дар ему был ниспослан небесами, каждая его строка была на вес золота. Потомки ему не простят кремации такого шедевра. Но находиться рядом с этим фараоном он был уже не в силах, тем паче писать о нем, еще чуть-чуть и придется сунуть голову в петлю и повиснуть, мгновенно жидко отяжелев в штанах в каком-нибудь закутке. А что если «изменить трактовку…» означает требование окончательно обелить его? Нет, это невозможно, это за пределами добра и зла! На это он никогда и ни за что не пойдет! Через час ожидания и горьких мыслей он вновь услышал голос сильно располневшего в последнее время Гаипова:

– Эта фраза никуда не годится.

– Это совершенно точная копия надписи из гробницы Ахетатона. Искажения в ритуальных текстах недопустимы. Я как писатель, – возразил А-баев.

– Заткнись. Никто и не собирается отступать от канонов. Пиши о моей новой задумке, о new-храме Осириса. Иди за мной.

И фараон Арон Второй, тяжело дыша под жировыми складками на груди, повел встревоженного, смотрящего Писца в глубины бомбоубежища своего Главного дворца, а затем на лифте опустил на минус непонятно какой уровень. Там они оказались под огромным куполом, всей своей безграничностью создававшим видимость майского неба. А над золотым песком А-баев увидел ряды розоватых телес, торчавших из сообщающихся сосудов: нижние мозолистые части их, гораздо более широкие, не позволяли выскользнуть из стеклянных горлышек верхним концам с ломкими отростками, сочными листьями и головастыми цветами.

– Что это?! – зашептал, охваченный животным ужасом, литературный деятель здравоохранения.

– Мой новый висящий сад, – с удовольствием произнес Арон. – Взращен, можно сказать, лично мной. My new invention, ноу-хау, как нынче модно говорить. Берем человеческую клетку, причем, только мою, кое-что

подправляем в ее генетической модели, сажаем в питательную среду и выращиваем нужное нам растение. Мои антропорастения куда прикольней, чем твои не стерильные стволы естественных деревьев. Посмотри, на них настоящая человеческая кожа. Там дальше есть у меня и чернокожие деревья. Они особенно теплые, любят ласку и сами способны ластиться. Чуток добавляешь в воду наркоты, и как они прелестно колышутся, стелятся, благоухают. Все предельно просто. Можно даже добиться производства говорящих растений, но надо ли? Начнут ныть, клянчить, сплетничать...

А-баев не слышал новоявленного садовода, лишь отводил глаза, как мог, от взоров глазных яблок, висевших на гибких стебельках. Пока не вывернул свою шею чуть ли не на 180 градусов и не рухнул на пол. Арон перешагнул через пораженного его садом наемного соглядатая-описателя и продолжил ботаническую речь:

– Вырубим все пальмы в моей стране, а потом на всех континентах, и посадим там эти штуки.

– Нет! Не надо! – завопил А-баев. – У них тень не такая густая, как у пальм, – затем спохватился и стал хитрить, как преданный заказчику биограф – пытающийся видеть только позитивные пятна в жизни и деятельности своего заказчика. – Это замечательно! Сколько людей с трансмуральными инфарктами, ожогами, раком легких, с пиелонефритом в конечной стадии можно теперь спасти, заменив им больные органы твоим продуктом. Человечество скажет тебе большое спасибо!

– Это еще зачем? Ничего я никому заменять не собираюсь. Тем более собственной материей, – холодно ответил Гаипов.

– Но как же? – удивился А-баев. – А зачем тебе эта лаборатория тогда?

– Просто так. По эстетическим соображениям.

А-баев встревожился:

– Нас, надеюсь, не станешь клонировать?

– Нет. Зачем? Все вы вполне взаимозаменяемы и в натуральном состоянии. Только себя воспроизвожу, но не в полном цикле...

И не договорил. Но А-баев достаточно хорошо узнал своего давнего приятеля. Знал, что тот мог многое скрывать от него, биографа. И стал догадываться, что Гаипов, испытывавший теперь удовольствие только от онанизма и еды, придумал, что таким образом получить хоть еще одну капельку удовольствия от наращивания себя.

И в этом нет ничего для кайфа. Тупо и неощутимо множится и все. И биограф поневоле спросил ехидно:

– А чего ж ты себя в полноценном варианте не производишь? Может быть, тогда отстанешь от меня, китайца и Рамуша. Будешь получать полное удовлетворение от общения только с сами собой.

На что толстый фараон ничего не сказал, а лишь снова впал с маскообразным лицом в ступор.

Бездушные тело Арона Гаипова время от времени ухитрялось живой мимикой изображать грусть или радость, могло подбирать к ситуации и соответствующий тембр голоса. Пожалуй, и детектор лжи в этом случае не изобличил бы его постоянное, абсолютное вранье. Ведь его сердце всегда билось ровно, и дыхание не волновалось ни при каких обстоятельствах. И тут проницательный А-баев догадался, почему Гаипов таскает его с собой по всему свету. Со всей очевидностью стало ясно, что апологет точных расчетов доктор физико-математических наук Гаипов должен был знать ту неизбежную минуту, когда он, прежде чем труп остынет, станет мертв. И здесь непременно должен быть рядом специалист, который элементарно не только диагностирует смерть, но и будет свидетельствовать, что покойный умер счастливым.

А-баев, дерзко и страшно труся в душе, шагнул к фараону и, оттянув пальцем ему веко, заглянул в черный, бездонный зрачок и произнес утешительно:

– Нет еще, – помолчал и затем добавил по-дружески: – Давай я тебе пока поставлю диагноз: инвалидность.

– Поставишь как психиатр? – заинтересованно спросил Гаипов.

– Нет, – опешил А-баев, вспоминая, что сумасшедшие, без сомнения, имеют способность страдать, что и позволяет называть их душевнобольными.

– По причине ампутации души, – вывернулся врач. – Вот только какую группу инвалидности определить?

Слава Богу, Гаипов вновь впал в прострацию.

Гомосексуальное население не полюбило своего правителя. Вначале он показался им своим в доску, даже имел сношения с некоторыми как активный партнер, но без нежности, без теплоты, как какой-то автомат... А потом, когда фараон окончательно перешел на онанизм, буквально возненавидели его. Скоро составили заговор. Вначале они во всех столицах мира принялись распускать о нем негативную информацию и печатать во всех глянцевых журналах порочащие его статьи, доходя даже до того, что стали указывать на него, как на фашиста. А когда в одном из интервью профессор Гаипов в ответ на нападки заявил, что он не только фашист, но и сталинист, они принялись вышучивать его персону. Карикатуры рисовать. Имея в коллективе генетиков фараонства своего человека, они из аронообразных растений вырастили маленьких неразумных аронят, и стало модным на всех светских тусовках и Москвы, и Парижа появляться с ними, водя на ошейнике.

– Ничего, все равно проведем полную ликвидацию, – заверял своего биографа фараон. – В клонировании у меня, как у тела, ахиллесова пята. И в то

же время, я не вижу логического смысла в ликвидации всех этих клоно-аронят. Печально. Вот и относись теперь к человечеству хорошо.

Сексуально нетрадиционные индивиды отличаются от нормальных людей и тем, что имеют неукротимую склонность все доводить до абсурда, до крайностей. Не случайно среди них много революционеров. И на этот раз седовласый генетик-гей взял и тайно вывел из стволовых клеток тела Арона Гаипова разумных клонов. Да настолько сообразительных и хитрых, что ароно-sapiens-клоны не преминули оттеснить гомосексуалистов из власти Царства мертвых, а затем устроить им чудовищный геноцид. Они готовы были и самого фараона кокнуть, что-то подсознательное, нутряное мешало им в этом плане. Не доработал ученый жопошник, точнее – не успел завершить окончательный партеногенез, повешенный в центральной оранжерее клонов на фаллосоподобном дереве-ароне. К тому же эти AS-клоны были уродливы, у кого-то из них было по шесть пальцев, у кого-то три уха или шесть сосков. Так что лишись они своего патрона, их всех бы африканские племена убили бы как мутантов. Да и в Европах никто не открыл бы им свою дверь. Разве что в цирке шапито.

AS-клоны, составившие теперь новую элиту фараона, заставили и самую старую компанию профессора Гаипова бояться, сбиться теснее и уйти чуть ли не в подполье. Разношерстная и изначально раздираемая ненавистью, она на нильском бреге сбилась чуть ли не в монолитную фронду. А фрондировать она принялась после совершенно возмутительного случая. Вдруг ни с того, ни с сего фараон при всей честной компании вдруг взял и хрястнул медным жезлом по темечку Пир-Рустема и Пи бряк с ног и умер тут же. А-баев даже заорал – настолько неожиданно было убийство:

– За что ты его так?! Что он тебе сделал?!

А Гаипов, гад, в ответ даже бровью не повел. Но когда фараон скормил крокодилам всю свою математическую группу, составленную из лучших умов этой науки, не только А-баев встревоженно потребовал разъяснений. И на этот раз всесильный профессор снизошел до объяснения своего поступка:

– Функция завершена.

Первую оппозиционную скрипку играл, понятно, А-баев, но и Горюйко с сестрой Верой имели вес. Рамуш помалкивал, но тоже крутился рядом. К компании прибился и китаец Ии Кэ, а потом агент фонда им. Зиноиды Прон, прикидывавшийся чернокожим шведским египтологом. Опасаясь собираться вместе во дворце, фрондеры стали уединяться в развалинах древнего храма и пить там виски «Choice Old Cameron Brig». Незримо там же присутствовала, понятно, и душа Арона. Куда же ей, бедной, деться, если она зависла?

Беседы, как и принято в среде советской интеллигенции, касались духовно-философских тем с отчаянной диссидентской ноткой. И задушевно пелось: «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть по одиночке».

Заводилами, конечно, были А-баев и Горюйко. Раз Осип Леонович доверительно и убедительно, густо цитируя известных конспирологов, заговорил о жидо-масонском заговоре против христианского мира. Конфуцианец Ии Кэ, отрицавший в гостинице «Украина» теорию заговоров, на этот раз лицемерно не стал возражать украинцу, что невероятно возмутило А-баева. Он не стал отвлекаться на опровержение неумных антисемитских высказываний и сразу обрушился на фараоновского политаналитика Ии Кэ, заявив, что те, кто не опровергает теорию заговоров, сам заговорщик. Хотя в глубине своего сознания считал, что миром со времен фараонов правят жрецы чисел и жрецы слов. И в доказательство своих слов зачитал мощный отрывок из романа одного классика сакральной литературы[48] : «Мэр Большого Бейрута Мустафа Ли зашептал чуть ли не в ухо коммутатору:

– В древнейших государствах власть принадлежала брахманам, или иначе – жрецам. Во II тысячелетии до н. э. каста жрецов разделилась на две группы: жрецов слова и жрецов чисел. Из числа первой формации позже вышли Будда, Лао-Цзы, Пророки Святых книг. Главным инструментом постижения Истины для них были слова: «Да будет слово». Из них составлялись нужные формулы: молитвы, заклятья, благословения и другая подобная литература. Первые жрецы чисел появились в Египте. Сведенья о них зафиксированы древнеегипетскими иероглифами. В тексте о богине Сешат, дочери Тота, бога мудрости, счета и письма. Древние римляне называли его Меркурием. Как бог торговли, прибыли и обогащения, он у них изображался с кошелем, имел свой храм у Великого цирка в Риме и своих жрецов, вербовавших из жителей Римской империи коллегию почитателей, впоследствии усилившей свое влияние настолько, что она получила статус императорской религии. Но прежде была все же египтянка Сеташ. Жрецы ее храма ведали искусством цифр, занимаясь в основном подсчетом военных трофеев, пленных, даров и дани. В течение тысячелетий эта каста постигла, возможно, полный смысл цифр и счета. Пророческая сила Моисея зиждилась не только на его уникальной способности слышать слово Божье. Во время своего пребывания в среде духовной элиты Древнего Египта он узнал и тайны цифр. По крайней мере, ему принадлежит идея каббалистики. Одни создатели каббалы утверждали, что наука о цифрах досталась им именно от Моисея, другие заверяли, что каббала пришла к ним от халдеев через пророков Даниила и Ездру. Особенность Даниилова книги заключена в том, что в ней он одним из первых пророков стал оперировать цифрами, в частности, в предсказаниях о будущем он называет конкретные даты. Смысл каббалы раскрыл ее крупнейший адепт Элифас Леви: «Каббала, или наука еврейского предания, могла бы называться математикой человеческой мысли. Это алгебра веры, она решает задачи, как уравнения, определяя неизвестное. Она дает идеям отчетливость и точность чисел». Канонические священнослужители иудаизма

[48] Ш а х и м а р д е н. Хроника коммутатора. – Алматы: Раритет, 2002.

изначально негативно относились к приверженцам каббалы, считая, что каббалисты посягают на основополагающий принцип иудаизма – непостижимость понимания Бога и Его замыслов. Но даже не в их власти было остановить развитие каббалистического учения. Каббала стала всемирным магическим ремеслом. Крупный авторитет каббалистики Англии Диан Форчун отмечал: «Интерпретаторов каббалы следует искать не среди раввинов страны Израиль, иудеев по крови, а среди тех, кто является Избранными Людьми по духу, – другими словами, посвященными». В конце XIV века из среды шиитских священнослужителей выделяется группа хуруфи – «те, кто оперирует числами». Основателем ее был Астрабади, впоследствии казненный за еретические идеи. В исламе, как и в иудаизме, также не приветствовались посягательства на трансцендентность Единого Бога способом толкования Его проявлений. Гениальный суфийский мыслитель Ибн Араби полагал иначе, считая, что элементные формы и энергия в мире световых духов интеллегибельны, то есть постижимы. Сразу же за этим отрывком в его классическом труде «Гемма мудрости» следует совершенно загадочная фраза: «Все это – совокупление первого нечетного числа в каждом из этих отношений».

С развитием цивилизации роль экономической стороны человеческого сообщества возрастала над духовной. Следовательно, неизбежно усиливалось и влияние жрецов цифр. Для построения цифровых формул и методов воздействия закономерно требуется прежде всего точка отсчета. Она определялась посредством календаря. Для максимального соответствия потенции бога Тота жрецы чисел прибавляли к 12-месячному годовому календарю пять добавочных дней. Этот факт показывает, как каждая цифра была крайне важна для их ритуалов и операций. Вот почему, пытаясь восстановить свои утерянные доминирующие позиции, лидеры жрецов слова через каждые полтора-два тысячелетия меняли начало исчисления лет. И каждая вера держалась за свою дату, и никогда ни иудеи, ни мусульмане, ни православные не отступят от своего летосчисления. Уступка с их стороны будет означать подчинение актуальным на сегодня цифровым задачам, а не молитвам. Первые жрецы цифр, без сомнения, воспринимали цифровые символы как проявления сущности богов. Но всегда за эпохами пророков приходит время церковных функционеров. Коды и ключи к цифровым системам и закономерностям от жрецов счета наследовали манипуляторы счета.

– Стоп! – потребовал Тур От-Агасы. – Это все интересно, но ты мне все ухо заплевал. Давай-ка конкретней. Имена?

– Какие еще тебе имена? – возмутился недоверием к нему Мустафа.

– Если были какие-то манипуляторы счета, то они должны иметь имена.

– Пожалуйста, но только тебе! Ты ужаснешься. Вот тебе имена: Апщарнес Фивский, Великий Нечтох, Маленький египтянин Нутстафалотип, Златорукий Фефляций, Мрктендор, Арст, Яо Нань, Хвататель Ро...

– Погоди, погоди! Что ты тут мне впариваешь! Мне эти имена ничего не говорят, – запротестовал Тур. – Хочешь, чтобы я тебе поверил, назови хотя бы одного, которого бы знал я сам.

– Как, ничего не говорят? – возмутился Мустафа. – Я же тебе назвал самые знаменитые фигуры. Это пророки счета, гении! Цари магических цифр! При Златоруком Фефляции римский император Цезарь боялся присесть. И не португальский король или там испанский, а Арст лично финансировал экспедицию Колумба. Между прочим, оплачивал корабли, уже имея у себя на руках карту двух будущих Америк. Ты, конечно, уверен, что лютеранство придумал Мартин Лютер? Ха-ха! Он лишь подставная фигура, не случайно он прожил остаток своей жизни в полной безызвестности, на каком-то чердаке. Никому не нужен был после того, как им попользовались. Идеи протестантизма ввел в европейскую цивилизацию жрец цифр Пох! Какой удивительно проницательный был человек, как видел будущее! Любовь к Богу в католичестве мешала развитию бизнеса, и тогда он взял и изящно заменил пару понятий, заявив, что трудолюбие во имя Бога имеет свою меру: деньги. Ну, я вижу, что и это имя тебе не знакомо. Ладно, Карл Маркс. Он не из когорты самых-самых, а, как говорится, из второй обоймы, из тех, о ком можно было говорить.

– Так и он, что ли, был жрецом цифр? – удивился Тур. – А я всегда принимал его за порядочного человека. Заботился о пролетариате, и вот тебе...

– Да, был. Ему было поручено раскрыть закон о прибавочной стоимости, чтобы вызывать социальные революции.

– Что, и революция прибыльный бизнес?

– Еще какой прибыльный! При революциях в государствах наступает настоящий хаос учета. И тут только успевай грести лопатой. Гигантские состояния можно вычислить в свою пользу.

– Что-то тут не склеивается. Врешь, небось, насчет Карла Маркса? Если бы он был манипулятором счета, то должен был быть сказочно богат, а между тем сидел без денег. Это точно, читал о нем.

– Не надо жрецов счета так примитивно воспринимать! Деньги – это производное. Главное ведь – власть.

Коммутатор Тур От-Агасы вытянул оборванную ярко-красную нить из вязаного тапочка и задумчиво накрутил ее на свой палец. Указывая этим же пальцем, он остановил говорившего и говорившего в запальчивости Мустафу и сказал:

– Не спеши. Мы перескочили через целую эпоху. Давай последовательно все разберем, я пока никуда не тороплюсь.

– Хорошо, хорошо, – согласился Мустафа. – Но время поджимает. Если позволишь, я кратко. Где мы там остановились?

– На Моисее.

– Ага, на Иосифе Прекрасном. Так вот, – заговорил о следующем ветхозаветном пророке ближневосточный политик, – пророк Иосиф был тем и велик, что, в частности, растолковал сон фараона о семи тощих и семи упитанных коровах во благо своего народа. На его месте манипулятор чисел использовал бы такое знание для колоссальной спекулятивной операции. Впрочем, история может рассказать о множестве подобных случаев. Наиболее рельефно проявляются корыстные акции выродившихся жрецов цифр уже в средние века. Экономическая жизнь государств держалась на применении монет из драгоценных металлов. В Западной Европе гарантом этой модели являлся орден Розенкрейцеров. Манипуляторы счета, воздействуя на короля Франции, добиваются разгрома этого влиятельного ордена, вышедшего из Иерусалима. Вводятся в обращение монеты со сниженным содержанием драгоценных металлов, и монеты из рядовых металлических сплавов, а затем и вообще деньги начинают печатать на бумаге. Это открыло самое широкое поле для финансовых махинаций. Введение в оборот векселей и других так называемых ценных бумаг еще более расширило возможности для скрытых операций по перераспределению и имущества, и средств производства. С появлением компьютеров деньги приобрели вообще виртуальный характер. Выражение «деньги из воздуха» приобрело конкретное значение. Биржи превратились в мощнейшие цеха деятельности манипуляторов счета, так как инструментами труда там являются цифры. Банальным, но к месту является утверждение, что регулярно происходившие крахи бирж одновременно с разорением сотен тысяч людей приносят колоссальную прибыль десятку человек, хотя составить полный список никогда никому не удавалось. Даже если рационально отказаться от идеи присутствия за кулисами финансовых рынков мира каких-то мифических манипуляторов, то и тогда любой более-менее грамотный политолог или историк уверенно выскажется, что за многими войнами, революциями и иными кровавыми мистериями и последовавшими за ними биржевыми катастрофами стояли финансовые интересы отдельных людей или групп. Каждый специалист в области политэкономии способен указать на документальные свидетельства, подтверждающие это мнение. Явные примеры: Опиумная война в Китае или Гражданская война между Североамериканскими штатами.

Ошарашенный обрушившимися на него фактами От-Агасы потерянно молчал.

– Манипуляторы чисел были и есть везде! – вещал дальше Мустафа. – Вот ты по национальности кто?

– Казах, – осторожно признался его собеседник, опасаясь как бы и его Мустафа не приписал, если не к манипуляторам, то к их пособникам.

– Вот тебе о твоей истории, – продолжил он свою лекцию. – Обратим взгляд на Великий Шелковый путь, веками связывавший Китай, Средиземноморье и Европу. Упадок этого торгового трафика связывают с

нашествием войск Чингиз-хана. В истории Туркестана особо подчеркивается, что разрушенный им Отрар так и не поднялся из руин. Но это не совсем так. Город Отрар всего через два-три десятка лет после захвата его монголами уже снова чеканил свои золотые монеты. Арабский историк ал-Омари писал, что монгольские завоеватели, смешавшись и породнившись с кипчаками, сами стали как тюрки, и «земля кипчаков одержала верх над природными и расовыми качествами их». Наиболее достоверно о значении в это время Отрара говорит нумизматика из кладов XIII – XIV веков. Правителем этого города стал Масуд-бек, который первым делом провел денежную реформу. Он начал выпуск высокопробных серебряных дирхремов, которые до него чеканились только в Алмалыке. Реформе Масуд-бека последовали и правители других городов. Вес монет всюду был одинаков – 2,1 грамма. Стандартной для всех монетных дворов была и проба – 800. И оформление монет было упорядочено. Оно включало тюркскую тамгу и картуш. Крупные надписи также обладали признаками единства. В течение целого столетия отрарские монеты были эталоном для всей Центральной Азии. Но, начиная с XVI века, наполнение монет драгоценными металлами вдруг стало резко снижаться, в ход пошли больше медные фельсы. И монеты Отрара стали терять свою цену. Торговые караваны стороной обходили Отрар. Таким образом, наступил действительный крах городов уже Казахстана. К этому прибавляется вспышка в Центральной Азии и на Ближнем Востоке терроризма, исходившего от ассасинов, что ускорило окончательное разрушение Великого Шелкового пути. Если смотреть фрагментарно на эту широкую историческую панораму в ее развитии, то каждое событие воспринимается отдельно и не связано с другими. Если оценивать все по конечному результату, то возникает подозрение, что была произведена некая крупномасштабная акция, заказанная и оплаченная теми, кому это было выгодно.

На первый взгляд от крушения жизненно важного торгового пути проиграли все и в Азии, и в Европе. За исключением зарождавшихся в те времена торговых компаний Голландии и Англии, прокладывавших в Китай уже свои морские маршруты. Затем подверглись ревизии догмы традиционной веры в лице католичества в северо-западных странах Европы. Именно там стала доминировать псевдорелигиозная теория особой угодности Богу, выражающаяся в форме накопительства, культа денег. Высокопарно можно сказать так: жрецы счета оттеснили жрецов слова в пределы кварталов Ватикана. Выражаясь проще, следует отметить, что в регионе Северной Атлантики государства стали контролироваться манипуляторами счета – капитала. Поклонение капиталу позволило им сделать мощнейший прорыв в экономике и технике. Казалось бы, дом человечества окончательно разделился на Запад и остальной, сырьевой, купленный Западом, мир. Но уже во второй половине XX века усиливается конфликт между манипуляторами счета Нового и Старого света. Правительство США под давлением известных кругов

превысило лимит тиражирования своей валюты. В 60-е годы французы привезли на кораблях в Нью-Йорк тонны долларов и в обмен на них вывезли гигантскую часть золотого запаса США. С этого времени США отказываются от обеспечения золотом доллара, однако темпы впрыскивания долларов по мировым каналам не снижаются. До какого минимального золотого эквивалента сегодня упал доллар, знает только очень узкий круг людей.

Европейские финансовые магнаты, стремясь обезопасить свои состояния, создают противовес доллару – евро. Судьба новой валюты полна темных мест. Аналитики не раз уже отмечали в мировой прессе, что каждый этап становления евро странным образом совпадал с обострением военной ситуации на Балканах, где первую скрипку играл генералитет США, и каждый раз при этом курс евро стремительно снижался. Все это приобрело уже характер закономерности, и в дни введения в оборот уже наличных евро в конце 2001 года можно было ожидать еще одной крупной военной вспышки в зоне, непосредственно граничащей с ЕЭС. Подготавливалась для такого заклания и конкретная страна – Македония. Но вдруг случилось крушение торговых центров в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. И volens nolens внимание правительства США было полностью переведено на исламскую Азию, что позволило окончательно подняться новой общемировой валюте в благоприятной, мирной колыбели.

Слушая оратора, От-Агасы с трудом сдерживал зевоту. Связанные с нею гримасы Мустафа принял за шок, произведенный его изобличительным монологом и, довольный эффектом, продолжил:

– Да, тогда европейские жрецы цифр сыграли ловко. – Хотя и грубовато. Они даже не стали скрывать, что основные базы подготовки террористов, несмотря на их арабское происхождение, находились в Европе. Но я их понимаю. Это была демонстративная акция. Американские жрецы к тому времени совсем обнаглели, стали вести себя так, словно кроме них никто на свете не имеет власти. Это они виноваты в нашем расколе.

«Ага, – подумал Тур. – Так ты тоже манипулятор счета. Не такие вы уж и страшные».

Мустафа, конечно, не Санта-Клаус, но и не вурдалак, взахлеб пьющий человеческую кровь. Хотя, черт его знает... Он нормальный. И как нормальный пройдоха, которому попала в руки печать, начал приворовывать у своих подельщиков, обманывать контору. Теперь бегает от них. Коммутатор От-Агасы по определению был из тех, кто знал многое даже из того, что было отнесено к закрытой информации. Относилось это и к конспиративным организациям, являвшимся с первобытных времен неотъемлемой частью человеческой цивилизации. Сформированные под покровом тайны в отдаленные века, большинство из них со временем стали открытым достоянием культуры и религии различных народов и стран. Влиятельные и закрытые когда-то масонские ложи к XX веку превратились в места забавных игр нескольких тысяч персон из скучающей мировой элиты. Тщательно

оберегаемые от непосвященных людей ритуалы и татуировки стали частью прикладного искусства. Подпольные политические партии или террористические группы с годами или сами легализуются, или их раскрывают соответствующие государственные органы, которые имеют свой вектор к конспирации. Причины, приводящие к процессам рассекречивания, были общеизвестны, и связаны они были с динамикой развития человечества, в данном случае неважно с каким знаком: минус или плюс. Это и изменения вероучений, политического строя, культуры и т. д. Единственный общечеловеческий проект, который кардинально не изменился, – это товарно-денежные отношения. Всегда все покупалось и продавалось. Поэтому о структуре, членстве, атрибутах и методах работы с адептами и клиентурой закрытых корпораций, культом которых являются деньги, не существовало открытой информации. Деньги любят тишину. Деньгами можно оплатить и любую дезавуирующую акцию, например перманентное высмеивание интеллектуалами и деятелями культуры самой мысли, что существуют какие-то всемогущие, таинственные силы Золотого тельца, правящие всем миром. Все знают о заговоре банкиров. Тайны этой достаточно прозрачной профессии никогда особенно не привлекали внимания коммутатора. Он и так знал порядочно о них. А вот о тех, кто стоит выше банков, он понятия не имел. Впрочем, если бы он поставил перед собой такую цель, то кое-что выяснил бы. Любая деятельная организация, как бы тщательно она ни скрывала свою деятельность, рано или поздно проявляется прежде всего последствиями именно своего функционирования. Чаще всего это фрагменты документов, актов, сделок или слухи о них, или новые термины, появляющиеся в открытом обороте. Значимость денег определяется прежде всего цифровым рядом. Цифрам, как символам, всегда приписывались магические свойства. Можно оставить цифру 13 суеверным людям, но трудно пройти мимо факта, когда цифра А стала когда-то причиной конфликта таких влиятельных и не склонных к шуткам институтов, как налоговые службы и Православная церковь, категорически настаивавшая на неприменении ее в личных налоговых кодах своей паствы. Только в арифметике цифры подчиняются твердым правилам сложения или умножения. В более сложных системах они способны, по меньшей мере, озадачивать, подобно 15 цифрам Магического квадрата, даже самый рациональный ум. Операторы Проекта глобального сознания – GCP, начиная с августа 1998 года, соединили с Интернетом 36 компьютеров, разбросанных по всем континентам. В них была заложена лишь одна программа, которая постоянно генерировала случайные натуральные цифры в интервале от нуля до единицы. Они постоянно колебались в определенном объяснимом диапазоне. Аномальные отклонения возникали в этой компьютерной игре в «орла и решку» только в первые часы значительных катастроф с многочисленными людскими жертвами, таких, как теракт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, о котором упоминал Мустафа Ли. И, что особенно

интересно, в канун каждого Нового года. И это связывалось с россказнями экс-мэра.

«А вдруг все, что он говорил, правда? – огорченно думал коммутатор. – Если так, то они, манипуляторы чисел, и есть настоящие хозяева нашей судьбы. Ведь знание тайн природы цифровых масс и лабиринтов равно владению топографической картой. Тот, кто читает ее, никогда не блуждает и приходит к желаемой точке первым и навязывает свои правила, кажущиеся затем нам единственно возможными».

– Если твои манипуляторы такие всесильные, – произнес Тур, строго глядя прямо в глаза Мустафе, – зачем ты у них печать-то украл?

– Да не воровал я ее, – ответил уныло экс-мэр Большого Бейрута. – Умер Главный хранитель печати, а я как ... ну, в общем, мне поручили на время ею распоряжаться...».

К зачитанному литературному фрагменту, казалось, никто не проявил интереса. А Вера даже возмутилась:

– Ты что, всю книгу читать собираешься? Библиотека тебе здесь что ли? – и хмыкнула.

А-баев проигнорировал неуместное замечание и заключил чтение словами:

– Между прочим, автор не какой-нибудь там графоман, а член Союза писателей СССР!

Возможно, аттестация автора произвела впечатление на Ии Кэ, но как бы там ни было, он принялся задумчиво расспрашивать:

– Жрецы слова и жрецы чисел? Это интересно, бля… Это <...> термины Шахимардена?

– Да, – подтвердил А-баев. – И еще кое-кто мне говорил о жрецах чисел...

– Интересно было бы узнать его <...> имя, бля, – произнес Ии Кэ, разворачивая свежий номер ««The Sunday Times».

– Вы и его не знаете. Но это очень и очень сведущая в таких делах личность, заглянувшая, так сказать, за грань бытия, – высокопарно ответствовал писатель.

– И кто же? – не унимался Ии Кэ, просматривая газетные статьи.

– Кое-кто, – все же ушел от ответа А-баев.

Действительно, не рассказывать же о том, что ему чудится призрак Арона, и что он с ним разговаривает [49]. Еще примут психиатра за сумасшедшего.

Опасаясь слежки AS-клонов, А-баев выглянул из развалин и оглядел пустыню. Невдалеке под светом южных крупных звезд брел по песку Ночной Семенов. Лицо и шея Ночного Семенова оказались густо покрытыми пересекающимися морщинами, и возникало иллюзионное впечатление, что кто-то безгранично терпеливый нес его голову над его плечами в сетчатой авоське.

– Эй! – крикнул он старому знакомому.

[49] Ни о каких жрецах душа Арона не говорила А-баеву.

Ночной Семенов оглянулся на торчавшую из развалин башку карагандинца и спросил:

– Земеля, закурить не найдется?

Некурящий А-баев замотал головой и невесть зачем пригласил прохожего зайти в храм. Появление на междусобойчике Ночного Семенова никого не обрадовало. Но сигареты нашлись – у Веры.

Закурили. Не переносивший табачного дыма Ии Кэ поморщился, отложил газету и произнес:

– Действительно, в начальной фазе иногда тайные процессы сознательно инициируются какими-то деятелями какого-то сообщества. Мы вполне вправе назвать действия первосвященника Каифы и его последователей конспиротологическим заговором против иудейской ереси, возникшей в Иерусалиме две тысячи лет назад. Эта ересь исчезла бы сама по себе, как иудейский эллинизм[50] , если бы Каифа с маниакальным упорством не добился бы распятия Иисуса. Первосвященник Каифа, без сомнения, был уверен, что убив Иисуса из Назарета, он образумит противопоставивших себя иудейской вере, вслед за Иисусом, евреев. Но как ни парадоксально, именно успешная реализация его плана сделала из них авторов Нового завета. Не погибни Иисус Христос на кресте, то и не было бы ни Евангелий, ни посланий Павла и Петра, по крайней мере, в том виде, который известен человечеству, – тут Ии Кэ посмотрел на Веру, занявшуюся своим маникюром, и продолжил. – А еще проще, одни евреи хотели смерти Иисуса, вторые пытались защитить его жизнь, а в результате сложилась третья версия событий – возникло христианство. В формировании и разрешении любых исторических процессов, затрагивающих интересы множества людей, непременно участвует не одна группа, или организация, или личность. А действует множество разнонаправленных векторов, исходящих из того самого множества, интересы которого были задеты. Векторы сталкиваются и, в конце концов, происходит кумуляция их усилий – больших или малых. Все это приводит к кумулятивному эффекту, который не способна ни предвидеть, ни просчитать ни одна личность, какой бы она выдающейся не была, ни одна коспиротологическая группа, бля. Еще проще говоря, одни толкали на север, другие – на восток, третьи – вниз, а реальное движение получается по северо-восточному направлению с некоторым понижением. Даже если три силы двигаются в одном направлении, движение груза, который они тянут, будет отличаться от их идеальных представлений. Возьмем ситуацию с лебедем, раком и щукой, которые тащат воз. Проигнорируем вес воза, бля... Все как-то не получается узнать, что такое «воз»...

[50] Учение Филона Александрийского – современника Иисуса Христа. Эта ересь видела логос в виде высшей идеи, а наместника Божьего в виде верховного архангела. Человека Филон считал интеллектуальным существом, которое связано с телом, разрывающимся между алчностью и отвращением.

– Телега такая, – с нескрываемым презрением объяснила Вера, видя, что китаец все еще находится в семантическом недоумении. – Ну, штука такая, которая на четырех колесах без мотора. Понятно, дурень неумный?

– Понятно, – ответил Ии Кэ и продолжил излагать свою непонятную теорию. – Так вот, даже если воз не имеет веса, то и в этом случае эта штука не повторит ни траекторию полета лебедя, ни траекторию движения рака, ползущего по дну водоема, не поплывет в воде, как щука. Воз, конечно же, не останется на своем прежнем месте, и будет двигаться по дну, но с приподнятыми передними колесами. Что, конечно же, разочарует сторонников и рака, и лебедя, и щуки.

– Да знаю я! – воскликнула Вера. – Это же басня Крылова!

– Ивана Андреевича Крылова, – тактично уточнил Ии Кэ. – Русского баснописца.

– Все русские басни сочинять мастаки, – вставил и здесь свое националистическое слово Горюйко. Наплетут чего не было и нема. А у нас свой тракт. Ще не вмерла в Украіни ні слава, ні воля!

Ии Кэ невозмутимо заговорил опять:

– Возьмем, к примеру, Украину. В ней действуют разные силы. Социальные, гуманитарные, религиозные, национальные, крымские-мрымские, внешние, космические, как в мэрии Киева, которые сталкиваются, противодействуют, переплетаются и поддерживают два основных вектора: русофильский и русофобский. Националистический лебедь...

– Лебідь, – поправил китайского самозваного политолога доцент.

Ии Кэ попытался избежать бессмысленного и беспощадного, как русский бунт, спора на нацтему и выложил финал истории:

– В конечном итоге, все подчинится ни русофильскому вектору, ни русофобскому. Результат будет парадоксальным, как у Гоголя Николая Васильевича: «Мартобря 86 числа. Между днем и ночью». Страна Украина станет окончательно русскоязычной и антирусской, что не совсем русофобия и далеко не русофилия.

Все промолчали – с Гоголем не поспоришь[51] , что позволило Ии Кэ продолжить свой монолог:

– Да, известным местом является тот факт, что жрецы слова и жрецы цифр были и есть. Тайное мировое правительство составляют Бильдербергский клуб, Трёхсторонняя комиссия и еще пара-тройка гольф-клубов.

Пророки со словом божьим сменяют пророков со словом божьим, а ряды атеистов все множатся и множатся, математики вывели все формулы всего, что

[51] В свое время пламенно бросился спорить с Н. В. Гоголем критик Белинский, но в исторической перспективе проиграл дискуссию. Его письмо, оспаривающее идеи гоглолевского « Выбранные места из переписки с друзьями» уже не цитируют даже самые упретые атеисты и ненавистники Русской православной церкви, благоразумно выбрав здесь тактику замалчивания.

есть и движется на Земле, а банковские кризисы становятся все катастрофичней и непредсказуемей, бля. Как сказал недавно один из мелких жрецов слова: «Целили в коммунизм, а попали в Россию», бля.

В начале прошлого века в проигравшей мировую войну Германии противостояли три динамичных направления: вектор института северо-атлантической капиталистической демократии, вектор института восточно-европейской коммунистической партократии и националистический вектор. Последний «Обществом Туле» был определен, если не в ненесколько вегетарианском, то вполне самодостаточном девизе: *Der Weg ist in Dir* – Путь проходит в тебе. Окажись первый вектор генеральным, то в Германии с ее изначальным федерализмом, сложилась бы политическая система наподобие США. Восторжествуй же второй вектор, то – социалистическая страна, при торжестве третьего вектора на немецкоязычных землях возникло бы несколько государств, вроде Баварии и Пруссии, которые любили бы себя и только себя, как скандинавские народы или арабские монархии. Но в процессе борьбы этих векторов демократическим путем главой государства был избран вождь национал-социалистов Адольф Гитлер, бля, которому из гипнерборейского наследства были доступны лишь идея национального превосходства и на уровне подсознания как достойный финал – эсхатологическое мировоззрение. Таким оказался там неизбежный результат кумулятивного политического взаимодействия и противодействия. Все мы – кумуляторы, крупные и мелкие, заметные и безызвестные. Сегодня в Интернете часть кумуляторов известна под названием анонимусы – люди без имен, которые сходятся со своими долговременными или сиюминутными интересами на одной точке Интернета в одно время, и проявляется так называемая социальная линза, высвечивающая какую-либо проблему или задачу. Таким образом, желая того или нет, анонимусы своими DDoS-атаками, несколько сотен анонимусов, могут не только завалить целиком доменную зону любого государства.

– Ой, да не пугай, китаеза! – перебила мыслителя Вера. – Пуганые!

Сам не раз пуганый потомок Конфуция проигнорировал и эту реплику женщины и с невозмутимой китаезской миной продолжил:

– А интернетовский домен это информационный слепок целого государства или даже многих стран, бля. А значит, анонимусы способны искажать или даже менять прошлое, настоящее и будущее. Правда, опираясь на анализ прошлого и настоящего, они не знают, что будет на выходе – в будущем. Так как они сами не знают истинных причин активности друг друга, не знают

целей других кумуляторов вне их социальной линзы, которые подключились к этому мутному делу. Мы – кумуляторы, внося свой вклад в очередную победу, как нам тогда показалось, или подталкивая народы свои к очередной катастрофе, как нам тогда казалось, результат своих действий плохо представляем или не представляем ничего. Так что все твои жрецы цифр и жрецы слов так же, как и какой-нибудь журналюга дешевой газеты или биржевой маклер с единственным галстуком всего, лишь кванты того или иного кумуляционного явления, не ведающие, к какому взрыву эта кумуляция приведет. Как правильней по-русски: «кумуляторы» или «кумулюги», бля?

А-баев не стал отвечать на лингвистические вопросики, а жутко возмутился:

– Лично я никакой ни кумулюга вам! Я служу духовному миру!

И завязался спор, словно они сидели не в развалинах древнеегипетского храма «Нумератор чисел», а на московской кухне[52] . О Ночном Семенове все забыли, только Вера изредка обращалась к нему кокетливо:

– Мужчина, рюмочкой не угостите? – и, находя свою фразу смешной, хохотала.

Ночной Семенов, наконец, не выдержал дамских приставаний, встал и сказал:

– Пойду-ка, наверное, – и стал выбираться из развалин храма.

– Куда это ты? – равнодушно поинтересовался А-баев.

– Дальше, – уже из-за обрушившейся колонны ответил Ночной Семенов.

– Это зачем же? – вдруг непонятно почему встревожился А-баев.

– Так, посмотрю что-как, – послышался голос Ночного Семенова уже от линии желтого горизонта.

– Знаем мы таких! – обиделась Вера. – Шастают по ночам и только в окна подглядывают.

Доцент Горюйко презрительно бросил:

– Свиняки гэбэшные.

«А вдруг он действительно ходит везде и бдит?! – подумал А-баев. – Как святые Идрис, Хызр, Илия и Феликс. Хотя последний бдел не за всем человечеством. Или бдел? А вдруг с мечом, как суфий на памирской дороге». Испугавшись, что все снова закончится тяжелой травмой, А-баев содрогнулся и крикнул вслед Ночному Семенову:

– Мы все исправим!

Но Ночной Семенов даже не оглянулся[53] . Какое-то время провели молча, что позволило и Вере высказать свою аналитическую мысль:.

---

[52] Эвфемизм, типа.

[53] Ночной Семенов никто иной, как привратник Пилата, живой свидетель дел Иисуса. Он был крещен и вел святую жизнь. Его имя истолковывалось схоластиками как карта , что значит «очень любимый», и кое-кто утверждал что, он тот ученик, который прижался к груди Иисуса во время тайной вечери и к которому обращены слова Иисуса: «Если я хочу, чтобы он остался, пока я не приду – что до того?» Попытки выкликнуть на постах анонимусов: «Семенов, залогинься», выясняют, что школота, прозревающая Семенова там, где даже

– Если бы фараон наш захватил всю власть на земле, то и мы бы с ним сидели не в этой арабской дыре, а где нибудь в Нью-Йорке или Лондоне, – сказала она. – Что ему мешает, яйца, что ли, как плохому танцору, – и захохотала.

– Ни кто и ни что, – заявил Блумберг, хотел было авторитетно добавить, что так записано еще век назад в протоколах фонда Зинаиды Арон, но подчиняясь правилам конспирации, промолчал.

– Собственно, я тоже об этом думал, – произнес Ии Кэ. – И не нашел ответа, бля.

– Вы все забываете, что есть еще один игрок на этом поле, – тихо заявил А-баев.

– И кто этот игрок?

– Его душа, – ответил Писец фараона, наблюдающий за писцами, и подчиняясь сильной тревоге, вызванной в нем уходом Ночного Семенова, вызвал, воскликнул, как accusateur public Максимилиан Робеспьер:

– Действовать! Действовать немедленно. Справедливость – мое ремесло!

Вернувшись в фараоновское бомбоубежище, А-баев, рассматривая тестообразное, разбухшее словно на дрожжах тело Гаипова-фараона, способное испытывать приятные ощущения лишь на уровне трения, прикосновения и сытости, понимал, что в случае этого пациента степень инвалидности очевидна… Однако, все равно следует еще разок подумать, все взвесить... все-таки 566 килограмм. Рост в один метр семьдесят шесть сантиметров – не аргумент. Возможно, сохранились еще индивидуальные особенности, скрытые резервы...

А-баев смотрел на Гаипова и недоумевал: куда же делась вся его сатанинская энергетика и высшее мастерство манипулирования тысячами, миллионами людей? А, быть может, все что, вдруг достиг математик из провинциального города, пусть даже и доктор наук, результат не его гениальности, а просто... Был такой случай во врачебной практике А-баева.

– ...при вскрытии брюшной полости внешний вид органов... – утомительно бухтел старенький, седенький патологоанатом.

Шла врачебная конференция. В зале царил полумрак. За узким окном в больничном садике торчал и раскачивался из стороны в сторону снежный человек. Наверное, он, хотя всего его видно не было, только белая волосатая спина елозила по замерзшим стеклам.

капуста на голубцы не росла, обычно жутко бесится. Пример – зайчатки разума, где даже атаки местной разновидности дыхотуна некоторое время все попытки запилить годную статью, отличающиеся друг от друга чуть более, чем полностью, все равно относились на счет дыхотонаобразующих полудуроков. Кое-кто пытался даже уничтожить эту парадигму оригинальными программами kareha, однако по причине того, что 95% анонов это детектировано, не получили ни развития, ни популярности. На японских чанах примерно в том же значении используется слово . Его АА-изображение - в математике квантор всеобщности.

Смерть в гастроэнтерологическом отделении – явление редкое. Здесь лежат больше гастритики и колитики, а они люди занудливые, но живучие. Этот же бедняга, которому час назад поставил самый точный диагноз патологоанатом, поступил с жалобами на острые боли в области желудка. Его знали, и уже в приемном отделении поставили диагноз: «Обострение язвенной болезни», но так случилось, что на этот раз боль иррадиировала в область желудка от сердечной мышцы со спазмированными коронарными сосудами. Обширный инфаркт миокарда. Умер в день поступления... Редко, но бывает. Собственно, А-баев, как всего лишь консультант городской клинической больницы, имел полное право игнорировать посещения морга, но от нечего делать иногда таскался туда вместе со всеми.

– ...в ампуле прямой кишки выявлено незначительное количество жидкого кала с явными примесями крови...

– Ты сегодня не торопишься? – тихо спросил А-баева Володя Рябчик, его сокурсник по институту.

– И че?

– Сыграй с Ф. в шахматы.

–С каким еще Ф.?

– С больным Ф., с шестой палаты. Я его веду. Низенький такой, вредный. Помнишь, он в прошлом году на меня «телегу»[54] накатал в горздрав? Сейчас снова в моей палате, шестой.

– Да? Смотри, как будто за окном стоит снежный человек и елозит по стеклам спиной с такой густой белой шерстью.

– Ну, вспомнил?

– Да?

– Что «да»? Ты этого Ф. вспомнил?

– Я говорю, похоже на спину снежного человека.

– Знаю я этого Ф. – шофер.

– Сыграешь?

– С какой стати я с ним играть стану? – удивился А-баев.

– Интересно. Сыграй, не пожалеешь. Всех чешет. Пять-шесть ходов, отдыхай. Я тоже сел. Так он такие комбинации разыгрывал. Сыграй. Если он и у тебя выиграет, ну, тогда не знаю.

– А почему он не может у меня выиграть?

– Не знаю. Ты же психиатр.

– А нужно мнение психиатра?

– Да нет...

На этом разговор закончился. Но как-то Абаев застал всех мужчин терапевтического отделения в шестой палате. И удивился. Оказалось, что Ф. давал сеанс одновременной игры. Здесь были собраны все шахматы

[54] Жалобу. Жаргон сов. служащих

больницы: с картонными полями, с деревянной коробкой, солидные, с богатой отделкой, крохотные дорожные шкатулки. Стояли тут и больные из других отделений. Пока А-баев добирался до шизофренической сущности одного старичка, хворавшего на кровати у самой двери, сеанс окончился. Проигравшие загалдели, просили повторить. Ф. вяло отказывался, но уступил уговорам. Через минут пятнадцать все снова были свободны. Ф. играл точно, остро, не задумываясь, не оставляя никому даже надежд на ничью. Словно душу дьяволу продал, так великолепен и неестествен он был в, казалось бы, традиционных композициях. Романтичный А-баев про себя назвал его даже Фаустом.

После осмотра психиатр задержался у койки Фауста и перебросился с ним парой фраз. Фауст оказался человеком в общем-то неинтересным, даже эпилептическими припадками не отличался. Просто примитив. До последней госпитализации шахматами никогда не увлекался, раньше играл в шашки. Двое детей, старший сын учится в университете. Жена тоже болеет. «У нее, доктор, вот здесь жжет и колет, где печенка». Сам лежит с диагнозом «хронический панкреатит». Дома пища обычная. Часто ест всухомятку. Попивает, но с белой горячкой знаком не был. Семь лет назад была травма брюшной полости, но никого не винит. Навязчивых состояний нет. Речь связная.

Однажды вечером А-баев засиделся с медсестрами за чашкой чая до полуночи. Двинувшись домой по длинному коридору в сторону вестибюля больницы, он по дороге заглянул в мужской туалет и застал там на подоконнике окна Фауста, игравшего в шахматы с доцентом-философом из второй палаты.

– Вы почему не спите?– спросил А-баев строго, как следует эскулапу.

Доцент смутился, принялся было философствовать, но Фауст начал так нудно ныть, что даже его партнер по игре поспешил скрыться в кабине.

– Я, доктор, спать стал плохо, – бухтел больной шахматист. – Как бы выпил, что ли, все тащит куда-то, мысли все время, хоть помирай. Не было у меня такого. А что в шахматы... то это так, я, если, предположим, ими хожу, вроде от мыслей полегче.

– Пойдемте со мной, Ф. – сказал ему психиатр и увел в ординаторскую.

Вошел Фауст во врачебную комнату робко, мелкими шажками, как входят обычно все больные, независимо от возраста и чинов. А-баев решил просмотреть историю его болезни, принялся читать ее, а пациент, сидя на краешке стула, явно нервничал. Затем кисло проговорил:

– И мысли какие-то чужие, я так никогда не думал, а при шахматишках вроде отхожу. Может, сыграем?

– А какие мысли? Конкретней.

– Ну, разные...

– Например?

– Ну... такая: если по земле проложить рельс, опоясывающий, чтоб обручем вокруг Земли, и на него тележку, а от тележки стальной канат, трос то есть, можно к Луне. То Луна крутится вокруг Земли, сутки, и тележка без дизеля или мотора какого тоже вокруг Земли махнет. Вот и поезд можно такой.

Фауст закончил и испытывающе посмотрел на врача. Если бы А-баев не был психиатром, то пожалуй не обратил бы внимания на этот сюжет. Так бывает с хрониками. Лежат неделями, месяцами и начинают от скуки создавать прожекты.

– И про слона...

– Нет, про слона не надо, – прервал его решительно А-баев. – Голоса не слышишь? Внутри головы?

– Нет, не слышу я никаких голосов. Откуда в голове голоса могут быть? – Фауст помолчал, ожидая разъяснений, а потом вдруг неожиданно отчаянно и зло заявил. – Тогда сыграем! Вона шахматы.

Играли всю ночь. А-баев проигрывал все до единой партии и расстраивался. Фауст же, выигрывая, извинялся, но во время игры сидел прямо, без всяких эмоций. После двадцать девятой партии он уже откровенно спал, развалившись на стуле. Проигравшийся врач отправил его в палату. Расстроившись окончательно, А-баев надымил в ординаторской и просидел в больнице до утра. Перед уходом он признался встретившемуся в дверях Вове Рябчику в своем фиаско. Тот присвистнул: «Ого!» А надо сказать, что А-баев был кандидатом в мастера спорта по шахматам.

На улице снежного человека не оказалось, но, как и вчера, кружился и густо сыпал снег.

Вечером А-баев позвонил своему шахматному Учителю – чиновнику Дома санитарного просвещения – и договорился, что он в конце недели «проконсультирует» его Фауста. Согласился он с неохотой, что вполне понятно. Настырный А-баев не отставал, горячо заявляя, что Фауст представляет собой уникальный феномен.

Умение играть в шахматы практически никого не минует, кто из года в год по два-три месяца лежит в больницах. И заставляет их играть не престижная склонность к тренингу мозговых извилин в этом виде спорта, бытующая в интеллигентных кругах, а коктейль из серой скуки и тревоги от близкой смерти, густо разлитый в больничных палатах. Правила игры в шахматы Фауст, видимо, усвоил много лет назад, но всегда ловился на детском мате. И вдруг заиграл! Да как! Этого нельзя было оставлять просто так. А-баев чувствовал, что он талантливей его, на три головы выше. Ему, таскающемуся в шахматный клуб с одиннадцати лет, так играть никогда не было суждено. А если Фауст кое-что почитает по истории древней игры, ведь информация о шахматной теории у него нулевая, то наверняка из него выйдет нечто совершенно гениальное.

Странным образом шахматист вытеснил в А-баеве психиатра и, действуя в новой парадигме, врач, забыв о своих прямых обязанностях, прежде всего начал

подбирать для Фауста книжки шахматных мастеров, для начала популярные. Пусть начнет, а потом мы им займемся серьезно, азартно тогда думал А-баев. Из его города, столицы угля, за его более чем полувековое существование не вышло ни одного гроссмейстера. Это же позор! Ну а теперь посмотрим!

Рано утром А-баев поехал не в свой психиатрический диспансер, а в больницу к Фаусту и оставил ему книжки:

– Почитайте.

К концу рабочего дня он снова заехал в городскую клинику. И сразу же к своему любимчику:

– Ну как? Полистали?

– Нет,— ответил тот. – Не интересны они мне.

Попытка осмыслить его ответ ни к чему А-баева не привела, он почувствовал, что в одно мгновение оказался в патовом состоянии.

– Но... играть-то вам интересно?

– Нет, неинтересно. Я играю, чтобы мозги забить, а так шахматы для меня бари-бер. Вот только теперь все приставать начали: сыграем да сыграем. Дела не видно.

– При чем тут дело и почему оно должно быть видно? – соображал лихорадочно вслух психиатр.

– Я вот шофер, а столярничать люблю. Сделаешь какую-нибудь работу – интересно, в руках можно подержать, глазом оценить, а главное, хозяйке или детишкам там нужна. А шахматы – один фукс.

– Да поймите, Ф., – начал убеждать его А-баев в том, что, казалось бы, должно являться абсолютной истиной для всех. – Шахматы – это не только великое дело, но и великое искусство. Ну как вам объяснить... ну вот вы, к примеру, сделали какую-нибудь штучку, но такую же все могут сделать. Так и в шахматах, все могут научиться играть. А вот что-нибудь такое смастерить, чтобы это было искусством и место этому произведению в музее, а не дома, скажем... Вот в шахматах вы можете показать самое высокое искусство, коли до сих пор не прославились своими столярными работами.

– Да зачем мне такая, чтобы в музей. Вещь должна быть полезной. Видел я в магазине продавали топорики с длинными резными топорищами, да к чему такое? Воздух рубить? А я вот топорище сделал – дуб столетний запросто руби. Не то, что какая-то там игрушка трухлявая.

– Да я не об этом. Ну, сейчас вы там, ну... на работе хороший специалист, план выполняете, человек хороший, соседи уважают, ну а кто вас знает?

– Сами говорите: на работе знают. И соседи, – обиделся больной и полез в карман пижамы за папиросами, встал. – Я, доктор, курить пойду.

– Да погоди ты! Ну, на работе знают, уважают. И все? А так в шахматном мире ты можешь если не богом, так полубогом стать. Тебя вся страна знать будет. Ты же талантище, самородок, я же чувствую, знаю. Если, конечно, теорией подзаймешься. Ты хоть загляни в книжки-то, понравится, не

может это не нравиться. Что не поймешь, я объясню. Ну что, например, тебе там неясно? – и А-баев принялся суетливо листать перед его лицом шахматный этюдник.

– Да ни к чему мне все это, – ответил он угрюмо. – Вы уж, доктор, извините, если что, я курить пошел.

И утопал. Вот дубина, подумал А-баев. Преклонение перед его звездным талантом сменилось в нем свирепой завистью. Он, ординарный врач, мэтром медицины ему никогда не стать, и единственной отдушиной для его молодого, яростного честолюбия в те времена были только шахматы. Но и на черно-белых полях он еще никогда не был первым даже в области, только мечтал, шел к этому. И все же как-то выделялся из толпы, пусть любителей, но выделялся. Сам Учитель больше предпочитал играть только с А-баевым, а это уже само по себе признание.

Ну и черт с тобой, вернее, дьявол, подумал А-баев и оставил Фауста в покое. И все же желание сыграть с ним его не оставляло, он не надеялся на выигрыш, но Фауст так оригинально выстраивал композиции, что шахматист из медицины не мог удержаться от желания хотя бы видеть, как он это делает. Время от времени А-баев преднамеренно двигался мимо холла, где обычно собирались за игрой больные, мгновенно фотографировал глазом положение фигур за доской Фауста и дальше, уединившись, анализировал партию. Дома мучительно старался не думать о нем, но вот телефонный звонок – и психиатр снова слышит фамилию Фауста.

–Товарищ А-баев? Это начальник уголовного розыска. Проверь, там у вас один больной лежит, кажется, Ф., – гудит мембрана от мощного голоса. – Ну, доложу я тебе! Там у вас один наш майор лежит, захожу его проведать, а майор мне этого тащит – сыграй, мол. Ну, доложу я тебе! Ты бы его в клуб к нам привел, поменьше антисоциальных поступков совершалось бы.

– Да не хочет он шахматами заниматься...

– Как так не хочет?!— мембрана в трубке буквально выгибалась от напора звуков. – Разберись и пусть немедленно захочет! Как это понимать – не хочет играть в шахматы! Да это преступление! За это сажать надо!

Наконец в городской клинической появился шахматный учитель А-баева, между прочим, дважды чемпион республики когда-то. Быстренько была организована консультация. Учитель долго мял живот Фаусту, затем еще дольше расспрашивал его о болях, о семье, о детках, о работе. Наконец, Володя Рябчик не выдержал и заметил, что больной играет в шахматы.

– Вот как... – сказал Учитель без особого внимания. – Интересно.

– Вы ведь тоже играете в шахматы, – весьма удачно А-баев выставил на шахматную доску и фигуру самого Учителя.

–Да-с, тоже иногда в шашки балуюсь, – снизошел до этой темы Учитель.

– А не сыграть ли вам? – сунулся с ожидаемым предложением А-баев.

– Можно, – решил за двоих Фауст.

– Что ж, давайте, попробуем, – сказал Учитель и поморщился, когда А-баев извлек из шкафа шахматную доску с уже расставленными фигурами и, конечно же, шахматные часы, на которые Фауст даже не посмотрел.

Сели играть. Из пяти партий Учитель смог свести лишь две вничью и то, как мне показалось, потому, что Фауст не имел представления о пате. Играл он спокойно, словно выполнял привычную, но уже наскучившую работу. Учитель же уже после первой партии разволновался не на шутку. Разглаживая пятерней жиденькие волосы и пристукивая ногой, чего никогда не позволил бы себе в клубе, он, размышляя, принялся бормотать себе под нос:

– ...так, так... ага, мы вот так: два, три, ага, четыре...

– Шестьдесят четыре, – нехотя выдавил из себя Фауст.

– Что «шестьдесят четыре»? – встрепенулся Учитель.

– Клеток на доске шестьдесят четыре, – без малейшего намека на улыбку ответил Фауст.

– Вы шутите, – поразился откровению Фауста Учитель.

– Чего шутить, не на свадьбе, – равно ответил Фауст. – Ну и считай, коли не лень.

С Учителем в тот день А-баев расстался лишь за полночь. Они ходили по улицам, ужинали у одного, пили водку у другого. Говорили о Фаусте и все анализировали и анализировали его партии с Учителем, А-баев, естественно, их запротоколировал.

– Может быть, ему и не надо на этом этапе знать о стандартных позициях и принятых дебютах. Бог с ним, пускай не знает, что был какой-то Фишер. А то мы, как в том анекдоте, своими теориями разучим человека летать. Давай пока понаблюдаем за ним. Ты не бросай его, играй, если он захочет, подсказывай ему что-нибудь элементарное, но ненавязчиво. Нельзя, нельзя бросать такой талант на произвол судьбы. Иначе шахматы нам этого никогда не простят.

– А я разве не хочу ему помочь? – жаловался А-баев. – Но он, как робот, лишен честолюбия, а как без честолюбия заниматься большими шахматами, я не знаю.

– Не как робот, а как ребенок. В нем это еще не развито, так что надо быть, коллега, очень осторожным. Нужен подход, я бы сказал, педагогический. Я буду заходить к вам. А может, у него с психикой что? Не хочу кощунствовать, но как это он вдруг так сильно заиграл? Надо бы его проконсультировать... А ерунда, все это от моей обиды. Как же, чемпион, экс-чемпион – и так облапошился.

Чтобы положительно изменить отношение Фауста к шахматам, А-баев решил организовать соревнование по шахматам в больнице. Практически открыть ему путь к славе. Но Фауст от участия в турнире отказался.

– Не люблю я эти соревнования. Каждый должен делать столько, сколько может, а чего гнать? А то соревнования, подумаете тоже. План, что ли, даем?

– Но как же без соревнований. Вот вы футбол любите смотреть?

– Футбол – это другое дело. Это спорт.

– А шахматы разве не спорт?

– Какой же это спорт? Так. Я и играю в шахматы, как будто считаю что, умножаю или делю. Так, просто цифры и ходы мешаешь в мозгу, чтобы не думать.

– О слоне?

– О слоне. От этого слона голова начала болеть.

А-баев уже не знал, что предпринять. Этот тип явно неудачно заложил душу дьяволу. Вот он бы на месте Фауста условия сделки обговорил бы детально и досконально. Но не ему, увы, дано уметь так «считать».

А-баеву предстояло ехать в командировку в степной район, и он все же перед отъездом порекомендовал лечащему врачу Володе Рябчику, памятуя о странных жалобах Фауста, назначить ему консультацию у окулиста. Может быть, глазное дно укажет на... На «что» – А-баев даже думать не хотел. Командировка неожиданно затянулась. Были бураны, и никто по несколько дней не могли выехать из одного совхоза. Возвратившись в Караганду, А-баев сразу же поспешил навестить Фауста. Тот плашмя лежал на своей койке. В ответ на приветствие, больной сел в постели и как-то странно стал смотреть на психиатра, словно на пугающею вещь. А-баев в шутку спросил, узнает ли он его.

– Лицо мне ваше знакомо, но вот кто вы, не могу вспомнить, уж извините. Вы, наверное, наш новый доктор, – ответил Фауст самым серьезнейшим образом.

– Ничего, познакомимся, – ответил врач с улыбкой.

А-баеву не терпелось начать партию. Фигуры были уже расставлены, и он без лишних слов, жестом пригласил Фауста начать игру. За партией врач задал ему несколько дежурных вопросиков о семье, о делах. Он достаточно пространно ответил: «Пойдет».

Проветривание А-баевских мозгов в зимней степи никак не сказалось на его игре. Фауст явно выигрывал, уверенно и точно. Только раз неловко сдвинул пешку сразу через два поля. А-баев поправил ее, но больной как-то угрюмо заворочался, но сдержался. Что ему в этом не понравилось, А-баев не понял. Но неожиданно вместо ожидавшегося рокового хода слоном Фауст пошел конем и как-то очень странно: Д2 – Д5. Помня наставления Учителя, А-баев мягко подсказал Фаусту:

– Ф., а конечек ваш не туда заскакал, а?

– Куда не туда? – отрезал тот недовольно. – Хочу я так.

– Да нет же, это от вашего желания не зависит. Конь ходит только буквой «Г», и тут уж ничего не поделаешь. Исключений не бывает.

– Да ты что ж думаешь, что я не знаю, как ходит конь?! – вдруг раскричался больной.

– Да нет, что ты. Конечно, знаешь.

– Это потому вы не хотите, чтобы я так ходил, что вот так вам и мат.

– Как?

– А вот так!— и он сделал еще нелепейшее передвижение фигуры на поле. – Ходит так конь, и все тут!

– Успокойтесь, Ф., – сказал А-баев уклончиво. – Потом доиграем.

Фауст не стал настаивать на продолжении партии, сидел он ссутулившись, втянув голову в плечи и уставившись в одну точку на полу. Весь вид его был размазан унынием и какой-то внутренней болью.

– Что с вами происходит, Ф.?— спросил психиатр участливо, наконец-то разглядев за шахматами, что пред ним сидит его пациент.— Боли стихли?

– Голова болит,— ответил он бесцветно.

– И давно?

– Давно.

– А мысли, ну те мысли про слона и рельсы?

– Нету, теперь нету, только чан раскалывается, – Фауст обхватил свой «чан» руками.

– Вот что. Идите в палату, отдыхайте. Я скажу сестре, чтобы она вам вколола кубик анальгина. – Давай иди.

И он ушел. А-баев нашел историю болезни Фауста и, перелистывая ее, стал искать заключение окулиста. При описании глазного дна были отмечены застойные соски. В последнее время появились и другие четкие симптомы, не укладывающиеся в общую картину хронического панкреатита: замедление пульса и дыхания. Он вызвал медсестру и назначил Фаусту дополнительный курс обследований.

– И отметьте особо, завтра больного Ф. на рентгенограмму черепной коробки. И вот что, были ли у Ф. в мое отсутствие припадки с потерей сознания? Были. А почему нет записи в истории болезни? Что значит Рябчик в отгуле, надо было сообщить завотделением. Ладно. Идите. Спасибо.

Утром А-баев, Володя Рябчик и заведующая отделением внимательнейшим образом еще раз осмотрели, обследовали и опросили больного Ф., после обеда получили результаты рентгеноскопии, и в тот же день больной Ф., 42 лет, с диагнозом «Опухоль головного мозга. Хронический панкреатит» был переведен в областной онкологический диспансер.

А-баев провожал его. Несчастный Фауст молчал и на: «До свидания, желаю скорее поправиться», – так тяжело и неясно взглянул на врача, что невозможно было понять: просил прощения он, помощи или проклинал, обещал мстить...

Через месяц А-баеву позвонили из диспансера и сказали, что больной Ф., так и не приходя в сознание после операции, скончался. Летальный исход был неизбежен. Психиатр снял с себя халат, втиснул руки в рукава куртки, поднял воротник и вышел в больничный сад.

Был ясный день. Март. Плоские сугробы покрылись грязной коростой, на асфальте теплились лужи. Снежный человек ушел из города, наверное, в горы.

Фараон позволял психиатру и писцу себя осматривать совершенно индифферентно. Как если бы он был бы витринным манекеном. Словно он истощил за время, прошедшее с мгновения отлета от него эфирного тела, именуемого душой человека, не восполняемый запас эмоциональных переживаний:

– Я умею быть искренним, – и упирался в своего биографа таким прямым взглядом, глазами такой чистоты, что А-баев смущался.

– Надо бы тебе вернуться в реанимацию, – уклончиво говорил врач-писатель. – Рабия, уверен, тебя ждет. Будет передачи носить в больницу, апельсины там, творог диетический... Хорошо же. Женщины особенно прекрасны в своей жалости. Ты возрадуешься и, действительно, будешь с ней искренен.

– Этот вариант я как-то не просчитал, – согласился Гаипов. – Дал маху. А ведь она все еще моя жена. Что словечко у тебя проскользнуло: «возрадуешься»? Ирония, что ли? Да, ладно. Так что она там? Намерена одуматься али нет?

– Обязательно, – повторил А-баев, все более ощущая под ногами наметившуюся в последние месяцы твердь для сопротивления.

– Я – Арон Гаипов! – заявил фараон. – Легитимность моей власти признана всеми государствами западного и восточного полушарий Земли.

В ответ прозвучал голос писца, поставленного над писцами, несокрушимо присутствовавший в первом множественном местоимении, а во втором – чуть поплывший от той почвы, казавшейся секунды назад отвердевшей:

– Ну, мы же знаем, что ты не совсем он...

– Что значит, не совсем он? Как это я не я? – совсем уж тускло спросил Гаипов.

Тут А-баев и решился:

– Душу тебе надо вернуть, Арон.

Гранитная плита под ногами А-баева вдруг размякла, как пластилин, и он, стоя, как оловянный солдатик, опустился в каменный пол по колени. Он попытался выдернуть ноги из вязкой массы, но только больше углубился в ней.

– Я провалился! – вскрикнул он и, замахав руками, заорал. – Тону! Спасите!

– Смешная штука, да? – заметил Арон. – Это я сам придумал. Вроде камень, но не совсем. Замешал в бетон наночастички рогов... Догадайся: кого?

– Не знаю, – угрюмо отстранился А-баев. – Своих?

– Пошути, пошути... ...и, пожалуйста, новые качества камня. Кнопочку вот эту нажал и пол под нужным человечком размягчается на часик. Захочу, будешь

торчать тут, забетонированным по пояс, захочу, вообще замурую по макушку. И мокрого места не останется.

– За что?! – заверещал погибающий человек.

– Он еще спрашивает, «за что»! Я тебя сюда вызываю не для того, чтобы ты тут под пальмами прогуливался, тоже мне, писец над писцами. Совсем оборзел. Ты что должен был сделать в первую очередь?

Задав опасный для А-баева вопрос, Гаипов вновь впал в ступор. И только через пару часов, очнувшись, продолжил свой убийственный монолог:

– Ну что теперь прикажешь с тобой делать? Может, расстрелять тебя? Или население какой-нибудь страны? Маленькой, дабы не возиться долго. Есть такие в Европе, с хорошими дорогами для расстрельных команд, а то в Африке все бегут в джунгли и оттуда их никак не выковырять, не повредив слонов. Одна морока. Прикупил я тут на днях еще одну страну. В Прибалтике. Население, конечно, было недовольно, но на следующий же день, когда гестапо... сразу повеселели, вспомнив Гитлера, Геринга, Геббельса, Гиммлера, Гальдера, Гудериана, Гота, Гепнера, Гейтца, Гартмана, Грювеля, Гарпе, Гааза, Гендулеца, Герра, Гильперта, Гейслера, Грейффенберга, Грассера, Грэзера, фон Гинанта, Гилле, Глайзе, Герке, Голлинка, Госсбаха, Гейнрици, Гольдапа, Гернтера, Генлена, Гизевиуса, Гезенрегена, князя Гогенлоэ, графа Гогенштайна, Гельвиха, Гроскурта, Грюнера, Герсдорфа, Гаусса, Гасселя, Генке, Гаусгофера, Гавеля, Грэвеница, Гробба, Гюртнера, Гугенберга, Гуттерера, Ганценмюллера, Герике, Грейфельда, Гросса, Гильдебранта, Гельмута, Герре , Гимпеля , Глюкса, Гоета, Грезе, Гравица, Грэнинга...

«Как его, сволоча, заклинило на одной букве. Неужели и у тела, как и у души, есть что-то такое, как жесткий диск, который может полететь? – изумился А-баев, хотя как врач мог бы и постесняться по отношению к человеческому мозгу использовать компьютерную терминологию, тем паче – сленговую. Гаипов, перечислявший всю г-элиту Третьего рейха, включая руководителей казачьего «Козакен Ляйтштелле» и «Красного креста», продолжил фашистский мартиролог:

– Гитлер...

Тут в А-баеве, собравшемся впервые пожалеть приятеля студенческой молодости по поводу впервые проклюнувшейся в нем умственной слабости, возникло совершенно противоположное чувство. Еще бы, как не уесть всезнайку профессора, и он язвительно заметил:

– Был уже. Заговариваешься.

Однако описываемый библиографом объект и тут нисколько не смутился, и со свойственной ему самоуверенностью заявил:

– Это уже другой Гитлер – Франц. Начальник немецкого кино.

Заявить-то заявил, но опять мгновенно оцепенел в позе дебиловатого паралитика. А-баев заглянул в его так оставшийся открытым рот, словно в пустое дупло, и ушел. Шел, шел, а потом вдруг встал, как вкопанный, и

высказал страшную мысль: «Заклинило – диагноз бесспорный. Но Арон прав. Его тело представляет угрозу ни в чем не повинным людям. Катастрофическую. Ведь вот так, вдруг придя в себя, он действительно может уничтожить какой-нибудь народ. Да что там отдельный народ! Если ни чему по настоящему не научившийся Пол Пот мог за год убить три миллиона камбоджийцев, то бесчувственный гений с мозгами суперсверхкомпьютера такое может натворить! Особенно, если он, наконец, поймет, что безвозвратно превращается в живой труп. Ведь он угроза, без дураков, всему человечеству! Он же черт знает, что может сделать, хоть с невиданными бактериями, хоть с невообразимыми элементами!

Но в эту же минуту в голову А-баева пришла еще одна, не менее поразительная догадка: «Но ведь я не народ, не человечество какое-нибудь, а просто я. Лично мне... мне как он угрожает? В смысле, конечно, может и убить, но если быть поосторожней, похитрее... Собственно, что я его боюсь? Он же не одушевленный. Просто предмет из мяса и костей. Да, предмет опасный, может шарахнуть не хуже высоковольтной станции. Но ведь только предмет!»

А-баев вернулся и принялся действительно пристально наблюдать за Ароном, время от времени буквально застывавшем на месте, как статуя, в течение часов, а иногда и суток, правда, всегда в удобной позе. Вынужденный ради романа экспериментировать, врач измерял ему давление, проверял молоточком рефлексы. Иногда кривлялся и выделывал всякие непристойные жесты перед окаменевшей формой Арона, почти касаясь, тыкал пальцами в его открытые глаза, оскорблял его словесно, и ничего, все обходилось, в том смысле, что с таким же успехом он мог упражняться в подобном стиле перед мордастым, пузатым бревном. Или компьютером. «А ведь совсем не дурна идея использовать мощный ароновский мозг как компьютер», – однажды подумалось психиатрическому мемуаристу. К примеру, вынудить его отвечать на вопросы… о том, о сем. Мало ли какие актуальные темы могут возникнуть. Но Арон включался, согласно своей эгоцентричной сущности, только тогда, когда хотел сам, и говорил только то, что ему вздумается. С таким Ароном по душам не поговоришь! А-баев отправился в руины храма, решив поговорить с душой Арона. И уверенно набрал на i-phone номер телефона гаиповской карагандинской квартиры. Ему ответил срывающийся юношеский голос:

– Слушаю.

Писец фараоновский сообразил, что слышит приемыша, который вроде бы существо постороннее, но, повинуясь чуть ранее возникшему и сразу же подавленному человеческому чувству жалости и к нему, и к его теоретическому отчиму, он поинтересовался:

– Ну, как учеба? В каком ты классе?

– Я уже закончил школу, – ответил юный карагандинец. – Мамы дома нет.

А-баеву, как и любому ненавязчивому человеку, нравилось самому ставить точку в беседе. И продолжил разговор, правда, непонятно зачем:

– А где она?

И услышал:

– У тети Софьи.

– Какой еще Софьи? – задал уж совершенно ненужный вопрос А-баев.

И был озадачен, услышав в ответ:

– У мамы Атипы.

А-баев тут же побежал к развалинам храма «Нумератор цифр», в котором, как ему давно стало известно, зависала душа Арона, лишь время от времени посещая невидимым призраком свою квартиру в доме № 6 на бульваре Мира. У него и потребовал психиатр разъяснения: что еще может так долго связывать их жен, таких разных особ? Арон ответил вопросами:

– У тети Софьи?.. Представления не имею, почему, – услышал А-баев. – А кто этот мальчик? Юноша?

– Я тебе уже сто раз говорил: это Серик, приемный сын Рабии! У тебя с памятью совсем, что ли, швах? – разозлился А-баев. – Но не об этом речь. Поговорить надо... Это... пора тебе вернуться в свое тело и затем отлететь нормально.

– А я что ненормально отлетел? – удивился Арон. – Какая разница!

– Да ты вообще не отлетал! – воскликнул врач-биограф. – Это твое тело от тебя сбежало! Вот и пошло все наперекосяк. Ты тут мучаешься на земле, и тело твое уже начало гнить в анабиозе. Умирать надо нормально, а не замораживать свои останки, мумифицировать там или позволять душе сбегать от тебя.

– Это ужасно... Он стал кидаться на меня, – прошептал Балерун и, оглянувшись, осмотрелся пристально, как герпетолог. – Такое длинное, гибкое, встает на хвост, с незаметной головкой, но с лязгающими, мельтешащими спицами в пасти... и это бросается на тебя!

Еще то впечатление! Как впилась она занозой в память А-баева лет так порядочно назад, так и сидела в ней, как коммунистический гимн «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов…»

Балерун – актер. А-баев знал различные его сценические состояния. Особенно он хорош в роли горьковского Сатина: ему чужд вещизм, он свободен от брака, детей, ордера на персональную квартиру и склонен к парадоксальным проповедям. Он много лет солировал на академических подмостках, но свободен и от бренных званий. Вот уже полгода Балерун на пенсии. Энергоемкий, атлетически кованый пенсионер тридцати восьми годочков. Через час, после того как Балерун унес в своем сердце любовь к балету и трудовую в кармане из театра классического танца, он остро и болезненно затосковал. О том, как он тяжело заболел душевной тоской, он долго и скучно рассказывал психиатру А-баеву, своему старому приятелю. Каждый может поведать о

такой же истории, все они по своей сути банальны: загрустил – выпил – еще сильнее загрустил – запил – с похмелья жить не хочется...

– Я убедился, что в нашем преклонном возрасте, – разглагольствовал он в сыром полуподвальчике пивной, – процесс спивания крайне болезнен. Все в организме попритерлось, где-то покрылось мхом, сложно все расшатать, нет гормональных всплесков, не мальчики. Конечно, если очень постараться, изо дня в день упорно наливаясь, желательно креплеными винами, то за три-четыре года можно добиться нужного эффекта, но на это надо бросить все оставшиеся силы, здоровье, а главное – время. Обыватель привычно презирает алкаша как падшее, вымирающее животное со слабыми рефлексами, и все от тотального непонимания тех, кто героически возложил свою жизнь на алтарь винного прилавка. Как нам представляется пьяница? Банально: скотина, мразь, свинья... А это не так. Алконавт – сильная, волевая личность. Далеко не всякий человек решится, найдет в себе силы лишить себя всех прелестей быта, как-то: чистой одежды, прав автолюбителя, бесконфликтности с соседями, вкусной и здоровой пищи. Ты бы смог сделать такой отчаянный шаг?

– Нет, – признался А-баев откровенно, малодушно отодвигая от себя пивную кружку.

– А он смог! – патетически воскликнул Балерун и, словно маг, вытянул откуда-то из-под стойки за лацкан обтрепанного пиджачка алконавта с мокровато-розовой плесенью на лбу.

Балерун с восхищением оглядел его, аккуратно разжал свои железные пальцы и упустил свой демонстрационный предмет снова в темные воды океана спиртосодержащих жидкостей, когда-то уже выпитых человечеством. Алконавт булькнул и канул с глаз.

– А ощущение хронической головной боли, рези под ребрами в атрофированной печени? А любовь? Добровольно отказаться от любви к себе, от материнской любви, любви женщин, строгой, но теплой любви коллектива... нет, для этого надо иметь сверхчеловеческие качества... А что он получил взамен? – Балерун и врач направили взоры на заплеванный пол, но пивной супермен успел куда-то уползти. – Ничего! Ты можешь понять этот предел бескорыстности? Я ожидал продолжения его блистательного монолога, но Балерун внезапно оборвал свою речь, поскучнел и сник.

– Но ты-то личность сильная... ты сможешь, важно только начать... – робко поддержал его А-баев.

– Нет, и я не смогу, – ответил он. – Пьешь, а тоска не уходит, чувствую, как она только заспиртовывается во мне на веки вечные, скручивается в спираль и царапает желудок. – Балерун поморщился от боли. – Но что делать? Пить я больше не могу. Бегаю по утрам, обливаюсь ледяной водой, все бесполезно.

– Давай, выпишу тебе транквилизаторы, – предложил приятелю А-баев.

Балерун отказался от лекарств и надо же было психиатру, тогда еще не роману, посоветовать ему заняться спицетерапией. Сидишь тихонечко,

уединенно, вяжешь, петельки накидываешь, и ничего тебе не нужно, а главное – эмоции вяжутся в какую-то конкретную вещь, ровно покидая тебя. Чисто так, спокойно.

– А-а... бред все это собачий, – ответил он и зашагал из пивной, так и не выпив ни глоточка холодненького «Жигулевского».

С этого дня он исчез, через месяц А-баев затревожился и навестил его. Последние два года Балерун снимал однокомнатную квартиру у неведомых никому молодоженов, отправившихся, как ему передали, буквально прямо из-за свадебного стола в тундру спрессовывать в сберкнижку нефтерубли. «Видимо, в тундру», – утверждал Балерун. Это географическое представление ассоциировалось в его мозгах с пустой, необжитой квартирой легких на ногу юных супругов. А-баев попытался поставить под сомнение тундровую гипотезу, предложив вариант туркменской пустыни.

– Нет, – твердо отверг тогда мои слова Балерун. – Квартира, как ты, возможно, заметил, находится с теневой стороны. Сумрачно, вечная мерзлота. И потом, где ты тут видишь пески?!

Психиатр хотел ответить, что не видит здесь и оленей, но в то время Балерун входил в образ чеховского Иванова и страдал от непонимания его душевного состояния людьми. И поэтому его немой, но полный мук взгляд заставил доктора примолкнуть. Вот она сила искусства! Конечно же, он не спал на голом полу, точнее на линолеуме. В комнате был расстелен гигантский ковер – его единственная личная собственность.

В конце каждого месяца ровно в полночь Балеруна посещала угрюмая старуха в черном, когда-то сторговавшаяся с ним о сдаче этой железобетонной клетки с санузлом в наем. Являлась она за квартплатой. Склонность к ночным посещениям, молчаливость и костлявость старухи тревожили, даже пугали Балеруна, и он всегда сразу же безропотно отдавал ей дань в пятьдесят рублей.

Итак, врач не скорой помощи навестил его. И застал за вязанием. Оказалось, что он все же приобрел спицы, освоил нехитрую технику постукивания ими и уединился в мерный ритм вязания. Исчезая между спицами в его пальцах, шерстяная нить нервно стекала вниз не широким шарфом, и, видимо, вместе с нею в дерганые петли капала и какая-то часть душевной тоски списанного на пенсию Балеруна. Это ощущалось. Связав за этот месяц метра два шерстяной полоски, Балерун привел маятник остановившихся часов своего существования в состояние размеренных колебаний, и вскоре сам появился в театральном баре. За чашечкой кофе теперь он производил впечатление посвященного в культуру дзэн-буддизма монаха, погрузившегося в глубокое философское созерцание мира.

– Я, – заявил он А-баеву, – прошел уже две ступени земель бодхисаттвы: ступень радости по поводу избавления от ошибок и ступень очищения – достижения совершенства в моральном отношении. Теперь же постигаю третью ступень – ступень понимания, и это начало проникновения в глубокие истины.

Насчет этих ступеней лечащему специалисту в области душевных катаклизмов нечего было сказать, но то, что пациент действительно ожил, было, без сомнения, фактом. Сказалась ли спицетерапия или то, что он совершенно отказался от алкоголя, для лечебного эффекта было неважно. А может быть, просто время, ведь время, как говорят, лечит. Но, по крайней мере, Балерун посвежел. Он даже принялся строить творческие планы, видите ли, ему приснился сон, что в каком-то театре танцев появилась новая сцена, и она якобы все расширялась и расширялась, да так, что на ней можно было даже расстелить ковер. Однако прошла неделя, вторая, и состояние Балеруна вновь стало тревожить А-баева. Нет, это уже была не ситуационная депрессия, это было гораздо сложнее. Естественно, доктор не мог оставить его в беде и заставил во всем признаться. Он долго отмалчивался, отнекивался, но все же...

Ночью, в какую именно, Балерун не уточнил, он проснулся от торопливо-вороватого металлического постукивания. Так звякают отмычки на кольце или какая-нибудь расшатанная при ветре задвижка на раме окна. Балерун приподнялся на постели, и тут же странный звук затих. Балерун вновь припечатал свою голову к доверчивой подушке, и стук возник опять. Но Балерун нашел в себе мужество и упорство заснуть. Это был, с его слов, последний здоровый сон в его жизни. Утром Балерун, после известных гигиенических процедур, одеваясь, обнаружил только один свой шерстяной носок. «Носки – это не перчатки, – сказал тогда он себе. – Они не исчезают вне дома, легкомысленность им не присуща. Значит, он где-то здесь. Эй, ты где?» Носок не только не появился, но даже не отозвался на отеческий зов Балеруна. И ему пришлось натягивать на свои ноги с отвратительно, как у гориллы, развитыми, подвижными и мускулистыми большими пальцами синтетику, хотя весна на улице все еще не могла решиться разорвать свою затянувшуюся интимную интрижку с престарелым, но еще крепеньким морозом.

Надо заметить, что Балеруны крайне нежно и внимательно относятся к ступням своих ног, не меньше, чем пианисты к пальцам кистей. Холят их, массируют, протирают цветочной водой, и все равно, для непривычного глаза они выглядят странно. Так в тонких эрзац-носках Балерун и направился в то утро на прогулку. Вернувшись домой, он не обнаружил уже и второго шерстяного носка, брошенного им у неубранной с ковра постели. В полночной темноте металлическое постукивание возникло вновь. На этот раз Балерун не поленился, встал, проверил все шпингалеты на окнах. Они, как, впрочем, он и ожидал, были намертво ввинчены в дерево. Балерун задумчиво оглядел свое пустое жилье, задумался – не мог же позвякивать бахромой ковер... «Мышь! – неожиданно для себя решил Балерун. – Но почему она клацает металлически? Потому что фиксатая».

Балерун накинул на язычок электровыключателя петлю из суровой нитки, а ее саму перекинул через торчавший кстати гвоздь в стене и протянул свободный конец к постели, выключил лампочку и, устроив так оригинальную

световую ловушку, прикинулся спящим. Как только что-то снова зашуршало и принялось приглушенно позвякивать, Балерун резко потянул нить, и выключатель щелкнул, комната ярко осветилась. То, что он увидел, было невозможно.

– Знаешь, – прошептал он. – Ты не поверишь. От приоткрытого чемодана через комнату в коридор метнулось что-то длинное и ползучее. И я закричал.

Балерун – мужчина не робкого десятка. Он встал, осмотрел всю комнату, квартиру, но это длинно-ползучее бесследно исчезло, возможно, забилось под ванну, возможно, забралось на антресоли. Балерун заглянул и в чемодан, это змееподобное существо могло откладывать там яйца, но следов пребывания пресмыкающегося он там не обнаружил. Зато один рукав его любимого свитера пропал. Балерун сел на ковер, принялся шевелить пальцами ног и извилинами мозга. Почему это существо не укусило его спящего, а копалось в чемодане? Вещи как материальная ценность вряд ли интересовали этого гада, а значит, оно искало жратву. Шерсть есть можно? Моль ест. Значит, эта штука сожрала и носки, и рукав единственного свитера. Как ни было жалко, утром Балерун бросил обгрызенный свитер посреди комнаты, вышел в коридор, хлопнул входной дверью квартиры и, тихо развернувшись, пробрался через комнату на балкон и там затаился.Через полчаса из полумрака прихожей появилось оно.

Это был недовязанный шарф!

Шарф опасливо замер на пороге, затем, увидев на полу беззащитно распростертый свитер, потерял осторожность и, бросившись на свитер, как на задремавшую овечку, вцепился в конец свободной шерстяной нити кончиками спиц. Время от времени шарф удовлетворенно замирал, но через минуту вновь с лютым вожделением принимался перевязывать на себя распускавшуюся нить.

– Первые дни, – рассказывал Балерун, – он от меня скрывался. Я стал его прикармливать. Правда, возникли некоторые неудобства, пришлось свернуть и вынести на балкон ковер, ну сам понимаешь, все-таки это дорогая вещь, а потом память о покойной бабушке. Спать я стал прямо на линолеуме, а шарф иногда пристраивался у моих ног. Мне очень хотелось его приручить. Помнишь, Лис у Сент-Экзюпери говорит, что приручить – означает создать узы единства в целом свете. Я чувствовал, что мы с ним сойдемся характерами.

– Нет, на роль Маленького принца ты не потянешь. Староват. У тебя галлюцинации, слуховые и зрительные. Паранойя, – установил диагноз психиатр. – Вот до чего тебя твой буддизм довел с его землями бодхиватвы. Лечиться надо, и срочно. Пошли в дурдом.

– Не бодхиватвы, а бодхисаттвы, а в свой дурдом сам иди, дурик, – огрызнулся Балерун и ушел, не дав схватить себя за локоть.

Ну не вязать же его... Прошла еще неделя. Как-то А-баев стоял на углу бульвара Мира и Советской улицы и случайно увидел в большом окне проезжавшего мимо автобуса Балеруна. Он помахал врачующему дружку рукой и указал на длинный, пестрый шарф, болтавшийся спиралями на его шее. И на

лице Балеруна, и в уютных складках шарфа А-баеву почудилась некая радость теплого общения, автономно существующая между ними двоими вне окружающих, с их семьями, друзьями, собаками умных пород. И, видимо, желал хотя бы с психиатром поделиться прекрасными чувствами. Он мог сойти с автобуса на ближайшей остановке, пойти приятелю навстречу, но прокатил мимо. Они так и не встретились. Кто-то рассказывал, что видел Балеруна на днях с удивительно юной девушкой, уже зрелой, но наивно-неловкой, какой бывает только первая записка на белоснежном листе в жизни человека, адресованная первой любви. Врачеватель душ этому не поверил, это не амплуа Балеруна.

В конце апреля жизнь А-баева осложнилась двумя затяжными процессами: он решил отрастить бороду и развестись. И первое, и второе заставило его долго и много нервничать, особенно изматывали бесконечные выяснения женой причин появления волосяного покрова на лице изменника. К осени А-баев окончательно убедился, что и развод, и борода не для него. Он побрился, съехался с семьей и, наконец, вспомнил о своих приятелях из театрального бара. Конечно же, в первую очередь о Балеруне. Но и он тоже хорош, мог бы и сам появиться, однако же нет, словно сквозь землю провалился. Никто о нем ничего не знал. Для врача областной психиатрической больницы стало ясно. Он купил банку яблочного сока, две булочки, кефиру, пару дорогих – 60 копеек! – пачек сигарет «Медео» и поехал навестить больного в городской клинике для душевнобольных. Проехав несколько остановок на троллейбусе, он все же сошел на улице, где раньше проживал Балерун, на всякий случай, диагноз мог быть отяжелен преступным деянием и тогда бы пришлось ехать в спецотделение на Сортировочной станции.

Дверь квартиры Балеруна ему открыла блондинка лет тридцати.

– Вы к мужу? – сразу уточнила она, разглядывая свои багрово-удлиненные ногти. – Он там, внизу, в гараже, – и захлопнула дверь.

А-баев спустился во двор, ничего не понимая. Там, под дальними деревьями, действительно ворота одного из железных гаражей были распахнуты.

– Это ужасно... Он стал кидаться на меня, – прошептал Балерун и, оглянувшись, осмотрелся пристально, как герпетолог. – Такое длинное, гибкое, встает на хвост, с незаметной головкой, но с лязгающими, мельтешащими спицами в пасти... И это бросается на тебя!

Приятели сидели вместе в гараже на новеньких покрышках и разговаривали.

– Что же мне делать? – обреченно спросил Балерун, поглядывая на мою сетку. – Это что там у тебя?

– Да вот... передачу тебе в дурдом нес, а ты в гараже на покрышках.

– Скрываюсь... Ну, давай, что ли, кефир.

– Да выбрось ты все это из головы, а шарф на помойку.

– Нет, не могу... ведь он как бы часть моя, с такой тоской и болью связанная, самая кровная.

– Он же у тебя был совсем ручной, ты же рассказывал, – спросил я, доставая из сетки бутылку с кефиром. – Кажется, я даже видел его у тебя на шее, если это был он.

– Пестренький такой? – с внезапно прорвавшейся нежностью почти пропел Балерун, взбалтывая кефир. – Тут, понимаешь, все гораздо сложнее, – и помрачнел. – Он бесится оттого, что я сплю с этой...

– Да, поздравляю! Ты, оказывается, женился, – воскликнул я, протягивая ему руку для пожатия.

– Да не жена она мне! – разозлился он. – А что мне было делать?! Прикатила месяц назад, бросила где-то там в тундре своего молодожена и с барахлом своим ввалилась прямо на мой ковер. Мне, конечно, было сказано, чтобы немедленно выселялся, но я уперся: мол, заплатил за месяц вперед. Она мне обратно деньги, у нее их куры не клюют, но я все равно остался... на свою голову. А он ничего не хочет понимать, совсем как ребенок. Рассердился...

– Хватит трепаться. Шарфу-то какое дело, с кем ты там спишь.

Балерун промолчал, а потом, допив кефир, неохотно произнес:

– Да это он из-за Асель...

А-баев расхохотался:

– О-о, подуло гриновским норд-остом в алые паруса, – сострил он, как ему показалось, удачно. – Слушай, есть какой-нибудь предел твоему актерскому трепу?

– При чем здесь Грин? – откровенно обиделся Балерун. – Ее зовут не Ассоль, а Асель, и она обычная студентка-первокурсница...

За короткий срок, со слов Балеруна, он и шарф близко сжились. Может быть, действительно было в них какое-то единое духовное начало, как у Создателя и Адама, после того как Бог вдул в глину из уст своих жизнь. Балерун взял сразу же на себя роль не только хозяина, но и воспитателя шарфа. Строго следил за его поведением, научил по утрам чистить зубы, то есть – спицы, прогуливался с ним перед сном по скверику. И это быстро нашло отклик в плотной вязке шарфа, он оказался на удивление ласковым и привязчивым, бросил ночами шастать по квартире и вообще жрать любую шерсть. В шарфе проклюнулся ленивец, любитель поспать. Он вытянулся, даже как-то потолстел. Ковер Балеруна вернулся из балконной эмиграции. Однажды Балерун, выгуливая свой шарф, забрел в дальнюю, пустынную аллею сквера. На одной из скамеек, словно в лодке, сидела тоненькая девушка. Балерун было беспечно прошел мимо нее, но шарф вдруг туго перехватил его дыхание, рванулся к краю скамейки и буквально, как кистью, вцепился в него. Балерун вынужден был присесть рядом с девушкой и волей-неволей обратить на нее свое избалованное слабым полом внимание. Девушка действительно, скинув свои резиновые сапожки и поджав под себя худые ноги, сидела в углублении парковой

скамейки, словно в лодке среди бушующего мертвого моря: глаза она плотно закрыла, словно от страха гибели в пучине, перехватила плечики тонкими пальцами рук. Такая одинокая, потерянная... в этом давящем, ревущем, полыхающем неоновыми волнами миллионном городе. Наверное, она, прикрыв веки на бледном, как стеариновая капля, лице, видела тихую заводь покинутого родного дома где-нибудь на степном полустанке или в медовом горном ауле... кто же знает.

– Не понимаю, – задумчиво произнес Балерун. – Почему именно тебе я все это рассказываю? Еще чего доброго состряпаешь рассказик или пьеску... Но ты ведь, слава богу, не Гоголь?

– Как сказать.... Хочешь яблочного сока?

– Давай. И булочки. Я стал много есть в последнее время. Какая-то внутри пустота, хочется забить ее хоть чем-нибудь. А раньше здесь, – Балерун прижал руку, свободную от булочки, к груди, – была одна Асель. Такая маленькая, а заполняла меня всего. Я не то чтобы полюбил ее сразу, а просто понял, что ее-то и любил всегда. В мире много совершенного, можно безумно любить картины Шишкина, личный автомобиль, почтовые марки, здание оперы и балета, затем вспаханное поле... да мало ли что, но все эти формы любви не соответствовали моему мозговому стволу с его бесчисленными и запутанными нервными окончаниями. Это все искусственно создано: картины можно перевесить, автомобиль устаревает, поле можно и нужно заново вспахивать. Я же ее любил только так, как можно любить совершенно загадочный и в то же время полностью открытый в своей естественности уголок природы. Там можно быть только замерев, и созерцая немо. Даже приблизившись к нему, уже с болью понимаешь, что придавил башмаками травинку, мураша... Я даже не мыслил себе, что к ней можно прикоснуться. Лишь однажды, когда мы шли по тенистой аллее и разговаривали, мой шарф совершил ужасно пошлый и хамский поступок. Он как-то нагло перекинулся и одним краем обнял ее за талию. К сожалению, я поздно это заметил, лишь только тогда, когда Асель, внезапно замолкнув, заспешила домой, что-то смущенно говоря о строгости нравов общежития. Дома, конечно, я его зло отругал, он так тогда растерялся, ведь он, видимо, хотел как лучше для меня. Надо заметить, что появление в моей жизни Асель окончательно изменило шарф к лучшему, он буквально за несколько дней преобразился в существо удивительно нежное, доброе, мягкое и, представляешь, даже стал светиться в темноте, как будто в него были ввязаны фосфорные нити. Теперь я понимаю, это все было моим счастьем, но появилась эта... из тундры, и все скомкалось вдруг почти непоправимо.

– Ну это уж точно шизофрения! – не выдержал наконец психиатр. – Мой долг врача требует госпитализировать тебя, – засим любопытный А-баев спросил: – А где сейчас твоя Асель? Можно взглянуть на этот «уголок живой природы»?

– Не смей! – закричал Балерун. – Все как специально против меня складывается... Тундра эта прикатила, а Асель уехала на картошку со своим дебильным курсом... Вали отсюда!

Через год с небольшим А-баев как-то утром стоял на обочине дороги – «голосовал», пытаясь остановить такси. Минут двадцать махал рукой, мог бы на автобусе быстрей доехать. Как назло, попадались одни малосговорчивые типы, лишь один владелец «Жигулей» наконец тормознул: «Садись».

А-баев влез в машину, назвал адрес, пригляделся к человеку, смотрит – Балерун!

– Привет!

– А-а... привет, – ответил тот. – Ну как оно?

Поговорили о том о сем. Смотрелся он прилично, джинсы фирменные, пиджак кожаный. Давненько не виделись, да-а... Помолчали. Говорить стало не о чем, и тогда А-баев заметил, что Балерун больше не философствует. Ехать молчком со старым приятелем было неловко, и он с улыбкой спросил его о шарфе.

– Шарф? – переспросил он. – А, такой пестренький? Потерялся. А потом, черт его знает, кто его на балкон выбросил, там он зацепился за какую-то железку, повесился и распустился до самой земли с девятого этажа.

– Тосковал, наверное? – с надеждой восстановить прежние фантасмагоричные диалоги, спросил психиатр. – По Асель.

Признаться, об этой Асель он часто думал с того времени, все не верилось, что где-то на нашей Земле еще сохранилась девственная природа.

– Кто? Шарф? Да как шарф тосковать может? – усмехнулся Балерун. – Вот ты меня, кстати, всегда чуть ли не за своего пациента считал, тронутого. Да был бы я действительно умалишенным, если бы женился на той девчонке. Ни у нее, ни у меня прописки, а о квартире и говорить нечего. По сей день мотались бы по общагам да сарайчикам. Нет уж, спасибо. А помнишь, меня старуха каждый месяц ровно в полночь посещала, жутко пугая своей таинственностью? Мне казалось, что она приходит с того света, а все оказалось обычным: просто моя будущая теща работала рядом ночным сторожем в продмаге и ей удобней было приходить за квартплатой ночью. Это нам кажется, что в мире много невероятного, а все имеет под собой объяснимую реальную и меркантильную основу. Я сейчас тоже работаю во вневедомственной охране бригадиром, – он пощелкал пальцами и добавил с огорчением: – Трудно стало жить. Мало того, что хлеб белый, так ведь и икра черная.

– Останови, – заявил А-баев ему.

– Так мы же еще не доехали, – удивился Балерун, вернее Бригадир вневедомственной охраны.

– Я дальше пешочком. Тут недалеко.

– Да брось ты. Ладно. С тебя два рубля.

– Два рубля? Тогда довезешь до дома.

Доехали молча.

Собравшийся в очередной раз вместе глубокой ночью ближний круг составили все тот же Рамуш, Горюйко с сестрой Верой, она же медсестра, китаец Кэ и Блумберг.

– Тут такое дело, – начал неопределенно А-баев. – Чудес не бывает. Все просто, как два рубля.

– Дважды два, – поправил его Ии Кэ, обладавший более глубокими математическими познаниями, нежели врач. – В смысле – четыре.

– Причем здесь арифметика?! – возмутился А-баев. – Надо как-то нам что-то наконец решать. Меня просили присмотреть, я и присматривал... во имя спасения человечества.

– За кем это? – мрачно спросил лоскутный Горюйко, всегда считавший психиатра Карагандинского облпсихдиспансера агентом Комитета госбезопасности СССР. – Знаем, как вы спасали человечество! Я протестую против карательной психиатрии! Всех нас не упрячете в психушку!

Блумберг, с некоторого времени снова начавший прикидываться, как настоящий шпион, что не понимает по-русски, вопросительно развернул свое лицо с бледно-синими глазами к китайцу. И Ии Кэ перевел ему слова западноукраинского диссидента на английский язык:

– Обсуждаются собранные <...> господином биографом сведенья, скрытые в <...> психологии, бля.

Блумберг спросил:

– What such a thing «blia»?

На этот раз Ии Кэ возмутился:

– <...>! <...>! И пошел ты на <...>, козел!

– Никого я никуда не запрятывал, – возмутился А-баев. – Нас самих всех тут запрятали. А просил меня присмотреть за его телом Арон, точнее, его душа, потому что опасалась, что оно наделает делов.

– Наделал уже! – дерзко подтвердила прозвучавшие опасения медсестра Вера. – Шубу мою стащил. Новую, – и, взглянув на китайца, добавила: – Настоящая норка. Не какое-нибудь там китайское дерьмо.

Ии Кэ не услышал даму, но тихо и твердо потребовал уточнить, о ком идет речь или о чем.

– Если имеется в виду персонаж одной найденной мной на чердаке гостиницы русской книги без обложки, являвшийся жителям города Глупова, то оно – предвестник конца истории. Но речь идет об Оге – существе без пола, тайно и непонятно зачем взятое Ноем во времена потопа на ковчег вместе с другими живыми парами, то, знаете ли...

– О Гаипове я говорю, – возмущенно пояснил ему А-баев. – Оно – его тело, которое теперь фараон.

– Не думаю, – возразил Ии Кэ. – Я давно заметил, товарищ, что вы склонны запутывать самые простые, банальные ситуации. Профессор Гаипов, будь он хоть трижды <...> фараон, все равно остается человеком, мужчиной. Следовательно, оно есть он.

– Да я не об этом! – возмутился А-баев. – Как вы не поймете! Оно просто выглядит как человек. Но это не человек. Это тело человека, потому что нет в нем души! И оно, конечно, не разлагается еще, но в физиологическом цикле исчерпало все ресурсы клинической смерти. Пора сказать вам, что его душа пребывает от него отдельно, где-то там, – и он указал пальцем вверх и не понятно было, что он имеет в виду: небеса или пространство над колоннами.

– У человека нет никакой души, – твердо заявила Вера, закончившая медучилище на отлично, и менее уверенно добавила: – И бога нет.

Врач А-баев, хотя и был по совместительству писателем, человеком духовной профессии, не стал оспаривать ее мнение. А прочитавший все забытые в номерах гостиницы «Украина» книги и журналы Ии Кэ, лекторским тоном просветил присутствовавших медицинской цитатой:

– По определению академика Владимира Александровича Неговского, создателя реаниматологии, клиническая смерть уже не является жизнью, но еще не является смертью. Это возникновение нового качества – перерыв непрерывности. В биологическом смысле это состояние напоминает анабиоз, хотя и не идентично этому <...> понятию.

– Анабиоз.., анабиоз.., – стала вспоминать медсестра Вера лекции, прослушанные ею когда-то, и не вспомнив ничего толкового, весело продикломировала:

– Там, где был анабиоз, там сегодня сколиоз, – и расхохоталась.

Мужчины взглянули на нее и кисло улыбнулись, только Ии Кэ вновь процитировал какой-то медицинский труд:

– Анабиоз это состояние организма, при котором жизненные <...> процессы резко замедляются, что способствует выживанию его в неблагоприятных, самых <...> условиях, – вызвав тем самым новый прилив неприязни у женщины, чью шутку он не оценил никак.

– Сама знаю! Мерси, – иронично поблагодарила эрудита Вера.

– Где-то Вера права, – примирительно сказал искавший союзников А-баев. – Будете так сидеть мешком – недалеко до сколиоза. В любом случае у нашего не анабиоз – дышит же, ходит. Но то, что жизненные процессы в его организме резко изменяются – очевидный факт. Распухает. Оно и понятно...

– А в данном случае «оно», это кто? – спросил Ии Кэ.

– Вот не русский! – тут же отозвалась Вера.

Окончательно осмелевший в отсутствие фараона Горюйко назидательно заметил:

– Сестричка, руський той же китаэць, такий же вузькоокий й вузьколобый.

Вера, последние десять лет жизни работавшая в Караганде и уже привыкшая считать себя среди казахов русской, хотела было возразить, но вспомнив, что в России у нее нет дома с шубой, промолчала. Хотя не было у нее и своего угла и на Украине, как, впрочем, теперь и в Казахстане, и в долбанном этом Египте! А этот жадюга фараон не дал ей денег съездить на курорт Шарм-а-шейх. А ведь пляжи Красного моря по карагандинским степным меркам были буквально под боком Царства мертвых – километров двести-триста. Все, кому ни лень, там уже перебывали, даже Нинка из травматологии со своим хромым вахтером Равилем, мордой татарской! И медсестра Вера, до дрожи в коленях боявшаяся сбежавшего с ее реанимационной койки полумертвого, (а быть может, и мертвого!) пациента, внутренне перебежала на сторону А-баева, явно готовившего какую-то пакость фараону.

– Как известно, мы имеем дело с бездушным телом Арона Гаипова, – продолжил А-баев, утаивая, что виделся с отдельно мотавшейся в пространствах душой Арона, дабы не приняли его за сумасшедшего. – Медицине известен случай, когда человек в течение целых девяти часов находился в состоянии клинической смерти, но здесь, я бы сказал, что-то совершенно фантастическое. Я, признаюсь, все ждал, когда он... сами понимаете. Но сколько можно ждать?

Рамуш, внимательно вслушивавшийся в речь Смотрящего на надписи писцов Писца, вынул острый согдийскиий нож и принялся, многозначительно оглядывая всех, подрезать свои отросшие ногти. А-баев покосился на фараоновского киллера и продолжил свой страстный монолог:

– Я в том смысле, что мы не убийцы. Я никогда не пойду на эвтаназию, я не убийца в белом халате! Но что-то делать надо, – и зайдя за широкую спину Веры, добавил: – Достал уже!

Рамуш взмахнул ножом, почти тесаком, и заявил:

– Зарезать его надо. Как барана. Он появился – все не стало. Моего народа не стало. Невест моего народа не стало. Чести моего... не стало, – и неожиданно горько заплакал.

Заговорщики, не видевшие, кроме А-баева, никогда убийцу рыдающим, испугались и сбились вокруг все той же медсестры. И вновь решился заговорить лишь психиатр врачебным, естественным для него тоном, потребовал:

– Его следует вернуть в реанимацию. В Карагандинскую областную больницу. Нам всем надо вернуться, кто был там в ту ночь.

– Это еще зачем? – не согласилась Вера. – Не хочу я в Караганду твою дурацкую. Как я за прогулы отвечу?

А-баев хотел было объяснить, что тело сдохнет только тогда, когда в него вернется снова душа и отлетит, как положено. А это может произойти только в точке, где они распались – на реанимационной койке – той самой, у ночного и зимнего окна. Но не стал разъяснять по двум на то причинам. Во-первых, он сам не понимал, почему вдруг должно произойти то, что он утверждал, и зачем

следует тащить тело Гаипова именно в Караганду, а во-вторых... Опять же пришлось бы говорить о какой-то его душе, летающей в прошлом, но не способной залететь в будущее.., в общем, всю эту мистику, в которую все равно никто не поверит. Оставалось лишь утверждать:

– Это медицинский факт!

От суфия, дожидавшегося на горной дороге Памира воина, отправившегося по пьяни за забытым клинком, осталась только его душа. И надо же, именно в нее, только собравшейся взлететь на небеса, вцепился диаболос, известный под именем Иблис. Как он на нее наткнулся среди тесных скал, непонятно, но достоверно известно, что удержать ее на земле сатана смог явным и резким оскорблением:

– Эй ты, нафс аль-амарат!

– Я не нафс аль-амарат. Я – Нафс ал-лавамат, – заспорила душа суфия, не согласившись с тем, что она страстная душа, душа как таковая, и утверждая, что она душа, просвещенная светом Аллаха. И попалась.

Эта история, конечно же, всего лишь агиография, проще говоря – суфийская выдумка.

На полученные от последней и единственной действительно удачной торговой сделки деньги Рабия арендовала спортзал закрывшегося профтехучилища и открыла мебельный салон. Итальянские диваны и кресла китайского производства уходили влет. Софья как партнер, ставшая совладелицей магазина, никак не могла уразуметь эту метаморфозу. Она даже боялась получать положенную ей долю прибыли. Ну не верилось ей, что так можно! А так как исчезла нужда мотаться в Китай за товаром, она устроилась работать в магазине Рабии уборщицей. И со скромной своей зарплаты продолжила откладывать по пять долларов в шкаф в коробку от обуви для будущей свадьбы Атипы, даже не догадываясь, что благодаря Рабие у ее дочери в Казкоммерцбанке уже десятки тысяч в разной валюте. А самой важнейшей заботой для Софьи стала давняя местная советская забава – выращивание картофеля на каменистой почве карагандинской степи. А Рабия, разбогатев, стала отказываться от сельскохозяйственных камланий, с тяпкой продолжила кружения вокруг ботвы одна Софья. И она же буквально вынуждала подругу приезжать на выкапывание созревших клубней. Ей важно было, чтобы её компаньонша видела своими глазами, сколько было собрано картофеля, а потом справедливо поделить четыре мешка на две семьи.

Женщины работали молча, а дети переговаривались. Серик выкапывал картошку и спрашивал у Атипы, двумя пальчиками поднимавшей и бросавшей картофельный плод в дырявое ржавое ведро, уже десятый год зимовавшее здесь же на краю поля в снятой с грузовой машины будке с надписью «Хл б»:

– Говорит, что если ко мне припрутся от фараона – не верь, что он мой отец. В смысле, наполовину отец, меньшую половину. А вторая, говорит, типа душа.

– Ты что, малыш, веришь ему? – спрашивала недовольно Атипа. – И что ты его слушаешь? Сколько можно говорить. Скажешь: мамы дома нет, и сразу же клади трубку.

– Неудобно, – неуверенно возразил Серик. – Все-таки твой папаша. А что он там делает?

– Папа – врач. В Египте врачей не хватает, у них эпидемии всякие. Вот и все, – ответила Атипа, повертела в руке замысловатую картофелину и заговорила о другом: – Правда, на кошачью мордочку похожа? Грязного такого котенка.

Серик посмотрел на протянутый к нему земляной плод и ответил:

– На фергауна смахивает.

Атипа удивилась:

– Какого такого фергауна?

– Типа фараона, но не из древней истории, а из Корана. Он вроде как бы типа сатаны.

– Нет никакого сатаны! – раздраженно возразила Атипа, и с таким эмоциональным ударением, что на детей посмотрели матери, сидевшие с тяжелыми руками у садоводческо-хлебной будки.

Атипа смягчила тон, но продолжила внушать Серику свое представление о мироустройстве, закончившееся словами:

– И фергауна никакого нет.

– И мне кажется, что ни сатаны, ни фергауна, ни чертей никаких нет, – проговорил высокий и очень худой юноша. – Я думаю, есть подобия.

Атипа подумала и стала размышлять вслух:

– В смысле, типа клонов? У человека полно грязных идей, он и в зеркале увидит черта, чтобы свалить на него все свои проколы. Типа, черт попутал. А тот будет тихо страдать и плакать в облачную подушку, – и рассмеялась.

Атипа, разглядывая на солнышке очередную картофельную мелочь, продолжила философствовать:

– Если вставить в нее... я про картошку... перо крылиное... В смысле из крыла птицы. Но все равно, она останется существом земным. Даже если подкинуть ее под облака. Будет кружиться, падая вниз, и гнить. Крахмал... ничего не поделаешь.

Серик, считавший Арона Гаипова своим родным отцом, снова вернулся к своим мыслям:

– Хорошо, эпидемии там у пирамид. Это понятно. Но зачем тогда мой папа прикинулся фараоном? И твой что делает с ним?

– Я, думаю, у него миссия.

– Какая миссия? – еще более заинтересовался Серик, даже перестал копать.

И Атипа вынуждена была доверительно поделиться с другом тайной своего детства, страшной тайной, прошептав:

– У моего папы не только эпидемии. Точнее, вовсе не эпидемии. Это он маме так втирает. Он с твоим отцом возвращает Луну на Землю. Ну, что ты стал, как столб? Выкопал – собирай в ведро. Видишь, я не успеваю. Раньше Луна была частью Земли. Так вот, если ее вернуть на землю, то с изменением массы земли, изменится ее траектория, и мы отлетим в зону космического рая, где нет никаких чертей, сатаны, а только одни ангелы. Понятно?

Серик согласился:

– Понятно, типа.

Рабия, собиравшая у жестяной помятой будки на чистом кухонном полотенце обед из колбасы, картофеля в мундире и лука, громко позвала детей:

– Руки мыть! Пора обедать!

Софья пошла за собранной в ведро картошкой и, вернувшись, сказала ровно:

– Они снова о непонятном говорят.

Рабия пожала плечами и потребовала:

– Скажи мужу, если вдруг еще раз тебе позвонит, чтобы Серика оставил в покое.

Софья смутилась и попыталась оправдаться:

– Я уже говорила... А он отвечает только: скоро все кончится.

Софья села на скособоченную металлическую табуретку и произнесла:

– Ага, страшный-престрашный суд. Жизнь после смерти и всякое такое.

– Гаипов обещал заплатить, когда он книгу какую-то напишет до конца.

Суд – не суд, а ответить, конечно, придется всем. С первого мгновения смерти.

Когда, казалось бы, вся свита махнула рукой на фараона, к нему скрытно явился Блюмберг. Долго кланялся издали, затем кричал в ухо, всяко трепал его за жирные складки кожи, пока Гаипов, наконец, не заметил надоедливого посетителя и не произнес:

– Чего тебе?

Блюмберг принялся, подрагивая, как осиновая ветка, всем худющим телом и посматривая с опаской краем глаза на собиравшихся вокруг трона фараона AS-клонов, таких же вялых, подгнивающих, как и их образец, нудно и путанно, объяснять причину своего визита. Что-то там о каких-то общечеловеческих ценностях, тайнах звезд, о великом наследии каком-то и прогрессивном человечестве. Гаипов слушал его в полуха и, вдруг вспомнив гипсового Пушкина на бульваре мира в Караганде, подумал, что он сам стал как памятник самому себе. Сердце настолько стало биться редко, что и кровь в венах сгустилась до состояния бетонного раствора. «Пожалуй, большой

весомости мне не добиться», – подумал он, и обратил наконец свое внимание на говорившего:

– Чего тебе? Только кратко и конкретно. А то прикажу тебя залить в бочке цементом.

– Фонд Зинаиды Арон настоятельно просит Вас, Арон Сулейменович, окончательно вычислить свою формулу симулякров.

– Да зачем вам эта формула? Ни денег бешеных, ни славы нетленной она никому не принесет. Даже к власти не приблизит. К тому же симулякры и так множатся сами по себе. Куда ни глянь. Один прикидывается писателем, другой – ученым, третий – другом,– говоря, Гаипов больно схватил Блумберга за нос. – Все твое актуальное искусство, перфомансы, статуи из мусора и пены – сплошь симулякры.

Схваченный человек непременно должен заговорить о свободе и Блумберг невольно принялся гундосить:

– Свобода слова... демократия...

– Демократия? Была такая штука в Афинах. Настоящая, когда голосуют руками и всем видно: кто и как проголосовал. А как только голосующие ушли с площадей, вся ваша демократия – симулякр демократии. Ну! Хватит мне голову морочить. Живо выкладывай, зачем твоей Зинке формула? Иначе оторву тебе нос, и будет он сам по себе как твой симулякр.

Пришлось Блумбергу раскрыть тайную цель Фонда Зинаиды Арон:

– При помощи формулы мы хотим доказать, что человек может создавать человека.

– А я уже создаю, – заявил профессор. – Видал, сколько у меня клонов, разных и всяких.

– Мы и инициировали работы в этом направлении. Но клоны – это всего лишь выращивание. А мы хотим, как в Библии: из ничего.

– Умно. Хотите развалить базисную установку: «И *сотворил* Бог *человека по образу Своему*»? Да я, вижу, вы экстремистские какие-то атеисты. Одобряю.

– Вот ты и попробуй реши, если тебе надо.

– Но я ведь не Вы, – попытался агент фонда грубой лестью подвигнуть профессора к решению задачи. – Вы ведь гений...

– Но это легко поправимо, – заверил его Гаипов.

И с ленцой, но быстренько, вычислил необходимый пороховой заряд в патроне, расстояние исходной точки выстрела, траекторию полета пули и всадил в лоб Блюмберга жакан, идентичный засевшему в башке. Да так, что волчья свинцовая смерть застряла там же, где покоилась в голове профессора, фараона Срединного Царства мертвых Гаипова, то бишь Арона Второго. И тело Блюмберга оставило душу, оказавшуюся невнятной, мутноватой и буквально распадавшуюся на кванты. Профессор фараон глянул и на замерший над своей душой фондовский организм одним остекленевшим глазом и произнес:

– Нет, не потянут, – и, вогнав новопредставленную обратно в Блумберга, поковырял мизинцем в дыре от пули и убил окончательно страдальца Зинаиды Арон.

В эту минуту в фараоновский зал вошел А-баев и, услышав последнюю фразу, принял ее на свой счет. Как бы он не потянет – роман. «Ах, вот как он считает!» – ужаснулся псевдописатель, глядя на казненного бедного Блумберга. – Расстреляет, как Сталин расстреливал советских писателей врачей!» И решил действовать решительней в депортации тела Гаипова в Караганду, пока не поздно.

Для перемножения целых чисел древние египтяне использовали разложение чисел на слагаемые вида 2^k (в основе этого приема лежит операция удвоения) – по существу представление числа в двоичной системе счисления. «Однако, – как замечает по этому поводу историк математики М. Я. Выгодский, – нет никаких оснований полагать, что египтяне когда-либо ставили перед собой вопрос о представлении целого числа в двоичной системе. Эквивалентность двух задач с математической точки зрения вовсе не означает их исторической эквивалентности» (Арифметика и алгебра в древнем мире. 2-е изд. М., 1967, с.19.)

В определении дедекиндова сечения все рациональные числа распределяются на два класса, L и R от left – левый, right – правый, причем каждое число расположено левее 9, т.е. оно меньше) каждого числа из R… Совокупность всевозможных сечений в множестве рациональных чисел представляет собой множество элементов, обладающих теми свойствами, которые мы хотели бы придать континууму «действительных чисел», и последние становятся надлежащим образом обоснованными… Представляется естественным (и даже неизбежным) определить действительное число как класса L (можно было, конечно, определить его и как класс R).[55]

Патовая ситуация, сложившаяся вокруг тела профессора Арона Сулейменовича Гаипова, разрешилась не самым решительным образом, как планировал А-баев, а, типа, банально. И вовсе не благодаря заговорщикам из близкого круга, а в результате налета на фараоновский дворец непонятных личностей в черных балахонах, с лицами, замотанными грязными тряпками. Налетели ночью, на верблюдах. Явно косили под берберов. Охрана, представлявшая собой батальон гвардейцев, нанятый в подражание римскому папству в Швейцарии, в ужасе, побросав автоматы, разбежалась. Очевидно, они вошли в тайное согласие с остатками гомосексуального населения фараонова царства, с которыми все швейцарцы имели самые нежные отношения. Спасся Гаипов лишь потому, что налетевшие мнимые берберы, прежде чем утащить

[55] Л и т л в у д Д ж. Математическая смесь. – Москва.: Наука, 1978. с. 63.

его, затеяли какой-то языческий ритуал с кружением, поклонами, завыванием и прыжками, плавно переходившими в левитацию. Резали ножами кожу на своих конечностях и мазали ею равнодушную обрюзгшую физиономию фараона. А когда уже вынесли его из дворца бережно к своим верблюдам, подоспел Рамуш со своими боевиками и безжалостно расстрелял всех из крупнокалиберных пулеметов. Причем, Рамуш так старательно стрелял, что штук семь пуль попали в самого Гаипова.

– Зря старался, – сказал А-баев Рамушу. – Он с пулей в голове живет уже второй десяток.

Рамуш сплюнул в песок и произнес с тающей на глазах надеждой загадочную фразу на староперсидском языке.

Китайца Кэ заинтересовали не раны босса, а татуировки на плечах ложных африканских кочевников – цепочка разновеликих многоугольников. Наконец, он отвел от них свой китайский фонарик, и произнес:

– Да-а, определенно следует поспешить. Эти не отстанут.

А-баев встревожился:

– Кто это, эти?

Ии Кэ с испугом оглядываясь по сторонам, ответил:

– Неважно...

– А зачем им тело Гаипова? – недоумевал А-баев.

– Не знаю, но как AS-клоны, они с пидарами, бля, развлекаться не станут... Пожалуй, мне стоит снова скрыться, – и, не прощаясь, китаец, действительно, скрылся без следа.

Залез, наверное, по старой привычке в какую-нибудь щель между стенами.

– Прятаться в такую роковую минуту стыдно, подло и... трусость! – гневно выкрикнул А-баев, но кричи, шуми, возмущайся, что толку?

Неважно.

За эти смутные, страшные перестроечные годы все кругом переменилось, только Карагандинская областная больница осталась прежней. Два этажа все так же пахли хлоркой, и в темных коридорах обязательно ударишься коленкой об поломанную инвалидную коляску. Даже лечебные назначения для больного хроническим энтероколитом А. Кима остались те же. Изменился разве что сам больной. От постоянного пребывания в палате с окнами, закрытыми от дневного света разросшимися деревьями, кожа его стала мучного цвета. Спасали разве что высокие потолки сталинской архитектуры. Наверное, больной А. Ким[56] был единственным человеком в больнице, кто должен был помнить о невероятном исчезновении еще при Советской власти из реанимации человека с пулей в голове, но не помнил.

[56] Колитный протертый стол по Певзнеру, микроклизмы с антипирином (0,3 г.) и спазмолитики при болях.

Доктора Н-эля боевики Рамуша с кипами на макушках нашли в Иерусалиме, поджарого, с хорошими вставными зубами. Вырвали прямо из его врачебного кабинета. Встревоженный неожиданным насильственным перелетом в родной шахтерский город Караганду, он, с облегчением узнав, что похитили его не палестинцы, с ностальгическим изумлением разглядывал советские медицинские приборы, и восторгался:

– Кто бы мог подумать, что эти чайники с утюгами еще способны вычерчивать кардиограммы и качать легкие!

– На закрытых заводах сработаны вместе с первыми космическими станциями. Прочность на случай войны, – с неожиданной для себя гордостью за промышленность СССР заявил А-баев, но, опомнившись, заволновался. –Ты бы это…ничего не надо трогать. Да полно у нас аппаратуры самой-самой, но ни к черту она здесь. Тут нужно было восстановить первоначальную конфигурацию…

– Зачем? – изумился Н-эль.

– Особый пациент, – уклончиво ответил А-баев, и дальше принялся торопливо пересказывать события последних двух десятилетий, объясняясь и показывая жестами, больше оттеснявшими иностранного специалиста от койки больного, чем помогавшими растолковать ему загадочную ситуацию.

Жирное ароновское тело растекалось, как сдобное тесто, по обе стороны реанимационной койки. Доктор Н-эль вгляделся, и в его глазах запрыгали беленькие зайчики животного ужаса.

– Это... Это, надеюсь, не он? – спросил он, не отрывая глаз от Гаипова.

– Он, – изуверски подтвердил А-баев.

– Значит, все-таки не откинул копыта, – пришел, наконец, в себя израильский светила медицины. – А он имеет отношение к...

– Имеет, – подтвердил медицинский биограф профессора Гаипова.

– А это он устроил в... – продолжил любопытствовать реаниматор.

– Да, – продолжил свидетельствовать А-баев.

– А и старика Штейна? – Никак не мог угомониться Н-эль, автоматически пытаясь нащупать на жирной гаиповской шее пульс.

– Он, – не стал скрытничать психиатрический писатель.

– Он и у нас пошустрил, как одесская сволочь. Явился, как будто он рабби Гай-Ип, стал депутатом Кнессета и, черт его знает как, добился там признания персов потерянным коленом Израилевым. Еле отделались от него. Говорили каббалисты устроили ему проклятье[57] и вогнали в кому. Так и увезли его таким какие-то поцы.

– Не впадал он ни в какую кому, и каббалисты здесь ни при чем, – знающе произнес А-баев. – Просто сам по себе так стал отключаться на время.

[57] Пульсей де-нура ( ) – «Удар огня». Болезненное наказание на уровне нефизического, сущности мира. Раввин Йосеф Даян утверждал, что участвовал в обрядах проклятия в отношении впавшего в коматозное состояние в 1995 году премьер-министром Израиля Ариэля Шарона.

Возникла тяжелая пауза, когда и сказать-то больше нечего, плодотворно используемая в театре абсурда. Обычно женщины выходят из нее, используя обвинения: экстравертки – начинают обвинять в сложившейся ситуации себя, интровертки – всех остальных. Мужчины же выбираются из таких пауз, цепляясь за пошлые, скабрезные шуточки, что и предприняли старые институтские товарищи. К тому же и сам синевато-желтый, как потрескавшийся бивень мамонта, предмет[58] для острот торчал прямо у них перед глазами, выглядя совершенно отвратительно. Медицинские мужи смачно, с матерком прокомментировали сей удивительный физиологический казус и снова замолчали. Выручил больной Ким, от старости начавший забредать в чужие палаты, забредая и в гинекологическое отделение, где его принимали за старуху и не гнали вовсе.

– А-а, Ким! – обрадовался доктор Н-эль. – Хронический энтероколит, – и спросил коллегу: – Его что, так и не выписали?

Ким недовольно буркнул:

– Чимхи не ем и все равно болею.

– Я же вам говорил, больной Ким, – ласково полуобнял ветерана кишечного заболевания израильский эскулап. – Я же говорил вам, Ким, начните снова есть красный перец и квашеные закуски. И как рукой.

В ответ Ким более внятно произнес:

– Чимхи нельзя. Чимхи доктора запретили, – и, взглянув на тело Гаипова, строго добавил. – Вынесите его на кладбище через окно, а то душа вернется.

– В окно он уже выпрыгивал, – раздался голос медсестры Веры.

Н-эль оглянулся на вошедшую медсестру и был вознагражден за свое внимание кокетливым приветствием:

– Здрасте, доктор...

Столь невинное обращение состарившейся бабы окончательно разозлило Н-ля и он заговорил на повышенных тонах:

– Слушай, зачем вы меня тогда привезли?! Что прикажешь мне с ним делать?!

– Просто стой и рассказывай что-нибудь, – стал успокаивать его А-баев. – Сколько лет не виделись! Как вы там живете?

– Нормально. Отцу юбилей отметили, восемьдесят лет. Сын – полковник. Боевой летчик. Ты действительно веришь во все, что ты мне наговорил? Это же не медицинский метод! Не научный! Надо компьютерную томографию хотя бы сделать… Если он так богат, давайте его к нам в Американскую клинику. Там мы его хотя бы продержим в таком виде сколько надо.

– Конечно, надо, – согласился А-баев, тоже давя в себе приступ врачебного долга. – Но я же тебе уже сказал: лучше просто стой. Вдруг получится?

[58] Мужской детородный орган. Здесь, в ироническом смысле, потому как Гаипов никого так и не породил.

В детстве, совпавшем с первыми полетами околоземных спутников с собаками, десятилетний Арон Гаипов изобрел Машину времени. Принцип ее действия, должный обеспечить успех, заключался в том, что преднамеренно, по всем законам механики такую штуку невозможно сконструировать, но случайно, на авось, когда какая-то шестеренка от неизвестного механизма подкручивается к раскуроченной ножной швейной машинке ржавой проволокой, а сбоку перегоревшие лампы радиоприемника припаиваются к пустому кислородному баллону, и единственной логичной деталью является сиденье от велосипеда, вдруг все как-то может заработать в едином ритме, пусть со скрипом, кособоко, шлеп-шлеп – паровым пароходиком по реке времени. Клепал, ввинчивал, вкручивал болты и прочее он в эту конструкцию вместе со своими двумя друзьями возрастом помладше, но те на испытание Машины времени, испугавшись неприятных последствий, не явились. Пришлось юному изобретателю в темноте подвала многоэтажного дома при свече самому усаживаться в нее и включать пульт – ручку от мясорубки. Как ни странно, его Машина времени оказалась действующей. Придя домой, он сравнил стрелки на захваченном в будущее с собой будильнике со временем на стенных часах и вышло, что он проскочил вперед на целых девять минут.

Но теперь, когда Арон получил максимальную свободу передвижения, не ограниченную даже собственным телом, стало ясно, что тот эксперимент был ошибочным. Сколько ни пытался Арон заглянуть в свое будущее, ничего не выходило. Движение было возможным только в прошлое. Так что и душа Арона, посматривая сверху на собравшихся у его тела врачей, тоже не могла предсказать результат нелепого, абсурдного, да просто глупого эксперимента, затеянного ими в Карагандинской областной больнице.

– Я эвтаназией не занимаюсь! – возмутился израильский врач. – Все! возвращаюсь домой!

– Стоять спокойно, – приказал сокурснику психиатрического биографа Рамуш. – Малака будешь?

– Нет, мне не нравится ни ваш тон, ни то, что вы в палате с оружием, – запротестовал непреклонный доктор Н-эль. – Меня ждут больные, которым я действительно могу помочь. И потом, нам нельзя оставлять на ночь машину припаркованной у клиники.

Рамуш, не отводя глаз от иностранца, крикнул:

– Эй, кто там!

Из темноты выскочил человек в деловом костюме.

– Звони в Иерусалим, пусть там машину доктора грузят в самолет и поставят здесь. Здесь можно.

Вызванный персонаж тут же принялся переговариваться по сотовому телефону с мэром вечного города на иврите.

– Ничего не получится, – стал хитрить бывший казахстанец, ныне – израильтянин. – У нас американская больница, об экстерриториальности речи не идет, конечно, но...

Деловой уже договаривался с послом Израиля в Казахстане, прося его принять груз.

– Никуда твоя машина не денется, как и Иерусалим, – стал уже успокаивать давнего друга А-баев. – Пять тысяч лет камни Иерусалима стояли и еще простоят без тебя день-два.

– Да как ты не понимаешь! – вскричал тут Н-эль.

– Excuses me, – вмешался в разговор переговорщик. – Ambassador extraordinary and plenipotentiary спрашивает: место стоянки отметить индивидуальным знаком, табличкой с именем или просто предупредить охрану?

Израильский хирург возмутился:

– Перестаньте! Я ведь работаю не один, там ребята, врачи... и вообще, я не желаю ничем выделяться там!

– Пусть яма будет, – изменил свое решение Рамуш и ткнул Иосифа Н-эля в грудь дулом автомата. – А в эту яма его тачку. Зачем выделяться? Яма асфальт закатать. Эй, доктор, там вам в америка-больнице нужно человеческие органы по дешевой совсем цене? Печень там, почки? Глаз можно?

Доктор Н-эль отвернулся от кровавого продавца и отмолчался, а А-баев закричал на Рамуша:

– Все вон отсюда! Не видите, здесь реанимация! Остаются только Вера и мы с Есей, как тогда!

Рамуш и тип в деловом костюме схватили больного энтероколитом Кима и исчезли. Скоро раздался гулкий выстрел из глубины лестничного пролета. Отмучился, видать, кореец, отвергнувший чимхи.

А вдруг он любил всю свою жизнь эту замечательную острую квашеную закуску?!

Тело Арона с вяло бьющимся сердцем никак не желало отказаться от даже жалкого функционирования, в котором пребывало в реанимации. Правда, оно вдруг стало худеть с чудовищной силой. Сволочь.

А-баеву, как всегда, потребовалось уединение. И посему сел в сторонке, пока было время, и принялся скоренько заканчивать свой роман:

«Гаипов все еще был жив. Только начал стонать, а потом и вообще выть и орать, требуя обезболить его тело. Вся его свита с ужасом в глазах снова отступила в темные углы. Я один обладал силой духа противостоять этому кошмару. Не долго думая, я взял и влил в кровеносные сосуды пациента целый литр морфия. Но и наркотик, в котором он уже, как в ванне плавал, не помог. Через неделю, когда лопнула кожа на животе умирающего и наружу вывалились почерневшие, вздувшиеся кишки, Гаипов приподнял голову и, уставившись прямо мне в глаза, произнес тихо:

– Это ад. Адские муки... Как мне сдохнуть?

Я уже жалел, что не позволил Рамушу сжечь его тело в крематории. Пепельный корпус не так чувствует боль. Хотя, кто его знает? В мире мертвых и теней все может быть не так, как представляем его мы, врачи, даже пишущие книги. Корреспонденты всех мировых газет и телевизоров вопрошали у меня, как он долго будет страдать.

Я отвечал сурово:

– Так и будет дергаться. Пока не лопнет последний миллиметр нервной системы. Представляю, какие это боли, когда в тебе поочередно разрываются, как пули дум-дум, миллионы нервных клеток. Я не знаю, что еще можно сделать… К нему ведь и не подойдешь, смотри, как он искорежил все, до чего мог дотянуться. Сталь рвет. Я даже помочь ему умереть не могу, по всем биологическим, физическим, математическим, логическим законам он давно уже сам труп. Как можно помочь трупу умереть? Может быть, какой-нибудь закон есть или пункт в какой-нибудь инструкции морга, разрешающий кричащие трупы растворять в серной кислоте? Так я скоро сойду с ума. К черту!

Зря я упомянул нечистую силу. Из дурно пахнувшего, разваливавшегося профессорского тела стал, как в голливудском фильме «Чужой», вылезать сам сатана. Толпившиеся в коридоре корреспонденты ужасались:

– Как он скребет зубами!

– Какие зубы? Уже дотер до челюстей.

– А что, врач, будем делать с сатаной?

А что делать? Ничего. Я схватил меч и стал биться с сатаной, пытавшимся ударить меня своими огромными когтями, не на жизнь, а на смерть!

На самом деле никаких болей профессор Гаипов не испытывал, хотя, правда, кожа вся потрескалась и из всех щелей сочилась сукровица. И не умирал, сволочь. Никакой сатана ниоткуда не вылезал. И никто ни с кем не бился на мечах. В реанимационном отделении такие процедуры строго запрещены. Проблема была в другом. Душа Арона не желала или не имела никакой возможности вернуться и войти обратно в тело. Ведь ее – нематериальную, не притащишь же сюда на веревке, как собаку. Все нервничали. Не складывалось что-то в похоронной теории биографа профессора. Доцент Горюйко обвинил врача А-баева в мракобесии, а доктор Н-эль в тупости. А сам профессор на седьмой день реанимации подманил пальцем своего биографа и тихо сказал ему:

– Кайфовать не мешай, идиот.

– Плащ! – вдруг вскрикнул А-баев. – Конечно же, плащ! Плащ, плащ, плащ… где же я его оставил?

И так рванул из больницы, что даже милицейский кордон, окруживший ее тройным кольцом, не смог его задержать. Подумали, собака пробежала. Большая. Сообразив, что бродячим псом ему сподручнее будет достигнуть своей цели, А-баев, уже намеренно прикинувшись четвероногим, спрятался на помойке у дома Рабии, уже, небось, прослышавшей о возвращении супруга в клинику. Точно, хабар дошел и до нее. Это видно было из ее попытки избавиться от последних вещей Арона. Вот она вышла из подъезда с мешком, набитым тряпками и авторучками, и с отвращением выкинула его в мусорный бак. Арона. Скоро охрана у клиники опять заметила большую собаку с какой-то тряпкой в зубах. Тряпка оказалась ароновским плащом, почти новым, как и заверяла когда-то Рабия (если читатель помнит, А-баев, как честный человек, упорно возвращал наследнице эту вещь).

Похудевший до склетообразности Гаипов на удивление спокойно дал натянуть на себя принесенный А-баевым плащ. И скоро появилась душа Арона. Она не стала, как обычно, вступать в беседу с А-баевым. Наверное, окончательно забыла все имена еще живых на земле. Хотя могла бы попросить у него прощения за пропавшие в никуда четверть века, за все его... Все-таки ее структура была тоньше, чем у тулова. Но она, заметив, что плащ напялен на тело, зависла на секунд десять, а потом с брезгливой гримасой не удержалась и влезла в свое тело и тоже, как бы, оказалась в плаще. Тело Гаипова дернулось, словно эта немедицинская процедура была ей крайне болезненна, да и душе явно в ней не понравилось, словно она угнездилась в отхожем месте, и она сразу же отлетела. И Арон Сулейменович Гаипов умер. Окончательно.

– Все. Мне пора домой, – сказал Н-эль. – Покажи-ка, господин романист, что ты там накарябал о дорогом нашем покойнике?

А-баев замялся, ответил, еще, мол, только первый том в черновом варианте...

– Ничего, мы и в черновом читаем. Хотя, как-нибудь потом, – и по его заскучавшему лицу было видно, что не прочитает он никогда роман А-баева ни в каком варианте.

Много позже в писательском архиве автора обнаружится только больничная карточка Гаипова А. С., в которой последняя страница была оборвана сверху, а внизу написано только: «А и Б». Даже великолепно написанная глава об исторической битве А-баева с сатаной загадочным образом исчезла.

– И это все? – безразлично прокомментировал его многолетний труд доктор Н-эль.

– Нет, – ответил А-баев. – Будут еще похороны.

– Еще похорон мне хватало, – произнес Н-эль и, не снимая хирургический колпак, сел в такси, пробормотал напоследок:

– Владыко вселенной! Сделай ради малых сил, не различающих между Отцом, посылающим дождь на землю, и отцом, не во власти которого посылать дождь.

– Ты же в Бога не верил, Есик! – ехидно улыбнулся А-баев.

– С вами не только верующим станешь, – проворчал Н-эль и укатил уже навсегда.

– Вся книга в моей голове! – запальчиво крикнул ему вслед А-баев. – Мне осталось только сесть и записать.

А-баев сразу же заскучал по отъехавшему в аэропорт Иосифу Н-элю. А опричников Гаипова он видеть больше не желал. Тот же Рамуш мог запросто нос отрезать или еще что похуже вытворить: вырезать печень и медленно-медленно вытянуть ее, да так, что последний тоненький нерв оборвется лишь растянувшись метра на три, уже успев обсохнуть от телесной водицы. А то и дочку отобрать, а дальше и думать жутко… И все же, отойдя порядочно от больницы, куда уже подъехала вдова умершего Рабия с утешавшей ее подругой Софьей, он остановился и плюнул в ту сторону, где в темноте стояли его вчерашние сотоварищи по фараоновским делам.

«Ужо! – с архаичной угрозой проговорил А-баев. – Буде и вам ответ держать. Грядет Страшный суд! И там все мной написанное проявится и пригодится. И там не будут разбираться, кто из вас тело, а кто душа, если надо, слепят снова, и судимы будете за все! Мы еще разберемся с вами! Я до прокурора дойду!»

На этом роман А-баева «Поединок человека со смертью во имя жизни» и закончился. Впрочем, жизнь всегда имеет несколько лишних сцен. Не все они достойны авторского пера, но следует, видимо, упомянуть, что А-баев скромно, без свидетелей передал сыну Рабии, как младшему Гаипову, ароновский плащ. Ну, не хранить же у себя дома чужую одежду! К тому же вещь почти новая.

Вернувшийся окончательно в семью А-баев с изумлением узнал, что дочь закончила Гарвардский университет и теперь является партнером юридической компании, имеющей интересы на Лондонской бирже. Слава Всевышнему, у жены оказался прежний, мягко говоря, кругозор. Она, как и раньше, ни о чем его не спрашивая, варила супы и макароны по-флотски. Рабию он видел на похоронах Арона, а вот на годовщину его не пригласили. Мероприятие приняло правительственный статус – все-таки профессор А. С. Гаипов был не просто преподавателем Карагандинского университета, а лауреатом Нобелевской премии мира, коему, как он слышал, уже устанавливали на бульваре Мира памятник. А-баев подумывал заявить в своей речи с трибуны торжеств, что его друг был не только миротворцем, но и лауреатом Нобелевских премий и по физике, и по биологии, и в области литературы, что

он был не только ученым и писателем, но и... Подумывал и додумался, что, пожалуй, все, что он скажет, будет немедленно официально опровергнуто тем же Нобелевским комитетом, и его успешная Атипа будет представлена как дочь враля... А то и хуже. Тем паче, что никто официально не приглашал, даже рухнула надежда на пригласительный билет хотя бы из рук вдовы – все-таки супруга ее подруга. Но та заявила, что она не вмешивается в работу государственной комиссии. Но ничего, жизнь продолжалась, теперь несостоявшийся биограф гениального земляка вместе с медсестрой Верой выводил из запоя мужчин на дому. Так что, наплевать! Противно было только видеть на экране телевизора кандидата в президенты Украины О. Л. Горюйко с его воспоминаниями о безвременно усопшем гении, с которым они вместе, оказывается, работали над тайнами египетских пирамид и боролись за мир во всем мире. Ему-то, небось, пригласительный билет послали. Или купил он его. Еще бы, денег у него теперь было не меряно, А-баев знал, что Осип с Рамушем украли несчитанные миллионы у оставшегося на хозяйстве фараона Блюмберга[59], невольно и быстро доведшего царство до дефолта. За крушением гаиповского государства наступила революция F, все банковские счета Гаипова были заморожены и последовала миротворческая операция войск НАТО, направленная на спасение начавшего страдать от коренных африканцев гомосексуального населения.

Но А-баев сумел отрешиться от всей этой политики и находил душевное спокойствие, уединившись в своей комнате с трехлитровой медицинской банкой, присланной ему из России. В ней в мутноватой жидкости плавал гигантский глаз его пациента Саперова, и не было в его зрачке ни капли осуждения. Только покой. Но только днем. Ночью же глаз Саперова смотрел на спящего психиатра с тяжелым укором.

После похорон Серик, улетавший в Париж, вдруг решил сдать авиационный билет и объяснил свое решение Атипе кратко и категорично:

– Сорбонна – отстой.

– Тебе осталось только защититься. Доведи до ума, малыш, – попыталась урезонить друга – почти братишку, Атипа.

Серик помолчал, уперся лбом в дубовую балку книжных полок и тихо произнес:

– Что-то же заставило твоего папаню и мужа моей мамы строить свои пирамиды рядом с хеопской, или вместо, над или под – не знаю, как там?

Атипа как бы изумилась и произнесла:

– Какие еще пирамиды, малыш?

Серик ответил, размышляя:

[59] Причина банкротства новейшего фараонова царства заключалась в том, что бездушное тело Блюмберга, в отличие от тела Гаипова, не обладало математическими способностями. Проще говоря, не умело с прибылью считать бабло.

– Неважно, какие. Финансовые, виртуальные, сатанинские, мессианские, балаганные...

Атипа решительно перебила его:

– Это не наши проблемы, малыш.

Серик ответил сразу:

– Но если вдуматься, – все вдумывался и вдумывался Серик.

Атипа, сама собиравшаяся вылететь в Европу и заглянувшая к тете Рабие с Сериком на минутку попрощаться, неожиданно для мягкого Серика ответила резко, почти крикнула:

– Не заморачивайся! Без разницы. Станешь заглядывать не туда – крыша поедет.

– Думаю, они все-таки замутили там что-то такое.., – стал совершенно неожиданно упорствовать на своем малыш.

– Ничего они там не замутили! – оборвала Серика девушка. – Я знаю только одно: у меня папа психиатр. И у тебя отец не далай лама.

– Он мне не отец и не далай-лама, – согласился Серик, но затем продолжил гнуть свое. – Но он математик, а математик математика видит издалека.

– Да в могиле он уже! Закопали его, если помнишь, – безуспешно пыталась прервать никчемный разговор Атипа.

Но Серик не прервал изложение своих размышлений, казавшихся совершенно нелепыми:

– Не знаю условий, но это как-то связано с Фондом Зинаиды Арон.

Уже понимая, к чему он ведет, Атипа почти раздраженно воскликнула:

– Это что еще за хрень!?

– Нормальный фонд. Имеет представительства почти во всех столицах, с хед-офисом в Париже. Предложили мне грант с неограниченным финансированием. Предлагается решить задачу пространственных вложений симулякров в вертикально ориентированную трубу, – неохотно пояснил Серик.

– Забудь! – потребовала Атипа.

Серик кивнул. Он хотел было признаться ей, что нейроны его сильного мозга уже прокачивают все возможные и невозможные решения этой задачи, но промолчал. Ничего не сказала и Атипа о прочитанной ею на днях фразе на завалявшемся за диваном листке из врачебных записок отца, связанных с пациентом Ароном Гаиповым: «*А и Б сидели на трубе. Представляется она печной, как бы некая полая вертикаль*». Впервые они не поделились секретами друг с другом.

Серик с тяжелой тоской в глазах глянул на Атипу и отправился на кухню давить тараканов[60].

[60] С начала 90-х годов прошлого века тараканы оккупировали все квартиры в Алма-Ате: ходили цепочками не только на дверцах холодильников, но и по постелям квартиросъемщиков, ставя под сомнение фактическое определение этого слова. И вдруг в 1997 году исчезли. Исчезли они и в Саратове, Ульяновске, Уфе,

Маленьким Серик мог часами, молча и не поднимая лица, бить тараканов на кухонном полу до синих пятен на ладошке, и Рабия ничего с этим сделать не могла. И сейчас он устроился на корточках у газовой плиты и принялся методично колотить рукой об пол по несуществующим, но продолжающим разбегаться тараканам. Вслед за ним поспешила на кухню Рабия и, охнув, села на стул. В косяке двери встала Атипа и сказала:

– Я его заберу с собой. А на уикенд отвезу в Париж. Так что, не бойтесь, тетя Рабия.

– Опять началось.., – с отчаяньем произнесла Рабия. – Год не колотил по полу и теперь опять! Атипачка, ты же...

– Ну, не могу я на этот раз остаться! – воскликнула Атипа. – У меня же работа... Да не бойтесь вы, тетя Рабия, со мной он дня за три придет в себя.

Атипа шагнула к Рабие, чтобы обнять ее за плечи и успокоить, но та уже обговаривала по ай-фону с итальянскими китайцами контракт на поставку эксклюзивной мебели. Девушка села на пол рядом со своим другом, включила i-Pad, вывела на экран бегущую цепочку тараканов и положила планшетник перед глазами Серика. Еще секунд тридцать он продолжал колотить по существующим лишь в его сознании тараканам, косясь на не менее виртуальных экранных насекомых, а потом встал и обратился как бы ни к кому с веселой улыбкой:

– Тараканы в башке – это круто!

– Не сейчас, малыш, – возразила Атипа. – Мне еще ребенка родить надо. А носителя нормального генофонда попробуй еще найди сегодня. И еще минимум семь лет с рождения для психологической коррекции ребенка. Так что ни о какой миссии или трубе какой-то вавилонской даже не заикайся. И держись подальше от этого зинкиного фонда. Обещаешь?

– Клянусь плащом, – заверил ее Серик.

– А есть такая клятва? – засомневалась Атипа.

– Клятва Соломона, – уверенно ответил Серик.

– Ну, если есть печать Соломона, то почему не быть и клятве? – согласилась Атипа. – Наверняка бессмысленная, как и любая другая.

– Ну почему же все? Плащ значит многое. Голые люди, раздетые насильно или сами как-то там.., – проговорил Серик. – Голые скоро теряют стыд.

Рабия, успешно закончив переговоры с италокитайцами, обратилась к детям:

– Ну, что вы решили, дети?

Благовещенске, Магнитогорске, в Караганде, даже на Украине. Вот только в подмосковном поселке Бирюлево сохранилось солидное стадо. Гипотиз тараканьего апокалипсиса множество, одна из них предполагает, что тараканы стали жертвой высокочастотной мобильной связи. По крайней мере, появление сотовых телефонов в квартирах и офисах совпало с их исходом.

Эпилог

По прошествии суток Серик Гаипов был уже в Париже, где, как ему казалось, удачно уклонившись от агентов Фонда Зинаиды Арон, окончательно забыв о своей практически готовой докторской диссертации, занялся, сидя в ароновском плаще на голом теле за письменным столом, новой темой: «Пространственные вычисления, вложения и изъятия симулякров кластера A_i b $\geq \infty$». Ни анализ текста утверждения, ни методика формирования приема развертывания условий, ни иные математические инструменты не привели его к решению. Однако скоро он, использовав разработанный им самими метод математического эвристического симулирования, все же решил задачу. И с изумлением должен был признать, что и сам в ароновском плаще является симулякром. И ясно понял, почему он натянул этот балахон. В нем он абсолютно не чувствовал себя приемышем семьи Гаиповых, что его всегда смутно и озадачивало, и тяготило. Можно было, конечно, сбросить плащ и вернуться в девственное состояние. Не сидеть же голым. Тем паче, ходить по улицам. Некомфортно. И как же без риз, простыней для приведений, мундиров, прикидов от *Gucci и театральных костюмов, которые он никогда не носил, но без которых представить не мог знакомый и интересный ему мир?*

Решение задачи выглядело настолько простым, что для пространственных манипуляций с симулякрами не требовались ни паровые механизмы, ни электронные сетевые машины, ни нанотехнологические девайсы. Достаточно было кратного напряжения мысли сильного мозга. Замечательно было и то, что теоретик Серик Гаипов мог сразу же проверить свой алгоритм в практическом плане. И он тут же надумал произвести вложение себя, как симулякра, в доступные пространства. А к ним относились поле зрения или расстояния слуха тех людей, которые когда-то хотя бы раз видели его или слышали. По самым скромным подсчетам, таких людей не могло быть больше ста тысяч. «Ну, даже если наберется миллион-два, то и тогда на Земле не случится никакой демографической катастрофы», – подумал Серик и для наблюдения за процессом в реальном времени заскайпился с Атипой. Появившейся на экране Атипе было достаточно лишь раз взглянуть на Серика, чтобы почувствовать огромную, непоправимую беду, которую накликивает он на себя, и она тут же потребовала:

– Немедленно! Малыш, все рассказывай! Спокойно! Говори теперь все мне! Почему ты в плаще! Говори.

Серик не отвечал, сосредоточенно смотря Атипе за плечо. Она обернулась и увидела голоногого стоящего Серика в плаще. Лицо Атипы исказилось, плечи обмякли, но она смогла вновь посмотреть прямо в видеокамеру ноутбука и сказать повелительно:

– Малыш, убери это!

Сидевший в парижской квартире Серик явственно ощутил, как ожог, весь ужас, который охватил Атипу. Но ужас, охвативший его самого, не был связан с атипиным кошмаром, а заледенела вся его кровь от того, что он видел себя, стоящим за спиной у Атипы, но не чувствовал себя им. Наверное, такой же поддельный голый тип в плаще сейчас стоял рядом с мамой... И он тут же сконцентрировал все свои усилия на пространственное изъятие всех своих симулякров. В состоянии стресса не сообразил скинуть с себя ароновский плащ, и исчез с плоскости Земли. Произошло то, что называется несчастным случаем.

Душа Арона Гаипова, покинув тело, вознеслась.., нет... переместилась? Нет, не точно. Транспонировалась, подобно матрице... Чушь.

То, что теперь с ней случилось после настоящей смерти, стало совершенно не доступным мощным фантазмам[61] А-баева – биографа профессора А. С. Гаипова, ни даже богатому воображению писателя Ш. Кусаинова. Действительно, пора кончать с романописанием...

1992–2011 гг

ШАХИМАРДЕН

Заметки советского сексопатолога

(Диссертация и кое-какие истории, выделенные курсивом)

1981 год. Зима. Москва. Всесоюзный центр по вопросам сексопатологии. *Кабинет младшего научного сотрудника Галины Милантьевны А. Нас, стажеров, приехавших на курсы усовершенствования, бросили на женскую сексологию. Мы все молоды, в холостом состоянии, и каждый из нас уже мнит себя специалистом по всем вопросам любви. Впрочем, поучиться чему-нибудь умному мы тоже совсем даже не против. Тем более, что школа*

[61] Этим термином немецкий психиатр, один из пионеров исследования пограничных состояний Т. Циен (1862 – 1950) обозначил грезы наяву, в состоянии которых фантастические образы достигают различной яркости и отчетливости. Психиатрическая наука не относит фантазмы к симптомам психических болезней, они не являются галлюцинациями. В большой медицинской энциклопедии о них упоминается, но никто не взял на себя смелость объяснить их психофизиологический механизм.Однако, очевидно, что видения Будды, Моисея, Иисуса и Мухаммеда близки к феномену фантазмов.

сексопатологии профессора Георгия Степановича Васильченко, между делом написавшего и два тома русско-японского толкового словаря, даст фору всем западным аналогичным ученым заведениям, безнадежно увязшим в болоте фрейдизма. Нам предстояло освоить не только огромный объем информации, но, главное, научиться новой науке диагностирования, когда учитываются не столько страдания тела больного, сколько муки его души. А о душе нам никто никогда лекций не читал, разве что на кафедрах психиатрии, да и то тогда, когда не упоминать о ней становилось совершенно невозможно.

Павел Нежнай – из Западной Украины, сидит на краю врачебного стола отсутствующей хозяйки поближе к телефону. Город Львов с младых ногтей придал этому чернобровому красавцу польский шик. К Москве он холоден, москвичей презирает, но кроме знаний он серьезно намерен получить и московскую прописку. Время от времени перезванивается с пятью-шестью аборигенками, созревающими для земного, но счастливого с ним брака. Мы же расселись на кушетке и стульях, вяло трепемся о том о сем и наблюдаем как Павел меланхолически обдумывает разговор со своей очередной избранницей – носительницей московской прописки. Вот он в задумчивости берет с белой столешницы кисточку для клея, покусывает ее и водит по своим тонким губам. «Кстати, знаете, зачем эта кисточка Татьяне? – говорит Маслачев и, выждав паузу, объясняет с ударением. – Она им чувствительность клитора проверяет».

Маслачев москвич, и этим все сказано.

Кисточка резко качнулась вниз в руке Нежнайя, но, сдержав порыв бежать и полоскать рот, он деловито произнес: «А я-то думаю, что такое? Знакомый вкус. Рыженькая такая с вздернутым носиком не заходила сюда? Нет? – и лизнув кисточку, добавил. – Нет, не она».

Якобзон Лева, Тофик – Бакинский Сердцеед (далее по тексту: Бакинский С.) и Тетушкин Серега вяло улыбнулись, а Маслачев, сидевший рядом со мной, шепнул мне с досадой: «Да, наш западенец если не вырвет прописку зубами, то вылижет языком точно».

Дверь кабинета раскрылась, и на пороге появился доцент Карабутенко А. А., поставленный над нами надсмотрщиком. «Дурака валяете, – констатировал Александр Александрович. – Пора потрудиться на славу советской сексопатологии. Принимайте пациентку, – и ввел к нам молоденькую женщину из таких сереньких пташек, сидящих особенно густо на ветках лесополос между городом и деревней. Некоторое время она еще смущалась, но затем, как человек доведенный до последней степени отчаянья, заявила, что муж у нее, кажется, больной, так как лезет к ней на протяжении уже трех лет каждую ночь по семнадцать раз. До более скромного числа актов супружеской любви ей довести не удалось – грозится руки на себя наложить. «Я уже не против, если бы он завел себе какую-нибудь… еще. Но мы в гарнизоне живем».

Тяжелый случай. «Конечно, больной!» – заявил Тофик. И все мы с ним тут же согласились, но не подумайте, что из-за скрытой зависти. Мы же врачи! Нам ли не знать, что мужчины по силе своей половой конституции делятся на три группы: слабую, среднюю и сильную. Середняки в общей массе составляют половину, а слабенькие мужичонки и гиганты секса по 25 процентов. Каждая группа делится еще на три подвида. Субъекты со слабой половой конституцией состоят из равночисленных подгрупп, состоящих из чрезвычайно слабых, очень слабых и просто слабых. Чрезвычайно слабые вьюноши свое первое нежданное семяизвержение с тревогой переживают в лет 19, а то и позже. Бедолагам не доступен даже такой подвиг, как повторный половой акт в течение суток. В браке они претендуют на внимание к себе со стороны супруги не чаще одного раза в месяц. И то, только в медовый. Мужчины с сильной половой конституцией так же делятся на три стандарта. Чрезвычайно сильные чуть ли не рождаются с шаловливыми ручками – первое семяизвержение у них происходит почти в детском садике, в 9 лет и раньше. Они способны на регулярные рекорды на ложе любви за ночь до 9, 10, ну очень редко встречающиеся экземпляры до 11 раз. Но не СЕМНАДЦАТЬ же, да еще на протяжении трех лет подряд!

«А подайте-ка сюда нам этого ненормального!»

Входит лейтенантик бронетанковых войск лет так двадцати пяти, ладненький такой, ловкий, готов прямо в бой!

Существует целая методика определения половой конституции мужчины вплоть до математических расчетов, но и ad oculus было видно – силен. Все признаки сексуальной мощи были очевидны: короткие ноги при длинном туловище, ранняя лысина. Что касается густого волосяного покрова, то этот признак верен только тогда, когда мы сравниваем немца с немцем, китайца с китайцем. Густая борода и заросшая грудь итальянца или еврея или кавказца, кажущаяся густой по сравнению со скромной бородой эстонца, свидетельствует только о том, что они принадлежат к средиземноморской расе и не больше того. Так что владельцы этой роскоши на лице и на всем теле могут принадлежать и к чрезвычайно слабенькому в сексе типу. И по шерсти, являясь явно русским, наш герой выбивался из славянского племени вперед к высотам плодовитости кролика. Желая разоблачить обратившегося к нам со своими заботами секс-гиганта, мы, нормальные, были уверены, что найдем в нем хотя бы какую-нибудь патологию. И так и сяк обследовали его, рассматривали, теребили, анализировали. Нет, он был здоров, как бык-производитель.

«Ну что будем делать? ». «Я бы его расстрелял, – вынес свой приговор добрейший и наивнейший из всех известных мне сексопатологов Серега Тетушкин. – Как асоциального типа. Картину общую портит».

В этом случае реальным остается одно средство: психотерапевтическая беседа с целью откорректирования супружеских отношений до приемлемых

форм. Мы снова вызываем супругов в кабинет, усаживаем их рядышком и как можем стараемся утешить бедную женщину. Аргументов у нас немного. Пик мужской сексуальности приходится на возраст 22 года, затем в крови постепенно снижается уровень мужского полового гормона тестостерона, и нормальный мужик входит в период зрелой сексуальности, сопровождаемый условно-физиологическим ритмом – с 32 лет его потребность выражается 23 близостями с женщиной в неделю. Так что надо чуть-чуть потерпеть, а там обязательно полегчает. «А почему я не беременею? Он в меня уже столько напустил, хоть плавай и ничего». «Какая беременность? Для того чтобы сперматозоид был способен оплодотворить женскую яйцеклетку ему нужно в покое созревать минимум трое суток. Покой нужен. «Покой нам только снится», – отчаянно произнесла подруга воина.

Мы тоже читали поэта Александра Блока и, наверняка каждый из нас подумал: «Не добежит степная кобылица».

С большим облегчением мы выпроводили боевых супругов за порог и хотели забыть этот факт, как кошмар, но тут в дверь снова пролез лейтенант. «Извините, с Дальнего Востока сюда часто не поездишь. Можно я еще об одном спрошу? Онанизм не сильно вреден?». «Нет, для мальчиков не вреден. А вам зачем это знать?» «Дело в том, что я вынужден еще раз пять-шесть в день онанировать, иначе даже строевым шагом пройти не могу… »

Кто-то икнул. Должно быть, Якобзон Лева. Он у нас самый впечатлительный.

– Нет, не стать им полноценной советской семьей, – с сочувствием заявил Тофик. – Товарищу надо было родиться турецким султаном. Или хотя бы бакинским, – и выпятил костистую грудь.

– У офицера беда, – произнес я. – Зачем же над бедным так зло шутить? – и подумал: «А приведи я в своей диссертации этот амбулаторный клинический случай – засмеют».

Введение

Еще на заре развития общественных наук в Советском государстве ученые обратили серьезное внимание на изучение процессов брачности и разводимости, что истекало из принципиально нового понимания роли брака в социалистическом обществе, определенной классиками марксизма-ленинизма. Широко известно высказывание В. И. Ленина, противопоставляющее «пошлый и грязный брак без любви – пролетарскому гражданскому браку с любовью РСДРП(б). (Полн. собр. соч., Т. 49, С. 56).

Брак и семья всегда были в центре внимания Коммунистической партии СССР и Советского правительства. Новая Конституция гласит: «Семья находится под охраной государства. Шаг в сторону – считается побег».

Один из основателей отечественной демографии Ю. А. Горчак-Черпаковский еще в 1925 году писал, что «изучение современного брачного и семейного быта является делом сложным и трудным», и бежал в буржуазную Ригу чуть ли не из-за своего свадебного стола, естественно, один.

Исходя из вышеотмеченного, мы определили проведенную нами работу как комплексное исследование медицинских и художественных характеристик разводящихся и их браков, и исключаем трактовку полученных результатов как выпячивание всяких художеств в поведении легкомысленных в браке мужчин и, соответственно, женщин. С целью объективной оценки происходящих бракоразводных процессов нами в комплекс поставленных задач было включено предельно возможное, с социально-гигиенических позиций, количество вопросов социологии, демографии, психологии, экономики брака.

В ходе исследования нами в 1978 году опрошено, анкетировано и обследовано 2000 мужчин и женщин, что составило 1000 супружеских пар, расторгавших свой брак в г. К-де. При апробировании карты обследования нами опрошено, анкетировано и обследовано 200 человек, что составило 100 супружеских пар.

Результаты исследования позволили сформулировать ряд положений и выводов, которые имеют определенный научный и практический интерес.

Но гораздо более интересными мне представляются те случаи разводов, из которых вообще нельзя сделать никаких выводов. Эти редкие истории выпадают даже из, казалось бы, сцепленных цементом, статистических таблиц. Видимо, во взаимоотношениях мужчины и женщины присутствует и какая-то мистическая цепь. Вот почему диссертант (т.е. я) был вынужден отдельные примеры выразить некорректным для научного языка стилем.
Прежде всего, данное относится к нижеследующему рассказу.

Моя бабушка была удивительно красивой женщиной, несмотря на то, что в начале XX века из всех косметических средств, кажется, было только одно – сметана. Но и в ней совершенно не нуждалась ее чистая, белая кожа. У меня есть единственная ее фотография. Снимок сделан во время войны, когда было ей лет 30–35. Фотография вся пожелтела, но что удивительно, лицо осталось по-прежнему белоснежным. В середине двадцатых годов казахи еще были народом не бедным. Даже больше, среди них встречались и богатые, и очень богатые люди. Один из таких баев и сосватал своему сыночку семнадцатилетнюю девушку из рода сармантай. Родители его избранницы ответили сватам согласием. И в положенный день маленький караван с невестой и ее приданым отправился в сопровождении представителей жениха в аул, где девушку ожидал будущий супруг. Дорога была короткой, два-три дня

пути. Тем паче, что путешествие это состоялось в начале лета, и зеленый цветочный июнь еще больше украшал и веселил свадебный кортеж. Невеста не страдала и не тосковала, семнадцать лет – это почти засиделась в девицах. Может быть, она несколько грустила, но над степью летали огромные пестрые бабочки, в небе звенел жаворонок, и джигиты с женщинами из сопровождения только и знали, что пели и перешучивались, но осторожно, чтобы до поры до времени не напугать невесту предстоящими ей таинствами за супружеским пологом.

Так и ехали в приподнятом, беспечном настроении. Правда, сватов несколько озадачивало нежелание невесты надеть присланные ей женихом дорогие ожерелья, перстни и серьги с драгоценными камнями. Она осталась с даренными родителями тонкими серебряными браслетами на обоих запястьях да еще монистами с вплетенными в них несколькими рублевыми монетами с профилем царя Николая II (позже эти браслеты и монетное ожерелье перейдут к моей матери).

Но как можно было пренебречь подарками жениха, называемыми каргыбау, что переводится, правда, несколько обидно – ошейник? Ведь это плохая примета!

На второй день, когда они проезжали мимо одного из аулов, произошло то, что часто случается в дороге. Переломилась ось повозки, на которой ехала невеста. Пришлось искать умельца, способного устранить поломку.

Пока тележку чинили, невесту отвели в одну из ближайших юрт, хозяева которой любезно согласились уступить ее гостям на все время их пребывания, сами перебравшись к соседям. Аул этот был не настолько состоятельным, чтобы иметь положенную гостевую юрту.

К ночи вернулся ничего не знавший сын стариков и попытался пройти к родному очагу. Но дверь оказалась заперта, что его удивило, и он принялся колотить в нее рукоятью нагайки. Наконец дверь открылась, и молодец перешагнул порог, на мгновение ослепленный светом керосиновой лампы. Он сунул в руку открывшей ему женщины, видимо, приняв ее за мать, великолепную лису, сказав при этом:

– Вот вам подарок, – не вкладывая в свои слова какого-то особого смысла, просто сказал и все, добавив: – Что это вы, мамаша, дверь передо мной заперли?

Женщина невольно приняла лису и тут же, охнув, выпустила ее из рук. Молодец взглянул на нее и увидел незнакомую молодку, затем перевел взгляд на почетные места и там разглядел сидевших плотно вокруг некой особы, накинувшей на голову свадебный платок, девиц и баб.

Открывшая ему дверь женщина вдруг закричала:

– Наглец! Убирайся живо отсюда! – и замахала на него руками, будто спасаясь от нечистой силы.

Все это недоразумение проистекало из ныне забытых свадебных обрядов и примет. Ну, скажем, «есик ашу» – открыть дверь. Если жених первый раз входит к невесте в дом, то должен открывшей ему дверь женщине дать подарок. Если женщина примет его, то это будет означать, что невеста выражает согласие и готова принять жениха.

И тут случилось нечто подобное, даже не нечто, а точь-в-точь. И случилось с моим будущим дедушкой, тогда красавцем с пышными подкрученными усами, о стати и ловкости да и сообразительности его я уж не говорю.

Усатый красавец тоже разозлился, что вполне объяснимо для человека, вернувшегося с долгой охоты и оказавшегося лишенным возможности не только сразу отдохнуть и поесть, но и просто умыться. И он в сердцах крикнул кидавшейся на него с кулачками бабенке:

– Чего размахалась! Сейчас уйду. Нужна мне ваша кукла. Наверняка она страшна, как ведьма албасты!

Услышав столь неожиданную и нелестную адресованную ей оценку, невеста откинула с лица платок, единственно с целью хорошенько разглядеть наглеца, а не с каким-то желанием показать себя. Такое ей и в голову никогда не пришло бы. Молодец с пышными усами сразу понял, как он сильно ошибся, но заносчивость, столь характерная для молодости, заставила его, нисколько не согласуясь с колыхнувшимся сердцем, презрительно хмыкнуть.

Вслед ему из юрты выкинули лису. Тушка попала ему по ногам, и он споткнулся, остановился и задумался.

Наутро, пригласив гостеприимных хозяев на свадебный той, сваты с невесткой продолжили свой праздничный путь с песнями и уместными затеями. За ними поехал и черноусый красавец – Донентай.

Донентай подъехал к аулу, справлявшему свадьбу, как раз к началу молодежных игр. Он не стал участвовать в конных состязаниях, избежал и приглашения связать вместе одной веревкой толстого жениха-юнца с невестой, к выкупу тоже не имел никакого отношения. А вот забаву «кыз кашар» он не прозевал.

Далее наша история становится неким «белым пятном», так как свидетелей исчезновения невесты с джигитом Донентаем нет, а бабушка наша о ней никому не рассказывала, тем более – дед. Оба они уже в ином мире.

Бабы из аула Донентая, видимо, от того, что явившаяся с ним невеста Алима не промолвила ни словечка о том скандальном происшествии, поговаривали, что она сама навязалась Донентаю, и что бедняга был просто вынужден, изловчившись, увезти ее с собой. Не знаю, ведь я видел свою бабушку только на фотографии, но все равно не способен поверить в такую импульсивность и легкомысленность не безразличного нам человека.

Мужчины же, оставшиеся в живых с тех давних времен, наоборот утверждали, что удалой Донентай сам, ни с кем не сговариваясь, умыкнул со свадебного тоя невесту бая, в чем проявил себя истинным молодцом.

Приводили они даже какие-то подробности, вроде веревки и кляпа, дабы девица не смогла себя от отчаянья покалечить, пока молодые не доберутся до первого подходящего ложа, а там, мол, кричи-не кричи... И все почему-то забывают, что свадебную игру «кыз кашар» – побег невесты – не Алима и не Донентай придумали...

Достоверно известно лишь одно: калым за девицу Алиму из рода сармантай пришлось опозоренным родителям вернуть, а самого Донентая вскоре дружки осмеянного толстяка жениха поймали, когда он снова нашел время поохотиться в степи, и избили до полусмерти. И стал он с тех пор горбоносым, что еще более сделало его внешность неотразимой для прекрасного пола. Моему деду вообще всегда везло в жизни.

У молодца Донентая и красавицы Алимы долго не было детей, где-то около пяти-шести лет. Но это нисколько не охлаждало их любовь, даже в какой-то степени оправдывало ее. Наконец Алима родила мужу славную дочку. Донентай был без ума от счастья. И с этого радостного события начинается второе «белое пятно», о тайных перипетиях которого тоже все рассказывали очень приблизительно, и непременно с той кочки, которая им была ближе всего. Дед никак не объяснял причин своего расставания со своей первой супругой. До самой могилы. Женщины, ставшие затем старухами, поговаривали, что все случилось, мол, из-за того, что Донентай слишком уж увлекался другими юбками. Да, видимо, это было так. И вообще, кому, как не моему деду, было улучшать генофонд местных казахов? В те времена, кстати, на забавы мужей никто серьезного внимания не обращал, лишь бы все было в пределах благоразумия и порядочности. Так сказать – не вызывающе. Поэтому не думаю, что Алима не могла простить разок-другой своего супруга.

Мужчины, впоследствии старики, особенно на этот счет не размышляли. Ну, выгнал бабу, значит, было за что. И все.

И, пожалуй, эта глава из нашей семейной хроники действительно оказалась бы скрытой навеки, если бы не мое природное любопытство исследователя.

Информатором в данном случае является Керимова Х. М., 1889 года рождения, проживавшая до сентября 1968 г. в с/х Кокпекты К-ской области. Керимова Х. М. сообщила, что в 1935 году к ней не раз обращалась за помощью женщина Алима. Вот как это было.

Последние пять лет Донентай и Алима с дочерью прожили в поселке, при появившихся в их родных местах новых шахтах. Жили они обычно, как все – в полуземлянках. Донентай нанялся рубить под землею уголь, а Алима, выкупив у одной русской семьи швейную машинку «Зингер», кое-что шила соседкам и их детишкам. Он относился к своей жене также просто, как все его приятели к своим супругам, не говорил: «спасибо, милая», принимая с ее рук кесушку с чаем, не обнимал при посторонних. Она тоже не кидалась к нему навстречу, когда он весь в угольной пыли возвращался с шахты, а просто подносила

разогретую воду и отворачивалась в сторону, когда он снимал с себя черную одежду.

В том поселке жили в те времена почти одни казахи, и на пьяных смотрели как на внезапно заболевших людей. А Донентай вообще за всю свою жизнь не выпил ни одной рюмки. День шел за днем, девочка росла, социализм строился. И вдруг навалилась на Алиму совсем не знакомая ей тоска, черная и удушливая. Весь вечер она промучилась дурными предчувствиями, а ночью страшилась заснуть. Так и просидела, карауля неизвестно от кого спавших мужа и дочь. И на следующую ночь не смогла уснуть, а когда все же провалилась на третьи сутки в полузабытье, то увидела странный и страшный сон.

Она оказалась на берегу степной речушки, поросшей густым тальником (сейчас она течет вместе с канализационными стоками под землей в бетонной трубе через шахтерскую столицу). Алима долго брела меж кустов, пока не вышла к песчаному омуту, в гладь которого широким краем ввалился большой камень. А на нем, расчесывая бело-желтоватые длинные волосы, сидела обнаженная женщина. Она была очень хороша собой. Правда, сидела она, как-то странно поджав ноги, так что казалось, что ступни ее ног были вывернуты назад. Голубые глаза ее, не мигая, разглядывали подошедшую к ней Алиму.

– Все же нашла меня, – со злостью проговорила голая.

– И не думала искать тебя, бесстыдница, – ответила Алима, и хотела было уйти, но та снова и с еще большей озлобленностью заговорила.

– Это кто бесстыдница?! А сама ты кто? Залезла в чужую постель и теперь хочешь прикинуться невинной птичкой! Да ты знаешь хоть, у кого ты отняла его?!

Алима, услышав подобное, просто задохнулась от возмущения и с трудом прошептала:

– Я ни у кого его не отнимала. Он был холост и даже ни с кем не помолвлен. Это все знают!

Голая усмехнулась и сказала:

– Как бы не так!

– Врешь, бессовестная! – Алима безоговорочно доверяла Донентаю, но чисто женская ревность заставила ее засомневаться, и она с нескрываемым отвращением в голосе спросила: – И с кем же?

На дрогнувший голос Алимы голая ответила:

– Со мной!

– Ах ты гадина! – вскричала Алима и, кинувшись к этой твари в женском обличье, вырвала из ее головы клок волос.

Вырвала и сама в испуге закричала – волосы оторвались вместе с клочком кожи, и у ее неприятельницы пятном на темечке забелела черепная кость. Алима задрожала, как кустик, попавшийся в зубы голодной козе, бессильно села

на песок. Мысли несчастной Алимы метались, как молнии: только один блеск, грохот, и ничего невозможно было сообразить.

В это время голая вытянула к воде свои ноги и грубо велела Алиме:

– Эй ты, вымой мне ноги, – и оказалось, что действительно ступни у нее вывернуты назад.

«Албасты! Да это же настоящая ведьма-албасты!» – наконец догадалась Алима.

– И не подумаю! – крикнула она, – убирайся отсюда в свой мертвый мир!

Голая албасты, по-прежнему зло усмехаясь, с угрозой процедила сквозь зубы:

– Смотри... пожалеешь, как станешь вдовой.

– Врешь, не верю я тебе, – ответила Алима... и проснулась.

Долго она лежала в предрассветной тьме неподвижно, со слезами на глазах, а когда сквозь окно, пробитое в потолке, проник полусвет, Алима подняла к лицу руку и увидела меж пальцев белый длинный волос. И бедная женщина в бесконечном отчаянье и ужасе закричала. Проснувшийся мгновенно муж едва успел перехватить жену, метнувшуюся в одной ночной сорочке с постели к дверям.

– Что случилось?! Ну, что? Что? – испугался он сам, ловя метавшиеся из стороны в сторону руки жены.

– Вот! Вот! Вот... – плакала Алима и протягивала встревоженному не на шутку мужу белый волос.

Донентай попытался разжать ее пальцы, чтобы получше разглядеть, что же привело в ужас его супругу, но не тут-то было. Кисть окаменела, как гипсовой статуи в парке культуры имени тов. И. В. Сталина. Наконец, ему удалось вытянуть из ее сжатых пальцев белую нитку, – видимо, из наволочки, которую Алима в своем ночном кошмаре буквально изодрала в клочья.

Здесь забили на шахте в подвешенный рельс, и надо было спешить на горную смену. Как ни жаль было Донентаю свою жену и проснувшуюся, плачущую дочь, он оделся и ушел. А что делать? В те времена даже за минутное опоздание любой мог получить по уголовной статье обидный срок. Он так и не узнал, что же приснилось Алиме. Хотел спросить вечером, но после работы пришел такой уставший, что, поужинав, сразу же уснул. А Алима не напомнила ему об утреннем происшествии. Всякое бывает в семье, ничего ведь непоправимого не произошло.

Прошла неделя, может быть, две недели. Допустим, и месяц. Алима успокоилась, а вот Донентай стал больше и больше томиться от шахты. Уставать стал больше. Если раньше он мылся после смены долго, с наслаждением и тщательно, то теперь кое-как ополаскивал свое сильное тело и, чуть перекусив, сразу валился на постель. А потом и есть не стал. Он весь преобразился, на лицо легла сумрачная тень, и говорил он теперь как бы сквозь зубы. Ну разве все это не могло не расстраивать Алиму? И она стала уделять

вдвое больше внимания как хозяйству, так и своему мужу. Но ничего не помогало.

Как-то после вечернего чая Алима присела рядом с мужем и принялась разглаживать его отросшие волосы на голове, а он вдруг с неприязненным раздражением отбросил ее руку, чего никогда раньше себе не позволял. Она смолчала и заметила, как вдруг густо поседел ее хозяин. Правда, ее ладонь, которую он откинул почти ударом, горела и саднила у нее всю ночь. А под утро она снова увидела тот же сон.

– Что тебе надо?! Что ты пристала к нам! – крикнула Алима гадкой албасты. – Что мы тебе сделали такого?

Ведьма же совсем не рассердилась, даже больше того, с долей участия и понимания взглянула на Алиму и, не переставая возиться со своими распущенными прядями волос, сказала:

– Что надо? Ах ты, бедняжка... Оставь своего мужа и убирайся от него, пока он еще жив.

– Никогда! Со мной ему хорошо, – отвечала смело Алима. – Я все сделаю для него!

– Если ты на все согласна, то и уйди от него. Он мой, – заявила албасты. – Я его давно выбрала, еще до тебя, во всем ему потрафляла да угождала, на охоте к нему лучшую добычу гнала, а все болезни, наоборот, от него отгоняла. Так что лучше сама отдай, все равно заставлю.

Алима с яростью, на какую могут быть способны только матерые волчицы, вскинулась над албасты, но не тронула ее, сразу сникла и как-то жалостливо, что на нее было не похоже, предложила:

– Давай, я лучше тебе ноги помою? А?

– Нет, – отрезала албасты и, исчезая, крикнула на прощанье: – Да смотри, мужу не сболтни! А не то еще хуже будет.

После этого сна Алима не кинулась в крик, а, кусая губы, выбралась во дворик дома и там, втиснувшись в низкий полупустой угольный сарайчик, сдавленно зарыдала.

Алима по своей природе была обычной женщиной, каких миллионы, к вере ко всяким потусторонним силам относилась равнодушно. Если и задумывалась о чем-либо, то только о понятном и зримом. Да и времени на всякие там размышления у нее не оставалось. Поглощенная заботами о Донентае, она каждый день меняла ему постель, отвезла прыткую и шумливую дочь к родителям, тщательнейшим образом избегала не только какого-то нечаянного слова, но и жеста недовольства по отношению к мужу.

Она обратилась к знахаркам и по их советам варила и настаивала всякие лечебные травы и корни, окуривала дом охраняющим от болезней спасительным дымком... да и чего она только не перепробовала! Прошел еще месяц, и Донентай начал оживать. Он перестал нервно вздрагивать, внимательней следил за собой, ел, когда ему подавали еду. Но, несмотря на это

видимое улучшение, он продолжал медленно и неумолимо чахнуть. Прежде всего это было заметно по его черным большим глазам. Они еще более расширились, и свет в них едва заметно, но неумолимо угасал с каждым днем.

Теперь он, придя со смены, садился в стороне от семьи и часами смотрел в одну точку, иногда покашливая сухо в кулак, и, как бы стыдясь своего кашля, отводил в сторону свой взгляд, если кто-то пытался в эту минуту выказать ему свое участие.

Обращались в трестовскую поликлинику. Там заподозрили туберкулез, но окончательный диагноз выставить не спешили, посоветовав уволиться из шахты.

Социализм к тому году, мощно прокатившись катком конфискации (по-казахски: конпеске), уже полностью победил феодализм в нашей республике. Частной собственностью в виде отар овец или табунов лошадей, даже в пять-шесть голов, больше даже не пахло и, естественно, казахи больше не кочевали, как во все прошедшие отсталые века. Все, кто не умер от голода, потянулись к поселкам и городам. Людей много, работы – не на всех. Так что выбраться из шахты Донентаю не представлялось возможным. Надо кормиться и кормить семью, а также кое-чем поделиться с десятком родственников, которые еще не устроились.

Алима обратилась к колдуньям. Но найти такую, которая могла бы помочь ее беде, она не могла. Наконец ее повели к тетке Халиме (она нам уже известна как информатор – Керимова Х. М., 1889 г. р., проживающая в с/х «Кокпекты»).

Нам (читайте: мне) информатор Керимова Х. М., кроме выше-описанного, сообщила следующее.

После многочасовых уговоров со слезами и всяческими подношениями она вынуждена была (то, что она была вынуждена, Керимова подчеркнула дважды) совершить акт камлания и обратиться к аруахам – духам своих предков. Те сошли с небес, не все, конечно, а наиболее отзывчивые, и попытались помочь бедной клиентке колдуньи. Однако все их старания оказались напрасными. Злые духи, витавшие над Донентаем и Алимой, оказались сильнее. Они отбили всякие атаки и твердо подтвердили, что ни за что не отступятся от этой семьи, тем более, что бог от них за поругание святой исламской морали бракосочетания отвернулся.

Камлание закончилось поздно вечером, и потрясенная откровением духов Алима, не соглашаясь, а точнее, не слыша никаких уговоров и доводов, побрела домой.

Это сейчас Кокпекты и шахтный поселок Донентая стали разными частями огромного индустриального центра Казахстана, а до войны между ними была нетронутая цивилизацией степь, т. е. девственное пространство без ржавого металлолома вдоль изъезженных грунтовых дорог и без заброшенных осолончакованных пашен, не говоря уже о помойках. В степи росли цветы,

море цветов – маки, тюльпаны, незабудки, шалфей, девясил, ромашки..., правда, мелкие, но яркие. В пятьдесят втором году мне было пять лет, и я, поверьте, помню еще ту степь...

Так вот она в тот вечер пошла через степь и там потеряла сознание. Албасты не преминула тут же к ней явиться. Ведьма таскала Алиму по всем степным каменистым сопкам и кричала на нее:

– Отдай! Отдай! Отдай!

– Нет! – стонала Алима. – Ты заберешь его в свой мертвый мир. Все равно он умрет.

Тогда албасты бросила ее на землю и заверила без всякого стыда:

– Не уйдешь от мужа, я убью его. А уйдешь, жить будешь сладко да гладко. Я сама превращусь в молодую девку, живую и буду жить с ним!

– Ты не можешь быть живой! Не можешь! Не можешь! – отвечала Алима, и эти ее ответы полностью свидетельствуют о том, что она нисколько не страдала безумием.

Особенно последние ее слова:

– Да ты только кажешься!

– Ах, кажусь! – взревела ведьма. – Так вот, всю ночь ты проваляешься здесь, а придя домой, увидишь, как хорошо сказалось это твое отсутствие на муже! Да он сейчас только рад, что ты не мозолишь ему глаза, и уже только от этого ему полегчало! Даю тебе ровно неделю, иначе точно уже его похоронишь, и он все равно будет моим!

Вернулась Алима домой действительно только на следующий день. Донентай, собиравшийся на ночную смену, вроде как бы и не заметил, что его жена непривычно долго отсутствовала дома. Был чуть живее, плотно поел и сказал, что, кажется, сегодня ему чуть лучше. Это окончательно сразило бедную Алиму. А когда на пару дней Донентай снова стал совершенно равнодушным ко всему, и в том числе к ней, когда к нему вернулись головные боли и он опять уставился в одну точку, Алима решила уйти навсегда. И ушла. Оставив дочку с мужем.

О причинах этого развода, как я уже писал, люди говорили самое разное. Но у всех осталось глубокое чувство недоумения. Конечно же, был скандал. Особенно негодовали родители Алимы, гнали дочь из своего дома к мужу, мать ее прокляла, но дочь есть дочь, гнать-то гнали, но не жить же ей на улице.

Всех удивила и реакция самого Донентая, вернее отсутствие всякой реакции. Молча и по-прежнему глядя лишь перед собой, он выслушал все положенные при этом советы, слова поддержки и негодования со стороны родственников и друзей, бросил дом и уехал с дочуркой в степь. Там, ближе к горам Каркаралы, в конце лета, он поселился в заброшенной зимовке и занялся охотой. Хотя, какая это была охота! По немощности первое время он с ребенком питался через день пойманным в петлю каким-нибудь сусликом или барсуком, но уже после первого снега приехал в ближайший совхоз с двумя лисьими шкурами и обменял

их на муку и соль. Он по-прежнему был худ телом и лицом, но уже не производил впечатления человека, подверженного чахотке. И глаза стали осмысленными, хотя дерзости в них, столь характерной для его молодости, заметно поубавилось.

Мой дед Донентай выздоровел. Впоследствии в городе он никогда больше не жил. И вообще, кажется, первый раз после ухода с шахты он заехал на недельку в каменный загон для людей, когда привез туда свою дочь поступать в торговый техникум.

Теперь вернемся к социально-психологическому анализу развода моего деда и бабки, его причин и мотиваций.

Прежде всего, надо сразу же исключить из них персонаж албасты как реальную фигуру (не можем же мы всерьез относиться к каким-то суевериям). Конечно же, моя бабушка в тот тяжелый год видела ее только в своих снах. Но что же заставило ее поверить в угрозы и преследование ее семьи со стороны мифической ведьмы? Не думаю, что она была глупа до такого окостенения мозгов, которое вызывает даже не насмешки, а только жалость. По крайней мере, люди, которые ее очень хорошо знают, это отрицают полностью. Во-первых, она пела и знала множество песен Абая, стихи поэтессы Сары. Во-вторых, она умела читать печатный текст (Донентай хотел научить ее и писать, но к этому времени началась такая чехарда со шрифтами – то с арабских букв на латиницу, то с латиницы на кириллицу, что он и сам порядочно запутался и оставил это дело до лучших времен). В-третьих, она была, как я уже отмечал, самой обыкновенной женщиной, а быть обыкновенной женщиной – не значит быть дурой. Я думаю, надо с этим согласиться, несмотря на наше вечное мужское высокомерие.

Так что же заставило ее поверить своим снам? Прежде всего, неожиданное и все прогрессирующее ухудшение физического и психического состояния ее мужа. Факт был налицо. И он не имел ясных, понятных причин. Точнее, они были, но осознать их возможно только сейчас, по прошествии целой историко-экономической фазы развития нашего общества. И тех незначительных и, к сожалению, неизбежных негативных эпизодов на пути построения социализма.

Присутствовало твердое мнение, что диссертанту следует посерьезней проработать представленный материал в свете диалектического материализма и марксизма-ленинизма. Мало цитат наших классиков.

Но если вернуться к жизненному наблюдению на примере Донентая и Алимы, то не надо ни особого ума, ни цитирования Карла Маркса для понимания того, что Донентай просто не мог не заболеть по вполне материалистическим причинам. Все казахи которые, вследствие ударной коллективизации изменили кочевой образ жизни на более прогрессивный – оседлый, страдали всякими нервными расстройствами. Те, кто выжил...

На моем деде такая перемена в его жизни сказалась особенно тяжело. Ведь он был не просто скотоводом, но еще и охотником! А тут вместо открытой

всем ветрам степи под бесконечным небом надо день за днем, ночь за ночью ползать в угольных штреках, упираясь затылком без каски в толщу земли, по которой он был рожден только ездить на коне.

Чем же спасла его Алима? Наверное, тем, что своим уходом разрушила страшную необходимость – ради семьи вкалывать и вкалывать под землей, где могут находиться, по твердому убеждению живших тогда кочевников, только покойники. Никто не станет отрицать, что раньше мужчины были более ответственны. Думаю, и Алима, и Донентай так и не осознали до конца, что с ними произошло, но если бы вся эта история завершилась не разводом, то, уверен, – скорыми похоронами Донентая. А так он прожил до семидесяти лет и после моей бабушки был женат еще чуть ли не с десяток раз, с первых же дней супружества разочаровываясь в каждой очередной жене. Кроме дочери от Алимы, у него детей больше не было.

Судьбу своей бабушки Алимы я, как уже отмечал, знаю только по рассказам. Живой я ее так и не видел. После ухода от мужа она жила в городе, шила на «Зингере» и тем самым кормила своих старых родителей и кормилась сама. В годы войны женщины перестали заказывать платья, и они начали отчаянно голодать. Тогда-то к ней посватался пожилой косоглазый водовоз. И мать-старуха сказала Алиме: «Ты была замужем за богатым, была за красивым, теперь выйдешь за этого». Прожив год с водовозом, Алима умерла.

– Бред какой-то, – озабоченно произнес Павел Нежнай, пристально вглядываясь в мои глаза. – Нет, рассказ, конечно, занятный, но при чем здесь сексопатология? Ты по какой специальности намерен защищаться?

Мне не понравилась его озабоченность. Надо напомнить, что мы сидели не просто в медицинском кабинете, а в одном из отделений психиатрической клиники.

– Никой это не бред, – заступился за меня добрый Серега Тетушкин, – Просто фольклор. Народный.

– Вот пусть тогда идет в народ или защищается по фольклористике.

Я с надеждой оглядел своих коллег, но все, отводя глаза, промолчали. Даже Тетушкин смотрел в сторону.

– Нет, ребята – сказал Лева Якобзон. – Ежели мы сексопатологи, то и защищать диссертации должны по…соответствующему органу.

– Соответствующий орган – это сердце, – принялся пламенно возражать я. – Вы знаете, почему люди разводятся?! Потому что сердце пополам!

– Ну не будем так строги к диссертанту – авторитетно произнес москвич Маслачев, давно искавший случай продемонстрировать терпимость и покровительство к гостям Москвы. – Быть может, обзор научной литературы в какой-то степени приблизит соискателя к искомой им кандидатской степени.

Глава I. Обзор литературы

Совершенно естественно, что мной для широкого читателя, интересующегося наукой, текст самой диссертации был несколько изменен, точнее – сокращен. Из обзора литературы были изъяты, к примеру, такие произведения, затрагивающие проблему разводов, как «Анна Каренина» Л. Н. Толстого, «Милый друг» Ги де Мопассана, «Иванов» А. П. Чехова, но вот выбросить собственное драматическое произведение совести не хватило. Имеется в виду пьеса «Семейное торжество». Между прочим, тот факт, что она дана не полностью, а цитатами, говорит о том, что… черт его знает о чем! Лень думать о чем.

Действие пьесы происходит в обычной столичной квартире молодых людей, Руслана и Майи, пригласивших друзей на семейное торжество, о котором до этого дня никому ничего не было известно. Во втором акте наконец выясняется, что гостей пригласили по поводу развода этих молодых людей. Все в шоке.

И с и к. (подходит к другу с рюмкой). Дурацкая история. Ну скажи, зачем тебе нужен был этот...

Р у с л а н. Пир во время чумы? Если публично принято отмечать свадьбы, почему бы застольем не отметить и развод? Отмечают рождение человека, но ведь и поминки ему устраивают за общим столом. Элементарная логика. Ведь развод не менее значимое событие в жизни семьи. И вообще, хватит представлять развод крахом. В наше космическое время при разводе человек не теряет ни социальных, ни экономических основ... так, по мелочи. Он или она, имеющие за плечами с десяток браков и разводов, – это уже личности с закаленными адаптационными установками. Они прочно проверены на выживаемость и уже только этим вызывают у нас доверие. Это, как правило, смелые, гибкие, независимые и решительные люди, несгибаемо смотрящие в будущее одиночного плаванья. Демонтажа супружеских уз уже нельзя стыдиться примерно так же, как увольнения с работы по собственному желанию. Это раньше в эпоху феодализма с разведенной женщиной никто из соседок не сел бы даже чай попить, не то, что пригласить домой. А теперь ее встречают восторженные крики товарок: «Молодец! Он это и заслужил!!» Недавно я встретил своего давнего знакомого с институтских времен и удивил его своим бытовым постоянством. «Как? – поразился он. – Ты еще ни разу не разводился?!» И ты знаешь, мне стало как-то стыдно, я вдруг почувствовал какую-то неполноценность.

«Да, Павлик прав – произнес, прожевывая свой московский бутерброд Маслачев. – С таким материалом не защититься. – Хотя у вас там в Алма-Ате можно и по верблюдам стать академиком. Вот что собой представляет

научный материал и зачитал зажелтевший от сливочного масла листок: «…преморбидное состояние нейрогуморальной составляющей оценивается как задержка пубертатного развития…инверсивный вариант ретарции по А.И Суркову… В случаях же снижения лишь по векторам первому и второму… выше 3 и 6 десятых состояние оценивается как гипоэволюционный вариант… Научно и всем понятно».

Я спокойно выслушал мнение коллеги (да подавись ты!) и продолжил свой доклад.

Научная ценность пьесы заключается в том, что, несмотря на массу конфликтов, обид и выяснений отношений, происходящих на сцене между этими бывшими супругами, совершенно непонятно, почему они разошлись.

Если первый фрагмент пьесы автора еще дает какую-то характеристику разводящимся, то второй вообще ни о чем конкретном по данной теме не свидетельствует. В нем папа Руслан в присутствии мамы Майи разговаривает по телефону со своим малолетним сыном, находящимся где-то в другом доме.

Р у с л а н. ...Если меня не будет дома, так я у бабушки... Нет, не у той, которая моя бабушка, а у той, которая мне мама. Я у ней поживу немного... Не сомневайся, .старик... Отлично... Ложись... Спокойной ночи (кладет трубку). Он говорит, что у Игорька папа тоже ушел и больше не вернулся, как на войне.

М а й я. Господи, у какого Игорька?!

*Р у с л а н. Представления не имею. Ни об этом Игорьке, ни о том, как **же** я теперь, как на войне, жить буду со своим сыном... (отдает квартирные ключи Майе). Ключи. Дверь я захлопну. Прощай.*

М а й я. Имей в виду!

В наши стародавние времена для советского уха слово «оргазм» представлялось чуть ли не из марсианского языка. Хотя оно легко переводится с древнегреческого: orgasmos – пылать страстью Мы же, младые стажеры Всесоюзного центра сексопатологии, использовали это словечко практически по любому поводу: не промочишь ноги в мокром московском снегу, восклицаешь, забегая в Институт: «Оргазм!», разыщешь, наконец, крайне нужную тебе статью или монографию: «Полный оргазм!»

Пиво пили мы на Преображенском валу. Так случалось, что не раз за соседним столиком устраивалась компания белобрысых парней, переговаривавшихся на каком-то непонятном языке. «Иностранцы, – подумал я. – Но почему в одежонке «Моспошива». Когда мы после каждой кружки удовлетворенно констатировали: «Оргазм…», они с недоуменным видом оглядывались на нас. Наконец, один из этих чужестранцев подсел к нам, и выяснилось, что эти парни удмурты и что есть такая автономная социалистическая республика Удмуртия в составе РСФСР. Но объяснить любознательному жителю дыры на среднерусской возвышенности, что такое оргазм мы, дипломированные специалисты, сразу не смогли. Представьте, если

этот термин был чужд даже менталитету удмуртского народа, что говорить о других советских народах! Пришлось Тетушкину объяснять на пальцах: «Это когда тебе хорошо и ей хорошо». «Нонсенс, – возразил Нежнай. – Оргазм – ощущение, присущее только мужчинам. В животном мире самки, даже коровы, такого удовлетворения не испытывают. Оргазм не заложен в них самой природой. И это эволюционно оправданно. Иначе размножение превратилось бы в животное безумие. Вместо того, чтобы мирно пастись и набирать жирок, овцы носились бы за самцами, требуя оргазм. Бараны, понятно, упирались бы, напоминая, что было уже весной, обрюхачены, мол, уже, хватит. Но куда там! Львицы, вместо того, что выкармливать положенные им два года львят, крутили бы шашни с первым попавшимся леопардом и, возможно, с шакалами. Хаос, то, что мы ныне называем сексом! Да все виды просто давно уже бы вымерли. «Э, дорогой, – засомневался Тофик. – Женщины это!..» «А женщины просто придумали себе невротические реакции, которые называют оргазмом». Началась дискуссия, столь бурная, что сдувала пивную пену с наших кружек. По гамбургскому счету украинский охотник за московскими невестами был прав. Механизм мужского оргазма выстроен со всеми нужными деталями и состоит из уровня головного мозга и сегментарного, включающего в себя то, что есть у человека ниже поясницы. У мужчин на нижнем этаже есть спусковой крючок, огниво, высекающее пламя оргазма – выброс семени. Искра от эякуляции несется вверх в мозг, и там все эмоции взрываются окончательно, освобождая человека от всех неприятностей и накопившихся бед. На минуту-другую, но все же. А у женщин нет никакого физиологического механизма типа кнопки «Пуск!», они могут часами чувствовать приятность от сексуальной близости и все равно ничего похожего на оргазм не вспыхнет. Анатомия другая, ничего не попишешь.

Испытывавший колоссальную антипатию к Павлу Нежнаю московский сексопатолог Маслачев неожиданно согласился с ним: «Собственно говоря, действительно женщины в процессе эволюции придумали себе оргазм. Свидетельством этому служит то, что если у мужчин оргазм однообразно пиковый, что согласуется с физиологической нормой, а у баб… не поймешь. У каждой свой. У одной волнообразный, у другой цветной, у третьей с запахами. А одна вообще меня убила: я, говорит, когда оргазмирую, то словно вскипаю, и оргазм уходит от меня как пар несколько часов подряд». Музыкальный Якобзон Левушка вставил свое: «Есть меломанки, которые оргазмируют только от симфонической музыки. Надо думать, женский оргазм возникает как разрядка очага возбуждения коры головного мозга. И в зависимости от того в какой части полушарий этот очаг близок, от того и разные ощущения. Если к зоне слуха, то ее можно довести до оргазма одними словами, если к зоне зрения, то будь добр, имей смазливую внешность и опрятный вид». «Стоп, стоп! – воскликнул Тофик Бакинский. – Это как-то унижает нас, мужчин. По вашим словам выходит, что мы в половой жизни остались на уровне животных, а

женщины возвысили свои сексуальные ощущения до человеческих переживаний. Я не согласен, для меня секс это то же, что и шахматы. Интеллект для меня стоит на втором месте, после эрекции!» Подобный протест был встречен нами благосклонно. И мы снова и снова по полочкам попытались разложить все тот же оргазм. И каждый раз выходило, что в сексе женщина как бы все-таки человечней, чем мужчина. Как ни раскладывали, получалось, что Дон Жуан и его конь оргазмировали одинаково, как братья. Женщине же для достижения оргазмического взрыва нужно максимально повысить температуру своего эротизма. Таким повышающим порог чувствительности фактором является только любовь. Женщина не может получить оргазм, если она не любит своего сексуального партнера. По крайней мере, он должен быть симпатичен ей. Склонный к мистицизму Левушка Якобзон попытался протиснуть в формулу, которую мы выстраивали, теорию Рейха, которая объясняла появление женского оргазма влиянием на нее некой космической энергии, названной ученым немцем «оргоном». «А-а! Понял», – сказал удмурт и врезал кулаком по его умному лбу.

Пришлось перейти на ненормированный язык. И хотя Чапаев был не удмуртом, а чувашом, наши удмурты атаковали нас, как чапаевцы. И порубили нас, как белогвардейцев, на кусочки, если бы Тетушкин не выкрикнул: «Нахыр!!!». Удмуртские парни замерли, как вкопанные. Черт его знает, что обозначало это таинственное, видимо, проклятие, возможно, какой-то конспиратологический пароль, возможно, позабытое самими насильниками дыры на среднерусской возвышеннности удмуртское слово «оргазм». Сам Серега впоследствии наотрез отказался комментировать свой выкрик. Как бы то ни было, этот «нахыр» произвел на всех такое сильное и благостное впечатление, что мир в пивной более не нарушался.

Глава 2. Программа и методика исследования

§1. Характеристика объекта и программа исследований

Разводящиеся супруги в СССР представляют собой значительный контингент. *И отличаются особым упорством нрава: хоть жги их каленым железом, они никогда и ни за что не выдадут истинных причин своей неспособности жить цивилизованными парами. Какие только ни устраивал им диссертант ловушки из хитросплетений анкет, тестов и интервью и даже репрезентативных выборок, все одно – лгали и лгут! Как женщины, так и мужчины. Один нарколог рассказывал диссертанту, что он так не смог добиться признания от неоднократно лечившегося и пьющего разводившегося пациента, что алкоголь – причина краха его брака: «Да ты оглянись вокруг,*

доктор, я что ли один пью!» Нарколог оглядывался, видел на мужике и вокруг него маленьких зелененьких чертенят (явный симптом алкогольного галлюциноза), указывал на них мужику, но тот все равно стоял на своем: «Эти... эти не считаются, они совсем-то безвредные и семье не помеха». А одна дама так объяснила свое нежелание жить со своим законным супругом: «Он не мужчина!». Разоблаченная на очной ставке с предъявлением ей заключения судебно-медицинской экспертизы с фотографиями всех частей тела ее собственного мужа, она все равно твердила свое: «Он не мужчина!»

Из-за этой склонности к патологической лжи методика исследования расходящихся супругов претерпела некоторые изменения. В отчаянных попытках найти истину пришлось применять пытки. Разводившихся мужчин чаще подвешивали на дыбе, женщины больше сознавались после того, как их ноги вбивали в «испанский сапожок».

В юридической литературе неоднократно отмечалось, что даже в условиях, когда действовало семейно-брачное законодательство 1944 года, ограничивавшее свободу расторжения браков расстрелами, общие коэффициенты разводимости были высокими, а ее причины не выясненными.

В 1965 году, по сравнению с 1950 г., число разводов выросло в 5 раз, и их уровень приблизился к уровню 1926 – 1927 гг., т. е. к периоду наименьшего юридического ограничения. Заметный рост разводов произошел после Указа Президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 1965 г., упростившего процедуру расторжения брака. Известно, что уже в 1966 г. в среднем на два брака приходился один развод.

Разводящиеся до того размножились и обнаглели, что просто перестали скрываться. Их можно уже увидеть прямо на улицах городов, некоторые стали забредать в кинотеатры и поликлиники. Благодаря этому нам удалось выловить и обследовать 2000 человек, что и составило соответственно 1000 супружеских пар, т. е. 58,27% от всех разводившихся в этот период.

Проблема интимного классического треугольника « женщина – мужчина – женщина» достаточно тщательно разрешена как в традиционном обществе, где во главу угла ставятся религиозные принципы, так и в либеральном мире, где все рассматривается с позиций прав человека. И в конце XX века не представляется трагедией. Как для людей мусульманской культуры, признающей многоженство, так и для жителей стран западной цивилизации, где супружеская верность является уже чуть ли не архаизмом.

«Нет, товарищи, – произнес Тофик Бакинский С. – Все было не так. Первый развод случился 80 тысяч лет назад, в четверг. Жила-была в те питекантропские времена некая дама по имени Ам-Ам. И пребывала она замужем за неким типом по прозвищу Хам-Хам. Жили они хорошо. Правда, Ам-Ам любила поспать. Хам-Хам, конечно, ругался, но терпел. Пока она,

супруга первобытная его, не заявила, что любит поспать, потому что она тоже человек. Последнее она зря сказала, ибо попытка поставить себя на уровень сильной половины обернулась для нее тем, что вождь племени Хам-Хам, который сам на днях намеревался провозгласить себя лично первым в истории Земли человеком, тут же признал факт измены, и несчастную бабу после развода все с удовольствием съели». «При чем здесь супружеская измена? – возмутился Серега Тетушкин. – Женщина всего лишь любила поспать…». «С кем поспать-переспать? Сам ведь Хам-Хам все время бдил». «Что делал?» «Не важно, главное она созналась, что спала, а с кем – дело десятое». «Дикость какая-то!» «Дикость – не дикость, а факт измены племя единогласно признало и приговорило ее к поджариванию с последующим поеданием... Бабенка, надо сказать, на вид была весьма аппетитна».

Что делать если взрослые семейные люди попадают в такую нелегкую ситуацию? Прежде всего: никогда и ни при каких обстоятельствах (даже если любовный акт снят на видиокамеру и продемонстрирован всей стране) не сознаваться в измене, если, конечно, это не становится необходимым при медицинских или криминальных показаниях. Надо помнить, что факт признания измены не улучшает взаимоотношения между мужем и женой, что бы ни говорилось при допросах, а только приводит к занудству, иногда принимающему стандарт агрессивного секса по телефону. Не сама измена, а признание ее сильнее всего бьет по достоинству и здоровью человека, превращает любовь в ненависть. Этот, возможно, единственный в жизни случай, когда ложь действительно во имя спасения. Любовь относится к чувственной сфере человека. Яркость оргазма целиком зависит от тех психических взаимоотношений, которые сложились между мужчиной и женщиной. Особенно отчетливо эта линия прослеживается у слабой, но прекрасной половины человечества. Вот почему сам физиологический акт сношения полов для торжества любви имеет второстепенное значение. Признаваясь в эротической неверности, виновник измены под корень срезает древо любовных чувств. Сплетни, явные свидания дон-жуана с соперницей и весь остальной набор брачного кризиса сносит с ветвей все живое, но всегда остается надежда, что крона вновь когда-нибудь расцветет. Если супруги поведут себя благоразумно и не станут заниматься психическим убийством друг друга, переходящим в самоубийство.

§ 2. Методика социально-гигиенического и медицинского обследования разводящихся и их брака.

К сожалению, распространились слухи, что нами во время обследования разводящихся супругов применялись пытки. Чушь и клевета! Наоборот, сам диссертант после годового контакта с этой публикой слег в постель с

микроинфарктом. Правда, со своей медсестрой, ну, а ее муж... В общем, и бедный диссертант настрадался.

§ 3. Обработка материала

Вначале считали на пальцах, затем обрабатывали информацию на ЭВМ «ЕС-1022». *Пальцы складывались в пластиковые мешки и хранились при температуре – 34 градуса по Цельсию*.

Глава 3. Характеристики объекта и базы исследований

§1. Социальные характеристики разводящихся

Объектом нашего исследования являлся не только сам развод как таковой, но в основном участвующие в нем разводящиеся супруги и их собственная семья. При относительном социальном и материальном благополучии разводящихся супругов отмечается отяжеленность многих социально-гигиенических характеристик, высокий уровень общей заболеваемости как самих разводящихся, так и их детей, распространенность неблагополучной наследственности; все это усиливается в когорте разводящихся, страдающих хроническим алкоголизмом. Анализ наших данных позволил сформулировать ряд представлений, отраженных во всех трех главах работы.

Прежде всего, привлекают к себе внимание следующие социальные гигиенические характеристики, как: не только наличие, но в какой-то степени распространенность среди разводящихся мужчин трудоспособного возраста нетрудоустроенных личностей, не находящихся на очном обучении. Процент таких мужчин достиг 9,5, а это в условиях социализма при дефиците рабочих рук явно асоциальное поведение.

Второе, биполярность образовательного индекса: у мужчин преобладает начальное и неоконченное среднее, а у женщин – среднее и среднеспециальное образование, что явно сказалось на дисгармонии культурного уровня разводящихся супругов. Особенно отчетливо прослеживается это и отягощается в интимной супружеской жизни, где эмоционально-психологический фактор играет для женщин первостепенную роль. Тем более, что распространенный среди разводящихся показатель «неконтролируемых» случайных и субъективно-искаженных знаний в области половой культуры у разводящихся мужчин особенно высок, достигая 68,1%; при этом мужчины гораздо чаще женщин считали интерес к санитарно-просветительной литературе в этой области лишним и стыдным, несмотря на то, что только 16, 5 % мужчин относили супружеские интимные взаимоотношения к разряду несуществующих факторов семейной жизни.

Поэтому не случайно эмоционально-психологическая сексуальная привязанность, которая играет в современном браке, основанном на любви,

немаловажную роль, отмечается только у каждой пятой женщины, когда у каждой третьей женщины есть стойкое отвращение к мужу, как к сексуальному партнеру. Это не могло не сказаться, в частности, на количестве детей в семьях разводящихся: число детей у них меньше желаемого, как со стороны мужчин, так и со стороны женщин. Каждая третья женщина не только не желала беременности, но и испытывала страх перед ее появлением. В основном супруги имели одного или двух детей. Разводящихся супругов, у которых было больше двух детей, насчитывалось только 4,1%. Не было общих детей у 39,4% супругов, причем половина из них и не хотели иметь детей. Сюда же можно отнести и разводящихся, у которых младший ребенок достиг 17 лет или же был старше, так как таких супругов можно практически отнести к бездетным. Значит, основная масса разводящихся супругов бездетна или же имеет одного ребенка. Количество распадающихся браков, супруги которых имеют младшего ребенка в возрасте от года до семи лет, составляют большинство, приближаясь к 49,72% от всех супругов, имеющих детей. Следовательно, разводящихся характеризует и фактор наличия малолетнего ребенка, так как среди разводящихся есть и такие, которые имеют ребенка в возрасте до года – 6,84%. Среди детей разводящихся высок процент больных соматическими и психическими заболеваниями – 18,13%, высока и детская смертность – 11,91%. Характерным для разводящихся является наличие большого количества внутренних мигрантов, причем каждый пятый брак был заключен вне г. К-ды, а каждый третий мужчина и каждая третья женщина прибыли в город после исполнения им 18 лет.

Каждый пятый мужчина и каждая пятая женщина ранее уже состояли в браке и настоящий распадающийся брак для них был повторным. Каждая третья брачная пара характеризуется непродолжительностью совместного проживания и кризисного периода брака. Более половины разводящихся – молодежь, не достигшая 34 лет, как правило, жены или моложе своих мужей, или являются их ровесниками. Обращает на себя внимание тот факт, что у мужчин до начала установления условно-физиологического ритма сексуальной жизни, т. е. до 34 лет, браки распадаются в два раза чаще. Все это характеризует разводящихся этих групп как не достигших нравственной и физиологической зрелости в глубоком понимании этого слова.

Говорят, что человек просто разумное животное. Распространенность этого мнения ужасает. Не скрашивает положение даже утверждение, что человек не просто разумное животное, но и социально организованное. Дети посещают дошкольные и общеобразовательные учреждения, взрослые особи находятся в юридически оформленном браке.

Между тем, все гораздо сложнее. Примером может послужить следующий случай развода.

Свой случай из практики Лева Якобзон преподнес нам в форме басни:

«Когда из-за края земляного панциря поднимается Мама, я, не медля ни минуты, спешу выбраться из пробитого пылью степного песка, и всегда с необычайно радостным волнением, словно я не прожил десять зимних спячек, а только-только народился. «Мама» – это, конечно же, солнце, и не надо меня считать сумасшедшим. Просто я еще крошечным черепашонком, впервые увидев пригревший меня желтый диск высоко над собой, с любовью подумал: это – мама! Гораздо позже, не без боли и тоски, я понял, что нет у меня мамы, а есть, вернее, была когда-то, мать, отложившая свои яйца в песок и сразу же забывшая об этом.

Я люблю нашу полу-пустынную степь. Все в ней неспешно и вечно. Ее-то никто, как нас, не перевернет! Травы мало, но она кое-где все же есть. Спасительных в жару теней немного, но уж если ты в нее вполз, то она долго не исчезает.

Я бы сказал так: кругом в моей степи простодушно и несуетливо.

Бывает, иногда пронесутся огромные существа с четырьмя панцирями на ногах, но не успеешь испугаться за сияющую в небе Маму, как они тут же пропадают вдалеке.

Главное, не попасть под эти скачущие черные панцири... иначе тарц и хрумк! Я даже подозревал, что у них ноги заканчиваются не панцирями, а просто круглыми камнями, потому что им хоть бы что, а наши панцири разлетаются на кусочки. Не у всех, конечно. Есть такие черепахи, которым после их двадцати-тридцати спячек вообще никто не страшен. Но и они не знали, за что на них обрушивается вдруг такое!

Вот видите, какими наивными были тогда мои представления о мире.
Сейчас, после трех лет тягостной своей неволи, я узнал на телеэкране тех гигантских существ, проносившихся в степи над нами: всего-то лошади и сайгаки! Но мне это не в радость. Бывает, показывают по телевидению каких-нибудь дикарей из Африки, живущих своими законами и своими понятиями о жизни и Вселенной, и осознаешь, насколько они счастливей самых что ни на есть цивилизованнейших обществ. Не знаю, как вам,
но мне это совершенно ясно.

Однако я отвлекся. А ведь мой рассказ о ней – моей Миолании. Как назвать ее? Любимой? Единственной моей? Или страстно ненавистной мне особой, превратившей всю мою жизнь в сплошную кровоточащую рану? Не знаю.

Я встретил ее в свою первую юношескую весну и влюбился в нее мгновенно. Так уж случилось на мою беду.

Помню, после последней в моей жизни спокойной спячки я, очнувшись и разгребая лапами уплотнившуюся, но уже прогревшуюся над собой землю, без всякой раскачки поспешил выбраться наверх, к Маме, траве, к ветерку! Молодость. И, казалось, вот уже выбрался на поверхность земли, как мой нос уткнулся в нечто плоское и твердое. Я принюхался и сквозь тонкий слой пыли почувствовал над собой молодую самочку. Я не стал ни злиться на столь

неожиданное препятствие, ни нервничать, а осторожно постучал по ее брюшному щитку, причем, учитывая всю деликатность ситуации, постарался сделать это как можно более невозмутимей, словно я и не понял, во что я уперся. Хотя все это мне показалось очень забавным, я, признаюсь, сильно взволновался. Мне даже показалось, что нечто подобное уже когда-то происходило со мною, возможно, в прекрасном сне, но скорее всего я смутно вспомнил тот давний миг, когда впервые, постукивая по внутренней поверхности яйца своим шипом на носу, пытался расколоть скорлупу и, если можно так сказать, родиться на этот свет. В этом была какая-то параллель. Да, не смогу соврать, встреча с нею, с моей Миоланией, означала для меня второе рождение, открытие второго еще более прекрасного мира...

Ну, значит, постукиваю я так, постукиваю и как бы беспечно посвистываю в сторону: фьють-фьють (обычно мы в трудных ситуациях шипим, как змеи). А она и не попыталась посторониться и пропустить меня, словно я не черепаший самец, а какой-нибудь дождевой червь!

Не знаю, сколько бы я просидел так под ее брюшком, – если честно, то это нисколько ни было для меня в тягость, даже наоборот, — если бы вдруг мои свистки не перебил чей-то наглый, призывающий к случке ритмический звук:

– Тц! Тц! Тц! Тц!

И только тогда моя «покровительница» (от слова – покрыть) соизволила сдвинуться с места.

Я выбрался на землю и... не смог больше отвести от нее глаз.

Признаюсь, прежде всего, я увидел ее хвостик, а уж затем ***ее*** *всю. Не подумайте, что я какой-то развратный тип, просто не терплю ханжества и лицемерия ни в себе, ни в других. И за это всегда страдал, но страдал стоя.*

Так вот, выставился я на ее хвостик и не могу от него отвести глаз, ну, хоть давите меня, как глупое яйцо, с места не сошел бы.

У нас, у самцов, хвосты длинные и прямые, как палки. А у самочек они коротенькие и как-то по-особенному чуть подкручены. Они, конечно же, знают о таком своем превосходстве над нами и своими нежными хвостиками вертят вовсю! И если вот так, как я, все пялиться на них, можно дураком сделаться.

Стою я, значит, и как очумелый смотрю на мою Миоланию. Возле нее вертелся какой-то наглый пожилой самец. Это его вскрики: «Тц-Тц!», видимо, принудили ее сдвинуться в сторону. Да, да, моя Миолания явно пыталась скрыться куда-нибудь. А самец так и кружил, так и кружил вокруг нее. Грязный старикашка. Вот он забежал вперед и, встав перед ней, попытался ее остановить. Часто-часто кивая морщинистой головой, он, видимо, говорил ей какие-то пошлости. Моя Миолания брезгливо отстранилась от него и пошла себе гордо дальше, махнув перед самым его носом своим хвостиком. Но зачем же так?! Неужели нельзя просто, без всяких сомнительных жестов, целомудренно отказать самцу. Но вот это кокетство даже перед мерзейшим

типом было неистребимо в Миолании! Как это меня бесило! Я не понимаю даже самой логики такого ее поведения, хотя какая в этом может быть логика...

Но я снова отвлекся. Видя, что нежное создание совершенно не желает иметь с ним никакого дела, старикашка обозлился. Он принялся просто грубо цапать ее своей вонючей пастью то за головку, то за ноги, то за край панциря. Миолания возмущенно взвизгнула и, втянув голову и лапы в панцирь, стала для него совершенно недоступной. Однако рассвирепевший самец и не думал отходить от нее, и тогда она, вначале со скукой, потом прямо-таки с тоской, все чаще начала выглядывать наружу. Еще бы! Такая красавица и должна как какой-то уродина сидеть под панцирем! И тут я, наконец, очнулся. Подскочив к этому отжившему свое хаму, я потребовал от него убраться отсюда. Вообще-то я всегда считал себя окончательно завершенным меланхоликом, и, признаюсь, был вполне доволен таким, пусть замедленным, но вполне уравновешенным образом жизни. А тут словно кровь вскипела во мне! Я готов был не только прогнать этого наглеца, но и разорвать его на мелкие кусочки. Думаю, что моя решительность – победить или погибнуть – проявилась во мне не менее четко, чем мои кольца на спинном щитке. Однако и старикашка, оказалось, был не дурак подраться. Мы стали друг против друга, и он, то вскидывая, то опуская голову, хотел меня припугнуть, но куда там ему! Я кинулся и кусанул его в челюсть. Но этот беззубый тип, словно тараном, боднул меня передним выступом нижнего панциря: «Тарц!» Ну, тогда и я так шибанул его своим щитком, что он аж затрясся. Я уже торжествовал, тем более, что моя Миолания, выглянув из своего «домика», мило и с интересом взглянула на меня. Кажется, она даже улыбнулась мне. Но тут мой противник подсунул свой панцирь под меня, затем резко поднялся, да еще толкнул меня своей лапищей. И я... я перевернулся!

Это сейчас мне понятно, что тогда я, неискушенный юнец, был просто заведомо обреченной жертвой таких прожженных и подлых прохвостов с их нечестными и подлыми приемчиками. Сейчас попробуйте, переверните меня! Да я, как акробат, как кошка, даже падая с косогора, всегда встану на все свои четыре лапы с когтями, как у крота. Но тогда... Оказавшийся перевернутым, я бессильно замахал в воздухе ногами, в отчаянье вертел шеей и чувствовал себя так же беспомощно, как когда-то будучи согнутым пополам в яйце. Правда, там, за скорлупой, по крайней мере, было ложное, но не подвергавшееся сомнению ощущение безопасности. А здесь... любая птичка могла сесть на меня, проклюнуть мое брюшко, да еще нагадить в дырочку. Но не это главное, смерти я не боялся, точнее, не верил в смерть, а значит, и не думал о ней. Самое ужасное заключалось в том, что стало нестерпимо стыдно перед Миоланией, словно я вдруг оказался перед ней совершенно голым без панциря. Слабак, сопляк, мальчишка – вот такими словами я, стараясь не смотреть в ее сторону, называл себя. Стыд жег меня, как степной пожар. И все же я

краешком глаза взглянул в ее сторону и от увиденного судорожно свернулся, словно мне под панцирь попала колючка. Моя Миолания уходила с каким-то молодым самцом, у которого щиток был выгнут, как купол, что всегда самым сильным образом выделяло из нашей братии самую высокородную мужскую особь. А мой недавний противник лежал рядом со мной тоже перевернутый... ха-ха-ха! Ах, не обращайте внимания на мой смех, он, как вы заметили, несколько истеричен, но, поверьте, если я и смеюсь, то всегда больше над собой... Если бы вы знали, что мне пришлось пережить... Ведь я пошел против собственной природы, как модно сейчас говорить – собственной генетики, законов своего народца... Но вернемся к нашему разговору. Тот самец, уведший мою Миоланию, своей победой над старикашкой принес и мне некоторую пользу. По крайней мере, я мог подробнейшим образом проследить всю технику переворачивания черепахи со спины на ноги. Я-то уже начал думать о неминуемой своей гибели, что, впрочем, соответствовало тогдашнему моему настроению. Да и сейчас я не далек от мыслей о самоубийстве. А надо просто – упереться в землю головой, а задней лапой... ну, это вам неинтересно.

Миоланию я той весной больше не встретил, протосковал все лето, а в спячке мучительно сладко грезил только ею. И как только наступила весна, я, не обращая никакого внимания на других самок, кинулся на поиски своей Миолании. Признаюсь, что еще несколько лет я так и не смог с нею встретиться и пришлось спариваться с кем попало. Никакой радости, не говоря уже о счастье, я в этом не обрел. После таких сношений я забирался под землю уже в начале июня и не просыпался все девять месяцев.

И вот однажды я, случайно обнаружив на скрытом сухом галечниковом русле заросли молокана и упиваясь его белым млечным соком, вдруг почувствовал как бы удар молнии в самый кончик своего хвоста. Еще толком ничего не осознавая, я отгрыз у самого основания толстенный, перенасыщенный соком стебель, взял его в рот и быстро пополз неизвестно куда. Такое было впечатление, что меня кто-то страстно и с надеждой позвал. Представьте себе тот шок, который буквально заставил меня остолбенеть, когда я в этом полубессознательном беге наткнулся на Миоланию, стоявшую между двумя голыми песчаными барханчиками и в растерянности пытавшуюся хотя бы что-то найти поесть. Хотя, кажется, она пыталась там грызть какие-то мелкие ссохшиеся косточки. Я как во сне подошел к ней и положил прямо у ее мордочки захваченный с собой сочный стебель, правда, чуть-чуть прокушенный, наверное, чисто механически в пути я его немного прожевал. О, как она набросилась на мой дар.

Вот так я обрел ее, мою Миоланию, мою земную Маму, мое счастье и страдание. Не буду описывать тех нескольких лет отрады и безумства, проведенных вместе. Они слились в один сияющий цветок дурмана, столь любимый моей Миоланией. Да и как писал Толстой: «Все счастливые семьи похожи...». Перейду сразу к горьким воспоминаниям.

Как-то после пылкого восторга случки и сытой пастьбы мы лежали в тени густого кустарника и со смехом и нежностью вспоминали наши первые встречи, нашу юность. Потом меня потянуло рассказать о своем трудном, полном страхов и отчаянья детстве. До сих пор не могу забыть один день того далекого моего сиротства. Мне было от силы два годика, не знаю, почему, но тогда вместе со мной паслось очень много таких же, как я, молодых черепашек. Щитки у всех нас были еще совершенно приплюснуты и хотя имели некоторый защитный пестрый цвет, но спасти нас от кого-либо были не в состоянии. Ведь в детском возрасте они скорее кожаные, чем костяные. Вот пасемся мы, дрожим, оглядываемся по сторонам, но голод берет свое, и только травка занимает наше внимание.

И вдруг сиявшую на небе Маму закрыла черная туча. Птицы! На нас постоянно нападают то грифы, то вороны, но нет ничего страшнее и уничтожительней нашествия грачей. Это ведь самые настоящие фашисты!

Налетают на нас грачи не поодиночке, как другие птицы, а организованными колоннами. Они снижаются, выстраиваются на земле широким фронтом в несколько рядов и идут плотной цепью. Когда первые бьют и терзают клювами попавшихся к ним черепашек, последний ряд перелетает через уже жрущий ряд. Черные, аккуратные в своем поиске, они буквально прочесывают все пространство перед собой, и ни одной живой души не остается на земле после них. А когда они вскармливают своих птенцов, то не оставляют нам даже случайного шанса на спасение, а о жалости или там каком-то снисхождении я уже не говорю.

Но вот что меня больше всего тогда, да и сейчас мучает. Почему ради того, чтобы были сыты одни детишки, другие, пусть иного племени, должны погибнуть? И если это неоспоримый биологический закон, то давайте перестанем кривить душой и делать мину при скверной игре, давайте все назовем своими именами. Есть старость, зрелость, а перед нею незрелый период I, незрелый период II, незрелый период III (эмбриональный), и не будем говорить больше ни о каком детстве, младенчестве, к чему всякие такие слова! Вот такими воспоминаниями и мыслями я и поделился со своей Миоланией, но как ни странно, не услышал от нее ни звука одобрения. Я подумал, что она спит, взглянул на нее с нежностью, но увидел, как она спокойно что-то дожевывает и сама поглядывает на меня холодными круглыми глазами, не выражавшими ничего, кроме сытого довольства. Я содрогнулся от нехорошего предчувствия. Но все прошло, мы снова любили и любили друг друга, и все же мысль о несчастном черепашьем детстве не покидала меня. В конце концов, я пришел к заключению, что во всем виноваты не какие-нибудь грачи или лисы, а мы сами. Ведь это мы, родители, с непробиваемой броней, бросаем своих детей на произвол судьбы, а потом горюем об их несчастной долюшке.

Как-то после очередной кладки яиц я сказал своей Миолании, что мы остаемся возле своего будущего потомства и поможем ему встать на ноги. Она с удивлением взглянула на меня своими выпученными глазами и, ничего не ответив, пошла прочь. Я догнал ее. «Что ты так волнуешься, – впервые с раздражением произнесла она, – если надо, приползем потом и посмотрим, все ли в порядке. Все так делают, яйца под песком, что с ними случится».

Я, дурак, согласился и со спокойной душой отправился с нею в наши заросли молочая. Наедать себе брюхо. И только перед тем, как залечь в очередную спячку, я вспомнил о нашей кладке и поспешил на запримеченное место. О, ужас, что я там увидел! Никаких черепашек, от моих детишек, моей кровушки остались только там и сям разбросанные, разорванные щитки... На одном из них я даже увидел прилипший кусочек желточного мешка. Значит, они погибли сразу же после вылупления из яиц, если даже не успели втянуть в себя остатки желтка.

Последовавшая спячка больше не была полна грезами о моей Миолании. Я видел снова и снова, как кто-то злой, зубастый рвет моих крошечных, мягоньких детишек. Они кричат, зовут меня, свою маму, но тщетно. И погибают в сиротстве при живых родителях...

На шестую весну нашей совместной жизни я твердо заявил Миолании, что в этот раз мы просто не вправе... то есть о каком праве идет речь? Нет, напрочь рассеялись все иллюзии о нашем праве бросать в дикой степи несчастных детишек. Она снова ничего мне не ответила. Но когда отложила яйца, то, спокойно присыпав их землей, равнодушно отвернулась. Некоторое время она еще ждала меня, а затем, видя, что я и не намерен двинуться за ней, ушла, чтобы не вернуться. Я прожил у кладки десятки дней и ночей, но вскоре быть одному, без моей Миолании, стало настолько невыносимо, что я, проклиная себя самыми жуткими грязными словами, поплелся искать ее. Найти-то я ее нашел, но какая-то трещинка уже пролегла между нами. Я пытался объясниться с ней, убедить ее в том, что семья без детей не существует, кричал, замахивался на нее лапой, а она только таращилась на меня лупоглазо и иногда плакала. Ее слезы успокаивали меня, вселяли какую-то надежду, что и она когда-нибудь поймет суть, смысл жизни живых существ на этой планете, но слез ее с каждой кладкой становилось все меньше и меньше. А затем... затем она вообще отказала мне в возможности иметь общих детей. Пригнула свой хвостик. Помню, тогда я в настоящей горячке выкрикнул, что нисколько не нуждаюсь в самке, не желающей взять на себя хотя бы частичку заботы о своих детях, и бросил ее.

Вы, думаю, уже догадались, сюжет мой не хитер: через недолгое время я, конечно же, кинулся опять искать ее. На этот раз возле Миолании крутился какой-то тонконогий малолетка. Воздержусь и от рассказа о том, как я легко и играючи перевернул этого сопливого юнца, будет знать! Зато с Миоланией мне пришлось повоевать. Она вдруг ни с того, ни с сего кинулась на меня с

разинутой пастью. Тогда впервые я двинул ей по шее лапой. Она тут же обмякла. А я ужаснулся своей дикой выходке, достойной разве что пещерной черепахи. Как низко я пал! Как мог я так озвереть, что поднял лапу на самое дорогое и святое в моей жизни. Да что там моя жизнь! Ведь она, моя Миолания, самое прекрасное создание живой природы, гордость и краса всей планеты. А я ее лапой да еще по шее! Нет мне прощения... Вначале я хотел тут же убить себя, расколоть о камни свой панцирь, утопиться в воде, но нигде рядом не было ни каменистой пропасти, ни озера. От великой скорби и отчаянья у меня закружилась голова, и я потерял сознанье. Когда я очнулся, то увидел мою Миоланию. Она тихо пристроилась рядом со мной и нежно обдувала мою морду. Ах, сколько было слов раскаянья, признания в любви, веры в завтрашний светлый, ничем-ничем не омраченный день. Говорил я, и говорила она. Мы плакали и клялись друг другу в том, что ничто больше не сможет нас рассорить и развести. Моя Миолания, эта благороднейшая душа, согласилась с моими чувствами, и мы твердо решили в следующую кладку высидеть наши яйца и выпестовать детей до того времени, когда их панцири станут окрепшими. Мы стали гадать, какими они родятся, станут ли похожи на меня или на нее, куда они пойдут учиться, размечтались о их будущем, конечно, рядом с нами. Даже договорились до внуков... И наступило, наконец, время после безумной и сладчайшей в нашей жизни случки, когда моя Миолания принялась рыть передними лапами в тщательно выбранном мною месте нечто вроде кувшина в земле. Я страшно волновался, пытался ей помогать, говорил какие-то глупости, давал заведомо нелепые советы в таком тонком и деликатном самочьем деле... Но она только грубо оттолкнула меня в сторону задней лапой. Она снесла два прекрасных яйца и, зарыв их, не оглядываясь... ушла. Как?! Она снова бросила нас... Я думал, что сейчас убью ее, но так и не смог сдвинуться с места. Мое сердце надрывалось от боли, от страха перед смертью.

Потом... потом до того дня, когда вы меня выловили в степи, как-то я ее раза два видел. Один раз даже плюнул на ее хвостик. Шатается она теперь с какими-то подозрительными самцами... Только жалею о том…»

Они все такие, распутницы, особенно, бабы – москалей. Но если у нее свой панцирь, в смысле, отдельнная квартира, то почему же не пососать молока, – влез в чужой монолог Павел Нежнай, воспользовавшись тем, что Лева Якобзон, тронутый драмой своего же рассказа, залился слезами.

Тофик Бакинский, дико размахивая длинными руками, переформатировал прозаическую басню Якобзона в театральную сценку: «Все, все, больше ни о чем говорить с вами не желаю. Верните мне мой панцирь! Да, я был схвачен вами, но панцирь мой вы не имели права отбирать у меня! Я без него как

голый... в принципе, я и без него голый, неужели вы этого не понимаете. Нет, я не вылезу из-под кровати, пусть хоть она как-то меня прикрывает. Да, так и буду жить с кроватью на спине. Что же вы думаете, я сумасшедший, чтобы в вашей подлой стране расхаживать туда-сюда с открытой спиной? Вы не врачи! Вы враги народа! Вы что, думаете, я не знаю, зачем вы меня тут держите?! Знаю! Не лечитьвы меня собрались, а изучать и экспериментировать надо мною, чтобы потом сесть и написать свои подлые диссертации. Так вот вам! Я буду таким примером, который вы не сможете всунуть в свои диссертации, потому что я люблю, все равно люблю мою Миоланию! Вы не ворветесь в мой панцирь! Ага, выкусили!», – и сунул кукиш прямо под нос внезапно нарисовавшегося на пороге доцента Карабутенко.

Курировавший нас старший научный сотрудник криво усмехнулся и произнес:

– Так… диссидентствуете? Захотели пройти курс лечения? Мы вас вылечим, снова станете Родину любить.

– Мы Родину любим, – смутился Тофик, пряча руки за спину.

– А если любите, то принимайте больных. В коридоре полно советских импотентов.

Маслачев тут же перестал жевать, ловко разгладил промасленный листок и кинулся вслед за доцентом:

– Александр Александрович, я бы рад, но здесь я набросал несколько тезисов, но хотелось бы проверить на достоверность один источник. Непременно нужно в библиотеку. В Ленинку.

До появления очередного импотента загадочным образом исчезли из кабинета и Тофик, и опечаленный воспоминаниями Лева Якобзон (со словами: «Нет, не могу, как вспомню! Вот что панцири делают-то! Пойду приму двадцать капель валерианки и забудусь сном») и Нежнай без слов. Дезертировал в сторону столовой и добрый Тетушкин.

Вошла супружеская пара. Приличные люди, из Орла. Запомнилось, потому что еще подумал о мужике: да, не орел, но тетерев, плотный, с выпуклым носом, крепко стоящий на коротких ногах, с достоинством. Она – откормленная, знакомая, если судить по блестящей сумочке из кожзаменителя с металлической пластинкой «Алушта», в ажурных чулках, прическа – ну, минимум рублей на пять! Заполнили анкетные данные истории болезни, еще несколько вопросов и навскидку поставили диагноз: «Дисгармония сексуальных отношений». Далее следовало перевести разговор на степень стерильного медицинского бинта, когда даже предельная глубина интимности разговора не предполагает не то чтобы грязи, но и запаха половых сношений. Казалось бы, проще всего нивелировать мужское и женское начала при публичной беседе, однако ж, как не парадоксально проще говорить с глазу на глаз. Но почему-то от нас, стажеров, требовалось проводить обследования группой. Быть может, опасались известного случая XIX века, когда некий немецкий психиатр пользовался интимной доверчивостью дам, которую затем

они называли гипнотическим состоянием. Как бы там ни было, мы удалили супруга и сгруппировались вокруг женщины. Муж ей нравился и дети были от него, и зарабатывал прилично (цветной телевизор «Горизонт» купили), а жаловалась она на то, что муж имеет ее всего один раз в месяц. Пытались провести психологическую коррекцию, мол, бывает, что ж, такая у него, значит сила, о детях надо думать и на машину денежки собирать. Но она ни в какую. Вылечите и все тут! Ладно, назначили мы ему прием на завтра утречком, так структурное обследование половой конституции требует три-четыре часа. Одно заполнение квантификационной шкалы СФМ чего стоит! Не раз вспотеешь, пока все измеришь-вычислишь.

Тетереву (верьте – не верьте, но именно такая оказалась у него фамилия) я посвятил и весь следующий день. Обследовал его и с бока, и головой вниз. И все потому что, не мог найти причину его сексуальной слабости, потому как по всем показателям он относился к мужчинам со средней половой конституцией, даже чуть повыше. И с психикой у него было нормально.

– Так, – произнес я. – А скажи-ка, ты нам, как мужик мужикам, баба у тебя на стороне есть? Говори, не бойся, мы клятву давали – Гиппократа, гарантируем врачебную тайну.

Тетерев угрюмо ответил:

– Нет у меня никого. Не люблю я это.

И я ему поверил: тетерева бегают быстро, а вот летают тяжело, с шумом, с напрягом. Любая его интрижка тут же бы раскрылась, слета попался бы.

Вызвали из коридора супругу, она вошла и уставилась в стену. Тетерев, мрачно глянув на нее, вышел из кабинета.

– Здоров ваш муж, – обрадовали мы Тетереву.

– Может быть, и здоров, – уклончиво ответила она. – Но, может, всего разок в месяц.

– Быть того не может – принялся настаивать я, готовый в доказательство предъявить свечку, с которой гипотетически дежурил у их супружеской кровати. Но контраргументом она вынула из сумочки нам действительно реальный документ – маленький календарик.

– Вот. Красными кружочками помечено, когда было у нас.

Крыть было нечем. Каждый месяц был украшен лишь одной красной меткой.

– Да вот же! В марте два кружочка! – не сдавался я.

Тетерева настолько иронично взглянула на меня, что я смутился, словно это не Тетерев, а я обязан был поддерживать с ней высокую частоту половых контактов. Я взял тайм-аут, призвал коллег, и мы задумались солидным консилиумом. Павел Нежнай предположил:

– Если у него нет любовницы, то, возможно, есть любовник. Кто может гарантировать, что он не бисексуал?

– Да нет.., – вяло отрицали мы.

В те давние советские времена о гомосексуалистах, а тем более о бисексуалах принято было не думать. Страна сплошь состояла из латентных гомофобов, т.к. педерастия ассоциировалась лишь с тюрьмой и психиатрическими клиниками. У меня самого в период моей работы в областной психиатрической клинике г. Кустаная какое-то время было несколько стационарных (закрытых) больных с диагнозом «Гомосексуализм». Пришлось поднять специальную литературу, и медицинскую, и милицейскую. И в какой-то степени мы, чувствуя себя гомофобами, были правы. Гомосексуалистов следует опасаться, гомосексуальное сообщество – одна из самых криминальных структур, в нем происходит пугающе большое количество убийств, как правило нераскрытых, так как гомосексуалисты никогда не выдают своих. Они принадлежат к особо активной криминальной группе, для них переступить закон не представляет проблемы, т. к. они уже за пределами человеческой нормы поведения. Не случайно чаще всего вербуют предателей из среды гомосексуалистов. Но я что-то отвлекся. Причем не к месту. Вернемся к нормальным, а значит – родным, Тетеревым.

– Очную ставку! – вдруг ни с того, ни с сего произнес я, видимо, сказались воспоминания о милицейских протоколах.

Мои коллеги с полминуты недоуменно смотрели на меня, а потом дружно согласились. Пригласили супругов, усадили их друг против друга и начали:

– Как же так, товарищ Тетерев. Некрасиво. Можете, а не хотите. К вам супруга ваша всей душой, а вы…

– Почему не хочу? Хочу и могу и…

– Могу у вас скудноватенько выходит. Всего раз в месяц.

–Как, раз в месяц! Да каждую неделю два-три раза! Лида, скажи!

Лида Тетерева помялась-помялась и согласилась:

– Я не против...

– Как это не против?! – воскликнули мы. – А как же календарик? Там же отмечено всего раз в месяц!

– Так это, когда я кончаю. А остальное я не считаю.

Ну что тут скажешь? Три дня убили, чтобы узнать обычную тайну обычных супругов. Слов не было. Лишь Тетушкин Серега сказал:

– Совесть надо иметь, Лида Тетерева. Когда по данным Свядоща и Голосовкера треть жен знать не знают, что такое оргазм, вы тут… Я уже не говорю о тех женщинах, которые лишены брачного или иного партнера… От жира бесишься, Лидка!

– Но ты, доктор! – вскочил со своего места Тетерев. – В морду хочешь?!

На том и расстались. Хорошая семья – Тетеревы, жалобу не накатали.

Глава 4. Характеристики состояния здоровья разводящихся

Одной из основных задач нашего исследования являлось выявление показателей общей заболеваемости среди супругов, вовлеченных в бракоразводный процесс.

Оно, конечно, диагноз «Супружеский развод» трудно отнести только к болезненным нарушениям брачных отношений. Возможно, это болезнь самого общества. Но все равно разводящиеся чаще, чем все обычные больные, толкаются в коридорах больниц и поликлиник. Их не принимают, не понимают, они дважды несчастны, и их не способен утешить даже стоматолог.

И по нашим данным общая заболеваемость среди разводящихся по сравнению с общей заболеваемостью городского населения Казахстана по возрастным и половым группам определяется более высокими показателями. Высокая заболеваемость среди разводящихся супругов поддерживается наличием у них широкой распространенности венерических болезней, хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также высокой распространенностью у женщин гинекологических заболеваний, особенно в бесплодных браках. Отдельной группой следует рассматривать хронический алкоголизм, психопатии и сексопатии, диагностированные в основном при обследовании супругов по ходу нашего исследования. Хронический алкоголизм был выявлен практически у каждого четвертого мужчины, психопатии различной этиологии подвержен каждый третий мужчина и каждая десятая женщина, а сексопатии отмечались у каждого десятого мужчины и у каждой четвертой женщины.

Разводящиеся гораздо оптимистичней оценивают состояние своего здоровья, чем оно есть на самом деле, и легкомысленно относятся к нему. Только 37% мужчин из тех, кто периодически и регулярно обращался за помощью в лечебные учреждения и проходил стационарное лечение, считали себя больными. У женщин этот контингент составил 51,3%. Вообще женщины гораздо вернее оценивали свое состояние: так, среди женщин, которые состояли на диспансерном учете по тому или иному заболеванию, 79,6% считали себя больными, а среди мужчин этой же категории – только 44,5%.

Одной из причин высокой заболеваемости среди разводящихся является распространенная среди них наследственная отягощенность хроническим алкоголизмом. У мужчин такая отягощенность достигла 22,6%, у женщин – 9%. У мужчин-психопатов такая отягощенность в 3 раза выше, чем у психически здоровых мужчин, расторгающих свой брак.

Диспансерный учет не охватывает всех больных разводящихся мужчин, особенно тех, кто страдает хроническим алкоголизмом и психопатиями. Эта категория наиболее неблагополучных разводящихся супругов является практически «беспризорной», больше того: так как алкоголизм и психопатии

взаимно отягощают друг друга и часто проявляются вместе в одном человеке, то именно эта «пара» вызывает необратимые бракоразводные процессы.

Удельный вес хронических соматических заболеваний наиболее высок среди разводящихся – служащих, а по профессиональному и половому признаку – среди разводящихся служащих женщин, затем у разводящихся учащихся женщин. Удельный вес туберкулеза и венерических болезней наиболее высок у разводящихся мужчин-учащихся. Удельный вес алкоголизма и психопатий наиболее высок у рабочих.

Среди хронических соматических заболеваний доминирует группа сердечно-сосудистых болезней, которыми разводящиеся женщины страдают в 2 раза чаще, чем мужчины; это преимущество женщин сохраняется даже среди диспансерных больных сердечно-сосудистой патологии, систематически и регулярно посещающих лечебные учреждения. И хотя общая заболеваемость у женщин, обследованных нами, выше, чем у мужчин, инвалидность же у мужчин по отношению к женщинам выше в 1,9 раза.

Следующая информация о патологии освещает наличие инвалидности у разводящихся (см. табл. № 1).

Количество мужчин-инвалидов в 1,9 раза превышает число женщин-инвалидов, это объясняется тем, что основная масса мужчин трудоспособного возраста в г. Караганде работает на угольных разработках, в шахтах, где отмечается известный уровень профессионального травматизма, а также более высоким уровнем распространенности алкоголизма среди мужчин (Ю. П. Лисицын, Н. Я. Копыт, 1978).

Т а б л и ц а № 1 Инвалидность

	Мужчины	**Женщины**
Инвалиды 1 группы	0,6%	0,5%
Инвалиды 2 группы	1,1%	0,5%
Инвалиды 3 группы	1,4%	0,6%
Не являются инвалидами	96,6%	98,4%
Итого:	100%	100%

Общепонятен факт, что инвалидность одного из супругов отягощает семейную обстановку и не может быть нейтральным явлением в процессе стабилизации брака.

Распространенными причинами инвалидности являются и длительно протекающие тяжелые хронические соматические и психические болезни. Распространенность этих заболеваний показана на таблице № 2.

Т а б л и ц а № 2
Диспансерный учет по поводу
хронических соматических заболеваний

	Мужчины	**Женщины**
Не состоят	86,5%	83,7%
Заболевания сердечно-сосудистой системы	3,4%	6,7%
Заболевания органов дыхания	2,4%	2,1%
Желудочно-кишечные заболевания	4,1%	3,5%
Заболевания выделительной системы	0,9%	1,2%
Туберкулез	1,1%	1,2%
Нервные заболевания	1,6%	1,6%
Итого	100%	100%

Распространенность психических заболеваний, зарегистрированных диспансерными отделениями психиатрических клиник, невысока для психопатий, что выявилось при непосредственном психиатрическом

обследовании разводящихся в момент расторжения брака. Результаты этого обследования, касающиеся распространенности различных форм психопатий, представлены в таблице № 3.

Т а б л и ц а № 3 Характеристика личности

	Мужчины	**Женщины**
Здоровая личность	33,5%	46,0%
Акцентуированная личность	31,1%	42,0%
Психопатическая личность	32,8%	11,0%
Психические больные	2,6%	1,0%
Итого	100%	100%

Перед подробным анализом заболеваемости разводящихся необходимо привести цифры, касающиеся венерических, гинекологических и сексопатических заболеваний.

Все эти заболевания, как правило, особенно в молодых семьях приводят к расторжению брака. Но прежде всего, это следует отнести к венерическим заболеваниям. По нашим данным, из 1000 мужчин 5,9% являлись источниками заболевания в семье, а из 1000 женщин – 2,3%.

Женщины, отметившие своих мужей как сексопатологических больных, составили 25,4%. Подобная оценка занижена, так как каждый четвертый разводящийся мужчина предъявлял сексопатологические жалобы. Из 1000 анкетированных мужчин 9,8% не считали себя полноценными в половом отношении из-за ослабленной эрекции, 7,7% – из-за ускоренного семяизвержения, 3,9% – из-за снижения либидо, 3,8% – из-за отсутствия оргазма.

Безусловно, часть предъявленных мужчинами жалоб при более подробном сексопатологическом обследовании следует отнести к проявлениям сверх-мнительности и псевдоимпотенции, но в целом они свидетельствуют, что в каждой разводящейся семье между супругами была глубокая сексуальная дисгармония.

Высокая заболеваемость среди разводящихся супругов поддерживается наличием у них широкой распространенности венерических заболеваний (8,2%), хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы (5,0%) и заболеваний желудочно-кишечного тракта (3,8%), а также у женщин, особенно распространенностью гинекологических заболеваний, в основном в бесплодных браках (15,7%).

Удельный вес хронических соматических, психических и неэпидемических болезней в различных социальных группах у разводящихся мужчин и женщин по данным анамнестического Е обследования представлен близкими цифрами.

Вызывает интерес тот факт, что у рабочих мужчин наличие в анамнезе венерических заболеваний практически в два раза выше, чем у служащих мужчин, между тем женщины в этих группах имеют близкие показатели. Это объясняется тем, что женщины-служащие гораздо чаще находятся в браке с мужчинами-рабочими, чем мужчины-служащие с женщинами-рабочими. Мужчины-служащие преимущественно вступают в брак с женщинами-служащими. А как общеизвестно, уровень культуры и знаний в области санитарной гигиены в семьях служащих значительно выше, чем в иных.

Особый интерес представляют данные психиатрического обследования разводящихся. Из группы психических заболеваний были выделены для диагностики психопатии и хронический алкоголизм, так как прочность брака у больных шизофренией и маниакально-депрессивным психозом в значительно большей степени определяется по данным Л. М. Шмановой (1977) не самим болезненным состоянием, а общедемографическими закономерностями. Существует некоторая корреляционная связь между выраженностью и частотой невротических расстройств у больных неврозами и жизнью в обстановке систематических конфликтов, заканчивающихся разводами, выявленной Ю. А. Кузнецовым (1974). Однако наибольший интерес в плане разводимости представляют психопатии. По данным Ю. И. Надеждина (1976), в семьях психопатов почти в двух третьих случаев выявлялись систематические конфликты, приводящие к нарушению единства семьи, взаимоотношений между супругами.

По нашим данным, среди супругов, расторгающих свой брак, психопатическими чертами характера обладали 32,8% мужчин и 11% женщин. Впоследствии путем 10% выборки было выяснено, что на диспансерном учете психиатрического городского диспансера из 1000 обследованных нами мужчин только 2%, а среди женщин – вообще не было отмечено диспансерных больных с диагнозом «психопатия». Данные 10% выборки оказались близки к данным о диспансерном учете, полученным
методом интервьюирования.

Все это указывает на практическую медицинскую «беспризорность» супругов, больных различными формами психопатии, выявление которых и

диагностирование не представляют большой сложности, тем более, что у многих психопатов наследственность отягощена наличием у их близких родственников хронического алкоголизма. Такая отягощенность достигает у мужчин 45,5%, а у женщин – 24,4%.

Согласно графикам, особенно среди регулярно посещающих медицинские учреждения разводящихся, много больных, состоящих на диспансерном учете по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. Причем, у женщин этот процент выше и достигает 27,1%, а у мужчин – 24,4%.

Болезни у супругов в кризисных семьях самые разнообразные. Все они в полном тексте у диссертанта классифицированы и убедительно размещены в семнадцати таблицах и прослежены в девяти графиках, *но встречались и такие случаи, что... Одним интересным случаем со мной неожиданно поделился доцент Карабутенко.*

Эту семью я очень хорошо знал. Дело в том, что она сложилась на моих глазах. В год нашего окончания института в соседней области открылся очередной целинный совхоз и в нем на центральной усадьбе построили больничку, куда я и двое моих сокурсников были распределены. Точнее – я, мой сокурсник Костакис Коля и сокурсница Мишина Маша. При больнице был двухкомнатный домик, где нас поселили. Маше дали одну комнату, нам с Колей – вторую. Кухня и сортир в дальнем углу двора предполагались как общие пространства.

В студенческие годы я мало знался с ними. Костакис был парнем замкнутым на себе, а Маша, в отличие от нас, лечебников, заканчивала педиатрический факультет. Кажется, я ее и не видел в институте. Однако сжились мы славно. Коллеги мои оказались по своему темпераменту флегматиками, а, как известно, это самые уживчивые люди: не любопытные, не завистливые и никаких эмоциональных всплесков ни при каких ситуациях. Что еще надо от таких сожителей! И так, без единого конфликта, без недоразумений мы прожили вместе целый год. Как-то сразу сложилось, что Маша стала готовить для всех, у нас организовался какой-то совместный бюджет, только стирали мы отдельно. Правда, с самого начала я, как человек динамичный и даже с некоторой склонностью к рискованным приключениям, стал часто исчезать из дома, а иногда – по неделям, виделся с Колей и Машей только на работе. Но за них я был совершенно спокоен. Я твердо знал, что они сидят или лежат раздельно по своим комнатам, нисколько не тяготясь своим одиночеством. Жители же совхоза через полгодика, в отличие от меня, решили, что они живут вместе, без особых каких-то догадок и сплетен. Логика, видимо, здесь была проста, парень и девушка, молодые специалисты, под одной крышей одни, никем больше не интересуются, между собой

приветливы и ухаживаний друг за дружкой нет – значит, уже давно живут вместе.

Мне такие гипотезы даже в голову не приходили, и всю неловкость той ситуации, в которую они попали, я понял, когда однажды Маша, из городской интеллигентной семьи, спросила меня, что означают фразы санитарки, обращенные к ней: «А ваш-то скоро придет?» «Своего-то корми сладче, все покладистей будет». Я, признаться, и сам не сразу сообразил, что к чему, но потом похохотал от души. А Маша и не заплакала, и не засмеялась. Долго думала, а потом сказала:

– Святой дух ими, конечно, не предполагается.

– Ты о ком? – не понял я, но врач Мишина перевела разговор на больничные темы.

Я вечером передал эту пикантную историю Костакису. Он тоже погрузился в долгие размышления (флегматики, надо знать, не в состоянии жить без философских раздумий) и уже ночью, когда я почти заснул, изрек:

– Пожалуй, она имела в виду беспорочное зачатие.

– Кто?! – встрепенулся я, потому что в ту неделю одна совхозная баба буквально задолбала меня требованиями сделать ей аборт на пятом месяце беременности.

– Маша, – ответил он.

– О, господи, – произнес я, окончательно очнувшись от полусна. – При чем здесь Маша?

В ответ Коля грустно так вздохнул и сказал:

– Но она мне совершенно не нравится... толстая и вообще... это не реально. Такие, как я, не женятся. Таких, как я, женщины сами приходят и берут, как берут в продмаге приглянувшийся им каравай. Но, скажу, если таких, как я, держать в чистоте и тепле, то мы становимся неплохими супругами...

Он, наверное, еще долго говорил на эту тему, но я заснул, потому что прямо с утра собирался ехать в город, чтобы совершить еще одну узаконенную попытку вырваться из этой целины.

Мои хлопоты – освободиться от обязательной трехгодичной отработки – не увенчались успехом, но я все равно сбежал в город, и будучи не в состоянии найти работу через Министерство здравоохранения, устроился преподавать медицину.

Колю и Машу я встретил, когда они все-таки вернулись домой, уже женатыми. По иронии судьбы мы получили лет так через десять квартиры в одном доме и на одной лестничной площадке. Признаюсь, у меня не было никакого желания тесно общаться с ними, но они оба к этому времени были довольно тяжело больными людьми. Колю мучила гипертоническая болезнь, и Маша звала меня сделать мужу внутривенный укол. Сама она почему-то отказывалась колоть его. Как ни странно, после ее инъекций место укола у Коли воспалялось, и были даже случаи возникновения гнойного процесса,

правда, локализованного. К счастью, мне приходилось выполнять миссию медсестры не каждый день. В месяц так раза четыре, пять.

И хотя мы были все-таки давними приятелями, Костакисы чувствовали неловкость за то, что им приходилось беспокоить меня, и время от времени буквально затаскивали к себе на бутылочку коньяка. Точнее, сам Коля принуждал меня к пьянству за его столом. Но если честно, я не всегда отчаянно сопротивлялся. Надо же иногда расслабляться от перипетий этой гнусной жизни.

В квартире у них всегда было тихо. Маша двигалась плавно и старалась не заходить в комнату мужа, а дочка все больше сидела где-то невидимая и неслышимая, наверное, с книжкой.

Сам Коля пил мало по причине ущербности своего здоровья, максимум позволял себе за все наше застолье – рюмочку, зато любил всласть пофилософствовать. Это был его час. Костакисы были достаточно нелюдимы в общении и редко кого видели в своем доме, кроме меня. Не скажу, что разглагольствования под коньячок Коли мне были в тягость, нет, в большинстве своем, они являли собой плод оригинальных, ну, по крайней мере, не тривиальных мыслей.

– Мне грозят инвалидностью, – говорил он. – Но я совершенно не признаю себя больным человеком. По моему разумению, и ты с этим можешь не согласиться и даже оспорить мои слова в силу того, что ты сам эскулап, но здоровье не определяется теми ощущениями, которые человек испытывает. Для определения этого есть вполне конкретный термин – самочувствие. Здоровье же – гораздо более глубокое, фундаментальное состояние живого организма. И определить, нарушено ли оно, можно только после диагностирования нарушений генетического кода организма. Я, как видишь, не мутант, гипертония не истекает из каких-то генетических нарушений, значит, я здоров. Доказательством этому служит и то, что мой ребенок не имеет никаких генетических нарушений. Конечно, ты вправе спросить: а как же моя гипертоническая болезнь, взламывающая мой затылок и парализующая все, что должно двигаться или вставать у меня?

– Вот именно, – говорю я под коньячок и срезанную дольку лимона.

– Ответ предельно прост. Парадоксально, но факт. Человеческий организм может быть идеально отлаженным, но в то же время его владелец испытывает и боли, и страхи. Да тебе ли рассказывать: сотни примеров, когда пациент с совершенно здоровым желудком мучается классическими симптомами язвенной болезни. И это не симуляция. Такие лечатся у нас годами, если не всю жизнь.

– Ну это, Коленька, психика, всякая там, ятрогения или внушение... В общем, малая психиатрия.

– А случаи, когда есть больные с полностью гнилыми органами, но чувствующие себя вполне здоровыми? Никаких жалоб ни себе, ни врачам? Так что здоровье и самочувствие – все-таки звенья одной цепи, но звенья различные. Между ними есть и еще одно звено. Но не будем о больных. Возьмем себя. Как мы судим о своем здоровье? По очень примитивной схеме, ложной, насквозь придуманной и относительной. Мы судим о своем здоровье по тому чувству комфорта, которое в данный момент каждый из нас испытывает. Или – дискомфорта. Представим, что я по той или иной причине испытываю постоянный психический дискомфорт, он вызывает у меня частое повышение давления, которое порождает во мне уже и физиологический дискомфорт. Все это называется гипертонической болезнью второй степени. Вот и все. Здоровье моего организма здесь ни при чем, не оно вызывает мое плохое самочувствие, а какие-то причины в моей жизни, которые провоцируют психический дискомфорт моего «Я».

– О каких причинах ты говоришь? Побойся бога. У тебя-то тут все в порядке. Жена спокойная, верная, чистюля, дочь умница, на работе ты никого не трогаешь и тебя никто не задевает, а, значит, все складывается так, как нужно. О квартире и цветном телеящике я уже не говорю. Сиди, смотри программу «Время» да посапывай себе в удовольствие, – признаюсь, он порядочно меня разозлил и его местоимение «Я», которое он выделил в своей последней фразе, прошло мимо моего внимания.

Но к этому «Я» он вернулся опять.

– Не знаю, не знаю... Конечно, фрейдизм – это антинаучно, противоречит нашим коммунистическим убеждениям, но что-то в этом подсознательном есть. Ну, давай снова пройдем по кольцу, связывающему физиологический и психологический комфорты. Так, с социальным комфортом у меня в порядке, с трудовым тоже, с брачным, пищевым, санитарно-бытовым опять же о'кей. Но почему я твердо знаю, что я человек здоровый, но больной?!

Последнее слово он выкрикнул. Тотчас в комнату заглянула Маша в длинном халате и, оглядев нас, спросила:

– Что-нибудь еще нужно?

– Нет, нет, – ответил ей Коля, и она ушла спать.

Мой приятель тяжело взглянул на дверь, за которой скрылась его жена, и с нешуточной угрозой вдруг сказал, думаю, больше себе, нежели мне:

– Я ее когда-нибудь убью.

К этой минуте я был уже солидно пьян и не обратил никакого внимания на эту его реплику. Да и вообще, есть ли у кого приятель или Друг, кто бы хоть однажды не грозился ушибить насмерть свою супругу?

Где-то через год пятнадцатилетняя дочь Костакисов победила на республиканской математической олимпиаде, и ученые из Академгородка Новосибирска так крепко в нее вцепились, что – не отправить ее туда стало совершенно невозможным. Какие же любящие родители не желают своему

дитяти блестящего будущего, да и девочка очень хотела учиться в специальной математической школе, а, может быть, просто ей собственный дом надоел. Подростки ведь тоже люди, и чувства, говорят, у них обострены поболее, чем у нас, дядек и теток.

Как бы там ни было, пришло время везти девочку в дальние края, но Коля в очередной раз слег с гипертоническим кризом, и, умоляя присмотреть меня за ним, Маша вынуждена была поехать сама. Это, кажется, был первый случай, когда они расстались надолго, больше, чем на неделю. Как любящая жена, Маша никогда не оставляла хворающего мужа одного. И на курортах они были вместе, и на курсах усовершенствования в столичных городах.

Для начала я договорился и вызвал Коле на дом опытную, с большим стажем медсестру, рассчитывая все же уговорить его лечь хотя бы на этот раз в больницу. Но в тот же день прилетел зам. министра и увез меня вместе со своей свитой инспектировать сельские больницы.

Вернулся я через три дня, вхожу в свой подъезд весь пыльный и раздраженный от тряски в машине и бесконечных застолий у власть предержащих в районах, смотрю, сверху по лестнице вниз сбегает Коля!

– Ты что? Ты почему встал?! – завопил я.

– Спокойно, старик! – ответил он. – Вечером зайду, – и побежал дальше вниз, сверкнул мне на прощание своей лысиной на макушке.

Тогда он ко мне не зашел, и дома у него никого не было, наверное, всю ночь. Я хотел было обзвонить больницы и морг, а затем плюнул: что я ему нянька, что ли?! К счастью, через день вернулась Маша и вместе с ней все встало на круги своя.

Как-то после этих дней я увидел на одной из центральных улиц нашего города смешную сцену. Две цыганки заговаривали интеллигентного на вид мужчину. Интеллигентность была заметна издалека, а, проходя достаточно близко мимо него, я увидел у этого «профессора» глупое бабье лицо и, наверное, поэтому не сразу узнал в нем Костакиса.

– Коля! – окликнул я его.

Он посмотрел на меня невидящими глазами, и гадальщицы, быстро протараторив еще парочку фраз, разом отошли от него. Я подошел к нему. Коля, наконец, признал меня и взволнованно спросил, протягивая к моему носу раскрытую ладонь:

– Слушай, что ты можешь сказать по моим линиям?

Я взглянул на его руку и ответил:

– Только то, что на этом пальце у тебя всегда было обручальное кольцо. Где оно?

Коля спохватился, принялся вертеть головой в разные стороны, бормоча при этом:

– Кажется, у них... Да, да, они мне и по кольцу гадали... Я увидел цыганок на противоположной стороне улицы и крикнул:

– Вот они! Уходят! Давай скорее за ними!'

Но он медлил и никак не хотел заражаться тем азартом погони, которым я, человек в этой истории посторонний, отчего-то пламенно вспыхнул желанием наказать обманщиц. Он мялся, мялся, не желая идти за мной, а потом, прямо-таки вкопавшись в асфальт, заявил:

– А ну их, черт с ним, с этим кольцом!

И я тоже решил: «Черт с этим твоим кольцом!» А через день он ушел из дома. Об этом мне спокойно сказала Маша, встретившись после работы со мной на нашей лестничной площадке.

– Да он же совершенно больной человек! – воскликнул я встревоженно. – Да он с ума сошел!

Маша мне ничего не ответила, даже больше, на ее лице не дрогнула ни одна черточка. И я подумал, если так, то к чему мне так рьяно вмешиваться в дела моих соседей, тем более, в интимные, семейные.

Костакиса я встретил на каком-то облздравовском совещании. Выглядел он на удивление прекрасно. Оказалось, что Коля, не взяв с собой ни одной вещички из своей с Машей квартиры, припеваючи живет сейчас со своими совсем уже старенькими родителями.

– Что ж ты так, старик, – укорил я его по инерции. – Ты же сам считал разводы глупейшим занятием, все одно, что шило на мыло менять.

В ответ он расхохотался да так, что все оглянулись на нас, а председательствующий постучал карандашом по микрофону.

После совещания Коля остановил меня и затащил пообедать в ресторан:

– Тебе – от хворости – бутылочка коньячка. Заметь, последняя, – и так наравне со мной принялся вытягивать рюмочки, что я поверил, точно – последняя. Пожалуй, теперь он никогда больше не обратится ко мне или к кому-нибудь другому с просьбой поколоть его магнезией.

– Знаешь, что мне сказали те цыганки? – весело сверкая глазами, рассказывал он. – Со смеха помрешь. Они сказали мне, что меня ждет скорая смерть в моем собственном доме.

– Бред, – ответил я. – Я вас с Машей знаю, старик, столько...

– Между тем, все верно. Я бы точно там сдох. Нет, нет, Машу я не виню, наверное, мне просто заведомо был противопоказан брак и семейный очаг. Ну, не знаю, чем это объяснить. Главное – я сейчас совершенно и теперь без всяких оговорок здоров. Как только вернулся к маме, отпустило! Никаких кризисов, давление в норме и днем, и ночью! Вот так. А я им мучился пятнадцать лет... – добавил он уже с грустью, – как только женился. Бывает же такое. Но, смотри, никому ни слова. Не хочется, чтобы о Маше кто-нибудь подумал плохо. Я тут всем вру, что она меня выгнала... ну, там намекаю, что я где-то, там, путался... и поймался, – затем крикнул официантке. – Девушка, рассчитайте нас. Мне пора на мой диван.

Официантка восприняла его упоминание о диване во фривольном смысле.

– Не хамите! – возмутилась она. – Нажрутся, покоя нет.

Но Коля в ответ только рассмеялся, при этом еще и извиняясь бог знает за что.

Есть еще интересный поворот. С тех пор, как ушел от нее Коля, Маша, кажется, избавилась от всех своих женских заболеваний. По крайней мере, она перестала покупать дефицитные препараты в аптеке у моей жены, которые раньше покупала буквально мешками.

Информация, которая переливается в наши мозги из газет, радио и телевизоров, иногда бывает к месту. Где-то я вычитал или слышал, что в нашем пестром мире встречается аллергия не только на запахи или пищу, но и на конкретных людей. Такого нам в наших институтах не преподавали и вообще это противоречит принципам нашего гуманизма. Но вот я думаю о Коле Костакисе. А вдруг? А вдруг его добрая, спокойная, чистоплотная жена вызывала в нем аллергическую реакцию, проявлявшуюся повышением кровяного давления? Может быть, может быть, чем черт не шутит. Я думаю, что сам Коля даже не подозревал об этом, а Маша могла догадываться. Как-то раз она, угощая меня чайком после того, как я купировал внутривенной инъекцией очередной гипертонический криз у ее мужа, сказала:

– У нас в восьмом классе мальчишки взяли манеру вроде как бить девчонок по спине. Это они так проверяли, кто уже носит бюстгальтеры. Тогда у нас в классе учился один гнусный человечек – Муха, чем-то всегда скверно пахнувший. Вот как-то он сунул свою ладонь между моих лопаток, и у меня по спине пошел страшный зуд. Кожу на ней словно ошпарили. Я тогда целую неделю не могла ходить в школу.

– К чему это ты? – спросил я тогда.

– Нет, просто так, – и предложила еще чайку. – Вот так, коллега.

Естественным являлось мнение супругов, относящих сексуальную жизнь в супружестве к одному из важных условий совместной жизни. Эту точку зрения высказали большинство, как мужчин, так и женщин. Оценка сексуальной жизни, как несущественной, не является нормой супружеского поведения, однако она менее опасна для целостного брака, нежели занимающая у мужчин второе место оценка сексуальной жизни, как основополагающей. Особенно чревата конфликтами ситуация, когда первая оценка совпадает в одной семье с третьей оценкой, когда половую жизнь считают несущественной. Тем более, что возникший на сексуальной почве конфликт не всегда выносится на обсуждение и тем самым не разрешается положительно, продолжая усугублять взаимоотношения между ними. Супруги, не обсуждавшие вопросов о своей половой жизни между собой, составили внушительную цифру – 40,4%. Эта, без всякого сомнения, ханжеская позиция не может способствовать стабилизации брака.

По мнению анкетированных супругов, жены у 35,8% уклоняются от половой близости с ними, 54,0% не уклоняются от полового акта и лишь 10,2% жен проявляют желание и инициативу. Из 27% из общего числа анкетированных женщин половой акт с мужем в тягость и вызывает отвращение, для 52,1% безразличен и не противен и 20% из них получают удовольствие и испытывают влечение к мужу.

Эти данные вскрывают не только распространенную сексуальную антипатию между разводящимися супругами, но и глубокую психологическую неприязнь друг к другу, так как сексуальность женщины к мужчине исходит из любви, или хотя бы из чувства уважения к мужу.

У более чем половины семей сексуальные контакты зиждутся на лишенном окраски фоне, и отсюда ясно, что не выступают ни как положительные, ни как отрицательные знаки в деле разрешения брачного конфликта, приведшего супругов к разводу.

Для каждой третьей женщины в силу того, что половые контакты с мужем противны, в тягость и вызывают отвращение, продолжение совместной супружеской жизни делается невозможным. Поэтому именно в этих семьях сексуальная дисгармония является существенной причиной, а часто – первопричиной развода.

По нашим данным, разводящиеся супруги имели следующую интенсивность половой жизни: мужчины, вступавшие в половую связь с женой не чаще одного раза в месяц, что соответствует низкой интенсивности, составили 29,6%, мужчины, вступавшие в половую связь с женой один-два раза в неделю и чаще, что соответствует высокой и средней интенсивности, составили 70,4%.

Объем диссертации позволяет продемонстрировать еще десятка три различных вывода по изученным диссертантом сексуальным взаимоотношениям разводящихся супругов. Они интересны сами по себе. Особенно интеллигентная публика любит рассматривать разнообразные таблицы и графики, что без сомнения позволяет им чувствовать свою приобщенность к науке, но...

Как часто гладкие научные выводы того или иного исследования человеческой жизни далеки от конкретной жизненной истории. Возьмем, к примеру, достаточно претенциозное определение диссертантом сексопатологии как науки и рядовой клинический случай.

П. Б. Посвянский (1967) считает, что сексопатология составляет главы различных медицинских специальностей, определяет ее как медицинскую науку, изучающую клинику, этиологию, патогенез, профилактику и лечение половых расстройств у мужчин и женщин.

Г. С. Васильченко (1970) выделяет сексопатологию как самостоятельную клиническую дисциплину и определяет ее как раздел клинической медицины,

изучающий половые расстройства с целью научного обоснования их диагностики, лечения и профилактики.

Как в первом, так и во втором определении основную роль для авторов играет принцип мономности заболевания человека, и они распространяют его на его сексуальную сферу, где действует физиологический механизм биномности. Половые расстройства – это, пожалуй, единственные виды патологии у человека, где для их проявления констатации и диагностики важно не столько само состояние организма больного, сколько наличие и результат его сексуальных контактов или попыток контактов с лицом противоположного пола. Подтверждением этой мысли может в какой-то степени служить физиология вкусовых сосочков языка. Нельзя определить нарушение вкуса у человека, если он никогда не ел пищи с определенными вкусовыми качествами. А как возможно определение импотенции у мужчины, который жалуется на нее и который никогда в своей жизни не пытался вступить в половую связь с женщиной? Вот почему нам представляется, что только принцип биномности может служить базисом для определения тех или иных половых расстройств у человека. В самом же принципе биномности сексуальности человека заложен, без всякого сомнения, закон сохранения вида.

В нашем понимании сексопатология есть медицинская наука, изучающая с целью диагностики, лечения и профилактики патологические отклонения биомеханизмов закона сохранения вида, условно-деформированного психическими и социальными наслоениями и проявляющегося в жизнедеятельности человеческого организма с ауто- или гетероэротической направленностью.

Платформа сексуальности человека – биологический закон сохранения вида проявляется: первично в физиологии различных морфофункциональных систем, включая и кору головного мозга, вторично – в атмосфере социальной среды, пишет И. 3. Вельвовский (1967).

Социальная среда особенно активно влияет на аутоэротизм, под которым мы рассматриваем различные вариации от естественного комплекса гигиенических, психических и дисциплинарных установок личности с целью фиксации на себе эротического внимания, до нарциссизма. Эти установки зависимо связаны с существующим общественным институтом, различным от страны и политико-религиозного строя. Примером являются и элементы моды.

Гетероэротизм рассматривается нами только как влечение субъекта одного пола к субъекту противоположного пола. Гомосексуализм, в нашем понимании не имеет никакого отношения ни к сексологии, ни к сексопатологии, так как влечение к лицу своего пола противоречит закону сохранения вида, и эти патологии полностью относятся к психиатрии или к генным дефектам.

В определении сексопатологии как науки нам важно было подчеркнуть условно-деформированность у человека закона сохранения вида, так как это

снимает множество различных вопросов, связанных с сексуальной жизнью и не имеющих принципиального значения.

Примером условной деформации закона сохранения вида может служить основной парадокс феномена преждевременной эякуляции, отмеченный Г. С. Васильченко (1969). Преждевременная эякуляция по сути дела, если учесть основную направленность ее физиологии, есть не что иное, как проявление гиперфункциональное, способствующее животным наиболее быстро и с наименьшей затратой энергии произвести совокупление в условиях естественного отбора и меж-видовой борьбы.

Становление сексуальных контактов в человеческом обществе по мере нарастания факторов цивилизации между конкретным мужчиной и конкретной женщиной превращается постепенно в устойчивое явление с продолжительностью во много лет. Возникает институт супружества, охраняемый законами общества, а также и преимуществами личного жилища семьи. В таких условиях преждевременная эякуляция семени у мужчины во время полового акта с женщиной теряет свои положительные черты, сильные в животном мире. Способность к достаточно длительному половому акту у мужской особи в человеческом обществе воспринимается уже не как ослабленное звено в процессе сохранения вида, а как сильное, причем, это преимущество носит только эмоциональный характер, не отражающийся собственно на механизме зачатия ребенка, на природной цели полового акта.

Все расширяющаяся эмоциональная чувствительность в социально и экономически прогрессирующим человеческом сообществе в дальнейшем выводит половой акт из рамок чисто прагматических установок продолжить свой род и накладывает на него и силу доказательства привязанности определенного мужчины к выбранной им женщине. Половая жизнь у человека перестает быть сезонной случкой, как у животных, а начинает проявляться как элемент общечеловеческой культуры.

И. К-ва, 58 лет. Замужем с 23 лет. Через полтора года после замужества (вскоре после родов) впервые испытала оргазм. С 24 лет до 39 лет – 50% оргазмичности (бледный однократный оргазм), полностью удовлетворена половой жизнью. С 39 лет, после аборта с осложнениями, акт стал безразличным, оргазмичность снизилась до 10%, притупились и все другие сексуальные ощущения. В 56 лет после надвлагалищной ампутации матки с придатками либидо усилилось, участились эротические сновидения, оргазм стал повторным, ярким. А еще через полгода либидо усилилось резко, стала испытывать влечение к посторонним мужчинам. Оргазм временами повторный (в этих случаях после нескольких оргазмов удовлетворение наступает), или, в периоды ухудшения состояния, сопровождающиеся обострениями влечения, принимает волнообразный характер, интенсивный, «до бешенства», длится до двух часов. В наблюдении она записана как И. К-ва,

мы же назовем ее просто теткой. Это вполне прилично, если вспомнить ее возраст, когда она попала под наблюдение сексопатологов.

У тетки была самая обычная семья. Муж, двое взрослых детей, один внук десяти лет. О муже почти ничего не известно, кроме разве того, что он страдает сильной близорукостью, однако тело ежедневным бегом трусцой содержал в мобильной сухощавости. Он участвует во всевозможных массовых забегах, но бежит всегда в середочке бегунов-любителей, хотя мог бы и не раз прийти к финишу, если не первым, то уж в первой десятке точно.

Любил ли он жену? Наверное. Кстати, о любви. Половой жизни с женой он никогда не придавал никакого значения, отчасти потому, что и у нее, и у него всегда было так, как надо, без всяких там штучек-дрючек, отчасти – из-за небогатой фантазии, позволявшей ему утверждать, к примеру, что в книгах все врут. При этом он был добр, порядочен, сам никогда не лгал и не терпел ничьей лжи. Когда у жены под старость лет начались эти самые чересчур охи-вздохи в постели, то он решил, что она все это делает ему назло, чтобы не дать ему выспаться к ранней утренней часовой пробежке, к которой она всегда относилась с иронией. Он все это тут же выложил жене и перебрался спать на диван, в гостиную (квартира у них была трехкомнатная, и с ними жил только сын-холостяк, тоже любитель скорости, но автомобильной. Кроме машины для гонок, он ничем больше не интересовался).

Все случилось после двадцать третьей совместно прожитой зимы. Тетка просто взбесилась и все ночи напролет только и занималась тем, что штурмовала диван мужа. Стали ссориться. Сын стучал в стену и кричал: «Ну, тише вы там! Спать дайте!» В апреле совсем пришлось ей худо. Она была уже на пенсии, можно было бы с вязанием вообще не выбираться на свет, но улица, пусть с черным, но все равно со слезливо-дерзко тающим и тающим снегом принялась манить ее до безумия. К тому же, внуку надо было обязательно купить кроссовки, все мальчики их носят, естественно, те, кому их достали родители. Она давно не выезжала в центр. Весеннее солнце било в окна автобуса, салон его еще топился, и люди в нем несколько взмокли. Муж ее вставал под душ не реже двух раз в сутки, сына тоже приучил, а тут в нос ей ударил едкий запах сразу нескольких мужчин. Раньше она бы недовольно поморщилась, но сейчас это все густеющее амбре ввергло ее в растерянность и взволновало до пульса в висках. Закружилась голова, кто-то заметил, что тетке плохо, и усадил ее на свое место. В таком полубессознательном состоянии она доехала до магазина «Детский мир» и, если бы эта остановка не оказалась конечной, то ей бы не добраться в тот день до своей цели. Выходя из автобуса через переднюю дверь, она старалась не смотреть на водителя, который вонял подмышками в метре от нее особенно цепко. Ехала она в магазин наудачу и надо же: как только она подошла к обувному отделу, «выкинули» на полки те самые нужные импортные детские кроссовки. Бог знает, откуда в полу-пустой части этого «детского» мира вдруг завертелось,

забилось, загорланило столько народу! Наверное, человек двести. Тетке казалось, что вот она протянет руку и сразу схватит нужную ей обувь, но почему-то она оказалась где-то в середине плотной очереди. И пробиться вперед не представлялось никакой возможности. И она, скрепя сердце, принялась ее выстаивать. До заветной кассы оставалось всего-то с десяток покупателей, как мимо нее принялся прогуливаться какой-то мужик. Он осмотрел всех пристальным, оценивающим взглядом, а затем стал подмигивать тетке. И ее прямо-таки кинуло на него в самом чистом любовном жаре. Она понимала краешком разума, что мужик желает подсунуть появившуюся в его кулаке десятку на кроссовки, и готова была уже пойти против своих устоявшихся в многолетних очередях принципов, потому что за этой ее нечестной сделкой могло последовать «спасибо» с его стороны, какая-то беседа, а там, смотришь...

Но самые пламенные бойцы за советский дефицит бурно заволновались и те заорали без всякой нотки компромисса, что, ежели, ты возьмешь и на этого пройдоху, то мы и тебя вмиг выкинем из наших рядов. Конечно, можно было бы рискнуть, ее, естественно, отбросили бы со скандалом в сторону от прилавка, но тогда бы могло состояться знакомство, все-таки она пострадала бы из-за него, но внуку до отчаянья нужны были кроссовки и именно такие. Тетка отвернулась, уперлась руками в прилавок, потому что задрожавшие ноги ее уже почти не держали, и выстояла. Выйдя из магазина с вожделенными проклятыми кроссовками, мужика она не увидела, чуть сникла и вдруг почувствовала на холодке, что трусы на ней чересчур увлажнились. И так ей стало неприятно, такой мерзкой старухой она почувствовала себя, что даже слезы выступили на глазах. Было горько на душе, и только мысль о том, как обрадуется ее внук, сдвинула ее с места.

В автобусе она села к окну, и тут же рядом с ней плюхнулся полноватый очкарик лет пятидесяти. Лицо он имел вполне интеллигентное, если бы не шапка-ушанка на голове, которую не надел бы и последний колхозный скотник. Вначале тетка не обратила никакого внимания на него и, все думая о внуке, о его ранних замашках на модную одежду и, конечно же, о денежных затратах на все эти вещи, вынула из сумки кроссовки и принялась строго их рассматривать, пытаясь понять, что в них такое манящее для подростков заключено. Очкарик тоже обратил свое внимание на кроссовки и заговорил с ней. Голос у него оказался мягким, чуть воркующим и в то же время определял его как человека крепкого. Поговорили о нынешней молодежи, вспомнили, как сами танцевали на танцплощадках с одной лампой на телеграфном столбе в послевоенных хилых парках и ни о какой там моде не пеклись. Между воспоминаниями о своей юности очкарик подкинул тетке парочку комплиментов, вроде, якобы, не поверил, что она может помнить те танц-площадки, уж слишком молодо, мол, вы выглядите. И после этого тетка просто потеряла голову. Если бы он предложил ей сейчас выйти и отдаться

ему под первым же кустом, она, не задумываясь, согласилась бы. Где-то даже она принялась прижиматься к нему своим отяжелевшим задом, еще чуть-чуть и влезла бы ему на колени, хотя никогда в жизни ни у кого, даже у мужа, на коленях не сидела и всегда относила такое поведение только к образу жизни вечно пьяных шлюх. Очкарик не отодвинулся от нее и только спросил:

– И все же, где вы купили эти тапочки? Моей дочурке тоже надо и как раз такой размер. Ножка у нее маленькая, как у Золушки, – и рассмеялся.

– Ну если надо, – с восторгом проговорила тетка, – тогда возьмите эти.

– Ну, что вы!

– Это для меня не проблема. Сегодня же еще возьму, – заверила его тетка и сделала лицо, какое бывает только у всемогущих и деловых заведующих всяких торговых баз.

Очкарик помялся и, взяв из ее рук кроссовки, сунул их в свою авоську:

– А сколько я вам должен?

– Ну, что ты!.. Это пустяки, – возразила тетка и уж совершенно кокетливо разулыбалась.

– Нет, нет, возьмите, – ответил очкарик, встал с сиденья и, вынув из брючного кармана трояк, сунул его в руку тетке, а затем, с самым почтительным и благородным видом кивнув ей, быстро пошел к двери и вышел из автобуса.

Тетка приподнялась вслед за ним, но смогла только увидеть его скотскую шапку-ушанку, исчезнувшую за углом первого же дома. Прошла неделя. Тетка ничего уже не могла с собой поделать: ее тянуло к мужикам. Ко всем, без разницы, тут не играли никакой роли ни рост, ни возраст, ни национальность. Конечно, она понимала, что погибает, но это было не просто желание, а какой-то животный пункт – так бы это она все объяснила, будь у нее образование на уровне поэтессы Риммы Роль, печатавшей свои стихи о любви каждый последний четверг месяца в областной газете.

Первый открытый конфликт с теми, кто ее окружал, произошел из-за соседа. Этот подполковник в отставке любил грубый юморок и как всегда по-свойски, по-фронтовому был готов поприжать кого-нибудь из знакомых женщин. Но когда его вдруг прижала к теплой стене сама тетка, до этого не обращавшая на подполковника никакого внимания (да и вообще никто всерьез не принимал во внимание его доморощенное гусарство), то он тут же кинулся к жене, в это время лечившей свой желчный пузырь в городской больнице, и забился под юбку. Трудно представить, какой разнос устроила явившаяся на такси из больницы подполковничиха, она прямо-таки утопила тетку в своей еще ненормализовавшейся желчи. Супруг тетки обозвал жену дурой, хотел было побить, но не смог по доброте своей натуры и перестал с соседом подполковником здороваться. В тот день тетка окончательно поняла, что все происходящее с ней – далеко не любовная жажда и не старческая придурь, а

беда. И с сознанием этой беды она еще раз попыталась объясниться с мужем, но так как ее словарный запас, как мы уже узнали, не предполагал тонких, абстрагированных понятий и, как ни крути, ее беда, сколько бы она ни повторяла «беда со мной случилась, беда», все равно была связана с ее срамным местом, супруг выслушал ее лишь вполслуха и самым твердым образом предупредил:

– Ты вот что! Кончай беситься, а то будет тебе беда!

И хотя толку от разговора с мужем не было никакого, все же одно его словечко врезалось в память. Тетка все вертела в своих мыслях «беситься, беситься...» и, в конце концов, вычислила: беда ее в том, что бес ее попутал.

Как любой неверующий человек, она, в детстве пионерка и в девичестве комсомолка, трудно представляла себе этого беса. В основном, в образе парнокопытного рогатого существа с пятачком кабанчика, но наличие хвоста у этого типа и те позы, в которых его обычно рисовали в журнале «Крокодил», придавали ему заметную долю развязности и бесстыдства, и тетка где-то в глубине души своей поверила в возможности его шашней. И в .ближайшую субботу отправилась в церковь, благо этот храм был ей знаком наличием у самой его паперти базара. Добравшись до ворот с крестом, она, не смущаясь, прошла мимо мужиков, тянувших пиво у грязного ларька, и вступила в церковный двор. Он ей сразу понравился. На душе сразу стало спокойней и радостней. Вот она, защита, решила тетка и как умела перекрестилась на невысокие крашенные золотой краской купола. Степенно, как могла, и с приятным трепетом она вошла в храм, встала вместе с другими женщинами в платках перед иконостасом, но помолиться не сумела. Слова не складывались, а молитв она никаких не знала. Зато она заметила, что некоторые подходят к попу и целуют ему руку. Она тоже подобралась к святому отцу, но поскольку поп был мужчиной в самом соку и пах хорошим одеколоном, то все в ней затрепетало, и в голове снова замелькали картинки, которые зовутся порнографическими. И она в тоске побежала из церкви и заплакала. От попытки спастись под перстами Христа тетка кинулась в другую крайность – решила, что, коли ее тянет к этим делам, как говорили ее бывшие сослуживцы, значит, и бабий век ее не окончен, чуток разврата, мол, для бабы все одно, как футбол для мужика. И на первом ее порыве, и на втором была густо замешана ложь, но она этого не понимала.

Тетка в свои пятьдесят восемь лет была еще ничего собой, не худа, но и не расплылась квашней, а губы ее за последние полгода прямо-таки расцвели алым цветом. Она подкрасила редкую седину хной, наложила как умела грим, больше на морщинах под глазами и отправилась по ресторанам, где в полумраке и в табачном дыму ее вполне можно было с метра-двух принять за даму под пятьдесят. У молодежи она, конечно, не пользовалась никаким вниманием, нынче они, деловые, таскаются со школьницами, а вот командировочные из областей ее кое-когда таскали в свои номера. Однажды ее завел в номер даже

какой-то провинциальный артист, но к нему тут же зашел сосед с бутылкой, и начали они травить анекдоты:

– ... утром проснулся в похмелье, смотрит на нее и с ужасом говорит: «Эй, тебе сколько лет?!» Она так кокетливо: «А сколько ты мне дашь?!» «Да ну тебя... Так долго не живут!» Ха-ха-ха... Слушай, а эта чего делает тут? Давай, бабка, вали отсюда.

Как ни пыталась она остаться, артист с дружком выперли ее в гостиничный коридор, и там, на темной лестничной площадке, ее поймали две проститутки. Девки изрядно побили и исцарапали ее и пригрозили, что, если она еще раз заявится сюда и будет сбивать им ставки, то они просто-напросто изуродуют ее. Били и ногами. Вернувшись домой, тетка выпила все таблетки, которые были в их домашней аптечке, начиная от тетрациклина до седуксена. К утру ее так выворачивало, что даже сын проснулся от ее стонов. Муж трусцой сбегал за «скорой помощью» и, промыв ей желудок, врачи отвезли ее в больницу.

Пролежав в клинике неделю, она, вновь сильно поседевшая, вернулась в семью, которая уже чуть попривыкла жить без нее – жены и матери. К мужу теперь тетка не приставала, из дома не выходила, но еще яростней возилась и днем, и ночью без сна одна в своей постели. Теперь она уже никак не осмысливала и не оценивала свои страдания и мерзкие грезы. Тетка жила в небольшом квартале двухэтажных домов постройки середины пятидесятых годов, и этот когда-то загородный поселок отапливался до сих пор кочегаркой, находившейся прямо напротив. С некоторого времени там работал кочегаром полуспившийся мужик, но всегда с чисто выбритым лицом. К концу апреля работы у него поубавилось, и теперь он частенько сидел на солнышке на выброшенном кем-то колченогом стуле у проеденной топкой угольной кучи. Жильцы домов его не жаловали за цепкий, оценивавший все и всех взгляд, и с ним не то чтобы не общались, но и не здоровались. Действительно, чего тут приятного, заходишь в подъезд или выходишь, а он тут как тут – сидит и глаза на тебя пялит! Как-то тетка вышла в хлебный магазинчик, а кочегар зыркнул на нее своими черными зенками и коротко так велел:

– А ну, зайди.

Тетка вошла в полутемную кочегарку, и он ее сразу же завалил на свой топчан, прикрытый каким-то вонючим рваньем. И, надо сказать, что теткина страсть ему пришлась по вкусу, не в пример тем алкоголичкам, что таскались к нему только изза глотка темного портвейна и потом лежали под ним доской и пьяно хихикали. Да и вообще, как уже говорилось, в свои пятьдесят восемь лет тетка выглядела еще ничего. Кочегар тоже был не таким уж опустившимся человеком. Многое в его жизни не сложилось, но он не собирался сдаваться. И, главное, у него был один верный шанс вновь стать уважаемым членом советского общества. Во время войны он был сыном партизанского отряда где-то под Вильнюсом. И теперь два года как добивался через

военкомат и через Министерство обороны утверждения за ним звания участника Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. И после того, как он получил несколько писем от старых партизан, помнивших его, дело о ветеранстве сдвинулось к разрешению или вроде бы сдвинулось. В общем, если бы к этому еще жениться на приличной бабе, то наверняка можно было бы отделаться от следующей посадки за решетку. А участковый уже к нему захаживал. К тому же, при размене ее трехкомнатной квартиры светила и постоянная прописка. Наверное, так и было бы, он развел бы ее и женился на ней, но на пятый день знакомства, придя в свою кочегарку из милиции, куда он ходил отмечаться, кочегар увидел, как его тетке трут лобок его дружки, то ли бичи, то ли мелкое ворье. Он выпил стакан оставленного ему вина и сказал:

– Давай, давай, парни, нам не жалко, – по тем законам, которые действовали в местах не столь отдаленных.

Тут и муж тетки принялся со скандалами забегать в кочегарку и грозился пожаловаться властям, но вовремя, на удивление вовремя, кочегару вручили в военкомате удостоверение участника войны, и он благополучно, сразу же, в один час, выехал в сторону Вильнюса, где теперь мог встать на жилищную очередь. А тетка так и осталась в кочегарке, прожив там до конца мая. За это время ее муж, любитель бегать трусцой, срочно, от величайшего стыда, развелся с ней, да и что ему, сердешному, оставалось делать, когда она блядовала прямо под их семейными окнами с теми же дружками отбывшего на заслуженный покой кочегара. Все жильцы квартала дружно его подбодрили и поддержали. А сын продал их новый спальный гарнитур за ненадобностью, потому что ему обязательно нужно было купить какой-то прибор ночного виденья, чтобы он теперь мог и ночью гонять свою машину через пустыню Бетпак-Дала, а когда-нибудь, если сбудется его великая мечта, и через Сахару на автомоторалли Париж – Дакар.

В начале мая кочегарку закрыли на замок, и тетка перекинулась в подвалы и на теплотрассу, но теперь уже вдалеке от когда-то своего дома. И начались самые черные дни для пожилой женщины. И не только потому, что она теперь почти не видела дневного света, но и от того, что вдруг потеряло смысл и ее просто физическое существование на этой земле. Если еще неделю назад она беспомощно тащилась за безжалостной своей плотской потребностью, то сегодня возня с каким бы то ни было мужиком приносила ей только разочарование и боль. И хотя влечение не снизилось, оно превратилось в какой-то примитивный механизм, в нечто вроде мясорубки, где фаршем служили ее собственная душа и тело. Тетка просто спивалась, причем, пила все, что ни преподносили: от водки до денатурата. Завершилось все так, как и должно было кончиться. Какой-то бич взял да помер рядом с ней. Все остальные разбежались, а она так и не смогла вылезти из подвала, в который ее привели бог знает сколько времени назад. Труп бича и ее вытащили на улицу позже. Первого отправили в морг, а ее в милицию. В камере предварительного

заключения она потихоньку стала приходить в себя, несмотря на появившиеся у нее сильные головные боли. Собраться с силами, чуть-чуть опять очеловечиться помогло ей и то, что рядом с ней на нарах лежала женщина, которой нужно было помочь избавиться от каких-то сильных мучений. Эту женщину била дрожь, ломало и выворачивало в суставах. Когда же наступало облегчение, она хватала тетку за руку и шептала сквозь прокушенные губы:

– Молчи! Только милиции ни слова!

Тетка подносила ей воду, поднимала снова на нары, если та падала на цементный пол, старалась как-то согреть. Сокамерница тетки оклемалась на четвертые сутки, точнее – притихла. Новая знакомая была когда-то врачом высокой квалификации, имела семью и теплый дом. Три года назад она вела свою машину, где рядом с ней сидел муж, а на заднем сиденье о чем-то шептались и хихикали две дочурки. Водить она научилась недавно, и супруг не особенно доверял ей руль, но в то утро она настояла на своем. Впереди ехал бензовоз. «Не обгоняй!» – говорил ей муж, но она еще выжала скорость, взяла сильно влево и... дальше ничего не помнила. И муж, и дочки погибли сразу, а она оказалась в реанимационной клинике. При ее многочисленных переломах были показаны болеутоляющие наркотики. Она выжила, но жить, как прежде, уже не смогла, В каждом «Москвиче» белого цвета она видела на заднем сиденье уезжающих от нее дочурок, и тогда ее так перекашивало от боли, что даже крикнуть она была не в силах. Конечно, стоять теперь за операционным столом она не могла, ушла на станцию «Скорой помощи», где в ее аптечку на каждый рейс закладывали десять ампул морфия. И она стала теперь сама колоться. Об этом на станции скоро узнали, но не трогали ее, понимая, жалея и стараясь держаться подальше от чужого несчастья, пока она не украла ампулы у своего коллеги.

Врачиха недолго наблюдала за теткой, как-то ночью подозвала ее поближе и сказала;

– Ты чего там все трешь у себя? А ну, давай, рассказывай, что с тобою.

Толкового рассказа у тетки опять не получилось, но это нисколько не смутило наркоманку, ее даже больше устраивала форма вопросов и ответов. И меньше всего ее интересовало, с кем та спала или не спала, а больше – то, как изменился ее аппетит, сон, движение рук: «А ну, поднеси палец к кончику носа», и какая у нее сейчас память... В заключение она так сказала тетке:

– Вернешься домой, плюнь от меня в рожу своему мужу.

– Не вернусь я. После кочегарки туда и смотреть боюсь.

– Дура! Теперь слушай. Все твои шашни говорят об одном: ты серьезно больна. Ну, как тебе объяснить, чтобы поняла. У тебя не с задницей, а с головой не в порядке. Завтра сразу просись к врачу, про боли в голове прежде всего скажешь. Вернешься ты домой или нет – дело второе, тебе надо сделать операцию и чем скорее, тем... Промедлишь – сдохнешь, – и отвернулась к стене.

Вот такая история. Она закончилась тем, что теткину причастность к смерти того бича следствие не установило, зато врачи затем диагностировали у нее опухоль в мозгу. Маленькая патологическая шишка, а не бес, была причиной всего ужаса и грязи, через которую она, несчастная, прошла. И не могла не пройти через это, потому что как обязателен кашель при бронхите, так неизбежна и тяга к распутству при опухоли гипофиза.

Что касается интимных взаимоотношений в браке алкоголика, то они вообще стоят на самом низком уровне, как в нравственном, так и в физиологическом понимании. Мужчины-алкоголикив 1,4 раза чаще предъявлял сексопатологические жалобы, а женщины-алкоголички в 2 раза чаще обвиняли своих мужей, без всякого на то основания, в сексуальной несостоятельности, чем не страдавшие алкоголизмом разводящиеся женщины. Причем в этом есть парадоксальная особенность: все они были сексуально холодными, фригидными. А к алкоголикам-мужчинам практически все жены испытывали чувство полового отвращения или же были равнодушны. На это, видимо, отразилось и то, что каждый четвертый разводящийся алкоголик являлся носителем венерического заболевания.

Повторные браки встречаются среди алкоголиков в 2,1 раза чаще, чем в обычной среде разводящихся, следовательно, и детей от предыдущих браков было у них значительно больше, практически в 2 раза. Вообще семьи алкоголиков не страдали из-за отсутствия детей, восемь семей даже имели приемных детей. Все это на фоне того, что половина супругов, не страдающих алкоголизмом, не имели общих детей. Однако процент детей дошкольного и особенно новорожденных и грудных детей в семьях алкоголиков ниже, чем в семьях, где алкоголизм не фигурирует. Но процентное соотношение детей дошкольного возраста по отношению к стадии хронического алкоголизма почти не меняется, более того: у алкоголиков, находящихся в 3 стадии, детей грудного возраста и новорожденных в процентном соотношении больше, чем у тех, кто находится во 2 и 3 стадиях. Все это означает, что в таких семьях основной проблемой является именно сам алкоголизм.

Алкоголиков среди разводящихся в 2 раза больше, чем в общей массе городского населения: мужской алкоголизм распространенней в 2,4 раза, женский в 3 раза. Причем разводящиеся алкоголики практически не охвачены деятельностью наркологических лечебных учреждений, на диспансерном учете из 27% мужчин-алкоголиков состоит только 4,7%, а из 2,3% женщин-алкоголичек состоит только 1%. И это при том, что алкоголизм не так уж сложно диагностировать, тем более, что у разводящихся алкоголиков наследственность была в 2,9 раза чаще отяжелена наличием алкоголизма у близких родственников, а у алкоголичек – в 3,8 раза, чем у не страдавших алкоголизмом разводящихся.

Пьянство и хронический алкоголизм являются не только сами по себе одними из самых распространенных характеристик разводящихся, но и порождают целый ряд неблагоприятных для нормального брачного сожительства явлений. Прежде всего, это касается более высокой общей заболеваемости среди алкоголиков, особенно тех болезней, которые связаны с психической деятельностью человека, так как ее искажение крайне отрицательно сказывается на супружеские взаимоотношения отягощением ранее присутствовавших патологий психики, но и провоцирует их. Распространенность психических заболеваний по данным диспансерного учета среди разводящихся мужчин-алкоголиков в 5,8 раза выше аналогичной распространенности среди не страдавших алкоголизмом разводившихся мужчин; в частности, распространенность психопатий среди первой группы разводившихся мужчин в 2,3 раза выше, чем во второй.

«Наш человек пил и будет пить, – категорично заявил Серега Тетушкин. – Пил вне семьи и в семье. Следовательно, твои данные ни о чем не свидетельствуют». Я огорченно спросил: «И что же мне делать?» «Только эксперимент! Коллега, возможно, это станет для тебя откровением, но ученые имеют обыкновение в области экспериментальной медицины активно прибегать к использованию опытов на животных. Вопросы алкоголизма не остались в стороне. Интересно, что пить заставляли в основном мелких грызунов, но никогда слонов. Ну, это пусть уже останется на совести экспериментаторов». «Что же делать? У меня нет животных…». «Тебе повезло. Проводил я тут один эксперимент… Свой выбор остановил на тараканах, что дало мне ряд дополнительных преимуществ. Прежде всего, экспериментально стало возможным создать модель массового опьянения в сотни две-три голов. Следовательно, мы имели возможность проследить воздействие алкоголя на супружескую пару прямо со свадьбы. Вот тебе и научные записи, пользуйся…»

Таракан – насекомое не вредное, не кровожадное, в фольклорном мире являлось признаком достатка в доме.

Таракан – существо гордое, рыцарь пластунских атак. Есть с рук отказывается. Детообилен.

К сожалению, полного объема опытов с тараканами нам провести не удалось. И хотя эти насекомые достаточно уживчивы с людьми, но отчего-то все они сразу после свадьбы разбежались. Даже жених и невеста. Даже тараканы-сваты опохмелиться не явились. Но остался, к удаче, дневник женившегося таракана. Заглянем в него.

18 мая 1980 года

Наконец-то, мучимый жаждой и голодом, я прошел бетонную пустыню лестничной площадки и, ничего уже не осознавая, вполз в первую же открывшуюся дверь. Но и здесь не настал предел моих несчастий: еле доковыляв до кухни, я с ужасом убедился, что тут царит губительная чистота. Кругом ни одной крошки хлеба! Ни одной недомытой тарелки! Горе мне, горе...

20 мая...

Я отчаялся. По ночам жую тряпку на мойке. От нее отдает мылом, но что делать? Мне уже не вернуться назад...

23 мая...

Два часа ночи. Внезапно появился Он. У меня совершенно не осталось сил, чтобы хоть как-нибудь скрыться. Пусть я буду раздавлен, чем так страдать! Но странно... он не спешил включать свет. Больше того, мне показалось, что Он сам от кого-то таится. Прислушиваясь ко всем звукам и постоянно оглядываясь, он извлек откуда-то бутылку, и сразу же резко запахло вином. Потом открыл холодильник и, – проклятье! – принялся закусывать прямо у открытой дверцы этого недоступного для меня белого сейфа. Он явно спешил, давился, и с его губ стали падать вниз огромные сочные куски! Лишь бы теперь не вошла Она, лишь бы не вошла... Нет, я больше не могу терпеть. Как ястреб, я бросился с раковины на пол и принялся жрать, жрать...

1 августа...

Все продолжается таким же чудесным образом. Он – пьет – уже не только по ночам, я же сыт и счастлив. Хотя, признаюсь, не совсем... пора бы уж мне жениться на какой-нибудь милой и нежной тараканше. А что? Я молод, красив, обеспечен. Конечно, Она доставляет мне некоторое беспокойство, но все реже и реже, больше раздражается и кричит на Него. Но я не вмешиваюсь в чужую семейную жизнь.

14 октября...

Как рад! У меня родилось сорок шесть прекрасных детишек. Они такие забавные... все в меня. Как это прекрасно – дети, семья, дом, о котором можно сказать: полная чаша. Кстати, Она принципиально отказалась убирать за Ним, даже посуду на столе, ссылаясь на то, что Он – свинья. Никогда не видел свиней, но уверен, что это благороднейшие создания.

17 января...

Не выписать ли мне тетушку с племянниками? У меня дома стало гораздо свободней, Она ушла от Него. Он ест теперь прямо в постели, и я намерен занять со своей семьей спальню. Не век же мне жить на кухне!

31 января...

Это ужасно, двое моих племянников, оболтусов, напились пролитого на пол вина и тут же, вместе с Ним, принялись распевать песни. Тетушка рыдает, моя прекрасная половина в панике – не хватало нам в семье еще алкоголиков. Пришлось их строго наказать. Заставил их целую неделю жевать,

как я когда-то, тряпку из мойки. Но надо признать, что эта тряпка уже давно не знала мыла и соды и стала жирной, как котлета. Да, не знает нынешняя молодежь тех трудностей, которые нам пришлось пережить. Вот еще новость. Вскоре после тетушек и дядюшек, сестриц и братишек ко мне стали переходить и вовсе незнакомые мне тараканы, среди них какие-то семь старых тараканш, которые утверждают, что они – мои бабушки. А я сам уже давно дедушка. Ладно, пусть живут. В тесноте, да не в обиде.

20 апреля...

Он пропил все деньги и всю мебель, приходится жить прямо под открытым потолком. Некоторые так и висят целыми днями на стенах. Я этого не одобряю, вести себя надо культурней. Но что поделаешь, тем более, что сейчас уже совершенно невозможно определить, кто кому кем приходится. Меня беспокоит другое: он стал питаться слишком однообразно. Последние недели сидим на одной кильке. Да и ту иногда приходится вырывать прямо из Его рук.

3 мая...

Кто бы мог подумать, какая трагедия! И это тогда, когда я стал во главе большого здорового народа! Он совершенно перестал закусывать, только пьет и пьет, скотина!

10 мая...

Начался голод. Ушла тетушка с племянниками. В муках скончались мои бабки. Дети разбрелись кто куда. Но самое страшное, что исчез Он. И теперь не осталось никакой надежды. Неужели мне на старости лет снова придется, отчаявшись, брести по пустым подъездам? Где справедливость, что я сделал такого, чем навлек на себя такое горе?! Ведь я хотел самого простого и естественного: жить, как все, иметь семью, детишек, внуков прогуливать у хлебницы...

18 мая

Сегодня моя жена отравилась Его носком. Мучительно желаю одного: чтобы Он вернулся. Нет, дело не в кусках с Его стола, я просто хотел бы посмотреть прямо Ему в глаза и задать один-единственный вопрос: за что Ты погубил меня, мой дом, мой народ?

Заключение

Одной из основных задач нашего исследования являлось установление показателей общей заболеваемости среди супругов, вовлеченных в бракоразводный процесс. По А. А. Роменскому (1977), общая заболеваемость – это число заболеваний, зарегистрированных в течение года, независимо от времени их возникновения, на 1000 человек соответствующего населения. Подобная формулировка соответствовала разработанному плану нашего

исследования, в программу которого входило обследование 1000 мужчин и 1000 женщин, находящихся в стадии расторжения своего брака.

Различные авторы, изучавшие природу разводов, в своих классификациях, без исключения, указывали на различные заболевания как причину развода. Н. Шиповский и И. Рачев (1977) отмечают, что среди объективных причин глубокого расстройства брака на первом месте находятся заболевания организма. Однако специальных исследований состояния здоровья разводящихся авторами не проводилось, поэтому не случайны в этих классификациях односложные и неопределенные заключения, как выведенная М. И. Оридорога (1967) причина развода – «тяжелая болезнь».

Б. Рикен и Г. Джеланд (1969) указывают, что на степень обращаемости к врачам оказывает влияние не только характер заболевания, но и психопатические и социальные факторы в семье, к которым, без сомнения, следует отнести и развод.

Высокий процент среди разводящихся именно той патологии, которая непосредственно связана с психическими переживаниями, и недобросовестное отношение к обязанностям диспансерного больного, видимо, связано с существующей неблагополучной ситуацией в собственных семьях.

Сфокусированный анализ позволил сделать ряд представлений. Разводящиеся гораздо оптимистичней оценивают состояние своего здоровья, чем оно было на самом деле, и легкомысленно относятся к нему. Только 37% мужчин из тех, кто периодически и регулярно обращался за помощью в лечебные учреждения и проходил стационарное лечение, считали себя больными. У женщин такой контингент составил 51,3%. Вообще, женщины гораздо вернее оценивали свое состояние. Так, среди женщин, которые состояли на диспансерном учете по тому или иному заболеванию, 79,6% считали себя больными, а среди мужчин этой же категории только 44,5%.

Подобное занижение, видимо, и отражалось на исследованиях, основанных только на документации о разводах народных судов и ЗАГСов. Между тем, заболеваемость среди разводящихся, по сравнению с общей заболеваемостью взрослого городского населения Казахстана, и по возрастным, и по половым группам определяется более высокими показателями, даже в том случае, когда алкоголизм, психопатия рассматриваются отдельно, не говоря уже о сексопатиях, достигающих соответственно, в частности у мужчин, 27,4%, 32,8%, 30,1%.

Одной из причин высокой заболеваемости среди разводящихся является распространенная среди них наследственная отягощенность хроническим алкоголизмом. Например, у мужчин-психопатов подобная отягощенность в 3 раза выше, чем у психически здоровых мужчин, не обладающих психопатическими чертами характера.

Среди хронических соматических заболеваний превалируют сердечно-сосудистые заболевания, которыми разводящиеся женщины страдают в 2 раза

чаще, чем разводящиеся мужчины. И хотя у женщин, обследованных нами, общая заболеваемость выше, чем у мужчин, инвалидность у мужчин по отношению к ним в 1,9 раза выше.

Видимо, это, прежде всего, объясняется гораздо большей распространенностью среди мужчин пьянства и алкоголизма, которые часто приводят как к производственному, так и к бытовому травматизму.

Приведенные в главе цифры и связанные с ними предположения дают основание считать медицинское неблагополучие у разводящихся, в котором доминируют алкоголизм, психопатия, сексопатия и сердечно-сосудистые болезни, а также гинекологические и венерические болезни, серьезной проблемой, требующей к себе пристального внимания, как со стороны медицинских работников, так и со стороны учреждений, расторгающих брак, которое может положительно отразиться на стабильности самого брака среди населения и вообще – на состоянии здоровья населения.

Осенью 1982 года в тяжкий день, набитый, как отсыревшая перина, мокрым снегом, наш диссертант, донельзя доведенный разводящимися, скоропостижно скончался. К счастью, осталась на память его завершенная, но не защищенная диссертация со стопкой исписанных от руки листков, не имеющих отношения к науке. Последними словами были: «...не любим...»

Бог Главк

«Бросился Теламон к кормчему Тифию и

хотел заставить его повернуть назад «Арго». Напрасно его пытались успокоить Бореды, никого не хотел слушать разгневанный Теламон, всех винил он, что намеренно покинули они Геракла и Полифема в Индии. Вдруг из волн показалась увитая водорослями голова вещего морского бога Главка».

«*Легенды и мифы Древней Греции.*»

Я страдал. Страдал так, как может страдать здоровое, памятливое сердце, вшитое в дряхлую, пропитанную болью грудную клетку.

Я задыхался. В сосновом сквере, что уже само по себе не реально.

Солнце просто ткнуло раскаленным платиновым пальцем в этот яблоневый город у гор – даже носы у скалистых вершин облезли. От того они, верно, Алатау – Пестрые горы. Каждая травинка, хвойная иголочка полыхали белым дымком, а камешки, гранит бордюров и даже зазевавшийся на дорожке муравей были буквально загипсованы прорвавшим кроны деревьев белым, плотным светом. Местами столь тяжелым, что ощущался вес пучков лучей. Лишь там, за чугунной оградой довольно значительного квадрата сквера вольно текли асфальтовые каналы, в которых плыли автомобили и безропотно тонули редкие прохожие. Бывало, кто-то из проходящих горожан нет-нет да и вскрикнет, но хлюп асфальтовой толщи, поглотившей его, поглощал и его прощальный зов отчаянья. Оглянувшийся на страшный звук постовой милиционер снова увидит сизое облачко на тем местом, где только что был человек.

Обида едкой кислотой разъедала меня. Я дергался, метался, временами даже раздваивался: один «Я» продолжал мерно вышагивать по аллее с отсутствующим лицом, другой же, озираясь по сторонам и энергично разбрасывая руки, ором орал: «Люди! Да что же это такое?! Да где же правда!» И кидался далеко вперед. Первый «Я» пугался, но в то же время возбужденный неудержимым порывом второго, начинал лихорадочно шарить по карманам в поисках сигарет и спичек, втыкал в зубы дрожащими руками сигарету фильтром к огоньку пламени. Но как первый закуривал, словно под давлением оттянутых резиновых ремней несся рапидом назад. И так с ходу врезывался в первого, что у того гасла в пальцах еще горящая спичка. Наступила мгновенная контузия. Еще одна. Опустошенность и тупое чувство поражения. И снова неторопливое хождение по внутреннему периметру сквера без мыслей и иллюзий. Но с прежней обидой.

Вот после очередного аутоудара, когда мне удалось правильно закурить и не поперхнуться ядовитым палевом синтетического фильтра, я услышал за

спиной детский голосок, настойчиво требовавший:

– Папа, расскажи сказку!

В это время дня прогулочные городские территории обычно пустынны, особенно в такую сорокоградусную жару, так что детский голосок прозвучал для моего уха болезненно, как электрический укол тока.

– Ну, жил-был Колобок...

– Про Колобка не хочу. Он дурак.

– В одном царстве-государстве...

– Жил царь-идиот.

– Нет, не идиот.

– Идиот, идиот. Идите, говорит своим царевичам-идиотам, постреляйте из лука, кто лягушку продырявит, будет первым идиотом.

– Про Золушку...

– И она дура.

Звуки, прокалывавшие ватный, ровный гул города, принимаемый коренными горожанами за тишину, стихли. Но электрическое напряжение в двести двадцать вольт, возможно и больше, осталось в атмосфере. Но теперь касалось не меня, а напрягало расстояние между папашей и его дитем. Молчание длилось целую минуту, и, наконец, прозвучал укоряющий глас отца:

– Ты... плохо себя ведешь.

Любознательный мальчик явно не смутился и еще напористей потребовал изложения фольклорных текстов:

– Расскажи!

– Ты мне сейчас не нравишься.

– Что?

– Ты мне такой не нужен.

– Хорошо. Тогда и я уйду от тебя.

– И куда это ты уйдешь, сынок?

– К маме. Навсегда. И скажу ей, что хочу жить с ней, а не с тобой.

– Будет так, как решил судья. А дети должны слушаться судью.

– А народные заседатели решат по-другому.

– Это почему же?

– Потому что они дяденьки и тетеньки. Как дядя Сережа и тетя Оля.

– Они что – опять приходили к тебе? Это нечестно.

– Тогда расскажи.

– Ладно. Однажды Красная Шапочка...

– Новую!

– Не до сказок мне теперь. Давай я тебе еще мороженое куплю.

– Не хочу ангиной болеть.

– Ладно.., – мужчина что-то едва слышимое пробормотал себе под нос, но затем, словно решившись на отчаянный шаг, произнес:

– Но ты все равно ничего не поймешь. А, слушай. Работал в одном

учреждении один герой. Всем был хорош: высококвалифицированный специалист, семь авторских свидетельств. Изобретатель республиканского значения. Но завелась в этом учреждении злая ведьма – замдиректора. Невзлюбила она нашего героя, решила съесть.

– Вместе с авторскими свидетельствами?

– Само собой.

– Начала поедом есть. А герой наш действительно был хоть куда. Все ему нипочем. Но не любил он угодничать...

– Что делать?

– Пятки лизать, правду матку так и резал. Одной рукой столетние дубы гнул, второй – автоматизацию проводил. И созрел у него один очень серьезный проект...

– Живой?

– Конечно, живой, если созревал. Так эта ведьма решила уничтожить этот его проект...

Я слышал и не слышал весь этот бред маленькой семейки и не понимал, как, каким образом я все время оказываюсь в роли слушателя поневоле, правда, голоса то отдалялись, то приближались. Но самое странное заключалось в том, что я не видел этого папу-сказочника и сыночка-шантажиста, хотя дурацкая сказка доносилась не только из-за моей спины, но иногда и с боку, и даже с пустой парковой скамейки, мимо которой я проходил в очередной раз. А ведь я шел с открытыми глазами, да и шея моя, хотя и не на подшипниках, но ведь разворачивалась же как-то. Верно говорят, обида – слепа. Скажи мне кто в тот час, что это все слуховые галлюцинации, я бы не расстроился. Потому как расстраиваться было дальше некуда. Но кусок реального мира все же присутствовал в той моей прогулке по роковому озелененному квадрату – я все время выходил к двум мемориальным 45-миллиметровым противотанковым пушкам, установленным над ступеньками широкой гранитной лестницы, ведущей в сквер, носивший название с неким преувеличением: «Парк 28 панфиловцев». Видимо, это чисто мужское, сознаемся: в минуты отрицательных чувств так и тянет неосознанно к оружию. Хотя бы потрогать его. Эх! Если бы взять, вложить снаряд – быть может, завалялся где-то один из тех артиллерийских зарядов, которыми бойцы в 1941 грохнули фашистов в Подмосковье – и как бах! бах! в нужном направлении по известным целям!

Что такое Обида? Что за эта штука такая? Предположим – маленькое животное, грызущая, как мышка, твои внутренности или нечто огромное, как динозавр – наступит и мокрого места не останется от твоего самодовольства и заодно сердце разорвется. А если уйти от сентиментов к географическим бесстрастным критериям, то представляется целый материк. И эту гигантскую землю не пройти за день и за месяц, бывает, за год. Некоторые на всю свою жизнь тонут в зыбучих песках материка Обиды или его топких болотах. И эта Земля Обиды высится на своих трех китах: Несправедливости, Непонимания и

Мстительности.

Говорят, несправедливость есть субъективное ощущение. Разве? Кто может абсолютно точно определить, где справедливость, а где – нет? Глупо, по крайней мере, с семантической точки зрения, но я почему-то уверен, что есть в слове «несправедливость» какой-то зародыш глагола «справиться». С тобой поступили несправедливо? Задумайся: где, с чем и с кем ты не справился. Победители ведь всегда действовали и действуют справедливо. И в этом уверено подавляющее большинство. А что касается меньшинства или кого-то одного, то остается утереться и все. Вот что обидно. Посему кит Несправедливости – антипод кита Справедливости, маленький. Величиной с дельфина, ты можешь с ним плавать и на пляжах курортов Флориды или в домашней ванной, никто и не заметит твоего кита. И становиться еще обидней.

Кит Непонимания, как облако или смог. Схватить невозможно, проплывает меж пальцев. Но он не призрак. Попадешь в его зону и тебя в упор не видно, не видят ни твоих правильных дел, ни твоих текстов, ни твоего великодушия, доброты, любви... Кричишь оттуда во все горло:

– Послушайте, я ведь хочу вам объяснить...

Не слышат.

– Да послушайте вы!..

Нет слышимости.

Ну, не понимает моих стихов мой умный сосед. Он положительный человек, с ним приятно посидеть с рюмочкой и поговорить о политике. И в общем это неплохо. Ведь, если оторвать от бытовой философии, а задуматься на манер суфийских мыслителей, то, пожалуй, и не скажешь кто сидит на ките Непонимания: непонятый или непонимающий.

Кит Мстительности физиологически гораздо сложнее. Да и психологически.

Киты Несправедливости и Непонимания плывут в глубокой воде твоей жизни всегда парочкой, трутся друг об друга – не дай Бог оказаться между ними. Попадая, ты хочешь лишь одного: уйти на дно и там замереть под пледом на продавленном диване. Спасительном, между прочим.

Однако, самый страшный кит – кит Мстительности. Третий кит безжалостен. Он, как морская корова, кормит твою обиду, пока она не вырастет до ужасных размеров Обиды.

Именно этот кит нашептывал Гамлету: на обиженных воду возят. И погубил, как известно театральной публике, принца Датского. Да что я тут пишу... какие-то беспомощные фразы. Читайте Шекспира и все вам станет ясно.

Быть обиженным – это как болеть неприглядной болезнью. Это стыдно и небезопасно. Но все равно, обидно. Ко всем этим псевдофилософемам прицепилась, как к подошве слюнявая жевательная резинка, рифма «Играет свеч листва... + ...и человечества». Она составлена была лет десять назад, и я относил ее к оригинальному ряду, да вот никуда так и не смог приложить. И

брала досада.

Меня опять тянет на мемориальное пекло, к артиллерийским орудиям. Я подхожу к ним, глажу грозный и элегантный ствол пушки. И здесь снова услышал знакомые голоса. На лафете пушки сидел молодой лысеющий мужчина в светлом легком костюме с кислым выражением лица. Рядом с ним стоял мальчуган лет пяти и спрашивал:

– Пап, а эта ведьма на заседании научного совета варево ядовитое варила? Или просто так сидела, нож точила?

– Варево варила. С ножами на научный совет никого не допускают.

– И что дальше?

– Варит она, значит, варит, всех опоила. Все голосуют так, как она скажет. Они думают, что сломали меня, мой проект зарезали.

– Ты же говорил, ножики не разрешают приносить.

– В том то и дело, что не разрешено. А они принесли ножи. Нечестно потому что поступают. Они думают, что я один, а им – можно. Дудки! Я в Главк [62] пойду. Главк разберется!

– А Главк это добрый волшебник?

– Нет, Главк – это люди.., – ответил отец, едва шевеля вдруг посиневшими губами и рухнул на мрамор.

Кругом ни души, кроме меня, конечно, и его сыночка. Я поспешил к упавшему мужчине, принялся поднимать его, тормошить, но он никак не реагировал на мои примитивные и, наверное, неправильные реанимационные усилия. Явно, инфаркт. Следовало бежать, искать телефон, вызывать скорую помощь. И я побежал, оставив рядом с неудачливым папашей его сыночка, который все повторял:

– Главк, Главк, добрый, хороший, ну, пожалуйста, пусть папа встанет. Главк, ну, пожалуйста...

ШАХИМАРДЕН

Семен и Семенов

«Подходит Семен к человеку,

[62] *Главк* (от: главный комитет) – главное управление, подразделение министерства или ведомства.

разглядывает его и видит...»
«Чем люди живы» Л. Т о л с т о й

Дядька Черномор стоял голый, чистый, с мокрым жидким чубчиком от темени к виску, и пришпиливал к широкому лацкану пиджака, висевшему перед ним, значки с футбольной эмблемой «Спартак». За ним и ребята, выходя из душевой, первым делом, разглаживая влажными ладонями, вынимали из фанерных шкафчиков флажки и транспаранты с этой же символикой. Это создавало настроение. Шли после смены болеть.

В сезоне 1980 года спартаковцы, хотя и играли прежним чемпионским составом, заняли на чемпионате СССР всего лишь второе место. В этом году в марте сумели добиться ничьей с грандами испанского футбола – командой «Реал», что вселяло надежду. Тем более, Бесков обновил команду, пригласил перспективных Швецова, Крестененко, Сочнова, Сафроненко. Жалко в ЦСКА ушел Вагиз Хидиятуллин, и Мирзоян не забил пенальти в финале Кубка СССР, но все верили – порвем всех и любимый «Спартак» в этом году снова станет чемпионом.

Семен Столетов торопливо вымылся одним из первых. Вот он уже одетый собирался выскочить из раздевалки, как его окликнул, не отрываясь от своего приятного занятия, мастер:

– Семен.

Семен, не столько спешивший по делам, сколько опасавшийся услышать это строгое: «Семен», остановился, потоптался на месте, и поняв, что на этот раз ему не удастся избежать давно назревавшего неприятного разговора и злясь на себя за свою ребячью покорность, поплелся к Черномору. Подошел, промямлил:

– Чего, Дядька?

Дядька Черномор развернул к нему свое лицо, щуплую грудь в полуоборот, но не глядя на него, а на парней, спросил:

– Случилось что? Куда так бежишь?

– Я тут с Левушкой сговорился встретиться, – ответил Семен и, заикаясь, добавил. – Д-д-дельце есть.

– Нехорошо, Семен. Сегодня наши играют, помнить надо.

– Да я помню. Но очень нужно. Но очень просил. Никак нельзя было от-от-тложить. Левушка, он мне ведь, как брат.

Семен врать не умел, да и в бригаде вранья не терпели. Мог бы сказать: Надюша приболела или у сына температура, у грудных всегда какая-то там температура, но выложил, как было. Хотя, конечно, доля лжи была. Не просил его особенно Левушка. Так, звякнул вчера, сказал, мол, привет, ага, будем в баре «Солнышко», ну смотри, если время будет, подходи к семи часам.

– Зайдешь к нему после матча, – предложил Дядька Черномор.

– Не-е, мы сразу после работы договорились. Что-то очень срочное, а что не сказал.

– Да какая у Левушки твоего работа? – произнес ехидно Самсон, сам когда-то считавший Левушку своим друганом. – У дверей Рафки-бармена стоять и пьянь шманать на предмет магазинной выпивки. Хотя тоже, небось, себя за делового держит.

– У них и девочек на ночь снять можно за червонец. Есть и за трояк, если сразу в подсобке. Работа не пыльная, тоже у двери подежурить, – вставил еще один молодой.

Ребята захохотали.

– Ну, ты! – попер на салагу Семен. – Сопли подотри!

Но ребята, с кем он уже не первый год на заводе, вдруг прикрыли плечами зарвавшегося пацана. И Дядька Черномор одобряюще кивнул. Молодой был братом игрока «Спартака», пусть и запасного, но того самого, кто в последней игре дубля забил гол через голову, когда Бакурия-младший стоял на воротах. Красиво.

И тактика самого заводского мастера была, можно сказать, красивой. Хотя и сложившаяся само собой по вынужденной схеме. Лозунг «Пролетарии всех стран соединяйтесь!» перестал работать на полные обороты еще во времена его молодости. Не осталось мотивов, сплачивающих коллектив, особенно после кукурузника Хруща [63]. Мастер все надеялся – временной, потому как в коммунизм верил. Но по всему было видно, как «лично мое» придавливает общественное. Молодежь в последние годы стала искать себе работу вне рабочих династий, а там, где башляют побольше. Нет, Дядька Черномор ничего против личной собственности не имел, сам дачник и дорожил новеньким четырех-колесным членом семьи шестеркой «Жигули». Но «лично мое» отрицательно сказывалось на производстве, а значит и на зарплате с премиальными. Дисциплина в бригаде еще была на высоте, здесь Дядька не сдавал позиции, но лучшие ребята уходили. Из того же Левушки, его, как и Семен, ученика вырастал высоко-классный фрезеровщик, а у брата прославившегося спартаковца руки из задницы растут. Молодой, да видать, на всю жизнь кадр неценный. И Дядька Черномор, сам страстный болельщик «Спартака» с девяти лет, стал разыгрывать последний скреп – футбол. Болеешь за наших – наш. А нет, значит, гнилой.

Семен стоял ждал, что еще скажет Дядька и слышал, что говорили товарищи:

– Шкура он, этот Левка, сразу видно было. И второй тоже хорош. Рафка – харя лакейская.

---

[63] Хрущёв Н. С. – Первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы. Его годы правления охарактеризованы как времена волюнтаризма. В частности, Хрущёв требовал выращивать кукурузу вне зависимости от климатических условий

– За копейку удушится. Я ему говорю: возьми и мне стакан сметаны, а он: я оплачиваю обед только своего глиста. Пришлось снова встать в очередь. Надо было ему за глиста морду отполировать.

– Сучара гнилой.

Наконец Дядька Семен произнес, словно на собрании, свою заключительную речь:

– Нельзя так, Семен. Подводишь всех. Мы ведь все вместе, как пальцы на одной руке. Мы ведь тебе не партком. Одна бригада, один коллектив, не зря нас дружиной зовут. Я тебе не говорю: водись с тем, не водись с этим, кто нам не нравится. Мы ведь ни Левушку, ни Рафа не гнали. Сами за легким рублем кинулись. Стали кривдой жить, не по-русски.

Не по-русски в словаре Дядьки Черномора означало не по-человечески. Поэтому выносил он этот приговор человеку крайне редко. Так что Семен здесь и сдрейфил. Но упрям был, как баран. Уперся рогами в ворота и молчит. А Дядька заключил:

– Ты, Семен, один без нас правды не найдешь, а кривдой жить не сможешь. Заплутаешь, парень. Дружи с ними, дело твое. Но сегодня святое – наши играют.

– Д-д-д-да я понимаю, Дядька, но слово дал, что буду...

Велел бы Дядька Черномор: пойдешь с нами и баста, остался бы Семен с бригадой с радостью. А так самому идти на попятную после того, что наслушался от товарищей, было не очень как-то... Все равно, что извиняться ни за что. Гордый был Семен. Но вместо желанного приказа Семен услышал от мастера холодное и высокомерное слово:

– Я тебе не дядька, а Алексей Фомич.

И ребята тут же:

– Пускай катится, Дядька Черномор!

– Баба с возу – кобыле легче!

– Гусь свинье не товарищ, так что полетим без него!

Семен вскипел за секунду, из ушей аж пар пошел, но смолчал. Против ветра лишь последний кретин струю пустит. Тут не повыступаешь – пинками на улицу вынесут и не посмотрят, что свой. А ведь он свой, свой!

И в мыслях у Семена не было чуждаться ребят, и Дядьку он уважал и любил, за него в огонь и в воду готов был прыгнуть. Но что теперь делать? Получилось так. Уходил Левушка с завода, звал, дружбой заклинал, не бросил же Семен бригаду. Еще чего, как это он – с завода! Фрезеровщик пятого разряда, это тебе не ухо собачье. Да и не понимал он друга, как это с завода? Как это без ребят? Здесь тебе и уважение, и заработок три сотни. Что еще надо? Бригада как семья, такая – жена ревнует. Все вместе, а обидит кто, хоть директор, перед бригадой ответит. Вот так поставил дело Дядька Черномор, одно слово – рабочий класс! А главное – чувствуешь всегда, что страна без тебя никуда. На заводе частникам не зады латают, а выпускают высоко-точные станки с программами ЭВМ.

Остановись они, вся страна встанет. Или того хуже, как говорит Дядька Черномор, назад поплетется к капитализму с его паровыми двигателями. Вот так. Это понимать надо, а Левушка понимать не захотел. Как-то после смены за пивом так и выдал: «Давай на станцию техобслуживания «Жигулей». Семен сразу понял, не шутит его друг, еще бы, ведь они вместе тридцать лет. Как свела их судьба мальчуганами в детском садике, так дальше и за одной партой, и в казарме их койки рядышком стояли. Чей-чей, а Левушкин характер он знал. Так и случилось. Ушел Левушка с завода и Рафку Татарина с собой увел. Одно не знал Семен: кто Левушку подбил на это дело. Но скоро понял – сосед Левы по дому Макс. Хиляк, урод носатый, а сколько гонора в нем! Было бы отчего, а то так, студент-недоучка. Разве что все на нем заграничное, машина своя – черная «Волга» с навороченным рулем от какого-то западно-германского автомобиля. Хвастался:

– От вэмвэ, старик.

Да кто он такой?! Слышал Семен, что он валютчик... Но что это такое и с чем это едят, Семен не то, чтобы не понял, а как-то мимо его сознания проскользнуло. Как и сам скользкий Макс. Татарина не жалко, а вот Левушку Семену очень не доставало. Словно вынули из него что-то живое, так и жил долго, словно ополовиненный. И Левушка тянулся к нему, не было дня, чтобы не позвонил. Или забегал вечерком, звал прошвырнуться в компании. Конечно, с дурными деньгами жить веселее, сегодня ресторан, завтра – рыбалка с осетриной из ресторанного буфета, девочки всегда новые. Но не приглянулся компании Семен, и ему самому компания не пришлась по душе. На чужие пить-есть хорошо, ну раз, ну два, а своих у Семена, ну, таких денег, чтобы к хозяйству, к семье – не клеились, не водилось. Его-то не корили, бросить на кон не требовали, червонцев у Левушки стало – на пяток семенов хватит, но задела эта штука обидно Семена.

Семен, как характеризовал его Дядька Черномор в профкоме, когда путевку на курорт в Болгарии выдавали за полцены, – парень правильный. Открытый, но мыслил, как природа распорядилась: здесь и сейчас, от точки к точке. В компании часто говорили о миллионе долларов, как о самой высокой и достойной цели. Стал таким миллионером и все. Все твое. И сам ты другой, особенный – западный. Ну не понимал этого Семен. Много денег, конечно, хорошо, ну, об миллионе, там более, долларов, зачем слюни пускать? Что с ними делать? Ладно, был бы миллион долларов, можно было постараться, раскидать. Если не поймают и не посадят. Хоть и дурное, но нашлось бы применение. Но вот как этот миллион мог бы сделать из одного человека другого, особенного, этого Семен не понимал. Его, хоть переверни, на голову поставь, хоть боком заставь ходить, он все равно останется Семеном, любящим свою Надюшу так, что в ее присутствии даже заикаться боялся, так что она не верила, что ее муж с детства заика. Останется болельщиком «Спартака» и поклонником пива Хамовнического пивоваренного завода. Компанией Макса,

как признак западного человека, подавалось нудное питье ста граммов виски со льдом. Да Семену и даром этого виски не нужно, потому как вкус мерзкий. Душевная прямота и не позволяла Семену подумать, что друг детства способен на предательство. Поэтому он свято верил в неизбежность прозрения Левушки. Надо с ним только поговорить по-взрослому и бросит друг эту компанию и вернется на завод. А дурь на Левушку Макс наводит. Надо выручать, спасать друга и товарища. Главное, показать Леве, что Макс Лифшиц – самая настоящая интеллигентная гнида и спекулянт. И пер Семен на Макса при каждой встрече, как бык на красную тряпку. Гнилью, конечно, прямо не называл – случай не подвернулся, потому как Макс ухитрялся держаться от Семена как можно дальше и никогда не вступал с ним в разговор. Он к нему:

– Ты вот тут...

– Минуточку... – и исчезал за чьими-то спинами и оттуда ухмылялся.

Но ничего, сегодня его Семен точно достанет. На этот раз сядет не рядом с Левушкой, а прямо напротив этой гниды. Иначе, чувствовал Семен, поздно будет. За последние месяцы после каждой встречи Левушка даже на каплю не становился прежним, а наоборот, вроде как дальше от Семена. Тоже стал ухмыляться, как Макс. Звонить почти перестал, заходить – еще реже, а придет к нему Семен, он, извини, мол, у меня сейчас дельце неотложное, давай как-нибудь в другой раз встретимся. Но Семен не отставал и гнул свою правоту. Вот и стал так сильно дорожить каждой возможностью встретиться. И все злее, нетерпимее пытался накинуться на Макса. А тут Левушка сам пригласил посидеть, потолковать, хотя, конечно же, знал, что сегодня матч и что ни Семен, ни бригада не в состоянии были отказаться от стадиона. Но Семен решился идти против течения. Друга за бортом не бросают. Такой он был. Надюша по такому поводу иногда называла его Дуремаром, но не от того, что он был схож с придурком из фильма «Буратино», а потому что дурью мается. «Точно, Дуремар я. Но она не права, потому как если я дурью маюсь, то, наверное, правильнее – Дуремае... Дуремай. В общем, круглый дурак. И чего я прусь в этот ресторан? С какого перепугу?»

Вот с такими мыслями Семен пробежал через заводские ворота, заскочил в трамвай, а потом в метро. Ехал злой, обиженный. Никто его не понимает. А он разве плохого хочет? За правду, за друга ведь бьется. Поднялся на улице Горького – станция «Пушкинская». Нехотя дошел до ресторана, где обычно компания и собиралась среди кавказцев. И чем ближе он подходил, тем отвратительнее становилось у него на душе, больше появлялось сомнений: а так ли он делает, а есть ли в этом кому польза, какая? И что еще хуже – противно ему было. Скучны были ему их игрища. И музыка всякая такая, рок или что там на английском? И разговоры с непременным словечком «фирмА» и полупьяные таскания из хаты на хату. Не принимал этого Семен: пить, так пить, а не лакать шампанское с бабами – одна бутылка на шестерых. Чем так душу травить, лучше с Надюшей телик посмотреть или с ребятами на стадионе футбол. Вот

же гадство, сейчас вся бригада уже на трибунах! А он здесь у стеклянных дверей. Настроение у Семена совсем упало донельзя. Да кому это нужно?! Что это он так за Левушку уцепился. Он что – ему брат? Какая досада его мучает? А может быть, от того, что прав Макс – не способен он дела делать, как Левушка и Раф. Да вообще, почему у одних карманы деньгами набиты, а он жене на дубленку месяцев пять с зарплаты должен откладывать?

Действительно, отчего так? Он вкалывает и не просто вкалывает, а честно и качественно делает сложную, тонкую работу, а так раскидывать деньгами не может. Завтракать да обедать в ресторанах каждый день никто не откажется. Всем понравится, если вечер провести за столом с накрахмаленной скатертью с Надюшей, с Дядькой Черномором, пусть Павловну свою приводит... Смешливая тетка. А за плечом склонился официант с меню в руках. Культурно ведь всем хочется. Но попробуй, посиди, как они культурно – тридцатку отдай, как минимум. И еще обидней стало Семену. Отчего всякие могут, а он – нет. И ведь снова в кармане лишь два рубля. Тут ведь что, Надюша решила швейную электрическую машинку купить. У Семена была кое-какая сумма на сберкнижке, вдруг что случится или снова путевка в Болгарию или Югославию подвернется. Так что домашней швее пришлось угождать экономией уже месяц как на пиве и бильярде.

Как представил себе Семен поднимающуюся по ступенькам стадиона бригаду Дядьки Черномора, как с ними уважительно здороваются, а с Дьдькой – привстав и за руку, так не просто стало скверно на душе, завыть осталось да и только. Было уже решительно развернулся Семен, как стеклянная дверь «Баку», у которой без надежды войти толпились праздные людишки, открылась и, высунув полтела, высветился швейцар и напористо выкрикнул:

– Там! В куртке!

Семен оглянулся на него, а работник в ливрее снисходительно произнес:

– Можешь пройти. Распорядились.

Надо было плюнуть в рожу угодливого хама, но толпа неприглашенных так враждебно против Семена завозмущалась – как за руку схватили: украл! держи!, что оставалось только быстро исчезнуть в полумраке вестибюля ресторана. «Ладно, потерплю еще чуток!», – решил Семен, поднимаясь по широкой лестнице на второй этаж в банкетный зал, где на полосатых кушетках покуривали худые девицы и лысеющие мужики. «Все, в последний раз. Скажу прямо в лицо при всех: или ты со мной, или с этими уродами! А не уйдет со мной – его дело!» Но Левушка, ясно за него, только что-то держит его...

Компания встретила Семена без особого восторга. Макс откровенно поморщился, только Левушка помахал рукой. А Рафик Татарин и остальные словно и не заметили нового гостя. Да Семену плевать, сел уверенно, даже развалился на стуле. И сам с открытой неприязнью уставился на Макса. А тот вроде и обрадовался такому настроению Семена. Глянул на Татарина, и Раф – парень догадливый, вдруг увидел Семена, обрадовался, завопил так, что все

граждане за соседними столами обернулись к ним. И поспешил наполнить его фужер до краев водкой:

– А-в, Семен! Штрафной! А мы тебя все ждем, ждем, уже три пузыря вчетвером засосали.

Семен не шелохнулся, а Макс заметил снисходительно:

– Отлей, Татарин. Не поднять ему.

Ах ты гнида! И Семен взял и залпом опрокинул грамм двести белой «Три богатыря». Не пасовать же сразу. А Раф вдогонку еще один фужер наполняет:

– А ну-ка, Семен, давай. Не опозорь пролетарскую косточку! Помнишь, как мы в техникуме из горла?

Семен отчего-то обиделся за техникум. Техникум зачем приплетать? Отличный был техникум! И возмутился:

– А пролетарская косточка у тебя горле что ли застряла?

– Да я сам с пролетарской костью, – отвечал Раф. – Только она у меня теперь лакированная!

Идиотский ответ, шутка никуда не годная, просто – тупая. Но все захохотали. И Левушка тоже. «Так значит, здесь мне делать теперь уж точно нечего», – подумал Семен и отодвинул от себя фужер с водкой. А этих фужеров на столе – по три разных перед сидящими за ним. И вилок всяких и два ножа. В горле от крепкого спиртного пересохло и Семен налил себе в пустой фужер минералки. И только теперь, когда водка качнулась в нем, он понял, как был пуст его желудок. В этом случае Дядька Черномор говорил: как погребок к весне у нерасчетливой хозяйки. И как-то сразу опустела и голова, и плесень начала наползать на стены этого погребка. Множество других мыслей правильных и нужных, что мучили его минутой раньше, смыло водочной волной, и только одна мыслишка зацепилась у него за правым виском: «Хорошо бы сейчас жареной с луком картошечки!»

Принесли что-то горячее в горшочке. Семен сунулся туда с ложкой, обжег язык и зло уставился на принесенную еду. Выглядел, видать, уже действительно смешно. Он решил остудить рот водой и взял фужер с минералкой. Глотнул – оказалось с водкой. Чуть не стошнило его, но что бы не выглядеть совсем клоуном, Семен напряг всю свою волю и, не подавая вида, вытянул все до последней капли. Погасла и картина с жареной на чугунной сковороде картошкой. Надюша жарила со шкварками и добавляла сливочное масло. Объедение.

Рафик опять налил ему фужер водки. Семен и эту дозу поднял, без всякого желания, машинально. Налили – выпил.

А компания вела свой разговор.

– ...а ты дай ему в лапу.

– Я ему: куда суешься? Отвали.

– ...десятка к одному...

– фунты..., ну английские.

– Британские, кретин.

– Подскочим, возьмем...

Ба-ба-ба... ба-ба-ба... Гулко бабакают эти разговорчики в башке у Семена, как в пустой железной бочке.

– Как нет? А ты найди.

– Да один негр. А эта... Как ее? Ксюша. Кричит: я с негром ... не буду. Ну, я ей в пасть – ляжешь хоть с верблюдом, подстилка!

– Ладно, придумаем что-нибудь... возьмем со склада...

– Закрой... мочалка!

– Макс, скажи ему. Я тоже хочу курнуть...

– Какие битлы?! Они уже лет десять, как вместе не играют. Джона Леннона какой-то шизик грохнул в прошлом году, а – новый диск!

– Зуб даю!

– Нет, Левушка, не сейчас. Дня три подождать надо, а то менты наскочат.

– Да он чувак отличный. Добрый, всегда с пониманием...

– Добрый – значит тупой. Наступи ему на пузо, увидишь... какое гавно попрет.

И тут Семена как осенило – подбивает сволочь Макс Левушку на нехорошее дело. Спасать надо прямо сейчас. И он бросился в атаку:

– Не по-русски это! Сволочь, ты, Макс!

Все замолчали. Уставились на Семена, а он, пошатываясь, встал и дрожащим голосом вопросил:

– Ты понял, Левушка?

– Ты че, Семен? – удивился Левушка.

– Не по-русски? – с удовольствием усмехнулся Макс. – Вот тебе раз, русский нашелся. Нормально отдыхаем. В «Баку» и вдруг русский. Кому рассказать – не поверят.

И действительно, вокруг них сидели сплошь кавказцы. Черные, носатые. А Макс, интересно, – кто? Семен и фамилию его не знал.

– Твой квасной патриотизм, парниша, нынче не в моде, – уже похохатывал Макс. – Вон, тебе Татарин, про святую Русь сейчас все расскажет.

Угодливый Раф должен был по ненаписанному сценарию поддакнуть что-то такое колкое в адрес Семена, но в этот раз вдруг отмолчался. Отвернулся.

«Ладно, Раф – татарин, сделаем скидку. Но Левушка-то русский! Что же он молчит?! Дядьку! Дядьку Черномора бы сюда. Он бы ответил этому пижону, как надо идеологически, – подумалось Семену и почему-то из школьной геометрии. – Радиус есть есть... точка».

А Макс продолжал разглагольствовать:

– И вообще, откуда он здесь взялся? Кто его звал? Ест, пьет водку фужерами, матерится. Эй ты, лапоть, кто тебя сюда звал?

Вот точка! Сейчас Левушка ответит за него. Но друг детства, сосед по

казарменной койке отмолчался и тоже, как Раф, смотрел в сторону.

– Да пошел ты! – Семен встал и выматерил Макса как мог. – Пошли, выйдем, поговорим!

И зашагал неровно от стола. Выйдя из ресторана, остановился, размял кулаки и стал ждать. Но прошла минута, четверть часа, полчаса, наверное, а Макс так и не появился. Бздун! Семен решил снова войти и прямо там, в банкетном зале врезать сволочу по первое число, но стеклянная дверь оказалась закрытой и сколько ни стучал в нее Семен, швейцар так и не появился открыть. Семен решил биться в толстое стекло до конца, но скоро на него обратил свое внимание весело трепавшийся с двумя девушками в коротких юбках милиционер с сержантскими нашивками на погонах. Сержант показал собеседницам руками, что, мол, я на минутку, подошел к Семену, оттащил его от дверей ресторана и приказал:

– Стоять! Слушай внимательно. Направо, шагом марш!

И Семен зашагал куда-то, ничего уже не помня, только повторяя про себя: «Левой! Правой! Левой! Правой!»

Так и домаршировал до скверика, перед которым высился черный памятник. Семен задрал голову вверх, чтобы посмотреть: кто это, но башка снова падала на грудь. Но не зря Семен слыл упрямым, как хохол, – у матери была фамилия Карабутенко, что, впрочем, ни о чем не говорит. И ему удалась его затея. Он увидел сумрачного человека в плаще и осознал, что это Александр Сергеевич Пушкин. «Вот, – восторжествовал Семен. – Стоит. Нет, врешь, Россию так просто не опрокинешь! Не модно! А он стоит и плевать хотел на твою моду! Триста лет стоит и будет стоять, потому что русский!» С этими мыслями ему надо было срочно с кем-то поделиться, была бы Надюша рядом, весь навалившийся на него полемический пыл закончился бы двумя ее пальцами в рот над унитазом и баю-баюшки на диване. Но она... где? Еще доехать надо до Матвеевского. А поговорить требовалось прямо сейчас. И Семен двинулся к скамейкам в сквере. Семен ткнулся к болтавшим между собою юнцам с магнитофоном, но те, не прерывая беседы, отпихнули его в сторону. Подошел к сидевшему старичку в дорогой шляпе, но тот сразу же встал и ушел прочь. Семен, с трудом удерживаясь на ногах и время от времени поднимая вверх указательный палец, пошел дальше по ступенькам к кинотеатру. Людей было полно, но никому дела не было до семеновских раздумий и чувств, а, может быть, даже до самого Александра Сергеевича Пушкина. Наконец Семен наткнулся на одиноко сидевшего на бордюре лестницы человека. Приблизившись к нему, Семен, сильно качнувшись, почти ткнулся лицом в его лоб, чуть откинулся и увидел счастливое раскосое лицо явно своего ровесника.

Сергей Семенов сегодня был счастлив. Леночка почти поверила, что он ей не изменял. Конечно, недели две-три она ему будет отказывать в близости, но

то, что она днем согласилась все же выслушать его, означало очень многое. Почти прежнее доверие. Семенов не только любил Леночку, но и отлично знал ее характер. Но все равно, он – свинья. Но как она узнала?

В начале лета, находясь в экспедиции в Ставрополье, Семенов несколько раз ночевал в доме местного краеведа, женщины молодой, одинокой и забавной. Но этот факт оставил настолько мимолетное впечатление, что он никак не ожидал таких серьезных последствий.

И еще одно будоражило его радостью, радовало почти с сумашедшинкой. Час назад он получил бандероль с ответом и фотокопиями из Тарту. Эти желанные и предугаданные не хилой интуицией Семенова документы позволяли по иному взглянуть на историю высылки Екатериной Второй запорожских казаков на Кубань. Это отбрасывало день защиты его диссертации минимум на год, но зато сулило научное бессмертие. Обо всем этом думалось торжественно и в то же время интимно. Отчего он и бежал из университетской кафедры и шатался по старинным переулкам центра Москвы один. Главное работать, копать, писать, опять копать и самое приятное – размышлять, думку думать о величии России, проявленном даже в репрессиях. Да, немало при переходе умерло детей, стариков, да и баб на сносях. Скажем честно – тысячи жертв. Сотню-вторую не согласных с волей Императрицы казаков пришлось расстрелять. Но таков ход истории! Ну, нечего было делать казакам в Запорожье. С ляховской Польшей было покончено, угроза русской Украине исчезла. Что оставалось – горилку трескать и дурью маяться. А южные границы Империи на Кавказе остро нуждались в защите. Конечно, в таком стиле он не писал статьи, но его некоторая склонность к шовинизму была известна на кафедре и вызвала осуждение. Но ничего, перебьются!

Да, хорошо вот так пройтись одному, подумать, даже помечтать, но не вечность же таскаться в одиночестве! Захотелось и выговориться, высказать свои не простые мысли, исторические гипотезы. И Семенов направился от китайгородских переулков к Пушкинской площади с еще ясно неосознанным желанием встретить в этом многолюдном месте товарищей, случайных знакомых... анекдотом там перекинуться, об особой манере сабельной рубки кубанских казаков... Но никого не встретил, даже полузнакомых. И сел на бордюр расслабить уже гудевшие ноги. И когда он, чуть раздосадованный невниманием к нему со стороны человечества, собрался направиться в метро и на Преображенский вал – домой, перед ним встал, качаясь, пьяный парень со злым, окостеневшим лицом. Он не понравился Семенову, но в уголках его глаз светились две слезинки, а в жесте руки такая жажда желания быть услышанным, что Семенов не попытался сразу отделаться от него. Наоборот, он приветливо улыбнулся горемыке. Тот же направил указательный палец правой руки в сторону издательства газеты «Известия», построенного в стиле конструктивизма, изрек, брызжа слюной:

– Вот! Стоит! Русский поэт. Пушкин это. Нет, врешь, Россию не купишь и не продашь! Стоит и еще триста лет стоять будет!

Выкрикнутая пьяным тирада вызвала в Семенове симпатию к нему. По-крайней мере, это было гораздо лучше, чем душе-щипательные жалобы на какую-нибудь Клавку: «...я ей – ты мне жена или нет? А если жена, обязана дать!..» О судьбе России Семенов готов был с удовольствием поговорить и с этим типом. Главное – правильно мыслит чувак, косно-язычно, но зато суть проблемы излагает. Семенов сдвинулся на парапете и благожелательно пригласил его:

– Садись, братка, поговорим. Так говоришь: стоит и будет стоять Россия? Верно. Нам, русским, это никак забывать нельзя...

Далее Семенов предполагал высказать, что абсолютно не правы были Некрасовские казаки, ушедшие из Кубани в Турцию, что предательство не оправдать никакими аргументами, но пьяный парень перебил его:

– Ты русский? – и его даже передернуло всего, словно от омерзения. – Ну, ты! Не смей лапать! Ишь моду взяли – все в русские лезут!

Семенова удивили эти слова. Семенов был русским и никогда не представлял себя никем иным. Отец Семенова – школьный учитель, ухитрившийся каким-то образом увезти замуж москвичку в Красноярск, умер рано. Овдовев, мать Семенова вернулась в Москву с малолетним сыном к своим незамужним книжным сестрам и об отцовской родовой линии, тянувшейся от бурят-карымов, принявших православие еще при царе Александре II, сразу же было благополучно забыто. Так что об отце Семенов знал лишь то, что его предки состояли в сословии забайкальских казаков. Тем более, что по семейной хронике родословная матери тянулась к ученику самого Михайло Ломоносова. Так что и мать Семенова, и его тетки причисляли себя к столбовой московской интеллигенции и вживили это самоощущение и в него. То, что у него было не характерное для Среднерусской возвышенности лицо, Семенов, конечно же, знал. В школе за перманентное стремление подавлять одноклассников и дикий нрав его дразнили Монгольским игом. Но это не оскорбляло школьника Семенова, наоборот, раззадоривало, побуждало и дальше навязывать свое лидерство. Да и сам он иногда сегодня, звякнув школьному приятелю, говорил: «Привет, это я – Манго. Ну, как?..»

Семенов уже неодобрительно пригляделся к пьяному и спросил:

– Что, не допил?

Но Семен ему не ответил, стоял, качался и с ненавистью смотрел на чурку. Семенову показалось, что он увидел в его остекленевших с прозеленью, словно затянутых тиной, глазах свое изумленное раскосое лицо. И нежданное потрясение в нем мгновенно, как вода на крещенском морозе, превратилась в лед. Семенов встал. Обид он не прощал. Зная, что пьяньчужка от него не отстанет, он решил пройти в темную боковую аллею и

уже там врезать ему меж глаз от всей души. Так и вышло. Семенов увел его за собой в тень, спокойно огляделся вокруг – никого, поднял было не маленький, сибирский кулак на плетущегося за ним ублюдка, но тот беззащитно наклонился перед ним, что бить его, не взглянув в ненавидящие глаза, было как бы позорно. Не разжимая кулак ударной руки, он пальцем другой поднял подбородок противника, и у видел в его зрачках такую глубокую тоску, какая разве что бывает у выловленной крупной рыбы. Семенов подумал, что ему должно быть жалко этого потерявшегося человека, но чувство обиды сменилось лишь равнодушием к нему, он повернулся и пошел прочь. Шел и думал уже о том, что знатным он был бы рубакой в казачьем полку своего какого-нибудь прадеда – с пьянящей волей клинком пополам врага от плеча к печенке за веру, царя и отечество.

Семен сел на корточки и весь перекосился от усилия сосредоточиться на вдруг пришедшей ему веселой мысли о том, как он только что отбрил этого подонка Макса. Вон он драпает от него в своих потертых американских джинсах. Семен проговорил ему вслед: «Вали, вали отсюда!» И успокоился. В вагоне метро он заснул, но ровненько, как спал в армии ночью на карауле. Входя в подъезд своего дома, он, почти протрезвел, сказал с горечью открывшей ему дверь жене:

– Не друг мне Левушка.

– И что? – не удивилась, злясь на мужа за его помятый вид, Надюша. – Конец света?

Семен, понимая, что от него несет, как от винной бочки, предложил извиняющимся тоном:

– Давай тебе дубленку купим, – и попытался ее приласкать.

Но она – теплая и родная, отстранилась, и он поехал плечом по стене, но устоял на ногах.

– С тобой купишь! – еще более рассердилась Надюша.

– Купим. И Дядьку с Павловной в гости пригласим.

– Там посмотрим, – ответила жена. – Спать иди. Ну, куда ты? Прежде в ванную!

В тяжелом сне Семен увидел Левушку в новой дубленке, купленной им самим Надюше. Хотел было содрать обновку с его плеч, но передумал и махнул рукой: «Разве в дубленке дело?»

Гаитянский вариант [64]

Гроб с женщиной на двух некрашеных табуретках скрывал за собой троих самых черных и кучерявых братьев, и только рыжие вихры старшего видны были тем, кто стоял напротив семьи вдовца. Заохал парусивший серой щекой барабан музыкального взвода. Малышей взяли на руки, а девятилетний Хамит, когда солдаты принялись опускать в могилу уже заколоченный гроб, подошел к самому краю и внимательно проследил, что же они будут делать дальше. Солдаты быстро забросали яму землей. Тогда рыжий Хамит сказал братишкам:

– Мама умерла, – и те впервые разом отчаянно заревели.

По возвращению в гарнизон, капитан Исабаев, закрыв детей в своей единственной комнате, стоял на кухне с офицерами и поминал жену. Ребята расстегнули кители и укоряли его за то, что он отказался от помощи их жен в устройстве поминок как надо, по-людски. На что капитан, допив стакан водки одним глотком, с трудом переводя дыхание, проговорил:

– А где здесь люди?

– Ладно… ты это не того!.. держись, – сказал майор, замкомполка по политической части и вышел из квартиры.

Из больницы супруга капитана присылала ему ежедневные Ц.У. Ее ценные указания достаточно четко регламентировали жизнь надолго оставшейся без нее семьи и, после ухода офицеров капитан Исабаев, пошатываясь, двинулся к почтовому ящику за очередным письмом, но кроме «Красной звезды», там ничего не оказалось. Капитан растерянно принялся листать газету, безнадежно пытаясь выискать в ней какой-нибудь приказ, в котором пусть намеком, но было бы сказано, что же ему теперь предпринять.

По аналогии с прошлыми Ц.У. жены, он принял решение уложить детей спать, оставив ввиду сложности обстановки обязательное мытье ног и прием кефира. Наверное, это была его главная ошибка. Малыши сразу уловили вдруг появившуюся непоследовательность в установках отца и тут же принялись отстаивать право жить так, как им теперь хочется. Рыжий Хамит наотрез отказался надеть пижаму, а кучерявые шестилетние близнецы втащили в свою постель бездомного пса, приставшего к ним еще «там, где сейчас мама». Лишь только самый маленький уснул без пререканий, прямо на полу, среди игрушек и гильз, в одежде и ботиночках. На вопрос «почему они грубят ему?» – дети отвечали отцу недовольно и загадочно:

– Мамы просто так не умирают.

---

[64] *Гаити* – собирательный пример стран, в которых военные время от времени захватывают власть.

Пьяный капитан ничего не понял и сказал, что она умерла от рака крови… кровь стала больной. На что рыжий Хамит проворчал тоном гарнизонных бабок:

– Мы все здесь перемрем от рака.

Чувствуя как в Эрике боль особенно остро прояснилась, Арон сосредоточился, желая принять хотя часть ее на себя, но тут капитан Исабаев опрокинул в себя полбутылки водки и упал замертво рядом с сыном на палас. Ладно, очнется, поговорим, решил Арон. Но утром началась такая суета… Старший сын, сонно валяясь на диване, наотрез отказался идти в школу, заяив отцу, трясшемуся от разваливавшейся на кусочки головы до немевших стоп: «Сам иди!» Капитан Исабаев вытащил его из-под одеяла за ухо, но собрать ему портфель так и не смог. Все учебники разлетелись неизвестно куда. Вооружив сына гарнизонным уставом, он все же отправил его на уроки, а остальных своих отпрысков затем затолкал в детсад.

В этот день он впервые опоздал на службу.

Вернувшись вечером домой с детсадовским племенем, капитан не узнал свою квартиру. Как блеснувший у Чехова на плотине бутылочный осколок говорил о полнолунной ночи, так оказавшаяся на паласе в центре комнаты грязная автомобильная покрышка свидетельствовала, что жизнь капитана Исабаева погрузилась в полный мрак. Малышей же стертая покрышка жутко обрадовала, и они тут же принялись на ней прыгать. И вопить невесть что. Папаша орал свое, драная собака выла, так как не хотела, чтобы Хамит забил ей в пасть сигнальный патрон.

«Нет, это невозможно вынести», подумал Арон и вылетел за окно и там прилип к наружному стеклу, размышляя о райских садах. «Почему? Неужели я действительно уже покойник?» – возвращался время от времени к нему неприятный вопрос, как правило по вечерам, когда темнело и на улицах городка становилось совершенно безлюдно.

А вот капитану Исабаеву было уже не до горестных переживаний. Наказанный увесистыми подзатыльниками, его рыжий сын сбежал из дома. Нашли Хамита только на третий день. Солдаты патруля сообщили в штаб о передвигающейся перебежками, как лис, в сторону полигона фигурке. Могли бы и выстрелить. Бывало отстреливали, правда, в последние лет тридцать только зверей. Свой поход рыжий Хамит отцу никак не объяснил.

Капитан Исабаев, твердый суворовец, любил порядок во всем, и в своем вдовстве решил не сдаваться, делая буквально все, чтобы хоть как-то отладить нарушившийся ход вещей. Он вытаскивал из-под кроватей подушки, зашивал одежду, выглаживал до дымки каждое полотенце и носовые платки, отдирал от хлеба пластилин… Но все было тщетно. Он даже пробовал поддерживать дисциплину в доме денежными премиями, иногда суля и полтинник. Но и финансовая ловушка, на которую клюнул бы любой нормальный миллионер в Америке, несмотря на все свое богатство, не дала результатов. Пацаны как

взбесились. То, не отзываясь, часами сидели уткнувшись в экран черно-белого телевизора, то за несколько минут, словно смерч с шестнадцатью конечностями, разносили платяной шкаф в щепки. Впрочем, не жаль, дрянь мебель, из прессованных опилок.

Оставалась последняя надежда на тещу, жившую со своим стариком в Белоруссии. Однако на поданный капитаном рапорт с просьбой разрешить приезд родителей покойной жены пришел отказ. Подавать повторные прошения и снова ждать месяц, а то два не имело смысла, так как он сам указал в автобиографии факт пребывания тестя на оккупированной Германией территории. А где ему, подростку из-под Гомеля, еще было пребывать в 1943 году?

К концу учебного года крашеная учительница заявила, что вынуждена оставить Хамита Исабаева на второй год. Позор, сын – второгодник. Капитан, вернувшись домой обозленным как никогда, увидел один свой хромовый сапог в унитазе, другой просто обоссанным. Они были его любимые, не раз он пытался определить им законное место на полированной тумбочке в спальне, да жена не позволяла. Теперь же вот они… униженные, как валенки последнего скотника. И тогда из глаз капитана Исабаева впервые за последние лет двадцать полились слезы. Он глотал соленые капельки и вспоминал, как, зазывая его на свои любимые индийские фильмы, супруга говорила: «Пойдем, поплачем…» И хотя рыдала она одна, глядя на несчастных женщин Раджа Капура, но, возвращаясь домой с мужем под руку, делилась с офицерскими женами: «Мы так с Исабаевым плакали!»

Арон за окном встрепенулся, понимая, что наконец-то пора оказать хотя бы какое-то душевное содействие брату, но опять помедлил. Не любил он, когда Эрик был так зол.

Капитан Исабаев еще походил по пустой загаженной, разрушенной квартире и понял – край! Дальше он снова начнет пить, а там все рухнет, семьи его не станет совсем. И капитан Советской армии принял осуждаемое всем мировым сообществом решение, но на его взгляд единственно правильное.

К ночи он собрал всех своих сыновей в комнате, выстроил их в нечто похожее на шеренгу и, придерживая все падавший на него шкаф коленом, объявил, что он, капитан Исабаев вводит на территории вверенной ему квартиры военное положение. Указ начинает действовать в полночь с 22 на 23 мая 1984 года, неподчинение параграфам новой Конституции, над которой работает Военный комитет в его лице, в частности, нарушение комендантского часа, будет строго караться самыми суровыми мерами, вплоть до расстрела. Демонстрации, митинги, издание газет и журналов без военной цензуры, а также листовок и плакатов запрещены. Затем капитан зачитал приказ № 2, по которому объявлялась всеобщая мобилизация, и все мужское население квартиры, вне зависимости от возраста, считалось призванным в национальную

гвардию. Военным комендантом квартиры и командиром национальной гвардии назначается, с присвоением ему звания сержанта, Хамит Исабаев.

Мальчишки слушали, открыв рот, с изумлением рассматривая отца, экипированного согласно чрезвычайной обстановке в походное обмундирование с полным боевым комплектом. Рыжий Хамит недоверчиво выпячивал губы, готовый вот-вот презрительно сплюнуть на пол, но услышав: «Сержант Исабаев, принять командование гвардией!», неожиданно даже для себя гаркнул:

– Есть принять командование!

Братишки, вслед за ним легко втянувшиеся в новую веселую игру, прыснули было от смеха, но новоявленный сержант кинулся на них с выставленным вперед кулаком и завопил:

– Стоять! Смирно!

Мобилизованные гвардейцы тут же подтянулись, старший кулак им был хорошо знаком.

С введением военной диктатуры ситуация в доме Исабаевых резко изменилась к приемлемому варианту, благодаря не столько возросшему авторитету самого капитана-диктатора, сколько жесткости военного коменданта, да и сам он начал снова ходить в школу. Теперь капитан Исабаев занимался только финансами и внешней политикой, перепоручив все остальное, включая и тюрьму в кладовке, сержанту. И тот вполне справлялся. Лишь один раз, когда встал вопрос о более точном взвешивании сладкого пайка, главе правительства пришлось прямо вмешаться, и нешуточный бунт рядовых не состоялся в полной мере.

Порядок и чистота – вот девиз любой приличной национальной гвардии. Лишь один раз возникла путаница и с совершенно странной стороны. Самый младший четырехлетний сын имел имя Сержан. И как только капитан-диктатор обращался к командиру гвардии по званию, Сержан сам выскакивал вперед. И исправить здесь казус было невозможно даже самыми недемократическими методами. Малыш не желал никак видеть разницу между именем и званием. Пришлось всех солдат без исключения перевести в сержанты, а командиру гвардии присвоить звание лейтенанта с отметкой в приказе № 235: «За успехи в политической и военной подготовке личного состава», что, впрочем, соответствовало действительности.

Капитан Исабаев рано лишился отца, умного, тонкого человека. Мать тоже стала часто болеть, и сын воспитан был в казарменном духе суворовского училища. Но несмотря на это, у него хватило ума, не в пример некоторым хватам тоталитарных режимов, отказаться от погон маршала. Сообразил он, что не стоит торопиться и с введением новой Конституции, а посчитал, что его народу довольно все того же армейского устава. Принятые в армии порядки и дисциплинарные взыскания были привычны и не давали сбоев. Особенной популярностью у коменданта пользовались наряды вне очереди на кухне. Тем

более, что их активно поддерживал и сам капитан-диктатор. Они повышали аппетит у детей и чувство бережливости даже к самому черствому кусочку хлеба.

Итак, на кухне чистилась картошка, полы, если и не блестели, то всегда были чисто вымыты, пластмассовые автоматы и жестяные пистолеты больше не валялись где попало, а аккуратно выстраивались в оружейном уголке. Сам комендант лейтенант Хамит привел в порядок растрепанный семейный фотоальбом, а затем целый вечер, сурово посматривая на занятых самоподготовкой сержантов, ходил задумчивый и перед самым отбоем обратился к капитану-диктатору непривычно панибратски:

– Папа, где та карточка мамы, где она на верблюде?

Столь явное нарушение устава влекло на собой неотвратимое наказание, но вопрос сына взволновал самого Эрика Исабаева. Не само отсутствие той фотографии, конечно, качнуло сердце вдовца, а те приятные воспоминания, связанные с тем же верблюдом на пляже Киргизского моря… Было же вроде счастливое время…

Пять лет назад капитан Исабаев с семьей отдыхал на Иссык-Куле, отпуск пришелся на сентябрь, бархатный сезон! Устроились они чисто и уютно, комната за три рубля почти у самого берега озера. Голубые волны, раскаленный белый песок дикого пляжа, фрукты ведрами… Дети маленькие, близнецам всего по годику, и, естественно, они ничего не соображали сверх того, что им было положено по природе, так что можно было позволять себе супружеский интим гораздо откровенней и с утра до утра.

Капитан Исабаев улыбнулся, от боли вылезла она на лицо кривой. Но все равно приятно было посидеть так, вспомнить.., если бы в это чудное ностальгическое чувство замотанного службой человека не влез опять со своим фотоальбомом сын:

– Ну нет ее нигде! Где она?

– Чего нет?

– Фотокарточки мамы, – уже ожесточенней произнес комендант. –Та, где она на верблюде.

– Ну да, нет, согласился капитан-диктатор, самолично пролистав альбом.

Там на Иссык-Куле, на пляже одного из санаториев семья Исабаевых фотографировалась на отдрессированном специально для такой работы верблюде с короткой ковровой попоной. Тогда жена смеялась и говорила:

– Он хочет имя свое сказать и тянет губы дудочкой: «Ю-ю». Его зовут «Юю».

Ни фотограф, ни Исабаев не возражали по разным на то причинам, а дети верили. В пачке отпечатанных фотографий снимка, где она сидела одна на верблюде, не оказалось. В те безмятежные дни, полные солнечным светом на это никто не обратил внимания. Молодые супруги больше интересовались друг другом как телами живого мира, а не их изображениями. Теперь же капитану

Исабаеву отсутствие именно той фотокарточки показалось потерей, он снова чуть не заплакал от обиды. Но не позволил себе слюнтяйство в присутствии сержантов гвардии:

– Нет, значит, нет, отрезал он.

– Как нет? Если я помню, что мама была одна на верблюде и дяденька ее фотографировал, – заупрямился рыжий Хамит. –Ты один есть, я один есть, а ее нет.

– Ты не можешь помнить, тебе было четыре годика.

– Я помню, – еще более настырней произнес командир национальной гвардии.

– И я! Я тоже! – влезли в разговор кучерявые близнецы.

– А вы вообще соски сосали! – возмутился капитан-диктатор.

– А я тоже помню – мама была, – неожиданно заявил и сержант Сержан, появление которого в то лето только задумывалось, причем совсем не так, а в образе девочки, для чего были куплены заранее бантики.

Последнее заявление, высказанное в абстрактной, но все же и в обобщающей форме, согласно закону, гласящему, что устами младенца глаголет истина, мгновенно накалило обстановку. Капитан Исабаев на себе понял, как неустойчивы становятся военные режимы, когда армия помнит то, что забыл сам диктатор.

– Возможно, мама и фотографировалась одна, но карточка не получилась, такое бывает, – хорошенько все взвесив, начал маневрировать капитан Исабаев, как матерый политик.

– Нет, она получилась! – отрезал лейтенант-комендант Хамит, и гвардия дружно встала за его спиной.

– Значит будем искать, – капитан-диктатор встал, поправил на себе портупею и скомандовал. – Отбой! Разойдись!

Капитан Исабаев надеялся, что фотография, как и Конституция, забудется, однако на следующий день лейтенант Хамит кратко, но твердо спросил:

– Скоро найдется мама?

А через неделю эта фраза звучала в устах гвардии уже как ультиматум, за которым слышался гул мятежа.

Капитан-диктатор вспомнил весь ужас, царивший в доме без матери пацанов: варенье на спинках стульев, степных ужей в карманах шинели, вшей, каким-то чудовищно быстрым способом заводившихся в немытых вихрях детей… и самым энергичным образом взялся за поиски утерянной фотографии. Все обыскал, даже газовую плиту сдвигал. Выехать самому за фотографией на Иссык-Куль не представлялось возможным. И он постарался вспомнить, кто из его знакомых служит в частях, расквартированных в Киргизии. Оказалось, один из его сокурсников командует ротой в гарнизоне у поселка Рыбачий, почти там, где он отдыхал с семьей. Капитан Исабаев тут же написал ему письмо с просьбой найти курортного фотографа, который с усами и с немецким

акцентом, снимавшего отдыхающих с верблюдом тогда-то и там-то. Результатов положительных из южного военгородка ждать не приходилось, потому как тот парень в свое время в училище много натерпелся от весьма драчливого курсанта Исабаева. Но чудо случилось. Пришел пакет, и там была злополучная фотография жены на верблюде по имени Ю-ю и даже негативы. Конфликт с гвардией был разрешен, вечером рыжий Хамит аккуратно вклеил карточку в фотоальбом и скомандовал:

– Стройся в баню!

Гвардия отправилась мыться, а капитан выпил пива. Сразу две бутылки, курил на кухне и глупо улыбался, ни о чем не думая, даже не вспоминая о том счастливом курортном лете с Ю-ю.

Солдат спит, служба идет. А мальчики любили поспать. Вот так еще годик продержаться, и можно будет отдать старшего в суворовское училище, а там смотришь и близнецов.

И все же Эрику Исабаеву было трудно без женщины. Если бы нашлась молодая особа по сердцу, то он, пожалуй, поспешил бы сразу перейти к гражданскому правлению. Но такой не находилось. В гарнизонном городке разведенок было на целую роту, но все с детьми да и не нравились они молодому капитану.

И вдруг весной, когда на улицах появляются цветы сирени и тонкие такие ажурные колготки, увидел он у библиотеки девушку, напомнившую ему своей походкой жену.

Гвардия встретила библиотекаршу равнодушно. Но когда она явилась к ним в дом во второй и в третий раз, попила чай, сержанты после ее ухода возмутились:

– Сама бы отдежурила наряд на кухне. А то села, пожрала и ушла себе!

Эрику Исабаеву показалось, что наступил самый удачный момент для объяснений с сыновьями. Он нахмурился и поспешил возмутиться вместе со всеми:

– Вот именно, пусть дежурит на кухне! А то только мы да мы.

Сержантам эта идея все больше нравилась. Они стали рассуждать о больших способностях этой тети мыть и полы, и стирать, на что комендант лейтенант Хамит хмыкнул с иронией и ушел из кухоньки в комнату. В тот же вечер он в отсутствие диктатора провел с сержантами незапланированное политзанятие. Капитан вернулся от своей женщины в первом часу ночи. Улыбаясь, он открыл дверь, попытался включить свет, но выключатель ему в этом не помог. Капитан зажег спичку и полез к электропробкам. В эту секунду в его лицо ударил луч фонарика, а в поясницу ткнулись два ствола.

–Стоять! Руки вверх!

–В чем дело? Да как вы смеете?! – возмутился капитан.

–Руки вверх! Молчать!

Капитана с поднятыми руками провели в комнату, усадили на стул в центре комнаты, и он увидел перед собой всю свою национальную гвардию в полном боевом вооружении. Они стояли с непроницаемыми лицами, широко расставив ноги и не отводя автоматы от еще минуты всемогущего диктатора. От них отделился лейтенант Хамит и сурово произнес:

–Ваше правление кончено. Всю власть в свои руки берет гвардия.

Капитан вздохнул и, не теряя надежды, снова попытался прибегнуть к изощренным дипломатическим приемам:

– Можно руки опустить?

Ему разрешили, и он продолжил уже приятельским тоном:

– Вас не поддержит мировое сообщество, соседи и начальник гарнизона. И потом финансы… в бухгалтерии вас не признают.

– Нас это не волнует. Мы самостоятельная страна.

– А как же…

– Никак. И никаких теток у нас в доме мы не потерпим! Понятно?

– Понятно…

Суюнши

Продолжу, если угодно людям и тем сорока странникам, кто знает [65]. В тяжкий год Коня [66], скажу, и месяц – акпан [67], верховный главнокомандующий фронтом товарищ Сталин направил к казахам специальным самолетом посланника с известием, что враг под Сталинградом разгромлен и к весне Гитлеру вообще будет конец. Так оно и случилось. Мне, прозванному Маке Говорливый, лично предстояла честь встретить и принять на ордынской земле московского вестника. Многие помнили об этом... да ушли в иной мир. Говорят, дочь Калибека жива еще... не слышал, сынок? Она должна помнить. Живет, говорят, себе в городе, в Гурьеве. Как ее там комары не съели! До чего красивая была. Султаны и астраханские купцы приезжали взглянуть на нее, да не могла, бедняжка, забыть одну нашу встречу...

Так вот, в тот бедственный месяц акпан стало нам особенно тяжело. Фашист стоял уже на Волге, от нашего аула всего-то день и край ночи на хорошем скакуне.. Да-а... месяц акпан... Есть в народе и второе название – ак баскын. Точнее и не скажешь – «белый грабитель». Снег теряет в это время свою пушистость и белой коркой покрывает степь, не добраться скоту до подснежных трав, только копыта себе ранит. Одним словом, мор и джут [68] в феврале ждут. И с запада наседает грабитель, и у нас тут... и стар и млад не знали сна, были заняты одним: спасали скот. Тогда, после семи дней неистовых буранов установилась ясная погода. Лед озер у нашего поселка был ровен и чист. На него и опустился тот серебристый самолет, заскользил и, как по знакомой дорожке, выкатил прямо к нашим домам на пологом берегу. Вначале я подумал, что пожаловало какое-то высокое начальство из Уральска, а может быть, даже из Оренбурга, и решил, как председатель аульного Совета, встретить гостей. Вот и поспешил к ним навстречу. Конечно, все остальные, особенно женщины, испугались, попрятали своих детей. Видели они самолет впервые, а этот вовсе особенный, с пушкой. Решили, что война докатилась и до нашего порога.

Иду я, а тут на крыле самолета появился человек в меховой куртке, весь перетянутый ремнями, встал в полный рост, вытянулся, как гусь, и крикнул: «Сүйінші!» Конечно, тут же вокруг самолета собрались люди. Куда только страх подевался! А летчик, все еще повторявший свое «Сүйінші! Сүйінші!», наконец смолк, засмеялся, а потом заговорил – прямо как диктор по радио: «От Советского... этого... Информбюра! Сегодня при содействии войск...» Каких

[65] Суфийские святые, следящие за миром.
[66] 1942 год.
[67] Февраль.
[68] Гололед на степных пастбищах.

именно, этого я не помню, да это и не важно. Важно то, что он сказал: фашистских гадов в упорных и кровопролитных боях разбили, окружили и всех засунули в один казан. А генерал немецкий Палыс сдался, подписал капитуляцию всей своей армии. Сказал все это летчик и спрыгнул к нам с крыла, украшенного звездой. Люди его подхватили, стали обнимать, многие плакали. Хотя... разве можно человеку сразу понять, осознать важность такого известия? Только очень уж заразительно было торжество того парня. Стал я успокаивать людей, как бы еще на радостях не повредили что-нибудь, все же как-никак – посланец из Москвы. А сам, не стыжусь этого, так сильно затосковал. Почему-то я решил, что этот парень видел там, на фронте, моих сыновей. Ребят моих трудно не заметить, да и этот парень, видно, всюду летает. Сейчас самолетов много. Может, наступит такой день – и мне дадут самолет, чтобы я... смог найти своих мальчиков... Да-а... Продолжу: успокоил я людей, и хотел было сам обратиться к летчику, а он все по сторонам смотрит да вдруг спрашивает: «Маке-ата, а где моя мама?» Все в изумлении застыли. «А как ее зовут? – спросил я. – Уж прости меня, стар я стал помнить всех». А он отвечает: «Балжан». Вот тебе и задачка. Жила у нас женщина Балжан – это правда. Но детей у нее вроде и не было никогда. Видят все святые духи, не было у нее сына. Посмотрел я на жену Амана – еще та баба, все про всех знает, как аНКабиДа [69] – вижу по ее удивленному лицу, что и она не слышала даже о том, что Балжан когда нибудь рожала. Наверное, парень заблудился. Еще бы, как тебе найти верно дорогу, там ведь нет никаких примет, как в степи, ни лесочка, ни одинокого мазара, ни редкая трава-вечерница, растущая только в бозулукской впадине.

Они, замерев, сидели на двух тесно сдвинутых койках и в полумраке казармы казались друг другу посвященными рыцарями единого тайного братства, возможно даже пиратского. «Вот так мы на чердаке с пацанами курили», – хотел прошептать Снежков, но не решился. Любой скрип, шорох заставлял всех вздрагивать. Каждый старался сидеть тихо, прислушиваясь к собственному дыханию. Капитан Холодный, скинув унты, широко и спокойно, как сугроб в овраге, спал. Иногда капитан всхрапывал, и тогда летчики эскадрильи тревожно косились в его сторону. Но вновь наступала тишина, какая бывает разве что на минном поле.

Ждали Серегу Ковалевского, ждали уже долго. Казыбек, сидевший лицом к двери, еще раз развернул правое запястье и взглянул на циферблат часов, на котором умелой рукой было выведено: «Смерть фашистскому гаду!» и почему-то пририсована роза. А стрелки показывали, что Кобалевский выбежал из комнаты двадцать шесть минут и двенадцать секунд назад. Часы появились у Казыбека в день его первого боевого вылета, два месяца назад.

[69] НКВД – Народный комиссариат внутренних дел СССР.

В тот день, вернее темное зимнее утро, командир эскадрильи, инструктируя новичков перед вылетом, долго и с раздражением останавливал свой взгляд на нем. Курсантская гимнастерка, в которой прибыл в часть новоиспеченный младший лейтенант, была ему явно мала, из рукавов ее торчали длинные худые запястья. Капитан Холодный не терпел и не допускал даже малейшей неаккуратности в одежде ни у себя, ни у подчиненных, не говоря уже о том, что кто-то может сесть в кабину самолета в грязной форме. Но посылать вчерашнего курсанта в хозчасть не оставалось времени, только после боя. Капитан закончил изложение поставленной перед эскадрильей задачи уже в скверном настроении. С кем вылетать? В строю стояли малопонятные ему безусые мальчишки. Мальчишки, которые вне всякой логики, а значит, хаосом войны были вознесены в ряды авиационного клана, доступного только избранным.

– Все. Вольно, разойдись. Младший лейтенант Мусин, ко мне. – Холодный колдовал над картой в открытой планшетке и, поднимая взгляд на подошедшего к нему Казыбека, опять увидел заголенные чуть ли не до середины руки летчика. «А ведь он растет», – вдруг подумал он и вместо резкого выговора, не ожидая того сам, достал из нагрудного кармана кителя наручные часы:

– Принять, Мусин! – сухо и недовольно произнес капитан.

– Есть принять! – лихо ответил Казыбек.

Млодой летчик решил, что часы – обязательный атрибут индивидуального снаряжения, и стал относиться к ним серьезно, как к приборам самолета, точно отмечая вплоть до секунд показания стрелок. Глядел он на часы не только во время полета и на взлетной полосе, но и в столовой, на улице и даже ночью в постели: циферблат зачаровывающе светился фарфоровыми ниточками и точками.

Любовь к часам возникла у него давно, когда он десятилетним мальчуганом спросил у уездного агитатора, имевшего на всю округу единственные ручные часы, о силе и воле которого среди местных жителей ходили легенды: «За что награждают часами?» Агитатор авторитетно заявил: «За героическую преданность женщинам». «И маме?» – уточнил Казыбек. «Особенно маме», – уже строго и наставительно добавил уездный герой. Конечно же, ребята не могли не заметить такой прекрасный механизм на руке товарища. Стали спрашивать: чем и как он угодил капитану. Казыбек удивился и сам спросил:

– А вам что – не выдали?

– Ну, ты даешь! – присвистнул Сергей. – Ты что, не знал? Такие часы – дело личное. Это же часики его единственного брата. Артиллериста. Он здесь, на правом берегу, погиб. Фрицы прямо миной в расчет, так что от Холодного-младшего только два сапога да руна с часами остались. И эти часы старшему

передали.

Казыбек побледнел и сгорбился, как от удара ладонью по затылку, так стыдно ему стало за свою близорукую глупость. Он снял с руки часы и при первой же возможности протянул их капитану Холодному, хотел извиниться, но только и произнес:

– Возьмите...

Капитан устало взглянул на него, на часы, выигранные им в госпитале у разведчиков в карты, и ответил:

– Отставить.

Отходя от застывшего юноши, капитан невольно притронулся к грудному карману своего мундира, в котором хранил часы брата с ремешком, пропитанным кровью и с беловатыми точечками, наверное, от костного мозга предплечья.

Казыбек не способен был принять мысль, что только что капитан Холодный отказался от памяти о братишке, и стал уверять себя, что этому есть свое объяснение. К тому же над сердцем еще продолжала, пусть слабенько уже, но пульсировать в аорте радость от обладания таким прекрасным и очень нужны в бою часовым прибором. Как спидометр. И очень любил Казыбек, когда у него спрашивали время. Тогда он смотрел на часы, оттягивая пальцем край рукава, что спрашивавший должен был обязательно видеть полностью на его запястье этот прекрасный и точный механизм. И когда Кобалевский спросил его: « И что теперь будешь делать с часами?», он ответил: «Ни шагу назад!». И этот его ответ вызвал у обоих друзей улыбки.

28 июля 1942 года во всех воинских частях и военных училищах Красной армии был зачитан Приказ Народного комиссара обороны СССР № 227, ставший известным, как Приказ: «Ни шагу назад!». Приказ ужесточал дисциплину в Красной армии и категорически запрещал отход войск без приказа. Нарушившие Приказ объявлялись изменниками Родины и направлялись в штрафные подразделения. Приказ № 227 представлялся грозным и самым насущным. Но 16 августа 1941 года появился Приказ № 270 Ставки Верховного Главнокомандования СССР от «Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия», подписанный тов. Сталиным, нарушители которого могли быть расстреляны на месте, при этом они признавались дезертирами, а их семьи подлежали аресту. И конечно же Приказ № 227 скрыл своей смертельно устрашающей тенью Приказ «Ни шагу назад!». В Приказе № 227 были такие слова: «Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности». Летчики! Цепляйтесь за каждое облачко! Смешно и, вообще, они выше всякого такого, им о долге напоминать категорически излишне.

Сереги Кобалевского не было уже два часа двадцать девять минут и четыре секунды. Да где он шатается?! Но здесь, надо признать, у Сергея была тайная причина для такой долгой задержки. Он заскакивал на минутку в блиндаж к зенитчицам с надеждой все-таки завалить кудрявую москвичку, а провозился час. Ему удалось заманить ее в закуток с умывальниками, но она снова только отбивалась: «Успокойся ты... Не все девчонки спят. Вон Тося только притворяется. Руки убери!» Об этом инциденте Сергей Кобалевский решил не упоминать.

Наконец в коридоре послышался топот унт и в комнату ворвался Сергей. Он с силой, зло бросил сорванную с головы шапку и шагнул к углу комнаты. Все замерли в тревоге. Капитан Холодный заворочался на своей койке и с хрустом в костях потянулся на постели. Снежков зашептал Кобалевскому:

– Взял? Че молчишь? Ну, взял?

Сергей вполголоса произнес:

– Нет. Усек меня полковник, выходил из блиндажа отлить и усек! Пригрозил взысканием. За мной, говорит, не заржавеет.

– У-у! Кретин! – пробурчал Снежков. – Мы же тебе час втолковывали: близко к штабным не подходи. Стой и жди, когда начнут сменяться телефонистки и за ними.

Сергей подумал с досадой: «И, правда, надо было действительно в блиндаж к телефонисткам...». Но и этим соображением не поделился с товарищами.

Капитан Холодный старался не прислушиваться к громкому и резкому шепоту летчиков. Около часа назад, когда они вернулись в этот раз без потерь с боевого вылета, по полку прошла проверенная новость: подписывается Акт о капитуляции немецких армий под Сталинградом. Капитан как бы не понял ее. Долгие, вязкие, казалось бы, не имевшие исхода, месяцы Сталинградской битвы странно отразились на сознании Холодного, притупили его чувства. Он не только просто не говорил о победе, но и не думал о ней, не предсказывал ее день. Так человек в запале своих сил, каменотес или горняк, оказавшись в заваленном тоннеле, рубит и рубит, ни о чем не думая, ничего не желая ... и не может остановить себя.

Шепот переходил в гвалт.

– Есть идея! – вскрикнул Кобалевский.

– Тихо ты! Ну, только суть, – оборвал его Снежков.

– Когда я крутился у штаба, там, между прочим, шатались парни и из других эскадрилий. А Петрухов даже ... Ну, Петрухова вы знаете, ну тот, который на прошлой неделе над Татаркой сразу двух мессеров сбил. И очень даже просто. Он одного прошил, ему второй в хвост зашел, ну а он быстро сообразил и тут же упал метров на семьсот, а фриц тоже не дурак, ясно, ас, пикирует на него, а Петрухов видит такое дело...

– Знаем, знаем, ты дело давай, – торопили его ребята.

– Так вот, этот Петрухов даже с одним штабным парочкой словечек перекинулся. Корешка его я сразу усек.

Приблатненный дворовый жаргон нескладного, сутулого молокососа Кобалевского неприятно резал слух Холодного. В его понимании летное искусство было привилегией интеллигентных профессионалов. Летчик предвоенных лет был даже не законодателем мод, а образцом новой, молодой, чистой советской культуры. В сорок первом воевали еще профессионалы, но где они теперь? Прежние однополчане Холодного почти все погибли. Согласно статистике, военные летчики погибали после восьмого-девятого воздушного боя. Из прежних, давних товарищей капитана остались в живых только двое. Один из них всего неделю назад лишился глаз в горящем бомбардировщике, другой – Алексей Петрович Петров – был рядом, в штабе полка, как раз там, где ему, прирожденному штабисту, и полагалось быть. С Петровым Холодный задолго до войны окончил вместе летное училище и, хотя они вместе начинали службу в одной эскадрилье, близких, дружеских отношений у них не сложилось: во многом они с Петровым были похожи. Может, поэтому и Холодный, и Петров были аккуратны, педантичны, совестливы и жестко требовательны как к себе, так и к окружающим. Оба лично знали свои особенности, ценили их друг в друге, но не сходились, а как-то старались держаться на расстоянии.

В сорок втором на аэродром стало приходить другое племя. Мальчишки, почти со школьных парт, из ремесленных училищ. Глуповатые, болтливые, с приторно-жалким запахом пота еще-не-мужчин. Треп этих жеребят продолжался, кажется, вечно.

– ...к соседям, может, они знают? Петрухова не спросил?

– Говорит: так, мимо проходил.

– И ты отстал?

– Да нет. Прямо я, конечно, не спрашивал, не дура, Как, мол, Петрухов. Не слыхал? Говорит, не слыхал.

– Ясно, темнит.

– Тут надо было «ни шагу назад», а не с кудрявой.

Послышался смех.

– Ну, есть идеи?

– А мы теперь официально. Пойдем делегацией. Так, мол, и так. Кто что знает – на кон. Имеем право знать.

– Фигня! Тут бы к командованию пойти... пацаны, а если.., – шепот перешел в тихий гул. Капитан Холодный встал и, сунув ноги в унты, направился к умывальнику ополоснуть лицо. До него теперь доносились лишь отдельные слова: «...не, не пойдет... Петров... он ему должен был сказать... ты иди... почему я?!»

Капитан Холодный внимательно разглядывал в зеркальце свой чисто

выбритый подбородок и решил побриться. Когда он потянулся к своей тумбочке за бритвенным прибором, к нему подошел лейтенант Кобалевский. Держался он робко и в то же время развязно:

– Товарищ капитан, разрешите обратиться. Тут мы просим Вас... направить делегацию прямо в штаб. От всей эскадрильи. Вам-то уж не откажут. Имеем право знать. Ну о капитуляции. Тем более говорили, что вы с майором Петровым вместе...

Капитан Холодный прошел мимо Кобалевского, бросив на ходу:

– Отставить. Шапку поднять.

– Есть.

Кобалевский оглядел вокруг себя пол. Никакой шапки на нем не валялось. Ребята, стоявшие за ним, молча разошлись по своим койкам. Между ними и Холодным недоумением повисла тишина. Какая еще шапка? Всеми овладело чувство незаслуженной обиды, постепенно оно переросло в слепую юношескую неприязнь к старческой эмоциональной тупости человека, перед мастерством которого они преклонялись и которому были все подвластны. Неприязнь стала злостью. Ишь ты, бреется! И как можно быть таким бесчувственным? Правильно, и фамилия-то у него – Холодный. Чурбан! Даром что ас. И что за шуточка с шапкой?

Капитан Холодный протер тройным одеколоном выбритые щеки, надел меховую куртку и вышел из казармы.

Ребята вновь зашумели. Больше всех горячился Кобалевский.

– Я не понимаю! – почти кричал он. – Почему скрывают от нас, боевых офицеров? Всякая там штабная крыса знает, а мы нет. Может быть, для меня это дело – все в жизни. Не было у меня другого. С Нахаловки приходили пацаны мировую просить, так это чо? Хотя мы с ними год в кровь бились. Я с держимордой ихним, Ленькой, вместе призывался, думал тогда, что страшнее, сволочнее этого Леньки и на свете нет. Конечно, ясно, фашисту под Сталинградом голову не поднять, все – котел и точка. Но кто его знает, этого подлюку Паульса, вдруг заерепенится: мол, не подпишу?! Нам-то, конечно, наплевать, подписывай – не подписывай, все равно пиши пропало. Но ведь это самый смак! Слово-то какое четное: ка-пи-ту-ля-ция!

– Подпишет, куда денется, – отвечали ему.

Да и он сам убеждал всех:

– Подпишет гад! Уж мне поверьте. Он кто, хоть фельдмаршал, но гнида. Знаете, как его взяли?

Все знали, но никто не был против, чтобы Кобалевский еще раз с приятным для всех удовольствием рассказал историю пленения немецкого главнокомандующего.

– Точно говорю, ворвались наши пеходралы туда, значит, это я вам про фашистский штаб. Туда-сюда, а Паулюса нет. Наши очень расстроились. Вот

так штука. А штаб у них в бетонном бункере...

– В подвале универмага, – не выдержал кто-то.

– В подвале, точно.

– Да какая разница? Главный штаб, как положено, роскошь всякая. Наворовали у нас в музеях. Картины разные, ковры даже, все для такого зверья, ну и клозет, естественно, теплый. Аккуратно, как и положено: для мужиков и для баб. Солдатики в мужской заглянули, а мимо женского прошли. А была там среди них медсестра, она и зашла по надобности. Смотрит, а на очке фриц сидит! Паулюс. Так и попался, засранец. В клозете прятался. От нас не спрячешься! .

– А-а... ерунда все это, – заметил Снежков, укладываясь спать. – Капитуляция, не капитуляция, воевать надо, и все. Война есть война. Хватит, пацаны.

– Война войне рознь, – ответил ему Кобалевский. – У нас она какая? Освободительная! Поэтому должна быть торжественной.

Все поддержали Серегу. Лишь Казыбек сидел нахохлившись, как кречет. Кобалевский протиснулся и нему и тихо спросил:

– Ты что? Болит что?

– Думаю, – ответил так же тихо Казыбек.

– Тоже мне, мыслитель! – обиделся Кобалевский, поняв, что дружок его не слушал, но, любопытный, тут же поспешил спросить. – О чем думаешь-то?

– Отсюда до нашего поселка лететь всего-навсего полчаса... Он ведь рядышком, между Волгой и Уралом. Даже к Волге ближе.

Сергей спросил еще задушевней:

– К маме хочется?

– Да, хочется, – твердо ответил Казыбек.

Кобалевский опустил глаза, промолчал. Ему тоже очень хотелось к маме, но он даже не знал: жива ли она там, в Симферополе. Мать Сергея еще до войны тяжело и неизлечимо болела, было трудно с лекарствами, дорогими, с мудреными названиями, но искали, покупали на рынке втридорога. А сейчас ... вряд ли они стоят на ее столике у кровати. И что обидно, те самые, нужные ей таблетки поступали из Германии.

Вот так, сев близко, лицом к лицу, Казыбек и Сергей, словно продолжая беседовать, молчали и думали каждый о своей матери.

У маленького, с плоской крышей, окраинного дома мужчины аула не задерживались. Неприветлива была к ним хозяйка, да и стоило одному из них заглянуть во двор, как на порог дома тут же выбегал остроносый мальчуган и, зло смотря исподлобья, сжимал кулачки, кричал:

– Чего тебе? А ну, иди отсюда!

А если пришелец упорствовал и шел к двери, мальчишка отбегал в

сторону и, подхватив с земли камень, метко и сильно бросал в него.

Мужчин аульного поселка Казыбек возненавидел рано и люто, как только стал чуть догадываться о какой-то тяжкой беззащитности матери перед ними. В поселке жили и другие одинокие женщины с детьми, но все они были вдовами и окружены близкими родственниками. Не каждый мужчина решился бы обратить на них свой игривый взгляд. А мать Казыбека, хоть и была своя, но, осиротев в пятнадцать лет и узнав, что сердобольные женщины подыскивают ей подходящего мужа, никому не говоря, ехала в Уральск, но лет через семь Балжан вернулась с грудным ребенком на руках, найдя приют у дальней родственницы, старой ворчливой, всеми оставленной бабки. Та пустила ее под свою дырявую крышу, но узнав, что мальчик родился без отца, принялась мелочно и обидно изводить незваную племянницу, однако скоро умерла, оставив непутевой саманный дом на отшибе. И тут же один за другим заспешили туда мужчины: выпить кесе чая из рук казавшейся им доступной красивой и свободной женщины. Но никому не удалось задержаться в нем хотя бы на вечер, и они становились грубее, наглее, видя в ее увертках и отказах нечто оскорбительное для себя. Встречаясь с ней на улице, хватали за руку, стараясь прижать к груди, громогласно и оскорбительно отзывались о ней. И в глаза и за глаза. А как же еще к этой городской в крепдешиновом платье относиться?

А женщинам она не сразу, но понравилась. Была веселой и отзывчивой, всегда находила время выслушать любую, посочувствовать, всплакнуть вместе, и что привлекало особенно, Балжан была хорошей рассказчицей. Удивительные истории могла передавать, представляя героев в лицах, меняя тембр голоса и примолкая в самых волнующих местах. Она, без сомнения, много читала там, в городе, и обладала четкой памятью, иногда даже мешавшей повествованию, когда она увлекалась сама, начинала почти дословный пересказ знакомого ей романа, любимой книги. В эти минуты она представлялась женщинам явлением иного мира, полного чудес. Они удивлялись и готовы были слушать часами о том, как человек жил один на острове в океане, лишь время от времени переспрашивая, что такое «юнга» или «негр». Также оказалось, что она не только много читала, но и успела в городе окончить медицинские курсы, могла снять жар у ребенка, унять боли в животе, вправить вывих, посоветовать при женских затруднениях. Они и любили ее, и ревновали к своим мужьям. Замуж она не выходила, хотя случаи для этого были. Ведь не случайно мужчины были так навязчивы. Глуповатый, скандальный и крепкий муж ее единственной двоюродной сестры при ней затихал и радовался, как большая собака. Сестра, неряшливая мечтательница, было вначале заревновала, но мужа своего боялась и ненавидела. И легко смирилась с его сердечной изменой, тайно надеясь на то, что, может быть, теперь он ее оставит в покое. Однако дело затягивалось, и, уже не рассчитывая ни на что, разревелась на коленях у Балжан, умоляя: «Забери, забери ты его у

меня, забери... Бьет от меня, бил всегда и, наверное, убьет. У меня и печень болит, и вот здесь. Все отбил. А тебя не тронет, он тихий с тобой. А меня никогда не жалел, даже когда девушкой была. Все ему не так, увидит ложку на полу, бьет, присяду подумать о хорошем – бьет...».

Приходил сватать своего старшего сына и старик Маке. Долго он молча сидел за дастарханом, костяшками пальцев оглаживая свою жидкую бороду – от кадыка к высокомерно сведенной щелке рта, но позже выложил свои предложения сразу и ясно:

– Сына ты моего знаешь, и люди знают, не только люди, вся Советская власть знает... Так что с ним будешь хорошо жить.

Услышав в ответ разумный отказ, неожиданно повеселел:

– Правильно рассудила. Слишком молод он для тебя. Что тут говорить. Народ зовет меня Маке Говорливый, а сейчас не поется у меня речь, и все тут. Да... Ну, тогда, если не желаешь выходить замуж за моего сына, выходи за меня. Ты ведь знаешь, милая, я уже год, как вдовый. Ты не бойся, я еще полвека проживу. Сына твоего подниму на ноги, станешь всеми уважаемой. А? Нет, значит, ладно, мне и одному неплохо.

Когда Казыбеку пошел пятый год, в поселке открыли больничку. Мать стала работать там. Приехал фельдшер, седоусый громогласный башкир. Через день мать брала Казыбека с собой на работу в свежесложенный из заводских кирпичей, чисто выбеленный барак. Медсестру Балжан часто вызывали принимать роды. Он тоже шел с нею. Сидя где-нибудь в передней чужого дома, ел сладости и многократно слышал: «Какая у тебя мама, жаным! Дай ей бог здоровья. Ты люби ее, не бросай никогда...»

Сверстников Казыбек сторонился, ведь любой детский разговор переходил в безудержное хвастовство отцами: «Он у меня знаешь какой!» «А у меня коня на скаку и камчой – раз!» «А у меня мама...» – пытался начать Казыбек, но его перебивали, презрительно щурясь, мальчуганы: «Тоже лезет, ветром надутый!» Тогда Казыбек уходил, забирался в тальник за домом и начинал: «А у меня мама, знаете, какая! Она все может. Она добрая, самая красивая, самая любимая. И самая смелая, сами знаете. Когда собака сторожа магазина взбесилась, все перепугались, только моя мама взяла ружье и – бац! бац! – готова! – увлекался Казыбек, забывая, что старого пса пристрелил сам сторож. – А еще у нее есть грамота за ударный труд, у нее три грамоты. Одна со знаменем, другая золотая, а третья ... такая, тоже красивая! И мама у меня тоже красивая».

И какая-то не такая. Все-таки она была странноватой, не совсем и не во всем понимали ее люди. К ней относились с любовью, возле нее теснились, а она как бы сторонилась других. Возможно, чувствовала или считала, что ее давний побег и рождение сына без брака и все, что связано с этим, ей никогда полностью не простится. Люди есть люди, даже близкие, даже добрые. Возможно, там, в городе, не случилось с ней что-то очень нужное, оборвалась

ее желаемая судьба, но она продолжала жить той жизнью, иной, чем аульчане. Этого не понимал никто: «Может быть, ей нужен был все-таки муж, но звали же... А она все с сыном да с сыном. Куда бы ни шла, что бы ни делала, всюду водила его с собой. И шепталась с ним, говорила так серьезно, как со взрослым человеком. О чем шептаться можно с ребенком? Лучше отослала бы его к детям. Какая-то ненормальная. И вот увидите, соседушки, помяните мое слово, она и сына вырастит каким-нибудь чокнутым!»

Так и рос маленький Казыбек с мамой. Только между ними двоими не было тайн, не было секретов. Все было одним для двоих – и хлеб, и слово, и белый свет. Хотела она этого или нет, все ее мысли, чувства, желания, как луч в кристалле, повторялись в сыне. Казыбек рос, ему исполнилось пятнадцать лет. Он должен учиться дальше, а в аульном поселке лишь семилетняя школа. Казыбек не мог представить жизнь без матери. Всякий намек, разговор на эту тему казались ему оскорбительными. Она знала, что он будет учиться. Именно учиться! И она нашлась. Она повезла сына смотреть самолеты. В пятистах километрах от родного аула у маленького городка был расквартирован авиационный полк. Не столько самолеты поразили Казыбека – он еще не знал ощущения высоты, – сколько сами летчики. Это были мужчины удивительной страны, может быть, страны Коммунизма. Развернутые плечи, одно перетянуто ремнем; темный отблеск голенищ сапог; несуетливые руки; гордые, прямые, со снисходительной полуулыбкой на лице. Каждое движение было полно великого достоинства. Сидя на бугорке перед аэродромом, мать и сын весь день смотрели, как двигаются люди между казармами и самолетами, как стоит и сменяется часовой, как прачки развешивают белье, протягивая веревки между мачтами антенн, как, прежде чем взяться за штурвал, летчик приглядывается к небу – единственному, что есть, что существует для него, как ветер для паруса. А вечером мама, ничего не объясняя Казыбеку, отвела его в школу-интернат над которым шефствовал в том маленьком городке авиационный полк. И он так же молча остался один. Ему было очень больно, но другого уже быть не могло.

Через два года он имел возможность поступить в авиационную школу, но перед ним стояла почти непреодолимая преграда. Так ему казалось. Быть принятым в комсомол – это же нечто такое сверхсобытийное, сравнимое только со вторым рождением. Время комсомольского собрания, на котором должны рассмотреть его кандидатуру, близилось. Нужно было написать автобиографию, но он не мог решиться написать об отце без согласия мамы. Ведь это была их тайна. И он написал о Маме. На тридцати страницах, и все лишь о том дне, когда она привела его к аэродрому. Перед собранием его отвели в сторону, велели быстро набросать новую автобиографию, а исписанные листы о маме забрал с собой толстый, тяжело дышащий газетчик с фотоаппаратом, ничего не сказав Казыбеку, и даже не взглянув в его сторону. Говорили, что он пишет книгу об авиации, и это возвышало его надо всеми.

Казыбек ни на что не надеялся, но его приняли. Из двенадцати кандидатур прошли голосование двое, он оказался вторым. Юноша был ошеломлен. Он будет летать! Об этом надо было говорить, рассказывать, обсуждать, сомневаясь и торжествуя, осмысливая и мечтая, но он не мог. Ходил по школе, по улицам к аэродрому и обратно, сосредоточенный и немой. Желание говорить о своей победе не проходило, усиливалось, тревожило его, а кругом, уже через час после собрания, все стало будничным, и будни эти казались ему вчерашними. Наконец он ясно осознал: Мама. Ведь только ей он умел раскрывать свои чувства и мысли. И тогда он первый раз убежал домой. Километров сорок проехал на попутном грузовичке по пыльной трассе, но дорога стала уходить на восток, и Казыбек, не задумываясь, пошел прямо через сеннюю степь, исчерченную глубокими оврагами и руслами высохших речушек. Осень была без дождей, но с ветрами и морозцем. Первую ночь он переждал в полуосыпавшемся мазаре, на рассвете мог вернуться назад к тракту, но, нетерпеливый и неистовый в своем желании увидеть маму, говорить с ней, пошел дальше; шел быстро, отчаянно. Его нашли через две недели редкие в этих местах чабаны и отвезли на лошадях в больницу того же маленького городка. Казыбек полуживой бормотал сухими губами лишь одно слово: «Суюнши... мама, суюнши... мама...».

Капитан Холодный, выйдя на крепко сбитое крыльцо, не задумываясь, не ставя перед собой особой задачи, мгновенно, как матерый волк, оцепенел и задрал голову. Выть на луну, правда, не собирался, а только прищурился. Сейчас небо ему не понравилось: заснеженное, низкое, с суетливым, дерганым ветром. Кружившиеся вокруг него в нехитрых спиралях мелкие снежинки вдруг напомнили ему хаос звезд в ночных полетах и то, что он никогда, даже в мыслях, не связывал конкретную карту звезд с земной чувственной явью. А вот надо же – снежинки, тающие на лице, задели его предсердие. «Дядя Игорь! Снежинки – это звездочки упавшие с неба?», – родному братишке Холодного четыре года, ему же самому шестнадцать. «Я тебе не дядя», отвечает юноша с пробившимися усами. «А почему ты маму никогда не называешь мамой, а Ниной?»

Игорь Холодный родился в Кутаиси, там он учился говорить и среди грузинской ребятни была словесная путаница: по-грузински «мама» означало «отец». Затем семья Холодного перебралась в Москву, но мама для него навсегда, до самой ее ранней смерти осталась Ниной. И сразу же вспомнился старшина, передавший ему то малое, что осталось после гибели его братишки. «Зачем все это?» – подумал тогда капитан Холодный. – Пригодится только месть, а это трагические сентиментальности». И с этой минуты им стала руководить не только лютая ненависть к врагу, но жесткое недовольство собой и своими боевыми товарищами за то, что еще не смогли

стать идеальными, сверхидеальными механизмами для уничтожения фашистов. «Да что я, абрек, что ли? Почему во мне только чувство мести и только месть? Я – человек, но они не люди». А может быть, его жизнью всегда руководствовала ненависть, только раньше она пряталась где-то под коренными зубами? Но ведь он любил. Любил брата, мать. Людей. Конечно же, да. Он всегда стремился к людям. Даже с Петровым был однажды на рыбалке, на Каме, в тридцать девятом... точнее – в августе тридцать девятого. Они обсуждали тогда предполагаемую покупку Петровым автомобиля, поговорили вообще о машинах. Но потом, через месяц, в сентябре, арестовали группу высших офицеров, у одного из которых Петров собирался купить «форд», привезенный им из-за границы. Потом уже не разговаривали.

Капитан Холодный вошел в столовую, долго пил чай, просматривая старые фронтовые и армейские газеты. Недалеко от него ужинал майор Петров. Холодный встал и направился к нему, сел рядом на пустующий стул, закурил и долго смотрел, как тщательно и аппетитно прожевывает Петров каждый кусочек жаркого.

– Алеша, – наконец сказал Холодный, потянулся... и спросил. – Как живешь-поживаешь?

Алексей Петров, не скрывая своего искреннего удивления, открыто уставился на капитана и, встретив прямой, вполне дружеский взгляд, смутился и неуверенно ответил:

– Хорошо, товарищ Холодный, – и разозлился от непривычного и поэтому казавшегося лицемерным тона своего ответа. – Какого черта, капитан?!

Но капитан Холодный лишь с интересом и мягко спросил:

– Вкусно?

– Вкусно, – ответил Алексей Петров.

– А мне что-то не очень. Пережарили, – продолжал тянуть Холодный, уже понимая, что открытого сердечного разговора не будет, но его несло. – Видишь, один чай пью... Алеша, а Алеша?

– Вы о чем, товарищ капитан? – Петров отчетливо почувствовал изменившийся настрой товарища давних лет.

Стоило бы ему добавить: «Брось, Игорь, валять дурака», и они бы разговорились, как прежде, многое сказали бы друг другу о тех, кто погиб, и о себе, и о доме, о победе – самом важном. Нашли бы ответы на многие свои тяжелые мужские вопросы.

Петров, как штабной работник уже знал, что в ходе операции «Кольцо» с соединением советских войск 26 января в районе Мамаева кургана были разгромлены двадцать немецких, 22 румынских, 20 итальянских, 10 венгерских дивизий и маленьким довеском – хорватский полк. Победа в Сталинградской битве была налицо. Но хотелось еще праздника – так мрачно было на душе.

– Алеша, ты ведь должен знать... – Холодный уже смотрел с ленцой в сторону.

– Что именно? Мне надо идти, – недовольно попытался уточнить Петров.

– Алеша, будь хорошим, скажи, когда будут подписывать капитуляцию?

Петрову было известно только то, что генерал-полковник Ф. Паулюс находится в штабе фронта в Заварыкине у представителя ставки маршала артиллерии Воронова. Но говорить об этом он не счел нужным.

– Товарищ капитан, – почти шепотом, но отчетливо проговорил он. – Вы с ума сошли. Вы осознаете, что спрашиваете? Вы понимаете, как сейчас пристально за этим следит враг? И что даже малейшая утечка информации может облегчить противнику проведение диверсий и срыв намеченного акта?

– Алеша, я понимаю. Но я же свой, я никому не скажу... честное слово.

– Перестаньте паясничать, капитан Холодный! – Алексей Петров допил стакан компота, поправил на себе пояс с ремнями и бросил, уходя. – Счастливо оставаться.

На крыльце столовой Петров остановился. От левой лопатки сквозь плечо и ладони протянулась распаленная вольфрамовая ниточка боли. Петров всегда старался скрывать, что страдает стенокардией. Знали об этом всего несколько человек, оказавшихся на даче известного авиаконструктора, где произошел у Петрова крайне сильный сердечный приступ. Обошлось, но Петров долго не мог успокоиться и делал все, чтобы об этом забыли. Кто же был тогда свидетелем его позорной слабости? Игнатьев, Вокосин, Франк... Господи! Ведь все они уже погибли, расстрелян и авиаконструктор. Говорили, как японский и британский шпион. Нет свидетелей! Кроме Игоря Холодного. Жена Петрова тогда в испуге проболталась по телефону супруге Холодного, они общались. Сам Холодный делал вид, что ничего не знает.

– Что, сердце? – донесся до него из-за плеча голос Холодного.

– С чего это ты так решил?

– Шея побелела.

– Да... что-то мотор того.., – вдруг с удовольствием признался Петров и удовольствие это исходило от осознания того, что есть еще человек, которому можно пожаловаться на такие дела.

– Пошли, в пульку распишем.

Петров знал, что офицеры полка играли в преферанс, слышал, о больших выигрышах и проигрышах. Сам он игру в карты на деньги не одобрял. Почувствовав, что он, штабной офицер, слишком стал сближаться с командиром эскадрильи, Петров, сам от себя не ожидая, сказал недозволительную, но, несомненно, отторгающую вещь товарищу:

– Смотри, снова часы не проиграй.

– Какие часы? – удивился капитан Холодный, проходя мимо майора

Петрова. – Мои при мне.

«Хочет забыть о гибели брата или придуряется?» – подумал Петров.

Долго думать не пришлось – еще горевшая тонкая боль в его сердце настаивала: «Хочет забыть. Может, лучше и забыть».

– Знаешь, Серега, – после долгого молчания сказал Казыбек, – есть у нас в ауле старик, жырау...

– Какой? Жырный, что ли?

– Да, нет. Ну, как объяснить, жырау это такой... ну, там всякие былины поет ... старинные.

– Кобзарь, что ли?

– Наверное. Ну, в общем, он там всякое напевает, что было когда-то, ну давно, в давние времена. О богатырях, о ханах и битвах. Я любил его слушать. Бывало, он по десять-двенадцать часов пел и играл на кобызе.

– На чем?

– Ну, на инструменте таком, на нем, как на виолончели, играют. Смычком.

– Ну и что?

– Да нет, ничего. Но вот я из песен его запомнил. В общем, если заканчивается какая-нибудь битва, то на родину посылается гонец с вестью о поражении или победе.

– Ага, понял. Это у всех так. Вот у греков, знаешь, марафонский бег откуда взялся? От такого гонца. Его послал какой-то там полководец. Добежал и упал замертво, но о победе успел сказать.

– Вот-вот, только у нас гонец обязательно должен кричать слово одно: «Суюнши!»

– Не понял, что кричать?

– Ну, «суюнши». Не знаю, как переводится. Ну, например... то есть примерно так: «Радуйтесь!» Ну и конечно, намек: мол, давайте вознаграждение за радостную весть, ну, подарок какой-нибудь. И конечно, гонцом мог быть только сильный, упорный и смелый мужчина или парень. Хотя, я так думаю, парней на войне нет, все, кто воюют, – мужчины.

– Это точно, – кивнул Кобалевский. – А то Холодный нас за пацанов держит. И я свою суюншу до дома донесу, это как пить дать, клянусь, будет время.

Дверь широко распахнулась, вошел капитан Холодный. Сбросил с себя куртку, постоял так с минуту, держа ее одной рукой за ворот. Неясно было – отчего он так стоял, и только резкое движение его руки, накинувшей на гвоздь, торчавший из стены, куртку, выдало в нем предельную злость и сосредоточенность.

– Всем спать. Подъем в пять ноль-ноль, – приказал он ровным голосом.

Через полчаса капитана Холодного вызвали в штаб полка. Через полтора часа эскадрилья капитана Холодного, получив задание, ожидала приказ вылететь в бой.

Первого февраля в восемь часов тридцать минут начался массированный артобстрел северной группировки противника, оставшейся за кольцом. Казалось, там земля вновь разорвалась, и огненно-кровавая магма ее вырвалась из недр, пришивала небо раскаленными вольфрамовыми нитями к краю земли. Более суток ожидали летчики приказа на взлет, они сидели в застегнутых комбинезонах и ждали. Капитан Холодный не раз выходил на взлетное поле, придирался к механикам, охране, словно они были виноваты в том, что он до сих пор не в небе. Ребята его эскадрильи, бесконечно уставшие и отупевшие от замкнутого хождения по комнате, принялись мелочно браниться, злясь и обижая друг друга. Но входил капитан, и все замолкали, продолжая коситься друг на друга, да и на Холодного тоже. Когда наконец поступил приказ эскадрилье вылететь и на взлетных полосах раздалось: «Контакт!».

«Есть контакт!». «От винта!» – вдруг доносившиеся с северо-запада грохот и гул исчезли, и наступила тревожная тишина. Тишина была настолько глубокой и огромной, что, казалось, остановилось время.

Взлетая, Казыбек, испуганный этой тишиной, уставился на циферблат часов, стрелки не двигались. Эскадрилья уже взяла направление за Волгук, на северо-запад, когда по рации до капитана донесся срывающийся голос майора Петрова:

– Игорь! Игорь... Возвращайтесь! Все уже. Только сейчас передали: капитуляция! Паулюс подписал о безоговорочной капитуляции всех армий под Сталинградом. Слушай, черт! Да возвращайся, тебе говорят, потолковать нужно...

Самолеты эскадрильи Холодного в эту минуту игрушечно замерли в небе, словно подвешенные к солнечным лучикам, а затем от них в сторону, к востоку отделился самолет капитана Холодного и понесся показывать фокусы: бочка, петля... За ним второй самолет, третий... Впервые за долгое время он, как птица, только наслаждался полетом, будто не было войны, земли в окопах и блиндажах, смерти.

Казыбек, кричавший во всю глотку в кабине своего самолета «Суюнши! Суюнши!», с этим же выскочил на крыло приземлившегося на матовый лед озера, на пологом берегу которого стелился покатыми крышами поселок, знакомый и неузнаваемый. Как он здесь очутился – он от радости не помнил. Победа! Капитуляция!

У первого дома он увидел старика. Старый человек затряс жидкой седой бородкой и испуганно поспешил уйти прочь.

– Маке-ата! – крикнул Казыбек. – Да постойте же Вы!

Аксакал остановился и, став боком, а когда военный подбежал к нему,

сияя яркой улыбкой ребенка, спросил недоверчиво:

– Ты казах? Или просто говоришь на казахском?

– Это я, Казыбек! – восторженно ответил летчик. – Не узнаете? Суюнши, Маке-ата!

– Казыбек? А-а, сын Балжан.

– Победа! Разбили немцев под Сталинградом!

– А убить сразу не могли?

– Убьем!

– Значит, Гитлеру еще не конец? – Маке Говорливый огорчился.

– Да почти конец! Мы целую группировку его армий разбили!

– А много у него еще осталось армий?

Восторг Казыбека стал остывать на морозном ветру.

– Не знаете, моя мама дома? – огляделся он по сторонам.

– Нет ее.

– Как нет?! – испуганно произнес Казыбек.

– Уехала твоя мама, еще неделю назад.

– Куда уехала? Мама?

– Да, уехала... – неохотно подтвердил старик. – Села в сани да поехала в Урду. У Боранбая сын погиб. Кто знает, где его могила, незабвенного. А ведь ему, как и тебе, семнадцати не было.

– Мне восемнадцать, – растерянно произнес Казыбек. – Как же так? Я здесь, а она ...

– Пойдем в дом, – пригласил вяло Маке. – Пошлем человека, через день-другой назад вернется.

Ни шагу назад. А ведь он приземлился в тылу, практически бежал с фронта! Как дезертир, даже хуже. Как малодушный мальчишка, маменькин сынок! А ведь товарищ Сталин…

О товарище Сталине, бежавший обратно к самолету, Казыбек не успел додумать. Теперь все его внимание было сковано замигавшими приборами, заколебавшимися стрелками на шкалах.

Старик Маке смотрел, как исчезает среди облаков самолет и с досадой сообразил: «Эх, не спросил он у этого парня, не видел ли он там, на фронте, его сыновей, ребята они видные, известные, даже с медалями. А ему сверху много войск должно быть видно».

Если угодно людям, продолжу. Прибывшего с важным поручением летчика, оказавшегося нашим Казыбеком, провели в дом представителя власти, то есть в мой дом. Конечно, люди не узнали его сразу, солдаты все как будто на одно лицо. Ну, поставили казаны на огонь, овцу выбрали пожирнее. Государственное лицо от самого товарища Сталина и товарища Калинина у нас в гостях, а как же! Тут же мы разослали во все концы джигитов на лучших скакунах с великой вестью, а к матери Казыбека

направили особого человека. Сердце матери нежное уж очень, может разорваться и от радости. Но не мог он дождаться ее, должен был лететь дальше, на Берлин. Проводили мы его, уходил он снова от нас. Но чувствовал я, что он ждет от нас большего, и тогда я сказал: «Казыбек, подойди к нам. Вижу, ястреб улетает от нас с тяжелым сердцем. Не спеши, выслушай нас, так издавна ведется в степи. Мы видели, как омрачилась радость ястреба, а вместе с нею и наша. Лишь звереныш и грудной ребенок не поймут твои чувства, но и они способны почувствовать их. Ты не встретился с матерью, и мы уверены, что там, вдалеке, она встретила это утро с болью в груди. Как счастлива была бы она увидеть тебя! Но поверь мне, в этом есть провидение, ей трижды было бы тяжело, встретив, снова проводить тебя на смерть. И сердце ее сейчас обливалось бы кровью, а солнце скрылось бы от нее на долгие дни. То, что зримо и осязаемо, острей переживается человеком. Возможно, она предчувствовала твой прилет, но не могла она не поехать туда, не разделить горе близких ей людей. Такая уж она, ко всем у нее отзывчива душа. Как не понять, что ты летел к нам не только с радостной вестью, но и лелеял в своей душе мечту увидеть маму? Но, сынок, разве ты не встретился с ней? Разве эта Земля не твоя Мать? А любовь и ласку матери разве мы не вынесли тебе навстречу? А степной ковыль вокруг разве не ее седина? А хлеб в наших домах разве не хранит тепло ее рук? Но даже если близорукость юности мешает тебе увидеть ее здесь, разве только твоя достойная мать может назвать тебя своим сыном? Ты и наш сын! Сын народа! Никогда не отрекайся от своего народа! Иначе твоя родная мать отречется от тебя. А теперь лети, ястреб, и помни о встрече с матерью и пусть память о ней прибавит тебе силы и сохранит от ран и печали. Так я сказал, и было видно, что он был поражен открывшейся ему сутью истинной встречи с Матерью. Видно было, что никогда Казыбек не воспринимал себя таким нужным людям. Он летел к Маме и встретился с Матерью. Понятно, что сразу достойно он ответить был не в силах, но и, молча, улететь он не мог. И чтобы все же как-то выразить преданность и любовь людям, живущим на его земле, он ответил шуткой: «А как же суюнши? Будет ли награда за принесенную весть?» И когда люди услышали эту задиристую, свойскую фразу, то вздохнули с облегчением. Они ожили и одним потоком потянулись к Казыбеку, к мальчику нашему, кто-то даже крикнул радостно: «Е-е, да этот парень не промах! Сразу видно, что наш!» А тут и мать Казыбека приехала, обняла сына. О, Алла-Тагала... Наверное, еще где-нибудь там летает, в высоких городских домах живет. Летает, конечно: народов на Земле много, всем сразу и не сообщить, что мы победили.

У нас в народе принято считать человека, прожившего девяносто шесть лет, столетним старцем. И память сохранил. Правда, что касается людей, стала она немного потертой. Вот, к примеру, не могу вспомнить: была ли саврасая лошадь у председателя совхоза товарища Жолдыбаева или нет, а о странной

якобы семейной жизни этой Балжан – медовой душе, не забыл. Не знаю и за что, но все ее любили, хотя была... чуть помешанной. Настолько, что судить о ее разуме-уме способны лишь сорок странников, которые знают. Отчего-то она после девяти месяцев со дня смерти мужа решила, что у неё родился сын. Колыбельку выпросила у одной старухи, все дети которой померли во время войны красных с белыми. И стала покачивать ее и колыбельные петь. Пела, никому не мешала. И народ ей не мешал – жалели. Больше того, через лет семь-восемь взяла и заявилась в школу, где потребовала взять в класс своего не существующего сыночка. Грех один. Учительницей тогда работала ее двоюродная сестра, тоже бездетная жена Амана. Пожалела и записала в свои ученики. А еще прошло время – лет так десять, эта медовая притвора заявила, что отвезла сына в город Орск учиться на летчика. Даже письма стала получать от него. Сама, небось, писала письма эти-то. Помню, одно такое письмецо попало и в мои руки. Помню и имя придуманного сына – Казыбек. А зимой, когда фашист дошел до Волги, до Сталинграда даже, еще чуть-чуть и на наши степи заехал бы на своих танках, эта Балжан пропала. Поехала в буран высказать соболезнование родным. Пришла им черная бумага о гибели сына-солдата. И пропала в снегах. К нам еще тогда специальный посланник от самого товарища Сталина и товарища Калинина прилетал – секретарь партийный. Казах, конечно, из Уральска. С вестью, что фашист под Сталинградом разбит и убит. Обрадовались люди, что до нас он теперь не доберется. Мы того посланника с важным поручением провели в дом представителя власти, то есть в мой дом. Овцу зарезали пожирнее. Для государственного человека надо. Тут же мы послали во все концы джигитов на лучших скакунах с великой вестью о победе.

Старушки

– Аймак... Аймак... Аймак... Вторая свободна...

Потрескивающая немая рация не вызывает у меня особого чувства досады. Как и оглушенная полосками старой изоленты коробочка микрофона в руках у водителя Тихона Конь. Через несколько минут бесплодных призывов он, солидно посасывающий измятую папиросу «Беломорканал», выплюнет в приоткрытую дверь кабины тлеющий окурок, включит зажигание. И покатит к станции, где я огорченно сообщу диспетчеру о радиотехническом саботаже рации и, дисциплинарно оправданный, пошатаюсь по унылым комнатенкам, перекинусь двумя-тремя ничего не значащими фразами с коллегами и возьму с рук новый листок вызова, обязывающий ехать по адресату, страдающему каким-то неопределенным «болит живот» или «давление».

Радости мне это вынужденное посещение станции не принесет, но все-таки какой ни есть, но кратковременный разрыв бесконечного отупляющего кружения по улицам и переулкам ночного города.

«Аймак» не отвечает. Подъезжаем ближе к станции, так, чтобы между нами и ней было как можно меньше железобетонной арматуры домов, и наконец слышим обращающийся именно к нам голос диспетчера.

– Вторая, запишите: микрорайон № 4,. дом... квартира... Сухотковокая Марина, 79 лет, ушиб руки. Приняли? Повторите.

– Аймак... Аймак... Вызов принял... повторяю...

Итак, еще одна старуха, и скорее всего такая же одинокая в своей квартире, как и все те пять или шесть старых больных женщин, которых я посетил за эти несколько часов ночного дежурства. Закон парности, к сожалению! Точнее – серии. Как правильней сказать: сутки старух или старушечьи сутки? В общем, суточные старухи.

Нет ничего более тягостного, чем эти посещения. Даже не стану объяснять почему.

Во дворе дома нас встретила родственница больной, строгая молодая миловидная женщина. Она молча и тихо провела нас в подъезд дома, словно на конспиративную квартиру. Я удивился. В таких ситуациях родные гораздо возбужденней, говорливей, требовательней. На мой вопрос: «Как больная?», она неопределенно пожала плечами. Дверь в квартиру была приоткрыта, но пройти узкий коридорчик оказалось довольно сложно. Он был заставлен всякой рухлядью: корзинками и тряпьем, коробками и поломанными стульями. Воздух, несмотря па сквознячок, оставался тяжелым, скверным.

На потертом диванчике среди выпирающих из его узкого нутра пружин

сидела седенькая старушечка и держала правую руку, укутанную в старую шаль, левой и то ли постанывала, то ли бормотала что-то, убаюкивая боль. Я сказал: «Здравствуйте, что с вами случилось?» – и, открыв бикс, начал выкладывать на стол пузырек со спиртом, шприц, ампулки. Старушечка приветливо улыбнулась мне, лицо ее посветлело, да так, что я грешным делом подумал: дело пустяк – ушиб. Она попыталась встать, руки ее приспустились, и, видимо, от острой вспыхнувшей боли старушка даже не вскрикнула, а совсем уж жалобно присвистнула и начала медленно оседать, клонясь на бок Я, занимаясь распаковкой стерильного шприца и зная, что в комнате ее дочка там или внучка, не сразу поспешил ей на помощь, но чуть позже мне самому пришлось, все бросив на несвежую скатерть, кинуться к больной и более-менее устойчиво ее усадить. Она виновато улыбнулась мне, я ободряюще – ей. Катящиеся из ее глаз слезы были до того мелки, как капельки пота, увидеть их можно было, только склоняясь над ней. Я невольно отвернулся и снова заметил стоявшую у дверного косяка встретившую меня родственницу, погруженную в какие-то мысли...

Распаковав новый стерильный шприц, я вколол в предплечье старушечки промедол, подождал, когда появится обезболивающий эффект и затем осмотрел руку. Видно, у нее был закрытый перелом, косточки ведь у них хрупкие, как сухие веточки, зафиксировал предплечье и сказал:

– Бабулечка, надо ехать.

Старушка, сонно прислушивавшаяся к утихающей боли, вдруг оживилась и оказалась ужасной болтуньей:

– Доктор, я так вам благодарна, так признательна. Было так больно, не представляю, как это могло со мной случиться, не представляю. Вы знаете, я после смерти мужа была такой осмотрительной. Вы знаете, он у меня известный архитектор, его многие знали. Он всегда мне говорил: «Машенька, будь осторожна, мы не в таком возрасте». Он, знаете ли, был всегда такой внимательный, но его не стало, и вот пожалуйста... Какая нелепость. И Вика будет огорчена, я знаю, обязательно отчитает меня. Собралась в магазин и надо же – упала! Она всегда мне говорит: мама, не ходи по магазинам, я все принесу тебе сама, она такая внимательная, моя Вика. Врачи, знаете ли, находят у нее вегето-сосудистую дистонию, это опасно, доктор?

Я собирал бикс, слушал ее вполуха, и исключительно с психотерапевтической целью спросил:

– Да как вам сказать ... А кто она вам, эта Вика?

– Виктория моя дочь, доктор, – особенно отчетливо и гордо сказала старушечка, потом тихо, словно размышляя, добавила. – Она, конечно, права, сейчас опасно выходить из дому на улицу, кругом грипп, но так иногда хочется пройтись, а потом в магазине так интересно, можно с кем-нибудь поговорить ...

– Поговорили бы дома с Викторией.

– Я, доктор, живу одна. Ведь у Вики семья.

Я еще раз взглянул в сторону порога на стоявшую там же молодую женщину. Она произнесла ровным голосом:

– Я соседка Марины Христиановны. Доктор, я больше не нужна? Мне надо идти. У меня грудной ребенок, мальчик беспокойный, часто плачет, Спит плохо. Все мне кажется температура у него.

– Да, да. Вы можете идти, спасибо. Вот только, будьте так добры, помогите Марине Христиановне одеться, пока я приберу аптечку.

– Как, в больницу? Вы мне так помогли, доктор. И рука почти не болит. Как же, Вика придет, а меня нет ...

– Одевайтесь, Марина Христиановна, так надо.

– Но я ведь терпела. Когда же я упала? Еще днем. Я потерплю, доктор. И потом, у меня здесь много ценных вещей, кто же присмотрит? Ведь Вика ничего не знает...

– Я ей все передам, – успокоила ее соседка. – Не беспокойтесь, я ей завтра же позвоню на работу.

– Пожалуйста, Любочка, я прошу, – смешалась Марина Христиановна, надевая плащ. – Ключи пусть будут у Вас. Вдруг Вика придет, а меня нет. Любочка, пожалуйста, не могли бы сейчас газ проконтролировать, я вас прошу ... и знаете, там у меня кран течет... Вы его закрутите покрепче.

В машине я сел не на свое место, а в салоне «скорой» – мало ли что могло случиться в дороге с этим божьим одуванчиком, и был вынужден слушать ее бесконечную, как пряжа, болтовню.

– ... доктор, вы знаете, когда мы приехали в Алма-Ату, здесь представьте себе, почти не было автомобилей ...

Посмотрев сквозь окошечко на дымящего Тихона, она тут же его осудила:

– Я, знаете ли, доктор, никогда не одобряла курение табака. Мой муж, знаете ли, был известным архитектором, однажды, представьте себе, закурил! Но мне стоило лишь посмотреть на него...

А если на выбоинах асфальта сильно трясло, она примолкала от боли и снова:

– ...доктор, мне кажется, моя соседка иногда уносит мои вещи... У меня была прекрасная шаль, мне ее из Оренбурга привез супруг в тысяча девятьсот пятьдесят третьем году, а недавно стала ее искать – нигде не нашла! Доктор, вы простите меня, я так много говорю. Это, знаете ли, оттого, что я сильно испугалась...

– Аймак, Аймак, Аймак, 03 свободна ...

– 03 ... 03 ... запишите №… дом… квартира... Самсонова Лукерья Антоновна, 68 лет, боли в области сердца...

Дверь в темном подъезде долго не открывали, и когда я уже собирался уходить, послышался звук, близкий к человеческому голосу. Я, пожалуй, не услышал, а скорее почувствовал тревожную вибрацию воздуха. Приложил ухо к двери и тогда уже отчетливо услышал монотонно повторяющееся: «...не уходите... не уходите... не уходите ... не уходите...». Но еще долго не открывали дверь, потом послышались какие-то скребущие душу звуки, шарканье... или что там еще?! Затем кто-то стал мучительно тяжело открывать несколько замков и засовов. Дверь распахнулась наконец и я никого не увидел в сумраке коридора. Оказалось, открывший мне дверь человек лежал на полу за дверью, прижатый к плинтусу. Я вгляделся – седая старуха в сером балахоне.

Не стану утверждать, что меня трудно испугать, бывало и мне было страшно. Приедешь на вызов ночью, а на тебя окровавленный пьяный мужик с гаечным ключом кидается... Или наркоман пытается тебе сонную артерию прокусить. Но войдя в эту квартиру, я действительно струхнул. И весь ужас заключался в том, что меня никто не пытался запугать. Просто мумиеподобное существо с круглым совиным глазом стало подниматься по стене, как часовая секундная стрелка к 12-ти. Просто, повторюсь, было неотвратимо жутко.

Я врач, я смог ей ровно сказать: «Я вам помогу дойти до постели», смог, иначе нельзя, перекинуть холодную плеть ее руки через свое плечо, довести до постели, уложить, выслушать птичье биение ее сердца, измерить давление, сделать неотложные инъекции. И затем долго отходил от переполнявшего меня ужаса, копаясь в биксе, в стороне от старухи, балахон которой, кстати, оказался голубенькой рубашкой, кажется даже с цветочками. Через некоторое время я ее снова осмотрел. Левая сторона больной была парализована, вот отчего этот круглый стеклянный глаз, вот отчего асимметрия лица и парусит щеку, вот почему речь ее была лишена всякой мелодии и интонаций:

– ...сердце... болит... сердце ... болит...

– Я вам сделал хороший укол.

– ... сейчас лучше ... не болит...

– Кто за вами присматривает?

– ... сын ... сын ...

– Где он?

– ... ехал... работа такая... уехал...

– А кто вызывал врача?

– Я...

Кожа на ее лице и теле была сложена в грязно-желтые веера из складок и морщин, суставы рук и ног выпирали, как набалдашники тростей, через живот можно было легко пропальпировать позвоночный столб, до того она была истощена.

– Давно уехал сын?

– ...давно... приедет скоро... давно...

– Что же это он не женат. Молодой, что ли?

– ... молодой ... сорока еще нет ... а невестка ушла с детьми ... плохая она.

– А сын хороший?

– ...гордый он... приедет скоро... много работает... хороший...

– Кем же он работает?

– ...научный сотрудник науки ...

– Так кто же вас кормит? Внуки приходят?

– ...соседи приходили... кормили. Сын ругался... сейчас не приходят... сын стыдится... у меня ... соседи приходили ...

– Так что вы едите? Разве так можно?

– ...есть не хочу, иногда ем... хлеб есть... рыбу сушеную сын оставил. Теперь совсем есть не хочу...

– Надо вас забирать, Самсонова. Так нельзя.

– ... забирайте...

Комната была заполнена импортной мебелью. Кругом было чисто, но по-особенному чисто, когда некому сорить. Разве что на всем лежал чуть заметный налет комнатной пыли.

– Заберем, вот только еще один укольчик сделаем, – подтвердил я, набрав в приготовленный во время беседы шприц лекарство, и, проходя к старухе, положил ампулку на крышку пианино.

– ... не надо... уберите... не надо...

– Как это не надо, больная? Это очень хорошее лекарство, –заверил я .

– ...полированное... убери... пианино полированное ...

– Что убрать? – так и не понял я, огляделся. – А-а, ампулку? Там водичка была дестилированная. Извините, Самсонова, но вам бы о себе подумать, чем об этом полированном ящике.

– ...нет.., хотела... внук играл... убери... не надо на пианино.

– Уже убрал.

– ...протри...

– Протер. Давайте-ка Вашу руку. Это не больно. Так отдайте пианино невестке, пусть внук играет.

– ...нет... она плохая...

– Кем вы работали?

– ...стирала...

– Вот и все. Где Ваш муж? Умер?

– ...пил... некрасивая я была... бил...

– Ясно. А где у Вас телефон? Узнаю, куда везти.

– ...нет телефона...

Везти никуда не пришлось. В городе эпидемия гриппа, больницы переполнены, и сейчас никакая больница не примет хронического больного, тем более вне очередности. Я это знал, но отчего же звонил, запрашивал? Зачем обещал увезти, зачем спускался вниз к машине и просил Тихона подняться

наверх с носилками? Не знаю, наверное, оттого, что обыкновенное человеческое страдание более требовательно в нашем сознании, чем регламентированный долг врача «Скорой помощи». А может быть, просто для очистки совести?

– Парализованная? – спросил Тихон Конь, не собираясь даже покидать своего сиденья за рулем «уазика». – Самсонова, что ли? Знаю. Возил ее и я, возил. Промотались всю ночь и обратно затащили, а сынок ее за это на нас «телегу» накатал. Да брось ты, я же сказал, знаю ее. Живучая бабка, корень крестьянский, как пить дать. Я ей, может быть, сам с десяток раз помощь оказывал, лечение соответствующее.

Тихон Конь человек солидный, фельдшер с большим стажем, выезжавший когда-то на вызовы самостоятельно. И нетрудно понять, почему он охладел к матушке-медицине: у водителя меньше нервотрепки и выше заработок. «Извозчиком был, извозчиком и остался», – говорит Тихон, но не так уж сложно уловить в его голосе тоску по оставленному делу, когда он вдруг начинает выспрашивать: что там у больного да какой пульс? А давление? Какие уколы сделал?

Вдруг до меня дошло мистическое звено этой банальной истории: как же парализованная Самсонова вызвала «скорую» если у нее нет телефона? И где пределы человеческой живучести?

– Аймак ... Аймак… Аймак ... 03 свободна .....

– 03, запишите: микрорайон ... Сарсекеева Камиля, 82 года...

Дверь квартиры открыли сразу, и встретила меня с упреками неимоверно высокая худая доисторическая дама, составленная, как вертикальная антенна.

– Побыстрее, молодой человек, – суетливо-озабоченно затвердила она. – Тоже мне скорая! Ждем, ждем целый час! Да не туда же, сюда!

Я прошел. В маленькой комнате у самого порога возле стены на стульях сидели рядышком еще две старушенции, крохотные и тихие, в белых платочках, аккуратно подвязанных под усохшими подбородками, в одинаково темных платьях немудреного покроя. Руки у них сложены на коленях, и глаза высветлены добрым покоем. Вот так, верно, они греются в ясные дни на лавочках. У стены с фотографиями в рамках стоял включенный без звука телевизор с черно-белым экраном, на котором шел репортаж из Берлина. Главный немецкий коммунист Генеральный секретарь СЕПГ и председатель Госсовета ГДР товарищ Хонеккер встречал в аэропорту Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Брежнева.

Дальше, в чисто убранной, устланной множеством ковриков и лоскутных одеялец комнате, на широкой никелированной кровати грузно лежала седая хозяйка с отекшим, властным и надменным лицом. Глаза у нее были устремлены вверх, и даже в ответ на мое приветствие она не скосила их в мою сторону, но отчетливо ответила:

– Кімсің? [70]

– Мен дәрігермін, әже. Қай жеріңіз ауырады? [71]

– Басым ауырып жатыр, қарағым [72], – ответила мне әже.

И тут же в разговор встряла встретившая меня насквозь проржавевшая Антенна со своим скрипучим голосом. Она сразу же встала за моей спиной и теперь бдительно следила за каждым моим движением.

– У Камили давление, молодой человек, учтите. Сто девяносто на сто сорок.

Нам, студентам лечебного факультета, сосланный в 1938 году из Ленинграда в Караганду мумиеподобный профессор занудливо твердил: «Кровяное давление не дробь, правильно говорить: сто девяносто и сто сорок». И я не удержался:

– ...и сто сорок.

– А вы меня не учите, молодой человек. Я сама воевала санинструктором! – угрожающе заскрипела Антенна, не думая останавливаться. – Лучше бы, наконец, действительно приступили к процессу измерения давления систолического и диастолического! Где ваш аппарат? Что вы медлите?

Я стал готовить тонометр:

– Санинструктор – это серьезно. .

Но даже после того как я оказал больной нужную ей помощь и сел заполнять лист посещения, Антенна, так и не поняв моего ироничного отношения к ее содействию, не оставила меня в покое. Постоянно указывала, подсказывала что-то, вслушиваясь в наш разговор с әже и, хотя чувствовалось, что казахского языка она не знает, все равно как-то умудрялась точно влезать в беседу.

– Послушайте, могу я спокойно выписать рецепт? – все же не устоял я на линии, как мне казалось, тонкой иронии. – Что Вы тут делаете все? Вроде бы не богадельня...

– Қой, қарағым. Есалаң кемпірге тиме [73], – донеслось тут же почти окриком с постели.

Но Антенна была способна сама себя защитить:

– А вот это уже не ваше дело, молодой человек. Мы соседки Камили, приятельницы. Я Нина Васильевна Гордеева. А сидят – Вера Николаевна Шевчук и Вера Петровна Котина. Вы бы лучше лечили, молодой человек.

Значит, я не в богадельне, хотелось мне сказать, но я сдержался. Чувствовалось, что Нина Васильевна Гордеева заводила в этой компании консолидированных старушенций и своих позиций не сдаст. И я только отбился:

– А я чем занимаюсь по-вашему?

---

[70] – Ты кто?

[71] – Я врач, бабушка. Что у вас болит?

[72] – Голова болит, дорогой.

[73] – Не трогай эту вздорную старуху

Я еще раз измерил нормализовавшееся артериальное давление больной. Она выглядела уже гораздо стабильней, и ее высокомерие, иногда возникающее помимо воли больных от их страданий, несколько смягчилось. Из криза я ее вывел и теперь обычные две-три фразы на отвлекающие темы для достижения психотерапевтического эффекта – и курс скорой терапии можно считать завершенным:

– Әже, бір топ кемпірлерді жинап отырсыз, шалыныз кайда? [74]

Старая женщина не ответила, лишь отвернулась к стене лицом и затихла совсем. Но забеспокоилась с удвоенной энергией Нина Васильевна:

– Молодой человек. Вы все правильно сделали?

– Не сомневайтесь, правильно.

– А может быть ей лечь в правительственную больницу?

– Я бы рекомендовал. Но насчет правительственной, как Вы говорите, то тут я пас.

– Это не проблема. У Камили сын очень большой человек, партийный работник. И муж известный революционер, он полностью посмертно реабилитирован. Если вы ей рекомендуете лечь, ей только стоит позвонить.

– Не слушай эту старую энкведешницу, – голос әже прозвучал рассерженно, с тщательно скрываемыми нотками смущения, словно ее болтливая приятельница проговорилась о чем-то стыдном для нее.

–Я не энкведешница, Камиля! – воскликнула Нина Васильевна Гордеева, и затем, вколов свой чекистский взгляд в мое лицо, добавила. – Действительно, мой супруг Александр Александрович Гордеев служил в НКВД. Но о нем все товарищи помнят только хорошее. Он детдомам помогал. А я сама учительница географии и, между прочим, дворянка.

– А они, надо думать, крестьянки, – я показал глазами на старушек в косынках.

–Я не знаю.., – растерялась старая-престарая учителка. – Живем в одном подъезде четверть века и... не знаю, действительно... Чаевничаем чуть ли не каждый день... Они – вдовы! Когда кому-нибудь из нас плохо, – говорила, провожая меня, Нина Васильевна, отчего-то смягчившись, – так оно легче, доктор, когда все вместе. А может, Камиле все же лечь в больницу, пусть ее посмотрят профессора, в последнее время она совсем расклеилась. Я заставляю ее позвонить сыну. Она сама никогда не звонит Конечно, он иногда приезжает... Если бы у меня были дети, не знаю, я бы, наверное ...

Я попрощался и направился к выходу.

– А вы себя как чувствуете? – спросил я, приостановившись в коридоре.

– То есть как «чувствуете»? – переспросила она. – То есть, вы спрашиваете о моем здоровье?

---

[74] – Вы собрали толпу старух, а ваш старик где?

– Да.

– Знаете, как-то неудобно... жаловаться. Ведь вызов не ко мне ...

– Ничего, ничего. Вернемся в комнату. Я вас послушаю, измерим давление...

– Спасибо, доктор, но так действительно неожиданно ... У меня вот здесь иногда колет, если, конечно, это вам действительно интересно...

Лишь уходя, я снова заметил старушек-близнецов, скромно сидевших на стульях. Таких божьих одуванчиков вы можете не замечать, но в этой городской клетке или где угодно – в теремке, вы всегда почувствуете тепло их сопереживающих человеческих душ – единственное чистое естественное лекарство... Если, конечно, такие бабушки у вас есть.

– Аймак ... Аймак. .. Аймак ...

Прошла ночь. Стало светать. Едем на станцию.

– Тихон, – спрашиваю я. – У тебя мать жива?

– Померла в прошлом году, в сентябре ездил хоронить, — помолчав, ответил Тихон Конь. – Теща, та жива. Одна в Аягузе, дом в пять комнат содержит да хозяйство: телок, свиней пара, куры. Казачка. Муженек ее, то есть тесть мой в войну контуженный, бил ее смертным боем. А она и его пережила. А смотрика! За семьдесят, наверняка.

– Слушай анекдот, Тихон, – сказал я, вспомнив скетч Даниила Хармса. – Я шел по улице и вдруг увидел, как из окна седьмого этажа выпала старуха. Я остановился полюбопытствовать. За ней выпала вторая, затем третья, четвертая ... Когда падала седьмая старуха, мне надоело на них смотреть и я пошел на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль.

– А где смеяться? – спросил Тихон Конь.

– А смеяться не надо.

– Аймак ... Аймак... Аймак... Микрорайон... на пересечение улиц...

Приключение, бывшее летом на даче

Дедушкина дача словно флигелек. Комнаты в ней походили на тупички коридорчиков, и лишь терраса была вольной и интересной. Округлая и высокая, она напоминала площадку для циркового оркестрика.

Дедушкина дача стояла довольно далеко от дачного поселка, в свое время земля там была не по возможности дорогая, и дедушка купил этот участок несколько в стороне у одного подмосковного помещика, рассчитывая, что в скором времени дачный поселок разрастется, и мы сольемся вместе со всеми. Почему я знаю? Тетя Стася часто говорит мне об этом, все еще решая: верно ли поступил ее батюшка. То есть мой дед. Он умер.

Вообще из всей нашей семьи остались живы только тетя Стася и я. Вдруг мы остались одни, и такое чувство, что никто и не умирал. Словно что-то случилось в Москве и нам досадно, почему нас держат в неизвестности и почему хотя бы не привезут детей. Но вот уже шел пятый год нашего затворничества, хотя, быть может, и шестой. Нет, решительно не помню. Не помню и не желаю помнить.

Тетя Стася милая, седая и полноватая женщина. Волосы она укладывает гладко, курит и, когда у нас немного денег, покупает себе пачку папирос. Тетя Стася переводит с немецкого, в основном технический текст, но за работой для нее в Москву езжу я. Несколько раз в год. В Москве у тети Стаси в одной из редакционных коллегий приятельница. Они знались еще в прошлом веке, а года три назад мы ездили в город продавать самовар редкой работы и там на рынке встретили ее. К нашему теперешнему терпимому благополучью.

Сейчас она, ну тети-Стасина приятельница, единственная наша знакомая в Москве. Другие адреса потеряны, да и кого сейчас найдешь на прежних квартирах? С ней одной я и встречаюсь, принимая заказы. Я не люблю ее. Может быть, мир действ и только изменился к худшему, но то, что мы оторваны от жизни и людей, она воспринимает как дар судьбы. «Бог мой, Ирина, – восклицает она при редких встречах. – Ты, к счастью, не представляешь весь ужас нашего существования! Российская действительность этих, извини меня, пролетариев... Мы, русская интеллигенция, – изгои. Постоянные унижения, требования жить, как плебеи, говорить на их гадком языке!» Я слушаю, молчу и думаю: «А плебеи непременно желают жить, как она, и что смешнее всего: говорить, как она – интеллигентно. Ха-ха». Тети-Стасина знакомая же с гримасами плохой актрисочки на сытом розовом личике твердит шепотом о нынешнем разврате, о бандитах, о том, что власти решили издать декрет об изъятии у всего населения имущества, даже одежды, а всем выдадут шинели. Меня ее слова не возмущают и даже не пугают. И даже не оттого, что они глупы. Просто все стало глубоко безразлично. Да, того, что я успела перенести,

этой бы дамочке не выдержать, рыхлая она, кажется, из купчих. Но на как-то случилось, что мы с тетей Стасей даже не смеем говорить о возвращении в Москву. А когда я все же заговариваю об этом, тетя Стася пугается, стыдится и, не глядя мне в лицо, суетливо трет ладони скомканным платком, начиная говорить о невыплаченных долгах и что их никак нельзя не платить и надо думать (тут шепотком): ведется следствие... Она заклинает меня вести себя в Москве осмотрительней...

Быть может, это старческая меланхолия? Впрочем, нет. Причина ее страхов совсем в другом, я ведь знаю. Но молчу. Я потерялась.

Иногда я делаю отчаянные попытки разобраться, что же случилось? Отчего так? Ведь мы ничего плохого не сделали людям, так почему же не можем быть среди людей? Я часто вспоминаю слова, нет, больше не слова, а недоумение одной крестьянки. Сейчас я знаю, она была еще девчонкой, но как-то думалось тогда, что все они просто крестьянки без лиц и возраста. Одно лето она помогала нам с матушкой варить варенье. Как она сказала? «Мир у вас чудной, барышня. Я, барышня, не боязливая, руки у меня вон какие сильные, а как ваши придут в сад и начнут говорить разное и ходют по-особому, по чину, и манеры обратно. Ведь не немцы жеть, православные, а боязно». Вот и для меня сейчас Москва – неясная иноземная сторона, пугающая, далекая. Русские, но другие. Скорее, не те русские, каких я помню, они стали другими. Хотя бы одно: в Москве никогда не бегали. Принято было прохаживаться, если не нужен был экипаж. Сейчас же все бегут, бегут, бегут! Почему? Наивно, но и это меня пугает, не говоря уже о появившемся у многих москвичей цепком взгляде. Уставится такой в трамвае – и хоть сама беги. Да и москвичи ли они? Кто же теперь определит... Нет, не такая я уж клуша, чтобы не понимать политику и революцию, но все так резко сдвинулось, случилось, столько близких и родных тебе людей ушло и погибло... и год за годом проходят, а мы, как сорвавшиеся с конки пассажиры, остаемся в прошлом, если хотите, прикрытом удушливой старческой меланхолией тети Стаси. Я осознаю, что когда-то не решилась сделать всего один шаг, достаточно много лет назад, но теперь между моим «чудным миром барышни» и той страной Советов – пропасть, и я, старая дева, смею только ждать: вот Он придет, уверенный и сильный, мне, кажется, уже в годах, лицо и одежду я не представляю, протянет руку и... Ох, глупая!

И это скверное лето. Душно, безветрие, какая-то африканская жара. На террасе дачки можно быть только ранним утром, когда еще чувствуется ночная свежесть. В то утро я видела с террасы человека. Он вышел из дачного поселка, ходил по полю, жестко ковырял тростью сухую землю, а потом колотил ею столб. Обыкновенный телеграфный столб. Страшно его было видеть на оголенной проселочной дороге в строгом костюме и фетровой шляпе, да еще за таким комичным занятием. Я узнала его. Это был тот знаменитый поэт, которого тети-Стасина приятельница мне издали показывала в редакции и говорила, что его печатают по распоряжению ЧК. «Рифмач газетных

передовичек. Мы, потомственная великорусская интеллигенция, встречаем его преарительным молчанием. А некоторые, даже рискуя своим положением, неоднократно пускали ему вслед смешки. Хам и бандит».

– Кто это, как ты думаешь, Ирина? – спросила меня, становясь рядом со мной, тетя Стася, – голос ее прозвучал настороженно: редко кто так близко подходил к нашей монашеской обители.

– Поэт, тетя Стася.

– Да? Какой сердитый молодой человек. Так он сломает столб.

Я промолчала. Последние месяцы мне стало особенно тяжело с ней. Я старалась как можно реже и меньше бывать с ней, говорить, тем более вспоминать. Она это чувствовала, конечно, чувствовала, и как-то усердно-навязчиво старалась мне угодить, притвориться веселой, пыталась шутить, но все у нее не складывалось, как у одряхлевшего, смертельно уставшего жить, всем уже давно надоевшего шута.

– Ирина, как ты думаешь, что он здесь делает?

– Не знаю, – ответила я. – Столб чинит?

– Разве столбы чинят?

– Электрические монтеры – да.

– Если так, я думаю, что мы можем его пригласить на чашечку чая. Ведь все равно он скоро устанет и, видимо, попросит у нас немного воды... чтобы остыть, – и она рассмеялась, стараясь прикинуться беспечной дачницей. Я знаю, в душе она сейчас ужасно трусила этого непонятного господина с его более чем странной выходкой. На чашечку чая! Каково?! Ну что ж, коли просится...

– Хорошо, тетя Стася, – отвечала я и сбежала вниз.

– Ирина, да ты что?! – услышала я за собой испуганный возглас.

Но я уже не могла остановиться, я устала ждать, таиться, невинно стареть. Я устала верить, что этот мир мне чужд, а стоявший в двухстах шагах от нашей дачи человек – хам и бандит. Я подошла к нему и встала рядом. Он был очень большой.

– Прошу прощения, – обратилась я к нему громко и с вызовом. – Но тетя Стася беспокоится, что вы можете повредить столб.

Почему-то я надеялась, что он меня не услышит и я, сказав что-нибудь нелепое, повернусь и, вполне довольная жутким приключением, уйду. Но он перестал стучать палкой и посмотрел на меня высоко сверху. Взгляд его был неподвижно-страшен. Кожа на лице его была гладка и отлакирована внутренним, как у китайца, высокомерием, но губы... губы! Губы сглаживались, выбухали, кривились, жили помимо его воли, как у пятилетнего ребенка, дрожали. Они предавали его, выдавая чувства отвращения, брезгливости, обиды. С таким лицом, верно, истязают себя хлысты. И в эту секунду я вдруг осознала, что хочу бить палкой, конечно не столб, а его самого. Этого мужчину. У меня, кажется, слюна даже потекла. Я быстро прикрыла рукой рот и как можно незаметнее утерлась. Кажется, он понял мое гнусное желание. Мне стало

еще более жутко, хотелось креститься и бежать, отмахиваясь руками, но я продолжала, как сомнамбула:

– Здесь так беден пейзаж, что буквально каждый столб нам дорог. Нужно думать, что и он когда-то был деревом. Зеленым, наверное ...

Он не мигая смотрел на меня, еще мгновение его лицо оставалось прежним, но вот он надолго задержал дыхание и улыбнулся, словно позер. Он протянул мне свою дубовую трость и произнес:

– Не желаете? – и тут же сам одеревенел, как немилосердно поколоченный столб.

Прошла, наверное, вечность. Солнце миллион раз всходило на западе и садилось за горизонт на востоке.

– Сколько тебе лет, девочка? – спросил он меня неестественно ровным голосом.

– Шестнадцать, – ответила я ему почему-то, хотя мне уже было двадцать пять.

Но он уже не слышал меня, шагнул в сторону дачного поселка, вдруг передумал, остановился и снова повернулся лицом к лицу:

– Это дачи?

– Это дачи «Верхние грязи» – отвечала я поспешно, словно он мог наказать меня за промедление.

Это дачи «Красный газетчик», – поправил он меня уверенно.

Может быть, и так, ведь я последние годы обходила дачные постройки стороной. То, как он спрашивал и поправлял меня, говорило о том, что он еще находится в плену своего тяжелого воображения. Он стоял чуть откинувшись назад, но выдвинув одно плечо углом вперед, Как стоят люди, которым тягостно любое общение. И я решилась бежать, но он принялся с любопытством разглядывать меня, удивляясь, видимо, нелепости моего появления. Тоже! Тогда я надумала дерзить дальше, но не складывалось. Длинно и путано я передала ему ироничное приглашение тети Стаси. Ничего более умного и колкого я не могла придумать.

– Кто это – тетя Стася?

– Моя тетя, – ответила я и, наконец, увидела, как жалко я выгляжу в штопаном платьице и с тряпочками. Горько, стыдно.

И пока я отчаивалась, он обошел меня и направился к дедушиной даче. Шел он широким шагом, слегка опираясь на порядочно растрескавшуюся трость, которую через десяток шагов отбросил в сторону. В нашем приглашении и в своем невысказанном согласии он, видимо, не видел ничего предосудительного. Хотя... мог быть более галантным. Я тихо рассмеялась своим неожиданно появившимся легким идеям и побежала за ним, думая, что тетя Стася сейчас от страха забилась в самый дальний чуланчик. Но она нас встретила на террасе, улыбнулась давно забытой нами улыбкой хозяйки дома. Все же женщиной она была удивительной.

– Ирина так быстро сбежала вниз, и я не подумала, будет ли удобно ...

– Владимиров Владимир Владимирович, художник, – отрекомендовался он, хмурясь от дыма папиросы.

– Анастасия Александровна. Очень рады. Не судите нас строго, Владимир Владимирович. У нас просто. Пройдемте в комнаты.

– Тетя Стася, – остановила я ее. – Было бы удобней пить чай на террасе. Здесь свежо и нет солнца.

Тетя Стася покорно закивала головой: да, да, да ...

В комнатах, кроме железных коек, почти ничего нет. А на террасе стояли старенькие плетеные кресла и круглый столик, который мужики из соседней деревни, безусловно, отказывались покупать. Владимиров сел в одно из кресел.

– Ирина расскажет вам дачные новости, а я пойду приготовлю все для чая, – сказала тетя Стася и оставила пас. Уходя, она растерянно и беспомощно взглянула на меня. Я молча отвернулась. Молчал и Владимиров. Сидел он свободно и свободно смотрел на открывавшиеся с террасы поля. Потом пристально всматриваясь в мои глаза, произнес:

– Газетчики нам не нужны, ни красные, ни белые. Так ведь? – вдруг громко захохотал. Я вздрогнула.

– Смешно было на меня смотреть? – спросил он.

– Нет, – отвечала я, не хотелось юлить перед ним, пусть знает.

Владимиров тяжело, в упор взглянул на меня и вновь надолго умолк.

За чаем он сделался бизнесменом-американцем, приехавшим в Россию видеть «руски дух» и наконец выполнявшим свое последнее желание «пиит на руски датче тии и сбитан». Представлял он все это так естественно и славно, что мы с тетей Стасей только смеялись. Позже он рассказал нам немного об Американской республике, из которой вернулся, об американских женщинах и конгрессе.

Тетя Стася вспомнила, что мой папа тоже был в Штатах. Он был капитаном третьего ранга, и когда-то его крейсер швартовался в порту Сан-Франциско. Папа об этом рассказывал. Владимиров спросил, где он сейчас.

– Иринин папа погиб, – ответила тетя Стася. – В морском бою у берегов Финляндии в пятнадцатом году. – О-о, он был очень интересным мужчиной. – добавила она, желая, видимо, на всякий случай высказать все достоинства моего отца.

Тетя Стася настороженно поглядывала на гостя, внимательно слушавшего ее, говорила неровно и тихо, отчасти страшась посвящать неясного человека в семейную хронику, отчасти недоумевая и радуясь, что кому-то еще интересна недолгая судьба ее брата, капитана Кустарина. Смелости у нее рассказывать хватило ненадолго, и она скоро на полуслове испуганно и виновато примолкла.

Получилась пауза. Я ее приняла спокойно, хотя, конечно, что может быть приятного в том, что хозяевам не о чем говорить с гостем? Но что делать, мы разные, чуждые друг другу люди: какие у нас могут быть беседы? Владимиров,

верно, тоже легко переносил молчание, укротив свои губы, сидел и думал о своем. Нужны ли ему диалоги? Вот только тетя Стася отчаянно забеспокоилась. Она пугалась тишины в кругу близко сидящих малознакомых людей, бог знает, о чем сейчас все думают. Вернее, что думает он, что он хочет, этот незнакомец, может быть, совсем плохое... И о чем сейчас думать ей самой, что делать, если не привычно слушать или говорить ? И она попыталась вновь завязать разговор, заговорив от робости нелепым высокомерным стилем:

– Собственно, милостивый государь, над чем вы сейчас изволите работать?

Владимиров по-ребячьи изумился вопросу и стилю:

– Что?

Тетя Стася совсем оробела. Она поспешила исправить слог, но ее качнуло в другую крайность, теперь голос ее прозвучал, как у стыдливой курсистки:

– Я кому... Вы давечи изволили сказать ... К тому, что ... Ведь вы рисуете картины, то есть я хотела, сударь, сказать, пишете. Если можно, какую картину вы сейчас рисуете? То есть пишете?

Владимиров раскурил притухший окурок папиросы, торчавший у него меж губ, выдвинул свой тяжелый бритый подбородок и, чуть покачивая ногой, закинутой на другую, ответил:

– Я, собственно, сейчас не пишу. Сейчас все больше пишут обо мне. Я же предпочитаю играть в шахматы, ходить в гости к дачникам.

Лицо его приняло менторское выражение, с каким он вошел к нам на террасу, и говорить он стал размеренно и весомо, как пророк. Быть может, он много выступал на сцене, но мы с тетей Стасей мало годились для аудитории. Наверное, он скоро это понял, оглядел нас, собрал морщины на лбу, улыбнулся мягко и разом стал обыкновенным, каким бывает уставший от повседневных дел мужчина в хорошо сшитом костюме. И это более всего меня подкупало. Потом он стал искренне и доверчиво говорить:

– Вот ... не пишется мне, Анастасия Александровна. Но беда не в этом, а в том, что мне отказывают в этом простом праве: не писать. И недруги, и друзья. Ругают.

Я поразилась человечности его откровения и сердцем пожалела его. Тетя Стася по-бабьи пригорюнилась и, как всегда не к месту, спросила:

– У Вас есть дети, Владимир Владимирович?

Владимиров вздрогнул и сам же виновато посмотрел в глаза тети Стаси, так что у той тут же повлажнели глаза, и она заморгала.

Мне стало еще жальче его, но как это ни стыдно, я втайне обрадовалась. Вот он пришел, мой сильный человек Я чувствовала, знала. Он устал от людей, от того мира и пришел ко мне. Он еще молод, одинок. Мы могли бы иметь детей, конечно, ведь он не женат, обязательно не женат. Мысль эта даже не показалась мне безнравственной и глупой. Я так долго ждала... Но даже в эту минуту, как я думала, горькую для него признанием

одиночества и человеческой усталости, была физически ощутима, словно дыхание, исходившая от него сила жизнеутверждения. Широкий и высокий лоб, крупные черты лица делали его схожим с идолом, и, как идол, он влек к себе легко и властно. Но была вокруг него и некая пространственная отдаленность. Не идол, которого можно украсить цветами и задобрить подношениями в глиняных мисках, а монумент. Густой загар покрывал его неживой бронзовостью.

Владимиров много курил, и когда его пачка оказалась пустой, он помрачнел. Я не отрываясь смотрела на него. Он поражал и владел мною. Он мог взять меня своими пальцами и выдернуть, рассматривая бескровные легкие, усталое сердце, маленькие мои мечты, ссохшиеся, как апельсиновые корки, и жалкую радость говорить и видеть его. И в то же время я готова была отдать свои последние жалкие силы, малый разум свой, тепло свое грешное. И спаси! И я решилась:

– Вам надо уйти от них...

Если бы он понял меня, должен понять предрешенную тягу и спасительную любовь к нему. Ведь Пушкину стоило только уехать – жив. Здесь среди полей – покой.

Однако он ответил неожиданно жестко:

– Надо, надо уйти и бить телеграфные столбы. Забавное, надо сказать, занятие. Мне понравилось. Но жить всегда только среди них – это непозволительная роскошь.

Обидно. Мне стало очень обидно. Роскошь! Какой ценой она нам далась, эта роскошь! Но ведь мы-то живы. Живы... наверное, все-таки живы. Как мне хотелось в этот миг высказать ему все. Но я сдержалась, хотя удерживаться с каждой минутой было все труднее и труднее, так больного азиатской холерой мучительно подташнивает и он, истощенный и слабый, знает, что сейчас его начнет рвать желчью.

Я сидела отброшенная, сбитая совсем в комочек. Надо же... Тетя Стася, которой простились ее бесцеремонные вопросы, сидела почти счастливая. Несмотря на все ее старческие опасения все шло, как ей казалось, почти водевильно. Во всем этом она сейчас видела забавное происшествие. Исчезла ее настороженность, робость, натянутость в разговоре. Я не узнавала тетю Стасю. Старушка оживилась, открыто говорила, смеялась. Владимиров же все заглядывал в опустевшую пачку папирос. Тетя Стася была в восторге. Еще бы. За долгие годы это наш первый визитер в когда-то весьма гостеприимном доме. Как она когда-то любила встречать и потчевать гостей, особенно таких элегантных, тонких и прогрессивных господ, как этот художник, и он у нас уже второй час! Тетя Стася одно время даже пыталась петь. И все повторяла:

– Ах, как жаль, Ириша, что Вера разбила гитару. Вы любите романсы, Владимир Владимирович?

Я сидела молча, раздираемая своим несчастьем. Владимиров встал.

– Нет, нет... Только не уходите, – испуганно прошептала тетя Стася. – Так скоро...

Глаза у нее заслезились, как у глупенькой попрошайки, которой снова не подали даже корочки. Она неловко, боком привстала. Мешочки под глазами у нее затряслись, а губы вытянулись вперед, как у морщинистой обезьянки. Мерзкая, жалкая старуха! Такой глубины падения мы еще не достигали. Никогда никто не слышал от нас жалоб, как бы нам ни приходилось плохо. Мы никогда не были богаты и, как все наши предки, жили на жалованье. Служивая дворянская семья, и только гордость отличала нас от разночинцев. Мы всегда дорожили ею, лелеяли ее. И вот теперь... Все было потеряно. Это было завершением маленькой трагедии дома Кустариных. Я закусила губу, страстно желая острой боли. Но боль была только там, под сердцем. Все, теперь напрочь потерян сильный человек.

Тело мое напряглось, руки и ноги стали, как каучуковые, тянуться, глаза косят. Передо мной появились блекло-розовые певистые пятна. Они визжа ли и верещали, как зверюшки. Я тоже кричала, бормотала странности, умоляла не слушать, проклинал а эту жизнь, себя, удачу. Пусть, пусть! Ведь всему есть предел. Скажите ради всего святого, ведь есть же всему предел?! Все равно все потеряно.

Что он слышал? Верно, то, что каждое рождественское утро к нам в спальню входил папа и кричал петухом. А мы просыпались, не понимали зачем, хотя ночью обещали друг другу не заснуть, бросались к нему и висли у него на шее, маленькие, смешливые. О том, как у мамы отнялись ноги, когда она узнала о смерти капитана третьего ранга Кустарина, и о том, как она тихо и быстро скончалась, не успев оплакать мужа. О том, как студенты, уходя на фронт, присылали цветы, а этот Антон, х-ха-ха... пытался объясниться, а ведь он картавил! О том, как умер от воспаления легких мой братик дома, в Москве, в ту зиму не топили, а врач отказался приехать – на улице стреляли. О том, как мою сестру Веру изнасиловали в Одессе портовые мальчишки, она спилась и сгорела от водки там, одна, потерянная, а ее муж Алексей, чуть позже, нашел нас в Москве, сидел грязный и вшивый, хвастал, что выбивал одним ударом до пяти зубов мужепесам в Полтаве. Тетя Стася выгнала его, так и не сказав ему о Вере, бросившейся искатъ его на юге. О том, как он вернулся и попытался убить нас топором. О том, как в нашу опустевшую квартиру вселили вдову красноармейца с детьми и как ее брат, вскоре приехавший жить с ней, захватив и всю свою семью из деревни, подкарауливал нас в полутемном коридоре и зло-плутовато показывал все тот же топор. О том, как мы бежали сюда с тетей Стасей, скрываясь от людей и времени, и делали вид, что у нас все благополучно. Может быть, дачники правы: мы не в своем уме?

«Нет, они ошибаются», – сказал Владимиров. Теперь он стоял, казалось, не только надо мной, но и над террасой, над дачей. «Но я все равно не могу

остаться здесь». «Почему?!» – спросила я. Он грустно сказал: «У вас тут топор».

Когда я очнулась, был уже вечер. Серенький, душный. Тетя Стася сидела бочком на кровати рядом со мной и ждала, когда я открою глаза. Я посмотрела на нее, она обрадовалась и стала умиленно улыбаться. Но во мне царило полное безразличие и к ней, и к себе, и к миру. Если не радость, то хотя бы душевная пустота без томления и боли. Я так давно желала ее.

– Он ушел? – спросила я.

Тетя Стася кивнула, потом, низко наклонившись надо мной, опять зашептала:

– Ты знаешь, Ириночка, он поначалу показался мне приличным господином ...

– Я сильно кричала?

– Что ты, Ириша, что ты? У тебя случился легкий обморок, доктор говорил, от жары, – изумилась тетя Стася, но стала прятать глаза.

– Неправда. Что было?

– Ну ... обморок. Правда, тебя немножко дергало. Но ты не кричала.

– А он?

– Он. Он ушел. Правда, прислал доктора.

Ушел. Вот и все. К чему мы ему? Он ушел к тем, от кого, как мне хотелось думать, бежал ранним утром неистово бить столбы. Но бежал не к нам. Да бежал ли он? Куда? Никуда.

– Знаешь, – сказала я, в общем-то обращаясь не к тете Стасе, а словно ни к кому. – Мне показалось на миг, что он памятник.

– А что ... похож, – сказала тетя Стася.

Мы прожили на этой даче еще некоторое время. Но что-то защищавшее нас истончилось и стало неприятным, как паутина на лице.

–Тетя Стася, так больше нельзя. Я хочу рожать детей, работать, ходить в театр. Идемте к людям.

И не надо о сильном человеке, он не придет и не протянет руки. И не надо, думать, что мы здесь спасены. Нет спасения от жизни.

– Да, да, да. Мне трудно и страшно, но без тебя я совсем ничто, – забормотала тетя Стася. – Я бессовестная эгоистка. Действительно, тебе надо жить.

Мы собрались, крестьянин из соседней деревни заколотил досками окна и двери дедушкиной дачи, и выехали в Москву.

У меня будут дети, старший погибнет в сорок шестом году на границе с Ираном. Тетя Стася задумает перед самой войной в последний раз взглянуть на камни Кронштадта и исчезнет в блокаде на острове Котлин. Муж уйдет на фронт в краснопресненском ополчении. Мы потеряемся. Еще два долгих года он будет искать нас в кишлаках под Самаркандом, а мы его на Волге, не знаю почему... наверное, потому, что он всегда мечтал жить на ней. Вернется он

больным, и долго будет страдать воспалением костей. Я буду болеть. Больницы, курорты с грязевыми ваннами, знахарки с травами...

А москвичи по-прежнему бегают, так и не научились прохаживаться, когда в экипаже нет надобности. Его я давно не жду. Хотя купила еще до войны пачку папирос.

Случай из простой жизни

Утром после свадьбы Артем Гололед сел на край кровати и с обидой сказал прятавшейся под одеялом молодой супруге:

– Эх, ты, гололедица.., – и заплакал.

Ночь и утро

Во втором часу летней туркестанской ночи автор ожидал на вокзале поезд, катившийся в сторону Алматы. Банальное определение: летняя туркестанская ночь... Конечно, можно было написать покрасивше: ночь с запахом спелых дынь… Когда, наконец, вагоны встали перед перроном, из них за бахчевыми плодами, именуемыми «колхозницами», валился фарш полуодетые, краснокожих, потных пассажиров. Фарш… как-то уж слишком физиологично звучит. Но иначе и не скажешь – попробуйте-ка, потрястись трое суток летом в колбасе поезда. Опять же, колбаса поезда.., не так, не то выражение... Перо писательское затупилось, что ли. Опять-таки вышло кривовато, кокетливо. Ну да Бог с ним… Вернемся к картине туркестанской ночи. Казалось бы, юг… Южная ночь без сомнения неким образом должна ассоциироваться с египетской мглой. Не знаю, как там в Африке, но среднеазиатская темень настолько уплотнилась, что выше человеческого роста стала белесой. Низко висящие миллиарды звезд лишь усугубляли и эту галлюциногенную картину, и... духоту.

Автор прошатался вдоль стен туркестанского вокзала – памятника архитектуры еще Российской империи, часа три. Наконец, автор в нужном ему проезжающем поезде. Приличный вагон, достаточно чисто, протянута красная с зеленой каемкой ковровая дорожка, покрытая помятым серым холстом.

Автор проходит мимо обжитого похозяйски купе проводников, не важно… на плече у него рюкзак израильского солдата из Иерусалима, названный с легкого языка его супруги «еврейской сумкой». Супруга – не еврейка. Не

важно… В коридоре вагона ни души, понятно, все устремились за изящными и нежными «колхозницами» и, само собой, пивом.

Автор не спал сутки, а с утра терся в автобусах по асфальтовым и не совсем дорогам, а временами, оставляя позади верблюдов с тюками китайского шелка, караванным маршрутом. Понятно, что он представлял собой нечто подобное сомнамбуле. Двигается к своему купе и почти натыкается на замершую парочку. Он высокий, с ранней лысиной мужчина, она – женщина с изящной, но низкой талией. Они стояли у окна тихо, согласно и настолько отстраненно от дыневых страстей, что не заметить их было немудрено. Очевидно не супруги, но если таковыми являются, то вот-вот обручившиеся. Хотя, ей-то лет тридцать, чуть больше тридцати, ему под сорок. Не автору судить о мужской красоте, он мог лишь констатировать, что мужчина был интересным. Сдержанный, с умным лицом. А она тихоня со скрытой страстной натурой, таких называют: этакая тихоня. Он в белой, семейной майке, она в кружевной блузке без рукавов, обнаженные предплечья сближены. Вполне можно было протянуть между ними нитку. Правда, мизинцы мужской и женской рук сцеплены колечками. И голая шея у мужчины напряжена, а у нее подрагивали, как у кошки, маленькие уши с бирюзой. Обнаженное, голое… Автор надеется, что читатели не заподозрят его в попытке подсунуть им порнографический роман, нет, он не увидел в этой композиции ничего стыдного, развратного. Разве что, что-то такое табуированное просвечивалось.

Нет, вряд ли их связывали узы Гименея. И что? Да, ничего.

Во-первых, она была в халате, длина которого вполне компенсировала оголенность рук, а откровенность его майки прикрывала соломенная шляпа, надвинутая на глаза.

Во-вторых, не забывайте – Туркестанский край… До Хивы рукой подать; в июльский полдень тень от хивинских минаретов, протянувшись через Каракалпакию, достигает казахского берега Сырдарьи.

И потом, античный профиль мужчины с явно проступавшими чертами, выдававшие его склонность к назидательности, намекал о его принадлежности к порядочному сообществу педагогов. Ни у кого не вызвало бы удивление, если бы он оказался завучем или даже директором школы. Почему-то автор подумал, что и она тоже учительница. Каких-нибудь младших классов.

Автор сунулся в свое купе и обнаружил, что он лишний; он видит, что все спальные места застелены залежанной постелью, крепко хранящей пахнувшие овалы отошедших на минутку людей. Столик завален пакетами с недоеденной пищей, мелкие вещи и книжки на продавленных подушках, на полу рассыпана мелочь: полтинник, и еще пара монет… Все эти предметы, особенно деньги, протестовали против вторжения чужака: за нами непременно вот-вот вернутся! отвали, ворюга, тебе здесь не место, мы не твои!

Да не вор автор! Не нуждается он в чужом. И чуждом ему, между прочим. Придется ждать в коридоре возвращения попутчиков – не присядешь же на

чужое белье, неудобно и противно. Но, видимо, непременно придется долго и зло разбираться и биться за место под матовым плафоном, к удовлетворению автора – светившему. Мелькнула мысль: надо бы взглянуть еще разок, пока поезд не сдвинулся, на.., но на что следовало бросить взгляд? Ответ так и не выплыл из глубин притухшего сознания. Настолько было замутнено сознание. Автор вообще в своих нечастых железнодорожных перемещениях ощущал микс пространства и времени, когда сон не приходит ни днем, ни ночами, ни при спящих попутчиках, ни при... Оставалось читать и пытаться понять, где перегорела лампочка: в его черепной коробке или в плафоне над ней. В любом случае не почитаешь.

Автор вышел и встал у дверей, как часовой своей дороги.

Мужчина в белой майке и его женщина оглянулись на него, но взгляды их лишь скользнули по невысокой фигуре автора, словно он и не человек вовсе, а так – выперший из открывшегося шкафа пиджак. Понятно, они были заняты исключительно собой. К тому же, лицо близко вставшего рядом с ними типа было настолько сонным, что походило на физиономию впавшего в кому человека, разве что стоял с открытыми глазами. Ошибались, миленочки, притушенное сознание, да, сужается до проема туннеля, но вы-то точно в этой зоне. Нет надо отвлекаться на постороннее и можно сконцентрировать писательское, читай: исследовательское внимание, на самых тонких мелочах, вырисовавшихся прямо перед глазами автора.

Мужчина повернулся к своей спутнице и, чуть склонившись, улыбнулся ей, и ее лицо потянулось к его губам и расцвело, как бутон цветка, величиной с девичью головку, раскрывающийся лишь раз в сто лет, да и то только ночью – есть такие растения где-то в Мексике. Сказано пестровато, но мы ведь помним о влиянии на художественное творчество южной туркестанской ночи.

Рука мужчины потянулась к талии подруги, скользнула под блузку вниз к выпуклостям, известным, как... Подглядывание не бесполезно. Рука автора повторила такое же движение и вошла в нутро еврейской сумки. Вот что следовало сделать, едва войдя в вагон – еще раз убедиться, пока не поздно, что она здесь. Тута она бесценная! Папка с печатями и подписями на нужных, разрешите предположить, научных протоколах местного университета.

Автор было потянул папку на свет, но тут мужчина прекратил свои эротические манипуляции и вытянул ладонь на свет, вслед за ним и автор вынул пустую руку, вновь впал в дорожную кому. Неважно, достаточно было пощупать ее. Автор расслабился еще более. На придавившую автора сонливость напластовалось и абсолютное счастье, клубившееся над парочкой попутчиков. Любовь, видать. Как в раю, где ни дел, ни командировок, ни подписей с несоответствующими им печатями. А у автора все они соответствуют. Или нет? Следует еще раз посмотреть, пока поезд не отошел от вокзала. Нет, нет ни сил, ни воли.

С перрона в вагон потянулись прогулявшиеся, покурившие, с удовольствием поторговавшиеся пассажиры с бутылками и дынями. Все вокруг наполнилось ночным вязким шумком, пассажиры без особой нужды теснились, затем пропускали друг друга, вновь устраивались. Заполнилось и купе автора.

Скандалить не пришлось, все оказались людьми тактичными, удовлетворенными (кто чем – не важно, да и кому какое дело?). Дынями – точно. В купе вместились влюбленная парочка, засим две русские женщины. Одна из них – пожилая, из Ташкента, возвращалась от родственников из Днепропетровска или Петровска на Днепре. Неважно. Не понравилось ей там. Криминальный город и всякое такое про хохлов. А вот в Ташкенте, со слов шестидесятилетней женщины, преступность нулевая, узбек в своей махалле не ворует.

– В махалле все живут в согласии, уважении, следят за чистотой и порядком на улице. А если свадьба или похороны, то вся махалля помогает. Да и при ремонте дома. Пейте чай, мы пьем зеленый. В махалле неписаные законы, но свои, справедливые. Есть такой закон – шафат, ограждает от чужаков. Захотел продать дом, сначала предложи соседям, а потом уже чужим.

Вторая русская – блондинка, лет тридцати, себя никак не проявляла. Не произнесла ни слова. Как, впрочем, и автор. Господи, спрятаться бы куда-нибудь, влезть бы в нору поглубже, и ничего не слышать и никому ничего не отвечать. Как утверждал туркестанский суфийский шейх: спрятался – спасся. Идеальная позиция для автора. В связи с ней автор и испытывал муки неустроенности – ему продали билет на ее место, в накладку. Она должна была покинуть поезд через один час сорок минут после того, как в нем появился новый пассажир. Что такого, постоит в тамбуре часик! Ведь едет. Аргумент, конечно, железобетонный. Действительно, я в купе и передвигаюсь по маршруту с нужной скоростью. Ведь еду же, а не стою на каком-то вокзале.

Пожилая женщина завершила хвалу махалли и принялась петь осанну ташкентским властям, что, кажется начало раздражать всех. Хотя, тезис о нулевой преступности автору глянулся. Особенно симпатичной представилась ему акция ташкентского градоначальника, распределившего уход за квартальными мусорными баками по семьям из пригородных кишлаков. Представьте, вы выбрасываете помои, а там не пьяные бомжи, а чистенькая семья с приученными к труду детишками, которая тут же сортирует все, что отброшено с вашего стола или вынесено за ненадобностью из квартиры. Черствая горбушка к прокисшему салату, неприятное письмо к пустой сигаретной пачке. И городу польза, и семья кишлачная кормится. Замечательно. Можно и построиться рядом – тем же начальников милостиво разрешено возводить временное жилье при мусорке, выбрасывают же и картон, и деревяшки всякие, даже мебель. По крайней мере, у нас в Алмате. Буквально неделю назад автор, проходя мимо своей архивонючей мусорки, видел приличный диван.

Тот диван – пыльный, обтертый, так и встал перед глазами автора, постепенно увеличиваясь и расцветая, как весенний луг, и в то же время распухал пухлостью самого-пресамого прекрасного королевского ложа. Вот так легко лег на спину, раскинул руки и заснул! Да потонул бы в нем! Диван перед глазами наплывшей от отчаянья слезной пленки принялся раскачиваться, как колыбель. А блондинка между тем, сидела непоколебимо, как гипсовая скульптура. Эй, дама, пора на выход, вещи-то свои собирай! Нет, сидит за столиком и думку думает. Судя по тому, как у нее вздрагивали тонкие ноздри, думала она о чем-то или о ком-то приятно пахнувшем. Или просто нервничала. А бедный автор, прижатый в угол у двери, то немо, но реально возмущается, то галлюцинирует.

Нет, так невозможно! И автор вышел в тамбур и закурил. Чуток пришел в себя. Постоял в коридоре, цепляясь за занавеску и колышась вместе с ней на быстром, душном сквозняке. Протянул полчаса. Заказал крепкий чай и вернулся в купе. Присел.

Ташкентская пенсионерка продолжала восхвалять Узбекистон. Да на здоровье!

Автор пил черный чай и знакомился. Ташкентская жительница оказалось Лидией Васильевной и пенсионеркой почты СССР (так она выразилась). Блондинка не представилась, и не позволила даже догадаться о виртуальном субъекте (объекте?), к которому она принюхивалась. А вот насчет влюбленной парочки автор и без знакомства не ошибся. Они действительно работали учителями. Он – Серик Яхьевич, преподавал старшеклассникам математику в русскоязычной школе, она – русский язык в казахской школе. Представилась она тихо-тихо, чуть шевельнула губами, не расслышать: Азира..,Зира? А сейчас они отправлялись в Алмату на какое-то совещание просвещенцев.

За беседой решили перекусить. Лидия Васильевна и учительница принялись освежать столик, нарезать еще целое, открывать баночки, копаться в съестных пакетах. Интересно, что учительница разворачивала еду, упакованную разной женской рукой. Одна – из киосков, видать, была прихвачена ей самой, вечно неуспевающей из-за школьных нагрузок. Вторые блюда представляли кухню устоявшейся, солидной семьи. Все домашнее, сытное деликатесы и килограммовые куски отваренной жирной баранины на целой кости.

Во время обличительно-патетической фразы Лидии Васильевны: «Вот у вас, несмотря на то, что везде свет, я на вокзале видела трех пьяных, приставали к женщине, а у нас в Ташкенте, хоть на улицах темно, даже ночью не встретишь ни одного пьяного, ни одного хулигана!», блондинка встала и засобиралась. И стремительно исчезла, быстренько и удивительным образом впихнув множество своих вещей и вещичек в одну косметичку. Намучавшийся автор, дожевывая практически насильно впихнутый ему в рот разваренный кусок огузока, добрался до проводника, потребовал сменить белье и через предельно краткое время провалился в тяжелый сон на своем освободившемся законном месте.

Проснулся автор для железнодорожного путешествия рано, Бог его знает от чего. Хотя… Ох уж эти перешептывания счастливых парочек! Как слышны они! Как тиканье будильника.

Автор все же нашел в себе не растопленный еще сгусток вязкой утомленности и вновь уснул. А когда снова разодрал глаза, то уперся взглядом в широкую спину спавшего упитанного парня, невесть откуда появившегося на противоположной верхней полке; посмотрел вниз, и увидел идеалистическую картину утреннего семейного чаепития. Она неспешно разливала чай, он принимал из ее рук пиалу и при этом оба старались коснуться… нет, не умышленно, но все равно: видимо, на уровне бессознательного мужские и женские пальцы время от времени прикасались, и прикосновения эти были сладкими. Как если бы лизнуть свой палец, побывавший в банке с медом. Даже человеку, лишенному богатой фантазии, как у автора, стало бы ясно, что рельсы превратились в реку, а нижняя полка в лодочку, в которой есть место только ему и ей. И плывет эта лодочка в сказочную страну счастья. Говорят, есть такая.

Видимо, поезд уже проехал Шымкент, где должна была выйти Лидия Васильевна. Кто же теперь будет доносить до пассажиров почту СССР из Ташкента, столицы независимого Узбекистона?

Почувствовав взгляд, Жазира подняла на автора влажные и безмерно щедрые от счастья глаза, и пригласила почаевничать с ними. Сказать, что математику понравилось возможное перемещение третьего лица, предполагающее тесное сидение за купейным столиком, то вряд ли, но он похорошему промолчал. Автор отказался, понимая, что ему предлагают пить чай, находясь за бортом. Так и захлебнуться нетрудно. Нет, спасибо. Плывите дальше, и автор снова закрыл глаза.

Проснулся автор почти у Алматы – справа близко тянулись горы Алатау. Выспался, наконец. Спустился вниз и, захватив полотенце и фаянсовую кружку с чайным пакетиком, отправился к кипятильнику. Смочил кипятком край полотенца и протер дышащей паром материей лицо и руки. Автор брезглив, избегал мыться в вагонных туалетах.

С заваренным чаем автор вернулся в купе и скромненько так сел напротив учительницы, оказавшейся одной. Она молчала и смотрела в окно. Лицо ее излучало глубокий свет тихого бабьего блаженства, пропитавшего ее настолько, что не выжать и за месяц. Помалкивал и наслаждался чаем и автор. Вдруг сверху раздался дикий возглас:

– Жазира!

И сверху свесилась круглая, сияющая рожа проснувшегося детины лет тридцати пяти. Жазира вздрогнула и замигала, как обиженная нежданным грубым словом девочка. Подняла лицо, каменевшее на глазах. Следующие несколько минут она так и сидела с запрокинутым подбородком, хотя парень сразу же – легко для своего полного тела – спрыгнул вниз, и пристроился

рядом с ней. Говорил он громко, напористо, жадно вглядываясь в свою знакомую.

– Сто лет тебя не видел! Смотрю – ты! Ты чего не приехала на десятилетие? Из нашего класса все были, кроме Аскара и тебя. Ну, Аскар, понятно, умер…

Жазира с трудом смогла выговорить:

– Да?

– А ты че, не слышала? На зоне, туберкулез! – радостно уточнил одноклассник Жазиры.

– Слышала, – однозначно отвечала она.

– Мамашу твою видел, с моей теткой в баню шла. У нас старую баню открыли. Хасен выкупил, ремонт сделал – вроде кипяток течет. Нас же снова райцентром сделали! Акимом поставили Халеля, ну того, кто на акушера учился, а стал милицией! По четным дням – мужской день, по нечетным – женский. А в воскресенье – общий!

Парень расхохотался, как достославный кутила Гаргантюа. А герой романа Франсуа Рабле знал причины земного счастья: «И напрасно вы думаете, будто всем своим блаженством в Елисейских полях герои и полубоги обязаны асфоделям, амброзии и нектару, как тут у нас болтают старухи. По-моему, все дело в том, что они подтираются гусятами».

Жазира молчала, а парень все горлопанил:

– Ну! Иду к Тане Алимбаевой – сейчас у нее тусуются все наши, когда приезжаем, смотрю: Аська Рыжая. Развелась, прикинь, муж ее застукал с казалинским бандитом. Кто там кого покалечил, не скажу, но Аська точно развелась!

В эту секунду открылась дверь, и в купе вернулся педагог Серик Яхьевич. Жазира взглянула на него глазами слепой бездомной сучки, реагирующей на шаг, на запах человека. А ее однокашник вообще не заметил вставшего статуей в проеме двери интеллигента.

– Ты одна едешь? – вопросил парень, несколько иронично оглядывая очкастую, костистую, рыбью физиономию автора.

Жазира, опустив взгляд, и теперь поспешила с ответом:

– Одна.

– Мать твоя сказала, что ты болела что ли, похудела вроде, взять не за что! Давно не приезжала домой. А то откормили бы.

И парень как бы шутейно обнял ее за талию, пощупал. Она отстранилась, но без видимого возмущения, видать прежде – деликатней выражаясь – сидели за одной партой. И, само собой, пошли в ход шуточки с аульным акцентом, по степени пошлости, впрочем, нисколько не уступавшие самым продвинутым на городской манер. Парень все время пытался выпытать у своей одноклассницы ее городской адрес, хвастаясь при этом своей деловой устроенностью и почти

промышленным бизнесом, впрочем смахивающим на перевозку металлолома из Киргизии в Россию.

Автор вытянул из сумки папку и принялся, наконец, внимательно разглядывать с трудом добытые им печати и подписи. А математик прошел в купе и сел, темнея лицом, напротив Жазиры и прилипшего к ней парня. И скоро его лицо темно отлакировалось и осунулось до состояния египетской мумии. Автор даже засомневался: да жив ли он еще?

Задребезжала мелодия сотового телефона, и парень важно полез в карман и заговорил с кем-то по трубке. Постепенно он более и более озадачивался и злился, что-то там не склеивалось у него с деловыми партнерами. Какой-то КАМаз то ли с арматурой, то ли с металлоломом куда-то не туда отправили.

Автор вышел покурить. Но постоять одному с сигаретой не удалось, в тамбур ввалился все тот же пузатый парень с трубкой у уха и автор узнал, что ржавый металл благополучно исчез в каком-то степном бермудском треугольнике. Автор вернулся в купе. Жазира и Серик Яхьевич сидели все так же друг против друга, молча и недвижимо. Поезд подъезжал к вокзалу «Алматы-1». Явился торговец металлоломом. Он натянул кожаную куртку, прихватил очень приличную кожаную сумку на ремне и барсетку, бросил Жазире: «Пока» и исчез.

Автор сдал постельное белье проводнику, вышел на перрон и снова закурил. Ему предстояло еще проехать полчаса до вокзала «Алматы-2». Через минут шесть-семь он вернулся в купе. Жазиру он застал во все той же виноватой позе, правда, педагог Серик Яхьевич уже растерянно стоял рядом с ней. Автор хотел было присесть, как вдруг плечи молодой женщины задрожали, и она беззвучно заплакала. Ее спутник перепугался, хотел было обнять ее, но отчего-то не решился, и принялся водить ладонями вокруг ее головы, ну как заправский экстрасенс. Но его магические пасы оказались по силе воздействия неважнецкими, так как Жазира рыдала и рыдала без звука, как в немом кино. Тут уж автор не выдержал и выбежал из купе. Скоро он шел от вокзала, известного архитекторам своими невозмутимыми и стойкими фигурами пролетарских мужчин и снопастых колхозниц на фасаде, обходя наглых, навязчивых алматинских таксистов, к троллейбусной остановке.

ШАХИМАРДЕН

Год Собаки. 1982.

Прозаическая пьеса

Волшебный, волшебный, волшебный Новый год! Сказочный праздник с Дедом Морозом, забавным Снеговиком, гномами и беленькими зайцами с бенгальскими огнями в лапках. Уютная гостиная в теплом доме с зеленой, украшенной дутыми из стекла игрушками: разноцветными шарами, балеринами, солдатиками в гренадерских мундирах, оранжевыми жирафами и мультяшными автомобилями... Как замечательно, как все по доброму, по-женски ладно. И хозяйка новогодней квартиры великолепна. Крупная телом Нана, Нана с белокурой башней на голове! Ей чуть-чуть за тридцать, ближе к сорока. Она полновата, да. Но как белы ее округлые, пышные формы! Приляг она нагой у проруби, то непременно ее бы выбрали королевой январских сугробов. Или, по крайней мере, спутали бы с ними. Но дать на себя помочиться она не позволит даже грозным мужам, кои по долгу службы обязаны проводить ночь на улице. Так что бди, куда пускаешь струю, выскочив невесть зачем пьяненьким во двор. А то был случай: один мент расстегнул тулуп, штаны с кальсонами на морозе, так одна нана там же на месте оторвала ему все, до чего смогла, дотянувшись, схватить.

Нана женщина богатая. У нее и новенький «Мерседес», перегнали из Германии почти вчера, всего пять лет назад, и магазин с консервами, вареной колбасой и водкой. И паленым армянским коньяком.

Нана женщина добрая. Была стервой в юные годы, но ни к чему семейному это не привело. Доброй женщине за тридцать быть перспективней. Хотя у армянских мужчин она пользовалась особой популярностью именно тогда, когда была особенно стервозной.

Нана женщина в кресле. Мягком, но от этого на душе не становится радостней. На часах без пяти минут двенадцать, шампанское на новогоднем столе греется, а гусь в выключенной духовке на кухне стынет. Форточку там пришлось открыть. Потому как нервничает и курит сигарету за сигаретой. Потому как парней все нет.

Как многообразны образы молодых женщин в мировой литературе! Можно с ходу назвать сотню не похожих друг на друга героинь, но здесь не библиотека, а Новый год. Мы это по поводу двух девиц, сидящих на диванчике напротив Наны, и взаимно косметирующихся. Они настолько похожи друг на дружку – не лицами, а словарным запасом и манерой поведения, хотя с каждым мазком косметических кисточек становятся схожи и чертами лица – что для ясности сюжета лучше их не различать. Назовем их просто – Две-Ляли.

– Короче, я такая вся...

– Короче, а он такой весь...

– Заткнитесь! – раздраженно велела двум своим продавщицам Двум-Лялям величественная Нана и прислушалась к шуму, доносившемуся со стороны

лестничных пролетов подъезда.

Бессмысленно, ну, в плане угадывания, посему как праздник уже выплеснулся из квартир во внешнее пространство. Ничего не разберешь: кто? Зачем и кому орет? Звук электропилы или зубов звероподобного соседа по прозвищу Мамай? И вдруг все стихло. Это люди вернулись к накрытым столам с ожиданьем боя курантов.

– Уже шампанское открывают, – проскулили Две-Ляли.

Нана промолчала. Она умела ждать, точнее, научилась к своим сорока. И ее новогоднее чудо случилось! Дверь квартиры распахнулась морозным взрывом, и в комнате появились двое двухметровых парней – Цапля и Бухара. Механический термин не должен увести в сторону, мы ведь знаем, что они члены сборной баскетбольной команды республики. Медалисты. Спортсмены несли с собой большую сумку. А за их спинами прятался Роман, в отличие от приятелей далеко не высокий. Ростом так, примерно, со сперматозоид, если его вытянуть и поставить на хвост, обув при этом в ботинок на толстой подошве. В команде таких называют малышами. Как Богса из «Вашингтон Буллетс» – 1 м 65 см., 889 игр, 7.7 очка, 7.6 передачи, 2.6 подбора, 1.5 перехвата.

Прозвище Роман тоже может спутать карты, посему сразу следует уточнить, что Роман не собственное имя, а прозвище еще со студенческих времен, закрепивших за Романом репутацию любителя любовных романов.

Цапля сходу заорал:

– Тра-та-та, тра-та-та! Мы везем с собой кота, мишку-забияку, дохлую собаку!

А Бухара уточнил:

– И еще кое-что! Подруги, привет!

– Прикольненько! – восхитились Две-Ляли.

Роман осторожно обошел приятелей с сумкой и, скользнув глазом по фигурам Двух-Ляль, перелетел взглядом на Нанины формы, и, словно лаская, произнес:

– Разрешите вас приветствовать, милая... милые дамы. Ах, сколько изящества в вас, сколько грации! Нет, меня пленяет женская красота, она как воздух, как звезды, как новогодняя елка! Но с Новым годом, мои птички, моя птичка, с новым счастьем!

Склонный к кантовской философии Бухара заговорил свое чересчур умное:

– Все это условные императивы. И Новый год и, так называемое, новое счастье. Кто из вас способен хотя бы определить понятие «счастье»? В этическом понимании человек рассматривается как явление и как вещь в себе. Поведение первого детерминировано исключительно внешними факторами и подчиняется гипотетическому императиву. Поведение второго должно подчиняться категорическому императиву, высшему априорному моральному принципу. Таким образом, поведение может определяться и практическими интересами, и моральными принципами. Возникают две тенденции: стремление

к счастью и стремление к добродетели. К сожалению, стремление к счастью сегодня свелось лишь к удовлетворению материальных потребностей. А между тем возникает антиномия практического разума...

Разум Двух-Ляль не в состоянии был выдержать антимонию, и они бросились на Бухару с кулачками и милыми протестами:

– Нет, Бух, нет, это не условность! Это, короче, Новый год! Это, короче, счастье! Видишь, приколись, вон Дедушка Мороз! – и показывали пальчиками с красными отточенными ноготками на экран телевизора. На нем, действительно, нарисовался самый настоящий Дед Мороз и Снегурочка.

Но все же Бух с Кантом были правы. Новый год – условный императив. Еврейский праздник Новый год отмечается не раньше 5 сентября и не позже 5 октября. Что логично. Завершается уборка урожая. За любым завершением есть начало другого. В данном случае – временного отрезка. Китайский и Новый год Иранский – Новруз, праздник весны, что так же логично. С возрождения природы и начинается новый цикл жизни. Рождество Христово и то не совпадает, хотя пытались его подтянуть к 1-му январю. Понятно, что эта дата была всем навязана каким-нибудь тираном. Каким-нибудь Юлием Цезарем. Посреди зимы – ни к селу, ни к городу.

Нана, наконец, не выдержала, встала и сказала строго, как и подобает хозяйке:

– Хватит! Чего вы визжите? – и повернулась к сразу оробевшему Роману. – А вы где шлялись?

– Да, короче, мы тут сидим, короче, и сидим одни! Я вся такая... За стол не садились, короче, ни рюмочки....

Роман не смутился, поставил с пяток бутылок водки, прижатых к груди руками, еще две вытянул из карманов дубленки, и заявил:

– А мы вам, кисоньки, сюрпризик принесли! Он такой забавный...

– Роман, – оборвала его Нана.

– Аюшки, Наночка? Что, кисонька? Что моя лапочка?

Нана лишь велела:

– Подойди.

Роман осторожно подобрался к Нане, и попытался поцеловать ее в башню праздничной прически. Но как-то неловко покачнулся и дыхнул всей мощью груди на даму своего сердца. Нана возмутилась:

– Да ты пьян, скотина.

Роман отшатнулся и заявил:

– Нисколько. Это в метро на меня пьянь всякая надышала. Перегар там стоял! Ужас!

Нана подошла к ребятам и верно отметила:

– Успели все-таки надраться.

На что Цапля возмутился, вытаскивая из своих карманов бутылки с водкой:

– Что значит – надрались? Как? Вот, все бутылки целы. Все двадцать штук. Пересчитай, торговка!

Бухара добавил свою философскую максиму:

– Если вы, мадам, принимаете наше эфирное состояние за опьянение, то вся парадоксальность этого утверждения...

Нана пихнула его своей мощной грудью и запугала на раз:

– Заткнись! Я тебе покажу парадоксальность, вся твоя сальность на рожу вылезет!

Она готова была придавить и Цаплю, но он был не таков:

–На-на, Ноно. То есть, но-но, Нана. Поаккуратней, плиз! Я тут мимо проходил. Хочешь крови, вот тебе Рома-кулема.

Багажная, спортивная сумка в руках баскетболистов стала ходить волнами, однако Роман заволновался еще более:

– Только без рук! Наночка, только не по лицу! Я поэт твоей души, люблю тебя, как кино, порнографическое, конечно. Но это не преступление! Ой!

Нана все-таки врезала поэту той субстанции, которую она отрицала в себе, точнее, никогда не думала о ней.

– И иксьзи ми! – взмолился Роман. Ты ведь не убийца, Нана. Только легкое-легкое садо-мазо, а?

Думаю, многие подслеповатые по разным на то причинам мужики, да и бабы тоже, восприняли бы Двух-Ляль как девиц легкого поведения. Но, заверяем вас, это не так. Потому как такие легкие бабочки несут на своих крылышках тяжелую миссию миротворцев. Птички безмятежности. И они защебетали в нужный момент:

– Наночка, миленькая! Мальчики, миленькие! Уже, короче, двенадцать! Новый год, типа! Давайте сядем за стол. И типа поднимем бокалы! Так хочется, так хочется!

И действительно. Пробили куранты. Парни кинулись, к рюмкам и винегрету, бросив охнувшую сумку .

– С Новым годом!

– С новым счастьем!

– Подарки, подарки!

– Есть подарок! – воскликнул Роман и обратился к своим друганам. – Несите сумку!

Цапля и Бухара тяпнули еще по рюмочке и подтащили свою объемную сумку и расстегнули ее. При этом воскликнули:

– Оп-ля!

– Вылазь!

Компания замерла в ожидании сюрприза. Но он не желал состояться. Только послышался сдавленный мужской голос:

– Не вылезу.

Роман возмутился:

– Как это так? А зачем тогда мы тебя тащили сюда?!

Цапля склонился над открытой спорткотомкой и сурово произнес:

– А ну-ка! Тебе говорят!

Из грузового объема раздался лишь ответ:

– Вы плохие люди! Садисты! Не вылезу!

Роман искренне изумился:

– Это почему ты не вылезешь?

– Я вас боюсь...

Здесь испугались и Две-Ляли:

– Там что-то говорящее! Жуть! Короче, кто там? Не выпускайте его!

Роман оглядел слабый пол с чувством признанного превосходства и заявил с гордость:

– Там сюрприз!

– Какой такой сюрприз? – недоверчиво спросила Нана и на всякий случай сделала шаг назад:

– Лягушка обосравшаяся что ли?

– Нет. Там – гном!

– Жуть! – вскрикнули Две-Ляли. – Гномов не бывает!

– Не бывает. Но мы достали одного.

– Ромочка, покажи!

Нана покосилась на сумку, на гордящегося Романа, села в свое кресло со словами:

– Я думала он шубу ондатровую мне принес. А он гнома притащил, козел.

Бухара возмутился:

– Во-первых, сумку всю дорогу несли мы с Цаплей. А значит уже по определению тебе, Нана, никакая шуба от Романа не светила. Во-вторых, если допустить, что в сумке не гном, а скажем, наоборот – Гулливер, то и ему по барабану твои запросы. Задумайтесь, наконец, трансформация представлений, как в реальном мире, так и в ирреальном...

– Наночка, – воскликнул, перебив умный монолог, Роман, – ну, зачем тебе шуба? Разве тебе не жалко бедных зверюшек – бобров, куниц, лисиц и динозавров?

– И гномов, – добавил Цапля.

– А живой гном, – умилительно продолжил Роман. – Это ведь прекрасно, поэтично! Ведь мы любим все прекрасное, милая!

Нана прекрасное уже не могла вынести, она вскочила и двинулась на парней:

– А вот попру я вас сейчас с вашим гномом! – и принялась оглядываться в поисках чего-нибудь потяжелее и утюг, забытый на подоконнике, сам начал проситься ей в руки.

И вновь Две-Ляли взмахнули лавровой веткой мира:

– Приколись, подруга. Цаплечка, покажи нам гнома! Наночка, гномы не только, типа, счастье приносят. Они и желания всякие исполняют! Могут и шубу, и брюллики наколдовать! Роман, ну покажи гнома!

Роман крепко привязал шнур утюга к паровой батарее и откликнулся живенько так:

– Цапля, показывай!

Цапля обратился к сумке:

– Эй, ты там, гном. А ну вылезай!

– Мы просим Вас, товарищ гном, покажитесь на минутку, пожалуйста, – воскликнул деликатный Роман батарейного издалека, на всякий случай затягивая еще один узел шнура. – Дамам Вас надо, дамам Вас не видно. А не то тебя сейчас Цапля за ухо вытянет.

Из сумки раздался человеческий протест:

– Не смейте! Помогите, люди!

Цапля возмутился:

– Не понимает, – и сунул руку в сумку. – А у гномов ухи есть. Не могу нащупать... Ай! – и выдернул кисть обратно. – Укусил, сволочь!

Две-Ляли и здесь не подвели:

– А ты его вилкой, – и протянули Цапле столовый прибор.

Наступила пауза, известная в драме и пытках, как момент истины. Она завершилась тихим голосом:

– Я сам встану.

И из сумки восстал, прикрывая ладонями уши, маленький человек – метр в шляпе. И тут же вызвал бурю восторгов:

– Ой, какой крохотный, прикинь! Маленький..., малыш. Он милашка! Можно мы его потрогаем?

– Не смейте меня трогать!

Роман завершил фиксацию утюга к паровой батарее и, встав возле сумки, торжественно произнес:

– Вот – гном!

– И зачем он? – недовольно проворчала Нана. – Только вот не надо мне про счастье всякое, про чудо заливать.

– Как зачем? – удивился Роман. – Его можно поставить куда-нибудь, как статуэтку. Потом... Эй, Бух, ты у нас философ. Ответь по философски как-нибудь.

Бухара прошел к столу, выпил рюмку водки и погрузился в думы. Не надолго.

– Он может тапочки из-под кровати доставать, – глубокомысленно произнес он и закусил селедочкой. – Если желаете подробней, то согласно эволюционной детерминированности...

– Нет, – перебил его Роман. – Тапочек достаточно. Ну что скажешь, Наночка?

– Ну не знаю, – смягчилась Нана. – И, правда, маленький. Как ребенок. Чужой.

– А мы и своего заведем, – сунулся к охваченной добрыми чувствами женщине Роман.

На этот раз Нана не оттолкнула мужчину, позволив ему пригреться в своей подмышке.

– А где вы его взяли?

– Гномы, типа, в сказочном мире живут, – поделились доступной им информацией Две-Ляли. – Это такая сказка. Там еще семь гномов и Белоснежка. Прикинь, он как настоящий. Рома, он у вас настоящий или синтетический?

Роман возмущенно просипел:

– Конечно – настоящий... Черт, надо бы водочки еще тяпнуть, что-то с голосом с мороза...

– Так где вы его выкопали?!

– Они, прикинь, в норах живут. Его из норы выкопали.

– Меня нельзя выкопать! – возмутился гном. – Я был!

Роман охотно подтвердил выдвинутую Двумя-Лялями версию с норой в земле:

– Вот я и говорю. Дороги обледенелые, машину заносит. Нас немного постукало. Тормозит нас мент поганый и джипик на штрафную стоянку! Пьяные, кричит. Что делать? Такси не поймаешь. Идем, смотрю – дыра в асфальте. А из нее пар идет. Мы-то замерзли. Зусман страшный. Мы в эту теплую дыру...

– Страшно. Туннели конкретные, – добавил Цапля.

– Мог бы появиться страшный червяк-мутант. Но обошлось. Только поезд выкатил. Заходим в вагон, а там гном сидит! Вначале мы хотели какого-нибудь Деда-мороза с собой прихватить. За одним погнались, но смог ускользнуть.

– На лыжах ведь, – уточнил Цапля.

– Ну, ладно, думаю. Гном, конечно, гораздо помельче, но тоже пойдет. Сами ведь здесь вопили: он из сказки. Так вот. Я подхожу к нему и говорю так вежливо: не поедете ли с нами к дамам, господин гном?

– А он и смотреть на нас не желает.

– А там еще один урод сидел в пальто. Начал орать: не смейте трогать гражданина, это не гном вам, а человек маленького роста – у него в детстве болезнь такая была – недостаток гормона роста. Поэтому он лилипут.

Свое научное замечание вставил и Бухара:

–Не лилипут, а карлик.

– Неважно. Мы того возмущавшегося коллегу потрясли чтобы он гнома лилипутом не обзывал. На это они очень обижаются. И упаковали в его же пальто – ноги в рукава.

– Сам, небось, хотел гнома к себе утащить.

– А гном начал пинаться. Вот, меня в ботинок пнул. А у меня обувь итальянская.

Две-Ляли запаниковали:

– Я боюсь! Прикинь, какого они злого гнома притащили! Он теперь всех нас, типа, испинает.

– Понятно, с какими опасностями мы столкнулись? Как рисковали и жизнью, и здоровьем ради вас, дамы, – с пафосом заключил Роман и закончил свой рассказ. – Ну мы бутылки из сумки по карманам распихали, а гнома в сумку. Как раз на его размер оказалась.

Трудно сказать что: быть может, светлое явление ночного новогоднего праздника, быть может, жалость, что еще один год канул наступившую темноту новогодней ночи. Но что-то дрогнуло на сердце у Наны и она заступилась за гнома из метро:

– А ну, заткнулись! – засим обратилась к карлику. – Так значит, ты счастье приносишь?

– Ничего я вам не приношу!

– А я вот очень несчастная. Иди ко мне. Ты будешь моим гномиком, а я буду твоей Белоснежкой.

Бухара хотел было расхохотаться, но, глянув на мощные плечи Наны, воздержался от хохота и произнес:

– Эту идею, если не запьем сразу же, то... не осмыслим.

Все согласились и сели пить и закусывать за стол. Винегрет, салат «Оливье», курица жареная – советский новогодний набор. Сытно и красиво, как привокзальный ресторан со швейцаром. К тому же Бухара произнес умный тост:

– В Древнем Риме новогодняя ночь была посвящена Янусу, богу выбора, дверей и всех начал. Предлагаю дверь закрыть, а то мало ли кто может набежать и все начать сначала.

Нана обратилась к гному и произнесла:

– Понял, гном? Начнем сначала. Как тебя зовут?

– Я не гном, – продолжил угрюмо отрицать свою природу невольный гость. – На самом деле... это не ваше дело!

– Хорошо, славненький. Если ты не гном, то кто же ты?

– Я – бухгалтер.

Тут уж не только Бухара не смог сдержаться – рассмеялись все. Две-Ляли продемонстрировали даже, что им тоже не чуждо логическое мышление:

– У гномов, типа, бухгалтеров не бывает. У них же зарплаты нет.

Роману стало несколько обидно за своего гнома и он стал оспаривать сей тезис:

– Нет, бывают. Ведь они хранят сокровища под землей. В своем Гном-банке. А в банках всегда бухгалтера бывают. Так ведь, гном ты мой дорогой? Ну, чего замолчал?

– Я – человек. У меня паспорт есть.

– Покажи.

На удивление всем гном достал из кармана своего пиджачка настоящий паспорт. Роман взял его, раскрыл и прочитал:

– Хомиус. Тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года.

– Рождения или, типа, изготовления?

Паспорт перешел в руки Бухары. Бух принюхался к документу, послюнявил одну страницу, другую и заявил отчего-то с неподдельной гордостью:

– Научились делать, собаки! Паспорт изымается как улика.

– Верни паспорт, негодяй!

– Не могу, – строго ответил Хомиусу Бухара. – Не имею права, потому как поступили сведенья, что ты вовсе не Хомиус, а Гномиус.

Вновь комнату наполнил хохот. Действительно, смешно. Стоит гном в сумке и утверждает, что он бухгалтер. И чем сильнее Хомиус возмущался, тем сильнее звучал, как всегда, смех.

– Вы не смеете надо мной издеваться. У меня есть права!

– Конечно, есть! – согласился Цапля. – Только они такие маленькие, без лупы и не разберешь.

Цапля стал через воображаемое увеличительное стекло рассматривать голову Хомиуса. А в Нане вновь возникла волна жалости к карлику. Она растолкала по сторонам парней, зависших над Хомиусом, и заговорила повелительно:

– А ну, отстаньте от моего гномиуса. Ишь какие нехорошие дядьки – пристали к такому миленькому крохотулечке. Иди сюда.

Нана вытянула Хомиуса из сумки и, снова сев в кресло, посадила его на свои колени.

– Не надо, – произнес тихо Хомиус. – Мне в сумке не так страшно...

– Не бойся. Я тебя обижать не буду. Я теперь тебя никому в обиду не дам. – Нана погрозила мужчинам кулаком. – Не плач, не грусти... Мне самой и грустно, и все противно. Все меня держат не за ту. А я, может быть, и есть самая настоящая Белоснежка. Как бы мне хотелось в белом платьице с волшебной палочкой бежать по зеленому лугу наперегонки с бабочками. Хочешь выпить коньячку?

Хомиус помотал отрицательно головой.

– Выпей, легче станет. Или тебе, маленькому, нельзя крепкого? Давай я винца тебе налью. Что вы там гномы пьете?

Бухгалтер устало сказал:

– Я – человек. У меня дедушка в гимназии преподавал греческий язык!

В ответ Цапля воскликнул:

– Ну, ты, старик, достал уже. Человек, человек! Что, у греков гномов не бывало? Обижаешь, хотя я не грек. Зануда какой-то, а не гном!

А Бухара, разрывая руками жареного гуся с яблоками, заметил:

– Все утверждают, что они человеки. А между тем, гордится особенно нечем. Человек на протяжении всей истории с древнейших времен настолько опорочил это звание, что сегодня признать себя человеком просто стыдно. Не стану перечислять все преступления, которые даже в самые цивилизованные времена совершал человек. Груды детских трупов, трупов сестер и братьев, рабство, – как норма, расизм, – как законное утверждение этой, якобы, нормы. И все это под прекрасными крестовыми, зелеными, белыми, красными знаменами. В конце концов, это слово настолько потеряло свою привлекательность, что даже обычный ребенок больше не желает быть человеком. Спроси его: кем ты хочешь быть. Ответит: пожарным, летчиком, рыцарем, на худой конец – суперменом. Но, заметьте, не человеком. Не стану педалировать на этические и нравственные нормы, о них достаточно много сказано банальностей в философской литературе... м-м-да-с... Цапля, наливай.

Никакие философские темы не могут отвлечь мыслителей от застолья с кувшинами с критским вином. Это отмечал еще Сократ. Но речь не прерывалась, иначе терялся и смысл философского застолья (иного не бывает, если вы не пьете вдвоем с женщиной).

– Я выражусь предметней, – продолжил Бухара, похрустывая малосоленым огурчиком. – Вы скажете или кто там, писатель какой-нибудь... горький попался огурчик. Нана, ты что там, на яде солишь?

– Сам козел, – парировала Нана, занятая почесыванием за ухом уже подвыпившего Хомиуса.

– Человек! Ни о чем конкретном этот термин не говорит. Следовательно, не вызывает гордости, ненависти и иных чувств. А вот – белый человек! Да, звучит гордо. А словосочетание: я – белый человекоподобный англосакс-протестант, еще горделивей. А белый человек еврейского происхождения англиканской церкви банкир Ротшильд – еще более горделивей, – почти уже кричал Бухара, размахивая рюмкой. – Правда с этим могут не согласиться китайцы, считающие, что все, кто живет за пределами Поднебесной империи, без исключения варвары. Каждый сверчок свой считает шесток... Но все равно, никакая агглютинация, а тем более – прострация сознания не приведет нас к конвергенции...

– В жизни все так, прикинь, плохо, – не согласились с Бухарой, не слыша его, Две-Ляли. – Я бы тоже хотела, прикинь, быть гномом. Ему хорошо, в понедельник с утра на работу не идти, не копить, типа, на белье, не убирать в квартире... В норе все равно мусор. Сидишь в ней, прикинь, драгоценности стережешь. А тут себе колечко с брюлликом не купишь... А так хочется, хотя бы с маленьким...

Нана вжала в свой мягкий обширный бюст Хомиуса и назидательно произнесла:

– Понял, Гномиус? Лучше опрокинь рюмочку.

– Я не пью.

– А ты выпей. А то я отдам тебя этому ужасному философу. Он тебя зафилософирует так, что еще уродливей станешь. У меня самой от его философии всю морду сворачивает – в зеркале не узнаешь.

Хомиус покачал головой и попытался ускользнуть в нанинину подмышку.

– А ну, Бух, – велела Нана, – покажи ему своего Сократа.

Узкие глазки Бухары почти сомкнулись, он подскочил к Хомиусу и выставил вперед два разведенных пальца:

– Идет Сократ рогатый, идет совсем поддатый. Забодаю, забодаю!

– Я домой хочу, – жалостливо произнес Хомиус.

Нана удивилась:

– А у тебя домик есть?

– У меня квартира. Двухкомнатная. На улице Восьмого марта.

– А кто тебя дома ждет?

Хомиус помолчал, огляделся и, заметив, что все, кроме него и Наны, заняты питьем алкоголя, все же ответил:

– Никто. Но у меня жена была.

– Маленькая?

– Нет. Как ты была. Мягкая.

– А где же она? Ушла? Ну и дура. Если бы у меня был муж, я бы от него никогда не ушла. Ко мне много мужиков липнет, я – богатая. Но никто жениться не хочет. Скоты. А я бы верной женой была. А Роман... это просто так. Несерьезный он. Несолидный. Но сейчас у меня есть один знакомый. Мы с ним скоро поженимся. Он – пожарный. Говорит, как пожар потушу, сразу распишемся. А то разве я бы разрешила всем этим негодяям сюда притащиться? Давай выпьем, а то нехорошо так, все пьют, а ты – нет. Все скучаешь.

– Отпусти меня.

– Выпей, отпущу.

– Мне жарко.

– А хочешь меня обнять? Потрогать? Ведь у тебя, сам говорил, жена была.

– Я ее любил.

– И меня полюбишь. Вот увидишь. Я сама ой-как любить умею. Выпей говорю, а то ухо оторву твое маленькое.

И Хомиус выпил. А Нана закричала:

– Пьет! Смотрите, гном пьет!

Вся компания бросилась с бутылками к гостю и стала пританцовывать вокруг него, как папуасы на своих островах.

– Пей до дна! Пей до дна!

Прошедший год был для меня достаточно удачным. У меня перестали болеть зубы, и родился сын. Но к в декабре меня убедили, что все это пустяки, и только наступающий год – год Собаки будет настоящим годом перемен к

лучшему. Дай монаху палец, и он оторвет руку. В новогоднюю ночь мы сидели в масках собак. На моей маске было жирно выведено: «Шика – собака». Я легко опьянел и искренне поверил в это. Под утро мы были уже в компании незнакомых мне людей, сращенных городом на час в многоротое существо в квартире моего друга, где я вступил в спор-полубрань с двумя типами о чем-то экологическом: один из них ел из кастрюли, другой стоял с Библией. О чем они говорили, я не помню, но мои слова, как всегда позже, мне желчно пересказала моя жена. Оказалось, я твердил одно: нынче год Собаки, ставки взвинчены, год болонок и доберман-пинчеров, год дворняжек, наконец-то наступил этот год, но к чему? Целый год, но голод не тетка, надо спешить, дела не ждут. Плевать на объедки с чужого стола, упрятанного за занавески, засаленные запасливым уютом. Спешите, псы, в рывке сиюминутном, вперед ищейки, топайте, бульдоги – за домом Человека из пустыря ножом бульдозера ободранном, из глин мясистых без влажной кожи чернозема и плотных трав-шерстинок, торчит и ожидает вас кость Окорока планетарного. Теперь она оголена и ей белеть без срока, лишь кое-где соскреблена руда надкостницы, так что ее можно грызть вечность. Вот так, собаки! Теперь каждый год будет годом перемен к лучшему для вас. На многие вещи надо смотреть проще. Тем более на время. Не успеешь моргнуть, как раз и XX век тоже кончится не в тот момент, как рулон туалетной бумаги.

Ну обдирают планету, ну исчезли вслед за лешими леса и в степях прорезаны многокилометровые обугленные раны. Что в этом?

Человечеству нужен уголь, а не джайляу с инфантильными качелями алтыбакан, нужна офисная мебель, а не избушки на курьих ножках, и нет времени присматривать, кто там и чем живет.

Темпы жизни не те.

Все идет к лучшему и нечего ныть, пускать, так сказать, слюни собачьи.

Не суди и судим не будешь.

Бодрее, оптимистичнее надо смотреть на суть событий, выше голову!

Снисходительней надо быть, не как тот старый
Пес, лежавший уныло на городской окраине за тарой
Ларька овощного какого-то хозтреста, дошло
И до него, что на собак легла ответственность за этот год, и пошло…
Донельзя расстроил этот факт седого пса: как же я,
все думал он, жить буду на свете, кажется,
и не стоит, если все идет и так к лучшему, теперь
нельзя и залаять, тем более кого-то облаять, терпеть
молча, когда все кругом в дерьме. Добросовестно
всю жизнь свою брехал на всех и на все да бросался, но
сдержанно, с рычащей пастью на ворюг и хамов, не сразу,
выждав в стойке, предупредив, что не потерпит…И ни разу
не тявкнул, не взвыл и не пустил, так сказать, петуха. Совсем не то

теперь, не нужен никому, а ведь никто не запрещает – лай, но – совестно,
неудобно, все идет и так к лучшему, а он тут будет… нехорошо.
Пес сох в тоске четвероногой и был так плох,
что вдруг решил: умру как лучше, но вот во вторник за ларьком
с приятелями пить вино надумал от человечества тишком,
но, приняв пса поникшего за кучу капустных листьев (был так он прост),
взял спьяну да наступил ему на хвост.
Очень больно. Пес тявкнул и ненароком мявкнул… Но!
мужички его не осудили, лишь попинали в бок, допив вино.
«Вот это да!», – подумал пес улыбкой скалясь, и выглянул из-за угла
ларька, облаял некого субъекта, тащившего без зла
ворованные апельсины (на самом деле – помидоры с желтизной).
Ворюга бросил ящик, но все же скрылся с помидориной одной.
И пса не попрекнул: чего, мол, грызешься! Ну, в смысле этики.
Такие вот билетики!
Пес осмелел, в апреле и все лето как будет лаять он!
А в сентябре совсем забудет о годе перемен.

А вообще, дело не в лае. Вся загвоздка в календаре. Можно, конечно, оставить год-два на животных, но только на тех, кто занесен в Красную книгу. Надо серьезней относиться ко времени. Проще, но деловитей.

Как-то, возбужденно бродя по коридорам общежития Литературного института СП СССР им. М. Горького, я сочинил стихотворение: «Московское чаепитие на ул. Добролюбова 9/ 11» следующего содержания:

Оскомина от длительного часа,
Остатки чая в стаканах
С кольцами дубильных ощущений.
Встать на голову легко,
Затылок размяк и прилипчив к жесткой плоскости,
Как пятка,
Пятна чая на лицах.
Слова слюнявятся
И присыхают у края рта полоскою яичного желтка –
Солнышка литературных цыплят,
Видно, что сказано,
Но никто не слышал.
Ты в гостях у гостей
Загостившихся за своим прошедшем застолье.
Надо написать книгу «За самоваром»,
Откроешь краник
И обжигаешь горло кипятком крутым.
То ли больно. То ли совестно…
Но это пройдет,

Сидишь же ты здесь,
Ждешь
За свой, в лучшем случае, талант,
На чай.

Написав последнюю строчку, я возжелал неотложного признания. Поэзия требует слушателей. Но такие в общаге в ту ночь были не в состоянии склониться перед музой. Для сего немудреного действия надо хотя бы приподняться. Но коллеги по перу не смогли. Кто из-за гордыни, кто из-за алкогольной слабости в чреслах. И я отправился, собрав все, что осталось на столе съестного – кильки с окурками, колбасы синеватой, – вышел на улицу покормить прижившуюся у литературного пристанища сучку по имени Варшава. Ей, ее подруги нашептали: дорогая, только тебе, наступающий год – год Собаки, носи черное и серое, юбка ниже колен и все переменится к лучшему. Варшава с тех пор ходила задумчивой, клеймо парши на ее забавном лобике примялось морщинками, казалось, она совсем зазналась. На мусорке все знали как о странной и никчемной глупышке, а она сама была поэтесса. Несправедливо, но надо все-таки признать: права была отчасти псарня на городской свалке, увы, была она ненормальной и все же писала стихи. О гибельности мира. Но это, в конце концов, ее собачье дело… Так вот, год этот действительно стал для нее годом перемен к лучшему.

Я стал читать Варшаве новосочиненный стих, а она под воздействием поэзии чуть отошла от душевных мук, и забывшись, съела, не обнюхав остатки со студенческого стола, не почувствовав снова вкуса слова. И насмерть отравилась… Теперь она не страдает, так что можно считать, что все для нее переменилось к лучшему. Я помню ее кошмарную худобу и редкие, прокуренные зубы. Варшава, зачем ты не писала о любви? Грустно. И здесь бы написать о смерти поподробней, о смысле жизни и так далее и тому подобное, но надо ли? На улице давно весна, а я все еще живу теми новогодними впечатлениями, словно так и не снял с лица, скомкав, ту шутовскую маску.

Сейчас, на свежую голову, я осознаю всю двойственность перемен к лучшему, их относительность и условность. И тон мой менее патетичен.

Окончен бал, пустым остался зал, точнее – гостиная комната квартиры Наны в первое новогоднее утро. Иллюзионное солнце уже вовсю шарило лучами по всем уголкам, натыкаясь на объедки на столе, на брошенную на стульях и диванах одежду (следует признаться, и нижнее белье), на раскатившиеся пустые водочные бутылки, на закрытую спортивную сумку на полу... Вялой, просто убитой, походкой в это пространство вошел из смежной комнаты Роман, огляделся, закурил найденный среди апельсиновых корочек окурок, сел на диван и тяжело задумался. За ним появился и покалеченный алкоголем Цапля. Смотрится эта сцена ужасно, достойна осуждения, но ведь

искреннее праздничное завершенное стремление, пусть несколько бурное, покончить со старым и начать жизнь с нового листа не извиняет многое? Да, конечно же – да!

Цапля нашел недопитый коньяк и предложил:

– Выпьем миллиграмм?

Роман раздраженно ответил:

– Хватит, кончай. Ты что, алкаш?

– Вот попрошу не оскорблять!

Роман схватился за голову:

– Тише ты...

– Так Новый год наступил!

– Он на башку твою наступил. Иди, в зеркало на себя глянь, увидишь, как ее всю перекосило...

– Нет, – не согласился Цапля. – Я Новый год так просто не предам! Иначе, я не мыслящий, не ищущий, не вдохновляющийся человек, а элементарный труп! С Новым годом, друг и товарищ!

– Ничего не ново под луной... Говори тише, череп трещит...

– Так давай подлечим! – опять предложил Цапля, но что-то не позволяло ему перейти к практической реализации своего привлекательного предложения.

А вот и явился Бухара и сходу отметил вроде как бы невпопад, но в то же время по-философски к месту:

– Времени, как реальной субстанции, не существует. Время – это синоним слова «проблемы». И если у нас проблемы остались прежними, то и время не изменилось.

Представленная теза была принята нарисовавшейся Наной без привычного своего нарисованного лица – с морщинами и какими-то сероватыми пятнами. Она выплыла в шикарном шелковом халате с красными драконами и с некоторой милой дрожью в голосе, заставлявшей волноваться сердца, согласилась:

– Если время не изменилось, значит, мне опять двадцать пять, – мило так расхохоталась.

– Тебе опять тридцать пять, – поправил ее раздраженный шумом милый дружок Роман.

– Сволочь, – отрезала Нана и, вырвав бутылку из руки Цапли, накапала себе рюмку коньяка и выпила одним глотком.

– Однако, что, – кисло произнес Роман. – Чего-то мне... не так, что-то мне плохо.

– Так выпей. Опохмел, брат, великое дело.

– Да при чем здесь похмелье? У меня на душе мерзко. А она у меня, вы знаете, очень нежная. Все мне кажется, будто я вчера куда-то вляпался, – с глубоким недоумением заключил Роман и, сняв с ног обувь, осмотрел подошвы и принюхался. – Бух, обнюхай меня целиком.

Бухара не сдвинулся с места, но свое софийское экспертное заключение вынес:

– Пованивает...

Роман оживился:

– Вот видите! Пойду душ приму.

Но ему не дал уйти тревожный голос Цапли:

– Наверное, мы опять кошку варили.

Здесь встревожилась Нана:

– Какую кошку?! У меня на кухне? Да я вас!..

Нана огляделась по сторонам, попыталась заглянуть под кресло, на котором сидела. Но большая грудь не позволила провести ей это маневр. Несколько успокоившись, она заявила:

– Не было у меня никакой кошки. У самой судьба кошачья.

Роман вновь обратился к Бухаре:

– Бух, ты человек мудрствующий. Объясни коллеге и собутыльнику: отчего на сердце вина?

– Не пей вино, коллега, – стала ему втолковывать свою мудрость Цапля. – Лучше водочки тяпни. Сто грамм. И горячее пожиже и поострее. Суп харчо.

– Да при чем здесь вино? Я об ощущении вины говорю, – разозлился Роман и принялся нервно вышагивать по комнате.

Философ по призванию Бухара ответил ему:

– Это вселенская вина, разлитая в наших душах почти равными долями. Ключевое слово: почти.

Надо признать, далеко не всегда квазифилософский бред Бухары воспринимался его приятелями, но его последняя сентенция вызвала полное недоумение. Какое-то время все молча смотрели на последователя Платона... или Канта... или черт ногу сломает кого. Затем Роман заявил:

– Вот только не надо!

– Надо, Федя, надо! – внес и кинематографическую аллюзию в свой монолог Бухара. – Но мы не станем цитировать Святые книги и мировую классику. Пример Евы, Адама и райского яблока набил оскомину, и, следовательно, не пробивает. Обвинения в распятии Христа и изгнание пророка Мухаммеда также оставим в стороне. Это все не вселенская проблема. Всего лишь банальная внутривидовая борьба. Но человеку мало было преследовать, уничтожать человека, пытаться изменить его веру, мысли и поведение под свой вкус. Но пришел час и человек самым страшным образом покусился на гармонию, царившую во Вселенной! На ее принципы. Ладно, начал плавить металл. Ничего ужасного, природа всегда занималась этим. Начал возводить каменные города. Тоже не беда. Каменная стена все равно камень. Наступит время, и пирамида Хеопса превратится в обыкновенный каменистый холм. Использование пара и электричества – терпимо. И первое, и второе присутствует в атмосфере изначально. И вдруг человек покусился на сущность

материи: стал расщеплять атом и в совершенно гибельном количестве выпускать пластмассы. Все океаны покрыты плавающими предметами, смертельными для рыб и дельфинов. И это оказалось не пределом его беспредела! Человек полез в гены! Стал моделировать новые растения и овечек. А потом и самого себя! Изменен код Вселенной! Его программа! Изобретатель телефона Белл прекрасно знал искомый результат своих действий. Голос, посланный в одну трубу, будет услышан в другой. И ничего больше. А теперь? Черт его знает, что произойдет со Вселенной, если человек доберется до частицы Бога!

– До какой еще частицы бога? – изумилась Нана.

– Если я тебе скажу, что это базон Хиггса, это в свою очередь тебе что-нибудь скажет?

– Бога нет, – растерянно ответила Бухаре женщина с полуразрушенной башней из своих волос и шиньона на голове.

Бухара мрачно оглядел атеистку и сказал:

– Элементарное чувство самосохранения – не религия и не мистика, а сопротивление глоттолизации...

– Чего, чего?

– Сужения. И если кто-то попирает, хотя бы мое человеческое достоинство, то и я отрину и готов стать даже язычником. Или того хуже. Парацельсом.

– Кем, кем?

– Неважно. Просто слово нравится.

Роман поднял руки, прося внимания и затем, оглядываясь по сторонам, произнес загадочно:

– Не беда. Одного язычника мы как-нибудь переживем. По крайней мере, не дадим ему выпасть из упряжки. Тут главное, чтобы не дать сузиться нашему пространству.

Бухара и Цапля переглянулись, а Нана поинтересовалась:

– Из какой это упряжки?

Роман снова огляделся и спросил у хозяйки:

– А где эти твои Ляли?

Нана ответила:

– Выставила прямо с утра. А на кой они тебе сейчас. Тебе опохмелиться бы надо. Заговариваться стал.

Роман уставился на Бухару:

– Не нравится мне твоя болтливость...

– От того я многоречив, что стыдно молчать, – отбился Бухара.

Роман подошел к стыдливому товарищу и сурово произнес, ткнув ему пальцем в живот:

– Стыдно ему... Не самое страшное. Жить можно. Правда, на что?

Бухара уклончиво ответил:

– На честно заработанные деньги.

– Однако, какие мы стали разборчивыми. Честные – не честные. Стыдно – не стыдно. А еще философ, – осудил Бухару Роман.

– Не позволю! – вскричал Бухара.

– А зачем кричать! – заорала и Нана. – Мне, может быть, тоже стыдно бывает, когда потею сильно, но я же не кричу об этом.

Роман тоже повысил голос:

– Нет, надо кричать. Бить в барабаны!

Цапля выступил в роли миротворца:

– Нана права. Не надо кричать. И если заговорили про барабанный бой, то пора сомкнуть ряды. Бух, ты чувак умный, но рассуди, если ты сейчас отпадешь...

Бухара надулся и промолчал. За него, обнимая его за талию, ответил Роман:

– Да никуда он не отпадет. Пока прокурора не увидит. Но как раз до этого доводить нельзя. Главное, чтобы за нами пошли массы. Давайте-ка прорепетируем. Наночка, массами будешь ты.

– Это почему же? – возмутилась Нана.

– Потому что у тебя подходящая масса, – сострил Цапля.

Нана надумала обидеться и на ее лице появилась гримаса, с которой хозяева выгоняют гостей прямо из-за праздничного стола. И Роман, поглаживая ее по плечам, поспешил сгладить ситуацию:

– Тебя, дорогая, приятно много.

Нана простила обидчика:

– Скотина.

Роман снова прошелся по комнате Наполеоном и заявил:

– Прежде всего, не следует им позволить усомниться в наших нравственных ценностях. Главное уже сказано нами. Бух, повтори.

Бухара задумался и не смог догадаться, о чем это Роман. Пришлось тому разъяснять далее:

– Стыд, вот что. Совестливость, порядочность. Вот наши знамена. И тогда и только тогда мы опять соберем большинство голосов. И мы первые обвиним: позор вам, позор! Повторяйте за мной: позор!

Но никто не стал выкрикивать приковывающие к столбу позора слова. Кто-то закурил, кто-то уже тушил сигарету.

– Ладно... – разочарованно произнес Роман. – Но как бы пожалеть не пришлось. Сегодня мы сидим на тепленьких местах, но завтра придет толпа бессовестных извращенцев, нравственных уродов, моральных гномов и всем вам покажет на дверь! И что тогда вы...

– А гном ушел? – спросила Нана.

– Если мы сомкнем ряды, то выдавим всех гномов! – с еще более возвышенным пафосом воскликнул Роман.

– Я говорю о том, который вчера был, – не унималась беспокойная хозяйка квартиры.

Цапля проникся речью Романа и уже, кажется, вернулся в ряды, которым предстояло сплотиться и противостоять. Понятно, что он неодобрительно взглянул на женщину, перебившую блестящий монолог оратора:

– Нана, твое дело, как массе, не задавать вопросы, а интенсивно аплодировать в самых чувственных моментах выступления выступающего и поощрительно поощрять...

Нана вновь не согласилась выделенной ей ролью масс и уже с раздраженной нотой в голосе потребовала ответ:

– Где гном?!

Роман вынужден был с недоумением обратить и на нее свое ораторствующее внимание:

– Впрочем... если массы...

– Гном где!!!

Цапля тоже был озадачен:

– Бредит, бедная, с перепоя. Гномики зеленые мерещатся...

– Не скажи, – возразил Бухара. – Вопрос о гномизме, поднятый оратором, следует продолжить. Ведь гномы бывают не только нравственные. Все гораздо сложнее. Не надо думать, что они какие-то там зеленые или синие, что они где-то там. Нет, в каждом из нас живет свой гном. Он с одной стороны позволяет соизмерять наши взгляды с окружающей нас реальностью, с другой сущность гномизма подавляет своей масштабностью и искажает...

– Сам подавись своей масштабностью! – тревожно выкрикнула Нана. – Вы вчера с собой притащили гнома!

Роман сочувственно покивал головой, попытался погладить по загривку невесть чем встревоженную женщину – не удалось – и трогательно, мягко попытался ее успокоить:

– Наночка, гномов на свете не бывает...

– Был гном!

– Хорошо, милая, расскажи нам: какой он был? – уже прятал наползавшую на лицо ухмылку Роман.

– Да примерно с тебя росточком, – заявила Нана, чем вызвала гомерический хохот у Цапли и Бухары.

Нана быстро осознала, что ее впечатления оказались неубедительными и поспешила поправить:

– Не такой, конечно. Гораздо мельче.

– Мельче не бывает, – давился от смеха Бухара. – Мельче, только суслики.

Нана не дала Роману даже обиженно посопеть, нависла над ним, как День Страшного суда:

– А ну! Колись!

Роман оторопел:

– Да что с тобой, дура! Я многое что могу достать, купить, хоть слона. Но где бы гнома тебе взял?!

– Вы его из норы вытащили!

– Да из какой норы?!

Нана задумалась. Впрочем, помрачнели думкой все.

– Вы его в метро поймали, – наконец вспомнила Нана.

– Да не езжу я в метро! – вскричал Роман, но через секунду пробурчал. – Черт, когда мы на джипе... и, кажется, мы действительно, в метро спустились... Но при чем здесь гномы? В метро люди ездят...

Нану и этот аргумент не убедил:

– А где сумка?

– Какая сумка?

– В которой гнома притащили.

– А-а... в которой мы двадцать пол-литровых гномиков в колпачках принесли. Была такая.

– И где она?

– Где она? – обратился уже с вопросом к Цапле Роман.

– А я откуда знаю, – уклонился Цапля.

– На балконе, – вспомнила сама Нана. – Вы гнома напоили, как поросенка. И опять в сумку, в которой его притащили, засунули и на балкон вынесли.

– Кого?

– Гномиуса!

Бухара подозрительно оглядел Нану и заявил:

– На латыни заговорила. Совсем у женщины крышу снесло.

К парням вновь вернулось хорошее настроение, Цапля и Бухара хотели было даже разлить, но Роман не позволил:

– Ни грамма! Завтра на собрании все мы должны быть ясные мозги и пахнуть, как ландыши.

– Послезавтра.

– Ничего не меняется. Сутки, чтобы перегар весь вышел, как положено чиновникам спорткомитета высшего, подчеркиваю, звена. Ставки, господа, слишком велики.

В это время Нана встала со своего кресла и решительно направилась к балкону, но на январский мороз ей выходить, к счастью, не пришлось. Закрытая на замок спортивная сумка стояла за шторами, закрывавшими балконную дверь. Нана схватила сумку за ручку и волоком дотащила ее до середины комнаты:

– А это что?!

Чиновники дали, как им положено, исчерпывающее разъяснение на представленный запрос:

– Сумка.

– А в ней что?

Чиновники переглянулись, но не растерялись:

– Это государственная тайна.

Но Нане наплевать на тайны государственных мужей. Она решительно расстегнула замок, и громогласно обратилось в раскрытое нутро сумки:

– А ну, вылазь!

Из сумки поднялся еще пьяный Хомиус.

Испуганный его явлением Роман вскрикнул:

– Ты кто такой?!

Хомиус ответил с достоинством, присущим только хранителям подземных сокровищ:

– Гном.

– Какой еще такой гном?

– Гном Гномиус.

Этот ответ не устроил Романа, и он принялся с еще более выраженным пристрастием вести допрос:

– Ты как туда попал? Откуда ты взялся?

– Из сказки.

Последняя реплика восставшего из сумки не понравилась любителю пофилософствовать Бухаре. И он возразил, вложив в короткую фразу всю восточную и западную мудрость на интернациональном нецензурном языке, которая могла бы быть переведена как «Рот закрой».

Цапля отреагировал более сдержанно:

– Это еще... откуда взялось... сказочное безобразие.

А Роман был конкретней:

– Ты это брось тут нам сказки рассказывать! – и обратился к приятелям. – Чья сумка? Твоя, Цапля? Разберись.

– Извини... Я тут вообще мимо проходил, – ответил тот. – И вообще... да, вроде как моя... Но ты ее у меня выпросил на время.

– Я?

– Донести кое-что. Точно помню.

– Я?!

– Или Бух.

Бухара отмолчался. Заткнулись и остальные, мучительно соображая: кто такой этот карлик из сумки и к чему его появление может привести? Был пройден сложный путь по мосту из волоска над пропастью Лузеров, впереди выборы по восходящей, а тут карлик! Запахло скандалом с криминальным душком. Наконец высказал свое мнение по этому казусу и Бухара:

– Это соседский мальчик. Ах ты, негодник, ты как забрался в нашу сумку?

Все пригляделись к мальчику и пришли к выводу:

– Это ты зря... про то, что сумка наша.

– И сумка соседская, – поправился Бухара.

Снова стали осматривать карлика с выступившей суточной щетиной с явной сединой.

– Мд-а-а... – заключил Роман.

А Цапля заметил:

– С мальчиком, возможно, Бухара не совсем прав. Но я думаю, что я знаю кто это.

Нана живо заинтересовалась:

– И кто?

В ответ Цапля торжественно произнес:

– Это бухгалтер!

Опять же все впали в ступор, а изобличенный тип развязанно стал возражать:

– Я не могу быть бухгалтером.

– Это почему же?

– У гномов бухгалтеров не бывает.

– И кто же ты?

– Гном.

Патовая ситуация стала невероятно затягиваться, а в дураках никто не любит оставаться. Оставалось все же выпить по одной.

– Только по одной, – предупредил Роман, и то лишь для прояснения мозгов.

Выпили по сто граммов, что подвинуло Бухару к новому философскому озарению мира:

– Не будем впадать в нигилизм, иначе нам не выстроить соответствующий кадастр сущностей. Теория явления свидетельствует о наличии чего-то другого, иного. Старик Канта заявлял, что явление это коррелятивное понятие к «вещи-в-себе». В данном случае: вещи-в-сумке. Иначе явление окажется пустой видимостью.

– Хотелось бы... – согласился Роман.

– Видимость или кажимость располагается в сознательной сфере, в нашем случае – в сумке. И она же – кажимость, подтверждает, что этот тип может не казаться соседским мальчиком...

– Да хватит впаривать нам своего мальчика. Мальчик не лучше гнома! Как он оказался в нашей сумке? Что, не врубаешься – тут конкретная уголовная статья!

– Сам залез? – робко предположила Нана. – С соседскими мальчиками-шалунами так бывает.

– И где же соседка, в смысле – мамаша? Уже в милиции с заявлением? Корова тупая!

– Сам козел!

– И все же вернемся к мысли о категориях видимости, – продолжил гнуть свое Бухара. – «Я познаю нечто» и «нечто является мне» обозначают одно и то же отношение между субъектом и объектом. Следовательно, он может быть мальчиком. Но из соседнего антимира.

– Да пошел ты со своим антимиром! – взорвался Роман, вернувшись к своему нервному хождению из угла в угол, напоминающему о прогулке в тюремной камере. – Пора вернуться к реальности. Этот... тип никакой не соседский мальчик. А мальчик, который потерялся в новогоднюю ночь. Не бросать же его, вот мы его и взяли с собой на усыновление Нане.

– Да на хрен он мне! – возразила Нана.

– Да успокойся ты! Мы же ошиблись, думали ребенок, а он оказался вон какой рожей небритой.

– Не буду я его усыновлять!

– И не надо, – поддержал ее Цапля, засовывая под диванную подушку опустошенную бутылку водки. – Опасно. А вдруг это пришелец внеземной такого крохотного роста. Смотрите, у него же зеленая кожа и взгляд потусторонний.

– Все-таки успел опять набраться. Я же сказал: по сто для ясности ума. А ты, пьянь...

– Да, я – пьян, но даже в этом состоянии не поверю ни в какого ребенка или мальчика внеземного, – запротестовал Цапля. – А вот что я вам скажу. Это бомж, бомжара. Идем, смотрим – в сугробе ноги в ботинках. Вытянули, замерзает. Спасли. Притащили с собой в порядке гуманитарной помощи и человекодю... человеколю... бия.

– Нет, – произнес предполагаемый бомж-ребенок.

– Что значит «нет»? – возмутился Роман. – Кто тебе вообще слово давал, чтобы здесь неткать?

– Нет, – повторил неткающий. – Дело было не в сугробе, а в вагоне метро.

– И что от этого? – не понял Бухара. – Что это меняет? Не все мысли и суждения верно отражают познанную действительность. Да, иные истины относятся к категории правды, иные – к категориям лжи или заблуждения. Но правда истины всегда отражается частично...

– В каком метро? Мы нашли его на улице. Ночью! В буран! В метель и мороз! Да он погибнуть мог от переохлаждения и недоедания. Или от инфекции какой-нибудь. Над ним бродячая собака уже ногу забрала и собиралась...

– Неважно – сделала свое заключение Нана.– В метро там или на улице... От него и правда собачей мочей несет. Слушай сюда, карлик, вылазь из сумки и быстренько вали домой. Ты уже не мальчик маленький. Сам дорогу найдешь... Пока ухо тебе не надрала.

– Продолжаются угрозы насилием, – твердо заявил Не-мальчик-маленький.

– Ты что имеешь в виду? – возмутился Роман. – Что значит угрозы и при чем здесь насилие?

А Цапля его возмущение поддержал:

– Перестаньте, наконец, гражданин, паясничать. Залез без спросу в чужую сумку пьяный, всем нахамил. Да что же такое творится на этом белом свете?! Это какой-то хулиган.

Если на минутку отвлечься от философского взгляда Бухары на жизнь, а вернуться в новогодний день, то следует сказать, что момент истины обнажается так же неожиданно и неотвратимо, как бритый подбородок под ватной бородой Дед Мороза. Стоит лишь, не подумав, дернуть ненароком. Что и сделала Нана:

– Ребята, так это не гном?

Цапля скривил губы и тихо так:

– Дошло, наконец.

В то же время Роман воскликнул во все горло:

– Конечно же нет, Наночка! Гномов вообще не бывает. Оставили на минутку на улице сумку без присмотра, а туда влез этот. Не стали вытряхивать, потому, как я лично думал – ребенок. Нет, оказался – бомж. Понесли. Вот теперь и делай добрые дела. Да кто он такой, вообще? Ни имени, ни прописки.

– У меня есть имя. Я уже его называл.

– Но отчества-то нет!

– Есть. Петрович. И дело было в метро, – спокойно продолжил гнуть свою версию псевдогном.

– Что в метро?

– Хулиганство. Оскорбление действием. И словом нецензурным, – стал перечислять возможные преступления Алкавиад Петрович.

– А кто подтвердит?

– Бухгалтер Петров.

– Это какой-то заговор бухгалтеров, – догадался Бухара.

– Нет, не заговор, – пояснил бывший гном. – Мы просто на работе задержались допоздна. С отчетностью. Конец года. В 23 часа 12 минут спустились в метро, а в 23 часа 18 минут вы напали на Петрова, избили, а меня сунули в сумку.

Нана воскликнула:

– Точно. Вы так и сказали, что гнома в метро поймали! А он оказался не гномом.

– Да заткнись ты, корова! – запротестовал Роман.

– Что же теперь будет? – не успокаивалась женщина.

– Будет суд. Похищение человека, издевательства с пытками. От семи до двенадцати лет.

– Какие пытки?! Ты чего мелешь?

– А содержание в сумке?

– Черт!

Мыслитель Бухара пошевелил мозгами и попытался изложить свое виденье сложившейся не простой ситуации:

– Представьте...

– Уже представился.

– В смысле?

– Вы назвали свое имя, учреждение и должность моему товарищу Петрову. И выписали квитанцию.

– Какую квитанцию? – испугался философ.

– На получение багажа.

– Какого еще багажа?! Мы что, на вокзале были?

– А я тебе говорил: мы не на вокзале, – вспомнил Цапля эпизод, связанный лично с его участием. – А ты: рельсы, рельсы!

– Я и сейчас не уверен в том, что мы не были на вокзале. Это вопрос схоластический. Но багаж здесь при чем?

– Сумка с гномом, – догадался Роман. – Он ее все за багаж принимал.

– Ладно, пусть, – согласился Бухара, однако запротестовал в другом. А квитанцию я не выписывал, нет у меня никаких квитанций! В смысле, на складе есть, а с собой не ношу. Нет такой дурной привычки. Только печать при мне всегда. Вот.

Бухара вынул из кармана круглую печать, как свидетельство правдивости его заявления.

Все, вроде бы, согласились, только бухгалтер Алкавиад Петрович Хомиус возразил:

– Получение сумки с гномом ты, сволочь, написал шариковой ручкой на лбу у Петрова. И печать поставил очень больно.

Крыть компании было нечем. Все замерли, но ненадолго – Нана обрушила на них свой гнев:

– Я тебе устрою суд, пигмей несчастный. И ты, сволочь – кинулась она с кулаками на Романа, – свое получишь! Чтоб тебе пусто было, козел! Скандал мне тут устраиваете?! Это же теперь жених мой узнает об этой гулянке, он пожар тушит, я ему звонила, что одна тоскую по нему! Плачу вся!

Нана зарыдала. Роман кинулся с криком на Бухару:

– Ты зачем, кретин, квитанции выписываешь?!

– Так инвентарь же, – попытался оправдаться Бухара. – Как же без квитанции? Мячи из ГДР, сетка волейбольная, «козел» новый...

– А козла ты к чему приплел?

– Так этот тип из сумки разве не козел?

– Опять оскорбляете! – возмутился Хомиус.

– Я? Роман, рассуди...

– Я – козел? Да этот тип мелкий из сумки

Но Роман уже не слышал его, ползая на коленях перед любимой женщиной:

– Наночка!

– Убери грабли! Сволочь. Он жениться на мне обещал... у-у-у-у-ууу... Делай что хочешь, но чтобы ни гнома, ни суда не было!

– И что ты мне прикажешь с ним делать?

– Что хочешь!

Все глубоко задумались и задумчиво окружили сумку с маленьким человеком.

– А если в сумку две гири и под лед?

– Нет, в сумке нельзя. Улика. Нужен мешок. Нана, мешок есть ненужный?

– А если с балкона?

– Ага, молодец, – прокомментировала жертва уже последнее предложение. – И все шито-крыто, решат, что я – Карлсон, который упал с крыши.

– Да вы что, на всю голову больные?! – возмутилась Нана. – Не с моего балкона. У меня там белье висит! И капуста квашеная.

– А я думаю, что это мы не смогли сумку ночью на балкон выставить, – догадался Роман.

Карлик ловко выскочил из сумки и юркнул пол стол.

– Лови его!

– С боку заходи! Хватай на ногу!

– Ах ты верткий какой!

– Он уже под диваном.

– Суй туда руку!

– Нет там...

– Да загляни! Зажигалкой посвети!

– Да нет тут!

– Выполз!

– Проскочил! Ты что ноги так расставил?

– Сетью его накрывай!

– Какая сетка? Ты что, на рыбалке? Еще сачком попробуй! Идиот!

– Мелькнуло там что-то такое в коридоре...

– В ванную его загоняй! Там его возьмем!

– Лови!

– Гони!

Мужчины скрылись в квартирной ванной, а гонимый выбрался из-под длинной полы Нaниного халата. Нана ловко его поймала, как кота, и сев в кресло, усадила его на колени. Тот как только почувствовал уже знакомое тепло, сразу успокоился.

– Как тебя зовут?

– Алкавиад Петрович Хомиус.

– Алик, выпьешь?

Алкавиад Петрович отрицательно замотал головой:

– Нет, не стану я у вас тут пить . Вы меня убить хотели. У вас всех руки в крови.

Нана искренне не согласилась:

– Ну не я же, Алик. Это все Роман замутил, он дурак, хоть и начальника из себя строит. А ты кто у нас все-таки?

– Бухгалтер, я уже сто раз говорил.

– Верю. Я никому не дам тебя обидеть. Вон какой ты у меня хорошенький, только не бритый.

Потолкавшись в тесной ванной комнате вернулись мужчины. Они с изумлением уставились на Нану с Алкавиадом Петровичем на коленях и несколько скисли. Только Роман произнес с едва сохранившимся азартом охотника на пигмеев:

– Нана, не упусти...

Нана возмутилась:

– Да пошел ты! Гном, гном. Сам гном! – и презрительно добавила: – Коротышка.

– Я?! Да ты посмотри на него и на меня!

– И смотреть не на что. Не пожарник.

Роман обиженно надулся и двинулся к столу водку пить. По рюмке опрокинули и Цапля с Бухарой. Закусили. Успокоились.

– И что теперь?

– Что, что... Посадить он нас не посадит. Но скандальчик выйдет изрядный. Считай, половину голосов на выборах мы потеряем...

Возможно, уже поздно и не к месту, но все же не лишне будет описать птичью походку Цапли – вначале резко вперед выставлялась голова с длинным тонким носом, а уж затем делался шажок, второй. Цапля двинулся к Хомиусу и совсем не по-птичьи принялся раскланиваться. Точнее, как цапля в мультфильмах. На самом деле орнитологическая наука утверждает, что птицы кланяться не умеют, они клюют. Хомиус не был орнитологом, но так и воспринял поклоны Цапли и прикрылся от него локтем. Цаплю этот испуганный жест не смутил, а лишь подстегнул его красноречье:

– Прошу прощенья... Не знаю Вашего имени-отчества?..

Хомиус из-под локтя неохотно назвался.

– ...очень рад, очень рад знакомству, – продолжил Цапля, при этом на всякий случай не представляясь сам. – Дорогой Алкавиад Петрович, может быть, станем вести себя более дружески? Все-таки праздник, Новый год... А в новогоднюю ночь хочется романтики, чуть-чуть сказки... Отсюда это недоразумение с гномами. Знаете, как этого не хватает в наш циничный, прагматичный, будничный век. Но мы готовы извиниться.

– Извинения никуда не уйдут, – оборвал Цаплю Хомиус.

– Насчет денежной компенсации... так сказать, за моральный ущерб и некоторые телесные неудобства.., то мы готовы. Нами, проникнувшими в экзистенциальной мир, он понимается именно как мир человека. В отличие от закрытых миров животных и растений, наш мир открыт для предложений.

Только назовите сумму, – вставил и свое Бухара.

– Не беру, – отрезал Хомиус.

– Что значит «не беру»? Мы же не взятку предлагаем – возмутился Роман. – От чистого сердца!

– Обними меня, Алик, – предложила Хомиусу Нана.

– Нельзя объять необъятное, – влез со своим комментарием Роман.

Нана не обратила никакого внимания на эту неуместную реплику и только продолжила выжимать ответ у Хомиуса. Наконец тот не выдержал и... отказался сдавленным голоском:

– Не могу.

– Это почему же? – обиделась Нана. – Не можешь, потому что руки коротенькие? Так ты можешь только одну грудь обнять.

– Я поклялся в вечной верной любви другой, – попытался объясниться Хомиус.

– Своей жене прежней?

– Нет.

– Эх, нехорошо, Алкавиад Петрович, – заметил Цапля. – Женщина просит, а вы упрямитесь. Будьте, наконец, рыцарем.

– Так к кому же? – не успокаивалась Нана. – Кого ты хочешь обнимать?

Хомиус под давлением с трудом признался:

– Белоснежку. Нам, гномам, положено только ее любить.

– Приехали... – только и сказал Роман.

Все снова выпили, закусили, закурили и задумались. А так как философам долго думать нельзя без изложения своих мыслей, то Бухара произнес:

– Друзья, господа, я вас спрашиваю, к чему это-та вражда, спор, недопонимание. Ну, прямо экзистенциальная скука, доходящая до скуки невротической. Между тем, как сказал один психоаналитик, скука появляется, когда нам нельзя делать то, что мы хотим делать, или должны делать то, что мы делать не хотим. Просто ты, Цапля, и ты, Роман, упертые черствые люди. Слишком, я бы сказал, взрослые, слишком бюрократы, хотя и от спорта. Я тоже хорош! Интеллект, конечно важная штука, но еще важнее душа. Экзистенциональная! Вот господину хочется быть гномом и любить Белоснежку. Так нет же! Твердим, как попки-дураки: нет, ты не гном, гномов не бывает. А почему нет? Я вот сейчас смотрю и вижу – передо мной самый настоящий гном!

– Да кто против? – сообразил и Роман. – Конечно, гном. Гном Гномиус Великолепный.

– Я когда говорил, что он бухгалтер, то имел в виду, что он гномский бухгалтер. У них же подземные всякие сокровища. Как же без бухгалтера. Да он старший бухгалтер среди гномов!

– А я Белоснежка! – воскликнула Нана.

– Ну, уж нет! – не согласился Роман. – Давай двигаться в рамках

разумного.

– Пусть будет, – велел признанный гномом Хомиус.

– Ладно...

– И пускай будет все как в сказке! – внесла само собой напрашивающееся логичное предложение Нана-Белоснежка.

– Пускай!

Цапля с довольным видом потер ладони, подмигнул приятелям и вкрадчиво проговорил:

– Гномик нам свои сокровища притаранит, – и ласково похлопал Хомиуса по темечку. – Ага?

– Нет, я передумал, – сказал Алкавиад Хомиус. – Я не буду гномом. Уже не хочу.

Нана-Белоснежка изумилась:

– А кем же ты будешь, маленький?

Бывший гном ответил:

– Я буду Дедом Морозом.

Роман возмутился:

– Извините, у нас все шло по плану. Мы же договорились. В сценарии никаких дед-морозов не предусмотрено.

– По смете, – поспешил пояснить претенденту на роль Деда Мороза Цапля. – Кто-кто, а ты же должен понимать, Гномиус.

– И потом, кто будет гномом? – спросил Бухара. – Без гномов этот мир несовершенен по определению.

– А ты и будешь гномом, – завил ему Хомиус, затем обратил свой суровый взгляд на Романа и Цаплю. – И ты – гном, и ты – гном.

Компания переглянулась и согласилась.

– А теперь, гномики, спляшите и спойте песенку для Дедушки Мороза. Ну!

Сплясали и спели: «В лесу родилась елочка...». Дед Мороз Хомиус развеселился и велел:

– Пусть всегда будет Новый год!

– Это как, разрешите спросить?

– А так. Отменяю время. И завтра, и послезавтра, и круглый год – Новый год!

Все с кислыми физиономиями согласились, разве что Цапля чуток запротестовал:

– Без водки круглый год – Новый год, не получится.

– Пейте, гномы! Веселите меня. Разрешаю!

В предновогодний вечер я отправился в дом моего дедушки, пенсионера союзного значения. Меня давно интересовали его настенные часы с кукушкой, с застывшими лет тридцать стрелками. Я вообще одержим часами, можно назвать

меня коллекционером. Жилетные часы деда фирмы Павла Буре я выпросил еще год назад, пришла очередь часов с кукушкой, в виде сказочного домика, украшенного резными листьями и шишками. Дрянь, конечно, ширпотреб, но такие сегодня днем с огнем.

Мой дед, старик мой, прежде неуемный,
теперь напоминал
мне ламповый шикарный радиоприемник,
который прежде знал
престижное, поверьте, пребыванье
в кабинетах советской номенклатуры,
без взлетов и отчаянья,
присущих временным натурам.
Горластый, сейчас он тих,
Устроен на кожаном, потертом кресле,
Имеет здравый ум, не псих,
Когда никто не пристает и если
тепло, нет тараканов и детей.
Сидит, читает местные газеты
и дышит без затей.
Буддийский узел на многие лета.

От деда услышать можно все, от самого знакомого: «...прогноз погоды на завтра. На севере...» и необычного репортажа о том, как в Бразилии счастливая мать родила семерых близнецов, при этом от разных, отцов.

Не радовал он и не стращал,
и собеседника он не искал ни в ком.
Все сведенья он сообщал
сухим и ровным дикторским баском,
лишь с некоторыми радиопомехами:
покашляет, присвистнет зубным протезом.
Но с давним крахом, прежними успехами,
с мировоззренческой своею тезой-антитезой
он не поделится, он о себе молчал.
Был за границей? С кем был накоротке?
Кого обидел? Кого встречал?
И на каком был сбит витке?
Лишь только я задам вопрос:
«Так как же было, кто поднял волну?»,
ответ был прост –
переключался на новую радиоволну.

Теперь опять сижу,
приглядываюсь все к часам настенным,
жду птичку, все гляжу
и прошу отдать с нажимом, но степенно.
Но дед мой, прелесть, душка,
сославшись, что они ему нужны
для дозировки ванн ножных
вдруг резкий выдвинул отказ,
и сунул мне под нос рецепт с печатью треугольной
с расплывшимися буковками «Угольтрест».
Что ж думать ему вольно,
что он на этом деле поставил крест.
Но все аргументы мнимы,
себя желающий сумеет подвесить на дыбы.
Не день рожденья важен – именины
отчет начала роковой судьбы.
Я сбегал – рядом тут аптека –
и купил песочные часы в обмен:
Смотри, какая для тебя забава и утеха!
Умрет от зависти и супермен.
Но дед часы менять не пожелал.
И, выставив час на подлокотник,
Я сел напротив и терпеливо ждал,
как ждет у саженцев деревьев плотник
свой час. Дед мрачно посматривал
то на меня, то на прибор песочный.
Вдруг верно его вниманье приковал
ход времени в песках неточный.
Меж двух пространств
из дутого стекла,
вводя в целебный транс,
зернисто кварцевая ниточка текла.

«Хорошо бы вернуться к песочным часам, – думал я. – Можно попридержать время, положив спаянные между собой воронки на бок, а ускорить песочное время не в состоянии никто – нет ни стрелок, ни шестеренок, ни цифр. Живи себе лет двести, как ворон».

Тут дед и руку протянул...
Я сразу подхватил часы
и ими ткнул
в его цепляющие пальцы.

Он сразу принялся пересыпать
минуты прошлого в грядущий день.
Крутил, вертел, стал засыпать,
Очнулся, вновь за мишень.
Но – дудки! Как не крути –
в часах песочных
не сойти с положенного нам пути,
но воды отошли в потоки вод проточных.
Дед стал задумчив очень,
По-настоящему увлекшись нехитрою игрушкой.
Я встал, последний акт окончен,
и, сняв со стены часы с кукушкой,
был таков
без лишних слов.
Но скоро, слыша в комнате своей «ку-ку, ку-ку»
я скверно спать стал
и на спине, и даже на боку.
Кукушка – тельце жестяное,
проклюнется сквозь ставенки,
и снова стянет
зернышко родное временное:
ку-ку,
ку-ку,
тик-так,
тик-так.., так тяжко стало...
Поднялось солнце и упало...
На циферблате дня и ночи
теперь двенадцать
апостолов цифири точат
стрелки, не дав им обвисать.
И на вечере тайной теперь банкует
Хронос – бог просвещенных латинян.
Да мне-то что? Пускай кукует
хоть бог армян.
Но время так
Тик-так,
Тик-так,
и гирька, сорвалась с цепочки
и кап в Лету.
Купи сатиновую кепочку,
готовься к солнечному лету –
ку-ку

кукушка,
тридцать,
тридцать пять,
ку-сорок,
ку...
Желаешь тишины?
Есть электронные часы –
Мигнув секундой, немо,
презрев и альты, и басы,
подлодкой капитана Немо
утопишь жизнь в безбрежном океане бытия.
И что ужасно, ты их не заводишь.
Увидишь сразу край и, выкрикнув: «Не я!.. Не я!..»,
провалишься и снова тишь.

Противно, когда твоя жизнь представлена лишь мерным звуком «Ку-ку» или миганьем пустой световой цифры. Нет, надо, вернуться к дедушке и вернуть часы песочные. В них время имеет малый, но свой реальный объем и вес песчинки.

Пили, пели, плясали день за днем, и ночами тоже, и все время был Новый год. Была надежда, что его сменит Старый Новый год. Но до него Алкавиад Петрович не дотянул – слабоват оказался. Где-то через неделю заныл жалостливо:

– Я в сумку хочу...